{X} - Номера страниц Старая орфография изменена.

Графъ В. Н. Коковцовъ.

ИЗЪ МОЕГО ПРОШЛАГО

Воспоминанія 1903—1919 г.г.

«Дела давно минувшихъ
дней».
Пушкин

Т 0 М Ъ II.

Copyright by Count W. Kokovtsoff, Paris, 1933.

Приготовляемое к печати издание Воспоминаний Графа Коковцова на английском языке выпускает Комитет по Русским Исследованиям при Стэндфордском Университете; (Калифорния, С. А. Соединенные Штаты), которому мною уступлено исключительное право на издание моих Воспоминаний на всех языках, кроме русского, в полном или сокращенном объеме на условиях, предусмотренных нашим соглашением.

Граф В. Н. Коковцов.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

На посту Председателя Совета Министров.
Октябрь 1911 г.

{5}

ГЛАВА I

Приезд в Ялту и Ливадию. — Новые назначения в Государственный Совет. — Беседа с Императрицей Александрой Федоровной. — Возвращение в Петербург. — Вопрос о денежной поддержке политических партий. — Финляндский вопрос. Законопроект об участии Финляндской казны в военных расходах и о равенстве в Финляндии финских и русских граждан. — Моя успешная защита этих законопроектов в Думе. — Запрос о борьбе с недородом. — Вопрос о выкупе в казну Варшавско-Венской железной дороги.

1-го октября вечером я выехал в мою первую поездку в Крым по званию Председателя Совета Министров. Мой медовый месяц начинался очень благоприятно, и первые дни пребывания в Крыму окрашивали все самым благодушным настроением.

Мой приезд в Ялту и Ливадию был сплошным триумфом. Не успевшие еще наступить однообразием Ялтинской жизни придворные наперерыв оказывали мне всякое внимание. Государь встретил меня 4-го октября необыкновенно милостиво, сказал с первых же слов, что чрезвычайно рад моему приезду, показал мне весь свой новый дворец, в котором Он впервые поселился в этом году, и продержал на докладе более 2-х часов, одобрил и утвердил решительно все мои предположения, не исключая целой серии новых членов Государственного Совета, о которых мне удалось достигнуть соглашения с Акимовым, что было не так легко потому, что в списке было нисколько кандидатов Столыпина, которых мне хотелось провести по уважению к его памяти (напр. С. И. Гербель) и выраженному им предсмертному желанию. Были и мои **{6}** кандидаты — Поливанов и Тимашев, и все это были лица мало приемлемые для Акимова, который всегда хотел проводить в Государственный Совет под флагом крайних правых убеждений, с чем трудно было примириться, да и по существу нелегко было проводить подходящих людей в Верхнюю Палату потому несмотря на существование негласного Высочайшего повеления о том, чтобы описки кандидатов в Члены Государственного Совета составлялись и представлялись Государю по соглашению Председателя Совета Министров с Председателем Государственного Совета, на практике это никогда не исполнялось, и Столыпину, как и мне, удавалось проводить наших кандидатов только пока мы были в силе или пока нас ласкали.

Большею же частью назначения шли под разными негласными влияниями, в роде Совета Объединенного Дворянства, который провалил в последние 3—5 лет в Государственный Совет целый ряд назначений из своей среды: Графа Бобринского, Струкова, Арсеньева, Куракина, Охотникова и немало других, — не говоря уже о последующих назначениях, в особенности в предсмертную минуту жизни Г. Совета 1-го января 1917 года. Мне особенно хотелось достигнуть назначения Поливанова Членом Государственного Совета за еще действительно прекрасную работу последних трех лет, но большим к тому препятствием служило то, что его Министр, Ген. Сухомлинов, не был еще Членом Г. Совета. Я доложил Государю об этом с полною откровенностью и сказал, что прошу Его назначить одновременно и Сухомлинова, хотя и поступаю против совести, но желаю только устранить всякие поводы к трениям

между Министром и его Товарищем, которые неизбежно разрешались бы в ущерб последнему, а это будет огромною потерею для обороны.

С своею обычною очаровательною улыбкою и простотою Государь сказал мне: «Я знаю Ваш дурное отношение к Сухомлинову, но уверен, что теперь, когда Вы стали Председателем Совета, он изменит свой способ держаться. Я укажу ему это и непременно скажу, что Вы просили меня назначить его Членом Государственного Совета, и в этом Вашем поступке он должен видеть все Ваше благородство и всякое отсутствие у Вас чувства мести. Мне это в высшей степени отрадно».

Ожидания Государя не сбылись, и очень скоро Ему пришлось. самому убедиться в этом и даже суждено было и дальше постоянно встречаться с наветами Ген. Сухомлинова.

На другой день, 5-го октября, в день именин Наследника **{7}** за завтраком и после завтрака, на мою долю выпали новые знаки внимания, заставивши долго говорить о себе всю Ливадийскую и Ялтинскую публику.

Государь демонстративно пил за мое здоровье, поминутно обращался ко мне с разговором, а после завтрака, в вестибюле дворца, Императрица, которая не могла долго стоять, села на кресло, подозвала меня к себе, настойчиво потребовала, чтобы я сел рядом, несмотря на то, что Государь стоял в отдалении, и около часа вела со мной самую непринужденную беседу на самые разнообразные темы. Одна часть этой беседы глубоко врезалась в мою память потому, что больно кольнула меня и показала всю страстность натуры этой мистически настроенной женщины, сыгравшей такую исключительную роль в судьбах России.

Говоря о том, что происходит сейчас в Петербурге, о том, как приняла мое назначение «эта котерия, которая никогда ничем не довольна, но которая всегда указывала на Вас как на кандидата на пост Столыпина, когда была им недовольна, а теперь должна очевидно начать Вас критиковать, раз что Вы поставлены на вершину власти», — Императрица сказала мне: «Мы надеемся, что Вы никогда не вступите на путь этих ужасных политических партий, которые только и мечтают о том, чтобы захватить власть или поставить правительство в роль подчинения их воле».

Я ответил на это, что и до назначения моего я старался быть вне всяких партий, отстаивая взгляды Правительства, и был, насколько умел, независимым, стараясь работать с Думою, как необходимым фактором нашей новой Государственной жизни, но не могу скрыть, что мое положение гораздо труднее, нежели положение П. А. Столыпина. У него были свои партии, сначала октябристов, решительно поддерживавшая ею, а затем и другая, хотя и боле слабая партия националистов, но все же сплоченная известною организациею, умевшая сходиться то с октябристами, то с правыми и, во всяком случае, поддерживавшая его и пользовавшаяся и от него разными преимуществами. У меня же нет никакой партии, и я, по складу своего характера, не могу быть в руках какой-либо группы, которая желает владеть мною и в то же время не может теперь дать мне того, что давали октябристы Столыпину.

Кроме того, и положение всех партий в Думе стало хуже, нежели оно было при Столыпине. Они разбились, стали мельче, боятся быть слишком близкими к Правительству, чтобы это **{8}** им не повредило на выборах 1912-го года, и вообще в Думе нет более того сплоченного умеренно-консервативного большинства, которое отвечает моему взгляду на вещи и которое было так необходимо после резкого революционного

настроения первых двух Дум.

Я долго развивал эту тему. Императрица внимательно слушала меня и затем неожиданно остановила меня прикосновением руки и сказала по-французски: «Слушая Вас, я вижу, что Вы все делаете сравнения между собою и Столыпиным. Мне кажется, что Вы очень чтите его память и придаете слишком много значения его деятельности и его личности. Верьте мне, не надо так жалеть тех, кого не стало... Я уверена, что каждый исполняет свою роль и свое назначение, и если кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль, и должен был стушеваться, так как ему нечего было больше исполнять. Жизнь всегда получает новые формы, и Вы не должны стараться слепо продолжать то, что делал Ваш предшественник. Оставайтесь самим собою, не ищите поддержки в политических партиях; они у нас так незначительны. Опирайтесь на доверие Государя — Бог Вам поможет. Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить Вам место, и что это — для блага России».

Я записал буквально ее слова. Не знаю верно ли выражали они Ее мышление, но в ту минуту как и теперь мне было ясно одно: о Столыпине, погибшем на своем посту, через месяц после его кончины уже говорили топом полного спокойствия, мало кто уже и вспоминал о нем, его глубокомысленно критиковали, редко кто молвил слова сострадания о его кончине.

В Петербург я вернулся 8-го октября, когда, политическая жизнь, — если можно назвать ею начало съезда членов обеих Палат, — стала постепенно оживляться. Участились посещения меня разных господ, нащупывавших почву их возможного влияния, и тут-то выяснилась довольно скоро и вся их разрозненность. Мне стало ясно, что ни у кого, т. е. ни у одной из консервативных групп нет настоящего влияния в Думе. Все сплетничали друг на друга и старались подорвать доверие ко всем, кроме самих себя.

Среди октябристов ясно проявились признаки разложения, так как с фактическим отстранением от руководства этою партиею Гучкова начались всевозможные внутренние трения.

Националисты, руководимые П. Н. Балашовым, больше сами **{9}** говорили о своем значении, чем располагали им в действительности среди других группировок. К тому же у них слишком была свежа память об утрате Столыпина и едва ли еще не более свежо было воспоминание о недавнем объявлении мне недоверия в Киеве, чтобы между ними и мною могло установиться какое-либо сердечное отношение даже если бы я проявил к этому какую-либо склонность, чего на самом деле я вовсе не проявлял. Быть может я совершил в этом случае так называемую тактическую ошибку, поддавшись свежему впечатлению той заносчивости, которую проявили ко мне в Киеве представители партии. Тем не менее, с первых же дней возвращения моего из Крыма, они стали усиленно заглядывать ко мне и в одиночку, и группами, нащупывая какое положение займу я в отношении поддержки, которую получала партия из рук Столыпина.

Этот вопрос стал предо мною сразу же во весь свой непривлекательней рост. Еще в 1910-ом году на почве подготовки выборов в Государственную Думу, упадавших на лето 1912-го года, между мною и Столыпиным произошли серьезные недоразумения. Столыпин, ссылаясь на то, что ни в одном государстве Правительство, не относится безразлично к выборам в законодательные учреждения, и что,

несмотря на наш избирательный закон 3-го июля 1907-го года, такое безучастное отношение приведет неизбежно к усилению оппозиционных элементов в Думе и даст преобладание Кадетской партии, потребовал от меня — и получил, несмотря на, все мое сопротивление, крупные суммы на так называемую подготовку выборов. Ему хотелось разом получить от меня в свое распоряжение до 4-х миллионов рублей, и все, что мне удалось сделать, — это рассрочить эту сумму, сокративши ее просто огульно, в порядке обычного торга, до 3-х с небольшим миллионов рублей и растянуть эту цифру на три года 1910 — 1912, разбив ее по разным источникам, находившимся в моем ведении.

Несмотря на все свое благородство и, личную безупречную честность, Столыпин не верил всем моим возражениям и даже искренности моего взгляда, что все эти траты не приведут ни к чему, что деньги, будут просто розданы самым ничтожным и бесполезным организациям и провинциальным органам печати, которых никто не читает, и они послужат просто соблазнительным источником питания разных «своих людей» у Губернаторов и Департамента Полиции или у того лица, которому поручено предвыборное производство, и в конечном **{10}** результате получится только одно сплошное разочарование и даже обостренное неудовольствие тех, кто ничего не получил, против тех, кто успел что-либо приобрести.

На что тратились эти деньги, — я так и не мог узнать до самого моего вступления в должность Председателя Совета. Самый вопрос мой об этом всегда встречался с неподдельным чувством обиды. Столыпин мне ответил однажды в присутствии некоторых Министров, что если у меня нет доверия к тому, что Министр Внутренних Дел сумеет распорядиться деньгами как следует, то ему не остается ничего иною, как просить Государя передать все это дело в руки Министра Финансов и сложить с себя ответственность за все последующие события. Само собою разумеется, что мне ничего не оставалось, как прекратить этот разговор, тем более, что присутствовавшие при этом Кривошеин и Харитонов старались всячески поддерживать точку зрения Столыпина на недопустимость «безучастного» отношения Правительства к подготовке выборов, хотя понятие влияния понималось ими просто как осуществление поговорки — «денег дай — и успеха, ожидай».

Естественно поэтому, что одним из первых дел, — если даже не самым первым, при вступлении моем в новую должность, было ознакомление с делом о расходах по выборам в Государственную Думу. С. Е. Крыжановский, у которого это дело было на руках, дал мне все письменные материалы по этому любопытному делу, из которых мне стала ясна картина распределения денег по таким организациям, о которых мало кто и слышал, и которые в лучшем случае, были известны в своем уездном и далеко не всегда в своем губернском городе.

У меня хранились вплоть до июня 1918-го года ведомости о всех произведенных до августа 1911 г. расходах, по подготовке выборов 1912г. При обыске, произведенном у меня в ночь с 30-го июня на 1-ое июля 1918г., эти ведомости не были взяты у меня, и, вернувшись из тюрьмы, я уничтожил их, как и все то, что накопилось в моих ящиках письменного стола, и в шифоньере. Относящегося к последующему времени в этой переписке, конечно, ничего не было и быть не могло, потому что с моего ухода, в январе 1914 г. вся политическая жизнь шла далеко мимо меня. Я не принимал в ней никакого участия к от нее у меня не оставалось никаких письменных следов.

Теперь мне очень жаль, что этих ведомостей нет у меня более под руками, и я не могу более припомнить некоторые **{11}** наиболее интересные имена и цифры, характеризующие взаимное отношение Правительства и наиболее видных деятелей некоторых политических организаций.

«Все промелькнули перед нами, все побывали тут» — скажу я и теперь, хотя, повторяю, что не могу записать точно, когда, кто и сколько получил. Одно скажу по чистой совести: Кадеты совсем не фигурируют в списках, что и понятно по их враждебности к Столыпину. Октябристы также упоминаются весьма редко и то больше в качестве, передаточной инстанции ничтожных сумм, по преимуществу благотворительного характера. Зато имена представителей организаций правого крыла фигурировали в ведомости, так сказать, властно и нераздельно. Тут и Марков 2-ой, с его «Курскою былью» и «Земщиной», поглощавшей 200.000 р. в год; пресловутый доктор Дубровин с «Русским Знаменем», тут и Пуришкевич с самыми разнообразными предприятиями, до «Академического Союза Студентов» включительно; тут и представители Собрания Националистов, Замысловский, Савенко, некоторые Епископы с их просветительными союзами, тут и листок Почаевской Лавры.

Наконец, в великому моему удивлению в числе их оказались и видные представители *самой* партии Националистов в Государственной Думе, получавшие до меня довольно значительную ежемесячную субсидию на поддержание различных местных организаций, правда, в течение времени немногим более одного года.

На почве этой субсидии и произошла наша вторая встреча, если считать ту, которая имела место в Киеве, и — первая с той минуты, как открылись заседания Государственной Думы. Министр Внутренних Дел, с которым на первых порах у нас были совершенно простые и добрые отношения, отражавшие в себе никаких, впоследствии обострившихся, разногласий, — вполне соглашался со мною в бесцельности всех этих расходов, но не считал возможным прекратить их за 8 месяцев до начала новых выборов, да и я не был уверен в том, что на него не будет произведено какого-либо давления, так как у отдельных организаций были всегда свои особые входы, куда следует. Нам обоим не хотелось на первых шагах нашей деятельности создавать поводы к неудовольствию на какое-то «изменение курса». Через два месяца, в конце ноября или в начале декабря, кое-кто из левых депутатов, возражая правым, пустил крылатое слово о «темных» деньгах, которыми не брезгают пользоваться представители союза Русского Народа и **{12}** вообще крайние элементы, поддерживающие будто бы правительство всегда и во всем.

Стрела была пущена, очевидно, в сторону крайнего правого сектора Думы, где заседали Марков 2-й, Пуришкевич, Замысловский и другие, но она попала в более чувствительную цель. Из среды труппы Националистов я получил заявление, что группа не находит более возможным пользоваться оказываемой ей помощью и просит больше ее не производить. Я направил заявление к Макарову, предупредивши его об этом, и с декабря 1911-го года эта помощь была прекращена. Другие лица оказались менее щепетильными, и не только не отказались от денег, но настойчиво требовали все большего и большего и, не получая их от Министра Внутренних Дел, который по обыкновенно не скрывал, конечно, что ему мешает в увеличении выдач никто иной, как Председатель Совета, — Министр Финансов, — постепенно перенесли

свое раздражение на меня и сосчитались впоследствии со мной, принявши самое деятельное участие в интриге против меня. Озлобление этих господ особенно усилилось в следующем году, во время предвыборной агитации, о чем я расскажу в своем месте.

После инцидента, с деньгами визиты из среды группы Националистов ко мне стали весьма редки. Тем временем через посредство так называемой «Думской Информации», т.е. Правительственного чиновника А. Ф. Куманина, очень умело следившего за, всем тем, что говорилось среди членов Думы, до меня стали доходить слухи о том, что из той же партии стали раздаваться голоса, что я собираюсь проваливать законопроекты Столыпина по финляндским делам и намерен вообще открыть «новый курс» в финляндском вопросе, решивши встать на противоположную Столыпину точку зрения и поддерживать финляндский сепаратизм, и что им в точности будто бы известно, что в бытность мою в Ливадии 5-го октября я докладывал об этом Государю, и хотя получил уклончивый ответ, но предполагаю проводить мою точку зрения в расчете на поддержку кадетов и левых, у которых вообще намерен заискивать. Не понимали они, конечно, простой вещи, что каково бы ни было мой различие с покойным Столыпиным во взглядах на финляндский вопрос, — а оно было действительно велико, по *некоторым частям* этого вопроса, и все это знали, — и по двум вопросам общего законодательства России и Финляндии, внесенным по закону 17-го июня 1910 года в Государственную Думу, — по вопросу об участии Финляндской Казны в военных расходах (вместо отбывания личной воинской **{13}** повинности) и по вопросу о равных с финляндскими гражданами правах русских граждан в Финляндии, не могло быть какой-либо речи о моем «новом курсе».

Оба эти вопроса рассматривались в 1910 году в Совете Министров при моем участии, и я никакого разноглася не сделал. По обоим указанным вопросам законопроекты внесены в Думу по особому Высочайшему повелению, и всякому должно было быть ясно, до очевидности, что малейшее мое уклонение от прежнего курса, если бы я и помышлял о нем, — чего не было и в помине, — было бы величайшей политическою бестактностью, которой сколько-нибудь уважающий себя человек допустить, конечно, не мог. Тем не менее, лидер партии, Балашов, как передал тот же источник, весьма определенно заявил, что он «готовит мне «Седан» — при содействии всех октябристов и правых и что после того заседания, которого он ждет с особенным наслаждением, мне не останется ничего иного, как уйти или окончательно, с первого же шага, лишиться всякого авторитета в Думе, что значит тоже уйти.

О том же меня усиленно допрашивал и частенько навещавший меня по вечерам Член Думы Шубинский, по-видимому, веривший этим рассказам. Я с первого же свидания уверил его, что буду добросовестно поддерживать оба законопроекта в Думе, хотя еще и не знаю, что именно и как скажу в защиту их.

В Думу я явился в новой для меня роли, впервые, по усиленной просьбе Тимашева, 24-го октября 1911 года по вопросу о больничных фабрично-заводских кассах. Тема была благодарная, хотя и осложнена частичным несогласием с правительственным законопроектом особой Комиссии Государственной Думы. Мне не особенно аплодировали, но успех по существу я имел большой, и вместо ожидавшегося Тимашевым провала, дело прошло благополучно, в полном согласии с правительственным законопроектом.

Через 4 дня, 28-го октября, настало слушание финляндских законопроектов. Накануне собрался Совет Министров, и все высказались за то, что я непременно должен лично выступить в защиту законопроекта, несмотря на то, что Щегловитову очень хотелось взять на себя эту роль, да и Харитонов, считавшийся у нас специалистом по финляндским делам, был не прочь принять участие в прениях.

Дума производила впечатление «большого» дня. На хорах масса народа, все Министры в сборе, нижние ложи **{14}** переполнены; депутатские места почти без пустых, и даже в проходах не было места, настолько всех интересовало мое первое, боевое выступление, прорекламированное рассказами Балашова и националистов о готовящемся «Седане». На мою долю выпал несомненный и выдающийся успех: меня часто прерывали шумными аплодисментами, и криками «браво», а когда я кончил, то мне просто устроили овацию из центра и всего правого сектора, не исключая и националистов. Министр Путей Сообщения Рухлов, еще недавно игравший видную роль в партии националистов, слушал мою речь, стоя сзади меня, и подошел ко мне, как только я сошел с трибуны. Он крепко пожал мни руку и сказал: «мне хочется поцеловать Вас; я с трепетом и восторгом слушал Вас, и рад, что мои опасения, что Вы будете сухи и бессодержательны, так блистательно провалились». Речь эта обеспечила мне на некоторое время очень хорошее положение в Думе.

Когда депутаты стали уходить перед перерывом, Шубинский подошел к Балашову и сказал ему: «Что же Вы нам рассказывали о ренегатстве Коковцова, ведь и, Вы не могли удержаться от горячих аплодисментов и, вероятно, согласитесь со мною, что лучше и благороднее по отношению к Столыпину нельзя было сказать». Балашов ответил ему на это:

«Вы не знаете, чего это мне стоило, ведь я дошел в моих разговорах с ним до «бронированного купола». Мне это было тотчас же передано. Через несколько минут, когда я был еще с Министрами в павильоне, туда пришли многие депутаты поздравить меня, как они сказали, с величайшим триумфом, и в числе их Балашов, Потоцкий, Чихачов и Гижицкий, в присутствии которых были произнесены Балашовым его знаменитые слова. Я не выдержал и принимая поздравления сказал в присутствии всех: «Сердечно благодарю Вас за приветствия; я счастлив тем, что не разочаровал Вас и не дал Вам повода применить ко мне Ваш бронированный кулак. Балашов побледнел, сделал сконфуженное лицо, а его спутники, смущенные хвастовством, поспешили удалиться.

Для довершения этого инцидента я вновь позвал к себе очевидца этой неуместной сцены, моего бывшего подчиненного по Государственной канцелярии, члена Думы Гижицкого, и рассказал ему, как свидетелю того, что говорил Балашов, и почему я ответил так их лидеру. Положение Балашова было, конечно, не из выгодных, и наши отношения еще более ухудшились.

Через два дня, вечером, 30-го, я получил от Государя **{15}** из Ливадии крайне лестную телеграмму такого содержания: «Прочитав Вашу речь в Государственной Думе, не могу удержаться, чтобы не выразить, насколько я ею доволен. От нее веет истинным русским достоинством, спокойствием и ясным Государственным взглядом. Желаю Вам здоровья».

Вероятно, благодаря нескромности телеграфа, весть об этой

телеграмме чрезвычайно быстро распространилась по городу. С утра 31-го ко мне стали звонить по телефону из самых разнообразных мест. Члены Государственной Думы и Совета стали поздравлять меня наперерыв, и в течение некоторого, правда не очень большого, времени я переживал поистине мой медовый месяц Председательства в Совете Министров. Но скоро, всего через месяц, мне стали весьма ощутительны и колючи шипы моего нового положения, и незаметно подошла та тревожная, скажу более, мучительная пора, которая отняла от меня всякий покой и даже большую долю возможности производительной работы.

Приведенными первыми моими выступлениями в Думе в качестве Председателя Совета Министров не ограничилось мое сношение с Думою в конце 1911 года, несмотря на то, что новые обязанности, выпавшие на меня в связи с убийством П. А. Столыпина, настолько осложнили мое положение, с первых же шагов моей новой деятельности, что мне хотелось уменьшить всеми доступными мне способами появление в Думе, всегда требующей немалой подготовки.

Мне пришлось выступить снова 2-го ноября и 9-го декабря, потому что общее желание всего Совета Министров было выражено в настойчивой форме, чтобы именно я, а не Министр компетентного ведомства, взял на себя роль отстаивать точку зрения правительства в обоих делах.

Основания к тому были на самом деле весьма серьезны. Первое мое выступление из числа перечисленных было вызвано запросом, подписанным весьма значительным количеством членов Думы и притом не исключительно из оппозиционных фракций, и касалось обнаружившегося еще в конце весны недорода в некоторых местностях. Меры против него были приняты еще при жизни покойного Столыпина, и борьба велась под его прямым надзором. Средства на эту борьбу были отпущены весною и летом в экстренном порядке, по соглашению между обоими ведомствами — Внутренних Дел и Финансов — и работа правительственных и земских органов шла а высшей степени дружно и успешно. К началу зимы стало **{16}** ясно до очевидности, что борьба с недородом доведена была до благополучного конца, что обсеменение полей удалось обеспечить в полной мере, что продовольственная помощь оказана была везде очень широко, а благотворительная работа Красного Креста и земства проведена также весьма успешно.

Тем не менее, оппозиционная печать с самого начала осени стала умышленно раздувать неурожай до совершенно фантастических размеров, а съехавшиеся из мест застигнутых недородом депутаты, из левых группировок, щеголяли друг перед другом невероятными небылицами, которые хотя и встречали отпор со стороны более благоразумных элементов той же Думы, тем не менее настроение общественного мнения принимало все более и более повышенный тон, который неизбежно заставлял Министерство Внутренних Дел засыпать губернаторов запросами в разъяснение получаемых сведений.

Картина получалась весьма странного противопоставления: с одной стороны, более чем утешительные сведения от губернаторов и от земских учреждений, и, с другой, — нападки на правительство, напоминающие времена первой и второй Думы, организованные в сплошное обвинение в бездействии и замалчивании печальной действительности.

Такой характер думской оппозиции целиком отразился и на внешней форме запросов, получивших характер какого-то

преднамеренного обличения правительственной работы и совершенно определенной пропаганды недоверия к правительству и самой яростной борьбы с ним.

Мне пришлось взять на себя нелегкую задачу отвечать на внесенные запросы и отдать немало труда, чтобы придать моему ответу большой объем полного опровержения допущенных преувеличений и заведомой неправды, ввести все дело в его точные и правдивые рамки. Я упоминаю об этой моей речи, чтобы сказать, как много неправды было во всем этом нападении на правительство, насколько вся борьба с неурожаями была ведена им успешно, и как напрасны оказались все попытки поднять общественное мнение против правительственной власти тогда, когда правительство, быть может в первый раз могло сказать по совести, что оно не только не скупилось на средства помощи, но и блестяще справилось с его тяжелою задачею.

Я защищал не себя, а Министерство Внутренних Дел, Главное Управление землеустройства и, еще того больше, земство, широко откликнувшееся на призывы правительства и не знавшее никакого соперничества с ним.

{17} Моя речь закончилась, как сказано в стенограмме, «продолжительными и шумными рукоплесканиями в центре и справа», и моими разъяснениями кончился и весь внесенный запрос, простым переходом к очередным делам.

Второе мое выступление в начале зимы этого года произошло по внесенному правительством законопроекту о выкупе в казну Варшаво-Венской железной дороги.

Законопроект по этому делу был внесен правительством по Министерству Финансов, но душою этого дела был официально подписавший проект вместе со мною Министр Путей Сообщения С. В. Рухлов, за спиною которого стояла группа националистов Государственной Думы. Внесению проекта, в Совет Министров предшествовала продолжительная агитация против мысли о выкупе со стороны польского коло Думы и Государственного Совета и немало крови было испорчено ею мне. По существу идея выкупа была финансово выгодна для казны, юридически неоспорима и, при объективном отношении к делу, не могло бы быть двух мнений, что эту меру следовало принять, как только наступил срок выкупа, тем более, что сделанные контрпредложения со стороны Общества этой дороги были просто невыгодны и даже мелочны. Я несколько раз указывал Обществу, в лице члена Государственного Совета Кроненберга, на то, что я мог бы возражать против выкупа только в том случае, если бы само Общество сделало явно заманчивые предложения, но получал каждый раз одни общие, сопровождавшиеся самыми ничтожными поправками в расчетах правительства. В Совете Министров было полное единогласие, и я вовсе не предполагал выступать по этому делу и просил даже С. В. Рухлова взять на себя эту задачу, казавшуюся очень не сложною, при явном сочувствии почти бесспорного большинства Думы.

В заседании, Совета Министр Путей Сообщения усиленно просил меня, однако, взять на себя защиту и привел в оправдание своей просьбы то, что польское коло решило построить свое возражение на чисто политической почве, доказывая наличие желания у правительства принять эту меру исключительно в целях борьбы с польскими интересами и упрекая его в прямом желании удалить всех польских служащих и

наводнить дорогу худшими элементами с русской сети. Он привел также, что именно ему было бы особенно трудно бороться с такою тенденциею потому, что он еще недавно принадлежал **{18}** к группе националистов, да и само коло открыто говорит, что я не сочувствую этой мере и только вынужденно подписал законопроект, чтобы меня не обвинили в потворстве польским желаниям.

Все члены Совета Министров поддержали О. В. Рухлова, и я четвертый раз с 15-го октября должен был выступать по боевому вопросу.

Мое выступление в на самом деле оправдывалось тем резким тоном возражений против взглядов правительства, которым защищали поляки свое нерасположение к предложенной мере; Депутат, инженер Светницкий был особенно резок, и от него не отставал и его коллега Жуковский, очень сведущий в экономических вопросах, всегда хорошо подготовленный к делу, по которому он выступал на трибуне, но сравнительно умеренный в тоне своих возражений.

И на этот раз я имел большой успех. Возражение польской группы собрало очень незначительное число голосов. В пользу правительства собралось большинство голосов подавляющей численности.

Политические тенденции были мною совершенно устранены и всему делу придан чисто деловой, финансовый и технический характер, а неприкосновенности служащим, готовым служить на правительственной службе так же, как они служили частному обществу, мною даны от имени правительства все гарантии справедливости.

Не упущен был мною и стратегический характер дороги, достаточно оправдывающий идею сближения дороги с русскими, а не прусскими и австрийскими дорогами.

{19}

ГЛАВА II.

Первые слухи и газетные заметки о Распутине и начало вызванных этим делом пересуд в Думе. Безуспешность попыток влияния на печать, — Юбилей Лицея, — Разрастание газетной полемики, недовольство Государя и мои разъяснения о неосуществимости предположения ограничить свободу печати. — Скандал между Распутиным, Гермогеном и Илиодором. — Искание выхода из создавшегося положения. — Мое совещание с Макаровым и Саблером. — Беседа с Бароном Фредериксом, — Высочайшее поручение М. В. Родзянке дать личное заключение по делу об обвинении Распутина в принадлежности к секте хлыстов.— Моя беседа о Распутине с Императрицей Марией Федоровной. — Мое свидание с Распутиным. — Мой доклад Государю об этом свидании. — Дело о распространении А. И. Гучковым копии писем Императрицы и Великих Княжен к Распутину.

Государь оставался в этом году до начала января в Ливадии, и оттуда не доносилось никаких сколько-нибудь выдающихся сведений. Но здесь, в Петербурге, атмосфера стала постепенно сгущаться. В газетах все чаще и чаще стало опять упоминаться имя Распутина, сопровождаемое всякими намеками на его близость ко Двору, на его влияние при тех или иных начинаниях, в особенности по Духовному ведомству. Начали появляться заметки о его действиях в Тобольской губернии, с довольно прозрачными намеками на разных Петербургских дам, сопровождавших его в село Покровское и посещавших его там; на близость к нему даже разных сановников, будто бы обязанных своим назначением его

покровительству. Такие заметки всего чаще появлялись то в газете «Речь», то в «Русском Слове», причем последнее сообщало наибольшее **{20}** количество фактических сведений, и среди них однажды было напечатано сообщение о том, что на почве отношений к Распутину возникла даже размолвка в Царской семье, причем давалось довольно недвусмысленно понять, что Великая Княгиня Елизавета Федоровна стала в резко отрицательное к нему отношение и из-за этого совершенно отдалилась от Царского Села.

С газетных столбцов эти сведения постепенно перешли в Государственную Думу, где сначала. пошли пересуды в «кулуарах», в свою очередь питавшие этими слухами и намеками думских хроникеров, и затем перешли и на думскую трибуну, с которой левые депутаты и несколько раз Милюков и другие кадеты намекали весьма прозрачно на «темные» силы, в особенности говоря о деятельности Св. Синода и о порядке замещения епископских кафедр.

Особенное обострение получил этот вопрос в связи с именем А. И. Гучкова. В начале декабря или в конце ноября стали распространяться по городу отпечатанные на гектографе копии 4-х или 5-ти писем — одно Императрицы Александры Федоровны, остальные от Великих Княжен, к Распутину. Все эти письма относились к 1910 или 1909-му году, и содержание их и в особенности отдельные места и выражения из письма Императрицы, составлявшие в сущности проявления мистического настроения, давали повод к самым возмутительным пересудам. Об этом я скажу подробнее в дальнейшем изложении.

Мне и А. А. Макарову все это было крайне неприятно. Мы оба видели ясно, что рано или поздно нам придется встретиться с неудовольствием по этому поводу, и, тем не менее, нам было очевидно наше бессилие повлиять на газеты в этом злополучном вопросе. Все попытки Макарова уговорить редакторов сначала через Начальника Главного Управления по делам печати (Графа Татищева), а затем и лично не приводили ни к чему и вызывали только шаблонный ответ: «удалите этого человека в Тюмень, и мы перестанем писать о нем», а удалить его было не так просто. Мои попытки повлиять на печать также успеха не имели. Я воспользовался визитами ко мне М. А. Суворина и Мазаева и старался развить перед ними ту точку зрения, что газетные статьи с постоянными упоминаниями имени Распутина и слишком прозрачными намеками только делают рекламу этому человеку, но, что всего хуже, — играют в руку всем революционным организациям, расшатывают в корне престиж власти Монарха, который держится, главным **{21}** образом, обаянием окружающего его ореола, и с уничтожением последнего рухнет и самый принцип власти.

Оба эти лица со мною согласились, но твердили одно, что они тут не причем, что «Новое Время» неповинно в распространении сведений о Распутинском кружке, и когда я привел ряд заметок, перепечатанных и у них же, то они только отмалчивались или кивали на «Речь» и «Русское Слово», которые были действительно главными распространителями этих известий. Для меня было ясно, что и в редакции «Нового Времени» какая-то рука сделала уже свое недоброе дело и что рассчитывать на влияние этой редакции на ее собратий по перу, — не приходится.

Газетные кампании не предвещали ничего доброго. Она разрасталась все больше и больше, и как это ни странно, вопрос о Распутине невольно сделался центральным вопросом ближайшего будущего и не сходил со сцены почти за все время моего

Председательства в Совете Министров, доведя меня до отставки с небольшим через два года.

Когда Государь вернулся из Ливадии, первая его встреча со мною отличалась особенною приветливостью. Только однажды и то вскользь он сказал, что хочет поговорить с Министром Внутренних Дел по поводу печати, так как ему кажется, что следовало бы подумать об издании такого закона, который давал бы Правительству известное влияние на печать, которого у нас совсем нет. Не углубляясь в этот вопрос, в виду характера этой случайной беседы, я сказал, однако, что издание такого закона, который давал бы Правительству в руки действительные средства воздействия на печать, — нам не удастся, потому что Дума никогда не решится облечь Правительство реальными правами относительно печати, не пойдет ни на какие действительные ограничения свободы печатного слова из простого опасения встретить обвинение себя в реакционности и еще того менее пойдет на такое ограничение, которое проповедуется некоторыми людьми, как требованию крупного денежного залога, правом обращать на него взыскание за нарушение постановлений о печати. Государь как-то незаметно прекратил этот разговор и перевел его на другие менее острые темы.

О Распутине он со мною никогда не заговаривал, и я этого человека ни разу не видел, хотя и знал, что близкий мне человек, принадлежавший даже к моей семье, давно с ним знаком, видится с ним от времени до времени и, слушая мои постоянные неблагоприятные отзывы не столько о самом Распутине, сколько о том вреде, который он причиняет **{22}** престижу Царской власти, подавая повод к самым возмутительным суждениям и питая тем самым все круги, враждебно настроенные к монархическому принципу, — постоянно говорил мне: «он, конечно, негодяй, но хуже его те, которые пресмыкаются перед ним и пользуются им для своих личных выгод. Вот ты поступаешь хорошо, что не знакомишься с ним, но зато это тебе не выгодно. Не поклонишься ему, тебе вероятно несдобровать».

Зато другой человек буквально не давал мне прохода своими просьбами познакомиться с Распутиным. Это был Георгий Петрович Сазонов, полу-делец, полу-литератор, то поклонявшийся Витте, то враждовавший с ним.

Этот господин, приютивший в ту пору у себя на квартире семейство Распутина и его самого, надоедал мне буквально каждую неделю своими советами познакомиться с «Григорием Ефимовичем», — который очень хочет повидаться со мной, говорил об этом не раз с ним и скорбит о том, что я уклоняюсь от этого, хотя для меня это было бы не только полезно, но даже просто необходимо, так как без этого мое влияние на дела никогда не будет прочно. Я решительно отказался от предложенного удовольствия, сказавши ему совершенно определенно, что не ищу поддержки таким способом и не хочу, чтобы кто-либо имел право сказать, что я посажен Распутиным или держусь его милостью.

Между прочим, Сазонов, в подтверждение силы и влияния Распутина, рассказал мне, что еще весною 1911-го года, когда, по-видимому, Столыпин и не помышлял о расшатанности своего положения, хотя многие уже и тогда открыто говорили, что осенью его уволят, — он, Сазонов, вместе с Распутиным ездил в Нижний Новгород, по указанию Царского Села (для меня было неясно, кто именно дал ему это поручение, и не было ли это просто выдумало, чтобы придать себе значения), чтобы познакомиться с Хвостовым и сказать, «годится ли он в Министры

Внутренних Дел». По словам Сазонова, они были приняты в Нижнем «на славу», их кормили, поили и забавляли, «что лучше невозможно» и после того, что они близко сошлись с Хвостовым, Распутин спросил его, согласен ли он быть Министром Внутренних Дел, с тем, однако, чтобы на должность Председателя Совета Министров был снова назначен Гр. Витте и чтобы об этом просил сам Хвостов. Последний от такой комбинации будто бы отказался, наотрез, сказавши, что он с Витте вместе служить не может и тогда, вернувшись в Петербург, Распутин сказал **{23}** будто бы, что Хвостов «хорош», «шустёр», но очень молод. Пусть еще погодит». Через полгода тот же Хвостов в Киеве был предложен мне в Министры Внутренних Дел. Точность всего сказанного остается на совести Сазонова.

Начало 1912-го года соединено в моей памяти с целым рядом дорогих для меня впечатлений, связанных с днем празднования столетия Императорского Александровского Лицея.

С первой минуты вступления моего 13-летним мальчиком в стены Лицея и за все 40 лет, которые прошли с выхода моего из Лицея в декабре 1872 года, я никогда не порывал связи с ним и не прошло, вероятно, ни одного года, чтобы я не присутствовал на его годовых праздниках, приуроченных ко дню его учреждения — 19-го октября.

Этот день всегда был дорог мне по воспоминаниям той истинной связи дружбы и единения, которая всегда существовала среди лицеистов. Они праздновали этот день неизменным присутствием утром на торжественном богослужении в лицейской церкви, днем на традиционном завтраке в той самой столовой, в которой мы завтракали, обедали и пили утренний и вечерний чай в течение всех 6-ти лет нашего воспитания, а вечером на курсовых обедах большею частью в хорошо известном всем петербуржцам ресторане Донона на Мойке.

Проходили года, молодость сменялась зрелою порою, за нею незаметно подходила и пора, приближавшая к старости, а эта связь с Лицеем не только не слабла, но как-то незаметно все больше и больше укреплялась, и мне пришлось все глубже и глубже входить в интересы Лицея, отдавать ему все больше и личного участия, а когда на мою долю выпалю занять известное положение в Министерстве Финансов, как-то невольно и незаметно судьба поставила меня в необходимость оказывать Лицею и деятельную помощь всякий раз, как в его управлении встречалась необходимость в той или иной форме правительственной помощи в разрешении отдельных вопросов его жизни.

Естественно, поэтому, что мне же пришлось принять и прямое участие в управлении Лицеем, когда в силу необходимости придать Лицею более отвечающее его нуждам и соответствующее требованиям времени устройство его учебной части и его административной организации, — уже в царствование Императора Николая 2-го, — ему была придана своеобразная организация вне всякой зависимости от какого-либо ведомства, с **{24}** подчинением его ведению особого Совета из бывших питомцев Лицея, утверждаемых в этом звании Высочайшею властью — я вошел в состав этого Совета и оставался в нем до самой революции.

На мою же долю выпала и печальная роль принять прямое участие в безнадежных попытках спасти Лицей от неизбежного закрытия его властью Временного правительства, в самом начале, его деятельности, когда оно предполагало еще управлять судьбами России, игнорируя

народившееся рядом с ним действительное «правительство» в лице Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

В октябре 1911-го года Лицей собирался торжественно отпраздновать свой 100-летний юбилей.

Приготовления к этому дню начаты были еще задолго.

В числе их бывшие питомцы Лицея остановились на мысли поднести Лицею мраморный бюст Государя, как Покровителя Лицея, и на меня, как часто имевшего возможность видеть Государя, на моих ежедневных докладах, возложено было осведомиться, согласится ли Государь разрешить, чтобы избранный им самим скульптор мог получить у него нисколько сеансов, чтобы добросовестно исполнить свой труд.

Согласие Государя было дано с величайшею готовностью еще задолго до убийства Столыпина и назначения меня Председателем Совета Министров. Государь разрешил мне при этом сказать Попечителю Лицея А. С. Ермолову и Совету Лицея, что Он «не может отказать в этой просьбе, потому что Он желает этим показать лицеистам насколько Он ценит все прошлое Лицея и с каким доверием смотрит он на исключительную преданность лицеистов заветам Лицея».

Из представленного Государю списка, скульпторов, трудами которых можно было воспользоваться в данное время, Он особенно остановился на молодом скульпторе, Академике Кустодиеве, принимавшем самое деятельное участие в качестве ближайшего сотрудника Репина в написании его знаменитой картины торжественного юбилейного же Собрания Государственного Совета 1901-го года. Кустодиев был тогда еще мало известен как скульптор, но Государь заметил мне, что, не стесняя бывших лицеистов в выборе художника, Он видел недавно перед тем самого И. Е. Репина и слышал от него, что он считает Кустодиева исключительно даровитым скульптором и предсказывает ему великую будущность.

При моих же докладах выяснилось, что Государь предполагает пробыть в 1911-м году сравнительно долго осенью в **{25}** Крыму и предлагает отложить торжественное празднование столетия до января 1912 года. Так было затем окончательно решено уже после приезда Государя в Ливадию в начале сентября 1911 года, после убийства Столыпина.

В начале декабря был принят Попечитель Лицея Ермолов, установлены все подробности празднования, и Государь широко исполнил данное им обещание отметить юбилей Лицея, как выдающееся явление в нашей жизни.

Без преувеличения можно оказать, что, несмотря на весь привычный блеск устраиваемых нашим двором в ту пору приемов и празднеств, Лицейский юбилей был на самом деле событием, выдающимся по красоте и оказанному, по инициативе Государя, вниманию. Не одни лицеисты не забудут того, что они пережили в течение почти целой недели в начале января этого года. Для меня же лично, несмотря на всю обремененность в ту пору занятиями эти дни были как бы личным моим праздником, настолько Государь пользовался каждым случаем, чтобы сказать мне, как Ему отрадно быть среди лицеистов и как жаль Ему, что состояние здоровья Императрицы помешало ей и Великим Княжнам присутствовать на этих торжествах.

И на самом деле, торжественный Акт в Лицее 7-го января; парадный обед в Зимнем дворце 9-го; спектакль в Мариинском театре в присутствии всего двора и массы приглашенных 11-го; бал, устроенный

лицеистами в самом Лицее 13-го; и товарищеский обед для всех съехавшихся лицеистов и депутации, устроенный в помещении Дворянского Собрания 15-го января; множество приветствий, полученных от всех ученых и учебных заведений и, в особенности признание заслуг Лицея перед родиною, каким оно выразилось в Высочайшей грамоте, дарованной Лицею Государем в день акта, — все это закончило в поразительной красоте и действительно далеко вышедшей за пределы обычной официальной торжественности столетнее существование Лицея не дало каждому из нас какое-то, трудное передаваемой чувство гордости от сознания того, что мы принадлежим Лицею и вышли из его стен.

Кому из нас могло придти в голову, что всего через короткие пять лет, в марте 1917 года, на заре, так называемого революционного обновления России, одним из первых актов разрушения будет разрушение именно Лицея, и притом по одному только соображению — уничтожить хотя бы и «привилегированное» учебное заведение, хотя бы оно и было замечательным рассадником знаний и научной подготовки к честному труду.

{26} Быстро миновали праздничные дни, и на смену их также быстро пришли будни с их заботами, осложнениями и печалями. В эту пору последние выразились в новом для меня явлении — неудовольствии Государя на указанные уже мною выше явления, которые не могли, конечно, долго оставаться скрытыми и рано или поздно, но должны были выйти наружу и поставить передо мною лично, как и перед всем правительством, каково ни было различие во взглядах среди отдельных его представителей, трудно разрешимую, или скорее всего, просто неразрешимую задачу.

Первое ясное проявление неудовольствия Государя на кампанию печати против Распутина проявилось в половине января 1912-го года. Мне приходилось в ту пору постоянно видаться с Макаровым, чтобы уславливаться об организации выборов в Государственную Думу. В ту пору он еще не подпал влиянию своих выборных сотрудников, — Харузина и Черкаса — охотно советовался обо всем со мною и нисколько не отстранял меня от выборного производства, как это скоро произошло, но напротив того искал моего совета и поддержки. Макаров в ту пору был нездоров, не выходил из дома, и я пошел к нему — это было как-то в воскресенье вечером, — на его казенную квартиру на Морской.

Я застал его в очень угнетенном настроении. Он только что получил очень резкую по тону записку от Государя, положительно требующую от него принятия «решительных мер к обузданию печати» и запрещение газетам печатать что-либо о Распутине. В этой записке была приложена написанная в еще более резких выражениях записка о том же от 10-го декабря 1910 г. на имя покойного Столыпина, прямо упрекавшая последнего в слабости и бездеятельности в отношении печати и «очевидном нежелании остановить растлевающее влияние подбором возмутительных фактов».

Ясно, что покойный Столыпин, получивши эту записку, имел по поводу ее объяснение с Государем, которое кончилось для него благоприятно, и Государь, никогда не выдерживавший прямых возражений, дал ему благоприятный ответ, а самую записку взял обратно. Макаров буквально не знал, что делать. Я посоветовал ему при первом же всеподданнейшем докладе объяснить Государю всю неисполнимость его

требований, всю бесцельность уговоров редакторов не касаться этого печального места и еще большую бесцельность **{27}** административных взысканий (запрещение розничной продажи и т. п.) только раздражающих печать и все общественное мнение и создающих поводы к разным конфликтам с Правительством и, наконец, полнейшую безнадежность выработки такого законопроекта о печати, о котором мечтали наши крайние правые организации и который должен был облечь Правительство какими-то сверхъестественными полномочиями.

Я предварил его, что Государь уже заговаривал со мною об этом, и я высказал Ему тогда же все эти мысли. Если бы доклад Макарова встретил недружелюбный прием, а тем более резкий отпор, я советовал ему просить об увольнении от должности.

Наш разговор перешел затем на распространяемые с ссылкою на Гучкова письма Императрицы и Великих Княжен, и мы оба высказали предположение, что письма апокрифичны и распространяются с явным намерением подорвать престиж Верховной власти, и что мы бессильны предпринять какие бы то ни было меры, так как они распространяются не в печатном виде, и сама публика наша оказывает им любезный прием, будучи столь падкою на всякую сенсацию. Тут Макаров не обмолвился мне ни одним словом о происшедшем накануне или за два дня крупном скандале между Распутиным и его недавними друзьями и покровителями Саратовским епископом Гермогеном и знаменитым Иеромонахом Илиодором, незадолго перед тем совместно посетившими меня по делу об издании Листков Почаевской Лавры.

Не знал ли еще об этом Макаров или не хотел со мною говорить, но уже на следующий день, 17-го января, при посещении нас разными людьми, по случаю дня рождения моей жены, — только и было разговоров что об этом скандале. Как всегда рассказчики украшали все повествование разными небылицами и преувеличениями, но затем сущность инцидента стала общеизвестна во всей своей отвратительной неприглядности. Оказалось, что Гермоген вызвал к себе Распутина и принял его в своем Ярославском подворье на Васильевском Острове, в присутствии Илиодора. Оба они стали упрекать его в его развратной жизни, в его посещениях Царского Села и резко осуждали его за его поведение, говоря, что он губит Государя и его семью, что газетные статьи топчут в грязь то имя, которое должно быть священно для всех, и требовали от него клятвы, что он немедленно уедет к себе в деревню в село Покровское, Тобольской губернии, и больше оттуда не вернется.

Распутин стал **{28}** горячиться и браниться, Илиодор дал полную волю своему неукротимому нраву, брань перешла в драку, и едва ли не закончилась бы удушением Распутина, если бы за него не заступился присутствовавший при сцене юродивый Митя Козельский. Распутин с трудом вырвался из рук своих приятелей, выбежал на улицу в растерзанном виде и стал рассказывать направо и налево, что его хотели оскопить. Гермоген тут же послал Государю телеграмму с просьбою об аудиенции, намереваясь раскрыть перед ним весь ужас создающегося положения, а тем временем покровители Распутина, а может быть сам «старец», поспешили лично передать о всем случившемся. По крайней мере, уже 17-го января днем Саблер получил от Государя телеграмму Гермогена с резкою собственноручною надписью, что приема дано не будет, и что Гермоген должен быть немедленно удален из Петербурга, и ему назначено пребывание где-нибудь подальше от Центра. Смущенный всем случившимся Саблер был у Макарова, потом приехал ко мне

посоветоваться, что ему делать, и в тот же день поехал в Царское Село, пытаясь смягчить гневное настроение. Ему это не удалось. В тот же день, около 6-ти часов он сказал мне по телефону, что встретил решительный отказ, что все симпатии на стороне Распутина, на которого — как ему было сказано — «напали, как нападают разбойники в лесу, заманивши предварительно свою жертву в западню», что Гермоген должен немедленно удалиться на покой, в назначенное ему место, которое Саблер выбрал в одном из монастырей Гродненской губернии, где он будет, по крайней мере, прилично помещен», а Илиодору приказано отправиться во Флорищеву пустынь около гор. Горбатова, где и пребывать, не выходя из ограды монастыря, и отнюдь не появляться ни в Петербурге, ни в Царицыне. Физического насилия над Илиодором, а тем более Гермогеном употреблять не позволено, во избежание лишнего скандала, во дано понять, что в случае ослушания не остановятся и перед этим, так как недопускают возможности изменения твердо принятого решения и находят даже, что все явления последнего времени представляются естественным проявлением «слабости Столыпина и Лукьянова, которые не сумели укротить Илиодора, явно издевавшегося над властью».

Весь этот инцидент еще более приковал внимание Петербурга. к личности Распутина.

В обществе, в Государственной Думе и Совете только и говорили, что об этом, и меня вся эта отвратительная история **{29}** держала в нервном состоянии. Дела было масса, посещений разговоров еще больше; каждый только и говорил о событии дня, а время тянулось без всяких проявлений готовности опальных духовных подчиниться Высочайшей Воле...

Саблер продолжал расточать сладкие речи, о том, что все устроится, не нужно только натягивать струну; газеты печатали массу мелких заметок. Государь со мною не заговаривал о происшествии и даже наводимый мною на этот предмет ловко уклонялся. Так прошла целая неделя. Гермоген в четверг послал вторичную телеграмму Государю, прося Его смягчить Его требование и дать ему хотя бы некоторую отсрочку в отъезд, в виду его болезненного состояния, и сослался на то, что последнее может быть удостоверено доктором Бадмаевым, которого Государь знает лично с давних пор, когда еще в начали девятисотых годов, при Гр. Витте, примерно в 1901 или 1903 г.г. при участии князя Ухтомского, начиналась активная политика на дальнем Востоке. Бадмаеву была, даже выдана, по докладу Витте из Государственного Банка ссуда в 200 т. рублей, для пропаганды среди бурят и монголов в пользу России.

Эта телеграмма, также как и первая, осталась без ответа...

В воскресенье, 22-го января, утром, приехал к Макарову генерал Дедюлин вместе с Саблером и, в качестве Генерал-Адъютанта, передал повеление Министру Внутренних Дел, потребовав, чтобы Гермоген выехал в тот же день. Дедюлин передал при этом, что Государь не допускает более никаких отговорок и, при неповиновении Гермогена, повелел Градоначальнику вывезти его силою. Саблер все еще пытался умиротворять и предложил послать к Гермогену двух епископов, в том числе Сергея Финляндского, нынешнего заместителя местоблюстителя Патриарха Московского, усовестить его и склонить его добровольно подчиниться Царскому гневу.

Посылка посольства не состоялась, потому что около 1 часа дня,

тот же Дедюлин передал Макарову по телефону просьбу доктора Бадмаева разрешить ему повидаться с Гермогеном и попытаться уговорить его. Разрешение было дано, но до 7-ми часов вечера не были известны его результаты, и распоряжение было дано двоякое: на случай упорства, Начальнику Охранного. Отделения Генералу Герасимову приказано быть у Гермогена к 11-ти часам вечера, с экипажем, посадить Гермогена в него даже силою и отвезти на Варшавский вокзал и поместить в особый вагон, прицепленный к 12-часовому поезду. **{30}**

В случае же готовности подчиниться, приказано только наблюдать за отъездом и не допускать ослушания в последнюю минуту. Около 8-ми часов Бадмаев сообщил Макарову по телефону, что Гермоген подчинился, и, действительно, в $11^1/_2$ ч. вечера Макарову сообщили по телефону с Варшавского вокзала, что Гермоген приехал с юродивым Митей Козельским. Увидевши на вокзале, жандармского генерала Соловьева, он хотел было вернуться домой, но тут вмешался Митя Козельский, стал дергать Епископа за рукав, громко повторяя много раз фразу: «Царя нужно слушаться, воле Его повиноваться». Епископа усадили в вагон, и поезд спокойно отошел, с опозданием всего на 5 минут. При отходе поезда почти никого не было, какая-то женщина начала было причитать. Другая бросилась перед вагоном на колени, но ожидавшаяся демонстрация так и не состоялась. Замечательно при этом то, что Митю Козельского приказано было еще неделю тому назад выслать по этапу, но Градоначальник заверил Министра Внутренних Дел, что он скрылся из города и его нет в столице, между тем, как он преспокойно проникал к арестованному Гермогену и открыто приехал с ним на вокзал. Вероятнее всего, что он просто жил на подворье Гермогена.

Меня вся эта история непосредственно не затрагивала; ко мне никто не являлся, никаких Высочайших повелений я не получал и был ежеминутно в курсе дела только потому, что мне все сообщал Макаров.

В тот же день, воскресенье 22-го января, случилось еще одно небольшое событие, раскрывшее мне одну из карт той скрытой игры, которая окружала меня.

Просматривая ежедневно присылаемую мне Начальником Главного Управления по делам печати, через Министра Внутренних Дел, папку сообщений о наиболее интересных эпизодах нашей внутренней жизни, я обратил внимание на копию перлюстрированного письма Члена Государственного Совета. Д. И. Пихно к некой Могилевской (или Могиленской) в Киев, от 16-го января, и в нем прочитал следующую фразу: «сегодня видел Кривошеина, который сказал мне, между прочим, Коковцов думает одно, говорит другое, а делает третье, и полагает, что ему в Совете верят, и что он всех проведет».

Эта фраза любопытна как образчик отношения Кривошеина. В личных проявлениях со мною он был любезен и даже льстив до приторности, поминутно заезжал, расспрашивал обо всем, получал от меня самые откровенные ответы и **{31}** направо и налево говорил громко, что такой способ отношений Председателя Совета к Министрам, как проявляемый мною, представляет собою идеал корректности и благородства, к которому он всегда стремился. В таком же собрании сведений я нашел еще извлечение из письма неизвестного лица к Архимандриту Троицко-Сергиевской Лавры Феодору, с рассказом о том, что в Москве открыто говорят, что в одной из типографий была приготовлена большая брошюра, разоблачающая Распутина, но явилась

полиция, отобрала все напечатанные листы, рассыпала шрифт и уничтожила текст; что этим крайне раздосадована Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, которая читала эту брошюру и надеялась на то, что ее распространение прольет истинный свет на Распутина и отдалит его от Царского Села.

В течение наступившей недели удалось разыскать скрывшегося Илиодора. Его нашли недалеко от Петербурга, пробирающегося по Московскому тракту, посадили его в поезд и отвезли в Флорищеву пустынь и сдали «под начало» Архимандриту монастыря.

На время инцидент оказался исчерпанным, но печать не унималась. Все описанные эпизоды переносились на газетные столбцы, которые не переставали твердить о роли Распутина, а члены Государственной Думы постоянно твердили, о необходимости удалить его из столицы, чтобы положить конец всему возбужденно.

29-го января, в воскресенье, в Зимнем Дворце был парадный обед, по случаю приезда Черногорского короля. После обеда Государь долго разговаривал с Макаровым, как выяснилось потом, все по поводу Распутина, и вторично высказал ему свое неудовольствие на печать, опять требуя обуздать ее, и сказал даже: «Я просто не понимаю, неужели нет никакой возможности исполнить мою волю», и поручил Макарову обсудить со мною и Саблером, что следует предпринять. Тут впервые я оказался уже открыто пристегнутым к этой печальной истории. В то же самое время в Концертном Зале, Императрица Александра Феодоровна разыскивала меня через Гофмаршала Гр. Бенкендорфа и очень долго и крайне сердечно разговаривала со мною обо всем, о чем угодно, не упоминая ни словом, ни намеком на Распутина.

Мой медовый месяц, видимо, еще не прошел, и я не предполагал, что всего через две недели ему наступит неожиданный и резкий конец. На следующий день, в понедельник, 30-го числа, вечером, у меня **{32}** собрались Макаров и Саблер, чтобы обсудить, что можно сделать для исполнения поручения Государя. Нам не пришлось. долго спорить. Я опасался всего более осложнений со стороны Саблера, назначенного на обер-прокурорское место, конечно, не без влияния Распутина, успевшего провести в антураж Саблера и своего личного друга Даманского, назначенного незадолго перед тем на должность Товарища Обер-Прокурора. По городу ходили даже слухи о том, что Распутин рассказывал всем и каждому, что Саблер поклонился ему в ноги, когда тот сказал ему, что: «поставил его в оберы». Об этом говорил и Илиодор в его воспоминаниях, напечатанных под заглавием «Святой Чорт».

Ожидания мои, однако, не сбылись, Саблер прежде всего и самым решительным тоном заявил, что история Распутина подвергает Государя величайшей опасности, и что он не видит иного способа предотвратить ее, как настаивать на отъезде его совсем в Покровское и готов взять на себя почин не только повлиять в этом смысле на самого Распутина, но и доложить Государю самым настойчивым образом о том, что без этого ничего сделать нельзя. Правда, при этом Саблер поспешил оговориться, что ему не легко исполнять эту миссию по отношению к старцу, с которым у него «никаких отношений нет», но близкие его сослуживцы знакомы с ним, и поэтому он надеется уговорить Распутина.

Всем нам казалось при этом, что для успеха дела важно привлечь на нашу сторону Бар. Фредерикса, преданность которого Государю, личное благородство и отрицательное отношение всякой нечистоплотности облегчало нам наше представление Государю.

В тот же вечер, около 12-ти часов мы поехали с Макаровым к Фредериксу. Саблер отказался нас сопровождать, сказавши, что его ждут с нетерпением его друзья, желающие узнать результаты нашего совещания.

С Бароном Фредериксом наша беседа была, очень коротка. Этот недалекий, но благородный и безупречно честный человек, хорошо понимал всю опасность для Государя Распутинской истории и с полной готовностью склонился действовать в одном с нами направлении. Он обещал говорить с Государем при первом же свидании, и Макаров и я настойчиво просили его сделать это до наших очередных докладов, — Макарова в четверг, а моего в пятницу, так как к его докладу Государь отнесется проще, чем к нашему, будучи уже **{33}** раздражен в особенности против Макарова, за его отношение к печатным разоблачениям, и несомненно не доволен и мною за то, что я высказал Ему еще ране те же мысли по поводу мер воздействия на печать.

В воскресенье 1-го февраля вечером Бар. Фредерикс сказал мне по телефону по-французски: «Я имел длинный разговор сегодня; очень раздражены и расстроены и совсем не одобряют нашу точку зрения. Жду Вас до пятницы».

Я приехал к нему в среду днем и застал старика в самом мрачном настроении. В довольно бессвязном пересказе передал он мне его беседу, которая ясно указывала на то, что Государь крайне недоволен всем происходящим, винит во всем Государственную Думу и, в частности, Гучкова, обвиняет Макарова в «непростительной слабости», решительно не допускает какого-то ни было принуждения Распутина к выезду и выразился даже будто бы так: «сегодня требуют выезда Распутина, а завтра не понравится кто-либо другой и потребуют, чтобы и он уехал». На кого намекал Государь, Фредерикс так и не понял. Закончилась наша беседа тем, что Бар. Фредерикс все же выразил надежду, что Макарову и мне удастся уговорить Государя, а сам он предполагает переговорить лично с Императрицей. Доклад Макарова в четверг кончился ничем. При первых словах Макарова, посвященных Распутинскому инциденту, Государь перевел речь на другую тему, сказавши ему: «мне нужно обдумать хорошенько эту отвратительную сплетню, и мы переговорим подробно при Вашем следующем докладе, но я все-таки не понимаю, каким образом нет возможности положить конец всей этой грязи».

Ту же участь имели и мои попытки разъяснить этот вопрос на следующий день — в пятницу. Я успел, однако, высказать подробно, какой страшный вред наносит эта история престижу Императорской власти и насколько неотложно пресечь ее в корне, отнявши самые поводы к распространению невероятных суждений. Государь слушал меня молча, с видом недовольства, смотря по обыкновению в таком случае в окно, но затем перебил меня словами: «Да, нужно действительно пресечь эту гадость в корне, и я приму к этому решительные меры. Я Вам окажу об этом впоследствии, а пока — не будем больше об этом говорить. Мне все это до крайности неприятно». Скоро мне пришлось узнать, на что именно намекал Государь. Саблер скрыл от меня, что Государь приказал ему достать из Синода дело по исследованию Епископом Тверским, бывшим **{34}** Тобольским, Антонием, поступившего на Распутина обвинения в принадлежности его к секте хлыстов.

Дознание на месте начато было производством местною Епархиальной властью, приостановлено и затем передано для исследования Епископу Антонию.

Я этого дела не видал, и содержания документов не знал. Но это дело, затребованное от Саблера, передано было Государем Генерал-Адъютанту Дедюлину, с повелением отвезти его к председателю Государственной Думы Родзянко для рассмотрения и представления затем непосредственно Государю его личного заключения. Передавая это дело и Высочайшее повеление Родзянко, Дедюлин прибавил на словах, что Е. И. В. уверен, что Родзянко вполне убедится в ложности всех сплетен и найдет способ положить им конец. Кто посоветовал Государю сделать этот шаг — я решительно не знаю; допускаю даже, что эта мысль вышла из недр самого Синода, но результат оказался совершенно противоположный тому, на который надеялся Государь.

М. В. Родзянко немедленно распространил по городу весть об «оказанной ему Государем чести», приехал ко мне с необычайно важным видом и сказал, между прочим, что его смущает только одно: может ли он требовать разных документов, допрашивать свидетелей и привлекать к этому делу компетентных людей. Я посоветовал ему быть особенно осторожным, указавши на то, что всякое истребование документов и тем более расспросы посторонних людей, составить уже предмет расследования, вызовут только новый шум и могут закончиться еще большим скандалом, между тем как из его собственных слов можно сделать только один вывод, что чему лично поручено только — ознакомиться с делом и высказать его непосредственное заключение, без всякого отношения к тому, какое направление примет далее этот вопрос, по усмотрению самого Государя. Я прибавил, что, во всяком случае, я советовал бы ему сначала изучить дело, доложить Государю его личное заключение и только после этого доклада испросить разрешение на те или иные действия. Иначе он может нарваться на крупную неприятность и скомпрометировать то доверие, которое оказано Монархом Преседателю Государственной Думы.

Родзянко, по-видимому, внял моему голосу, но так как он все-таки сознавал, что справиться один с таким делом не может, то привлек к нему Членов Думы Шубинского и Гучкова, и они втроем стали изучать дело и составлять **{35}** всеподданнейший доклад. Ни дела, ни доклада, я не видел, но шум и пересуды около него не унимались. Родзянко рассказывал направо и налево о возложенном на него поручении и, не стесняясь, говорил, что ему суждено его докладом спасти Государя и Россию от Распутина, носился со своим «поручением», показал мне однажды 2—3 страницы своего чернового доклада, составленного в самом неблагоприятном для Распутина смысле, и ждал лишь окончательной переписки его и личного своего доклада у Государя. Как видно будет дальше, его соображениям не суждено было сбыться, и едва не произошло даже крупной неприятности.

Под влиянием всех рассказов Родзянко толки и сплетни не только не унимались, но росли и крепли. Приближалось обсуждение в Общем Собрании росписи на 1912 год, и опять Распутинский вопрос вырос во весь свой рост. Еще до начала общих прений по бюджету (28-го февраля) предварительное рассмотрение сметы Синода в бюджетной Комиссии выросло в целое событие: Гучков, Владимир Львов (думский кандидат в Обер-Прокуроры), Милюков, Сергей Шидловский и многие другие приняли участие в дебатах, и медовые речи Саблера, не притупили стрел их злобы и печального для России остроумия. Среди этой атмосферы напряженности я получил в понедельник, 12-го февраля, через Е. А. Нарышкину, приглашение к Императрице Марии Феодоровне.

$1^1/_2$ - часовая беседа, веденная утром 13-го февраля, была целиком посвящена все тому же Распутину. На вопрос Императрицы, я доложил Ей с полною откровенностью все, что знал, не скрыл ничего и не смягчал никаких крайностей создавшегося грозного положения, вынесшего на улицу интимную жизнь Царской Семьи и сделавшего самые деликатные стороны этой жизни предметом пересуд всех слоев населения и самой беспощадной клеветы. Императрица горько плакала, обещала говорить с Государем, но прибавила: «Несчастная моя невестка не понимает, что она губит и династию и себя. Она искренно верит в святость каждого проходимца, и все мы бессильны отвратить несчастие».

Ее слова оказались пророческими.

В тот же самый день я был поражен получением письма от Распутина, содержавшего в себе, буквально следующее:

Собираюсь уехать совсем, хотел бы повидаться, чтобы обменяться мыслями; обо мне теперь много говорят — назначьте когда. Адрес Кирочная 12 у Сазонова». Своеобразная **{36}** орфография, конечно, мною не удержана. Первое движение мое было вовсе не отвечать на письмо и уклониться от этого личного знакомства. Но подумавши, я решил все-таки принять Распутина как потому, что положение Председателя Совета обязывало меня не уклоняться от приема человека, взбудоражившего всю Россию, так и потому, что при неизбежном объяснении с Государем мне важно было сослаться на личное впечатление. Не без влияния было и мое опасение вызвать неудовольствие со стороны Государя за то, что я не принял человека, просившего быть принятым. Теплилась у меня и надежда на возможность доказать этому человеку, какую яму роет он Царю и Его власти тем, что повсюду растут и углубляются слухи о его близости к Царскому Селу.

Решившись на этот шага, я просил зятя моего Мамантова, давно знавшего Распутина, присутствовать при нашей встрече для того, чтобы был свидетель ее, имеющий возможность, в случае надобности, подтвердить то, что происходило, или опровергнуть неизбежные небылицы. Я назначил прием вечером в среду, 16-го февраля, довольно поздно, так как провел весь день в Думской Бюджетной Комиссии. Эта первая встреча оставила во мне самое тягостное впечатление. Впоследствии, уже в 1915 году, во время тяжкой, предсмертной болезни Мамантова, а встретил Распутина во второй и последний раз на квартире покойного, но прошел молча мимо него.

Я говорю здесь, после многих лет, протекших с того времени, что всякие росказни о том, что Распутин знал меня раньше, — суть чистейшая выдумка или злонамеренная ложь. Лжет и Илиодор в своих воспоминаниях «Святой чорт», говоря от имени Распутина или своего собственного, что я знал этого человека и раньше. Я его никогда до того не видел, и к чести покойного моего зятя Мамантова должен сказать, что и он не только не настаивал, но даже никогда не предлагал мне устроить встречу, всегда одобрял мою полную отчужденность от подобных искательств и только частенько в шутку говорил: «Эх, Генерал (так он всегда обращался ко мне в шутку), не удержишься ты на своей власти при твоей чистоплотности, не такое теперь время», а когда я возражал ему, что и сам он на предложение Распутина, быть назначенным не то Обер-Прокурором Синода, не то Министром Народного Просвещения, всегда открещивался от такою назначения, он отвечал мне: «Я — другое дело, я — не для высоких постов, да и ни стоит их занимать, все равно долго не удержишься».

{37} Когда Р. вошел ко мне в кабинет и сел на кресло, меня поразило отвратительное выражение его глаз. Глубоко сидящие в орбите, близко посаженные друг к другу, маленькие, серо-стального цвета, они были пристально направлены на меня, и Р. долго не сводил их с меня, точно он думал произвести на меня какое-то гипнотическое воздействие или же просто изучал меня, видевши меня впервые. Затем он резко закинул голову кверху и стал рассматривать потолок, обводя его по всему карнизу, потом потупил голову и стал упорно смотреть на пол и — все время молчал. Мне показалось, что мы бесконечно долго сидим в таком бессмысленном положении, и я, наконец, обратился к Р., сказавши ему: «Вот Вы хотели меня видеть, что же именно хотели Вы сказать мне. Ведь так можно просидеть и до утра».

Мои слова, видимо, не произвели никакого впечатления. Распутин как-то глупо, деланно, полуидиотски осклабился, пробормотал: «Я так, я ничего, вот просто смотрю, какая высокая комната» и продолжал молчать и закинувши голову кверху, все смотрел на потолок. Из этого томительного состояния вывел меня приход Мамантова. Он поцеловался с Распутиным и стал расспрашивать его, действительно ли он собирается уехать домой. Вместо ответа Мамантову, Распутин снова уставился на меня в упор обоими холодными, пронзительными глазами и проговорил скороговоркой: «Что ж уезжать мне, что ли. Житья мне больше нет и чего плетут на меня». Я сказал ему: «Да, конечно, Вы хорошо сделаете, если уедете. Плетут ли на Вас, или говорят одну правду, но Вы должны понять, что здесь не Ваше место, что Вы вредите Государю, появляясь во дворце и в особенности рассказывая о Вашей близости и давая кому угодно пищу для самых невероятных выдумок и заключений». «Кому я что рассказываю, — все врут на меня, все выдумывают, нешто я лезу во дворец, — зачем меня туда зовут» — почти завизжал Распутин.

Но его остановил Мамантов, своим ровным, тихим, вкрадчивым голосом: «Ну, что греха таить, Григорий Ефимович, вот ты сам рассказываешь лишнее, да и не в том дело, а в том, что не твое там место, не твоего ума дело говорить, что ты ставишь и смещаешь Министров, да принимать всех, кому не лень идти к тебе со всякими делами, да просьбами и писать о них, кому угодно. Подумай об этом хорошенько сам и скажи по совести, из-за чего же льнут к тебе всякие генералы и большие чиновники, разве не из-за того, что ты берешься хлопотать за них? А разве тебе **{38}** даром станут давать подарки, поить и кормить тебя? И что же прятаться — ведь ты же сам сказал мне, что поставил Саблера в Обер-Прокуроры, и мне, же ты предлагал сказать Царю про меня, чтобы выше меня поставил. Вот тебе и ответ на твои слова. Худо будет, если ты не отстанешь от дворца, и худо не тебе, а Царю, про которого теперь плетет всякий кому не лень языком болтать».

Распутин во все время, что говорил Мамантов, сидел с закрытыми глазами, не открывая их, опустивши голову, и упорно молчал. Молчали и мы, и необычайно долго и томительно казалось это молчание. Подали чай. Распутин забрал пригоршню печенья, бросил его в стакан, уставился опять на меня своими рысьими глазами. Мне надоила эта попытка гипнотизировать меня, и я ему сказал просто: «напрасно Вы так упорно глядите на меня, Ваши глаза не производят на меня никакого действия, давайте лучше говорить просто и ответьте мне, разве не прав Валерий Николаевич (Мамантов), говоря Вам то, что он сказал. Распутин глупо улыбнулся, заерзал на стуле, отвернулся от нас обоих в сторону и сказал: «ладно, я уеду, только уж пущай меня не зовут

обратно, если я такой худой, что Царю от меня худо».

Я собирался было перевезти разговор на другую тому. Стал расспрашивать Распутина о продовольственном деле в Тобольской губернии — в тот год там был неурожай, — он оживился, отвечал очень здраво, толково и даже остроумно, но стоило только мне сказать ему: «вот, так-то лучше говорить просто, можно обо всем договориться», как он опять съежился, стал закидывать голову или опускал ее к полу, бормотал какие-то бессвязные слова «ладно, я худой, уеду, пущай справляются без меня, зачем меня зовут сказать то, да другое, про того, да про другого....» Долго опять молчал, уставившись на меня, потом сорвался с места, и сказал только «ну, вот и познакомились, прощайте» и ушел от меня. Мы остались с Мамантовым вдвоем, пришла в кабинет жена и стала меня расспрашивать о моих впечатлениях. Помню хорошо и теперь то, что я сказал тогда по горячим следам, что повторил через день Государю и повторяю себе и теперь.

По-моему Распутин типичный сибирский варнак, бродяга, умный и выдрессировавший себя на известный лад простеца и юродивого и играющий свою роль по заученному рецепту.

По внешности ему не доставало только арестантского армяка и бубнового туза на спине.

{39} По замашкам — это человек способный на все. В свое кривляние он, конечно, не верит, но выработал себе твердо заученные приемы, которыми обманывает как тех, кто искренно верит всему его чудачеству, так и тех, кто надувает самого своим преклонением перед ним, имея на самом деле в виду только достигнуть через него тех выгод, которые не даются иным путем.

На следующий день в четверг, 16-го февраля, у нас был музыкальный вечер, с большим количеством приглашенных. В числе последних был и В. Н. Мамонтов, Улучивши свободную минуту, он сказал мне: «а ведь миленький, — так называл он Распутина, — (подражая его привычке говорить всем «милой, миленькой», уже доложил в Царском Селе о том, что был у тебя, и что ты уговаривал его уехать в Покровское, и на вопрос мой (по телефону) «как же там отнеслись к этому совету и намерен ли он уехать», Распутин ответил: «что сказал, то я и сделаю, а только там серчают, говорят, зачем суются куда не спрашивают, кому какое дело, где я живу, ведь я не арестант».

Это сообщение убедило меня в том, что мне следует на утро же самому доложить о непрошеном визите и передать обо всем, что произошло, чтобы не давать повода обвинять меня в каком бы то ни было действии за спиной.

Я так и поступил. Обычный мой доклад шел своим обычным ходом, все одобрялось и утверждалось, настроение было самое благодушное, и ничто не указывало на то, что было малейшее неудовольствие на меня.

Я спросил Государя, могу ли я задержать его еще на несколько минут докладом одного вопроса, не имеющего прямого отношения к делам Министерства или, Совета Министров и получил ответ: «сколько угодно, так как до парада кадетского корпуса осталось еще более получаса, и Я нисколько не тороплюсь».

Я передал в самой большой точности все, что произошло за последние дни, начиная с получения мною письма 13-го числа с просьбою о приеме, показал это письмо, в устранение предположения, что я сам вызвал Распутина на свидание, и повторил во всех

подробностях всю происходившую между нами, в присутствии постороннего человека беседу, не скрывши от Государя высказанного мною Распутину, что все разговоры, основанные на его же поведении и на собственных его рассказах относительно посещения им Двора, указывающие на какую-то **{40}** близость его к Высочайшим Особам, наносят величайший вред Государю и всей Его семье, также как не скрыл я и того, что у меня осталось впечатление, что Распутин сам это отлично понимает и, видимо, вполне искренно сказал мне, что хочет уехать в деревню и больше не показываться на глаза. Государь ни разу не прервал меня и только, когда я кончил мой рассказ, спросил меня: «Вы не говорили ему, что вышлете его, если он сам не уедет» и, получивши мой ответ, что помимо отсутствия у меня всякого права выслать кого бы то ни было, у меня не было и повода грозить Распутину высылкою, так как он сам сказал, что давно хотел уже уехать, чтобы «газеты перестали лаяться», — Государь сказал мне, что Он этому рад, так как Ему говорили, что будто бы я и Макаров решили удалить Распутина, даже не доложивши предварительно об этом Ему, так как Ему «было крайне больно, чтобы кого-либо тревожили из-за Нас».

Потом Государь спросил меня: «а какое впечатление произвел на Вас этот «мужичок»?

Я ответил, что у меня осталось самое неприятное впечатление, и мне казалось, во все время почти часовой с ним беседы, что передо мною типичный представитель сибирского бродяжничества, с которым я встречался в начале моей службы в пересыльных тюрьмах, на этапах и среди так называемых «не помнящих родства», которые скрывают свое прошлое, запятнанное целым рядом преступлений, и готовы буквально на все, во имя достижения своих целей. Я сказал даже, что не хотел бы встретиться с ним наедине, настолько отталкивающая его внешность, неискренне заученные им приемы какого-то гипнотизерства и непонятны его юродства, рядом с совершенно простым и даже вполне толковым разговором, на самые обыденные темы, но которые также быстро сменяются потом опять таким же юродством.

Чтобы не дать повода обвинять меня в предвзятости или преувеличении, я сказал Государю, что осуждая Распутина за его стремление выставлять на показ его встречи с теми, кто оказывает ему милость, — я еще боле осуждаю тех, кто ищет его покровительства и старается устраивать свои делишки, пользуясь его кажущимся влиянием. Во все время моего доклада, Государь упорно молчал, смотрел большею частью в сторону, в окно — признак того, что весь разговор ему неприятен — а когда я закончил и сказал, что я считал, своим долгом лично доложить как было дело и предупредить новые **{41}** легенды, столь охотно распускаемые досужими вестовщиками, Государь сказал мне, что он очень дорожит такой откровенностью, но должен сказать мне, что лично почти не знает «этого мужичка» и видел его мельком, кажется не более двух-трех раз и притом на очень больших расстояниях времени.

На этом и кончилась вся наша беседа, и более я ни разу не имел случая говорить с Государем о Распутине, несмотря на то, что до моей отставки прошло еще ровно два года.

По окончании моего всеподданнейшего доклада, я вышел в переднюю одновременно с Государем. Он быстро одел легкое пальто, несмотря на то, что день был ясный, но морозный, и, спускаясь с лестницы, чтобы сесть в поданные Ему сани и ехать в Большой Дворец на смотр Кадетского Корпуса, шутливо даже извинился передо мною, что

Его экипаж подан раньше моего.

Вернувшись домой и наскоро позавтракавши, я сел за обычные занятия, сдал моему Секретарю Л. Ф. Дорлиаку всеподданнейшие доклады и стал принимать по очереди ожидавших меня людей.

Около 4-х часов, Вал. Ник. Мамантов позвонил ко мне по телефону и сказал с его обычными прибаутками, что «здесь» (т. е. нужно понимать на Гороховой у Распутина) уже известно о моем докладе и даже доподлинно известно, что кто-то (тот же Распутин) мне очень не понравился, что я отозвался очень неодобрительно о нем, и будто бы говорил то же самое, что сказал и лично ему, при нашем свидании во вторник, насчет вреда его посещений Царского Села, и что телефонная беседа закончилась таким финалом: «вот он какой, твой-то, ну что же, пущай; всяк свое знает».

На мое замечание, что меня удивляет, с какою быстротою пошла сюда весть из Царского о моем докладе, В. Ник. шутливо заметил, что тут «ничего удивительного нет, довольно было времени посмотреть на Кадет, а затем, за завтраком, рассказать все по порядку, ну, а потом, долго ли вызвать Вырубову, сообщить ей, а она сейчас же к телефону и готово дело».

Меня же это крайне удивило: я видел ясно, что влияние этого человека велико, и что мне необходимо быть особенно осторожным, и я стал нетерпеливо ждать, как будут развиваться события, которые обострялись день ото дня.

Распутин на следующей неделе действительно выехал.

{42}Печать подхватила это известие, а в «Речи» появилась даже заметка, сочувственно относящаяся к моему будто бы распоряжению о высылке его, хотя я никакого распоряжения не давал; я ждал чем выразится это на моем ближайшем докладе.

Государь не сказал ни слова, Его отношение ко мне оставалось тем же неизменно ласковым, милостивым и доверчивым, но среди приближенных замечалась большая тревога. Гр. Бенкендорф спрашивал меня два раза в течение недели, где находится Илиодор, что стало с Гермогеном, правда, ли что я удалил Распутина, и можно ли быть уверенным, что он не вернется.

Насчет Распутина и Гермогена, я мог дать точный ответ, но про Илиодора я знал только, что после его исчезновения из города, его нашли где-то на поле, недалеко от Любани, пробиравшимся пешком в сторону Москвы, вернули в Петербург и затем благополучно доставили в монастырь, и никаких других сведений у меня больше не было.

В ближайшие же дни после описанных событий, мне пришлось принять участие, еще в одном крайне щекотливом деле, а именно о распространенных А. И. Гучковым гектографированных копиях писем Императрицы Александры Федоровны и Великих Княжен к Распутину, по-видимому, от 1910 года, а может быть и от более раннего времени.

Подлинных писем я тогда не видал, и не знал, откуда попали они к Гучкову, и каким образом мог он иметь копии с них. Содержание письма Императрицы, в особенности некоторые выражения его, в роде врезавшегося в мою память. выражения: «мне кажется, что моя голова склоняется, слушая тебя, и я чувствую прикосновение к себе твоей руки», конечно могли дать повод к самым непозволительным умозаключениям, если воспроизвести их отдельно от всего изложения, но и всякий, кто знал Императрицу, искупившую своею мученическою смертью все ее вольные и невольные прегрешения, если они даже и были, и

заплатившую такою страшною ценою за все свои заблуждения, тот хорошо знает, что смысл этих слов был совсем иной. В них сказалась вся Ея любовь к больному сыну, все Ее стремление найти в вере в чудеса последнее средство спасти его жизнь, вся экзальтация и весь религиозный мистицизм этой глубоко несчастной женщины, прошедшей вместе с горячо любимым мужем и нежно любимыми детьми такой поистине страшный крестный путь.

Еще в конце января этого года, как-то вечером Макаров **{43}** позвонил ко мне по телефону и сказал, что ему нужно посоветоваться со мною, но по нездоровью он не выходит из дома. Я пошел к нему на Морскую и узнал от него, что он напал на след подлинного письма Императрицы к Распутину и при нем еще 4-х писем к нему же Великих Княжен, что эти письма находятся в руках одного человека, мне, да и ему, Макарову, совершенно неизвестного, получившего их из рук какой-то женщины, пробравшейся в монастырь к Илиодору, который передал их ей из опасения, что их могут отобрать у него при обыске. По словам Макарова, женщина эта объяснила, что Илиодор получил эти письма непосредственно от Распутина, в бытность его в гостях у него в селе Покровском, летом, по-видимому, еще 1910 г., когда оба они были еще в величайшей дружбе. Илиодор рассказал этой женщине, что Распутин вовсе не хвастался этими письмами, а просто показал их ему, а затем разрешил даже Илиодору взять их только потому, что этот последний усумнился вообще в их существовании, предполагая, что Распутин рассказывал о своей близости ко Двору, только для того, чтобы втирать очки темным людям.

Макарова чрезвычайно заботил вопрос о возможности изъять эти письма из обращения, так как он опасался, что появление их в фотографированном виде могло породить еще больший скандал, нежели печатные копии, и он просил моей помощи в этом деле. Мы условились, что Макаров постарается сначала подействовать на обладателя этих писем уговором и убеждением в необходимости изъять их из обращения, затем, если это не подействует, постараться купить их, для чего я согласился открыть необходимый кредит, если же и это не поможет, то мы условились, что он будет изыскивать всякие иные способы.

Три-четыре дня после этого нашего свидания, Макаров, все еще не выходивший из дома, опять попросил меня придти к нему, и сказал, что письма у него, что ему удалось достать их без особого труда, так как человек, в руках которого они находились, оказался вполне порядочным, и после первых же слов согласился отдать их, понимая всю опасность хранения их, и сказал даже, намекая на бывших друзей Распутина Илиодора и других, — «эти люди не задумаются просто задушить меня, если я их не отдам по их требованию».

Макаров дал мне прочитать все письма. Их было 6. Одно сравнительно длинное письмо от Императрицы, совершенно точно **{44}** воспроизведенное в распространенной Гучковым копии; по одному письму от всех четырех Великих Княжен, вполне безобидного свойства, написанных видимо под влиянием напоминаний матери, и почти одинакового свойства. Они содержали в себе главным образом упоминание о том, что они были в церкви и все искали его, не находя его на том месте, где они привыкли его видеть, и — одно письмо, или вернее листок чистой почтовой бумаги малого формата с тщательно выведенною буквою А., маленьким Наследником.

Мы стали разбираться с Макаровым, что ему делать с этими письмами. Первое его побуждение было просто спрятать их, чтобы они не попали в чьи-либо руки, но я это решительно отсоветовал ему, говоря что его могут заподозрить в каких либо недобрых намерениях. Затем он высказал намерение передать их Государю, против чего я также категорически возразил, говоря, что этим он поставит Государя в крайне щекотливое положение и наживет себе в лице Императрицы непримиримого врага, так как Государь не замедлит сказать ей о получении писем, и Императрица не простит ему этого поступка.

Я советовал Макарову попросить у Императрицы личную аудиенцию непосредственным и притом собственноручным письмом и передать ей письма из рук в руки, сказавши ей совершенно открыто, как попали он к нему.

Макаров обещал последовать моему совету, но поступил как раз наоборот. На, следующем же всеподданнейшем своем докладе, имея эти письма под рукою и заметивши, что Государь находится в отличном настроении духа, Макаров рассказал Ему всю историю этих писем и вручил конверт с ними Государю.

По собственному его рассказу, Государь побледнел, нервно вынул письма из конверта, и взглянувши на почерк Императрицы, сказал: «да, это не поддельное письмо», а затем открыл ящик своего стола и резким, совершенно непривычным Ему, жестом швырнул туда конверт.

Мне не оставалось ничего другого, как сказать Макарову:
«зачем же Вы спрашивали моего совета, чтобы поступить как раз наоборот, теперь Ваша отставка, обеспечена». Мои слова сбылись очень скоро.

{45}

ГЛАВА III.

Прения по государственной росписи на 1912 год. — Эпилог Высочайше порученного Родзянке рассмотрения дела о Распутине. — Мое посещение Москвы. — Отличный прием, оказанный мне Московским купечеством. — Инцидент с речью П.П. Рябушинского. — Возвращение в Петербург. — Запрос о беспорядках на Ленских золотых промыслах. — Инцидент с Сухомлиновым в Комиссии Обороны. — Поездка в Крым. — Доклад Государю. — Явное невнимание, выказанное мне Императрицей Александрой Феодоровной. — Моя попытка осветить Государю личность Сухомлинова.— Возвращение в Петербург. — Принятие Думою Малой морской программы. — Прием Государем членов Думы III Созыва.

Среди таких нелегких переживаний и постоянного нервного напряжения, вызванного описанными событиями, подошло время общих прений в Думе по государственной росписи на 1912 год. Рассмотрение бюджета в думской комиссии шло как-то особенно мирно и гладко. Не было почти никаких разногласий, и я по-прежнему старался давать сам объяснения по отдельным сметам, что, видимо, нравилось комиссии, так как она видела в этом знак особого внимания к ее работам.

Доклад комиссии внесен был и на этот раз без всяких разногласий с правительством, как по доходам, так и по расходам, и общие выводы отличались еще более благоприятным тоном, нежели во все предыдущие годы. Таким характером отличались и суждения председателя бюджетной

комиссии в общем собрании, который, также как и я, в моей объяснительной записке к проекту росписи посвятил немало места сравнительному обзору нашего финансового положения за пять лет 1907—1912 г.г. и не поскупился на чрезвычайно **{46}** благоприятные сопоставления того, что было, с тем, что стало. Мне пришлось выступить с моими объяснениями, таким образом, в совершенно благожелательной обстановке, которая обещала очень мирное течение всего этого сложного дела, каждый раз возбуждавшего немало страстей и еще более односторонней, предвзятой критики.

Но и на этот раз, совершенно иной характер имел второй день прений, 1-го марта. Прения открыл мой бывший подчиненный по Министерству Финансов Н. Н. Кутлер, который наговорил столько несообразностей и даже прямого вздора, что просто хотелось оставить без возражения его речь, но так как в оппозиционных кругах за ним все еще признавался авторитет в вопросе финансового управления, то пришлось волей-неволей посвятить ему несколько минут времени и разъяснить всю бессмыслицу его критики.

Следовавший непосредственно за ним мой обычный оппонент Шингарев не упустил случая, чтобы для завершения пятилетней критики по бюджету оставить для последнего года работы Думы третьего созыва, так сказать, свое завещание и беспощадную критику всего, что дала. работа Думы и правительства за пять лет их совместного существования.

В четырехчасовой речи, не приводя ни одной цифры, не ответив ни одним словом на все мои соображения, имевшие целью подвести итоги финансового хозяйства и достигнутых результатов за длинный пятилетний промежуток времени, протекшего со дня созыва Думы третьего созыва, не стесняясь нисколько выводами Председателя бюджетной Комиссии, не поскупившегося и на этот раз сделать бесспорно благоприятные выводы из нашего финансового и экономического положения, — Шингарев представил поистине беспощадный по внешности и совершенно предвзятый по существу анализ действий правительства по отношению к народному представительству и не менее несправедливый анализ всей деятельности самой Думы, которую он не постеснялся обвинить в систематическом потворстве всем действиям и стремлениям правительства, направленным в ущерб насущным интересам народа и в поощрение явного и систематического стремления свести к нулю и без того ничтожные права, предоставленные народному представительству нашими основными законами, рассчитанными на одно — ограничить его полномочия и обеспечить безнаказанность и безответственность органов власти.

Он закончил прямым обвинением Думы и верного правительству, ее большинства в соучастии с правительством и **{47}** обратился к Думе с вопросом: «что скажет она на предстоящих выборах в оправдание своего пятилетнего существования и с каким багажом предстанет она перед новыми избирателями». Мне пришлось, поэтому, на этот раз выступить против него с речью, продолжавшеюся всего 40 минут, и перебрать пункт за пунктом всю его несправедливую речь и все его обвинения и сойти с трибуны под оглушительные и единодушные аплодисменты огромного большинства Думы, закончивши таким образом большим успехом мой пятилетний труд перед этим составом Думы.

Немного времени прошло с моей первой и единственной встречи с Распутиным и моего доклада о ней Государю, — как стали распространяться по городу слухи о близком отъезде Императорской

семьи в Крым.

Государь не любил открыто говорить об этом заблаговременно, но, по целому ряду крупных дел находившихся у меня на руках и, в особенности, по делу о так называемой «малой судостроительной программе», то есть об усилении нашего боевого флота, и связанной с этим необходимостью испрошения значительных кредитов через Государственную Думу и Государственный Совет, — мне необходимо было точно знать намерения Государя и поставить мои собственные далеко не легкие действия в зависимость от испрошения Его согласия на самый способ моих отношений к Думе, и на различные намеченные мною приемы, обеспечивающие, как мне казалось, успех моих усилий по этому делу.

Я спросил поэтому в самых последних числах февраля всего за несколько дней до бюджетных прений, на сколько справедливы дошедшие до меня слухи о скором отъезде в Ливадию.

Государь ответил мне на этот раз не так, как Он говорил привычно о своих поездках: «не распространяйте, В. Н. того, что Я скажу Вам», — сказал мне Государь. «Я просто задыхаюсь в этой атмосфере сплетен, выдумок и злобы. Да, Я уезжаю и притом очень скоро, и постараюсь вернуться как можно позже».

На мое замечание, что я должен поэтому заблаговременно вопросить указаний по целому ряду дел, и в особенности по Судостроительной программе Морского Ведомства, Государь ответил мне: «это дело так близко Моему сердцу, что я заранее одобряю все, что Вы придумаете, чтобы провести его в Думе. **{48}** Григорович еще на днях просил Меня о Вашей помощи; он понимает, что без Вас ему ничего не сделать. Вы лучше умеете говорить с Думою, и Мне очень отрадно, что он так уважает Вас и говорит о Вас таким сердечным тоном, что Мне хотелось бы, чтобы Вы сами слышали это. Пишите Мне в Крым обо всем, и Я немедленно отвечу Вам, и если будить нужда видеть Меня, Я рад буду принять Вас в Ливадии.

Сейчас Я не могу дать Вам много времени, у Меня на руках куча неприятных дел, которые Я хочу покончить до выезда отсюда, чтобы не думать о них ни в пути, ни на отдыхе. Одна необходимость иметь подробные объяснения с Председателем Думы чего стоит».

Государь не дал мне никакого пояснения своих последних слов, но я знал хорошо, что Его так тревожило.

Я упомянул уже, что вскоре после Его возвращения из Ливадии к Рождеству 1911 года, в разгар газетной кампании против Распутина и думских пересуд на ту же тему, однажды днем явился к Родзянке по повелению Государя, Дворцовый Комендант Дедюлин и передал ему Дело Тобольской Духовной Консистории, в котором содержалось начало Следственного Производства по поводу обвинения Распутина в принадлежности к хлыстовской секте. Государь просил Председателя Думы ознакомиться с этим делом и представить *личное его заключение* по поводу его, выражая уверенность, что это заключение положит предел всякого рода пересудам распространившимся за последнее время.

Родзянко работал, вместе с приглашенными им уже упомянутыми мною двумя сотрудниками, около 8-и недель и, испросивши себе особую аудиенцию у Государя, повез свое заключение в Царское Село. Вся Дума отлично знала с чем ехал Председатель и нетерпеливо ожидала возвращения его. Кулуары шевелились как муравейник, и целая толпа членов Думы ожидала Родзянку в его кабинет к моменту возвращения.

Результат его доклада этой толпе не оправдал ее ожидания. Как всегда, последовал полный пересказ о том, что «ему сказано», что «он ответил, «какие взгляды высказал», «какое глубокое впечатление, видимо, произвели его слова», «каким престижем несомненно пользуется имя Государственной Думы наверху, несмотря на личную нелюбовь и интриги придворной камарильи», — все это повторилось и на этот раз, как повторялось много раз и прежде, но по главному вопросу — о судьбе письменного **{49}** доклада о Распутине, — последовал лаконический ответ: «Я представил мое заключение, Государь был поражен объемом моего доклада, изумлялся, как мог я в такой короткий срок выполнить столь объемистый труд, несколько раз горячо благодарил меня и оставил доклад у себя, сказавши, что пригласит меня особо, как только успеет ознакомиться с ним».

Но дни быстро проходили за днями, а приглашение не следовало. Родзянко со мною не заговаривал об этом, хотя мне приходилось не раз бывать в Думе за эту пору. Государь также не заговаривал со мною об этом вопросе и не спросил меня даже, известно ли мне привлечение Им Председателя Думы к этому делу. Приближалось время Его отъезда.

Однажды, вечером, в первых числах марта, хорошо помню день — это было в четверг, накануне моего обычного доклада у Государя по пятницам, я сидел за приготовлением моих всеподданнейших докладов, как около 10-ти часов ко мне приехал неожиданно и не предупредивши меня по телефону Родзянко и сказал, что он обращается ко мне с просьбою вывести его из затруднительного положения.

По его словам, более трех дней тому назад, он послал Государю письменную просьбу о своем приеме по текущим делам Думы, но не получает ответа от Его Величества и находится в полном недоумении, как ему поступить. Если это молчание есть выражение прямого нежелания принять Председателя Государственной Думы, то лично для самого Родзянки это представляется несущественным, так как своему самолюбию он готов не придавать никакого значения, но допускать «афронт» по отношению к народному представительству он не может и обращается ко мне, как к Председателю Совета Министров, с просьбою выяснить истинное значение такого молчания и предупреждает меня, что им уже заготовлено заявление об оставлении поста Председателя Думы, которому он даст ход, как только убедится в нежелании Государя принять его перед Своим отъездом, о котором говорит весь город.

Я не мог не разделить в душе взгляда Родзянки, старался успокоить его и отговаривал его от резкого шага, ссылаясь на то, что Думе оставалось всего доживать не более 3-х месяцев до конца ее полномочий и указывал ему, что отставка Председателя перед самым закрытием Думы, просуществовавшей, худо ли, хорошо ли, без перерывов в течение 5-ти **{50}** лет, будет равносильна полному разрыву с правительством, который окажет самое вредное влияние и на последующие выборы и только увеличит оппозиционное настроение в стране, и подготовит на выборах победу левых партий. Я обещал Родзянке постараться завтра же; выяснить этот вопрос и устранить возникшее недоразумение.

Я совершенно добросовестно, в разговоре с Родзянко, не допускал мысли об умышленном нежелании Государя видеть его, тем более, что еще на прошлой неделе Он поддерживал меня в моих мыслях о необходимости стараться всячески сглаживать отношения с Думой, в виду предстоящего обращения к ней из-за морских кредитов.

Ссора с Председателем, и притом по личному поводу, была бы полным противоречием такому, по-видимому, искреннему намерению Его Величества.

Каково же было мое удивление, когда в самом разгаре нашей беседы мне подали большой пакет от Государя, привезенный фельдъегерем в неурочный, слишком поздний, час, и вскрывши его, я нашел среди ряда возвращенных мне утвержденных всеподданнейших докладов, письменный доклад об аудиенции Родзянко, с длинною, карандашом написанною, резолюцией Государя, самого резкого свойства.

Родзянко не заметил моего смущения; я спокойно отложил все доклады в сторону, продолжал беседу с ним, и он вскоре уехал, видимо успокоенный.

Когда я проводил его до лестницы, и вернулся к себе в кабинет, я был просто ошеломлен резолюцией Государя. Вот она дословно: «Я не желаю принимать Родзянко, тем более, что всего на днях он был у меня. Скажите ему об этом. Поведение Думы глубоко возмутительно, в особенности отвратительна речь Гучкова по смете Св. Синода. Я буду очень рад, если Мое неудовольствие дойдет до этих господ, не все же с ними раскланиваться и только улыбаться».

В большом раздумьи провел я всю ночь. Мне было ясно, что конфликт с Думою принимает печальную и вредную для Государя форму, что на мне лежит обязанность отвратить ею всеми доступными мне способами, и если мои усилия не увенчаются успехом, то мне не останется ничего иного, как просить Государя уволить меня, так как я не вижу способа исполнить Его волю, не вызывая самых вредных столкновений и особенно в такую пору, когда правительство ждет от нее благоприятного решения целого ряда крупных вопросов.

Приехавши на утро с докладом в обычное время, я **{51}** нашел Государя в совершенно ровном настроении, и не заметил ни малейшего следа вчерашнего раздражения. Я начал мой доклад с инцидента Родзянко, облек его в самую спокойную и деловую форму и просил Государя выслушать меня без всякого гнева и верить тому, что мною руководит только Его польза, а не какое-либо желание уклониться от щекотливого и неприятного поручения. Я привел все, что только мог сказать о величайшем вреде столкновения с Думой по такому поводу, о неизбежности немедленного ее роспуска, о столкновении со всем общественным мнением, которое будет целиком на стороне Думы и пошлет в следующую Думу только резко выраженную оппозицию, и, — что всего обиднее, — невозможность рассчитывать на спокойное проведение морских кредитов, в пользу которых мне уже удалось начать удачную агитацию среди членов Думы, несмотря на все усилия Гучкова против этого дела.

Зная личное нерасположение Государя к Гучкову, я позволил себе сказать фразу, которая ярко врезалась в моей памяти: «Ваше Величество, переборите Ваше минутное личное нерасположение к Родзянке, если оно у Вас существует, также как и чувство раздражения к Думе, не давайте новой победы тем, кто будет только торжествовать в случае Вашего разрыва с Думою, и дайте мне возможность в частности посчитаться с кем следует на морском деле открытым образом и в комиссиях и в общем собрании Думы. Многое мною уже сделано, немало полезного еще подготовлено, и я почти уверен в том, что смогу выполнить Вашу волю, и тот же Родзянко самодовольно будет докладывать Вам, что он провел морскую программу среди всех думских подводных скал».

При этом, чтобы облегчить Государю отказ от принятого Им решения, я отнюдь не настаивал на приеме Родзянко, и просил только написать ему собственноручную записку примерно такого содержания: «У меня решительно нет свободной минуты перед отъездом. Прошу Вас прислать мне все Ваши доклады. Я приму Вас по Моем возвращении».

По мере моих объяснений Государь становился все спокойнее и ровнее, а когда Он услышал, что я не настаиваю на приеме, а прошу только послать записку о причине неприема, — то Он просто повеселел, взял мой набросок и оказал: «Вы опять меня убедили; я готов послать Вашу записку. Вы правы, лучше не дразнить этих господ. Я найду другой случай **{52}** сказать им то, что думаю об их выходках, и Мне особенно было бы обидно сыграть в руку противникам морской программы».

Мы расстались в наилучшем настроении и до самого конца моего доклада Государь опять ни одним звуком не обмолвился о докладе Родзянко по распутинскому вопросу, а я в свою очередь не сказал того, что знал от самого автора.

Около 5-ти часов вечера, того же дня, Родзянко позвонил ко мне по телефону, и самым веселым тоном сказал, что получил от Государя очень любезную записку, что весь инцидент совсем улажен, и он надеется, что мне не стоило большого труда выяснить его Государю. Я ответил ему, что мне вовсе и не пришлось трудиться, так как в самом начале доклада, Государь сказал мне, что только что послал ему утром письмо, и я предпочел вовсе не беспокоить Его Величества моими объяснениями. Эти слова еще более понравились Родзянке, который закончил свой разговор по телефону фразою, рассчитанною на слушателей его беседы со мною (по телефону были слышны голоса в комнате). «Я в этом был совершенно уверен. Государь был всегда лично расположен ко мне и не решился бы портить своих отношений к Думе оказанием невнимания Ея избраннику». Все хорошо, сказал я себе, что хорошо кончатся.

12-го марта Государь ухал с семейством в Ливадию. Из Министров явились в Царское Село проводить отъезжающих только некоторые Великие Князья, Военный и Морской Министры и я. Государь был в своем обычном настроении и, прощаясь со мною, шутливо сказал мне: «Вы вероятно завидуете Мне, а я Вам не только не завидую, а просто жалею Вас, что Вы останетесь в этом болоте».

Императрица прошла мимо всех и, ни с кем не простившись, вошла в вагон с вдовствующею Императрицею.

С отъездом Государя, я думал, что мне будет легче. Я надеялся спокойно заняться делами, тем более, что на руках у меня было именно чрезвычайно заботившие меня дело, — проведение в Думе усиления морских судостроительных кредитов или так называемая «малая судостроительная программа». Государь относился к этому вопросу с далеко не свойственным Ему вниманием, постоянно заговаривал, опасаясь как бы нее провалилось это дело. Морской Министр Григорович также не полагался на свои силы, зная насколько работает против этой программы Гучков, и все обращался ко мне с просьбою помочь ему.

{53} Мне было хорошо известно, что техническая сторона, дела была солидно подготовлена в Думе Морским ведомством и целою плеядою молодых моряков, в числе которых был и капитан I ранга Колчак, но оппозиция делу все же намечалась очень сильная и группировалась именно около финансовой стороны, как более доступной пониманию многих членов Думы.

Лично я глубоко сочувствовал этому делу, хорошо понимал, что России нужен флот и что провести это через Думу можно только устранивши именно финансовые препятствия и доказавши, что Россия обладает достаточными средствами, может вынести этот новый расход, не прибегая ни к новым налогам, ни к займам, ни к сокращению других своих расходов, и что мы вступили в такую пору, так называемого «финансового благополучия», когда рост доходов начинает превышать рост даже ежегодно повышающихся расходов. Я знал, что играя на этой струне, я могу парализовать бесспорно огромное влияние Гучкова, как бывшего Председателя Комиссии Государственной Обороны, сохранившего свою силу в Думе, несмотря на свой выход из ее Председателей, что этим путем я склоню на свою сторону не только всю правую половину Думы, которая будет со мною потому, что будет знать, что этот вопрос близко интересует Государя, но и довольно значительную часть кадетов и прогрессистов, которые в Думе сочувствуют увеличению военной силы России, но боятся только или новых налогов, или сокращения их излюбленных «производительных» расходов на такие предметы, которые любезны главным образом «земскому» сердцу.

Мне было ясно также, что центр тяжести всего успеха будет лежать в Председателе Бюджетной Комиссии М. М. Алексеенко, и что все мои усилия должны быть направлены на то, чтобы заручиться его поддержкою, а для этого необходимо поступиться своим самолюбием и начать издалека подготовлять кампанию, влияя на особенности его характера, на несомненно патриотическое его настроение и пользоваться попутно и именем Государя, давшего мне, впрочем, право действовать Его именем везде, где только я буду считать это необходимым.

Не прошло немного дней с отъезда Государя, едва Он успел доехать до Ливадии и отойти от Петербургских впечатлений, как снова всплыл наружу Распутин со всем его окружением. Почти за выездом Государя уехавший, было, в Тобольскую губернию Распутин снова неожиданно появился в **{54}** Петербурге. Это встревожило Макарова; появились опять газетные статьи и заметки, переплетающие быль с небылицею. Ни я, ни Макаров его не видели, никакой речи о высылке его из Петербурга никто не поднимал, хорошо помня замечания об этом Государя, как вдруг в «Речи» появилось известие, что приехавший самовольно, вопреки сделанного распоряжения о высылке из Петербурга, Распутин выслан снова в село Покровское по распоряжению Председателя Совета Министров.

Не желая подливать масла в огонь и зная хорошо, что это известие дойдет до Ливадии и вызовет какое-нибудь резкое распоряжение оттуда, которое опять припутает имя Государя к этому человеку, я послал шифрованную телеграмму Барону Фредериксу, прося его доложить Государю, что эта заметка совершенно ложная, что Распутин действительно приехал, но ни я, ни кто-либо другой и не предполагает высылать его куда-либо. На другой же день я получил ответ такого содержания: «Государь приказал мне сердечно благодарить Вас за извещение и передать Вам, что Его Величество очень ценит такое откровенное предупреждение, которое устранит всякое недоразумение».

Этот ответ показал мне, что я рассчитал совершенно верно, устранивши всякие толки и даже предупредивши, может быть, прямой приказ о возвращении «старца» из ссылки.

Прошло не более месяца сравнительного затишья и более спокойной текущей работы.

Государь был в отъезде, Гермоген жил спокойно в Флорищевой пустыне Гродненской губернии, Илиодор сидел тихо в своем монастыре, Распутин держал себя незаметно, и печать перестала перемывать косточки, описывая всякие его действительные и выдуманные похождения, и как то все стало втягиваться в колею будничной работы, тем более, что и Дума, предвидя свой близкий роспуск, как будто зашевелилась и стала подгонять накопившиеся дела.

Получивши заблаговременно разрешение Государя, я поехал 2-го апреля в Москву, куда меня уже давно ждало купечество. Оно настолько считало обязательным для вновь назначенного Председателя Совета Министров, сохранившего к тому же должность Министра Финансов, явиться так сказать на поклон в Белокаменную, что мне не раз говорил Председатель Биржевого Комитета Крестовников, что купечество обижается на меня и не понимает почему я медлю моею поездкою. Он не хотел верить тому, что с минуты моего назначения я **{55}** не знал ни одного свободного дня в буквально не мог выкроить тех 4-5 дней, которые требовались на поездку.

Перед отъездом я набросал то, что решил сказать в Биржевом Комитете, заранее узнавши от Крестовникова, что большинство Купечества встретит меня особенно хорошо потому, что верит моей финансовой политике, разделяет ее, готово открыто ее поддерживать и убеждено в том, что во внутренней политике я буду следовать благоразумному направленно, не пойду ни на какие крайности, а тем более не поддамся в сторону какого-либо авантюризма, я в особенности верит тому, что и во внешней политике я являюсь представителем вполне миролюбивого настроения я лучше всех знаю, насколько нам нельзя ввязываться в войну или вести политику задора и неустойчивости в особенности при назревавшем тогда осложнении на Балканах. Но в то же время я узнал от Крестовникова, что П. П. Рябушинский не удержится от оппозиционных и либеральных выпадов, и что мне придется ответить ему на них.

Не зная, однако, точного содержания этого выпада, я заготовил в моем наброске примирительные мысли о необходимости не критики для критики, а дружного взаимодействия Общества и Правительства, готового всегда идти навстречу справедливых требований и далекого от мысли присваивать себе одному всеведение, а тем более всемогущество. Я послал этот набросок Государю в Ливадию, тотчас после Его отъезда из Петербурга и просил Его дать мне указания.

Я получил его обратно в день моего выезда с надписью: «замечаний не имею».

Московское мое пребывание прошло совсем гладко. Купечество встретило меня очень приветливо и на приеме в Биржевом Собрании не только не было ни одной недружелюбной ноты, но, напротив того, было высказано мне совершенно открыто очень много теплого, лестного, и вся Московская печать единодушно отметила, этот сердечный прием, без всяких экскурсий в сторону оппозиционного настроения, столь свойственного московским кругам вообще.

Не помню теперь какая именно из Московских газет оказала только вскользь, что такой исключительный прием оказан мне не столько как Председателю Совета Министров, не успевшему еще проявить своего направления, сколько как Министру Финансов, политика, которого, давно известна и любезна московскому сердцу.

Зато данный в мою честь Крестовниковым обед, у него **{56}** на

дому, сошел далеко не так гладко. П. П. Рябушинский дал полную волю его оппозиционному, правда, довольно сумбурному настроению и облек свою речь, сказанную после очень горячего приветствия мне со стороны хозяина — Крестовникова. — в такую форму, что вся публика только переглядывалась и чувствовала величайшую неловкость по отношение к ее гостю. Его речь не имела никакого определенного вывода, но была полна всевозможных выпадов против правительства за его прошлую деятельность. Тут было и преследование старообрядцев, и заигрывание с Западом в ущерб началам самобытности, и воинственные замыслы, не справляющееся с истинными народными заветами, и наряду с этим уступчивость иностранцам в ущерб национальным интересам.

Всего не перескажешь, да и трудно было дать себе ясное представление о том, чего хочет оратор, оборвавши, как всякий зарапортовавшийся человек, свою речь совершенно неожиданным тостом: «не за Правительство, а за Русский народ, многострадальный, терпеливый и ожидающей своего истинного освобождения».

Вся зала — присутствовало свыше 100 человек, — переглядывалась, Крестовников не знал, что делать, — и все просил меня не обращать внимания на этот бессвязный лепет. Нужно было, однако, отвечать, в я счел за лучшее не вступать в полемику с Рябушинским, я избравши полушутливую форму, вызвавшую весьма внушительные аплодисменты, высказал, что мне трудно отвечать за все прародительские грехи, как совершенные правительством со времени призыва варягов, так может быть никогда им не совершенные, построил ответ на заключительных словах Рябушинского, и присоединился к его тосту за народ, сказавши много хороших слов по его адресу и пригласивши его трудиться вместе на общей ниве. Словом, все обошлось как нельзя лучше. Рябушинский благодарил меня, предложил еще и от себя тост за меня, как за слугу народа, другие пошли еще дальше, и все проводили меня в очень хорошем, приподнятом настроении, а, хозяин сказал внизу, что не знает как и благодарить меня за то, что я затушевал неловкость, нарушившую даже простое гостеприимство.

Все это происходило 4-го апреля. На другой день, 5-го, я решил выехать обратно в Петербург, чтобы попасть к себе к 6-му, дню моего рождения. Днем газеты разослали экстренное прибавление в виде короткой телеграммы о беспорядках на **{57}** Ленских золотых промыслах, в Бодайбо, со многими жертвами среди местного рабочего населения. Из Петербурга я никакого донесения не получал я только вернувшись узнал от Министра Внутренних Дел Макарова, что у него также нет никаких донесений, но у левых членов Думы и, в частности, у Керенского была уже телеграмма о кровавом побоище, вызванном жандармским ротмистром Трещенковым, и стоившим жизни свыше 200 человек рабочих.

Настроение в Думе резко поднялось. Левые внесли спешный запрос правительству, на который Макаров не хотел было отвечать ранее истечения узаконенного, предельного, месячного срока, но я ни согласился с ним, вышел на кафедру я заявил о готовности правительства ответить, как только будут получены затребованные телеграфные сведения, чем внес известное успокоение, и действительно приблизительно через неделю, т. е. 14 или 15 апреля, в вечернем заседании Макаров огласил данные Департамента Полиции и Иркутского Генерал-Губернатора, давшие этому делу однако крайне одностороннюю окраску.

По этим данным выходило, что бунт произвели рабочие, под влиянием подстрекательства трех сосланных за политическую агитацию лиц, что цель этого бунта заключалась в захвате склада взрывчатых веществ и завладении приисковою администрациею, что воинская команда, подверглась нападению рабочих, вооруженных кольями и камнями, и произвела выстрел находясь в положении необходимой обороны.

Свою речь Макаров закончил полным одобрением действий местной администрации и воинской команды и произнес в заключение известные слова: «так было — так и будет», желая сказать этим, что всякие попытки к бунту будут подавляться всеми доступными средствами.

Эти слова произвели на Думу и печать ошеломляющее впечатление. Забыли Распутина, забыли текущую работу, приостановили занятия Комиссией и заседания Общего Собрания; Дума стала напоминать дни первой и второй Думы, и все свелось к «Ленскому побоищу».

Тем временем, Иркутский Генерал-Губрнатор и Прокурор Иркутской Судебной Палаты стали присылать по телеграфу же сведения, дававшие совершенно иную окраску всему делу. Министр Торговли Тимашев получил в свою очередь от Окружного Горного Начальника Тульчинского подробную телеграмму, прямо уже обелявшую Ленских рабочих и **{58}** обвинявшую приисковую администрацию в дурных санитарных условиях рабочих квартир и возлагавшую всю ответственность за убийство рабочих на ротмистра Трещенкова. Такие же сведения, стали доходить и до членов Думы, и все это подливало масло в огонь и вызывало опасение за то, что нервное состояние перейдет и на столичных рабочих.

Нужно было, тем или иным способом, направить дело в более спокойное русло, пролить на него беспристрастный свет и вселить в общественное мнение убеждение в том, что правительство не считает донесений жандармского ведомства, — последним словом истины, и готово произвести всестороннее и беспристрастное расследование.

Я условился с Председателем Думы Родзянко, что, по полученным дополнительным сведениям, Дума сделает правительству, в лице Министра Торговли, новый запрос, что Тимашев ответит на него в том же заседании оглашением некоторых полученных им от горного надзора предварительных сведений и заявит от моего имени, что в виду разноречия сведений горного и полицейского ведомств и невозможности выяснить дело в общем порядке предварительного следствия, веденного чинами местного прокурорского надзора заявившего на первых порах свою солидарность с жандармским донесением, правительство намерено пролить на это дело вполне беспристрастный свет и предполагает командировать на место лицо, компетентность и служебное прошлое которого не может вызвать каких-либо сомнений.

Мой расчет оказался верен. Такое заявление произвело на Думу и печать наилучшее впечатление; даже «Новое Время» отозвалось с похвалою о моей решимости, и страсти неожиданно поднявшиеся, — столь же быстро улеглись, и Дума через день. вернулась к своей будничной работе.

Нужно было только остановиться на выборе лица и получить согласие Государя, не только на самую меру, но я на то, кому поручить такое трудное и щекотливое поручение

Моя точка зрения очень не понравилась не только Макарову, но и Щегловитову. Им обоим казалось, что этим умаляется значение местных властей, но выступать против меня открыто они еще не решались, — настолько резко было возмущение общественного мнения, и настолько сочувственно отнеслось оно к заявлению Тимашева. Впрочем, оба эти министры отдали мне справедливость, что выступление Тимашева, с ссылкою на мое согласие, дало благоприятный поворот общественному мнению.

{59} Мне стали предлагать с разных сторон сначала возложить расследование на какого-либо из особенно приближенных к Государю людей, затем на какого-либо видного военного человека, по возможности, в звании Генерал-Адъютанта, предполагая вероятно, что новое лицо по его неопытности и неосведомленности будет легче направить в желательную сторону, но я уклонился от разговоров с кем-либо и заявил, что относительно лица испрошу указаний Государя.

В моих разговорах с Тимашевым я не скрыл, однако, что лично я желал бы командировать на Лену бывшего Министра Юстиции, Члена Государственного Совета — Манухина. Хотя сам я мало знал Манухина, но я быль уверен, что выбор его встретит общее сочувствие: мне было ясно также, что никакие местные, а тем более партийные влияния не уклонят его в сторону от беспристрастного расследования дела. В чем я не был, однако, уверен, это — в согласии Государя на выбор Манухина, которого Государь конечно знал, относился к нему внешне всегда милостиво, но не мог особенно жаловать его за его либеральный образ мыслей, достаточно памятный Ему еще по событиям 1905—1906 г. г.

Я надеялся впрочем, что моя кандидатура не встретит особых возражений, так как по недостатку времени до моего приезда в Ливадию — правые круги не могли успеть подготовить своего кандидата Тимашева, вполне сочувствующего моему выбору, я просил никому об этом не говорить, а сам Манухин вовсе и не подозревал, с какими видами на него предполагал я выехать в Крым через несколько дней.

Мой отъезд был назначен на 19-ое апреля.

Накануне, 18-го числа, в дневном заседании Комиссии Государственной Обороны, в Государственной Думе разыгрался эпизод, которому было суждено сыграть впоследствии большую роль и который послужил поводом к совершенно неожиданному разговору моему с Государем 23-го апреля.

Сверх своего обыкновения, в это заседание Комиссии Обороны явился лично Военный Министр Сухомлинов, вместо того, чтобы послать туда, как это делал всегда, своего Помощника Генерала Поливанова, чрезвычайно ловко и умело проводившего в Думе все самые сложные дела Военного Ведомства. В отличие от своего шефа, Поливанов всегда был отлично подготовлен по каждому делу, обладал действительно большими знаниями по всем текущим вопросам, отличался большою **{60}** находчивостью и ловко парировал всякие неожиданные замечания, чаще всего вытекавшие из желания Членов Государственной Думы блеснуть их большою осведомленностью, которая на самом деле проистекала просто из особого умения некоторых из них извлекать негласным путем разные сведения от второстепенных чинов военного ведомства. Но, выше всех этих неоспоримых качеств Поливанову бесспорно принадлежала совершенно исключительная способность приноравливаться к настроению Думы и привлекать к себе расположение центральной группы — Октябристов, в особенности в лице Гучкова,

Савича, Звегинцева; не брезгал он и кадетскими депутатами, но не заглядывал уже левее их.

Для достижения их расположения — все средства были у него хороши: признание патриотизма и глубоких знаний одних, снабжение других разными «конфиденциальными», чаще всего не имевшими большой цены, сведениями, полная готовность делиться разными проектами или широко задуманными реформами, иногда еще не выходившими из области благих намерений; полунамеки, полурассказы на тему о том, как трудно лавировать между толковым управлением и случайными проявлениями начальственной воли, и всяких сторонних влияний.

Не избегались время от времени и приглашения нужных людей, осмотреть то или иное учреждение, завод, опытное поле и наконец столь примиряющие страсти, — приглашения на «чашку чая», за которою говорилось проще, легче и откровеннее.

Все это создало из Поливанова в полном смысле слова persona gratissima в III Думе. Он не знал неуспеха, и на его долю не выпало ни одного недоброго выпада или нелестного эпитета.

Зачем понадобилось пользовавшемуся совершенно иным положением в Думе Сухомлинову поехать самому в заседание комиссии обороны, по делу о размерах кредита, на так называемые секретные расходы, — никому не было понятно.

Члены Думы обрадовались этому редкому и неожиданному появлению, и прения сразу приняли очень острый и придирчивый характер. Страсти с обеих сторон как-то неожиданно разыгрались, вопрос стал сыпаться за вопросом, неподготовленный к ним Сухомлинов стал путаться, волноваться и, наконец, спрятался за излюбленную и всех раздражавшую формулу «военной тайны, которая известна только верховному вождю армии», и не может быть предметом каких-либо прений и разоблачений.

{61} Гучкову только это и было нужно. Он дал волю своей бесспорно большой осведомленности, основанной на том, что он давно и широко раскинул сети своих сношений, как с командным составом армии, так и с служащими в центральных управлениях Министерства, и заявил открыто, что секретные суммы расходуются на организацию жандармского сыска за офицерским составом, что даже это поручено Военным Министром своему близкому другу жандармскому полковнику Мясоедову, человеку с самым предосудительным прошлым, известному в прошлом своим контрабандным промыслом на границе и уволенным Столыпиным из Корпуса Жандармов, после того, что Виленским Военно-Окружным Судом, разбиравшим дело о водворении революционной литературы в Россию, выяснено было в 1906 году, что все дело было изобретено по инициативе Мясоедова, в отместку за то, что обвиняемый в водворении этой литературы напал на след того, что сам Мясоедов, состоя на службе в Вержболове, занимался незаконным водворением оружия из Германии с целью продажи его по баснословным ценам.

Можно представить себе какой эффект произвело это заявление в Комиссии: Сухомлинов окончательно растерялся, стал говорить бессвязные резкости и вышел из заседания. На другой день заметка об этом появилась в «Вечернем Времени», издававшемся в ту пору Борисом Сувориным, и послужила поводом крупного скандала, разыгравшегося некоторое время спустя.

В начале мая, — или даже в конце апреля, во всяком случае, уже после моего возвращения из Крыма, — Мясоедов явился на бега, в членскую трибуну, разыскал там Бориса Суворина, нанес ему удар хлыстом по голове и был удержан публикою от дальнейших побоев. Вслед затем он вызвал Гучкова на дуэль; они стрелялись, и оба остались невредимы.

Впоследствии, уже во время войны Мясоедов снискал себе печальную известность на нашем западном фронте. Он был привлечен к суду по обвинению в шпионстве в пользу Германии и казнен. Был ли он шпионом — Бог знает. Попадали заметки о том, что обвинение его было вообще шатко, но, что вполне несомненно, так это то, что он занимался скупкою, присвоением и продажею ценных вещей, похищенных во время нашего нашествия на Восточную Пруссию, и что получил он назначение по полицейскому розыску на фронт, с ведома **{62}** и даже по отзыву Сухомлинова — это не подлежит никакому сомнению. На совести Сухомлинова лежит и тут, как и во многом другом, его непростительно легкомысленное отношение и поразительная неразборчивость в поступках, очевидных для всякого, кроме него самого, причинившего столько вреда России и Государю своими легкомысленными, беспринципными поступками.

Я выехал в Крым под впечатлением Думского скандала. В дороге я не мог иметь Петербургских газет, а попутные Московские и Харьковские не содержали в себе никаких подробностей или отголосков этого скандала.

Я приехал в Ялту под вечер 21-го апреля. В вестибюле гостиницы «Россия» меня встретил покойный, неизвестно зачто замученный и расстрелянный 29-го января 1919 года большевиками в Петрограде, Великий Князь Георгий Михайлович и просил рассказать ему, что произошло в Думе с Сухомлиновым, так как ялтинская газетка сообщила только очень краткую заметку об этом инциденте. Я передал ему все, что произошло, и сообщил и то, что знал ранее о полковнике Мясоедове. Не скрыл я и того, что летом 1910 года, я был свидетелем того, как возмущен был покойный Столыпин докладом Сухомлинова Государю о назначении Мясоедова из отставки на службу, в распоряжение Военного Министра, но с зачислением его опять по Корпусу Жандармов, без предварительного о том сношении с Шефом Жандармов, Министром Внутренних Дел. Столыпин требовал нового доклада, с увольнением Мясоедова из жандармского корпуса, решил лично доложить это дело Государю, но мне неизвестно, какой конец имело оно.

В следующий день, 22-го апреля, я имел у Государя очень продолжительный в вполне милостивый доклад.

Все, что я доложил, было принято с полным одобрением и не вызвало никаких возражений. Командировка Манухина на расследование Ленских событий была одобрена очень охотно, причем Государь выразился так: «Я знаю хорошо Манухина; он большой либерал, но безукоризненно честный человек и душою кривить не станет. Если послать какого-либо Генерал-Адъютанта, то его заключениям мало поверят и скажут, что он прикрывает местную власть. Вы придумали очень удачно. Нужно только, чтобы Манухин выезжал как можно скорее».

Всего подробнее мне пришлось остановиться на Морской программе. Я не скрыл от Государя, что смотрю на **{63}** благополучное прохождение дела в Думе с большою тревогою и прошу Государя оказать мне Его помощь, которая могла бы выразиться в двух мерах.

Первая — заинтересовать в благополучном исходе дела Председателя Бюджетной Комиссии Алексеенко, положительное влияние которого могло бы нейтрализовать отрицательное влияние Гучкова. Его влияние было очень важно потому, что некоторые левые партии Думы и в особенности кадеты не решатся возражать открыто против усиления нашей морской обороны вообще, но будут настаивать на непосильности нового расхода для населения. Никто не сможет более авторитетно, чем Алексеенко, поддержать меня в этом вопросе и разделить мою точку зрения, что наше финансовое положение очень устойчиво, и государственные доходы проявляют ежегодно такой прирост, который дает возможность значительно увеличивать и другие расходы, без введения новых налогов.

Этому положению мною была посвящена особая большая статистическая работа, переданная уже в Государственную Думу и, видимо, сильно не понравившаяся кадетам, так как она выбивала из рук их главное оружие.

Алексеенко, по обыкновению, был уклончив, не выражал своего взгляда, но зять его, профессор Мигулин, посетивший меня по своему частному делу, в день моего отъезда в Крым, сказал мне, что Алексеенко разделяет в сущности мой взгляд и вероятно будет поддерживать меня.

Нужно было обеспечить его помощь, а для этого было только средство — подействовать на его самолюбие, обратившись к нему по поручению Государя и иметь право сказать, что Государь ждет именно его помощи в таком патриотическом деле.

Государь дал мне это право очень охотно и предложил даже вызвать Алексеенко к Себе, если бы дело было назначено к слушанию до возвращения Государя из Крыма. Этой меры я просил Государя не применять, зная заранее, что Алексеенко не захочет обнаружить открытого влияния на него сверху.

Вторая мера касалась всей Думы. В конце июня истекал срок ее полномочий, и многие члены заговаривали со мною на тему о том, что им было бы очень желательно представиться Государю после окончаний занятий, а более простодушные не скрыли от меня, что милостивый прием и слово благодарности за понесенные труды укрепило бы за многими шансы на переизбрание в четвертую Думу.

Развивая эту тему я просил разрешения Государя дать **{64}** понять среди членов Думы, что все зависит от прохождения Морской программы, и что при благополучном направлении этого дела Дума может вполне рассчитывать быть принятою перед ее роспуском.

Государь с удовольствием согласился и на это и сказал мне: «Я даю Вам полное право выразить за Меня такое обещание; за Морскую программу Я готов им (членам Думы) забыть все огорчения, которые они причинили Мне по смете Синода и по кредитам на церковно-приходские школы».

Доклад кончился в наилучшем настроении. Государь спросил меня, не решусь ли я «погостить» в Ялте и отдохнуть от «Петербургских прелестей», и видимо очень пожалел меня за то, что я должен уже рано утром 24-го выехать в обратный путь. «Вы бы погуляли как-нибудь со мной, ведь кажется Вы также хороший пешеход, как и Я», сказал мне Государь, и мы расстались с тем, что на завтра, 23-го, после парадного завтрака, Государь еще раз примет меня и вернет мне целый ряд представленных мною письменных докладов, которые я усиленно просил лично прочитать.

В числе их была подробная справка, о положении военных кредитов, приводившая к доказательству огромного накопления неизрасходованных сумм, вследствие необычайной медленности разных заготовительных операций; эту справку я представил, чтобы парировать постоянные трения с Военным Ведомством, доказывавшим, что ему не дают средств на усиление боевой готовности нашей армии.

Вернувшись с доклада, в Ялту, я застал автомобиль Великого Князя Николая Николаевича, пригласившего меня приехать к нему в Чаир. До обеда у меня оставалось достаточно свободного времени, я немедленно поехал туда, и оказалось, что Великий Князь просто не мог дождаться меня, чтобы расспросить, также как и Георгий Михайлович, об инциденте Сухомлинова в Думе с Гучковым. Опять пришлось передать подробности, и так как Великий Князь не имел никакого понятия о Мясоедове, то пришлось передать ему все, что я знал о его прошлом.

Вернулся я около 8-ми часов вечера, прямо к обеду у Министра Двора Фредерикса, жившего, как и я, в гостинице «Россия». Весь обед только и было, что расспросов меня про инцидент с Сухомлиновым - Гучковым, про личность Мясоедова и про все, что было связано с его отношениями к Сухомлинову. Старика Фредерикса все это занимало до крайности: **{65}** он расспрашивал меня о малейших подробностях, я же влагал в мои ответы величайшую объективность и сдержанность, так как присутствовало немало посторонних людей; я хорошо знал, что найдутся охотники передать всякое неосторожное мое слово тому же Сухомлинову, который уже находился в той же Ялте, приехавши туда во время моей поездки к Великому Князю Николаю Николаевичу.

На следующий день, 23-го апреля, рано утром, перед тем, что я собирался ехать в Ливадию, на молебствие по случаю дня именин Императрицы, ко мне пришел Сухомлинов, со своими обычными пустыми и бессвязными разговорами, перескакивая, как всегда, с предмета на предмет.

Я встал было с кресла, говоря ему, что пора ехать во Дворец, но он удержал меня словами: «я решил все рассказать Государю; это Поливанов устроил мне скандал в Думе; ну, уж и отделал я этих господ; больше они на меня не наскочат».

Не желая продолжать разговор на эту тему, чтобы не дать ему довода к свойственным ему беззастенчивым передержкам, я сказал только: «Я выехал в самый день Вашего столкновения в Думе, не знаю никаких подробностей, кроме тех, которые попали в «Вечернее Время», и буду Вам очень признателен, если Вы посвятите меня во все частности этого эпизода».

Мы вместе спустились с лестницы. Садясь в свой автомобиль, Сухомлинов, точно забывши только что сказанное им мне, обратился ко мне со следующими, крайне удивившими меня словами: «Пожалуйста, Владимир Николаевич, не говорите ничего Государю, я решил ничего ему не говорить про Поливанова, может быть кто-нибудь просто сболтнул мне про него, ведь у нас с ним очень хорошие отношения».

На этом мы расстались и поехали каждый в своем экипаже.

К обедне и молебну Императрица не вышла. Ее не было и на завтраке. Я сидел рядом с Великой Княжной Ольгой Николаевной, а Государь, сидевший по другую сторону ее, неоднократно очень весело и милостиво заговаривал со мною и оказал даже своей соседке: «Подразни-ка своего соседа, как весело ему будет завтра уезжать в очаровательный Петербург, и как мы с тобою позавидуем ему, когда поедем на утреннюю прогулку».

{66} Императрица вышла только после завтрака и стала принимать поздравления. Приближаясь ко мне после обхода дам, — она видимо даже не хотела подойти ко мне. Бесконечное время стояла она и разговаривала с последней по очереди женою второстепенного дворцового служащего М-м Яновой, а затем точно поборола в себе какое-то усилие, прошла было мимо меня, как-то боком подала мне руку, спешно отвела ее, так что я едва успел поцеловать ее, я минуя двух моих соседей, опять задержала свое движение и стала было спокойно разговаривать с молодым офицером-моряком, но затем повернулась к Государю и проговорила «I am very tired» *(я очень устала, ldn-knigi)* и ушла в соседнюю залу.

От наблюдательной толпы придворных гостей это движение, конечно, не ускользнуло, мне же было совершенно ясно, что Императрица просто желала мне показать свое невнимание. Фредерикс переглянулся со мною, подошел ко мне и шепнул на ухо: «не обращайте на это внимания, у нас так часто бывает, мне нужно Вам сказать несколько слов». Мы отошли незаметно в сторону, и он обратился ко мне со следующим неожиданным сообщением: «Сегодня утром Государь позвал меня и поручил мне передать Вам Его недовольствие на то, что Вы говорите здесь крайне неблагоприятно про Военного Министра, так как этим Вы подрываете его авторитет. Вы понимаете, как мне приятно исполнять такое поручение!»

Я не успел ничего расспросить у него, так как Государь и Великие Князья приближались к нам, и вскоре затем государь дал мне знак, чтобы я последовал за Ним.

Мы вошли в нижний кабинет. Как ни в чем не бывало, Государь сказал мне, что вернул все утвержденные Им доклады, спросил, не решился ли я еще «погостить» здесь денек-другой, и на отрицательный мой ответ сказал в самом ласковом тоне: «Я вас очень прошу, Владимир Николаевич, сделать все возможное, чтобы прошла в Думе морская программа. Даю Вам полную carte blanches в выборе средств и способов и, хотя Я уверен, что Вы и без Моих слов употребите все Ваше влияние на членов Думы, но все же скажу Вам, что этим делом Я интересуюсь больше всего и очень, очень рассчитываю на Вас».

После этих слов Государь видимо хотел уже проститься со мною, но я спросил Его, не могу ли еще отнять несколько минут времени, или если это неудобно по случаю дня именин Императрицы, то не может ли Он назначить мне другое время, хотя бы разрешивши мне отложить на один день мой отъезд.

{67} Тем же благодушным тоном, Государь ответил мне: «Сколько хотите; теперь мне даже совсем нечего делать, Императрица утомлена и Я никого более принимать не стану».

Я передал тогда буквальные слова Фредерикса и попросил Государя сказать мне откровенно, чем именно вызвал я Его первое неудовольствие почти за 8 лет моего Управления Министерством, так как по совести могу сказать, что о Генерале Сухомлинове я здесь дурно не отзывался и ограничился самым беспристрастным пересказом того, что случилось в Думе и перешло даже на столбцы ялтинских газет.

Я прибавил при этом, что, избегая всяких осложнений, я не доложил об этом столкновении Его Величеству, дабы мой доклад не был принят за желание повредить Военному Министру, но не считал себя в праве не отвечать на прямые вопросы двух Великих Князей и не изложить им просто фактических сторон дела.

На это Государь ответил мне буквально следующей: «Вот Вы и обиделись В. Н. Я просто сказал Фредериксу, что Мне крайне неприятны Ваши нелады с Военным Министром, так как Вас обоих Я очень ценю, и Я прибавил только, что нужно, чтобы Вы это знали, а этот добрый старик взял да и передал Вам Мое неудовольствие, которое Вы приняли за выговор. Это было совсем не так; не обращайте на это внимания. Видите, Я уже забыл это минутное неудовольствие».

Я попросил тем не менее разрешение Государя остановиться подробнее на этом вопросе и, получивши Его дозволение говорить с полной непринужденностью, сказал Ему, что в рассказах в Ялте или где-либо неблагоприятных для Военного Министра, я не повинен, но совершенно откровенно докладываю, что наши с ним отношения бесспорно нехороши, и не потому, что у нас есть какие-либо личные счеты или неудовольствия, а потому, что я вижу весь тот вред, который причиняет Сухомлинов Ему, Государю, и России своим невероятным легкомыслием, своей беспринципностью, отсутствием всякой деловой добросовестности и тою повадкою угодничества, которая одна пользуется у него успехом и приводит к тому, что его окружают одни его любимцы, а все, что есть деловитого, способного и работающего, держится в черном теле или удаляется на незаметные должности.

Я решился разом покончить с тою интригою, которая ведется Сухомлиновым против меня, с тою систематическою ложью, которая распространяется им, и которая имеет своим **{68}** предметом затушевать собственную неспособность, будто бы систематическим отказом Министра Финансов в средствах, и, в совершенно спокойной и сдержанной форме изложил Государю все, что накипело в моей душе.

Я припомнил Государю, как хороши были наши отношения с Сухомлиновым, когда он был командующим войсками в Киеве и поддерживал меня в совете Государственной Обороны, против Военного Министра Генерала Редигера; как в первые годы управления им Военным Министерством я являлся ходатаем за него перед Государем, в оказании ему денежной помощи по случаю болезни его жены; как стали портиться наши отношения под влиянием его недобросовестных приемов. в Совете Министров; как возмущали эти неблаговидные приемы покойного Столыпина, не переваривавшего его действий из за угла, выражавшихся в согласии в открытом заседании и в целом ряде возражений по журналам, с постоянным упоминанием Высочайших указаний как будто бы полученных им; как беззастенчиво он распространял направо и налево, что не имеет возможности вести дело обороны, потому что Министр Финансов отказывает в деньгах и мне приходится отвечать на это только представлением письменных докладов, о постоянном нарастании неизрасходованных кредитов; как вел себя Военный Министр в его поездке на Дальний Восток, и к каким средствам прибегал он, чтобы открыто дискредитировать меня, в моих выводах год перед тем.

Как бесцеремонно распоряжался он кредитами на командировки, потворствуя своим подчиненным, обманывающим контроль и Министерство Финансов в отпуск своему приближенному незаконных путевых пособий. Как извращает он истину, излагая перед Государем наше политическое положение на Дальнем Востоке в полном расхождении с Министром Иностранных Дел, только для того, чтобы сказать в 1910 году, противоположное тому, о чем докладывал Министр Финансов в 1909 году. Как говорил он прямо неправду своему Государю, например, докладывая о блестящем опыте военно-конской мобилизации в

Казанской губернии, тогда как на самом деле этот опыт кончился полным скандалом и требовал бы целого ряда суровых мер, вместо несправедливых похвальных отзывов. Какое возмущение вызывала в Варшавском Военном Округе «личная» проверка мобилизационного плана самим Военным Министром, заключавшаяся в том, что он приехал в своем вагоне на Пражский вокзал **{69} в** Варшаве, принял в течение $^{1}/_{2}$ часа, Командующего Военным Округом, принял от него тут же ужин, поданный в царских комнатах, и через $1^{1}/_{2}$ часа с минуты приезда уехал обратно, не выслушавши даже и доклада Начальника Штаба.

Я закончил мое изложение словами, который и сейчас, много лет спустя, не затушеваны в моей памяти, испытаниями пережитого времени, будучи записаны мною по горячим следам.

«Если мое отношение к Военному Министру не одобряется Вашим Величеством, то позвольте мне покинуть мой двойной пост, после всего того, что я сказал Вам, как честный человек, горячо любящий свою Родину и своего Государя, и верьте, что я уйду совершенно спокойно, в сознании свято исполненного долга. Но до того, что Вы примете Ваше решение, не прогневайтесь, Государь, если я скажу Вам, что Ваше Величество можете быть спокойны за судьбу Вашей страны и Вашей династии до тех пор, пока у Вас в порядке финансы и армия.

Ваши финансы — хороши, и я могу спокойно передать их моему преемнику, лишь бы только он не испортил того, что приведено в порядок целым рядом Ваших Министров и не испорчено мною».

«Но Ваша армия — не в порядке. Она не устроена и дурно управляется. Вашего докладчика — Военного Министра не уважает никто из видных военных: одни над ним издеваются, другие его презирают, и с таким начальником подготовить армию к победному бою — нельзя».

«Дай Бог», закончил я, «чтобы я ошибался, но мною владеет страх за будущее, и я вижу в нем грозные признаки, от которых упаси Господь Вас и Вашего Наследника. Я сказал все, что у меня было на душе, и больше, Ваше Величество, не услышите от меня никогда самого упоминания о моих отношениях к Генералу Сухомлинову. Если мне не суждено еще получить теперь моего увольнения, то позвольте мне ожидать, что Ваше Величество Сами изволили освободить меня от дальнейших докладов Вам о том, что мне очень тягостно, и что волнует меня грозными предчувствиями».

Я произнес последние слова с глубоким волнением, мои глаза были полны слез. Государь долго молчал, отвернувшись от меня. Он видимо и сам волновался, лицо Его было бледно, и Он видимо боролся среди противоречивых внутренних **{70}** ощущений. Затем он протянул мне руку и сказал: «Я был неправ, сказавши Фредериксу раньше, чем Я получил Ваши разъяснения. Забудьте это, Влад. Николаевич. Вы Меня убедили в том, что Вы поступили здесь совершенно правильно. Уволить Вас Я не могу и не вижу в этом никакой надобности. Будьте уверены, что Я никогда не забуду того, что Вы мне сейчас сказали с таким достоинством, и чтобы ни случилось, буду всегда помнить то, что Вы Мне сегодня сказали».

На этом мы расстались, и на другой день, рано утром я выехал в обратный путь, не видевши во весь день Сухомлинова, которому был назначен доклад в тот же день в 6 часов вечера.

Вернулся я домой 26-го апреля и на другой же день 27-го числа вернулся Сухомлинов.

Его возвращение ознаменовалось новым инцидентом. В 9 час. утра на вокзале его встретил Поливанов, который тут же спросил его указаний по какому-то делу, слушавшемуся в тот же день в Государственном Совете. Давши эти указания обычною скороговоркою, Сухомлинов тут же, в парадных комнатах, обратился к Поливанову с такими словами:

«Вы знаете, произошла удивительная вещь. Государь сказал мне, что Он соглашается на увольнение Вас от должности Помощника Военного Министра, с оставлением Вас, разумеется, Членом Государственного Совета».

Оторопевший Поливанов спросил его: «Как же «соглашается», ведь я Вас об этом не просил, да и Вы мне ничего об этом не говорили».

«Ничего не могу Вам сказать; вероятно что-нибудь доложил Его Величеству Председатель Совета Министров; спросите его, я и сам до крайности поражен».

Поливанов спросил меня об этом по телефону. Что мог я ему сказать, кроме того, что это новая очередная ложь, что было, конечно, ясно Поливанову и без моих слов.

Через и час он приехал ко мне, и мы могли только отметить новый факт беззастенчивого обращения с правдою в бесцеремонного отношения к людям, их достоинству и труду.

Конец апреля и весь май прошли для меня в сравнительно спокойной деловой обстановке. Я успел войти в очень гладкие сношения с Думою; сведения о том, что Государь намеревается принять ее перед ее окончательным роспуском, произвели на всю правую, то есть большую ее половину очень **{71}** хорошее впечатление; атмосфера становилась все более и боле благоприятною для Морской программы и, несмотря на нескрываемое Гучковым его резко отрицательное отношение, общее мнение слагалось все решительнее в сторону вотирования кредитов.

Мои сношения с Алексеенкой участились, и ожидания мои оправдались. Обращение мое к нему от имени Государя имело полный успех, и когда я передал ему, что Государь желает даже лично переговорить с ним и имеет в виду предложить Ему прибыть в Ливадию, он открыто обещал мне, свою личную поддержку, но умолял только не обнаруживать ничем нашего уговора и устранить всякий повод думать, что он вошел в сношения с правительством.

Заседание Бюджетной Комиссии под его Председательством прошло довольно гладко, но как-то очень бледно; как будто и оппозиция в лице Шингарева не хотела делать решительных выступлений, и она приберегала свое выступление для решительного боя.

Более бурно прошло заседание соединенных Комиссий — бюджетной, финансовой и государственной обороны. Гучков встал на резко непримиримую точку зрения и, не возражая против необходимости усиления флота, обрушился на выработанную Григоровичем программу, доказывая, что Россия должна иметь только оборонительный флот, а таковым должны считаться исключительно подводные лодки, миноносцы, минные крейсера и минная защита берегов.

Но уже и в этом предварительном собрании, на которое все смотрели как на генеральную репетицию перед общим собранием, стало ясно, что Гучков не одержит победы; от него отделились два крупных и наиболее влиятельных его сотрудника — Звегинцев и Н. В. Савич. Их, да и на их одних, видимо поколебала, искусно приготовленная Адмиралом Григоровичем защита судостроительной программы с технической ее стороны целою плеядою молодых морских офицеров, привлеченных для

дачи объяснений. В числе их — я уже упомянул об этом — находился между прочим и капитан I ранга Колчак. Выходя вместе со мною поздно ночью из Думы, Гучков не скрыл от меня, что будет побит на общем собрании. Так оно и случилось.

Я имел очень большой успех в дневном заседании общего собрания 6-го июня, затянувшемся с 11-ти до 7-ми, вовсе не выступал в вечернем, так как оппозиция была до **{72}** крайности слаба и видимо сама сознавала, что почва под нею исчезла, и я уехал до конца голосования, прямо из Таврического Дворца — на вокзал, чтобы ехать в Москву, на встречу Государю, возвращавшемуся из Ливадии и решившемуся после долгих колебаний и отчасти по моим настояниям остановиться на 2-3 дня в Москве, где Он давно не останавливался.

Уже ночью в вагоне на ст. Окуловка я получил телеграмму о том, что голосование дало неожиданные результаты: за морскую программу высказалось подавляющее большинство, а вся оппозиция собрала кажется менее 100 голосов, считая в том числе и все крайнее левое крыло.

Государя я встретил в Москве, в павильоне и думал, что моим докладом о результате думского голосования я доставлю Ему большое удовольствие и вызову недвусмысленное одобрение моего действия. На самом деле ничего подобного не произошло. Государь выслушал меня совершенно спокойно, ответил мне очень коротко: «ну и прекрасно; Я был впрочем на этот счет вполне уверен; благодарю Вас за все, что Вы сделали» и более к этому вопросу не возвращался.

Для меня было ясно, что неудовольствие Императрицы делает свое недоброе дело. Так же смотрел и Фредерикс, который понимал, что успех дела был создан мною и даже сказал мне, что он все ждал, какую форму изберет Государь для выражения мне Своей благодарности, но так и не дождался, ни в Москве, ни потом в Петербурге, когда дело прошло столь же благополучно и в Государственном Совете.

Даже Флаг-Капитан, Адмирал Нилов, не принадлежавший к числу моих поклонников, написал мне письмо, в котором высказал, что зная сколько усилий, умения и энергии я положил на проведение этого дела, он, как старый моряк, глубоко и сердечно благодарит за мою помощь всему русскому флоту и говорит без утайки, что без моей помощи и моего влияния этого бы не было.

Не долго продолжалось и на этот раз спокойное течение дел в Думе и более или менее нормальная личная моя деловая обстановка.

Едва прошли благополучно морские кредиты, как в Думе поднялись опять страстные прения по смете Синода и специально по кредиту на церковно-приходские школы. Опять появились намеки на Распутина, опять полились речи по адресу Саблера и Синода, опять заговорили о закулисных влияниях при назначении Архиереев, — и в результате этих прении — опять **{73}** последовал отказ в кредитах на открытие новых школ и на улучшение преподавания в них. Под шум этих прений Государственная Дума III созыва готовилась завершить свое пятилетнее существование и ожидала дня своего приема у Государя.

На мои настойчивые вопросы, и в Москве и тотчас по приезде в Петербург, о дне приема, я получил дважды уклончивый ответ, и Государь все оттягивал отвечать на вопросы членов Думы о дне обещанного приема. Кое-кто из членов Думы, по обыкновению, стал уже уезжать, другие, не знали на какой день назначить свой выезд, делами перестали просто заниматься и только сотнями пропускали так называемую «вермишель», т. е. очередные мелкие дела, среди которых

незаметно проскакивали и весьма крупные вопросы, не затрагивавшие только почему-либо думских страстей.

Подошло 7—8 июня. Оставалось только проголосовать незаконченные прениями церковно-приходские школьные кредиты и устроить прощальное молебствие. А Государь все не давал мне решительного ответа.

Мне пришлось написать Ему письмо (оно сохранялось мною до моего выезда из России, в моих немногочисленных бумагах) и просить исполнить данное Членам Думы через меня обещание. Я чувствовал, что дело обстоит неблагополучно и, действительно, в тот же день, в который я послал мое письмо, получил короткий ответ: «У меня решительно нет времени принять Государственную Думу». Опять как и в случае с Родзянкой мне пришлось принять на себя неблагодарную и тяжелую обязанность уговаривать Государя не делать неловкого и вредного шага и пожертвовать чувством личного раздражения во имя общего блага.

Я испросил особый доклад, получил его на другой же день, в необычный час — в 9 часов утра, это было 10-го июня, и на этот раз мне, только после величайших усилий, удалось склонить Государя отойти от Его намерения. На все мои чисто деловые доводы, на все доказательства вреда от такого печального конца 5-тилетней работы Думы, я не получил никакого ответа или слышал только такую реплику, которую не мог передать никому. Мне пришлось выдвинуть аргумент, которым я вовсе не хотел пользоваться, и напомнить Государю, что Он дал Думе через меня категорическое обещание принять ее, обусловив его исполнение только одним — принятием морской программы.

Государь посмотрел на меня с видимым раздражением и, отчеканивая каждое слово, сказал мне: «Значит Я просто **{74}** обману Думу, если не приму ее Членов», на что я ответил «Да Ваше Величество, Вы дали через меня категорическое обещание, что равносильно Вашему слову, от которого Вы никогда не отступали. Разве только я сказал Членам Думы неправду, нарушил данные мне Вами полномочия и позволил себе обещать то, что не могло быть обещано без Вашего дозволения. В таком случае я должен понести ответственность за превышение Ваших полномочий». «Нет», ответил Государь, «Вы совершенно правы, — Я не имею права нарушить Моего обещания и опять благодарю Вас за то, что Вы отговорили меня от неправильного шага. Я приму Членов Думы послезавтра. Не знаю только, что Я скажу им; их речи опять были мне очень неприятны и даже возмутительны, и едва ли я могу воздержаться от того, чтобы не высказать им этого».

Я предложил Государю сделать набросок Его обращения и прислал его в тот же день. У меня сохранился черновик этого наброска. Я дословно воспроизвожу его. Вот, что я набросал, имея в виду дать место и некоторому сетованию Государя в оценке завершившейся Думской работы.

«Я с большим удовольствием, Господа, пошел на встречу дошедшего до меня Вашего желания представиться Мне пред истечением Ваших полномочий. С величайшим вниманием следил Я постоянно за ходом Ваших занятий и не могу не сказать Вам, что не раз мне приходилось с грустью убеждаться в том, что эти занятия протекали не в том спокойствии, которой одно обеспечивает правильное и беспристрастное решение законодательных дел. Но Я знаю Господа, что Вами всегда руководила горячая любовь к родине и желание принести ей всю доступную Вам пользу.

Мне особенно было отрадно всегда видеть с каким исключительным вниманием относились Вы к вопросам государственной обороны, как широко Вы шли навстречу интересам народного образования. Ваше недавнее решение вопроса об усилении нашего морского судостроения доставило Мне большое удовольствие, и Я сердечно благодарю Вас за Ваше патриотическое отношение к столь насущному вопросу. Желаю Вам всем благополучно возвратиться домой, надеюсь, что предстоящие выборы в новую Государственную Думу будут протекать так же успешно, как те, которые были 5 лет тому назад, и буду рад снова видеть тех из Вас, которые удостоятся нового избрания».

Прием Членов Думы состоялся в пятницу 12-го июня, в 11 часов утра в Александровском Дворце. На приеме, кроме **{75}** меня, присутствовал только Барон Фредерикс и дежурный флигель-адъютант.

Государь вошел в залу, по стенам которой покоем разместились члены Думы по алфавиту губерний от которых они были выбраны. Он поздоровался со мною и Председателем Думы, обошел сначала представляющихся, разговаривая сравнительно подолгу с некоторыми из них, ограничился по отношению Гучкова одним вопросом: «Вы были избраны, кажется, по Московской губернии», затем вышел на середину, вынул со дна фуражки листочек бумаги и, изредка заглядывая на него, произнес Свое обращение. По общему построению оно близко воспроизводило мой набросок, с некоторым лишь сокращением и ослаблением выражений одобрения, но содержало в себе очень резкую фразу, которой вовсе не было у меня, а именно «Меня чрезвычайно огорчило Ваше отрицательное отношение к близкому Моему сердцу делу церковно-приходских школ, завещанному Мне Моим Незабвенным Родителем».

Эта вставка произвела ошеломляющее впечатление на большинство Членов Думы. Они молча переглядывались, а когда Государь ушел и всех пригласили в соседнюю залу, где стали разносить чай и сандвичи, — выражения разочарования и неудовольствия полились со всех сторон. Быстро все разъехались и в тот же день Государственная Дума, подавляющим большинством голосов отклонила несколько последних кредитов на те же церковно-приходские школы, остававшиеся неразрешенными от предыдущих заседаний. На этом закончились занятия Думы 3-го созыва, и под аккомпанемент этих последних впечатлений все члены Думы быстро стали разъезжаться по домам.

{76}

ГЛАВА IV.

Свидание Государя с Германским Императором в Балтийском Порту. — Мои беседы с Императором Вильгельмом и с Канцлером. — Мои разногласия с Макаровым по вопросам подготовки к выборам в Думу четвертого призыва. — Отставка Макарова. — Отклонение мною, предложенного мне, поста Российского посла в Берлине. — Новый Министр Внутренних Дел Маклаков. — Выдача Государем пособия в 200.000 р. Гр. Витте. — Желание Гр. Витте получить пост посла за-границей и предпринятые в этом направлении графиней Витте шаги в Берлине. — Приезд в Петербург Пуанкарэ. — Мои беседы с французским Председателем Совета Министров.

Вскоре после роспуска Думы, в 20-х числах июня, состоялось свидание Государя с Императором Германским в Балтийском Порту. Я и Сазонов присутствовали при этом. События на Балканах приняли к этому времени явно грозный характер. Тем не менее, никаких подробных объяснений по общим политическим делам не происходило не только между мною и Германским Канцлером Бетманом-Гольветом, с которым я виделся при этом впервые, но даже и между мной, Германским послом Гр. Пурталесом и Сазоновым. Что было говорено между двумя Императорами с глазу на глаз, я, конечно, не знаю, но имею все основания думать, что никаких объяснений по существу международного положения не происходило между двумя Монархами; — Государь просто избегал их, проявляя большую осторожность по отношению к Германскому Императору, которого Он просто боялся за его экспансивность, совершенно несвойственную Его личному характеру.

Из неоднократных моих расспросов Сазонова, я слышал от него только одно: «Мы можем быть совершенно **{77}** спокойны; германское правительство не желает допускать того чтобы Балканский огонь зажег Европейский пожар, и нужно только принять все меры к тому, чтобы наши доморощенные политики не втянули нас в какую-либо славянскую авантюру».

Я имел даже полное основание думать, что Государь вообще избегал разговоров с Императором Вильгельмом на острые политические темы и старался заполнить часы свидания с ним какими-либо посторонними предметами, а когда это трехдневное свидание закончилось, и яхта «Гогенцолерн» отошла от Штандарта, то Государь, сходя с мостика и проходя мимо меня, сказал мне:

«Ну, слава Богу, теперь не нужно боле следить за каждым словом и сторожить, как бы не подхватили на лету то, чего и во сне не было».

Со мною Император Вильгельм был поразительно предупредителен. В первый же день свидания мне был пожалован высший Германский орден Черного Орла, при чрезвычайно лестном обращении ко мне Германского Канцлера, именем своего Императора. Такую же любезность проявил и сам Он ко мне, когда я принес ему мою благодарность.

На второй день свидания, после смотра Выборгскому пехотному полку, оба Императора со всею свитою отправились пешком осматривать остатки Петровских укреплений.

Был невероятно знойный день. Во время этого осмотра Император Вильгельм подошел ко мне и стал вести беседу на тему о необходимости

устроить Европейский нефтяной трест в противовес Американскому Стандарт-Ойль, объединивший в одну общую организацию страны производительницы нефти — Россию, Австрию (Галицию) , Румынию, и дать такое развитие производству, которое устранило бы зависимость Европы от Америки. Я случайно знал о том, что эта тема интересует Вильгельма, так как за полгода перед тем, он имел на ту же тему беседу с Э. Л. Нобелем, который передал мне в свое время ее содержание. Эта тема входила уже тогда в состав общих мыслей Германского Императора, в числе которых была и мысль о необходимости бороться с Америкой и сделать Европу менее зависимой от нее.

Беседа приняла чрезвычайно оживленный характер и затянулась даже за предел, дозволенные по придворному этикету.

Солнце жгло беспощадно. Государь не решался прервать нашего разговора, но делал мне за спиною Императора Вильгельма знаки нетерпения, вся свита стояла поодаль и не знала **{78}** что делать; а Вильгельм все с большим и большим жаром парировал мои аргументы, и, когда Государь, очевидно потерявши терпение, подошел к нам и стал вслушиваться в наш разговор, Император Вильгельм обратился к нему с такими словами (по-французски):

«Твой Председатель Совета очень отрицательно относится к моим идеям, и мне очень не хочется, чтобы оказался прав он, а не я. Я прошу Твоего разрешения постараться доказать ему аргументами, собранными в Берлине, и когда мы приготовим нашу защиту, я попрошу Тебя дать мне возможность возобновить этот разговор с ним».

За всеми завтраками и обедами Вильгельм оказывал мне совершенно исключительное внимание, шутил, обменивался со мною бесконечными остротами и анекдотами, а Государь не раз говорил мне за эти три дня, что он крайне благодарен мне за то, что я выручаю Его в беседах с Его гостем.

Совсем иной характер имел мой разговор с Канцлером. Я сказал ему не обинуясь, что Германская программа вооружения 1911 г. и вотированный Рейхстагом чрезвычайный военный налог вносят величайшую тревогу у нас; мы ясно видим, что Германия вооружается лихорадочным темпом, и я бессилен противостоять такому стремлению и у нас. Как Министр Финансов, я — убежденный враг войны и считаю постоянное усиленное вооружения в некоторых странах опасным до последней степени. Оно подготовляет общественное мнение всех стран к неизбежности вооруженного столкновения, и самые убежденные противники его кончают тем, что их захлестывает эта волна всеобщего нервного напряжения, и они или отходят молчаливо в сторону или становятся сами, хотя и вынужденно, в ряд сторонников той же идеи.

Я стал развивать Канцлеру мысль, что Россия доказала Германии свою чисто оборонительную политику тем планом, который она провела по инициативе ее военных деятелей, в 1910 году, упразднением польских крепостей и отводом на восток своего выдающего фронта в Польше.

Из этого одного факта с непреложною ясностью вытекает, что у России нет наступательного плана, и что она думает только об одной обороне, рассчитанной на отражение нападения, которое было бы сделано на нее. Я не скрыл от Бетмана-Гольвега, что это преобразование выполнено не только без моего согласия, но даже и без ведома покойного Председателя Совета Министров Столыпина, что мы оба крайне не сочувствовали **{79}** этой мере, так как она была проведена слишком поспешно, без всякой подготовки и вызвала величайшие затруднения,

далеко не устраненные еще и теперь, спустя почти два года, — но все же миролюбие России звучит в этой мере ярче, чем какие-либо словесные заверения, и нам глубоко прискорбно видеть что на нашу меру Германия ответила увеличением своего вооружения и проведением закона о единовременном военном налоге.

Я вел свою беседу умышленно откровенно, потому что хорошо знал, что немцы прекрасно осведомлены обо всем, что делается у нас, и что всякие хитрости и затушевывания — совершенно бесцельны. Я закончил мой разговор тем, что сказал Канцлеру, что из моих рук ими выбито главное оружие, которым я мог до сих пор бороться против военных требований, и что я теперь бессилен препятствовать увеличению нашего вооружения, так как я не имею никаких средств возражать против необходимости нашего ответа теми же средствами, которые применяются, очевидно, и против нас.

Германский Канцлер не остался в долгу передо мною в его ответном объяснении. Он показался мне человеком простым, искренним и правдивым. Он начал с того, что и его собственное положение далеко на столь влиятельно и независимо, как это кажется со стороны.

Ему также приходится считаться и с личными взглядами Императора и с влиянием придворной среды и, в особенности, с особою организациею военного ведомства, которое настроено исключительно тревожно. Он не хотел скрывать предо мною, что Германия знает о наших предположениях и желает только опередить нас в нашей готовности. Его страшит неизбежность сильного влияния на русское правительство — общественного мнения и славянской идеи под влиянием зарождающихся балканских событий, тем более, что он видит, что и настроение во Франции становится все более и более тревожным.

Германия хорошо знает, что Россия не отойдет от своего союза, глубоко скорбит, может быть, теперь о том, что 30 лет тому назад произошел роковой поворот в традиционной политике Германии по отношению к России, и что ей не остается теперь ничего другого, как сдерживать этот неизбежный ход событий, в расчете на то, что у всех стран так много взаимных интересов, что одно это заставит их смотреть на вооружение, как на меру предосторожности, и не допускать, во всяком случае, применения ее.

{80} Канцлер прибавил, что хорошо знает мое личное направление, глубоко сочувствует ему, безгранично доверяет мне и хочет надеяться, что мне удастся подчистить моему взгляду тех, кто смотрит иными глазами на общее направление мировых событий.

Под самый конец нашей беседы, когда мы уже встали с наших мест, Бетман-Гольвег спросил меня вскользь, не ожидаю ли я больших для себя затруднений при начале переговоров о торговом договоре, так как ему сообщают, что следует опасаться у нас обострения «национальных тенденций, которые уже проявляются в статьях «Нового Времени» и поддерживаются, будто бы, весьма влиятельным у нас Министром Земледелия Кривошеиным».

Настало время готовиться к обеду, и я ответил ему кратко, что такие тенденции бесспорно существует, что им не следует удивляться потому, что торговый трактат 1904 года заключен был в такой обстановке, которая не обеспечивала за Россиею полной свободы действий, что многие постановления трактата бесспорно требуют изменений, и что мне хочется верить, что с обеих сторон будет проявлено достаточно благоразумия и терпимости, а главное сознания, что двум

соседям всегда выгоднее поступать так, чтобы оба богатели, вместо того, чтобы одному наживаться на разорении другого. Бетман-Гольвег просил моего разрешения вернуться к этому вопросу, но этого не сделал, и в остальные полтора дня на Балтийском рейде между нами не происходило более никаких разговоров.

О беседе моей с Германским Канцлером я подробно довел до сведения Государя при первом же моем докладе, который был тотчас после отхода «Гогенцолерна».

Государь был в прекрасном настроении, не раз возвращался в беседе со мною, говоря, что чрезвычайно доволен беседою с Императором Вильгельмом, который дал ему самое определенное заверение, что он не допустит Балканским обострениям перейти в мировой пожар.

— А все-таки, — прибавил Государь, — готовиться нужно и хорошо, что нам удалось провести Морскую программу, и необходимо готовиться и к сухопутной обороне.

Я стал снова развивать мою обычную тему, что разница между Россиею и Германиею заключается в том, что Германия, мало стесняясь с своим Парламентом, проводит сначала практические меры по усилению своего вооружения и уж потом, разными искусственными способами, добывает нужные на то **{81}** средства, а Россия — сначала испрашивает средства, получает их от своих законодательных палат почти беспрепятственно, а затем уже начинает осуществлять свои меры по усилению обороны, которые всегда остаются позади ассигнованных кредитов. Там все готово ранее, чем даны нужные средства, а у нас готовы только одни денежные средства а вооружение все отстает и затягивается.

Тотчас после этого доклада Государь отпустил меня в Петербург. Мы выехали в одном поезде с Бетманом-Гольвегом, Гр. Пурталесом и Сазоновым. Они проехали прямо в Петербург, а мой вагон отцепили в Ревеле, где я обещал посетить сельскохозяйственную выставку, предварительно пригласив Канцлера и Германское посольство обедать у меня на Елагином Острове. Это приглашение было, конечно, принято.
Обед прошел чрезвычайно оживленно, и мы расстались с Канцлером самым радушным образом, условившись, что я отдам ему ответный визит в Берлине, при первом выезде моем заграницу.

Спустя всего нисколько недель после свидания Императоров в Балтийском Порте начались приготовления к выборам в Государственную Думу.

Не стану подробно пересказывать эпизодов этой кампании. Она не представляет выдающегося интереса. Укажу только на то, что вначале все шло гладко. Совет Министров согласился со мною, что правительству не следует вмешиваться в выборную кампанию слишком явным образом и нужно ограничить вмешательство лишь пределами самой крайней осторожности, указавши для руководства Губернаторов, что им нужно быть особенно осмотрительными во всяких разъяснениях и искусственных группировках избирательных собраний.

По-видимому, благополучно было и соглашение с Обер-Прокурором Святейшего Синода, который просил моих и Министра Внутренних Дел указаний, какой политики держаться Синоду в смысле общих выборных указаний епархиальным архиереям.

Мы сошлись на том, что желательно только бороться против левых течений, но не следует непременно настаивать на проведении

членов исключительно одних правых организаций, внося раскол среди умеренных элементов, более сплоченных, нежели группы, склонные к нетерпимости и дроблению. Не обошлось, конечно, притом без известных трений со мною, **{82}** как Министром Финансов, по вопросу о кредитах на поддержку провинциальной печати.

Макаров и его сотрудники настаивали на более широком ассигновании, я же противился ему, видя по отчетам за время Столыпина, какую ничтожную пользу оказывали всегда эти ассигнования, как пуста и бессодержательна была эта печать, и насколько бесцельны были все неумелые попытки руководить через нее общественным мнением, никогда не считавшимся с ничтожными листками и прекрасно осведомленным о том, что они издаются на казенный счет и приносят пользу только тем, кто пристроился к ним.

Но мне пришлось отчасти уступить в этой борьбе по той простой причине, что нельзя было в год выборов отказать в том, что делалось в течение трех лет, и, таким образом, эта мало полезная трата денег продолжалась почти без сокращения в течение 1912 года и подверглась только значительной урезке в следующем 1913 году, что и создало резко враждебное отношение между мною и следующим Министром Внутренних Дел Маклаковым. Об этом вопросе речь впереди.

Наш медовый месяц выборного согласия продолжался, однако, очень недолго. Макаров передал все выборное дело в руки своего Товарища Харузина, который, не обладая ловкостью и опытностью Крыжановского — сотрудника Столыпина по выборам в третью Думу, затеял, однако, ту же политику разделений и искусственных дроблений избирательных собраний.

Об этом я долгое время ничего не знал и узнал уже тогда, когда было поздно поправлять нанесенный вред. Бесцельность всех этих манипуляций заключалась в том, что Харузин и Макаров выпустили дело из своих рук, и подчинились влиянию отдельных Губернаторов, преследовавших свою местную политику. За неимением возможности бороться против левых течений в отдельных местностях они направили свое ухищрение на земскую среду, преимущественно питавшую партию Октябристов, и стали сводить свои местные счеты. Черниговский Губернатор Маклаков направил свои усилия на то, чтобы провалить Председателя Губернской Земской Управы Савицкого и члена 3-ей Думы Глебова, а Екатеринославский обрушился на Каменского, игравшего видную роль в религиозных вопросах.

По отношению к Савицкому было поднято глупейшее и недостойное обвинение по неисправностям в земской больнице, с привлечением его к следствию за побег двух арестантов **{83}** из больницы. По отношение к Глебову повод был формально правильный - утрата им части своего избирательного ценза, но обставлен он был так грубо и неумело, что вся искусственность сквозила самым наглядным образом.

По отношению к Каменскому было поступлено еще неосторожнее: избирательные собрания были разделены как раз в противоположность тому, что было сделано Крыжановским при выборах в третью Думу, и так как это именно и дало перевес Каменскому, то для всех было ясно, что новые манипуляции предприняты были именно против него и лишили его голосов немецких колонистов, которыми он прошел в первый раз.

Все эти маневры, не многочисленные сами по себе, произвели, однако, скверное влияние, раздражили многих на местах и создали ту

атмосферу неудовольствия, с которою съехались в ноябре месяце новые депутаты в Петербург.

Меня они окончательно поссорили с Макаровым. Честный по личным взглядам, но ограниченный и упрямый до крайности, он подпал под влияние своих сотрудников, и на все мои настояния умерить пыл губернаторского рвения и не принимать явно искусственных мер против таких, в сущности, безобидных, хотя и либерально настроенных людей, как Каменский и Глебов, он ответил мне решительным отказом, ссылаясь на то, бесспорно правильное, с формальной точки зрения, основание, что руководство выборами и в частности распределение избирательных округов предоставлено законом ему и не зависит от наблюдения Председателя Совета Министров...

Доводить об этом разногласии до сведения Государя я не хотел; подчинить Макарова моему влиянию мне не удалось. Я и попробовал было внести дело в Совет Министров, но тоже с очень малым успехом. В Совете, к этому времени, уже стало слагаться весьма неблагоприятное отношение ко мне. Такие опытные люди, как Кривошеин, зорко следили за развитием Распутинской истории и прекрасно учитывали отношение ко мне Императрицы.

Щегловитов и Рухлов секретно всегда действовали против меня, имея на своей стороне Сухомлинова. Такие честные и расположенные ко мне, каждый по своему, люди, как Григорович и Тимашев, не имели в этом вопросе влияния, а умный, циничный и хитрый Харитонов всегда, примыкал туда, где, казалась ему, — сила, а она, при всем его либерализме, влекла его в сторону так называемых консервативных элементов, **{84}** защищаемых приемами Министра Внутренних Дел. На самом же деле, Харитонов просто чуял, что медовый месяц моего положения прошел, и выгоднее примыкать против меня.

Совет Министров поговорил, посудил, но не счел себя в праве ограничивать власть Министра Внутренних дел, хотя все отлично знали, что и Макаров приближается к своему увольнению. История с письмами Императрицы была известна всем Министрам.

В самый разгар моих препирательств с Макаровым по выборам в Думу произошло одно событие, крайне неожиданного для меня свойства...

Как-то летом, перед переездом Государя в Петергоф, Сазонов спросил меня однажды по телефону, не говорил ли Государь со мною по поводу замещения должности нашего посла в Берлине.

На отрицательный мой ответ, он сказал мне, что еще в Москве он представил Государю кандидата на этот пост. С. Н. Свербеева, но Государь не дал ему никакого ответа и сказал, что у Него есть другой кандидат, но что он хочет переговорить об этом со мною и просил Сазонова напомнить Ему в Царском.

Тогда Сазонов ничего мне об этом не сказал, но, так как время уходило, а пост Берлинского посла оставался в тревожную пору не замещенным, то он просит меня напомнить Государю о Его желании переговорить со мною. Я обещал ему это сделать в ближайшую пятницу, не допуская и мысли о том, что дело касается меня самого.

Покончивши с моими очередными делами, я собирался было исполнить просьбу Сазонова, но Государь предупредил, меня, сказавши буквально следующее:

«Я решил расстаться с Макаровым. Это бесспорно честный человек, но он совершенно не справляется с делом.

Все жалуются на него, он окончательно распустил печать, и сколько Я ни твержу ему о необходимости обуздать ее и составить такой закон, который дал бы правительству в руки действительное оружие против ее эксцессов, он все тянет и отделывается разными предлогами, ссылаясь то на Думу, то на невозможность ввести цензуру, то на общественное мнение. Вот теперь, Думы нет, и можно бы ввести хороший закон по 87 статье, но и тут он все возражает, ссылаясь, между прочим, что ни Вы, ни Совет, этому не сочувствует».

«Мне такое отношение Макарова к Моим желаниям **{85}** надоело, и Я решил сменить его и назначить другое, боле энергичное, лицо. Вам такая перемена будет, конечно, очень неприятна, потому что Макаров назначен Мною по Вашему предложению, и Я хочу поэтому предложить Вам пост посла в Берлине, если бы Вам было тяжело расстаться с Макаровым. Вы знаете, что этот пост очень трудный, наша политика всегда была основана на дружбе, с Германией, а теперь обстоятельства так сложились, что нужен человек опытный и выдержанный как Вы, чтобы ограждать наши интересы. К тому же Император Вильгельм Вас, видимо, искренно жалует и на раз, во время недавнего свидания, расточал Мне величайшие похвалы по Вашему адресу».

Я поблагодарил Государя за оказанное доверие и спросил Его, могу ли я дать Ему совершенно откровенный ответ, или должен считать, что Его решение окончательное, и в таком случае я ему беспрекословно подчиняюсь, несмотря на величайшие мои сомнения в пригодности моей к новой должности.

Государь сказал мне, что Он отнюдь не желает стеснять меня, делает это предложение, главным образом, потому, что верит в его пользу, и охотно разрешает мне высказать откровенно мое мнение.

Я начал с того, что отнюдь не считаю себя во всем солидарным с Макаровым и не посмотрю на увольнение его как на личное для меня огорчение. Я постарался защитить его в деле о печати и сказал, что вполне разделяю его сомнения и должен решительно возразить против возможности приведения какого-либо закона по 87 статье, но не скрыл от Государя, что я глубоко разошелся с Макаровым по Ленскому делу и некоторым его приемам по выборам в Государственную Думу.

Для меня, как Председателя Совета Министров, важно не сохранение Макарова на месте Министра Внутренних Дел, и замещение его другим, более подходящим, лицом, которое, однако, нельзя, во всяком случае, произвести немедленно, а следует, но меньшей мере, отложить до конца октября, когда будут завершены выборы в Думу. Новому человеку немыслимо вступить в должность среди выборной кампании.

Но такая замена не должна и не может быть принята мною как повод к какому-либо личному неудовольствию, и я готов продолжать мою совместную работу с новым лицом, если только это лицо будет сколько-нибудь отвечать требованиям данного времени... От поста посла в Берлине, я не имею права отказываться, но усердно прошу не назначать меня на него, **{86}** а дозволить мне продолжать свою деятельность здесь, если только Государь сохранил ко мне доверие. Я убежден, что я принесу в этом случае больше пользы, нежели в звании Берлинского посла.

— Здесь — сказал я — я сознательно несу свои обязанности и, несмотря на все, трудности моего положения, моя совесть спокойна за то, что я делаю. Я привел Государю целый перечень дел, по которым многое только едва начато и требует, чтобы продолжал тот, кто начал.

Я указал на созыв новой Думы, с которой легче встретиться мне, чем новому человеку, на неизбежность больших усилий то увеличению средств на сухопутную оборону и в особенности на то, что политические тучи вообще сгущаются и требуют исключительного внимания, не столько в отдельных центрах дипломатической борьбы, сколько здесь, и я опасаюсь, что Сазонов, предоставленный одним своим силам, не сможет удержать своих товарищей по Совету Министров от неосторожных поступков. Затем я высказал вполне откровенно, что я вообще опасаюсь оказаться в Берлине не на месте. Я не привык к дипломатическим тонкостям и хитростям; я слишком откровенен и прям и могу невольно сказать больше, чем нужно, а Берлин учитывает каждое слово; да и мое убеждение в необходимости сохранения мира во что бы то ни стало может встретиться с иными тенденциями здесь, которые уже начали проявляться среди некоторой части Совета Министров, преследующей, так называемую, «национальную» политику.

В заключение моих аргументов я указал на то, что как Германия, так и мы начали уже готовиться к новому торговому договору, и наши приготовления, в особенности по ведомству Земледелия, меня положительно пугают. Они проникнуты такою похвальбою, таким ярким стремлением продиктовать Германии нашу точку зрения на необходимость разных уступок с ее стороны в пользу нашего хлебного вывоза, на которые Германия не может пойти, так как ее правительство, опираясь на свою аграрную партию, не может предать ее интересов в пользу удовлетворения наших заданий.

Как русскому послу, мне будет трудно защищать нашу точку зрения, и наши «аграрии» будут неизбежно обвинять меня в слабости, как обвиняют меня уже и теперь за чрезмерную уступчивость в пользу иностранцев в ущерб, будто бы, нашим народным интересам.

Государь слушал меня совершенно спокойно, не проявлял ни **{87}** малейшего неудовольствия и, когда я остановился, сказал мне очень просто:

«Я не могу насиловать Вас; все, что Вы сказали, очень правильно, и Я с большим удовольствием сохраню за Вами Ваше теперешнее положение. Мне нелегко было бы найти и Вашего заместителя на Вашем двойном посту. Передайте Сазонову, что он может прислать Мне доклад о назначении в Берлин его кандидата».

Я не имел никакого понятия, что таким кандидатом состоит С. Н. Свербев, с которым мне пришлось встретится впервые, правда для самого поверхностного знакомства, только месяц спустя, а ближе столкнуться с ним — в ноябре 1913 года.

Это был поразительно ничтожный человек, вызвавший только улыбку среди представителей Берлинского правительства и закончивший свою короткую посольскую карьеру в июле 1914 года выездом из дома посольства под градом камней, которыми толпа провожала кортеж посольства, покидавший немецкую столицу по случаю объявления войны.

Остается только пожалеть, что на столь ответственный и трудный пост, не нашлось более подходящего человека и представлена была Государю такая кандидатура. А покойный Сазонов не мог сослаться на то, что он вынужден был на эту кандидатуру моим отказом, так как мысль о моем назначении принадлежит не ему, хотя он несомненно знал об этом и даже скрыл от меня. Мое назначение было подсказано всего вероятнее Императрицею, которая, несомненно, желала одного —

удалить меня из Петербурга, а Ее окружающим и тем, кто думал угождать Ей, было совершенно безразлично, куда меня сплавить, лишь бы удалить подальше с глаз.

Государь просил меня не распространяться о нашем разговоре, и он остался совершенно неизвестен большинству публики, кроме, конечно, Сазонова, который, как мне показалось, даже остался очень доволен тем, что я отклонил предполагавшееся назначение и очистил дорогу Свербеву.

Мне невольно пришлось, после ликвидации вопроса о моем назначении, перейти к вопросу о замещении должности Министра Внутренних Дел и спросить Государя, кем намерен Он заменить Макарова.

«Ваш кандидат», сказал Он, «оказался очень неудачным; авось Мой собственный окажется лучше», и назвал мне Черниговского Губернатора Маклакова. Мне пришлось сразу же **{88}** опять возражать. Я рассказал подробно, насколько обострилось у Маклакова его отношение к земству, к каким выборным фокусам стал он прибегать, насколько участились за последнюю зиму приезды его в Петербург, и какое место занимает он в антураже князя Мещерского, ведущего энергичную компанию против Макарова именно для того, чтобы очистить место для своего любимца, и насколько будет затруднено мое положение при несомненном стремлении Маклакова идти по указке Мещерского, точки зрения которого так резко отличаются, в большинстве злободневных вопросов, от моих.

Мои соображения, видимо, очень не понравились Государю. Желая найти какой-либо выход из такого положения, Он сказал мне:

«Вы ошибаетесь, Владимир Николаевич, Я видал неоднократно Маклакова. Это человек очень твердых убеждений, но чрезвычайно мягкий по форме. Он не будет вести никакой политики против Вас, потому что хорошо понимает свою неподготовленность и все превосходство Вашего авторитета. Позовите его к себе, под каким-нибудь предлогом, переговорите с ним совершенно откровенно, и Я уверен, что Вы быстро сойдетесь с ним, там более, что Я дам ему прямое приказание — идти во всем солидарно с Вами».

Я так и сделал. Через несколько недель я вызвал Маклакова к себе, имел с ним у себя на даче, на Елагином Острове, продолжительную беседу, высказал ему совершенно откровенно мой взгляд на отрицательные стороны его служебного прошлого, на его близость к Мещерскому, на те последствия, которые проистекут из этого рано или поздно, и предложил ему обдумать свое положение и сказать мне открыто и честно, на что я могу рассчитывать.

В этой первой откровенной беседе Маклаков показался мне совершенно искренним. Заявивши мне с первого слова, что он вполне признает свою неподготовленность и страшится встречи с Думою и общественным мнением, тем более, что знает наперед, что под влиянием черниговских депутатов Дума встретит его очень недоверчиво, если даже не прямо враждебно, — он стал развивать далее, что надеется побороть эти трудности при доброжелательном отношении моем к нему и хочет отдать все свои силы на службу Государю, за которого готов отдать даже свою жизнь, если бы это могло дать покой и счастье Ему. Об отношениях своих к Мещерскому он был также вполне откровенен. Он сказал мне, что обыкновенно видится с ним в каждый свой приезд, почитает в нем **{89}** старого человека, преданного, по своим убеждениям,

консервативному строю, но никогда не принимал участия ни в такой интриге не только против меня, но даже против кого-либо из состава правительства, прислушиваясь только к переменчивым взглядам Мещерского или его окружения.

Я обещал передать лично наш разговор Государю, но просил его припомнить две вещи из нашей беседы: 1) что он не отказывается от своей близости к кн. Мещерскому, а я делаю из этого тот вывод, что, оставаясь в его сетях интриг и наушничества, он неизбежно попадет под его влияние и должен будет разойтись с теми, к кому не лежит сердце этого властного человека, и 2) мое личное положение не играет в этом никакой роли, потому что я не держусь за свое место и был бы рад избавиться от такого положения, в котором большая часть времени и сил уходит не столько на работу, сколько на борьбу со всевозможными течениями. В лагерь Мещерского я, во всяком случае, не пойду, и ему придется сделать выбор между этими двумя крайностями: мною и его покровителем.

У меня осталось совершенно ясное представление, что Маклакову не отойти от Мещерского, и наши дороги не сойдутся. Так оно потом и вышло.

Государь вскоре уехал в шкеры. Я получил там только один личный доклад, на котором и высказал откровенно все мои опасения, которых Государь не разделил и отпустил меня со словами:

«Вот Вы увидите, какого послушного сотрудника Я приготовил Вам в лице Маклакова».

Лето 1912 года прошло, главным образом, во всякого рода приготовлениях к выборам в Государственную Думу. В числе моих забот по этому поводу видное место занимали всевозможные наседания на меня с самых различных сторон в смысле получения денег на выборную кампанию. Октябристы и националисты конкурировали друг перед другом в доказательствах своей сплоченности и неизбежности подавляющего успеха в выборах при малейшей денежной поддержке со стороны правительства, но наибольшую виртуозность проявили правые организации, предъявившие мне точно составленную смету в 1 миллион рублей — точная цифра была 964.000 р. Приправляя свои домогательства недвусмысленными намеками на то, что от удовлетворения их желания зависит и само отношение правых организаций ко мне, «а может быть и больше», как **{90}** заявил Марков 2-ой, который вел переговоры со мной.

Министр Внутренних Дел Макаров, я должен сказать это к его чести, держался совершенно нейтрально в отношении этих домогательств и облегчил мой положение тем, что никогда не противоречил мне в докладах у Государя и даже напротив того, постоянно говорил о полнейшей бесполезности произведенных покойным Столыпиным больших расходов на поддержку покровительствуемой им печати, не оказавшей правительству решительно никаких услуг в трудную минуту.

В другом месте я рассказал уже о давлении, произведенном на меня Марковым 2-ым и Пуришкевичем, и не хочу более возвращаться к этому инциденту, хотя он был главной причиной затаенной правыми злобы на меня и имел, несомненно, свою долю влияния на увольнение меня два года спустя.

За это же лето 1912 года случился небольшой эпизод, о котором полезно упомянуть, хотя бы для характеристики некоторых людей того времени и того, как ограждали свои личные интересы такие строгие судьи других, каким был хотя бы Граф Витте, по напечатанным мемуарам

которого все были или глупы, ничтожны или корыстолюбивы, и только он один был бескорыстен. *(см. на нашей стр., ldn-knigi)*

Перед самой моей поездкой в апреле месяце в Ливадию, как-то днем, во время моих обычных докладов и занятий, приехала Графиня Витте и в самых любезных выражениях стала говорить о том, что только я один могу помочь ей и ее мужу, находящимся в совершенно безвыходном положении. Она заявила мне, что им буквально нечем жить, и они должны спешно принять какое-нибудь решение: либо покинуть государственную службу и принять место с большим окладом в одном из банков, либо уехать окончательно заграницу и зарыться в каком-нибудь ничтожном городке Германии. По ее словам, первое решение всего более улыбается ее мужу и ей самой, но она слышала, что по моему же докладу Государь отнесся неодобрительно к такому решению, и потому на мне лежит до известной степени долг помочь им увеличением содержания настолько, чтобы бывший Министр Финансов, спасший Россию от гибели, человек, заключивший мирный договор с Японией на таких условиях, о которых никто не смел и мечтать, не жил как нищий и отказывал себе во всем.

Я обещал доложить обо всем Государю, но сказал, что для меня необходимо видеться лично с Гр. Витте, дабы потом **{91}** не было с его стороны каких-либо нареканий на то, что я сделал что-либо без его прямого ведома.

Мы расстались самым сердечным образом. Графиня Витте горячо благодарила меня, сказавши, что она никогда не сомневалась в моем благородстве, и что она уверена в том, что я и не подозреваю, как почитает меня ее муж, который постоянно говорит обо мне в самых нежных выражениях и твердит всем и каждому, что величайшее счастье для России иметь во главе правительства именно меня.

На другой день я получил от нее письмо, которое сохранилось в немногих моих бумагах, которые удалось спасти от полного разгрома моей квартиры. Вот оно:

Понедельник 16 апреля 1912 г.

Дорогой Владимир Николаевич!

Я рассказала мужу об нашем дружеском разговоре; он был смущен, что надоедаю Вам, и сказал: раз Его Величество ему изволил сказать, что Он его положение устроит, то Сергей Юлиевич должен уверенно ждать решения Государя.

Что же касается материального положения, то увеличение его казенного содержания его никоим образом устроить не может. Материальное положение могло бы быть облегчено только единовременной выдачей нескольких сот тысяч рублей, и тогда он мог бы быть спокоен. Понятно, муж был бы очень рад повидаться с Вами и переговорить, но боится отнимать Ваше драгоценное время своими мелкими личными делами, зная, как Вы заняты.

От всего сердца желаю Вам счастливого пути и прекращения всех мерзких интриг, которые направлены против талантливого и умного Председателя Министров и Министра Финансов.

Благодарю Вас, дорогой Владимир Николаевич, за Ваши постоянное дружеское и доброе отношение к нам.

Искренно Вам преданная

М. Витте.

(ldn-knigi - дополнение из - „Профиль“ 21.04.1997 N 15:
«...В наследство супруге, Сергей Витте оставил три дома -- в Петербурге (на Каменном острове), в Брюсселе и Биаррице, а также десятки миллионов рублей! в банках Берлина и Лондона. После 1917-го семья Витте эмигрировала..».)

Получивши это письмо и не успевши еще ни ответить, на даже протелефонировать Гр. Витте, я получил от него на **{92}** другой же день запрос по телефону о том, когда он может заехать ко мне до моего отъезда в Ливадию.

В тот же день он был у меня перед самым моим обедом. Начал он разговор с того, что его жена была у меня без его ведома, так как он решил сам никого о себе не просить, тем более, что ему известно, что его близкие друзья говорили о его невыносимом положении Государю, и последний ответил, что хорошо об этом осведомлен и будет говорить с Министром Финансов. Если же Его Величество этого до сих пор не сделал, то очевидно не желает, и следовательно бесполезно Ему надоедать разве, что «Вы возьмете мое дело в руки и поможете мне выйти из такого положения, при котором я буквально доедаю последнее, что у меня осталось, а жить на нищенское жалованье, после отнятой аренды, т. е. на какие-то 24.000 рублей в год, я давно уже отвык».

Я сказал Гр. Витте, что если бы речь шла об увеличении его содержания, хотя бы на 10.000 р. в год, то я знал бы что делать. Я переговорил бы с Председателем Государственного Совета и попросил бы его разрешить мне доложить об этом Государю и не сомневаюсь в успехе, но так как из письма Графини я вижу, что этим дела не разрешить, то я должен сказать прямо, что не могу просить Государя о такой выдаче, так как за 8 лет моего управления Министерством я постоянно боролся против таких выдач. Я прибавил, что обещаю не возражать, если Государь меня спросит, и я думаю, что самое простое и естественное, чтобы Гр. Витте решился обратиться непосредственно к Государю, т.к. этим путем он будет упрекать себя впоследствии в том, что не исчерпал всех способов ранее, чем решиться переменить всю свою жизнь. Подумавши немного, Витте сказал, что «пожалуй, что Вы правы, тем более, что неизвестно даже, говорили ли Ему мои друзья или просто хотели отделаться от меня, когда я их спрашивал».

В половине июля Государь вызвал меня с докладом в шкеры. Особенно неприятных вопросов не было, и доклад быстро двигался к концу, тем более, что Государь предполагал тотчас после завтрака ехать на берег с Великими Княжнами и предпринять продолжительную прогулку.

Когда я кончил все очередные дела, Государь вынул из ящика своего маленького письменного стола синюю папку и спросил меня: «Вы не догадываетесь, что в этой папке?»

Зная по опыту, что такие папки не сулят мне ничего приятного и содержат в себе какую-нибудь просьбу о деньгах или **{93}** ходатайство о каком-либо исключении из общего правила, я сказал, что боюсь этих синих папок, так как, большею частью, они содержат в своих недрах что-либо неприятное для Министерства Финансов. На это Государь сказал мне:

«Не упадите в обморок и прочтите громко, а затем ответьте Мне прямо на те вопросы, которые Я вам поставлю».

Я вынул из синей обложки письмо, написанное знакомым мне почерком Графа Витте. Вот что я прочитал громко:

(Копия этого письма уцелела от обыска во время моего ареста.)

Ваше Императорское Величество.

Несколько месяцев тому назад Вы изволили благосклонно выслушать мою исповедь о тяжелом положении необеспеченности, в котором я нахожусь. Оно заключается в том, что, не обладая ни наследственным состоянием, ни благоприобретенным, ибо, отдав себя государственной службе, я не имел права заниматься делами наживы, на закате жизненной карьеры я очутился с содержанием в 19 тысяч рублей и с ограниченными средствами, оставшимися из 400 тысяч, которые Вам угодно было милостиво пожаловать, когда я с поста Министра Финансов был назначен Председателем Комитета, а впоследствии Совета Министров, на каковых должностях, вместе с арендою я получал почти в 2 раза больше, нежели теперь.

Из такой обстановки своими силами я мог бы выйти только, оставив государственную службу, чтобы заняться частною. Но это средство недавно было мною окончательно отвергнуто.

Ваше Величество были так милостивы, что в бесконечной Царской доброте соизволили мне сказать: «можете быть совершенно спокойны; это Мое дело Вас и Ваше семейство обеспечить».

Простите, если осмелюсь всеподданнейше доложить. Я вполне понимаю, что на деятельной государственной службе я мог получить прочное матерьяльное положение только на посту посла, и хотя я несколько раз имел случай представлять доказательства, что на этом поприще я мог бы оказывать услуги Царю и родине не хуже других, тем не менее, я более не питаю никаких надежд на такой выход, вследствие неблагоприятного отношения ко мне подлежащих Министров.

{94} Увеличение содержания, при настоящих моих обязанностях, в размере, могущем меня устроить, являлось бы крайне неудобным, а потому было бы и для меня тягостно.

Я мог бы быть выведен из тяжелого положения единовременною суммою в двести тысяч рублей. Сознание, что будучи Министром Финансов в течение 11 лет, я своим трудом и заботами принес казне сотни миллионов рублей, сравнительно, сумма, могущая поправить мои дела, представляет песчинку, дает мне смелость принести к стопам Вашего Императорского Величества всеподданнейшую просьбу, не сочтете ли Государь, возможным оказать такую Царскую милость.

Позволяю себе в оправдание настоящего всеподданнейшего письма доложить, что с наступлением каникул, ранее, нежели покинуть Петербург, мне предстоит решить вопрос, могу ли я продолжать скромно жить так, как живу, или принять меры к дальнейшему сокращению моего бюджета, вступив на путь домашних ликвидаций.

Верноподданнейший слуга

Граф Витте.

СПБ. июнь 1912 г.

Когда я прочитал это письмо, Государь спросил меня:

«Вы подозревали, что Витте может обратиться ко мне с такою просьбою?»

Я рассказал тогда все, что приведено выше, начиная с визита ко мне Графини Витте, письма ее ко мне в апреле месяце и личного разговора с самим Гр. Витте и пояснил, что я не доводил обо всем этом до сведения Государя потому, что не был уверен в том, что Гр. Витте

решится лично просить о денежной помощи, после того, что я отклонил от себя инициативу в его ходатайстве. Тогда Государь задал мне такой вопрос:

«Что это за объяснение, что ему предлагали выгодное положение в частной деятельности, от которого он отказался? Я ничего об этом не слышал, и сам он, обратившись ко Мне с личною просьбою о назначении его послом, ничего не говорил Мне об этом?»

В ответ на это я доложил, что этот вопрос освещен не совсем правильно, т. к. мне пришлось говорить об этом лично с Гр. Витте еще осенью 1911 года. Тогда ко мне приехал Председатель Совета Русского для внешней торговли Банка, мой бывший сослуживец, В. И. Тимирязев и спросил **{95}** меня, обсуждался ли в Совете Министров вопрос о разрешении Гр. Витте принять, в виде особого изъятия из общего правила, предложение Банка о предоставлении ему должности консультанта при Банке с определенным содержанием, сверх возможного его участия в прибылях. Я был крайне удивлен таким вопросом и ответил полным неведением, прибавив, что тут должно быть прямое недоразумение, т. к. Гр. Витте, как член Государственного Совета, не имеет права принять такое предложение, и Совет не может обсуждать его как прямо противоречащее закону о несовместительстве.

Тимирязев настаивал на том, что у них состоялось уже соглашение, подписанное Гр. Витте, и спросил меня, не возьмусь ли я лично доложить этот вопрос Государю и испросить разрешение его в благоприятном смысле, как меру совершенно исключительную.

Я отказался наотрез принять участие в таком обходе закона, сказавши, что об этом должен докладывать Председатель Государственного Совета, если он решится на это и прибавил при этом в шутку, что я очень сожалею о невозможности для меня исполнить угодное Гр. Витте, потому что, вероятно, я и сам недолго пробуду Председателем Совета Министров и Министром Финансов, и был бы счастлив после моего увольнения пойти по дороге, предоставленной Гр. Витте и поискать какой-либо Банк, который согласился бы взять и меня в консультанты. Замечая, что я отношусь к его сообщению с большим недоверием и даже не серьезно, Тимирязев вынул из кармана протокол постановления Совета и Правления Русского для внешней торговли Банка, подписанный многими членами; внизу его стояла собственноручная подпись Гр. Витте: «С сделанным мне предложением согласен. Витте».

По-видимому, соглашение это состоялось летом или осенью того же 1911 года, между Гр. Витте и одним из членов Правления Банка, кажется Артемием Рафаловичам, где-то в Германии на курорте Зальцшлиф и оформлено уже в Петербурге.

После этого моего разговора с Тимирязевым прошло всего несколько дней, как ко мне приехал Гр. Витте, без предупреждения меня по телефону, и просил дать ему «дружески» совет, т.к. около него слагаются «всякие бессмысленные легенды в роде того, что он будто бы устроил себе место консультанта при каком-то Банке, тогда как он не раз получал об этом всевозможные предложения, но постоянно отклонял их, т. к. он прекрасно знает, что это незаконно, и не бывшему же **{96}** русскому Министру Финансов и Премьер-Министру заниматься обходами закона».

Я сказал ему в ответ, что действительно и до меня доходил такой слух, но я не придал ему никакой веры, т. к. хорошо понимаю, что даже

Государь не мог бы разрешить такого изъятия, ибо за этим потянулась бы нескончаемая вереница таких же домогательств со всех сторон, и Государственный Совет превратился бы в торжище незаконными совместительствами.

Я не сказал ему из простой деликатности, как не говорил этого вообще, кому бы то ни было, что видел собственными глазами его подпись под протоколом Русского Банка, и на этом наша беседа и прекратилась. Весь вопрос заглох и только позже тот же Тимирязев сказал мне, что Витте вызывал его, очень гневно передал ему ту же «сплетню» и даже обвинил его в распространении ее, а когда он показал ему подписанное им согласие, то Витте, не мало не смущаясь, сказал только: «вольно же было принимать всерьез курортную болтовню. Мало ли о чем говоришь на водах, от нечего делать», как будто не его подпись стояла на протоколе.

После моего рассказа Государь спросил меня:

«Так нужно просто отказать Витте, или даже ничего ему не отвечать?»

Я доложил Государю, что по моему мнению, нужно, напротив того, — исполнить эту просьбу и дать Гр. Витте то, чем он просит. Государя такое мое мнение, видимо, удивило и, когда я сказал, что нахожу более правильным ответить милостью на обращенную просьбу и лучше выдать эти деньги, неужели отказать в них, хотя бы для того, чтобы каждый знал, что Государь не отказал своему долголетнему Министру, оказавшему государству большие услуги, в помощи, когда, он о ней ходатайствует, несмотря на то, что мотивы такой просьбы. могут быть оцениваемы различно.

Государь немного подумал и сказал мне:

«Вы правы, пусть будет по Вашему, только не подумайте, что Гр. Витте скажет Вам спасибо за Ваше заступничество, — он Вас очень не любит, но я непременно скажу ему, если увижу его, что Вы склонили Меня исполнить его просьбу».

Затем, по моему предложению, Государь тут же написал на письме Гр. Витте: «Выдать Статс-Секретарю Гр. Витте 200.000 рублей из прибылей иностранного отделения, показав эту выдачу на известное Мне употребление».

{97} На словах Государь прибавил, что Он не желает, чтобы об этом много болтали, и если Государственный Контролер пожелает иметь оправдание произведенной выдаче, то письмо Витте с резолюциею может быть предъявлено лично Статс-Секретарю Харитонову.

Я поспешил послать Графу Витте телеграмму в Зальцшлирф, где он в ту, пору лечился, с извещением о решении Государя, и получил от него на французском языке, 31 июля (нового ст.) ответ по телеграфу в таких выражениях:

«От всего сердца благодарю Вас за дружескую услугу. Моя жена присоединяет к моим и свои искренние чувства».

Прошло всего полтора года и многое изменилось опять в наших отношениях с Гр. Витте. Он занял одно из видных мест в осуждениях меня, а незадолго перед тем, что я был уволен 30 января 1914 года от обеих моих должностей, он выступил с самыми резкими речами в Государственном Совете и в печатной полемике против меня. Речь об этом впереди.

Когда кончился мой доклад по этому совершенно неожиданному для меня вопросу, Государь, очевидно располагавший еще временем,

спросил меня не слышал ли я чего-либо относительно желания того же Графа Витте получить пост посла где-либо заграницею?

Я ответил, что прямых и точных сведений у меня не было, но до меня доходил недавно слух о том, что граф Витте, не скрывавший своего желания в первое время после его увольнения с поста Министра Финансов и назначения его Председателем Комитета Министров, снова говорил в Новом клубе, что ему надоело бездействие в Государственном Совете, и он намерен опять прозондировать, через своих друзей, — нельзя ли ему возобновить свое желание о перемене служебного положения, т. к. он думает, что пост посла в Риме должен скоро освободиться, но что он опасается, что Министр Иностранных Дел Сазонов будет ярым противником его назначения, т. к. на него перешла вся ненависть к нему Столыпина, которого Сазонов считает гениальным человеком и думает все еще его мозгом.

Государь сказал мне на это в самом благодушном и простодушном тоне:

«Я могу дополнить Вашу информацию несколько более положительными сведениями. Граф Витте нашел действительно друзей, которые передали Мне даже его письмо по этому поводу, **{98}** написанное откуда-то из-за границы и оставшаяся у Меня в столе, в Царском. Я передам Вам его, когда вернусь осенью.

Оно любопытно и излагает с большим авторитетом, что Я должен изменить весь состав нашего представительства заграницею и заменить его людьми совершенно иного сорта, нежели те, которые занимают эти места теперь, а именно — людьми чисто делового типа, умеющими ладить с печатью, влиять через нее на общественное мнения, и вообще нужно вдохнуть совсем свежую струю в прежнюю дипломатию, совершенно не знающую России и не умеющую говорить с такими новыми людьми, как те, которые ведут теперь всю политическую жизнь на западе. Он говорит даже, что весьма сожалеет о том, что недостаточно владеет английским языком, чтобы предложить себя на место посла в Вашингтон, хотя он убежден, что он сумел бы и без этого повернуть и общественное мнение Америки и американский рынок в сторону России и открыть последний для наших займов.

Кончает Витте свое письмо — как сказал Государь — тем, что с благодарностью примет любой пост посла в большом государстве Европы, но просит не назначать его ни в Китай, ни в Японию, потому что эти страны должны быть предоставлены более молодым силам».

Государь прибавил: «Я говорил об этом письме Сазонову, который отнесся к такой просьбе совершенно отрицательно. Я также нимало не настаивал и ничего не отвечал Витте ни прямо, ни через его друзей, хотя один из них не раз спрашивал Меня, какой ответ думаю Я дать на письмо Витте? Вероятно, впрочем, он и сам догадывается, что не давая ему ответа, Я дал его в очень ясной форме».

Письма Графа Витте Государь мне не передал в Царском Селе осенью, и весь этот вопрос так и не всплывал более наружу до самого моего ухода в 1914 году. Очевидно, та же мысль давно занимала Гр. Витте.

Много лет спустя, в беженстве, в Париже, в мемуарах бывшего Германского Канцлера Князя Бюлова я прочитал некоторые эпизоды, рассказанные про Гр. Витте Князем Бюловым. Гр. Витте всегда кичился дружбою с Кн. Бюловым и отвел ей место в своих воспоминаниях,

оттенив посвященные ей строки даже особенною интимностью.

В числе сообщений Князя Бюлова заслуживает внимания приведенное там письмо, очевидно по его содержанию, относящееся ко времени между концом сентября 1905 года, по **{99}** возвращении Гр. Витте из Портсмута и 1-м октябрем того же года, когда он был назначен на вновь учрежденную должность Председателя Совета Министров.

Это письмо адресовано было Графинею Витте к берлинскому Банкиру Эрнсту фон Мендельсон-Бартольди и содержало в себе просьбу использовать близкие его отношения к Императору Вильгельму и разъяснить ему всю пользу, столько же для интересов России, сколько и Германии, от назначения Гр. Витте на должность российского посла в Париже, каковую должность занимал в то время достойнейший А. И. Нелидов. В этом письме выражается уверенность в том, что Император Германский найдет эту мысль блестящею и если признает возможным настойчиво заявить об этом нашему Государю, то последний, несомненно, согласится на ее осуществление.

Я не привожу всего текста опубликованного Князем Бюловым письма, так как подлинность его едва ли подлежит сомнению уже по одному способу его изложения, и я не допущу неосторожности, если скажу, что это письмо не могло быть написано иначе, как с согласия самого Гр. Витте.

В эту пору он был неотлучно в Петербурге до конца апреля 1906 года, и самое изложение письма с неоднократным упоминанием «мы» свидетельствует о том, что обращение было сделано с его ведома. Остается пожалеть о том, что Мемуары Князя Бюлова не говорят ничего о том, что было предпринято Г. Мендельсон-Бартольди.

Мне приходилось не раз в период 1904—1905 г.г. слышать от самого Г. Мендельсон-Бартольди о его близких личных отношениях к Императору Вильгельму, и трудно допустить, чтобы он не довел о таком к нему обращении до сведения Императора, в особенности после того исключительного приема, который был оказан им незадолго перед тем Графу Витте в Ромintene при его возвращении из Портсмута в Россию.

Тем более жаль, что мы не узнаем никогда, как реагировал и Император Германский на письмо Графини Витте.

Для меня не подлежит, однако, никакому сомнению, что Император Вильгельм не писал ничего нашему Государю, иначе Государь не скрыл бы этого обстоятельства от Столыпина в первое время его председательствования в Совете Министров, когда вопросы, касавшиеся лично Гр. Витте, неоднократно составляли предмет бесед его с Государем. Несомненно, упомянул бы Государь об этом и мне в связи с приведенною беседою на яхте «Штандард».

{100} В конце июля приехал в Петербург Председатель Совета Министров Франции — Пуанкаре. Я ожидал его приезда с большим интересом и даже нетерпением. Оказанная им услуга России и лично мне, в 1906 году, не забывается. В моей памяти сохраняется навсегда благодарный след того, какая помощь оказана была им мне в выпавшем на мою долю трудном положении, из которого я мог выйти с честью, только благодаря поддержке, встреченной мною в его лице. И теперь, не выбирая выражений, я должен сказать, что без содействия Пуанкаре России не ликвидировала бы так быстро финансовых последствий русско-японской войны, не сохранила бы, вероятно, и своего золотого обращения и, во всяком случае, не положила бы так скоро после войны и

смуты твердого основания своему финансовому и экономическому положению, без которого не было бы и того замечательного расцвета нашей родины, о котором можно и теперь вспоминать только с чувством истинной гордости.

За прошедшие шесть лет со времени заключения мною в Париже займа 1906 года я не виделся с Пуанкаре. Не раз приезжал я в Париж в эту пору, но всегда на самый короткий срок и почти всегда в конце августа или в самом начале сентября. Париж был пуст, и, справляясь о том, в городе ли Пуанкаре, я неизменно получал ответ, что он вернется только в половине или конце октября. В 1910 году я был проездом через Париж в начале октября и присутствовал даже на известном заседании палаты депутатов, на котором Бриан одержал большую победу по случаю первой забастовки на французских железных дорогах, ликвидированной с замечательным, искусством, главным образом, энергиею Мильерана, но в эту пору мы только обменялись карточками, т. к. я спешил выехать из Парижа и вернуться домой, о чем я говорил уже в своем месте.

Мы встретились с Пуанкаре на Английской набережной когда его доставила в столицу яхта Морского Министра «Нева», и за во время пребывания его в Петербурге, до самого выезда его в Москву, не проходило ни одного дня, чтобы мы не встречались, и каждая встреча была проникнута такою предупредительностью с его стороны, такою откровенностью и простотою в, обмене взглядов, что и сейчас я на могу подыскать достаточных выражений, чтобы выразить ему мою благодарность за его неподдельную искренность и за ту деликатность, в которую он облекал самые щекотливые вопросы нашего обмена взглядов.

После этой встречи мы виделись еще один раз, в **{101}** приезд Пуанкаре, вместе с Вивиани, летом 1914 года, перед самою войною, но в эту встречу я был уже не у дел, и мы не могли даже обменяться ни одним словом — я был отставным Председателем Совета Министров и Министром Финансов, и — мы вовсе не беседовали с Пуанкаре.

А потом мы свиделись уже в декабре 1918 года, когда, я приехал во Францию эмигрантом, но и тут Пуанкаре, Президент Республики, принял меня с женою к обеду и весь вечер вел самую сердечную беседу, как со своим другом, и был на самом деле первым человеком, от которого я встретил в изгнании дружеский и сердечный прием.

Перечислить теперь все наши встречи за время десятидневного пребывания Пуанкаре в Петербурге трудно. Виделись мы с ним за обедом во дворце, за такими же обедами у меня, у Министра Иностранных Дел Сазонова, во Французском посольстве. Вместе были мы на заре в Красном Селе, на обеде там же у Вел. Князя Николая Николаевича, на спектакле в Красносельском театре, данном в его честь. Долгое время простояли мы рядом друг с другом на смотру Государем войск в лагерном сборе в том же Красном Селе и во время бесконечного прохождения войск перед ставкою, которое не могло особенно занимать Пуанкаре, — опять и опять перебраны «были все вопросы, которые занимали его.

Сущность всех вопросов внешней политики, разумеется, была затронута в беседах Пуанкаре с Государем и в особенности с Сазоновым. Пуанкаре отлично знал, что Председателю Совета Министров не принадлежало, по нашим условиям управления, места решающего фактора в делах внешней политики, да и я, зная хорошо свое место в этом отношении, не принимал никаких мер, чтобы разделить беседу с Сазоновым, да в этом и не было никакой нужды, потому что наши

деловые отношения с Министром Иностранных Дел были совсем хорошие и не было в ту пору, моего первого года председательствования в Совете Министров, ни одного вопроса, который не был бы много раз и с полным единодушием обсужден нами совместно, и оба мы шли в ту пору по одной и той же дороге, направленной исключительно к охранение внешнего мира перед лицом грозных и сложных событий на Балканах.

Под конец своего пребывания в Петербурге Пуанкаре выразил мне желание посетить меня и найти время для обмена **{102}** взглядов по некоторым вопросам, которые ближе касаются меня и остаются для него еще не совсем ясными.

Он приехал ко мне в Министерство на Мойку, и более двух часов мы провели с глаза на глаз, перебравши все, на чем только остановилось его внимание.

Началась наша беседа с оригинального эпизода. Утром этого дня, как впрочем и очень часто и раньше, я получил коротенькой письмо от агента Министерства Финансов в Париже А. Г. Рафаловича, сообщавшего мне различные сведения, относящиеся до пребывания у нас Первого Министра Франции, среди которых не последнее место было отведено сочувственному отзыву обо мне, — Рафалович сообщил между прочим слух о том, что, несмотря на летнее затишье, уже началась кампания к подготовке выборов нового Президента, Республики, предстоящих в январе 1913 года.

Прекрасно осведомленный решительно обо своем, располагавший самыми разнообразными источниками информации, Рафалович писал мне, что намечаются только две серьезные кандидатуры на должность Президента: Сенатора Памса и нашего гостя — Пуанкаре, причем от себя лично Рафалович прибавлял, что он считает избрание Пуанкаре несомненным, несмотря на большой шум, поднимаемый около имени Памса.

Я прочитал это письмо Пуанкаре и прибавил, что считаю информацию Рафаловича весьма серьезною, и привел ему ряд случаев, в которых он был лучше осведомлен, нежели многие влиятельные органы парижской прессы. В ответ на мое сообщение Пуанкаре сказал мне, что лично он совершенно не ищет такого избрания и не знает даже, поставит ли он свою кандидатуру, если бы его стали об этом просить его друзья, и в оправданье такого своего отношения привел мне следующий аргумент, приводимый мною с буквальной точностью.

«Подумайте сами, могу ли я желать моего избрания в Президенты Республики: мне всего 52 года. По окончании септената мне будет всего 59 лет, я чувствую себя совершенно крепким здоровьем, и что же я могу делать по окончании моего срока, в мои 59 лет? После занятия должности Президента Республики, мне закрыты все виды деятельности; в палаты мне нет возврата, адвокатура мне, разумеется, закрыта; одною литературною работою довольствоваться трудно».

Я посмеялся над тем, что знаю теперь точно его возраст, т. к. он ровесник моей жены, родившейся в 1860 году, и на этом наша беседа, на поднятую случайную тему, оборвалась.

{103} Насколько действительная жизнь изменила, после войны такое предвидение Пуанкаре. Он отбыл свой септенат и не только вернулся в Парламент, но сыграл в 1926 году ту исключительную роль, которая спасла Францию от неизбежных потрясений и поставила его на такую высоту, на который едва ли сравнялся с ним кто-либо из государственных людей Франции за весь период существования III Республики.

Наша беседа коснулась, главным образом, трех вопросов. Пуанкаре начал с того, что он вынес самое отрадное впечатление из личной беседы с Государем и из многократного обмена взглядов с Министром Иностранных Дел Сазоновым относительно общего положения нашей внешней политики, и т. к. Сазонов не скрыл от него, что я оказываю ему самую широкую помощь в этом вопросе, то он может только благодарить меня самым сердечным образом, тем более, что Французский посол Луи в каждом своем донесении неизменно сообщает ему, како деятельное участие принимаю я во всем, что касается поддержания европейского мира.

Затем он перешел к тем немногим вопросам, по которым он должен говорить со мною особенно откровенно. На первом месте он доставил личный вопрос о положении Французского посла Луи в Петербурге. Он сказал мне, что формально этот вопрос ликвидирован им в неоднократных личных переговорах с Сазоновым, т. к. последний, выслушав его откровенную беседу и разъяснения фактической его неправоты в отношении с обвинений им посла Луи, сам снял этот вопрос с очереди и заявил ему, что просит считать его более несуществующим.

Но у него нет уверенности в том, что это тягостное положение не возникнет снова по какому-либо поводу, тем более, что он и сам понимает, что посол Луи не успел завоевать себе того положения, которое облегчало бы разрешение многих затруднений в своеобразных условиях петербургской жизни. Он сказал мне, что самым простым способом разрешения возникшего вопроса была бы одновременная смена обоих послов Извольского и Луи, но видимо, что такая комбинация совершенно неприемлема для Сазонова, по его отношениям к Извольскому, хотя Пуанкаре, по его словам, не скрыл от Сазонова, что положение русского посла, далеко не таково, каким должно было бы быть положение посла союзной державы, и притом не Французское правительство создало такое ненормальное положение. От меня не ускользнуло, что Пуанкаре испытывает большое стеснение досказать свою мысль до конца, **{104}** но я предпочел не продолжать разговора на эту тему, т. к. не мог бы завести откровенность с обеих сторон до очень щекотливого для меня положения, и весь вопрос свелся к тому, что Пуанкаре просил меня не отказать послу Луи в моей поддержке и впредь, как я делал это до сих пор, прибавив, что посол прямо сказал ему, что без этого ему просто нельзя оставаться, — настолько мало внимания встречает он в нашем ведомстве иностранных дел.

На другой день после моей встречи с Пуанкаре Сазонов просил меня передать ему сущность нашей беседы по вопросу о Луи и без всякого вызова с моей стороны прямо сказал мне, что он предпочел ликвидировать весь инцидент, чтобы не создавать крайне щекотливого для нас с Французским правительством конфликта, т. к. у него сложилось убеждение, что Председатель Совета Министров Франции считает положение нашего посла в Париже совершенно не отвечающим положению посла союзной державы; ему же, Сазонову, просто невозможно приложить свою руку к отозванию посла, который и не думает сам проситься из Парижа. О причинах такого исключительного положения он не сказал мне решительно ничего, закончив наш разговор на эту тему весьма загадочным намеком на то, что у меня есть прекрасная информация в лице Рафаловича, который, вероятно лучше кого-либо может разъяснить мне, мое недоумение.

Я ответил Сазонову лишь тем, что не считаю себя в праве собирать

сведения о нашем после, коль скоро сам он не хочет сообщать мне чего-либо, по-видимому, зная больше того, что он мне говорит.

Через год, в бытность мою в Париже, Пуанкаре, уже Президент Республики, вновь коснулся того же вопроса, и притом в гораздо более определенной форме и выяснил свою точку зрения без всякого стеснения. Об этом я скажу в своем месте.

Второй вопрос, затронутый Пуанкаре в разговоре со мною, касался области, действительно подлежавшей моему ведению. В выражениях, не оставляющих места какому-либо сомнению, он обратился ко мне, с просьбою разъяснить ему истинное положение вопроса о развитии нашей железнодорожной сети и в частности наших стратегических дорог с целью ускорения нашего плана мобилизации, значительно более медленного, нежели план сосредоточения войск на французском фронте. Не скрывая от меня, что Французский Генеральный Штаб очень озабочен **{105}** этим вопросом, и что Начальник Генерального Штаба не раз говорил ему, что разъяснения нашего Генерального Штаба представляются ему весьма туманными и не дают ясных данных, Пуанкаре просил меня ввести его в курс этого вопроса в том объеме, который я считаю возможным сообщить ему. Много данных по этому вопросу было у меня под руками, и я предложил в его распоряжение все матерьялы, сосредоточенные в Министерстве Финансов, как по сметам на 1913 год, незадолго перед тем рассмотренным в Совете Министров, так и в особенности всю схему постройки частных дорог, разработанную мною на ближайшее, пятилетие при условии, конечно, возможности выпуска на иностранном рынке гарантированных облигаций железных дорог.

Мне пришлось выяснить при этом все встреченные мною затруднения к реализации этих выпусков и всю необходимость широкого содействия именно французского рынка, так как ни английский, ни германский рынок в этом деле, совершенно ненадежны. Тут же я изложил перед Пуанкаре разработанную мною схему частного железнодорожного строительства, с устранением частных концессионеров от реализации займов и передачи всего дела непосредственно в руки Министерства, Финансов. Я передал ему также сравнительно недавнюю мою беседу с Министром Финансов Франции — Кайо, который резко критиковал политику России слишком частого выпуска государственных займов на иностранном рынке и, сказал мне: «совершенно иное дело, если Вы будете искать у нас денег для расходов производительных, в особенности для сооружения железных дорог. Вы встретите от меня самую энергичную поддержку, и Франция даст Вам все нужные средства».

Мои объяснения, видимо, оставили в Пуанкаре хорошее впечатление, и он сказал мне, что выедет из России значительно успокоенным.

Мы расстались с ним на том, что я предложил ему во всех случаях, когда объяснения нашего Военного ведомства покажутся Французскому Генеральному Штабу недостаточно ясными, обращаться ко мне через посредство Французского посла, и я дам все необходимые разъяснения, т. к. ключ к разрешению всех несогласий по этому вопросу находится, очевидно, в руках Министра Финансов, на которого обычно жалуются все ведомства, но не всегда дают себе отчет в том, что именно в при каких условиях можно исполнить на самом деле.

Я считаю возможным удостоверить, что в этой моей беседе **{106}** с Пуанкаре было заложено первое основание осуществленной мною год спустя идей объединенных займов для частных железнодорожных

обществ в России. Подробности этого вопроса изложены мною далее в своем месте.

Третий и последний вопрос, по которому нам пришлось обменяться взглядами, заключался в выраженной мною благодарности за помощь, которую оказала Франция в предоставлении России участия, наравне со всеми великими державами, в так называемом реорганизационном Китайском займе 1913 года.

Около этого займа образовался в прямом смысле заговор против России, и без помощи Франции мы были бы совершенно устранены от участия в займе, под влиянием оппозиции целого ряда государств, стремившихся не допустить нас до участия на общем основании, в нарушение самой элементарной справедливости. Франция помогла нам отстоять нашу точку зрения и не дала совершиться несправедливости.

По существу этот заем не принес большой пользы государствам, участвовавшим в его выпуске. Китай получил свои деньги, но на что он истратил их — неизвестно. Через год разразилась мировая война, а в Китае начались смуты, не прекращающиеся и до сих пор. Государства же, участвовавшие в эмиссии, познали потом не мало хлопот и осложнений, а частные лица, раскупившие облигации этого займа, едва ли поминают добром свое участие в этой финансовой операции.

{107}

ГЛАВА V.

Собрание, под моим председательством, губернаторов для заслушания сообщений о предвыборном положении. Н. А. Хвостов. Кредиты на предвыборную кампанию. — Моя поездка в. Спалу. Доклад у Государя. Вопрос о кредитах на оборону. Прекращение Государем дела о привлечении к суду Курлова, Кулябки, Веригина и Спиридовича. — Новые требования кредитов Сухомлиновым. Совещание у Государя по вопросу о задуманной Сухомлиновым частичной мобилизации. Мои возражения против намеченной меры как опасной для сохранения мира. Отклонение проекта. — Разногласия в Совете Министров по вопросу об общем политическом положении. — Мои отношения к партиям в новой Думе. Правительственная декларация. Вопрос о соглашении с обществом Киево-Воронежской железной дороги. — Задуманное Сухомлиновым назначение ген. Воейкова на несуществующую должность.

Государь в эту осень (1912 г.) вместо Крыма поехал сначала на охоту в Беловеж, а потом в Спалу, где Наследник тяжко заболел и едва не умер. До половины октября вся страна жила под страхом близкой катастрофы. Я на решался беспокоить Государя никакими делами, направляя их как мог, и только 10 или 12 октября стали получаться добрые вести о том, что непосредственной опасности нет, и Государь разрешил мне прибыть в Спалу для доклада и привезти Ему наиболее нужные вопросы. Их накопилось очень много и в числе их заметное место занимали, конечно, выборы в Государственную Думу, приходившие уже к концу и дававшие ясные указания на преобладающее значение в среде вновь избранных членов людей умеренного лагеря, но мало связанных между собою единством взглядов и неподчиненных никакому определенному **{108}** общему руководству.

Говоря о выборах в Государственную Думу, приходится невольно припомнить один эпизод, соединивший, было, меня на минуту с Макаровым и показавший мне наглядно, какими удивительными приемами были заражены некоторые из наших видных администраторов, сыгравшие впоследствии очень печальную роль в последние месяцы перед революцией и заплатившие своею собственной жизнью за печальные проявления их неумелой деятельности. Упомяну также и о другом эпизоде, который следует сохранить, чтобы он не забылся.

В начале сентября месяца в Петербурге оказалось одновременно большое число Губернаторов. Все они приехали за получением указаний Министра Внутренних Дел по разным местным особенностям выборных Комиссий, и об этом съезде я узнал не из сообщений Макарова, а просто по большому количеству губернаторов, являвшихся ко мне в мои приемные дни.

Макаров, державший меня после происшедших между нами разногласий совершенно в стороне от выборных дел, видимо, предпочитал келейный способ разрешения этих вопросов, вместе со своим Товарищем Харузиным, внесшим не мало путаницы и произвола, в это дело и способствовавший в большой степени тому настроению раздражения, с которым собрались вновь избранные члены Думы к 1-му ноября в Петербург. Меня же разговоры на выборную тему с Губернаторами приводили к несомненному выводу, что никакой общей выборной политики на, самом деле нет, и что каждая губерния действует по собственному шаблону, изобретая свои приемы, а чаще всего — вовсе не справляясь с общими взглядами Министерства Внутренних Дел.

Я высказал это Макарову в открытом заседании Совета Министров и выразил желание побеседовать совместно со всеми съехавшимися Губернаторами в присутствии его самого, его Товарища Харузина и его сотрудника Черкаса, считавшего себя специалистом выборного дела и принимавшего самое деятельное участие в первых выборах по закону 3 июля 1907 года, при покойном Столыпине, когда это дело находилось в умелых руках его Товарища Крыжановского.

Собрание состоялось под моим председательством вечером в зале заседаний Совета Министра Финансов. — Налицо было 14 или 15 Губернаторов. Сообщения с мест и прения по ним шли очень вяло. Большинство Губернаторов **{109}** удостоверяло, что выборы проходят довольно бледно, что крайние левые партии прячутся в подполье и не открывают своих карт, но что можно быть заранее уверенным в том, что большого количества голосов они не соберут, и что все движение сгруппируется между кадетами, октябристами в националистами Балашевского типа, т. к. и крайние правые не проявляют особенной активности, хотя в сохранять, вероятно, свое прежнее положение.

Во всех объяснениях Губернаторов звучало вполне согласно одно заявление, — что у Начальников Губерний очень мало средств на влияние на выборы, что единственно организованная среда, доступная влиянию, это — среда сельского и даже городского духовенства, что Епархиальное начальство прислушивается исключительно к голосу Обер-Прокурора Синода и мало обращается с Губернаторами, но что и эта среда не отличается особенною дисциплиною, т. к. не все Архиереи сочувствуют слишком умеренным указаниям Синода, находя, что его указания поддерживать все консервативные партии, начиная от октябристов, и не делать разницы внутри группировки отдельных партий

правого крыла Думы, неправильны, и они предпочитали бы более точные указания для поддержки какой-либо одной партии, Из объяснений Губернаторов сквозило даже, что многие Архиереи не вполне доверяют искренности разъяснений Синода, полагая, что они явились результатом особого давления на Обер-Прокурора со стороны Министра Внутренних Дел и Председателя Совета Министров, и что на местах думают, что лично В. К. Саблер стоит на другой точке зрения, сочувствуя лишь одной партии — крайних правых.

Все Губернаторы заявили в один голос, что влияния земских начальников на крестьян в деле выборов почти нет, и что строить какие-либо надежды да этом элементе не следует.

Точно так же, на мой вопрос — какое влияние имеет на общественное мнение и на подготовку выборов местная консервативная пресса, довольно щедро поддерживаемая правительством в отдельных губерниях, получился единогласный ответ всех Губернаторов, кроме Нижегородского, что такое влияние равносильно нулю, ибо никто таких газет не читает, а многие Губернаторы откровенно заявили даже, что все прекрасно знают, что данные газеты издаются на казенные деньги, а т. к. и издатели этих газет плохи и состав сотрудников крайне невысокого уровня, за неимением подготовленных и **{110}** талантливых людей, — то этих газет просто не читают даже бесплатные подписчики.

Отдельно от всех Губернаторов, резко отличаясь от них решительностью тона и живостью речи, стоял в этом совещании Нижегородский Губернатор Н. А. Хвостов, впоследствии, в 1918 году, расстрелянный большевиками в Москве вместе с Щегловитовым, Протопоповым, Маклаковым и Белецким.

Он провел резко противоположную точку зрения заявивши, что Губернаторы не только должны, но и могут провести в Думу исключительно тех, кого они желают. По его словам, в Нижегородской губернии все оппозиционные кандидаты им уже устранены, и на их место намечены люди совершенно надежные в политическом отношении, которые и будут выбраны, если только Министр Внутренних Дел даст ему несколько более денежных средств и разрешит привлечь к делу Начальника Губернского Жандармского Управления и облечет его, Губернатора, достаточною свободой действий.

Хвостов прибавил развивая свою теорию, что следует только допустить одно предварительное условие: задаться целью и не колебаться в выбор средств, т. е. не обращать внимания на выкрики печати и ни бояться жалоб на неправильность выборов.

Откровенное выступление Хвостова произвело на всех самое отрицательное впечатление. Макаров был крайне смущен, Губернаторы молчали, Харузин, на которого Хвостов сослался было как на человека, сочувствующего его взглядам, — не знал что сказать, но затем, когда прошло первое смущение, посыпались такие реплики неудержимой критики циничных взглядов Хвостова, что всякий другой был бы сконфужен н даже унижен, но Хвостов, вероятно, думал, что совершает великий государственный подвиг, выражая такие взгляды, и осветил всем одним общим аргументом, также не мало поразившим всех: «вся наша беда в том, что мы не умеем или не желаем управлять; боимся пользоваться властью, которая находится в наших руках, а потом плачем, что другие вырвали ее у вас».

Другое обстоятельство, которое я хочу отметить здесь, потому, что забыл записать его достаточно подробно в своем месте, касается начала

моего разрыва с крайними правыми в Думе и той кампании, которую они решительно повели против меня тотчас после созыва Четвертой Думы.
{111} При жизни покойного Столыпина одним из поводов наших разногласий всегда служил вопрос о субсидии печати и с необходимости широко тратить деньги на борьбу с оппозиционною прессою и подготовлять выборы в Думу помощью создания консервативной, провинциальной прессы.

Когда Столыпина не стало, одним из первых дел, за которое я принялся, была попытка узнать, куда тратились деньги, взятые из казны через меня, как Министра Финансов, на печать, и нельзя ли, по крайней мере, сократить в будущем эти бесполезные расходы.

При жизни покойного Столыпина мои неоднократные попытки подойти ближе к распределению этих денег и укрепиться в моем принципиально отрицательном отношении к стремлению Министра Внутренних Дел руководить этим способом общественным мнением — не имели никакого успеха. Столыпин относился крайне остро к моим заявлениям, видел в этом попытку, с моей стороны, контролировать деятельность Министерства Внутренних Дел, и наши разговоры всегда кончались обидчивостью с его стороны и даже не раз грозили обострить до крайности наши отношения.

Не поддерживал меня и Государь, с которым мне не раз приходилось беседовать совершенно откровенно по поводу газеты «Земщина», всегда лежавшей на его письменном столе. Я никогда не скрывал, что отпускавшиеся на издание этой газеты 180 тысяч в год (15 тысяч в месяц), были просто выброшенными деньгами и служили только к общему соблазну, потому что все отлично знали на какие средства издается эта никем не читаемая газета, и очень многие удивлялись незлобивости моей и отсутствию элементарной дисциплины в деятельности правительства, т. к. оно относилось с поразительным безучастием к совершенно неприличным выпадам «Земщины» лично против меня.

Мне не оставалось ничего другого, как прекратить мои настояния и довольствоваться только постоянными попытками уменьшить быстро растущие требования Министерства Внутренних Дел.

Тотчас после кончины Столыпина я ближе подошел к этому вопросу. Крыжановский, в руках которого сосредоточивалось при Столыпине распределение денег, дал мне все матерьялы по этому делу и с полной откровенностью высказал, что большая половина денег тратилась совершенно даром и могла бы быть, без всякого ущерба делу, сокращена.
{112} Макаров, сменивший Столыпина, отнесся на первых порах совершенно благоразумно и просил только настаивать на сокращении ассигнования до окончания выборов в Государственную Думу, обещая после выборов согласиться на значительную сбавку или даже на полное прекращение этих, признаваемых и им также бесполезными, расходов. Так и осталось это дело в прежнем положении, вплоть до самого роспуска Думы. Следом за роспуском, когда еще большинство членов Думы не успело разъехаться по домам, ко мне приехали члены Думы Марков 2-ой, Новицкий и Пуришкевич и стали энергично настаивать на необходимости отпуска в их распоряжение крупных добавочных средств на подготовку выборов в Думу, обещая «затмить результатами их усилий самые смелые ожидания относительно будущего состава Думы, если только я не поскуплюсь на средства».

Я попытался было направить их домогательства на Министра Внутренних Дел, но встретил совершенно откровенное заявление, изложенное к тому же в очень циничной форме:

«Министр Внутренних Дел с нами и сделает все, о чем мы просим, но Вы всегда отказываете в деньгах, и он не хочет нарваться на неприятные ему Ваши отказы, тем более, что он сказал нам вполне откровенно, что связан обещанием не увеличивать расходы на выборы, а на печать даже обещал Вам пойти на большие сокращения после окончания выборов»

Я поинтересовался узнать до каких пределов доходят их желания и получил в ответ заранее приготовленную «смету». Этот любопытный документ долго находился у меня под рукою. Он был взят у меня во время обыска в июне 1918 года; его вернули мне, как и все отобранные бумаги, в конце июля и затем он был уничтожен мною среди разных. моих бумаг, не имевших, впрочем, никакого существенного значения, которые я предал сожжению, ожидая новых обысков и нового ареста.

Я помню хорошо, что «смета» была сведена, к круглой цифре 960.000 руб., потому что я спросил Маркова, — отчего не довели они до еще более круглой цифры 1.000.000? и получил в ответ простое заявление: «мы хорошо знаем, что Вы любите точные цифры, и отказались от всякого излишества».

Было в этой смете немного рубрик, но самая крупная сумма свыше 500.000 руб. испрашивалась на «агитацию», в виде устройства губернских съездов, лекций, раздачи брошюр, **{113}** затем были, конечно, расходы на печать, на путевые расходы; не обошлось разумеется и без «негласных» расходов.

Я ответил решительным несогласьем, ссылаясь на то, что различные предприятия Пуришкевича пользуются уже без того широкою поддержкою Министерства Внутренних Дел, и высказал совершенно откровенно, что не жду решительно никакой пользы от проектированной выборной кампании и уверен даже, что она только возбудит новый прилив оппозиционных страстей в большинстве губерний, в которых крайние правые партии обречены заранее на неудачу я, таким образом, только скомпрометируют правительство, т. к. всем будет ясно, до очевидности, что, поднятая правыми агитация ведется исключительно на правительственные средства.

Мы разошлись совершенно враждебно. Новицкий и Пуришкевич промолчали, а Марков 2-ой, вставая с места, не стесняясь сказал мне: «При Петре Аркадиевиче было бы иначе; он заставил бы Вас дать то, что нам нужно, а теперь Вам самому предстоит пожать плоды нашего неуспеха, т. к. Вы получите не такую Думу, какую бы мы дали Вам за такую незначительную сумму, как 960.000 рублей.

Свои счеты со мной Марков свел год спустя в его знаменитом выступлении в Думе 27 мая 1913 года, о котором, впрочем, речь впереди.

Я прибыл в Спалу под вечер 18-го октября. Погода была отвратительная — дождь лил не переставая; шоссе, соединявшее Скерневицы со Спалою, поправленное на скорую руку, был совершенно разбито, и сама Спала, состоявшая из небольшого дворца или точнее Охотничьего Дома с двумя кавалерскими домами по бокам, носившими в насмешку название «Отель Бристоль» и «Отель Национал» (я не говорю о службах, стоявших поодаль), производила унылое, тягостное впечатление.

Государя я видел в тот же вечер за ужином и, хотя я сидел рядом с

Великою Княжной Ольгой Николаевной, которая сидела рядом с Государем, но беседа наша носила какой-то отрывочный характер. Все говорили шепотом, и у всех была одна мысль — миновала ли опасность с Наследником Алексеем Николаевичем. На мой вопрос об этом Государь сказал мне: «Было совсем хорошо, когда я телеграфировал Вам, потом мы опять пережили большую тревогу, а теперь снова Я совсем спокоен и уверен, что больше нечего опасаться. Мы будем завтра Вами долго и спокойно обо **{114}** всем говорить после обедни. Не забудьте, что завтра Ваш лицейский праздник».

После обедни, отслуженной в походной палатке, доклад мой продолжался почти два часа, и значительную часть времени занял обзор бюджета на 1913 год и в особенности самый подробный отчет мой по военным расходам. Я не скрыл от Государя, что на этот раз мне было значительно труднее, нежели во все предыдущие года. Поливанова, всегда находившего примиряющий исход из столкновения точек зрения Военного Министерства и Министерства Финансов, сменил Генерал Вернандер, упрямый специалист инженерного дела, совершенно не сведущий в делах других Главных Управлений и слепо повторявший только доводы их Начальников, стремившихся получить как можно больше денег, зная при этом, что, при установившихся отношениях между двумя ведомствами, голос Военного Министерства всегда будет поддержан Государем.

Мне пришлось поэтому, на этот год проявить особенную уступчивость по отношению к требованиям Военного Министерства и согласиться на значительно большие ассигнования, нежели я сделал бы это, если бы был вполне самостоятельным в моих действиях. К тому же и внешние события были в пользу Военного ведомства. Война на Балканах принимала все более затяжной характер; бессилию дипломатии остановить разгоревшийся пожар было очевидно, и необходимость усиления военных приготовлений с нашей стороны становилась все более и более неотложною. Для меня было совершенно ясно, что, просивши, усиленные ассигнования и не видоизменяя своих внутренних порядков Военное Министерство достигало только внешнего успеха — имело в своем распоряжений большие денежные средства, но не подвигало нашей боевой способности ни на один шаг; отпущенные средства накапливались в хаосе Военного Министерства, заказы продолжали исполняться с необычайною или, вернее, обычною волокитою и окончание их становилось еще того медленнее.

Но мое положение было просто безвыходное. Я видел безнадежность увеличивать кредиты из года в год, говорил об этом громко и открыто и везде, где только мог, но был лишен всякой возможности проводить свои взгляды. Военный Министр инсинуировал на мой счет у Государя, Государственная Дума резко критиковала его способы распоряжаться ассигнованными средствами, но высказывалась всегда, за усиление кредитов; печать держала повышенный тон, а знаменитые Славянские обеды приводили к самым резким выпадам **{115}** против русского миролюбия, и процессии с плакатами «крест на Святой Софии», «Скутари Черногории» становились обычным зрелищем. Мне не оставалось ничего иного, как идти на соглашение и на уступки Военному Министру, зная хорошо, что в спорах с последним совет Министров не встанет на мою сторону и предпочтет всегда присоединиться к требованию генерала Сухомлинова, лишь бы не давать ему повода инсинуировать у Государя.

— Я просто решился не доводить до окончательного разногласия ни одного моего спора и согласился уступить во всем, в первый раз представивши все сметные расчеты по военным кредитам без всякого спора.

Я развил Государю мою точку зрения самым подробным образом и представил особую ведомость, в которой показал все то лишнее, что потребовал Военный Министр и без чего ваша военная подготовка не потерпела бы никакого ущерба. Сумма этих лишних кредитов получилась весьма значительная — около 80 миллионов рублей только на один 1913 год. Представил я также, как водится, и другую ведомость — о неизрасходованных кредитах прежнего времени, — их насчитывалось свыше 180 миллионов рублей.

Государь был чрезвычайно доволен и несколько раз, прерывая мой доклад, говорил мне, что я доставил Ему большое удовольствие. Когда же я довел мои изложения до конца, то Он встал из-за стола, обошел кругом ко мне и, беря мою правую руку своими обеими руками, сказал мне:

«Я знаю какую сделку с Вашей бережливостью Вы допустили, соглашаясь на то, что, по Вашему мнению, требуется Военным Министерством лишнего. Я верю тому, что Вы совершенно правы, что деньги не будут израсходованы, и дело от этого не выиграет. В Ваших спорах с Сухомлиновым правда всегда на Вашей стороне, но я хочу, чтобы и Вы поняли Меня, что Я поддерживаю Сухомлинова не потому, что не верю Вам, а потому, что Я не могу отказать в военных расходах. Упаси Боже, если нам не удастся потушить пожар на Балканах. Я никогда не прощу Себе, что отказал в военных кредитах хотя бы на один рубль. Да и Вы сами должны быть гораздо боле спокойны теперь, когда знаете, что никто не скажет, что Вы помешали делу нашей государственной обороны. Я знаю, как горячо вы любите родину, и верю тому, что так же, как и Я, горюете, что не все у нас благополучно с военными заказами. Будем надеяться, что теперь пойдет все лучше и лучше, а если Сухомлинов опять станет говорить Мне, что Вы его **{116}** обрываете в кредитах, то Я скажу ему просто, что этого слушать более не желаю, и что во всем теперь будет виноват он, а не Вы».

Мой доклад затягивался, приближалось время к завтраку. Государь оказал мне:

«Отложите остальное до после завтрака; погода такая скверная, что никуда нельзя выйти, а у Меня на душе есть большой камень, который Мне хочется снять теперь же. Я знаю, что Я Вам причиню неприятность, но я хочу, чтобы Вы Меня поняли, не осудили, а главное не думали, что Я легко не соглашаюсь с Вами. Я не могу поступить иначе. Я хочу ознаменовать исцеление Моего Сына каким-нибудь добрым делом и решил прекратить дело по обвинению генерала Курлова, Кулябки, Веригина и Спиридовича. В особенности Меня смущает Спиридович. Я вижу его здесь на каждом шагу, он ходит как тень около Меня, и Я не могу видеть этого удрученного горем человека, который, конечно, не хотел сделать ничего дурного и виноват только тем, что не принял всех мер предосторожности.

Не сердитесь на Меня, Мне очень больно, если Я огорчаю Вас, но Я так счастлив, что Мой Сын спасен, что Мне кажется, что все должны радоваться кругом Меня, и Я должен сделать как можно больше добра».

Для того, чтобы это обращение Государя ко мне и мой ответ Ему были понятны, я должен напомнить, чем было вызвано обращение Государя ко мне.

После смерти Столыпина от пули Багрова назначено было следствие через Сенатора Трусевича, о чем я писал уже в своем месте; оно установило с очевидностью вопиющую небрежность, допущенную четырьмя лицами: Товарищем Министра Внутренних Дел Курловым, Начальником Киевского Охранного Отделения Кулябко, Вице-Диретором Департамента Полиции Веригиным и состоявшим при Курлове, подполковником Спиридовичем. Совет Министров решил предать всех их суду.

Против этого не возражал и Министр Внутренних Дел Макаров. Покойный Министр Юстиции Щегловитов был одним из ревностных поборников необходимости привлечения их к суду.

Первый департамент Государственного Совета потребовал от них объяснений и, находя их совершенно неудовлетворительными, постановил испросить Высочайшее разрешение на предание их Верховному Уголовному Суду после рассмотрения **{117}** дела в 1-ом Департаменте Правительствующего Сената и назначения им предварительного следствия.

Решение Государя по этому делу ожидалось мною уже более месяца, и меня крайне озабочивало, почему так медлит Государь с утверждением постановления (мемории) Государственного Совета, тогда как и я и Министры Внутренних Дел и Юстиции неоднократно докладывали Ему это дело, и Государь прекрасно усвоил себе, казалось, ту мысль, что предание суду не предрешит окончательного решения дела. Оно требует еще производства нового полного следствия через Сенат, Верховный Суд мог придти к совершенно другому выводу, и что решение, во всяком случае, должно было идти на утверждение Государя. Говоря со мною, Государь, видимо, волновался и смотрел мне прямо в глаза, ожидая моего ответа, Я хорошо помню первые, сказанные мною слова.

«По Вашим словам», начал я, «я вижу, Государь, что Вы приняли уже окончательное решение и вероятно привели его уже в исполнение». Государь подтвердил это наклонением головы. «Мои возражения будут, поэтому, совершенно бесцельны и только огорчат Вас в такую минуту, которой я не хотел бы ничем омрачить. Но я должен высказать Вам то, что лежит у меня на душе, и не с тем, чтобы склонить Вас переменить Ваше решение, а только для того, чтобы Вы не имели повода упрекнуть меня в том, что я не предостерег Вас от вредных последствий Вашего великодушного шага.

Ваше Величество, знаете, как возмущена была вся Россия убийством Столыпина и не только потому, что убит Ваш верный слуга, но еще более потому, что с такою же легкостью могло совершиться гораздо большее несчастие. Всем было ясно до очевидности, что при той преступной небрежности, которая проявилась в этом деле, Багров имел возможность направить свой браунинг на Вас и совершить свое злое дело с такою же легкостью, с какою он убил Столыпина. Все, что есть верного и преданного Вам в России, никогда не помирится с безнаказанностью виновников этого преступления, и всякий будет недоумевать, почему остаются без преследования те, кто не оберегал Государя, когда каждый день привлекаются к ответственности неизмеримо менее виноватые, незаметные агенты правительственной власти, нарушившие свой служебный долг. Ваших великодушных побуждений никто не поймет, и всякий станет искать разрешения своих недоумений во влиянии окружающих Вас людей и увидит в этом, во всяком случае,

несправедливость.

{118} И это тем хуже, что Вашим решением Вы закрываете самую возможность пролить полный свет на это темное дело, что могло дать только окончательное следствие, назначенное Сенатом, и Бог знает, не раскрыло ли бы оно нечто большее, нежели преступную небрежность, по крайней мере, со стороны генерала Курлова.

Если бы Ваше Величество не закрыли теперь этого дела, то в Вашем распоряжении всегда была бы возможность помиловать этих людей в случае осуждения их. Теперь же дело просто прекращается, и никто не знает и не узнает истины. Будь я на месте этих господ и подскажи мне моя совесть, что я не виновен в смерти Столыпина и не несу тяжкого укора за то, что не оберег и моего Государя, я просто умолял бы Вас предоставить дело своему законному ходу и ждал бы затем Вашей милости уже после суда, а не перед следствием».

Государь внимательно выслушал меня и сказал мне:

«Вы совершенно правы. Мне не следовало поступать так, но теперь уже поздно. Я сказал Спиридовичу, что Я прекратил дело и вернул мемории Государственному Секретарю. Относительно Курлова Я уверен, что он, как честный человек, сам подаст в отставку, и Я прошу Вас передать Мои слова Министру Внутренних Дел. Вас же прошу, Владимир Николаевич, объяснить в Совете Министров, чем Я руководствовался, и не судить Меня. Повторяю — Вы совершенно правы, и Мне не следовало поддаваться Моему чувству».

Вторая половина моего доклада не представляла уже особого интереса. Все шло, как всегда, гладко. Государь все одобрил и особенно интересовался выборами в Думу, которые приходили в концу. Почти по всем губерниям результаты выборов давали значительный перевес умеренным партиям. По Петербургу, правда, прошли одни кадеты, но их успех не огорчил Государя потому, что он сопровождался провалом Гучкова, чему Государь искренно радовался и выражал надежду, что такая же участь постигнет его и в Москве, где он поставил свою кандидатуру по губернии, а не по столице. Так оно и случилось.

На другой день, рано утром, перед тем, что я выехал в обратный путь из Спалы, мне подали телеграмму от самого Гучкова, извещающую, что он не прошел в Думу и отказывается вовсе от политической деятельности. Я не видел больше Государя и передал телеграмму Барону Фредериксу для доклада Государю и уехал из Спады.

{119} По возвращении моем в Петербург я доложил подробно о моем докладе Государю в Совете Министров и остановился преимущественно на вопросе о военных расходах и, обращаясь к Сухомлинову, сказал ему открыто, что я надеюсь, что теперь прекратятся ею постоянные жалобы на недостаточность ассигнований на дело обороны, и огласил при этом ведомость неизрасходованных сумм из прежних ассигнований.

Меня решительно поддержал Государственный Контролер, который — помню хорошо это заседание — удивил всех решительностью своего тона, своих объяснений н совершенно неожиданным резким выступлением против бессистемности действий Военного Министерства. Покойный Харитонов развивал ту же мысль, что, помимо несправедливости постоянных жалоб генерала Сухомлинова на Министерство Финансов, особенно важно, чтобы теперь, при начале деятельности новой Государственной Думы, Военное Министерство не давало поводов к столкновениям правительства с Думою и для этого есть только одно средство — держаться рамок ассигнованных кредитов,

прекратить усвоенную им систему, постоянно требовать добавочных кредитов по 17 ст. Сметных Правил (т. е. помимо Думы) и видеть свое благополучие не в том, чтобы требовать с казны все больше и больше, а в том, чтобы быстрее исполнить заказы и не оставлять армии без необходимого снаряжения, при огромных не израсходованных кредитах.

Сухомлинов, по обыкновению, произносил какие-то неопределенные слова, и все поняли только одно, что и он вполне удовлетворен размером ассигнованных по сметам кредитов, на которых «не отразилась на этот раз (по его словам) чрезмерная уступчивость генерала Поливанова».

Через очень короткое время Государь вернулся со всею семьею в Царское Село. На мой письменный запрос о состоянии здоровья Наследника и о времени моего ближайшего доклада, я получил ответ, в самых милостивых выражениях, с предложением приехать в обычное время в пятницу и с припискою, что мои доклады всегда доставляют Ему большой удовольствие.

Прошло всего 2—8 дня и, неожиданно для всего Совета, 28 октября (я тогда же отметил у себя это число в связи с последующими инцидентами) Военный Министр поднес мне, что называется сюрприз. Очевидно забывая о том, что говорилось всего менее неделю назад в заседании Совета, не предупредивши меня ни одним словом, он прислал мне **{120}** экстренное требование об отпуске в его распоряжение, в связи с событиями на Балканах, кредита, в 63 миллиона рублей, на усиление нашей обороны на Австрийском фронте. Он сослался при этом на старый закон, отмененный в связи с новыми правилами, и заявил, что поступает так но повелению Государя, вполне одобрившего его предложение. Меня удивило, конечно, не само несообразное требование Военного Министра, — к этому я давно был приучен, — а то, что всего накануне я имел подробный доклад у Государя, вопросы военного характера, занимали в наших объяснениях немалое место, и Государь не обмолвился мне ни одним словом о новом требовании ген. Сухомлинова.

Я созвал немедленно Совет Министров на 30 октября и написал собственноручно Государю, что не имею права исполнить требование Военного Министра, как противоречащее закону, что всякие отпуски денег по всеподданнейшим докладам теперь более недопустимы, и что только Совет Министров, а не единолично какой-либо Министр, имеет право представить Государю свое заключение об отпуске кредита (по ст. 17), с последующим утверждением отпуска Государственной Думой. Мой доклад вернулся с такою собственноручною пометкою:

«Теперь не время останавливаться на таких формальностях. Я жду, во всяком случае, мемории Совета не позже 1-го ноября. Деньги должны быть отпущены».

Положение Совета было крайне трудное. Сухомлинов как всегда невинно улыбался и на все резкие замечания, исходившие даже от лип, никогда или чрезвычайно редко поддерживавших меня, как Щегловитов, Рухлов и Кривошеин, он отвечал только, что в виду опасности войны нельзя останавливаться перед «юридическими тонкостями».

Разбор его требований, сделанный мною наспех, выяснил, что из 63 миллионов рублей не менее 13 миллионов уже занесены в сметы и не могут требовать вторичного ассигнования — этого ген. Сухомлинов просто не знал, — а устыженный Харитоновым, наивно заметил: «ну, значит, их можно исключить».

Оказалось затем, что из остальных 50 миллионов, только около 20-

ти требуют спешного отпуска, а боле 30-ти потребуется в середине 1913 года или даже значительно позже. Наконец выяснилось, что, готовясь к усилению нашего Австрийского фронта, Военное Министерство без всякого смущения **{121}** предполагает дать весьма значительный заказ австрийским же заводам и в частности, близкому к правительству заводу Шкода.

При других условиях, такое дело могло разгореться в крупный скандал, но всему Совету было ясно, что часть требований должна быть исполнена, и пришлось составить заключение в этом смысле, испрашивая у Государя разрешение на отпуск теперь же 20-ти миллионов, а остальных — по мере наступления сроков платежей. Я настоял на том, чтобы в заключение Совета было помещено мое заявление, что все эти требования об ассигновании денег в таком спешном порядке совершенно излишни, что Военному Министру следует просто дать полномочия делать все необходимые заказы, а кредит должен быть испрошен через Думу и Государственный Совет по мере исполнения заказов, и что все отпущенные в таком спешном порядке суммы останутся просто неизрасходованными. Сухомлинов внес свои заявления в противоположном смысле, и мемория Совета была представлена Государю 31 октября, за день до назначенного срока.

Деньги, разумеется, были отпущены — и мое пророчество сбылось. Я был уволен через 14 месяцев — 30 января 1914 года, и к моменту моего увольнения из всего отпущенного в таком невероятном порядке кредита, израсходовано было всего 3 миллиона рублей. Стоило ли городить огород!

Государь, очевидно, искренно думал, что Он поддерживает армию, удовлетворяя требования Военного Министра, и не имел возможности вникнуть во всю их неосновательность.

Когда, нисколько дней спустя, я был у Него с моим очередным докладом, Он совершенно искренно и просто сказал мне, что, прочитавши меморию Совета, Он находит, что лучше дать деньги, чем отказывать в них, хотя очевидно, что их опять не сумеют издержать во время, но важно то, что армия будет знать, что о ней думают, заботятся и готовят ее к бою.

Опять и опять мне пришлось напрасно говорить, что армии нужно не то, что по смете Военного Министерства есть деньги, а то, что в артиллерийских парках есть орудия и снаряды и нет недостатка в ружьях, пулеметах и патронах, и что нужно давать и исполнять заказ как следует, а не переделывать чертежи по несколько раз и не отменять данные наряды и заменять их все новыми и новыми. Все это я говорил и на этот раз, ясно сознавая, что при таком распорядителе, как Сухомлинов, все дело останется в прежнем безнадежном **{122}** состоянии и будет идти прежним черепашьим шагом, сколько ни скопляйся горючего матерьяла кругом нас.

Внешние события шли тем временем своим ходом. Война на Балканах все разгоралась и разгоралась. Болгары и сербы били турок, и назревал новый внутренний конфликт между сербами и болгарами. Все симпатии Сазонова и мои были на стороне сербов, настолько действия болгар были просто безобразны по отношение тех, кто спас их в самый острый момент борьбы с Турцией.

Румыния, по обыкновению, двуличничала, а поведение Австрии становилось все более и более вызывающим.

В это самое время, поздно вечером, 9-го ноября (1912 г.),

Сухомлинов передал мне по телефону, что Государь просить меня приехать к Нему завтра, 10 ноября, в 10 ч. утра. На вопрос мой, чем вызвано это приказание, он ответил, что хорошо не знает, потому что Государь ничего ему не объяснил и только сказал после сегодняшнего его доклада, чтобы он передал об этом мне и Сазонову. Я позвонил к Сазонову и получил от него только такой же недоуменный ответ, с прибавлением, что это его тем более удивляет, что он видел Государя днем и не получил от Него никаких указаний.

На утро на вокзале я нашел Сухомлинова, Начальника Генерального Штаба Жилинского, Сазонова и Министра Путей Сообщения Рухлова, который с недоумением спрашивал всех нас, зачем мы едем и чем вызвано наше совещание. Никто не дал ему никакого ответа, и Сухомлинов, по обыкновению, весело болтавший о самых пустых вещах, сказал только, что «вероятно Государя интересует какой-либо вопрос в связи с войною на Балканах».

Государь принял нас в своем большом кабинете, посадил меня направо от себя, Сухомлинова — налево, пошутив при этом:

«Вот Я очутился между двумя Владимирами, не всегда сходящимися друг с другом, и сказал, что, т. к. предмета совещания вероятно всем хорошо известен, то Он просит каждого, начиная с меня, как старшего, высказывать свое мнение.

Мы все трое, штатские Министры, заявили, что не имеем никакого понятия о предмете совещания, а Сухомлинов сказал, как ни в чем не бывало, что он не предупредил нас, т. к. ему казалось, что будет лучше, если Министры узнают прямо от Государя то, что Его интересует. Нам осталось только переглянуться.

{123} Тогда Государь, раскрывши лежавшую перед Ним карту, стал очень спокойно и ясно излагать соотношение наших и Австрийских военных сил на нашей границе, слабый состав нашей пехоты, имеющей не более 90 человек в роте, в то время, как австрийская пехота доведена до 200 человек в роте, медленность нашего сосредоточения войск и вытекающую отсюда необходимость значительно усилить состав войсковых частей стоящих близ границы.

«Для достижения этой цели», сказал Государь, «вчера, на совещании с командующими Войсками Варшавского и Киевского военных округов, решено произвести мобилизацию всего Киевского и части Варшавского Округа и подготовить мобилизацию Одесского.

«Я особенно подчеркиваю, — прибавил Государь, — что вопрос идет только о нашем фронте против Австрии и не имеет решительно в виду предпринимать чего-либо против Германии» Наши отношения с ней не оставляют желать ничего лучшего, в Я имею все основания полагаться на поддержку Императора Вильгельма».

На предложение Государем Сухомлинову сделать дополнительное объяснение, тот ответил, что не имеет прибавить ни одного слова к столь ясно сказанному Государем, и что все телеграммы о мобилизации им уже заготовлены и будут отправлены сегодня же, как только окончится совещание.

Государь, обращаясь ко мне, добавил: «Военный Министр предполагал распорядиться еще вчера, но Я предложил ему обождать один день, т. к. Я предпочитаю переговорить с теми Министрами, которых полезно предупредить ранее, нежели будет отдано окончательное распоряжение».

Мы трое глядели друг на друга с величайшим недоумением, и

только присутствие Государя сдерживало в каждом из нас те чувства, которые владели каждым из нас вполне одинаково.

Мне было предложено высказаться первому. Не хочется мне теперь, спустя много лет после этого дня, когда нет более в живых Государя, нет никого из участников. и свидетелей этих событий, когда погибла и сама Россия под натиском безумной революции, не хочется мне записывать здесь подробно все то, что вылилось у меня тогда в горячую, взволнованную речь. Попросивши у Государя извинения за то, что я не смогу, вероятно, найти достаточно сдержанности, чтобы спокойно изложить все то, что так неожиданно встало передо мной, я сказал, не **{124}** обинуясь, что очевидно советники Государя — Военный Министр и два Командующих войсками — не поняли, в какую беду ведут они Государя и Россию, высказываясь за мобилизации двух военных округов, что они, очевидно, не разъяснили Государю, что они толкают Его прямо на войну с Германией и Австрией, не понимая того, что при том состоянии нашей обороны, которая известна всем нам, только тот, кто не дает себе отчета в роковых последствиях, может допускать возможность войны с таким легким сердцем и даже не потребовавши всех мер, способных предотвратить эту катастрофу».

Государь прервал меня, сказавши буквально следующее:

«Я так же, как и Вы, Владимир Николаевич, не допускаю и мысли о войне. Мы к ней не готовы, и Вы совершенно правильно называете легкомыслием самую мысль о войне. Но дело идет не о войне, а о простой мере предосторожности, о пополнении рядов нашей слабой армии на границе и о том, чтобы нисколько приблизить к границе слишком далеко оттянутые назад войсковые части».

Я продолжал мою речь, доказывая Государю, что как бы ни смотрели мы на проектированные меры, — мобилизация остается мобилизацией, и на нее наши противники ответят прямо войною, к которой Германия готова и ждет только повода начать ее. Государь опять прервал меня словами:

«Вы преувеличиваете, Владимир Николаевич. Я и не думаю мобилизовать наши части против Германии, с которой мы поддерживаем самые доброжелательные отношения, и они не вызывают в нас никакой тревоги, тогда как Австрия надстроена определенно враждебно и предприняла целый ряд мер против нас, до явного усиления укреплений Кракова, о чем постоянно доносить наша, контрразведка Командующему войсками Киевского военного Округа».

После этого мне не осталось ничего иного, как развить подробно, очевидно, упущенную и Государем мысль о невозможности раздельного отношения к Австрии и Германии, о том, что, связанные союзным договором, вылившимся в полное подчинение Австрии Германии, эти страны солидарны между собой, как в общем плане, так и в самых мелких условиях его осуществления и что, мобилизуя части нашей армии, мы берем на себя тяжелую ответственность не только перед свою страною, но к перед союзною нам Францией. Я поставил самым резким образом вопрос о том, что мы не имеем, по нашему военному **{125}** соглашению с Франциею, даже права предпринять что-либо, не войдя в предварительное сношение с нашим союзником, и сказал, не стесняясь выражениями, что советники Государя просто не поняли этого элементарного положения, что, действуя так, как они считали возможным, они просто разрушают военную конвенцию и дают Франции право отказаться от исполнения ее обязательств перед нами, коль скоро

мы решаемся на такой роковой шаг не только не условившись с союзником, но даже не предупредивши его. Я сказал Государю, что Военный Министр не имел права даже обсуждать такой вопрос без сношения с Министром Иностранных Дел и со мною, что зная честность и личное благородство Генерал-Адъютантов Иванова и Скалена, я глубоко сожалею, что они не слышат моих разъяснений, потому что я уверен, что они разделили бы мои взгляды, как заранее знаю, что присутствующие Министры, вполне солидарны со мною.

В заключение, зная хорошо характер Государя, которому всегда нужно найти выход из создавшегося тяжелого положения, я предложил Ему, идя навстречу высказанным Им соображениям, взамен такой роковой меры, как мобилизация, сделать то, что всецело принадлежит Его власти, а именно, воспользоваться тою статьею Устава, о воинской повинности, которая дает Государю право, простым указом Сенату, задержать на 6 месяцев весь последний срок службы по всей России и этим путем разом увеличить состав нашей армии на целую четверть. Об этой статье была недавно речь в одном из заседаний Совета Министров по поводу усиления продовольственного кредита по Военному ведомству.

В практическом отношении от этого получилось бы то, что без всякой мобилизации оканчивающие свою службу с 1-го января 1913 года нижние чины срока 1909 года оставались бы в рядах до 1-го июля 1913 года, а новобранцы, прибывши в части с ноября по январь, поступили бы в строй (в феврале) за 5 месяцев до отпуска старослужащих. Таким образом, к самой опасной поре, к весне, во всех полках были бы под ружьем 5 сроков службы, и никто не имел бы права упрекнуть нас в разжигании войны.

Я закончил горячим обращением к Государю не допустить роковой ошибки, последствия которой неисчислимы, потому что мы не готовы к войне, и, наши противники прекрасно знают это, и играть им в руку можно только, закрывая себе глаза на суровую действительность.

{126} Государь выслушал меня совершенно спокойно. Ему видимо нравился подсказанный мною выход, но его смущала моя горячность и резкие выпады против Военного Министра. Желая смягчить это впечатление и в то же время успокоить меня, Он сказал, обращаясь ко всем присутствующим:

«Мы все одинаково любим родину, и Я думаю, что все, вместе со Мною, мы благодарны Владимиру Николаевичу за его прекрасное разъяснение и за то, что он нам предложил отличный выход из нашего трудного положения».

После меня говорили только Сазонов и Рухлов — оба, впрочем, очень кратко. Сазонов сказал, что он был просто уничтожен тем, что узнал о готовившейся катастрофе и может только подтвердить правильность всего мною сказанного и в особенности того, что мы не имеем права на такую меру без соглашения с нашими союзниками, даже если бы мы были готовы к войне, а не только теперь, когда мы к ней совершенно не готовы.

Рухлов был еще короче. Сказавши Государю, что никогда ни одна страна не бывает вполне готова к войне, и что он не разделяет вообще моего мрачного взгляда на состояние нашей обороны, но что он присоединяется, однако, к моему выводу и прибавил, что принятием такой меры облегчится даже, будущая мобилизация, т. к. не нужно будет передвигать по железным дорогам целую четверть нашей армии и притом

в двойном направлении.
Сухомлинов, на предложение Государя, сказать свое мнение, ответил буквально такими словами:

— Я согласен с мнением Председателя Совета и прошу разрешения послать генералам Иванову и Скалону телеграммы о том, что мобилизации производить не следует.

Государь ответил одним словом: «Конечно» и, обращаясь ко мне, самым ласковым тоном сказал:

«Вы можете быть совсем довольны, таким решением, а Я им больше Вашего», и затем, подавая руку Сухомлинову, сказал ему:
«И Вы должны быть очень благодарны Владимиру Николаевичу, так как можете спокойно ехать заграницу».

Эти последние слова озадачили всех нас. Мы пошли завтракать наверх. Сазонов остался на несколько минут у Государя, и когда мы пришли в приготовленное нам помещение, то Рухлов и я спросили Сухомлинова о каком его отъезде упомянул Государь? Каково же было наше удивление, когда **{127}** Сухомлинов самым спокойным тоном ответил нам: «Моя жена заграницей, на Ривьере, и я еду на несколько дней навестить ее». На мое недоумение, каким же образом, предполагая мобилизацию, мог он решиться на отъезд, этот легкомысленнейший в мире господин, безо всякого смущения и совершенно убежденно, ответил: «Что за беда, мобилизацию производит не лично Военный Министр, и пока все распоряжения приводятся в исполнение, я всегда успел бы вернуться во время. Я не предполагал отсутствовать более 2-3 недель».

На эти слова подошел Сазонов. Не сдерживая больше своего возмущения против всего, только что происшедшего, не выбирая выражений и не стесняясь присутствием дворцовой прислуги, он обратился к Сухомлинову со словами:

— Неужели Вы не понимаете, куда Вы едва-едва не завели Россию, и Вам не стыдно, что Вы так играете судьбою Государя и Вашей родины. Ваша совесть неужели не подсказывает Вам, что не решись Государь позвать нас сегодня и не дай он нам возможности поправить то, что Вы чуть-чуть не наделали, Ваше легкомыслие было бы уже непоправимо, а Вы тем временем даже собирались уезжать заграницу?!

С тем же безразличием в тоне и тем же ребяческим лепетом Сухомлинов ответил только:

— А кто же, как не я, предложил Государю собрать вас сегодня у Себя? Если бы я не нашел этого нужным, мобилизация была бы уже начата, и в этом не было бы никакой беды; все равно войны нам не миновать, и нам выгоднее начать ее раньше, тем более, что это Ваше и Председателя Совета убеждение в нашей неготовности, а Государь и я, мы верим в Армию и знаем, что из войны произойдет только одно хорошее для нас».

Говорить больше было не о чем. Мы скоро окончили наш завтрак и вернулись в город.

Через день, в обычном заседании Совета Министров, я подробно передал Совету о всем происшедшем, после окончания очередных дел, когда чины Канцелярии ушли.

В нашей среде опять возобновились суждения об общем политическом положении и его грозных перспективах. Мне пришлось значительно расширить рамки суждений, потому что, кроме событий на Балканах, я видел и другой грозный призрак в наших работах по

подготовке будущего торгового договора с Германией и в том, что делалось в этом отношении в Германии. Мне стал известен, посланный без ведома **{128}** Совета Министров, Главноуправляющим Земледелия Кривошеиным циркуляр земствам с запросом о их взглядах на желательные изменения в Русско-Германском Торговом Договоре, с такою явно враждебною Германии тенденциею, что я не мог не высказать открыто, что такие выступления не приведут к добру. Я не раз уже говорил моим коллегам по Совету, как при жизни Столыпина, так и после его кончины, что мы ведем наши приготовления к пересмотру торгового договора крайне неумело, слишком много шумим, собираем всякие совещания и комиссии; разговоры наши, не принося реальной пользы, постоянно просачиваются в печать и доходят, конечно, куда на следует, а в то же время Германия молчаливо и под шумок почти довела свои дела до конца и предъявить нам, в свою пору, строго обдуманные требования.

На этот раз я связал этот вопрос с совещанием у Государя и опять выяснил мою, всем известную точку зрения на крайнюю опасность нашего положения и на то, что наша неготовность к войне и плохое состояние всей нашей военной организации заставляют нас не шуметь не бряцать оружием, а быть особенно осторожными и сдержанными.

Мои слова вызвали целую бурю реплик. Сухомлинов стал доказывать прекрасное состояние армии и колоссальные успехи, достигнутые в деле ее оборудования. Кривошеин повел обычную для нас речь о необходимости больше верить в русский народ и его исконную любовь к родине, которая выше всякой случайной подготовленности или неподготовленности к войне, и на мое неудовольствие ходом работ по пересмотру торгового договора с Германией отозвался с большим жаром, что «довольно России пресмыкаться перед немцами и довольно выпрашивать униженно всякой мелкой уступки в обмен на прямое пренебрежение нашими народными, интересами», говоря этим самым, что именно я слишком заискиваю перед Германией, «дрожа над колебаниями биржевого курса».

Кривошеина резко поддерживал Рухлов, ссылаясь на то, что я мало езжу по России, мало убеждаюсь лично в том колоссальном росте народного богатства, который незаметен только здесь в Петербурге, и, в особенности, если мало соприкасаешься с народною крестьянскою массою, которая теперь не та, что была в Японскую войну, и лучше нас понимает необходимость освободиться от иностранного влияния.

Даже Тимашев, обычно всегда поддерживавший меня, не отставал от других и говорил о той необходимости упорно **{129}** «отстаивать наши насущные интересы и не бояться призрака войны, который более страшен издалека, чем на самом деле». Другие Министры молчали. Молчал и Сазонов, сказавши только «все-таки нельзя задирать, а нужно принимать все меры к тому, чтобы не сыграть в руку нашим противникам».

Этот спор, как и многие другие, кончился ничем, и я сказал только под конец, что наши взгляды слишком различны, потому что мы понимаем совершенно иначе слова «патриотизм» и «любовь к родине». Большинство Министров противопоставляют моим реальным аргументам одну веру в народную мощь, а я открыто считаю, что война есть величайшее бедствие и истинная катастрофа для России, потому что мы противоставим нашим врагам, вооруженным до зубов, армию, плохо снабженную и руководимую неподготовленными вождями. На этом кончилось заседание, и Министры, «патриотически» настроенные,

сбились в тесную кучу, видимо, обсуждая между собою мое «непатриотическое» настроение. Она составлялась всегда из одних и тех же лиц: покойных Рухлова, Щегловитова, умершего уже в изгнании Кривошеина и впоследствии Маклакова.

Все подобные рассуждения в Совете Министров были для меня крайне тягостны. Они ясно указывали на мою изолированность и даже на мою полную беспомощность. Номинально я считался главою правительства, руководителем всей его деятельности, ответчиком за все перед общественным мнением, а на самом деле, одна часть Министров была глубоко безразлична ко всему, что происходило кругом, а другая вела явно враждебную мне политику и постепенно расшатывала мое положение. Эта часть Министров имела на своей стороне в сущности и Государя. И не потому, что Государь был агрессивен.

По существу своему Он был глубоко миролюбив, но Ему нравилось повышенное настроение Министров националистического пошиба. Его более удовлетворяли их хвалебные песнопения на тему о безграничной преданности Ему народа, его несокрушимой мощи, колоссального подъема его благосостояния, нуждающегося только в более широком отпуске денег на производительные надобности. Нравились также и заверения о том, что Германия только стращает своими приготовлениями и никогда не решится на вооруженное столкновение с нами и будет тем более уступчива, чем яснее дадим мы ей понять, что мы не страшимся ее и смело идем по своей национальной дороге.

{130} Аргументы этого рода часто охотно выслушивались Государем и находили сочувственный отклик в его душе, а моя осторожная политика признавалась одними за мою личную трусость, а другими и самим Государем — просто профессиональною тактикою Министра Финансов, опасающегося расстроить финансовое благополучие страны.

По мере того, что тучи сгущались на Балканах, а у нас росло и крепло описанное настроению в некоторых кругах, а среди Министров и еще более выяснялось оппозиционное настроение ко мне, — я все чаще и чаще заговаривал с Государем о крайней трудности для меня вести дело общего управления без открытой солидарности во взглядах и при явном отрицательном ко мне отношении целого ряда Министров.

Мои обращения к Государю не могли быть, конечно, Ему приятны. Никогда, не выражая мне прямого своего недовольства, Он, видимо, не хотел допускать никаких перемен в Совете и всегда сводил свою беседу со мною на то, что Он всегда и во всем поддерживает меня, что Министры это прекрасно знают, что я пользуюсь Его полным доверием, и что мне не следует обращать большого внимания на разницу во взглядах.

Для меня было ясно, что постоянные намеки Мещерского на то, что подбор Министров по вкусу и выбору Председателя Совета Министров противоречит нашему государственному строю и ведет только «через Великий Визират» по его терминологии, к ненавистному для него парламентаризму, глубоко запали в душу Государя, и что Он просто не может расставаться с такими своими сотрудниками, как консервативный, предоставляющий политику «крепкой власти» Кассо или Министр самородок, вышедший из недр русского крестьянства и поддерживаемый Союзом Русского Народа и «Новым Временем», Рухлов, или чрезвычайно удобный в толковании закона и весьма

склонный подчинять юстицию политике Щегловитов и в особенности, пользовавшийся в ту пору самым большим вниманием Государя— Кривошеин, умевший льстить Ему и поддерживавший одно время связи с консервативными придворными кругами и постоянно заигрывавший с земствами, и с членами Государственной Думы, и с печатью.

Не раз ставил я себе, уже в эту печальную пору моего председательствования в Совете Министров, вопрос о необходимости просить Государя уволить меня, если Он не сочувствует крупной перемене в составе Министров. И ни разу у меня недоставало на это мужества. Быть может в этом сказывалась **{131}** моя слабость характера. — не знаю, но мне просто претила мысль поставить такой вопрос ребром перед Государем, заставить Его выбирать между мною и другими Министрами, создать для Него, всегда ласкового и приветливого, доверчивого ко мне, серьезное затруднение.

Меня удерживало от этого шага сознание также и того, что я все же еще сдерживаю известное направление нашей внутренней политики и поддерживаю осторожность — во внешней; что после меня станет хуже и получат преобладание именно те инстинкты, которые казались наиболее опасными.

Во всяком случае, могу сказать и теперь, много лет спустя, что эгоистической мысли у меня никогда не было, и я ни на одну минуту не цеплялся за власть и не старался сохранить ее, во имя каких-либо личных целей, а тем более ее мишурного блеска, которым я и не пользовался.

Как бы то ни было, но и теперь, когда все разрушено, когда попрано в грязь все, чему я служил и поклонялся, и погибло безвозвратно все то, что я, если а не создал, то успел поддержать, я ни одну минуту не сожалею о том, как я поступил, дотянув мою лямку до той минуты, когда ее с меня сняли.

После описанных эпизодов, конец 1912 года ушел весь на весьма утомительные и не приносившие реальной пользы сношения с новою Думою.

Собравшись 1-го ноября, она все никак не могла сорганизоваться и приступить к работам. Причина этому заключалась в результатах выборов.

Они дали бесспорный перевес умеренным элементам над оппозиционными, но во взаимных отношениях партий между собою и во всем внутреннем составе каждой из них сразу была заметна большая неустойчивость и стремление ставить свое преобладание над другими и присвоение себе руководящей роли в новой Думе, — выше общей организации, основанной на взаимном соглашении между собою.

Когда члены новой Думы собрались в Петербурге, между многими из них и мною установились вначале какие-то странные отношения. С большинством из них я был лично знаком и с весьма многими, перешедшими из Думы 3-го созыва, у меня были положительно самые добрые отношения. Но ко мне они заходили как-то украдкою и все более в порядке осведомления о разных злободневных вопросах. Каждый приносил полунамеками разные вести относительно **{132}** внутреннего среди них брожения, и было ясно заметно, что в их собственной среде происходила большая неразбериха.

Оппозиция ко мне конечно не появлялась, но все, что было правее кадетов, видимо, не знало на какой ноге танцевать. Родзянко, всегда наружно выражавший большие симпатии ко мне, лично вовсе не

появлялся, а более откровенные и разговорчивые его спутники, как например тот же Московский депутат Шубинский, навещавший меня довольно часто, выражался не обинуясь, что он просто боится «скомпрометировать» выборы свои в Председатели Думы, вставши открыто в близкие отношения к Председателю Совета.

Националисты, возглавляемые Петром Николаевичем Балашевым, всегда считавшим себя весьма тонким политиком, подсылали ко мне разных второстепенных посланцев, давая понять, что они ждут прямого приглашения от меня, для того, чтобы установить близкие отношения, сами же не решаются идти навстречу, т. к. считают, что при их численном перевесе не Магомет должен идти к горе, — а гора к Магомету. До меня доходили даже слухи, что Балашев мечтает быть Председателем Думы и положительно ждет авансов с моей стороны.

Быть может, что я и тут не проявил в эту пору необходимой гибкости и не сумел, как мне говорили потом, взять Думу в свои руки, как это сделал бы, вероятно, покойный Столыпин. Об этом мне трудно судить. Но я занял действительно выжидательное положение, никого к себе не звал, ни в какие интриги не входил, а просто ждал пока Дума перебродит свои неустойчивые вожделения и сумеет сорганизоваться.

Думаю, что я поступил правильно, тем более, что ни на кого в этой Думе полагаться было невозможно, потому что вначале всем хотелось власти, влияния, авансов со стороны правительства и никто, в свою очередь, хорошенько не знал, кто чего хочет.

О левых говорить не приходится. Рядом с кадетами народились кадеты второго сорта, в лице парии прогрессистов, возглавляемой Ефремовым и Коноваловым. Те и другие считали ниже своего достоинства — разговаривать с правительством вне чисто официальных отношений. Октябристы побаивались засилия националистов и будировали за понесенные ими утраты в лице Гучкова, Каменского, Глебова и других, а националисты заняли сразу, по отношению ко мне, отрицательное положение и в их среде, с первых же дней, стало заметно влияние **{133}** Киевского депутата Савенко и его приятеля, более сдержанного и деловитого, нежели он, — Демченко, которые сразу вошли в близкие отношения с Рухловым и Кривошеиным и не обинуясь говорили в кулуарах, — а все это тотчас доходило до меня, — что они поведут против меня кампанию и действительно начали ее, с первых же дней работы Государственной Думы, внеся предложение о выкупе в казну предприятия Киево-Воронежской железной дороги.

Правые совсем забыли дорогу ко мне. Их руководители Марков 2-ой и Пуришкевич, не могли, конечно, простить мне отказа в субсидии в миллион рублей на их выборную кампанию. Они нашли себе сильную поддержку в лице бывшего Нижегородского Губернатора Хвостова впоследствии печальной памяти, Министра Внутренних Дел 1915-го года, искупившего свои вольные и невольные прегрешения своею смертью в Москве летом 1918 года, который конечно хорошо знал, что именно я был виновником того, что он не был назначен Министром Внутренних Дел в сентябре 1911 года, после кончины Столыпина.

Таким образом, отношения между, мною и Думою 4-го созыва сразу установились действительно очень странные — наружно приветливые и корректные, внутренно и по существу — весьма холодные и безразличные, а часто просто беспричинно враждебные.

Это резко проявилось на первых же порах в обсуждении так называемой правительственной декларации.

Я готовил ее с большим вниманием. Немалого труда стоило мне согласить всех Министров между собой. Не так просто было и с Государем, которому просто не нравилось самое понятие о «декларации», напоминающей западноевропейские парламенты и носящей, по Его словам, как бы характер отчета правительства перед Думою.

Я старался внести в нее возможно умеренные ноты, не ставя никаких резких принципиальных вопросов, а развивал вообще мысли о необходимости мира внешнего и внутреннего, во имя преуспеяния родины; говорил о широком и дружеском сотрудничестве с народным представительством. В частности, вопросу о балканских событиях, роли в них России, ее миролюбии и желании идти навстречу мирного разрешения кризиса, я посвятил вместе с Сазоновым, много прочувствованных страниц. У меня сохранился тест этой декларации и с нею вместе — случайно попавшее мне в руки, уже **{134}** в эмиграции, фотографической изображение этого заседания Государственной Думы.

На западе пресса почти всех стран встретила, эту декларацию очень сочувственно. Я получил ряд писем и телеграмм от разных политических деятелей в самых теплых выражениях. Русская же печать отнеслась большею частью или безразлично или даже враждебно. «Новое Время» да пропустило случая сделать ряд обычных личных выпадов.

В думе произошло тоже нечто необычное. Вся левая половина вела себя совершенно сдержанно и прилично, если не считать ее заявления о том, что за хорошими словами и здоровыми мыслями часто следуют совсем не хорошие действия а мало похвальные поступки. Октябристы почти ничего не сказали, но усиленно аплодировали мне в целом ряде мест моей речи. Правые от них не отставали, и с внешней стороны я имел, по-видимому, большой успех, как это видно из стенограммы.

Но когда начались прения, то самые большие резкости полились со стороны националистов, дошедших, в лице Савенко, до прямых нападений на меня за недостаточную поддержку мною национальных требований и за полное забвение заветов Столыпина. Не отставали от них и некоторые правые, которые дали волю своему личному настроению, и всем стало ясно, что все правое крыло поставило себе задачею затруднять мое положение.

Всего более странным было то, что рядом со мною в Совете Министров половина членов были на стороне моих противников — Рухлов, Кривошеин, Щегловитов и только что назначенный Министром, Внутренних дел — Маклаков и их имена недвусмысленно выдвигались моими оппонентами, как явно сочувствующие им; целый ряд неопровержимых сведений указывал мне, что они были в постоянных сношениях друг с другом.

Мне пришлось, разумеется, разъяснить это и Государю, доложив Ему о крайней ненормальности такого положения власти, при котором нападки на правительство идут со стороны тех, кто должен был бы поддерживать его в кто ставит девизом своей деятельности — охрану монархических устоев и силу и неприкосновенность прерогатив Верховной власти.

Я опять, не знаю уже в который раз, пояснил Государю, что очевидно я не гожусь, и что всего лучше пожертвовать **{135}** мною и укротить власть более однородным и сплоченным между собою подбором ее представителей. Если же Государь не хочет отпустить меня, то я прошу Его разрешить мне найти сотрудников, помогающих мне, а не

ведущих двойную игру — открыто соглашающихся со мною, а за моей спиною — ведущих, на общий соблазн, недвусмысленную интригу против меня и явно поощряющих думские партии на самые недвусмысленные выходки против меня.

Государь и на этот раз успокоил меля, что я служу Ему, а не Думе, что я Ему нужен, и Он дорожит мною, и что я напрасно придаю такое значение закулисным действиям Министров, которые, вероятно, раздуваются разными глашатаями очередных новостей.

Он закончил эту нашу беседу опять самым ласковым обращением: «нет, Владимир Николаевич, будемте вместе работать. Я Вас не могу отпустить и не хочу никем заменять Вас».

Быть может и на этот раз, я был виноват новым проявлением моей уступчивости Государю, моей, так называемой слабостью характера. Мне следовало, быть может, проявить большую настойчивость, поставить решительно вопрос — или о моей отставке или о крупных переменах среди Министров, с удалением большой части из них. На это у меня не было недостатка в решимости, но моя совесть не позволяла мне затруднять Государя моим личным вопросом. Впрочем, я ясно видел как тогда, так и теперь, спустя много лет, что я не добился бы смены Министров, а достиг бы только личной выгоды — ушел бы с честью с непосильного поста и сохранил бы больше своего достоинства, чем мне пришлось сохранить его, дождавшись, спустя 13 месяцев, того, что не я ушел, а меня уволили.

И опять я скажу по этому поводу, как говорил уже не раз, что я нисколько не сожалею о моей кажущейся слабости. Мне не хотелось огорчать Государя, который проявлял всегда столько доброты и ласки ко мне, и еще того больше мне не хотелось до последней возможности покидать то влияние на исход дел, которым, я думал, что я приношу пользу родине

К этому времени — концу 1912-го года — началу работ Государственной Думы 4-го созыва относится одно дело, эпизодическое само но себе, но чрезвычайно характерной для того времени, когда оно разыгралось, и для тех людей, которые участвовали в его разрешении.

{136} Более трех лет тянулось перед тем рассмотрение вопроса о новом соглашении между казною и обществом Киево-Воронежской железной дороги.

Во главе общества стоял мой покойный брат и лучший мой друг — Василий Николаевич. Не своею волею попал он на это место, и никакого влияния в этом с моей стороны не было. Его убедил принять это место Граф Витте, в ту пору, когда он был всемогущ, и сделал это с исключительною целью исправить дела общества, совершенно расстроенные неправильною политикою правления прежнего состава. Витте хорошо знал моего брата, высоко ценил его неподкупную честность, его удивительное бескорыстие, редкое и в ту пору, когда люди были честнее и разборчивее в средствах, нежели потом, во время войны и, в особенности, с момента революции.

Всякий, кто только близко знал этого истинного рыцаря чести и неподкупности, отдавая ему всегда должное за то, что у него никогда не было иного интереса, кроме интереса того дела, которому он служил. Он ни о чем не мог говорить, кроме своего детища, и казался в обществе скучным и бессодержательным, пока кто-либо не затрагивал того, что владело всей его душой — его любимого железнодорожного предприятия.

Для него вопрос о существовании общества Киево-Воронежской дороги был, в прямом смысле слова, вопросом жизни и смерти. Он не понимал себя иначе, как во главе любимого дела, отождествлял себя с ним и не допускал для себя никакого иного призвания. У него была одна цель — сохранить общество, расширить его, распространить его влияние на новые районы, улучшить его всех отношениях и проявить при этом самую широкую готовность идти навстречу интересам государства, лишь бы только оно не требовало поглощения общества. Ему было ясно до очевидности, что поддерживая частной железнодорожное строительство, я вынужден был быть особенно требовательным к его обществу, чтобы не дать самого отдаленного повода упрекать меня в том, что я иду на какие-либо уступки в пользу этого предприятия, во главе которого стоит мой друг и брат.

Мы легко нашли с ним нашу общую точку зрения, и он, самым открытым и благородным образом, шел навстречу поставленным мною, трем принципиальным требованиям: 1) продление концессии будет допущено на самый короткий срок — не свыше 12-ти лет. Не стесняя государства в его будущих распоряжениях, 2) оно будет сопровождаться требованием **{137}** выстроить ряд новых ветвей хотя бы и убыточных на первое время для старых линий Общества, но необходимых для районов, не обслуженных существующей рельсовой сетью, и, одновременно, крупным улучшением всего оборудования старых линий Общества и
3) Общество должно будет отдать в пользу государства на менее 80% своего чистого дохода, превышающего 8% на акционерный капитал, и исправить в сторону выгодности для казны все неясности и спорные положения своего устава.

Эти основные требования были настолько очевидно выгодны для Правительства, что можно было рассчитывать на быстрое и благоприятное разрешение всего дела. На самом деле вышло совершенно иначе. Между мною в Государственным Контролером Харитоновым установилось, с самого начала, полное единство взглядов и между нами не было ни малейших споров и несогласий.

Но с Министерством Путей Сообщения и лично с его главою С. В. Рухловым установились с самого начала вступления его в должность Министра, в феврале 1910 года — самые резкие несогласия. Он объявил себя решительным поборником перехода всех существующих крупных частных железных дорог в казну, по мере наступления сроков выкупа, не стесняясь никакими финансовыми соображениями, и дал своим представителям в комиссии о новых железных дорогах самые определенные указания — держаться этой точки зрения.

Наряду с казенными дорогами, он покровительствовал возникновении многочисленным новым железнодорожным обществам с ограниченным районом деятельности, хотя бы с взаимно перекрещивающимися интересами и, со свойственной ему энергией, настойчивостью и даже упрямством, проводил свои взгляды, нисколько не смущаясь тем, что приискание капиталов такими слабосильными обществами н реализация на Мировом рынке облигационных займов многих, мало известных обществ, была сопряжена с величайшими затруднениями. Вообще, в финансовых вопросах покойный Рухлов проводил самые невероятные взгляды, до увлечения широким развитием бумажного денежного обращения и создавал мне на каждом шагу немалые затруднения.

Его заветною мечтою было всегда — занять пост Министра Финансов и применить на деле свои теории, но судьба не дала ему этого удовлетворения, несмотря на то, что немало было лиц, которые верили его теориям и недвусмысленно помогали ему прославлением его талантов. **{138}**

Бесконечно тянулось время по выработки оснований для нового соглашения с обществом Киево-Воронежской дороги. Одновременно с этим и с неменьшими трениями шли дела по выкупу или по новым соглашениям с Московско-Казанскою в Владикавказскою железными дорогами. Каждое заседание комиссии о новых дорогах заканчивалось разногласиями с представителями Министерства Путей Сообщения, а они требовали по закону моего сношения с Министром Путей Сообщения и Государственным Контролером, и часто проходили месяцы, что от первого из них нельзя было получить никакого ответа.

Отношения все более и более запутывались и обострялись и мне не раз приходилось, еще при жизни Столыпина, вносить дело в Совет и просить последний разобрать нас и сдвинуть его с мертвой точки. Правда, я избегал делать это собственно по Киево-Воронежской дороге, чтобы не обострять отношений по вопросу, так близко затрагивающему мои сердечные отношения к самому близкому мне человеку — моему брату.

Мне больно говорить об этом теперь, когда Рухлова нет более на свете, и когда он закончил свою жизнь поистине мученическою кончиною, но мне было в ту пору ясно, что Министерство Путей Сообщения ведет умышленно свою обструкционную политику, в особенности, по этой дороге, зная, что я не решусь поставить вопроса резким образом из-за дела, имевшего личный характер, но сознавая также, что своим отношением он причиняет мне особенно чувствительную неприятность.

По остальным двум крупным делам — Московско-Казанскому и Владикавказскому — я действовал проще и смелее: внес их на решение Совета Министров и получил там подавляющее большинство голосов. С Министром Путей Сообщения голосовали только Маклаков, Щегловитов и Кассо.

Государь встал на мою точку зрения, разделенную большинством, несмотря на то, что Рухлов предпринял особые меры к тому, чтобы подготовить Государя к противоположному взгляду.

Официально правительство стояло за соглашение с обществом на продлении концессии, и открытого разноглася в среде правительства не было; фактически же дело было не закончено и продолжались бесконечные препирательства и оттяжки.

Едва Дума нового созыва успела устроиться, переварить свой тяжелый председательский кризис и начать текущую работу, как на ее рассмотрение поступило законодательное предположение, подписанное значительным количеством членов **{139}** (около 100) о выкупе в казну всего предприятия Киево-Воронежской железной дороги. Инициаторами были националисты Демченко и Савенко, сближение с которыми Рухлова не составляло ни для кого тайны, а самое изложение предположений составляло дословное повторение мнений представителей Министерства Путей Сообщения в комиссии о новых железных дорогах.

Прочитавши эти предложения, я позвонил по телефону к Рухлову и спросил его, знает ли он об этом обстоятельстве и как относится к нему? Он мне ответил, что ничего об этом не знает, ни с кем не беседовал об этом вопросе и на вопрос мой об его отношении по существу сказал,

что, хотя он вполне сочувствует такому направлению дела, но считает, что правительство связано своим предыдущим отношением к вопросу и переговорами с обществом, принявшим все требования правительства, и потому он не станет более поддерживать взгляда Думы, но находит только, что лично ему выступать не следует, т. к. все знают сочувствие его идее выкупа дорог в казну, и следует это сделать мне, как исповедующему противоположный взгляд.

Я предупредил его в конце беседы, что внесу немедленно этот вопрос на рассмотрение Совета Министров и считаю, что пора положить предел всем бесконечным препирательствам и той волоките, которая просто недостойна правительства.

Через несколько дней я так и поступил: внес это дело в Совет. Совет отнесся совершенно спокойно к этому вопросу. Рухлов промолчал, Государственный Контролер. Харитонов определенно заявил о своем несочувствии думскому предположению и о необходимости поддержать точку зрения правительства. Я развил исключительно финансовую сторону вопроса и предпочтительность не тратить казенных денег там, где можно привлечь частные капиталы, и решение Совета сложилось единогласно против предположения Думы.

Это нисколько ни помешало, однако, Думе через три недели провести свою точку зрения подавляющим большинством голосов против взгляда правительства и против своего собственного докладчика — авторитетного инженера Маркова I-го. Я нарочно не поехал сам в Думу, чтобы не дать повода к личным выходкам, и меня заменил мой Товарищ С. Ф. Вебер. Его никто не слушал, как не обратил никто внимания на чрезвычайно веские возражения докладчика Маркова и предложение о выкупе в казну всего предприятия **{140}** Киево-Воронежской дороги прошло подавляющим большинством голосов, чуть ли не ¾ Думы.

Каждый голосовал под влиянием своих соображений: правые и националисты просто чтоб насолить мне, зная прекрасно и открыто говоря о том, что я действую просто в пользу моего родного брата, и намекая даже на то, что я заинтересован материально. Октябристы раскололись пополам. Кадеты из принципиальной оппозиции правительству, а левые — по их излюбленному соображению о передаче в руки государства всего железнодорожного транспорта.

Несколько месяцев спустя, 25 июня 1913 года, дело это перешло в Государственный Совет, и там я одержал крупную победу. В комиссии повел было кампанию против меня мой бывший подчиненный по Министерству Финансов А. П. Никольский, поддержанный бывшим Киевским профессором Пихно, но их голоса скоро потонули в общем резко сочувственном отношении к взглядам правительства, а в Общем Собрании я имел положительно большой успех; при голосовании открытою баллотировкою (вставанием), против меня было всего 4 голоса, и все они с правых скамей.

Вышедший из недр Государственной Думы проект был отклонен. Через неделю после такого решения, все дело о новом соглашении с Обществом Московско-Киево-Воронежской дороги прошло единогласно в Совете Министров, было немедленно утверждено Государем, и все интриги и шахматные ходы моих противников, потребовавшие почти 4-хлетнего упорного труда, и ненужных прений, оказались совершенно напрасными.

Радости моего брата не было предела. Ознакомившись со всеми документами по делу, которых не было раньше в его руках, он был

ошеломлен тем, какую массу неприятностей привелось мне пережить из-за дела, в котором было замешано его имя, и положительно он не знал чем, и как выразить мне свою благодарность. Через два года его не стало. Большим моральным облегчением для меня в минуту, когда у меня на глазах он скончался, было то, что он не лишился, до конца своих дней, возможности трудиться над любимым делом, что я избавил его от горького разочарования и скрасил ему последние месяцы жизни.

Что это был за человек, пусть послужить лучшим показателем такой факт: за сутки до кончины — он умер от воспаления легких — почувствовав себя минутно лучше, он **{141}** встал с постели, вопреки решительному требованию врача, а сел за письменный стол набрасывать свою речь для Общего Собрания своей любимой дороги, назначенного на следующий день и на котором он все еще надеялся присутствовать. Ему это не было суждено: когда все собравшиеся акционеры заняли места, им сообщили по телефону, что их Председателя не стало. Его чистая душа отошла в вечность в ту минуту, когда заместителем его произнесено было его имя, с объяснением тяжкого недуга, навеки отнявшего от дела то сердце, которое билось всегда только по нем...

Начало декабря 1912 года ознаменовалось новым инцидентом, быть может, незначительным самим по себе, но все же характерным для тех, кто был замешан в его возникновении.

Под вечер 4-го декабря, за два дня до именин Государя, ко мне позвонил по телефону военный Министр Сухомлинов и своею обычною скороговоркою передал мне, что он только что вернулся с всеподданнейшего доклада, на котором Государь передал ему подписанный Им Указ Сенату о назначении Командира Гусарского полка Воейкова Главноуправляющим по делам физического развития населения. Сразу я хорошо не понимал в чем дело и только потом сообразил, что это новая попытка генерала Воейкова устроить себе видной служебное положение на почве известного в то время увлечения «потешными», т. е. нашими национальными бойскаутами, к созданию которых пристроились разные господа, старавшиеся выслужиться и угодить этим Государю. Не вполне был в этом невиновен и покойный Министр Путей Сообщения Рухлов, рекламировавший ту же организацию в железнодорожных училищах.

Сухомлинов передал мне, что Государь поручает мне контрассигновать этот указ и опубликовать его непременно 6-го декабря. Я объяснил тут же Сухомлинову, что ни в каком случае не скреплю моею подписью такого незаконного акта и совершенно отказываюсь понять, как он сам не видит всей несообразности назначения кого-либо на должность Главноуправляющего несуществующим ведомством. Я пояснил ему, что из-за этого может только произойти величайший скандал, потому что Сенат, по всем вероятием, откажется опубликовать такой указ и поставить тем Государя и самого себя в совершенно безвыходное положение. Я старался внушить Военному **{142}** Министру, что он обязан оберегать Государя от подобных незаконных действий и не только не поощрять Его случайных желаний, но удерживать от всего, что может вызвать против Него неудовольствие, а тем более всякие осложнения, и предложил ему завтра же поехать к Государю и постараться отговорить Его от принятого решения или, в крайнем случае, отложить его до моего очередного доклада, на котором я постараюсь доказать всю недопустимость такого акта.

В ответ на все мои доводы я получил короткий ответ:

«Мы, военные, привыкли беспрекословно исполнять волю нашего Государя. Мы не имеем права рассуждать, что правильно а что неправильно, и считаем, что Государь может повелеть все, что Ему угодно, и не наше дело рассуждать законно ли то или другое Его действие. Все, что Государь делает, — все законно. Раз, что Вы отказываетесь контрассигновать Указ — я его подпишу и передам Вам, и от Вас уже зависит делать все, что Вам угодно».

Действительно, четверть часа спустя этот Указ со скрепою Военного Министра был доставлен мне. Я немедленно поехал к Министру Двора Фредериксу, на дочери которого был женат Воейков, рассказал ему все, что произошло, разъяснил, какие последствия неизбежно возникнут из этого инцидента, как обрушатся они на самого Фредерикса, которого все обвинят, конечно, в желании помочь своему зятю занять «министерский» пост, хотя бы в несуществующем министерстве.

Я знал, что требовать от него изложения перед Государем всех аргументов было трудно, и просил его только добиться одного— разрешения Государя не опубликовывать Указ в день 6-го декабря, отложить окончательное Его распоряжение на несколько дней и дать мне возможность лично доложить Ему все дело 7-го или 8-го числа, т. е. на следующий день, дабы в случае моей неудачи этот указ мог быть напечатан в виде дополнения к приказу по военному ведомству.

Фредерикс был сильно озадачен всем происшедшим. Его пугала перспектива отказа Сената распубликовать незаконный указ, и еще того больше, возмущало неизбежное обвинение его самого в участии в такой проделке, о которой он не имел никакого понятия. Он предложил было вызвать Воейкова к телефону и поручить ему самому немедленно явиться к Государю и лично просить отменить это распоряжение, но я отговорил от этого бесцельного шага и настоял на том, чтобы он взял на себя этот труд и, в крайне случае, убедил **{143}** Государя не настаивать временно на своем решении, во имя устранения несправедливых нареканий на неповинного министра двора. Он обещал точно выполнить мое желание.

На следующее утро, около 11 часов, Фредерикс передал мне по телефону из Царского по-французски: «Государь согласен повременить опубликованием. Он ждет Вас завтра в 10 час. утра. Но я никогда еще не видел Его таким разгневанным, как этот раз. Вам будет очень трудно убедить Его. Он дважды повторил мне: «Я не имею больше права, делать то, что нахожу полезным, и это начинает Мне надоедать».

В тот же день после завтрака, многим Министрам пришлось быть в Государственной Думе, по поводу прений о правительственной декларации. В числе собравшихся были Рухлов, Кривошеин, Саблер, Сухомлинов и Щегловитов; ожидалось прибытие Сазонова.

Я передал собравшимся в Министерском павильоне в Думе совершенно откровенно обо всем случившемся и, не стесняясь присутствием Генерала Сухомлинова, сказал им, что иду завтра рано утром в Царское и употреблю все мои усилия к тому, чтобы убедить Государя отменить незаконное распоряжение, а если не успею в этом, то бесповоротно подам прошение об отставке и буду настаивать на немедленном моем увольнении, т. к. вижу все мое бессилие бороться против ежедневных интриг и не желаю более нести призрачной ответственности за чужие действия.

Сухомлинов молчал и не проронил буквально ни одного слова.

Кривошеин ответил на мой рассказ совершенно спокойно, что он ни на минутку не сомневается в успехе моей поездки к Государю. Саблер старался всячески повлиять на Сухомлинова в том смысле, чтобы он взял на себя — поправить то, что напутано им, и не ставить меня в трудное положение и облекал свою речь как всегда, в очень мягкую и даже искательную форму.

Щегловитов не принимал никакого участия в беседе, зато покойный Рухлов едва сдерживал свое раздражение. Он обрушился на Военного Министра такими выражениями, по-видимому, совершенно искреннего раздражения, что можно было ожидать каждую минуту самого резкого столкновения. Его речь была испещрена самыми недвусмысленными обвинениями.

«Как смете Вы наталкивать Государя на явно незаконные действия? Вы достаточно умны, чтобы не понимать, насколько преступно для Министра поддерживать Государя, когда, ясно **{144}** всякому, что нельзя назначить кого-либо на несуществующую должность. Вам мало того, что из-за Вас Государь раздражен на Думу, и Дума видит на каждом шагу, что творятся нехорошие дела только потому, что Государь поддерживает Вас. Вам нужно теперь восстановить Государя и против Сената, который не может исполнить Его указа.

Вы жалуетесь чуть ли не каждый день Государю на то, что Министр Финансов и Председатель Совета Министров мешает Вам, а сами заставляете Председателя исправлять то, что Вы напутали, и этим достигаете, конечно, только одной цели раздражаете Государя против него, давая понять, что из всех Министров он один ослушивается Его воли и только Вы один слепо повинуетесь ей» и т. д., все в том роде.

Сухомлинов все время молчал н только под самый конец не выдержал и ответил очень глупой резкостью:

«Я не обязан знать все гражданские премудрости и разбираться в законности желаний моего Государя. Для меня они все одинаково законны, и дело Председателя Совета доказывать Государю, что Он не прав, и убеждать Его отказаться от принятого решения». — Продолжать препирательства, было бесполезно, и я закончил весь разговор, сказавши, что поеду завтра к Государю с отставкою в кармане и если не достигну отмены указа, то настою на увольнении меня от обеих моих должностей.

Так я и поступил; заготовил вперед письмо к Государю, составленном в самых почтительных выражениях, припоминая в нем неоднократные мои заявления о непосильности для меня труда, если у меня нет твердой поддержки в полном доверии моего Государя; указал и на то, что последний случай с указом о генерале Воейкове служить только подтверждением отсутствия этого необходимого условия и просил в заключение, сложить с меня непосильное и, вероятно, неумело несенное мною бремя.

Я считал, однако, необходимым попытаться и тут найти какой-либо выход и предложить Государю какой-нибудь приемлемый для Него способ отказаться от принятого Им решения и настоять на моей отставке только в случае неуспеха в этой попытке. Скажу по совести, что и в данном случае я отнюдь не цеплялся за власть, не думал о себе, а имел в виду одну цель — оберечь Государя от неправильного решения. Оградить Его обостренное самолюбие, и не открывать правительственного **{145}** кризиса в такую минуту, когда весь мир был напряжен событиями на Балканах.

Такой компромиссный выход я нашел в предложении Государю,

отменивши Его указ, поручить тому же генералу Воейкову наблюдение и руководство всем делом обучения военному строю и гимнастики во всех средних учебных заведениях всех ведомств и облечь это поручение в форму Высочайшего повеления, объявленного всем Министрам.

Встретил меня Государь без видимого раздражения, но необычайно сдержанно и холодно. Первые Его слова были:

«Я не понял, чего от Меня хочет наш добрый Фредерикс, и потому согласился отложить опубликование указа о Воейкове до того, что Вы Мне объясните, в чем именно Я нарушил закон».

Я привел все заранее приготовленные аргументы и старался в самой спокойной форме выяснить, что я не возражаю против возложения на генерала Воейкова самых широких полномочий по части объединения и руководства обучением гимнастики и фронту в школах; не буду даже возражать и против того, чтобы был выработан и внесен в Думу законопроект по этому поводу, с определенным штатом и кредитами на его содержание, хотя и уверен, что Дума встретит это враждебно, но нахожу, что нельзя назначать указом на должность несуществующую и предвижу заранее, что если бы даже Сенат распубликовал указ, то одним этим была бы восстановлена Дума против самого учреждения, и генерал Воейков очутился бы, в лучшем случае, один без сотрудников, без организации и без средств на ее содержание.

«Что же можно сделать?» спросил меня Государь: «чтобы направить и у нас то дело, которому весь мир придает теперь величайшее значение, и только мы одни идем позади всех?»

Я предложил придуманный мною компромисс. Государь внимательно прочитал мое изложение, взял перо, молча написал наверху «Исполнить», вынул из ящика подписанный Им указ о Воейкове, вычеркнул карандашом свою подпись и передал мне со словами: «Сохраните его у себя или просто уничтожьте».

Я взял этот указ и долго хранил его у себя, среди немногих бумаг моего частного архива.

Когда 30 июня 1918 рода у меня был произведен обыск, закончившийся моим арестом, этот указ был отобран у **{146}** меня. Потом, через 3 недели, возвращен со всеми бумагами, до которых большевистские комиссары видимо даже не дотронулись.

Цель моя была достигнута, мне не было повода подавать моею письма об отставке, но мне было ясно видно, что Государь недоволен мною, и Воейков, конечно, не забудет моего отношения к его сорвавшемуся назначению.

Я прямо обратился к Государю со словами:

«Я вижу Ваше Величество, что Вы недовольны мною, и прошу Вас прямо выразить мне, чем заслужил я Ваше неудовольствие. Я имею одну цель — оберегать Вас от неправильных действий отдельных министров, откровенно докладываю Вам о том, и я хочу этим вернее и честнее служить Вам, нежели думают служить те, кто молчаливо принимают к исполнению то, что неправильно и даже незаконно».

Государь долго молчал, встал из-за стола, подошел к окну, отвернувшись от меня, затем нервно закурил папиросу, обошел кругом стола и заметив, что я собираюсь вынуть какую-то бумагу из моей папки, подошел ко мне и протянувши руку, сказал:

«Да, Я был третьего дня очень раздражен и думал сегодня сказать Вам, что Я не отменю указа, но Я вижу теперь, что Я был неправ, а что правы Вы. Мне это конечно неприятно, но не думайте, что Я сержусь на

Вас. Вы не могли поступить иначе. Я верю, что Вами руководит только преданность Мне и сердечно благодарю Вас. Забудьте Мое минутное неудовольствие и верьте, что Я очень ценю Ваш открытый образ действий».

На этом мы расстались и весь этот инцидент формально канул в вечность, но оставил после себя, разумеется, скрытое неудовольствие Государя на меня и несомненно сыграл, год спустя, свою роль в том, что произошло в январе 1914 года.

После этого эпизода в наших внутренних делах наступило временное затишье. Министр Внутренних Дел Макаров был уволен в конце 1912-го года, его заменил Маклаков, на первых порах не проявлявший себя никакими выступлениями.

{147}

ГЛАВА VI.

Пожелания Короля Черногорского и недовольство на меня его дочери Вел. Княгини Милицы Николаевны за отказ поддержать их перед Государем.—Участие мое в вопросах иностранной политики. — Политические настроения в окружении Государя. — Совещание у Государя о задуманном Сухомлиновым, без сношения со мной, усилении в спешном порядке армии. — Бюджетная речь по росписи на 1913 год и прения по ней. — Инцидент, вызванный выходкой Маркова 2-го. — Романовские торжества. — Тревога во мне, вызванная внешним положением. — Отношение к этому вопросу Государя. — Новое направление в деле финансирования частного железнодорожного строительства и приезд в Петербург Г. Вернейля. — Посещение меня генералом Жоффром.

Декабрь 1912 года, видимо, не хотел уступить место январю, идущему ему на смену, без того, чтобы к только что описанным происшествиям не присоединилось еще одно, столь же неожиданное, как и все предыдущие.

В самый сочельник, 24 числа, около 12 часов дня, управляющий двором Великого Князя Петра Николаевича, барон Сталь передал мне по телефону, что Великая Княгиня Милица Николаевна желает меня видеть непременно сегодня по совершенно неотложному делу и просит назначить ей час, наиболее для меня удобный.

Я предложил быть у нее в половине пятого. Она приняла. меня в присутствии ее мужа, и наша беседа продолжалась более полутора часов, нося подчас весьма неприятный для меня характер.

Держа перед глазами записку из письма ее отца, короля Черногорского, Великая Княгиня просила меня внимательно **{148}** выслушать пожелания ее родителя и передать их Государю. По моей просьбе, она согласилась, под конец наших объяснений вручить мне эту записку, т. к. я сказал ей, что я особенно дорожу тем, чтобы при сношении моем с Министром Иностранных Дел и, в особенности при докладе моем Государю, не могло быть сомнения в точности моей передачи, и чтобы при оценке конечного результата моего доклада личные мои взгляды были основаны на точном выражении пожеланий Короля Черногорского, представленных ею черев меня.

Милица Николаевна заметила мне при этом, что никто и не станет сомневаться в точности моего доклада, но главное значение, по ее мнению, имеет не столько точность передачи, сколько то мнение, которое будет представлено на окончательное решение Государя.

Прочтенная Великою Княгинею записка содержала в себе четыре совершенно ясно формулированные желания Короля Черногорского, которые я воспроизвожу по оставшейся у меня копии, т. к. переданный мне подлинник, написанный рукою Милицы Николаевны, передан был мною Сазонову, после моего доклада Государю, в первый же мой доклад после Рождественских дней.

1. «Россия должна дать совершенно определенные указания нашему Лондонскому послу не подписывать никакого соглашения по ликвидации Балканского вопроса, если только Скутари не будет признано за Черногориею».

Изложение этого пункта сопровождалось заметкою, что «если это условие не будет принято, Черногория готова ринуться на Австрию и предпочитает погибнуть в неравном бою, лишь бы не лишиться плодов своих побед».

2. «Северная граница Албании должна быть проведена так, чтобы Ипек и Дьяково отошли непременно к Черногории».

3. «Обещанная Государем помощь Черногории мукою и кукурузою должна быть послана как можно скорее, иначе будет поздно, и население, лишенное продовольствия, вымрет от голода».

4. «Черногорская артиллерия окончательно изношена, орудия более непригодны к бою, патроны расстреляны, и необходимо также немедленно послать три батареи из шести скорострельных пушек нового образца, каждая с 1000 снарядов на каждое орудие, а также выслать по 1000 снарядов на все старые орудия и 20 миллионов патронов для всех трехлинейных винтовок, предоставленных в свое время Черногории».

{149} По первому вопросу я пояснил Великой Княгине, что предъявлять такое ультимативное требование через нашего Лондонского посла совершенно недопустимо, т. к. это было бы равносильно полному уничтожению того соглашения, которое существует до сих пор между государствами, взявшими на себя тяжелый труд по разрешению балканского вопроса, еще так недавно казавшегося всем почти безнадежным.

Я собирался было подкрепить мою мысль приведением всех доказательств необходимости сохранить взаимное доверие между державами и не допустить разрушения Лондонской конференции послов, но был прерван Великою Княгинею резким замечанием, почему же поступила Россия совершенно иначе в отношении требования Болгарии и согласилась в принципе передать ей Адрианополь?

Резкость тона и даже гневность, ясно звучавшая в словах Милицы Николаевны, заставили меня было сказать, что мне крайне неприятно выражать мое мнение, несогласное с ее взглядами, и я предпочитаю просто выслушать передаваемые ею пожелания короля Черногорского и доложить о них Государю, тем более, что окончательное решение зависит от его воли, по докладу Министра Иностранных Дел, но она, видимо, сдержала свой гнев и просила меня, наоборот, высказать свое мнение совершенно откровенно по всем вопросам, т. к. она тотчас напишет о нашем разговоре своему отцу, будучи заранее уверена, что мое мнение совпадет с мнением Сазонова и будет, очевидно, принято Государем.

Я указал ей на существенную разницу между положением вопроса о признании по настоянию России, Скутари за Черногориею и мнением, высказанным ею относительно прав Болгарии на Адрианополь.

Адрианополь окружен Болгарами и неизбежно должен пасть, как только возобновятся военные действия, приостановленные по требованию держав. Если Турция не согласится на передачу его Болгарии, последняя возьмет его без больших усилий голодом или силою.

Скутари, напротив того, не только не окружено Черногорцами, но свободно снабжается продовольствием и для взятия его, Черногория не располагает ни достаточными силами, ни простою физическою возможностью, при существующих условиях ее военной организации.

На мои доводы Великая Княгиня с той же резкостью, переходившею к запальчивость, просила, меня ответить ей прямо на **{150}** такой вопрос: «Мой отец поручил мне прямо сказать здесь. (т. е. другими словами, передать Государю), что уложивши не менее 8000 человек он уверен, что в состоянии взять Скутари, и желает знать, обеспечит ли в таком случае Россия что Скутари останется за ним?»

Оговорившись, что поставленный вопрос ставить передо мною слишком ответственную задачу, разрешить которую может только Государь, да и то Он, вероятно, пожелает ранее осведомиться об отношении к нему Англии и Франции, я просил Милицу Николаевну с ее стороны разрешить мне, докладывая эту часть нашей беседы Государю, формулировать поставленный ею вопрос в более ясной и категорической форме, отвечающей понятию «гарантии» со стороны России, а именно, желает ли она знать, что Россия объявит войну Австрии, а следовательно начнет общеевропейскую войну в том случае, если после взятия Скутари Черногориею, Австрия либо выбьет ее оттуда, либо станет решительно настаивать на передаче этого города Албании, при окончательном разрешении балканского вопроса?

Моя формулировка вызвала реплику Милицы Николаевны:

«Ну зачем же ставить вопрос так прямолинейно? Если Россия на самом деле заявит свое желание настойчиво и всем будет ясно, что она дорожит принятием его, то Австрия не посмеет угрожать войною, и мы будем иметь то, что нам так необходимо».

По второму вопросу, я сказал, что для Черногории не столько важен тот или иной определенный пункт по границе ее с Албаниею, сколько расширение ее территории по этой границе, и в этом отношении Россия делает и будет делать все, что в ее силах, чтобы обеспечить ее интересы, и Черногории нет оснований сомневаться в искренности нашего желания. Детали же установления границы составят предмет последующей работы по разграничению и усложнять сейчас общее положение, далеко еще несоглашенное в его главных положениях, очевидно, неблагоразумно.

По третьему вопросу я дал Великой Княгине категорическое обещание, что продовольственная помощь будет оказана безотлагательно, т. к. еще на последнем моем докладе были приняты все необходимые меры к немедленному направлению продовольствия в Черногорию.

По четвертому вопросу мои объяснения были выслушаны с тем же нескрываемым раздражением, как и то, что я **{151}** сказал то первым двум пожеланиям. Я сказал, что Россия, в данное время решительно не имеет никакой возможности снабдить Черногорию артиллерией, снарядами и патронами. Это было бы явным нарушением нами нейтралитета, и последствия такого нарушения были бы неисчислимы для России.

Мы встретились бы с неизбежным протестом со стороны Германии и Австрии и какую форму принял бы этот протест и к каким последствиям привел бы он — я не могу себе даже представить. Для меня совершенно очевидно, что и наш союзник — Франция и Англия не только не останутся равнодушными к нашим намерениям, но встанут к ним в резко отрицательное отношение, и мы останемся одинокими в том вопросе, которому мы отдаем столько неослабного труда. Я прибавил еще, что, если бы даже моя точка зрения могла показаться Великой Княгине слишком резкой, то есть и другое основание, по которому мы не в состоянии исполнить желание ее отца: мы сами слишком небогаты артиллериею, и я встречаюсь каждый день с самыми наглядными доказательствами, насколько мы отстали от нашей собственной потребности в скорострельных орудиях и в запасе снарядов.

По мире развития мною моих доводов Великая Княгиня становилась все более и более нетерпеливою и раздраженною и, видимо, желая положить конец нашей беседе, задала мне неожиданно вопрос: «А если мой отец найдет способ приобрести артиллерию или закажет ее где либо на стороне, — Россия заплатит за нее или тоже найдет основания клониться от этого?»

Я ответил на это, что, ставя такой вопрос, Король Черногорский, очевидно, ставить автоматически перед Государем общий вопрос о пересмотре нашей конвенции с ним, и для меня неясно, на сколько в интересах Короля и Черногории поднимать такой вопрос именно в данную, крайне неподходящую для его разрешения, минуту. Беседа наша пришла к концу. Великая Княгиня сказала мне не обинуясь, что она не замедлит сообщить своему отцу, к каким печальным результатам привела ее беседа со мною, т. к. она не сомневается ни на одну минуту, что мое мнение будет принято Государем, и «бедная Черногория выйдет снова ослабленною из всех ее усилий».

Я заверил Милицу Николаевну, что ей будет не трудно убедиться, насколько я доложу Государю буквально только то, что оказал ей по моей совести и считая моей первой **{152}** обязанностью думать всегда и прежде всего о пользах России и не допускать ничего, что могло бы нанести ей какой-либо вред.

В тот же вечер я передал весь мой разговор Министру Иностранных Дел, а несколько дней спустя доложил его во всех подробностях Государю, который видел Сазонова раньше меня и сказал мне только, что Ему Милица Николаевна не сказала ни одного слова, несмотря на то, что Он видел ее после моего свидания с нею, и что Он просто не желает возвращаться к этому вопросу, настолько все Ему ясно, и настолько Он решил ответить моими же аргументами и Королю Черногорскому, если бы он решился обратиться непосредственно к Нему, «вместо того, чтобы идти кружным путем, через его дочь».

После этой беседы я никогда более не разговаривал с Милицей Николаевной, и она видимо избегала меня. Два или три раза были случаи встречаться с нею и на Романовских торжествах и во время двукратной моей поездки в Ливадию осенью 1913 г., и, кроме молчаливого поклона, она ни разу ничем не проявила отношения ко мне. Государь заметил это и однажды, в последнее пребывание мое в Крыму, 6-го декабря, после завтрака подошел ко мне и спросил меня: «А Милица Николаевна все еще помнит ваш разговор год тому назад и, видимо, не жалует Вас?»

Затем уже в беженстве мне пришлось быть несколько раз у Великого Князя Николая Николаевича, когда он проживал в одном доме с

его belle soeur, Милицей Николаевной, и она ни разу не выходила ко мне, а однажды, когда мне пришлось обедать у Великого Князя, и она сидела тут же за столом, она не обратилась ко мне ни с одним словом, несмотря на то, что общая атмосфера в дом Великого Князя ко мне была в ту пору в высшей степени благожелательна.

Думаю, что я не совершу несправедливости, если скажу что в этом отношении сказались невыгодные для меня воспоминания Великой Княгини о нашем свидании в декабре 1912 года, не изгладившиеся и после десяти лет нашей жизни в изгнании.

В том же декабрь вернулся с Ленских промыслов Манухин н начал готовить отчет по его поездке, доставивший мне потом не мало хлопот и неприятностей.

Но над всеми событиями нашей внутренней жизни получили преобладание события внешней политики — Балканские **{153}** осложнения, и в них мне, по необходимости, пришлось принять большое участие.

Независимо от того, что по целому ряду текущих дел мне пришлось взять на себя неблагодарную роль усмирять пыл некоторых весьма воинственно настроенных членов Совета Министров, Сазонов, по мере осложнения событий, стал все более и более вводить меня в круг этих событий и почти ежедневно советовался со мною и не принимал ни одного решения, не переговоривши со мною. Во мне он всегда встречал «самого убежденного сторонника мирной политики и часто просил моей поддержки у Государя.

Мое положение в этом отношении было весьма щекотливое. Я знал всю нашу неготовность к войне, всю слабость нашей «военной организации и отлично сознавал до чего может довести нас война и держался поэтому самого примирительного тона во всех моих повседневных беседах с кем бы то ни было.

Но мне было в особенности трудно потому, что Государь относился отрицательно к самой мысли о том, что Председатель Совета Министров близко входит в дела внешней политики. Он считал их своими личными делами, и Ему было просто не по душе, что Министр Иностранных Дел вводит меня в них и в особенности обменивается взглядами в Совете Министров. Он мне ни разу не сказал прямо, что я вмешиваюсь не в свое дело, но Он просто не понимал, зачем иностранные послы обращаются ко мне, а не исключительно к Министру Иностранных Дел, и из его деликатных и осторожных намеков нельзя было не сделать того вывода, что Совету Министров и его председателю и вообще нет места в делах внешней политики. Приходилось вести свою линию и озираться по сторонам, чтобы не вызвать какого-либо осложнения, к которому очень часто готовили недвусмысленные заметки в «Гражданине», прямо говорившие о том, что Председатель Совета «начинает узурпировать прерогативы Верховной власти, которая одна ведает делами внешней политики».

А события все больше и больше наталкивали меня на эти вопросы.

Послы все чаще и чаще стали заезжать ко мне и искать во мне опоры. В особенности это относится к трем послам: французскому, германскому и японскому.

Отношения г. Луи к Сазонову все более и более портились, и он все чаще заезжал ко мне, ища поддержки, в обострявшихся столкновениях.

Граф Пурталес не стеснялся бывать **{154}** у меня перед своими посещениями Сазонова или непосредственно после него, и я положительно знал все, что поручено ему сообщать нам.

Барон Мотоно оказывал мне всегда величайшее доверие, и я пользовался его положением среди дипломатического корпуса, чтобы проводить нашу политику мирного разрешения Балканского кризиса, а когда к весне 1913 года Лондонской конференции удалось найти путь благополучного завершения первой балканской войны, то Мотоно приехал ко мне поздравить меня и сказал, что все столкновение было локализировано и не разыгралось в общеевропейский пожар благодаря трем лицам: Государю, Сазонову и мне.

Впрочем, и некоторые наши домашние явления зарегистрировали мою долю участия в делах внешней политики. Когда на славянских обедах Башмакова, Брянчанинова и комп. говорили зажигательные речи и клеймили антиславянскую политику русских Министров, «продавшихся немецкому влиянию». Мое имя всегда ставилось рядом с именем Сазонова и враждебные ему демонстрации должны были направиться и под мои окна, но не были допущены отрядом полиции, не пропустившей их на узком проезде к Мойке.

Наступил конец зимы 1912 — 1913 года. Все стали готовиться к Романовским торжествам. Перестали раздувать распутинский вопрос. Министры стали изощрять свою изобретательность в том, как шире и ярче отметить 300-летие Дома Романовых. Участились приезды разных владетельных особ и в числе их бухарского Эмира и Хивинского Хана, и петербургская жизнь приняла более праздничный характер, а думские прения как-то потускнели и сократились.

В исходе марта, перед парадным завтраком в Царском Селе, по случаю приезда Хивинского Хана, Обер-Гофмаршал Граф Бенкендорф подошел ко мне и сказал, что Государь желает, чтобы Его сопровождали на Романовские торжества только Председатель Совета Министров и Министры Путей Сообщения и Внутренних Дел, а все вообще Министры собрались в Костроме и оттуда проехали прямо в Москву. Он прибавил, что Министерство Двора не может, к сожалению, предоставить нам ни квартиры на остановках, ни способов передвижения, ни продовольствия, кроме случаев приглашения к Высочайшему столу. Письмо в этом смысле, сказал он, уже заготовлено мне Министром Двора я будет доставлено сегодня.

{155} Государь заметил наш разговор и во время завтрака, не имея возможности вести с Хивинским Ханом беседу по незнанию тем какого-либо языка, обратился ко мне с вопросом:

— Какую тайну поведал Вам Гр. Бенкендорф?

Придавши шутливую форму нашему разговору с Ним, я сказал, что некоторым Министрам предложено сопровождать Ваше Величество в путешествии, но с непременным условием «ночевать под открытым небом, питаться собственными бутербродами и передвигаться на ковре-самокате или приютиться на дрожках, перевозящих дворцовую прислугу».

Государь принял это тоже за шутку, но все-таки спросил тут же, через стол, Министра Двора разве нельзя что-нибудь сделать для трех Министров и получил в ответ, что передвинуть достаточное количество экипажей во все попутные города положительно невозможно, и что Министры, вероятно, устроятся сами как-нибудь.

На самом деле это так и было.

Об нас решительно никто не заботился, и, в частности, я передвигался сам только благодаря любезности Министра Путей Сообщения, предложившего разделить с ним путейские автомобили там, где нужно было передвигаться по грунтовым дорогам, и давшего мне приют, так же как и Министру Внутренних Дел, на путейском пароходе, сопровождавшем царский поезд по Волге от Нижнего до Ярославля.

Без этого одолжения, я не знаю каким путем смог бы я на самом деле сопровождать Государя в Его путешествии.

Я упоминаю об этом эпизоде только мимоходом, чтобы характеризировать какое отношение было в ту тору у дворцовых распорядителей царским праздничным объездом исторических мест к представителям высшей правительственной власти.

Поездке Государя было придано, по-видимому, значение «семейного» торжества Дома Романовых, и «государственному» характеру этого события вовсе не было отведено подобающего места.

Да и то сказать — в этом, как и во многих других случаях, в ближайшем кругу Государя понятия правительства, его значение, как-то стушевывалось, и все резче и рельефнее выступал личный характер управления Государем, и незаметно все более и более сквозил взгляд, что правительство составляет какое-то «средостения» между этими двумя факторами, как бы мешающее их взаимному сближению. Недавний ореол «главы правительства» в лице Столыпина в минуту **{156}** революционной опасности совершенно поблек, и упрощенные взгляды чисто военной среды, всего ближе стоявшей к Государю, окружавшей Его и развивавшей в Нем культ «Самодержавности», понимаемой ею в смысле чистого абсолютизма, забирал все большую и большую силу.

Происходило ли это от недостатка престижа во мне самом или от того, как я думаю, что переживания революционной поры 1905—1906 годов сменились наступившим за семь лет внутренним спокойствием и дали место идей величия личности Государя и вере в безграничную преданность Ему, как Помазаннику Божию, всего народа, слепую веру в Него народных масс, рядом с верою в Бога. Во всяком случае, в ближайшее окружение; Государя, несомненно все более в более внедрялось сознание, что Государь может сделать все один, потому что народ с Ним, знает и понимает Его и безгранично любит Его, т. к. слепо предан Ему.

Министры, не проникнутые идеею так понимаемого абсолютизма, а тем более Государственная Дума, вечно докучающая правительству своей критикою, запросами, придирками и желанием властвовать и ограничивать исполнительную власть,—все это создано, так сказать, для обыденных, докучливых. текущих дел и должно быть ограничиваемо возможно меньшими пределами, и чем дальше держать этот неприятный аппарат от Государя, чем меньше приобщать его к Его жизни и к историческим торжествам, связанным со всем прошлым Его Дома, — тем лучше и тем менее вероятности возникнуть на пути, всяким досадливым возражениям, незаметно напоминающим о том, что нельзя более делать так, как было, и требующим приспособляться к каким-то новым условиям, во всяком случае, уменьшающим былой престиж и затемняющим ореол «Царя Московского», управляющего Россией, как своей вотчиной.

В ту самую пору, о которой я веду мой рассказ, случилось одно событие, резко нарушившее для меня сравнительно спокойное течение обыденной жизни в промежуток между февральскими и майскими

торжествами, когда все Внимание Совета Министров как будто сосредоточилось на выработке предложений о том, как лучше и ярче ознаменовать 300-летие Дома Романовых.

К тому же и внешняя политика меньше привлекала к себе внимание националистически настроенных Министров, и мы с Сазоновым спокойно и согласно следили за событиями на Балканах, все более и более уверенные в том, что России **{157}** удастся те допустить балканской распри до мирового пожара.

9-го марта — я тогда же отметил это число — Военный Министр снова, как и в декабре месяце, поздно вечером позвонил ко мне но телефону и предупредил, что Государь просит меня завтра, 10-го марта приехать к Нему. На мой вопрос:

«В чем дело и кто еще приглашен?» он мне ответил:. «Вот уж на этот раз, это Вам должно быть известно больше, чем кому-либо» и на этом наш разговор оборвался.

Я поспешил было позвонить к Сазонову, узнать у него причину экстренного вызова, но его не оказалось дома, и мне не оставалось ничего другого, как спокойно ждать утра и минуты отъезда.

На вокзал я встретил Маклакова, который спросил меня — о чем будет совещание, на которое и он приглашен, а жандармский офицер подошел ко мне и сказал, что за четверть часа отошел экстренный поезд, с которым уехали Великие Князья, Военный и Морской Министры. В Царском Селе меня пригласили пройти в большую угловую гостиную Императрицы, в которой я нашел Великого Князя Николая Николаевича, Сергея Михайловича, Военного Министра, Начальника Генерального Штаба Жилинского, Морского Министра, Министра Иностранных Дел, Министра Внутренних Дел и Государственного Контролера. Не успел я поздороваться с собравшимися, как Государь обратился ко мне с такими словами:

«Так как интересующий нас вопрос зависит прежде всего от денег, то Я прошу Председателя Совета Министров и Министра Финансов сказать, как относится он к представлению Военного Министра».

Не зная решительно ничего о том, какое предположение имеет Государь в виду, я ответил, что затрудняюсь сказать что-либо, не зная, о чем идет речь. Государь смутился и, обращаясь к сидевшему против Него Военному Министру, сказал ему:

«Как же это так, Владимир Александрович, — снова Председатель Совета ничего не знает. Ведь Ваш доклад напечатан, Я его читал уже 2 недели тому назад, и Вы просили Моего разрешения разослать его всем участникам совещания, собранным по Вашей просьбе».

Сухомлинов покраснел и ответил: «Я решительно ничего не понимаю, Ваше Величество, — доклад был послан вчера утром к Министру Финансов и вероятно лежит где-нибудь у него в канцелярии». Все Министры ответили, что получили **{158}** доклад еще на прошлой неделе.

Я удостоверил, что, выезжая из дома в 9¼ утра, я видел моего секретаря, который сказал, что ничего от Военного Министра не поступало. На предложение Государя, не отменить ли совещание и не лучше ли собраться на следующей неделе, после того, как я ознакомлюсь с делом, я просил Государя приказать просто прочитать этот доклад, предполагая, что, быть может, я буду иметь возможность высказаться и без подготовки. Я прибавил, что я не хотел бы задерживать направления дела по причини недоставления мне необходимого материала, как бы понятно не было такое обстоятельство.

Участники совещания имели весьма смущенный вид.

Так и было поступлено. Генерал Жилинский прочитал доклад, содержавший в себе предположения о необходимости спешно усилить нашу армию, в виду увеличения состава Германской армии и, в соответствии с приведенными расчетами, открыть единовременный кредит в сумме свыше 350 мил. рублей и увеличить постоянные расходы Военного Министерства, на 100 миллионов рублей в год. Из беглого прослушания доклада мне было ясно, что он составлен наспех, многое пропущено (например, не принят вовсе расход на постройку казарм для увеличенного состава армии и на их содержание), отдельные статьи не согласованы между собою, и вовсе не затронут вопрос о том, чем так много занимается Франция, об увеличении сроков службы под ружьем, что может быть много полезнее чем увеличение численного состава армии, но плохо обученной и, того еще хуже, плохо снабженной. Не затронут был вовсе вопрос о развитии железных дорог с точки зрения приспособления их к мобилизационным целям и т. д.

После прочтения доклада Государь опять спросил меня, не желаю ли я отложить заседание, чтобы подготовиться к ответу. Я просил Его разрешения ответить теперь же, но просил позволить мне говорить совершенно откровенно, не стесняясь тем, что мои слова, могут быть неприятны кому бы то ни было. Хорошо помню и теперь все, что я сказал тогда. Главное я тогда же записал.

Я начал с того, что просил Государя обратить внимание на то невероятное положение, которое существует у нас в деле развития армии. Не проходит ни одного доклада, чтобы Военный Министр не жаловался на меня за то, что я отказываю ему в средствах; почти в каждом номере «Русского Инвалида» **{159}** печатаются резкие статьи о том, что мы отстали от наших вероятных будущих противников, и причиною этого является все тот же вечный отказ Министерства Финансов в деньгах: в каждом собрании военных та же единственная тема развивается все с большею и большею страстностью, и скоро имя Министра Финансов станет чуть ли не синонимом врага отечества, не признающего первого своего долга перед родиною — помогать защите ее чести и достоинства.

А между тем, что мы видим, на деле и какое лучшее доказательство бессистемности наших подготовительных работ по усилению армии нужно еще искать после сегодняшнего собрания? Германия провела свой исключительный закон о единовременном налоге на население для усиления армии еще в 1911 году, а у нас встрепенулись только через 2 года, да и то не успели послать Председателю Совета Министров и Министру Финансов печатного доклада, хотя послали его другим Министрам и заставляют его читать «с листа», т. е. давать заключения по такому капитальному вопросу, не давши ему возможности ознакомиться с содержанием выработанных предположений и даже обдумать эти предположения.

Но и этого мало и после двух лет, в течение которых Военное Министерство должно было готовиться и работать над новым планом усиления армии, — на рассмотрение Государя представляется такая работа, в которой, с первого беглого взгляда, очевидны элементарная неточность и бесспорные пропуски. Достаточно указать, что пропущен расход на казармы, исчисляемый во многие и многие миллионы рублей, и невольно хочется спросить — где же будут жить те сотни тысяч солдат, которые будут призваны под знамена?

Очевидно, что при таком характере работы бесполезно углубляться в отдельные расчеты, проверять и подводить новые итоги, да это и совершенно бесцельно. Совещание не может решить этого вопроса без законодательных учреждений, и нужно только принять одно принципиальное решение, а затем поручить Военному Министру разработать весь вопрос без грубых пропусков и ошибок, что очевидно, совершенно непосильно для одного военного ведомства, и внести его в Думу без всяких новых проволочек, в которых вообще не виновен никто, кроме самого Военного Министра, постоянно разыскивающего посторонних виновников своих собственных ошибок.

Что же касается моего принципиального отношения к делу, то я не только не буду возражать против усиления армии, но **{160}** могу разве повторить то, что я не раз заявлял открыто в Думе и докладывал самому Государю, — нужно торопиться, работать не покладая рук и постараться наверстать потерянное время, и нужно заранее знать, что Министр Финансов не только не противится усилению защиты родины, но заявляет открыто, что деньги на это найдутся, и нужно только уметь распорядиться ими, и распоряжаться не так, как мы это делали до сих пор.

Тут Государь прервал меня и сказал, обращаясь ко всем вообще, но в особенности к Великому Князю Николаю Николаевичу:

«Кажется мы можем вздохнуть свободно в сказать себе, что мы не даром собрались сегодня. Я знал всегда, как горячо любит Владимир Николаевич родину и никогда не сомневался в том, что он не откажет в средствах на оборону».

Военный Министр, как ни в чем не бывало, поспешил подтвердить, что и он очень благодарит Министра Финансов за его горячую поддержку нужд обороны.

Все молча переглядывались, Великий Князь Николай Николаевич шепнул мне: «иль а дю тупэ», и я продолжал мои объяснения. Я сказал Государю, что прошу Его разрешения коснуться только двух принципиальных вопросов, чтобы примирить новую огромную затрату на оборону с поддержанием нашего прочного финансового положения. Я сказал, что Государственное Казначейство обладает в виде остатков от прежних лет свободною наличностью свыше 450 миллионов рублей, и что я готов отдать ее полностью на нужды обороны, но прошу только помощи Государя в том, чтобы Он повелел мне сообщить Его именем всем Министрам, что эта наличность отдана на это дело, и что Министры не должны обращаться к Министру Финансов, как это они делают теперь мне ежедневно, прося новых ассигнований на счет этих запасных средств. Кроме того, новый план Военного Министра, поглощая единовременными расходами всю наличность, требует еще постоянного увеличения бюджета по крайней мере на 150 мил. рублей в год. Этот расход казна может также взять на себя, потому что наши доходы растут в значительной степени, но нужно, чтобы гражданские Министры умерили свои новые требования, т. к. одновременно давать новые средства для обороны и столь широко удовлетворять другие потребности — не в состоянии выдержать никакая страна.

Государь опять остановил меня и сказал очень просто:

«Вы имеете, Владимир Николаевич, Мою полную **{161}** поддержку — с Вами нельзя не согласиться. — Пусть в Думе настаивают на всяких культурных расходах, а Я не хочу даже обсуждать Вашего предложения — оно так логично и правильно, и прошу Вас, поэтому,

представьте Мне завтра проэкт Моего повеления об этом всем Министрам, и Я подпишу его с большою радостью».

Последний вопрос, которого я коснулся, заключался в том, что ежегодный призыв новобранцев дошел у нас уже до 570.000 человек и поглощает более половины всего призывного контингента, не касаясь вовсе вопроса о степени пригодности к военной службе по состоянию здоровья. В Государственной Думе, уже раздаются голоса о чрезмерной тяжести этой повинности населению, и не подлежит никакому сомнению, что новое увеличение призыва, боле чем на 120.000 человек не пройдет гладко.

Я просил, поэтому, не разрешая этого вопроса сейчас, подумать — нельзя ли увеличить продолжительность сроков службы на один год и тем достигнуть той же цели, но при меньшем контингенте новобранцев. Военный Министр промолчал, Жилинский сказал, что этот вопрос интересный и на нем полезно остановиться, а Министр Внутренних Дел Маклаков, неожиданно для всех, выступил с горячею речью против меня, развивая в ней парадоксальную тему, что не следует бояться увеличивать призыва, а нужно стремиться, наоборот, к тому, чтобы весь контингент молодых людей проходил через ряды армии, потому что армия воспитывает народ, обучает его грамотности и возвращает населению не только дисциплинированную часть его, но и лучше накормленную, окрепшую физически и морально.

Этот горячий порыв не произвел, однако, большого впечатления. Государь сказал Военному Министру просто:

«Подумайте, Владимир Александрович, над этим вопросом, но только, ради Бога, не медлите этим делом, — мы и без того потеряли слишком много, времени».

На этих словах Государь закрыл заседание, сказавши мне:

«Мы все должны благодарить Вас, Владимир Николаевич, за то, как облегчили Вы наше сегодняшнее трудное положение».

Когда я вышел из гостиной, направляясь к выходу, отказавшись от завтрака, в передней меня догнал скороход, с приглашением вернуться к Государю. Я застал Его в **{162}** большом кабинете, разговаривавшим с великими Князьями, которые тут же вышли, причем Сергей Михайлович сказал мне довольно громко:

«Теперь я вижу, какие приемы практикуются у нас.

Государь, обращаясь ко мне произнес следующую фразу, воспроизводимую мною с буквальной точностью, т. к. я тогда же записал все, что произошло:

«Я все вижу более того, чем хочу говорить. Не стану благодарить Вас, потому что знаю, как благородно и открыто Вы действуете всегда. Прошу Вас об одном — помогите Мне в этом деле, подгоняйте Военного Министра, напоминайте ему и поправляйте его ошибки. Ему одному не справиться, а Я вижу ясно, что мы не надолго сохраним мир. Что же будет, если мы опять будем не готовы к войне».

Я дал тут же Государю слово, что не буду ни в чем затруднять Военного Министра, но что я бессилен помогать ему, и мои напоминания только вызовут новые жалобы с его стороны. Сославшись на мой доклад в Ливадии 22-го апреля 1912 года, я сказал Государю, что генерал Сухомлинов не в состоянии справиться с делом, и что мы опять потеряем время, и я убежден, что до роспуска Думы на лето он не сумет провести этого дела.

«Но уж на этот раз Вы ошибаетесь», ответил мне Государь, «он

дал Мне слово, что к 1-му мая все будет внесено, лишь бы его не задержали».

Мои предсказания сбылись. Сколько я ни напоминал Государю, сколько ни твердил Сухомлинову в Совете Министров, — дело опять застряло. Меня уволили год спустя; 30 января 1914 года, и только в марте того года, т. е. с опозданием целого года, после совещания, дело было внесено в Думу, да и то с такими ошибками, с такою неполнотою в расчетах, что все только разводили руками. До самого моего увольнения представление так и не поступило на мое окончательное рассмотрение.

Остаток времени до выезда на Романовские торжества, ушел, главным образом, на участие в целом ряде заседаний в Думе по отдельным вопросам и, в особенности, на прения по бюджету.

Моя речь по бюджету на 1913 год была, в полном смысле слова, моею лебединою песней, по сметным вопросам в Думе 4-го созыва. До прений по составленной мною же смете на 1914 год я не остался уже на месте Министра Финансов, **{163}** т. к. мое увольнение последовало 30 января 1914 года, и отстаивал бюджет уже мой преемник Барк, который избрал, однако, благую часть, ограничившись весьма краткими замечаниями, посвященными, главным образом, восхвалению Председателя бюджетной комиссии.

Подготовительная работа комиссии по рассмотрению смет и росписи в этом году особенно затянулась, и общие прения начались только 10 мая 1913 года.

Я не предвидел, конечно, что я представляю мои соображения в последний раз, и придал моей речи исключительно общий характер, избегая всяких частностей, чтобы не давать повода лишней полемике, и это тем более потому, что роспись, мною составленная, и лишь в очень немногом измененная думскою бюджетною комиссиею, давала на самом деле основание ограничиться лишь общею характеристикою. Она была в действительности блестящею, по условиям ее сведения. Все расходы были сбалансированы исключительно на счет одних обыкновенных доходов, которые оказались достаточными и для покрытия всех чрезвычайных расходов, занесенных в роспись в крупной цифре в 235 миллионов рублей, т. к. избыток обыкновенных доходов над обыкновенными же расходами составил свыше этой суммы.

Произнеся эту мою последнюю бюджетную речь, я не думал, что она будет фактически моим последним выступлением по бюджету. Конец ее невольно сделался как бы моим завещанием, чего я вовсе не имел в виду, высказывая мои заключительные соображения о том, как следует поступать в будущем, если мы хотим беречь устойчивость нашего финансового положения.

С небольшим через год разразилась война, расстроившая все наше финансовое положение, а потом пришла революция и смела все, что было создано трудом стольких поколений, и водворила на место прежней жизни тот ужас разорения, о котором так не хочется говорить в настоящую минуту.

Речь моя закончилась, как говорит думская стенограмма, «продолжительными и бурными рукоплесканиями в центре» и в левой части правого крыла».

На этот раз общие прения носили нисколько иной характер, чем прежде. Конечно, запевалой явился, как всегда, Шингарев. К нему пришел на помощь Коновалов, повторявший, впрочем, все те же избитые либеральные мысли, но **{164}** зато, в резкой оппозиции ко мне встала

правая половина Думы в лице националиста Савенко и крайнего правого Маркова 2-го.

Мне пришлось вторично выступить в общих прениях и большое место пришлось уделить именно последним ораторам и в частности Маркову, который, критикуя деятельность Министерства Финансов, свел всю остроту своей речи на еврейский вопрос, выдвинул так называемое Поляковское дело, обвинив Министерство в явном потворстве евреям в ущерб государству и приплел, неизвестно почему, имя Вел. Князя Сергея Александровича, который погиб, по его словам, за его борьбу против евреев и никогда бы не допустил такой благотворительности в пользу Полякова. Упомянут был и покойный Столыпин, которому я мешал взыскивать деньги с Полякова. Мне пришлось возражать Маркову как раз в день моего выезда на Романовские торжества, 12-го мая.

По общему суждению я был в тот день в удачном полемическом настроении, да и тема была благодарная. Защищал интересы Полякова, во время управления Министерством Статс-Секретаря Витте, именно Великий Князь Сергей Александрович по настоянию которого, а не кого-либо другого, было допущено изъятие в пользу Полякова, но сделано было не в интересах самого Полякова, а того огромного количества вкладчиков трех его банков, которые были бы разорены, если бы Торговому Дому Полякова не была оказана помощь.

Столыпин действительно требовал в 1910 году спешной ликвидации Поляковских активов, чему я противился, ссылаясь на то, что нужно продавать бумаги тогда, когда можно выручить наивысшую цену, что мне и удалось в 1912 году, благодаря чему Государственный Банк выручил лишние 3 миллиона рублей. Об этом я уже говорил б своем месте.

Вообще я мог привести ряд фактических доказательств того, что Банк вернул весь свой долг и не вернул только части процентов, а у Полякова не осталось ничего, что можно было бы продать. Я закончил мое возражение, быть может, несколько более, чем нужно, резким сравнением, сказавши, что Марков 2-ой напоминает мне того генерала, про которого существовал анекдот, что он в слове из трех букв сделал четыре грамматических ошибки.

Возражал мне Марков уже две недели спустя, когда я оставался еще в Москве, и отплатил мне за мою критику бессмысленным окриком, обращенным заочно ко мне: «а я скажу Министру Финансов просто — красть нельзя». Что хотел **{165}** он этим оказать — остается на совести оратора, но удивительно, что никто в Думе, ни председательствовавший Товарищ Председателя Князь Волконский, никто из членов, решительно никто не поднял голоса против этой невероятной выходки... А из этого разгорелся особый инцидент, который представлял тоже некоторые особенности, характерные для людей того времени.

Я прочитал речь Маркова в вагоне, возвращаясь из Москвы. Это было в воскресенье, 28 или 29 мая 1913 года. В тот же день ко мне приехал на дачу Князь Волконский, который заявил, что приехал принести извинение за то, что он «проспал выходку Маркова и если я желаю, то он готов подать в отставку». Я сказал ему, что извинение нужно приносить не у меня в кабинете, а с кафедры Думы, и что отставка его зависит вовсе не от меня. Волконский ответил мне, что он и сам хорошо понимает, что на нем лежит прямой долг исправить допущенную им ошибку, но что ему не позволяет этого сделать ни Председатель Думы Родзянко, ни совет старейшин.

В тот же день у меня был и Родзянко, спрашивая меня, как предполагаю я реагировать на выходку Маркова и на оплошность Волконского? Я разъяснил ему, что оскорбляться на слова Маркова я не намерен, но что дело касается вовсе не лично меня, а всего правительства, и решение мое будет целиком зависеть от того, как отнесется Государь к тому факту, что оскорбление, нанесенное Председателю Совета, Министру Финансов, не вызвало никаких действий со стороны Председателя думы**.**

На его вопрос, что я могу ему посоветовать, потому что он и сам понимает всю неправильность поведения Волконского, я сказал ему, что, вне придания характера личной обиды словам Маркова, я на месте его нашел бы очень простой и для всех безобидный выход: воспользовался бы первым Общим Собранием Думы и сказал бы, самым спокойным образом, что у одном из предшествующих заседаний, одним из членов Думы было употреблено по адресу одного из членов Правительства совершенно недопустимое в прениях представительных учреждений, выражение и что он, Председатель, надеется, что такое обстоятельство больше не повторится в стенах Государственной Думы.

Родзянко уехал от меня, сказавши мне, что он вполне **{166}** разделяет такой исход и находит даже его чрезвычайно умеренным, дающим прекрасный выход из положения.

Через день, в четверг, накануне моего всеподданнейшего доклада, было заседание Совета, Министров. Я предложил рассмотреть этот вопрос и поставил, прежде всего, на обсуждение: находит ли Совет Министров возможным пройти мимо возникшего инцидента и если не находит этого, то как полагает реагировать на него. Я рассказал при этом о моей беседе с Родзянко. Все Министры единогласно отозвались что оставить без какого-либо воздействия совершенно невозможно.

Всего решительнее в этом смысле высказался — отмечаю особенно это обстоятельство — Министр Юстиции Щегловитов и во всем солидарный с ним Маклаков. Затем все также единогласно одобрили то умеренное предложение, которое и сделал Родзянко, и на вопрос мой, как же поступить в случае, если оно принято не будет, Министр Торговли Тимашев предложил испросить разрешения Государя на то, чтобы Министры не посещали заседаний Думы до тех пор, пока им не будет гарантирована защита от незаслуженных оскорблений, и заменили бы себя в текущих делах Товарищами.

Я опросил поименно всех Министров согласны ли они с таким предложением? Все и особенно решительно те же — Щегловитов и Маклаков — заявили, что находят такой выход совершенно правильным и просят меня доложить Государю. Оба они добавили, что с их личной точки зрения Правительству следовало бы просто распустить Думу и не очень торопиться новыми выборами, но, если прочие министры и в особенности Председатель Совета готовы удовольствоваться предложенным Министром Торговли мягким исходом, то они готовы не вносить никакого дополнения в это решение.

Я исполнил это на следующий день. Государь отнесся к этому довольно безразлично, сказал, что Он находит вообще что Министрам не следует бывать много в Думе, но на мой вопрос, допускает ли Он вообще возможность пройти без внимания этот эпизод, ответил решительно:

«Разумеется нет, ведь иначе завтра так же безнаказанно Вас могут и ударить».

Решение Совета очень быстро разнеслось по городу.

Опять приехал ко мне Родзянко и передал мне, что Совет старейшин против его выступления с осуждением выходки Маркова, и что он просто не знает как быть.

Приехали ко мне еще два члена Думы Шубинский и Н. Н. Львов. Меня нисколько не удивило заявление Шубинского о том, что он вполне понимает Правительство и считает необходимым уговорить Родзянко встать на мою точку зрения. Он вообще всегда искал сближения с Правительством, часто посещая Щегловитова, и считался «правительственным» человеком. Иной был Львов. Весьма корректный во всех своих выступлениях, он принадлежал к оппозиции, выступал в Думе не часто, но всегда, против Правительства, — и весьма часто, в очень резких тонах по существу, при совершенно приличной, и сдержанной форме. Со мною он не поддерживал никаких отношений и даже никогда не имел со мною прямых сношений.

Он явился ко мне на дачу по своему личному побуждению, как он сказал мне, входя в кабинет, и для того только, чтоб узнать из первоисточника все подробности столкновения Правительства с Думой и выяснить себе чего держаться в данном случае. Я рассказал ему все до мельчайшей подробности. Он слушал меня молчаливо до самого конца, и когда я кончил, то сказал мне:

«Теперь мне ясно, что мы не правы, и что Правительство на этот раз гораздо более право, чем мы. Родзянко передал мне Ваше предложение в совершенно извращенном виде, сказал, что Вы требуете извинения Думы, что Вы грозили роспуском Думы, и что не идете ни на какие уступки. Теперь я вижу, что все это не так, что правы Вы, а не мы, и нам следует уладить этот инцидент».

Но и из его попытки ничего не вышло. Ни Родзянко, никто из членов Думы не решился сделать этого простого шага, и Дума разошлась на каникулы около 15-го июня без того, что кто-либо из Министров появился в ней почти в течение двух с половиною недель. Печать вся без разбора отнеслась очень резко к решению Правительства. Не только «Речь», но и «Новое Время» признали это решение неправильным, находя, что Правительство не имело права заниматься обструкцией, и никто просто не желал вникнуть в то, что уклонение от предложенного примирительного шага принадлежало не Правительству, а Думе.

Впрочем, нужно заметить, что, к сожалению, как это ни странно — из среды самого Правительства стали появляться намеки на то, что это дело личного каприза Председателя Совета, и такие намеки исходили ни от кого иного, как от Щегловитова.

{168} Это не помешало, однако, тому же Министру Юстиции, когда я осенью задержался заграницей, и Дума собралась до моего возвращения, — начать непосредственные переговоры с партией националистов и склонить Родзянко к тому, чтобы при начале новой сессии он сделал именно то заявление, которое я ему предлагал еще в мае, и весь инцидент оказался улаженным перед началом новой сессии.

Друзья покойного Ивана Григорьевича, не замедлили приписать его искусству это благополучное решение, и он бесспорно приложил к этому известное старание, т. к. к этому времени над моей головой сгустились уже тучи, ликвидация моя близилась к своему разрешению, и минута казалась ему благоприятной, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на мое место, к чему он давно стремился.

Записывая теперь, спустя мною лет, то, что было на моих глазах, я не могу и теперь не отметить того, что Романовские торжества прошли как-то бледно, несмотря на торжественность внешней обстановки.

Я упомянул уже, что для переездов меня приютил к себе на пароходе и в железнодорожных поездах и на автомобиле Покойный Министр Путей Сообщения Рухлов, оставивший на эту пору, ту отчужденность в наших взаимных отношениях, которая сменила собою былую тесную дружбу наших молодых годов и безоблачной поры нашей совместной службы в Главном Тюремном Управлении и Государственной Канцелярии с 1879-го по 1895 год. Без его помощи я просто не смог бы следовать за Государем — таково было отношение Дворцового ведомства к Председателю Совета Министров, приглашенному Государем сопровождать Его в этом, по замыслу, историческом путешествии.

Не могу, впрочем, не оговориться, что такое отношение проявлено было не по отношению ко мне одному. Я уже упомянул в своем месте, что в 1911 году, при жизни Столыпина, когда Государь посетил в августе месяце Киев и должен был совершить на пароходе поездку по Десне в Чернигов, для Председателя Совета тоже не нашлось места на пароходах, сопровождавших Государя, и потребовалось не мало усилий, чтобы найти это место, и даже возникало предположение о том, что П. А. Столыпин продет в Чернигов на автомобиле и встретит Государя уже на месте. Судьба судила, однако, иначе, и Столыпин не выехал вовсе из Киева.

Первая остановка, была во Владимире, затем в Нижнем, **{169}** в Костроме, Ярославле, Суздале и Ростове, и везде у меня было одно впечатление — отсутствие настоящего энтузиазма и сравнительно небольшое скопление народа.

Помню хорошо, как в Нижнем Новгороде, когда мы с Рухловым ехали с вокзала в город в царском кортеже, мы оба думали одну и ту же думу и выразили ее одним общим впечатлением — очень тусклого и слабого проявления скорее любопытства, нежели истинного подъема в настроении народной толпы.

Еще более слабое впечатление осталось у меня от поездки по Волге от Нижнего вверх до Костромы. Дул холодный резкий ветер. Государь совсем не выходил на палубу, и народ его не видел; в местах, где была приготовлена, остановка с красиво убранным сходом с берега на воду — небольшие группы крестьян видимо ждали выхода Государя, да так и не дождались, потому что и Его и наш пароход безостановочно шли весь день, остановившись только на ночлег, не дойдя до Костромы. Словом, и тут не было народного подъема, и все, было красиво, но как-то пусто.

Большое впечатление произвела только Кострома. Государь и его семья были окружены сплошной толпой парода, слышались неподдельные выражения радости и, как будто с вернувшимся теплом, растаяла и сама толпа.

Тут же нужно отметить, что при посещении одной из церквей в ней оказался Распутин. Когда все вышли из церкви — его фигура была замечена, многими, и ко мне подошел Генерал Джунковский и обратил мое внимание на его присутствие среди немногих имевших доступ в церковь. Мне пришлось ответить ему, что я удивляюсь каким образом ему, как Товарищу Министра Внутренних Дел и Командиру Корпуса Жандармов, могло быть неизвестно присутствие здесь «старца» и получил в ответ:

«Я ничем не распоряжаюсь и решительно не знаю кто и как получает доступ в места пребывания Царской Семьи»; мне осталось только добавить ему: «так недалеко и до Багрова».

Не отмечу я ничем не выдающееся и пребывание Государя в Москве. Обычно для Москвы, поражающие своим великолепием и красотой царские выходы, на этот раз еще увеличенные выходом на Красную площадь и возвращением в Кремль через Спасские Ворота, отличались на этот раз изумительным порядком и далеко не обычным скоплением народа, заполнившим буквально всю площадь. Одно было только печально — **{170}** это присутствие Наследника все время на руках Лейб-Казака. Мы все привыкли к этому, но я хорошо помню, как, против. самого памятника Минину и Пожарскому, во время минутного замедления в шествии, до меня ясно долетели громкие возгласы скорби, при виде бедного мальчика. Без преувеличения можно сказать, что толпа чувствовала, что-то глубоко тяжелое в этом беспомощном состоянии единственного сына Государя.

Среди праздничной суеты мне приходилось поминутно сталкиваться с озабоченным видом Сазонова, которого не оставляли в покое Балканские События. Тогда еще не были разрешены все трения между государствами, направленные на предотвращение Мирового пожара. Каждый день приносил нервные вести о неразрешавшемся кризисе. Турецкий вопрос отошел на второй план, и первое место занимала в ту пору Сербо-Болгарская распря.

Приходилось почти ежедневно задумываться над грозными событиями, и проживая в одном доме с Министром Иностранных Дел — в доме Генерал-Губернатора на Тверской,— мы постоянно делились с ним мыслями и впечатлениями, и не было ни одной важной депеши, которую бы посылал или получал Сазонов без того, чтобы не посоветоваться со мною.

Государя я видел близко во время нашего пребывания в Москве всего два раза, и оба раза Он говорил мне, что Ему особенно отрадно знать, что все существенное проходит через мои руки, и что Он с уверенностью может сказать, что наша точка зрения все более и более встречает общее сочувствие, и что нам удастся предотвратить Европейский пожар.

Оказалось, что в это самое время Государь снова говорил Сазонову, что Он напрасно не настоял в прошедшем году на назначении меня послом в Берлин, но видит теперь, что уже поздно возобновлять этот вопрос. Сазонов продолжал, как мне передавали, хвалить Свербеева и говорить, что он прекрасно осведомляет его обо всем, что происходит в Берлине, и завоевывает себе прочное положение.

Скоро мне пришлось убедиться в том, насколько этот оптимизм был далек от истины.

Праздничные дни пролетели быстро, не оставив после себя заметного следа. Внешне все было, конечно, и чинно и торжественно, но, по существу, у меня осталось какое-то чувство пустоты. Не то вообще было мало действительного подъема, не то в самом мне был сознательный страх за близкое будущее, и повседневные заботы о том, что готовит нам наступающий день **{171}** и как удастся предотвратить мировую катастрофу, поглощала все мое внимание.

Во всяком случае, и теперь я вполне ясно припоминаю, что среди праздничной суеты я был каким-то случайным гостем, душа которого была все время далеко от беззаботной смены красивых внешних

впечатлений. Без преувеличения я могу сказать, что кроме меня только Сазонов был также поглощен тревогами данной минуты, а вся блестящая, разношерстная толпа жила просто сменою внешних впечатлений, мало отдавая себе отчет в том, что совершалось далеко за нашим рубежом, и не вдумывалась вовсе в смысл мировых событий. К чести Сазонова я должен сказать, что он жил под тем же гнетом незримых для толпы событий и хорошо понимал, что на нем лежит главный долг предотвратить все, что только могло дать этим событиям роковой для России и для всего мира оборот.

Своим наружным спокойствием он внушал всем окружавшим его какую-то слепую уверенность в том, что никакой опасности для нас в сущности и нет, и что мы можем быть вполне спокойны за наше положение.

Государь, за все это время, сохранял обычное спокойствие и самообладание. При встречах со мною Он просто обменивался короткими замечаниями, и все они носили, неизменно, характер глубокой н ясной уверенности в том, что мы выйдем благополучно из грозного кризиса, и сохраним все наше достоинство и наше историческое положение на ближнем Востоке. Раз Он сказал мне также мельком и о том, что верит в искреннее желание Императора Вильгельма не допустить до развития общеевропейского пожара и убежден в том, что Его влияние на Австрию будет и действительное и умиротворяющее.

Вопреки сильно распространенному мнению о том, что Государь просто был глубоко равнодушен ко всем окружавшим Его грозным событиям и не понимал их, я вполне убежден в том, что Он лучше многих понимал их, давал себе ясный отчет о их силе и значении, но был также убежден и в том, что с нашей стороны делается все, что только доступно нашим силам, и что мы стоим на правильном пути.

Его кажущееся внешнее спокойствие было потому отнюдь не проявлением Его равнодушия или непонимания обстановки, а только той исключительной внешней выдержки, под которой скрывалось, подчас, глубокое волнение.

Я убежден, что даже большинство из нас, стоявших близко к Государю, все же не знали Его сложной души и не представляли себе, что именно переживал Он в частые **{172}** минуты глубокого и скрытого от всех нас раздумья. Конечно, не малую роль играли во внешнем проявлении Его отношения к окружающим событиям и та черта Его характера, которую принято называть оптимизмом. Была ли эта черта присуща его характеру по Его природе, или была она выработана Государем под влиянием Императрицы, я этого не знаю, но следует всегда помнить, что не только в эту пору, но даже гораздо позже, когда события приняли грозный оборот, и война разразилась над всем миром, и даже еще позже, когда мы стали нести грозные поражения, вера в великое будущее России никогда не оставляла Государя и служила для Него как бы путеводную звездою в оценке окружавших Его событий дня.

Он верил в то, что Он ведет Россию к светлому будущему, что все ниспосылаемые судьбою испытания и невзгоды мимолетны и, во всяком случае, преходящи, и что даже, если лично Ему суждено перенести самые большие трудности, то тем ярче и безоблачнее будет царствование Его нежно любимого сына.

Я убежден, что до самой минуты Своего отречения эта вера не оставляла Его, и тем с большею уверенностью я говорю, что в данную

минуту Романовских торжеств Государь спокойно, но вполне сознательно учитывал политические события без всякой тревоги за их развитие и благополучный конец. В этом Его настроении укрепляло Государя и отношение С. Д. Сазонова — всегда ровное, очерчивающее события правдиво, без всяких прикрас, с легким оттенком иронии, всегда нравившейся Государю, и внушавшее уверенность в то, что все обойдется.

После закрытия сессии Государственной Думы мне пришлось отдать много времени и забот делам железнодорожного строительства. Еще до роспуска. Думы, в Петербург приехал синдик корпорации парижских маклеров г. де Варнейль, игравший и ту пору большую роль на бирже и употреблявший свое влияние далеко не всегда на пользу русского кредита, несмотря на постоянное заявление им противного.

В это время, невзирая на мои крупные и резкие разногласия с покойным С. В. Рухловым на почве частного строительства, последнее стало развиваться чрезвычайно быстро. Старые большие Общества добивались и добились, при моем содействии и против настойчивой оппозиции С. В. Рухлова, продления сроков их концессий и разрешения постройки ими новых линий значительного протяжения. Целый ряд мелких новых железнодорожных **{173}** Обществ образовался за короткое время, благодаря исключительной поддержки Министерства Путей Сообщения, которое думало, по совершенно непонятным для меня основаниям, создать в их лице какой-то противовес старым, большим обществам находившимся, однако, в полной зависимости от государственной власти, и настаивало передо мною о разрешении всех дел об образовании этих обществ в самом спешном порядке.

Соискателями на концессии являлись большею частью люди не только без всяких личных средств, но и без всякого делового имени и без малейшего кредита. Я боролся против этого вредного явления всеми доступными мне способами, доказывал Сергею Васильевичу всю вредность такой системы, при которой соискатели концессии, получивши устав, начинали обегать все Банки н продавать свои концессии, потому что сами не имели никакой возможности осуществить их и таким способом только дискредитировали русское дело и портили наш кредит.

Мои настояния оставались, большею частью, бесплодны. Против меня неизменно выдвигался один и тот же аргумент моего особенного покровительства крупным железнодорожным обществам.

Министра Путей Сообщения неизменно поддерживали все Министры так называемого правого крыла: Щегловитов, Маклаков, Кассо, Сухомлинов; к ним же потом всегда присоединялся и Кривошеин, и мне не оставалось другого выхода, как уступать, потому что делать на каждом шагу разногласия и доводить их до Государя было очевидно бесцельно.

Таким образом, к началу 1913 года, скопилось большое количество выданных концессий; поместить их облигации на внутреннем рынке не было никакой возможности, и в Париже, Лондоне, Берлине и Брюсселе появилась целая стая Аргонавтов новейшей формации — в поисках за помещением на этих рынках новых русских облигаций. Результат явился конечно тот, которого и следовало ожидать. Крупные заграничные Банки, не зная этих соискателей, просто не входили с ними ни в какие отношения, да они и не могли предлагать публике подписываться на сравнительно мелкие суммы — в 20—30 миллионов франков, в виде

облигаций таких мелких железных дорог, названия которых публика не могла даже произнести и, во всяком случае, не могла найти на карте местностей, обслуживаемых этими дорогами. Она должно было доверять просто гарантии русского правительства.

Предпринимателям не оставалось ничего другого, как **{174}** обратиться к мелким банкирским фирмам, а те не будучи вовсе заинтересованы в положении русского кредита и нимало не заботясь об интересах своих клиентов или о пертурбации на денежном рынке вообще, — думали только о том, как совершить данную сделку и опустить облигации в публику подешевле, положивши в карман более или менее приличную комиссию.

Концессионеры, также ни мало не думая о том, что ни один уважающей себя русский Министр Финансов не утвердит сделки, явно невыгодной для государственного кредита, привозили в Петербург свои предварительные договоры и совершенно наивно недоумевали каким образом несговорчивый Министр вместо того, чтобы благодарить их за их блестящую финансовую операцию, отвечает им категорическим отказом утвердить результаты их гениальных усилий. Отсюда новая легенда о пристрастии моем к большим железнодорожным компаниям и новые жалобы Министру Путей Сообщения, как защитнику «малых сих», новые неприятные разговоры в Совете Министров и новые попытки повлиять на меня через посредство новой формации ходатаев по делам сомнительного свойства, какими являлись, с некоторого времени, отдельные члены Государственной Думы и даже Государственного Совета, правда немногие.

Как бы мелка ни была отдельная концессия, как ни была явна недопустимость тех финансовых условий, на которых предлагалась реализация акционерного и в особенности облигационного капитала, всегда находились охотники оказывать их покровительство «угнетаемым» мною новым концессионерам. Последствием этих событий естественным образом явилось новое неудовольствие на меня, нежное отношение к Министру Путей Сообщения, как покровителю молодых и слабых концессионеров, и, что всею прискорбнее, — накоплено выданных, но не осуществленных концессий.

Меня уговаривали многие из близких мне людей изменить мое резкое отношение к делу и дать мое утверждение некоторым невыгодным сделкам, переложивши моральную ответственность на Министерство Путей сообщения, но я не мог этого сделать, т. к. действительная ответственность оставалась бы, во всяком случае, на мне, и ее отражение было бы особенно гибельно не столько на непосредственных результатах нового железнодорожного строительства, сколько на общем положении русского государственного кредита.

На эту сторону дела никто в Совете Министров не обращал ни малейшего внимания: одни просто не понимали или не хотели понимать в этом **{175}** вопросе его сущность, другие, как например Тимашев или Харитонов, прекрасно понимали, но не хотели выступить резко на защиту моей точки зрения, третьи, как Кривошеин, Щегловитов и в особенности Рухлов, имели свою теорию бумажно-денежного обращения и убежденно считали меня вредным охранителем золотого обращения и осторожных выпусков кредитных билетов.

При описываемых условиях приезд в Петербург г. де Вернейля оказался как не могло быть боле кстати. Резкий по внешней форме, своих объяснений, необычайно самоуверенный и придающий себе и своему

влиянию на Парижском денежном рынке гораздо большее значение, нежели он имел на самом деле, де Вернейл заявил мне, что Парижский рынок совершенно дезорганизован постоянными появлениями целого ряда русских предпринимателей, которых никто в Париж не знает и которые оббивают, в буквальном смысле слова, пороги, преимущественно, самых мелких банков, предлагая самые фантастические условия, лишь бы заручиться помещением своих облигаций н уверяют направо и налево, что согласие Министра Финансов на эти невероятные условия обеспечено.

Цель его приезда и заключалась поэтому в том, чтобы узнать:

1) действительно ли я согласен идти на столь невыгодные для России условия, во имя ускорения постройки целого ряда железнодорожных линий, пренебрегая, в то же время, расстройством всего рынка русских бумаг;

2) разъяснить мне тот огромный вред, который наносит России такая политика финансирования железнодорожного строительства и

3) передать мне, что он уполномочен своим Министром Финансов вести со мною переговоры об изменении общих условий реализации, на французском рынке, русских железнодорожных ценностей.

Я не получил ни непосредственно от Министра Финансов, Шарля Дюмона, которого я к тому же лично до того и не знал, ни через Французского посла Делькассе, с которым я поддерживал самые добрые и близкие отношения, никаких указаний об официальном характере миссии де Вернейля и имел все поводы сомневаться в этом, зная насколько недолюбливали его представители крупных Банков, всегда пользовавшиеся огромным влиянием в Министерстве.

Я имел поэтому значительные основания сомневаться в характере заявленных мне полномочий, но оказалось, по сделанному мною запросу, что Правительство действительно уполномочило де Вернейля говорить со мною и даже ожидает от **{176}** меня письменного уведомления о результате наших переговоров. Меня не мало удивило, что само Министерство Финансов не сочло нужным предварить меня об этой миссии де Вернейля. Тем не менее мне пришлось по необходимости, вести эти переговоры и, в результате их после отклонения мною целого ряда предложенных Вернейлем совершенно неприемлемых комбинаций, явилась новая схема финансирования железнодорожного строительства, предложенная мною. За нее на меня обрушились сначала жестокие нападки в Государственной Думе, а затем ее усвоил тотчас же мой преемник Барк, который получил, правда, совершенно подготовленную операцию, но заявил себя солидарным с нею. И та же Дума открыто признала ее весьма удачно разрешившей эту сложную задачу.

Эта система заключалась в совершенном отстранении концессионеров от ведения переговоров с финансистами, в возложении этой обязанности исключительно на Министра Финансов и в соединении целого ряда небольших железнодорожных выпусков облигаций в один, так называемый, объединенный заем, разделенный на секции, соответственно отдельным железнодорожным предприятиям.

Этим разом достигалось несколько целей: 1) отстранились неумелые посредники от ведения переговоров с финансовыми кругами, 2) Все дело передавалось в руки ответственного Министра и устранялось всякое сомнение в том, что выработанные соглашения могут быть впоследствии не утверждены и 3) с международного рынка снималась, постоянно давившая на него, неизвестность, что вскоре после заключения одной

операции, вновь появятся другие, которые внесут новую неустойчивость в биржевой оборот.

Немалое влияние на мои переговоры с де Вернейлем и на приятие выработанной мною схемы нашим Советом Министров имело и то, что я познакомил с Вернейлем Государственного Контролера Харитонова. Умный, схватывающий на лету всякий вопрос, понимавший и прежде, что мы вели просто глупую политику, покойный Харитонов, после беседы с Вернейлем, приехал ко мне и со своими обычными шутками сказал мне: «ну, довольно мы забавлялись с Министром Путей Сообщения, покровительствуя грудным младенцам, пора, взяться за ум и перейти с Никольского рынка (намек на всякую концессионную мелкоту) на разговор с приличными людьми».

Я просил его повлиять на Министра Путей Сообщения, с **{177}** которым его связывали близкие отношения, в том, чтобы он не совал мне, обычных для него, палок в колеса, при внесении мною вопроса в Совет Министров, и на другой же дань Харитонов приехал ко мне и сказал, что С. В. Рухлов и сам хорошо понимает теперь, что его система привела только к скандалу, что и ему стало известно, что покровительствуемые им лица стали открыто заниматься перепродажей своих концессий и, в сущности, не могли провести толком ни одного дела и дали мне, действительно, в руки большое оружие против него, и что он готов открыто сознаться в своей ошибке, лишь бы я не очень резко ставил этот вопрос в Совете. Для меня это заявление было крайне ценно.

Я не хотел вносить в Совет определенного письменного доклада, т. к. у меня не было в руках твердого предложения, окончательно принятого уже французскими финансовыми кругами, и я сделал Совету в предположительной форме словесный доклад, решительно поддержанный на этот раз не только Харитоновым и Рухловым, но даже вызвавший открытую поддержку со стороны Кривошеина, который был, впрочем, «ознакомлен мною, в частной беседе, с возникшим новым способом финансирования частного железнодорожного строительства.

На ближайшем же моем всеподданнейшем докладе, я представил весь вопрос уже в виде письменной схемы также на предварительное одобрение Государя, получил от Него полномочие начать открытые переговоры с Парижем и, если я найду полезным, то поехать для этого туда, при первой возможности.

Поездку свою я наметил не ранее осени, а тем временем, вошел в сношение с Министром Иностранных Дел, прося его предварить об этой новой комбинации Французское правительство, через нашего Посла; Извольского. Сам я сделал то же самое через Рафаловича, уполномочив ею ознакомить с этим проектом русскую группу банкиров.

После долгого времени я видел в этом деле первую крупную финансовую удачу, и мне казалось, что мне удастся поставить наше новое железнодорожное строительство на твердое основание и дать ему правильное и устойчивое направление, свободное от всяких случайностей и подчиненное определенному финансовому плану.

Вскоре после благополучного направления этого вопроса, произошло событие, достойное быть отмеченным особо.

{178} В Петербург приехал для обычней, ежегодной встречи с нашим Начальником Генерального Штаба (такая ежегодная встреча поочередно в Париже и в Петербурге, была предусмотрена военною конвенциею, заключенною между нами и Францией) Начальник Французского Генерального Штаба, впоследствии Главнокомандующий Французскою

Армиею в начале войны Генерал Жоффр.

О его приезде Военный Министр, конечно, меня не предупредил, полагая, вероятно, что мне, как гражданскому человеку, нет никакого дела до этого, чисто военного вопроса. Печать также не оповестила об этом приезде, и я узнал об этом только тогда, когда из Французского посольства прислали спросить меня в какой день и час я приму Генерала Жоффра. Я жил в это время, как и всегда летом, на даче, на Елагином Острове.

В один (поистине прекрасный июльский день, — он был исключительно жаркий — к моему подъезду подъехал целый поезд из нескольких автомобилей и парных колясок, и в моей довольно тесной гостиной скопилось большое общество: Генерала Жоффра сопровождало счетом 16 человек его свиты, состоявшей из французских офицеров и из наших офицеров Генерального Штаба. В числе последних не было вовсе высших чинов Штаба, с которыми мне приходилось ранее встречаться в каких бы то ни было заседаниях. Я знал среди них только одного — Генерала Воронина, нашего бывшего военного агента в Австрии.

Едва все успели разместиться и обменятся обычными приветствиями, как Генерал Жоффр обратился ко мне со следующими словами: «Я приехал к Вам, господин Председатель, с просьбою оказать нам Вашу помощь в деле развития русской железнодорожной сети, т. к. от этого зависит теперь вся подготовка наших общих военных сил. Вы знаете в каких тревожных условиях живет теперь весь мир, и французское правительство очень надеется на Вашу помощь и, со своей стороны, готово идти широко навстречу Ваших желаний».

Поблагодарив Генерала за его добрые слова и объяснив ему, что все дело нашего железнодорожного строительства зависит исключительно от возможности скорой реализации капиталов для этой цели, и объяснив ему, что такие капиталы мы может найти только во Франции, я сказал Генералу Жоффру, что этот вопрос требует более широкого обсуждения, и спросил его не хочет ли он посвятить ему более обстоятельную и **{179}** отдельную беседу, назначивши мне для этого отдельное свидание, к которому я подготовил бы необходимые материалы.

Тоном величайшего добродушия, обращаясь ко всем своим русским и французским спутникам, Генерал Жоффр сказал мне буквально следующее:

«Я думаю, что все мы, собравшееся здесь, настолько заинтересованы этим вопросом, что можем обменяться нашими взглядами, теперь же, тем более, что я пробуду здесь очень короткое «время и мне не так легко найти свободную минуту для отдельной беседы».

Мне пришлось, таким образом, вести разговор с Жоффром в присутствии всей его русской и французской свиты, и мне крайне жаль, что, кроме Генерала Воронина, я не могу указать поименно, кто был свидетелем моих объяснений.

Я развил подробно, в каком положении находится в настоящую минуту, как казенное, так и частное железнодорожное строительство, какие средства отпущены на это по бюджету, сколько отдельных предприятий разрешено, какие требуются на это средства, в какой срок все разрешенные к постройке дороги будут выстроены, и предложил Генералу снабдить его подробною письменною справкою, с приложением карты, на которой все дороги будут отмечены, и которая может быть

вообще полезна Французскому Генеральному Штабу для его соображений об условиях русской мобилизации. Мне показалось, что мое сообщение не очень интересовало Генерала, т. к. на последнее мое предложение он реагировал неожиданным ответом:
«О! Не трудитесь исполнять такую большую работу, я полагаю, что в нашем Штабе имеются все эти сведения, по крайней мере, мои офицеры постоянно следят за всеми переменами в русской рельсовой сети». Из среды его французских спутников раздались возгласы: «Конечно»... Я не считал себя в праве далее настаивать на моем предложении и сказал только, обращаясь к французским офицерам, что если кому-либо из них угодно будет ближе изучить дело, то я предоставлю им все необходимые данные. Присутствующие ответили мне общим поклоном.

Я попросил тогда разрешения Генерала Жоффра коснуться более общего вопроса о положении у нас дела государственной обороны. Оговорившись, что по моему мнению, между союзниками не может быть никакой недоговоренности и еще более того не может быть речи о том, чтобы один союзник не знал истинного положения вещей у другого, я начал мое изложение **{180}** с того, что выразил уверенность, что во Франции, как и у нас, вероятно Военный Министр никогда не бывает доволен Министром Финансов и часто даже считает его своим врагом за то, что он не достаточно широко идет навстречу требованиям Военного ведомства.

Мое заявление внесло веселую нотку в нашу беседу, и не только Генерал Жоффр, но и многие из его спутников обрадовались моим словам и поспешили заявить, что у них происходят постоянные споры с Министром Финансов, и что они часто в своих беседах говорят с завистью о положении русского Военного Министра, который всегда может заставить Министра Финансов быть уступчивее перед требованиями своею Военного коллеги.

Я подтвердил правильность их мысли, покинул на минуту гостиную, в которой мы все сидели, поднялся наверх в мой кабинет и принес всегда лежавшую у меня под рукою ведомость о состоянии кредитов Военного ведомства и о неиспользованных остатках от ассигнованных сумм. Нужно было видеть с каким напряженным вниманием следили французские офицеры за моим изложением, и когда я сообщил, что в данную минуту у Военного Министра имеется на лицо свыше 200.000.000 рублей, т. е. 500 миллионов франков неиспользованных кредитов, то удивлению французов не было предела.

Лично Жоффр совершенно спокойно реагировал на мои объяснения, но из его спутников многие, наперерыв, просили меня объяснить им, причину такого непонятного для них явления, т. к. они ни мало не скрывают того, что во Франции замечается обратное явление: расходы часто производятся вперед ранее открытия кредитов Палатами, и из-за этого происходит немало парламентских инцидентов и требуется немало усилий и ловкости (souplesse) для того, чтобы сглаживать их остроту.

Мне пришлось войти в очень детальные объяснения. Не вынося сора из избы, я сказал, что наши Палаты относятся чрезвычайно сочувственно к нуждам обороны, никогда, не отказывают Военному Министру в его требованиях и этим зачастую парализуют совершенно естественные стремления Министра Финансов к сокращению испрашиваемых кредитов, в особенности когда он видит, что и отпущенные ранее суммы, на те же потребности, не издержаны по их

назначению. Этот последний результат происходит, главным образом, оттого, что у нас, в противоположность Франции, отпуск кредитов значительно опережает исполнительные действия, которые отличаются у нас большою медленностью, недостаточною разработанностью **{181}** деталей, частыми изменениями распоряжений и вообще не достаточною подготовленностью всего исполнительного аппарата.

В заключение моих объяснений я просил Генерала Жоффра не думать, что у нас все зависит в деле обороны от доброго расположения Министра Финансов. Я заверил его, что я более, нежели кто либо, готов идти навстречу развитию армии и усовершенствованию защиты страны и просил его, в заключение нашей беседы, ближе ознакомиться, во время пребывания его у нас, с действительным положением всего дела и просить Военного Министра не только показать ему план всякого рода заказов и заготовлений, но, в особенности, их выполнение на самом деле. В частности я просил его обратить исключительное внимание на вопрос о заказе тяжелой артиллерии, в котором я видел особое расхождение между тем, что нам нужно, и тем, что мы имеем в действительности.

Помню хорошо, что я закончил нашу чрезмерно затянувшуюся беседу следующим обращением моим к Генералу Жоффру:

«Я хорошо знаю нашу взаимную военную конвенцию, знаю, что Вы приехали для проверки того, что у нас сделано, знаю, что Вам будет показано не мало интересных вещей из жизни отдельных воинских частей, но усердно прошу отдать все Ваше внимание изучению нашей работы по действительному усилению обороны и не покидать нас ранее, нежели Вы сами и Ваши сотрудники не будете знать в точности, что нам нужно, что у нас есть не на бумаге, а на самом деле, и чего у нам недостает, а также и когда именно мы пополняем все наши недостатки.

Говоря с Вами таким образом, я хочу честно служить нашему союзу, моему Государю и моей родине».

Не знаю, произвели ли мои слова какое-либо впечатление на Жоффра. Он меня усиленно благодарил; французские офицеры все время обменивались между собою сочувственными взглядами, но во все пребывание в Петербурге этой миссии никто более со мною не обменялся ни одним словом, да и с Генералом Жоффром я виделся потом всего один раз, за. обедом у Французского посла, и он не возвращался более к предмету вашей первой и единственной беседы.

Через неделю после описанного на всеподданнейшем моем докладе я передал о моей встрече с Жоффром Государю и довел до Его сведения, со всею подробностью, обо всем, что я сказал Жоффру. Государь ни разу меня не остановил, и **{182}** когда я кончил, сказал мне совершению спокойно: «Военный Министр передал Мне уже обо всем», а на мое замечание, что вероятно и тут я в чем-либо поступил неправильно, по мнению Генерала Сухомлинова, Государь сказал:

«Разумеется, Вы нажаловались французскому Генералу на русского Военного Министра и искали поддержки Ваших взглядов, забывая, что сор не следует выносить из избы, но Я такого взгляда совершенно не разделяю, что и оказал прямо Владимиру Александровичу, и нахожу, что перед союзниками мы не имеем права скрывать нашей неготовности. Они скорее могут помочь нам и, во всяком случае, следует быть добросовестным и не бояться открывать своих недочетов; хуже будет, если мы скажем, что у нас все в порядке, а потом, в грозную минуту, не дадим того, что обещали».

Мне осталось только сказать, что я руководствовался именно

этими мыслями и считал себя в праве изложить их как в присутствии наших, так и французских офицеров, хотя и знал заранее, что моим словам будет придан недобрый смысл.

Было ли это так на самом деле или и тут Государь не хотел только говорить мне неприятные вещи, а в душе разделял взгляд Сухомлинова — кто может это теперь сказать? Но одно еще достойно быть отмеченным, что во время этого посещения Жоффра и после моей беседы с ним, как потом выяснилось уже в Париже, Генералы Жоффр и Жилинский, наш Начальник Генерального Штаба, имели между собою подробное объяснение по вопросу о постройке целого ряда стратегических железных дорог, составили какой-то схематический план, который Сухомлинов возил в конце августа в Ливадию, получил одобрение его Государем, но об этом не знал решительно ничего ни я, ни Министры Иностранных Дел и Путей Сообщения, несмотря на то, что последний видел Государя вскоре после проезда Сухомлинова, а я не только провел в Ливадии четыре дня, в половине сентября, но даже выехал оттуда прямо заграницу и испросил совершенно определенные указания Государя именно по вопросу о переговорах о займе для постройки железных дорог.

Об этом плане я узнал уже после, в бытность мою в Париже. С отъездом Генерала Жоффра мои сношения с Парижем приняли особенно оживленный характер. Французское правительство в точности выполнило свое обещание, указавши наиболее крупным Банкам так называемой русской группы **{183}** (Лионский Кредит, Парижско-Нидерландский Банк, Национальная Контора, Генеральное Общество и Банкирский Дом Готтингера), что оно желает скорейшего завершения переговоров со мною о выработке нового типа железнодорожного займа, и мои письменные сношения, веданные, как и раньше, через председателя Парижско-Нидерландского Банка Г. Нетцлина, сразу приняли очень успешный характер.

Не малую поддержку в них оказал мне де Вернейль, но справедливость заставляет упомянуть и о двукратной поездке в Париж покойного, погибшего от руки большевиков В. Ф. Трепова, который хотя и преследовал свои личные цели, но успел во многом подготовить банковские круги к моей близкой поездке в Париж. Он добивался получения концессии на сооружение Южно-Сибирской ж. дороги, и я обещал ему мою поддержку, преимущественно перед другими конкурентами, при равных условиях, а также согласие мое на включение этой дороги в первую очередь, если только мне удастся заключить во Франции заем на сумму не менее — 250.000.000 рублей в год и притом с предрешением этой суммы на 5 лет.

Таким образом, этот первый объединенный железнодорожный заем должен был быть заключен на общую сумму в один миллиард 250 миллионов рублей или почти три с половиною миллиарда франков, сумма, по тому времени, поистине исключительно большая. Операция эта мне вполне удалась; летние переговоры на письме настолько подготовили почву, что в мою осеннюю поездку, о которой речь впереди, осталось только оформить достигнутое соглашение и закончить это большое дело, которое должно было поставить на твердое основание все наше частное железнодорожное строительство.

Заем был заключен в январе 1914 года перед самым моим увольнением. Его успехом воспользовался мой преемник по Министерству — П. Л. Барк, но затем наступила война, и все это, так

бережно построенное, здание, рухнуло безвозвратно под ударами той грозы, которая размела всю русскую Государственность.

{184}

ГЛАВА VII.

Поездка в шхеры, для доклада Государю. — Неудовольствие Императрицы Александры, Феодоровны за отказ удовлетворить поддержанное ею ходатайство лейтенанта Мочульского. — Инцидент вызванный возвращением в Петербург Шорниковой. — Поездка в Ялту для доклада Государю. — Резкие нападки на меня «Гражданина» кн. Мещерского. — Поездка за границу и вызванная заболеванием задержка в Италии. Пребывание в Париже. Заключение железнодорожного займа и подписание соглашения по железнодорожному вопросу.

Отдельно от упомянутых выше событий два эпизода, происшедшие в течение лета 1913-го года, заслуживают быть занесенными в мои заметки.

В конце июня Царская семья ухала в шхеры и проводила обычное время до начала маневров на рейде «Штандарт» и на ее любимой яхте «Штандарт». *(ШХЕРЫ (шведское, единственное число skar), небольшие, преимущественно скалистые острова около невысоких сложно расчлененных берегов северных морей и озер. Распространены в Финляндии, Швеции. Шхеры - совокупность островов и скал, как выдающихся над водою, так и подводных ("слепые шхеры" - blinde Skjaer), образующих более или менее широкий пояс вдоль некоторых высоких скалистых берегов. Названием Ш. обозначается также все пространство, занятое Ш. в тесном смысле слова, для которого в скандинавских языках имеются особые термины (skargard по-шведски, skjaergaard по-норвежски и датски). Ш. встречаютсяв холодном и умеренном поясе по Пешелю исключительно на широте более 40° в обоих полушариях. Часто и особенно сильно Ш. развиты вдоль берегов, изрезанных фиордами. У нас Ш. сильно развиты в Финляндии и довольно хорошо выражены в северо-западной части Белого моря.)*

Министры редко ездили туда с докладами, и Государь просто не любил, чтобы его уединенная жизнь там, среди семьи, посвящаемая рыбной ловле, редким съездам на берег и самым простым развлечениям в лесу, была прерываема приездами Министров с их обычными докладами. За все время моего управления Министерством Финансов с 1904-го и по 1914-ый год я только один раз, в 1912 году, был на «Штандарте». В этом году мне нельзя было дождаться возвращения Государя из шхер или ограничиться посылкою письменных докладов, так как свидание мое с Генералом Жоффром и, в особенности, переговоры с де Вернейлем требовали личного моего доклада.

Государь очень охотно согласился на мою просьбу и даже написал на моей записке, о разрешении мне явиться для личного доклада, — «Вам давно следовало посмотреть как хорошо и спокойно живем мы **{185}** на нашей любимой даче». Перед самым моим отъездом в шхеры ко мне приехал Флигель-Адъютант Нарышкин, служивший в Главной квартире, и, не заставши меня дома, оставил официальное письмо, в котором было сообщено мне повеление! Императрицы Александры Феодоровны о том, чтобы я лично доложил ей об удовлетворении всеподданнейшей просьбы Лейтенанта Гвардейского Экипажа Мочульского об уступке ему участка в 300 десятин из большого имения в 16.000 десятин земли в Болградском уезде Бессарабской губернии, которое Крестьянский Банк покупал в то

время от Румынского Правительства. Последнее, после наших домогательств в течение десятков лет, согласилось, наконец, продать землю за три миллиона рублей (8 мил. франков) и прекратить таким образом совершенно уродливое положение вещей, при котором греческий монастырь Св. Спиридония, находящийся в Румынии, владел огромною площадью земли в России, сдавая ее за бесценок в аренду разным бессарабским деятелям (в числе их были, между прочим, и некоторые члены Государственной Думы из фракции националистов, а они уже от себя сдавали ту же землю крестьянам, по значительно более высоким ценам.

Крестьяне все время добивались приобретения этой земли в собственность. Румынское правительство влияло на монастырь, чтобы он не соглашался на мелкие сделки с крестьянами, а заключение крупных сделок на имя больших товариществ было невозможно, за неимением у крестьян наличных денег, без чего монастырь не шел на соглашение. Заинтересованные в этом имении лица и с своей стороны не упускали случая, чтобы расстраивать и замедлять ход этого дела, и мне удалось только после продолжительных настояний вместе с Министерством Иностранных Дел достигнуть, наконец, соглашения Румынского правительства на передачу нам этого имения. Выработаны были условия осуществления этой сложной комбинации, составлен был план ликвидации имения через посредство Крестьянского Банка, заранее были изготовлены сделки с малоземельными крестьянами, давно жаждавшими покупки Банком этой земли, и все дело сулило и крестьянам и Банку огромные выгоды.

Что стало с этим делом, стоившем нам и лично мне немалого труда, — после того что я покинул Министерство Финансов, — я не знаю, но летом 1913 года оно было в полном ходу, и крепостные документы на переход имения в руки Крестьянского Банка были уже изготовлены, и ожидалось только завершения **{186}** второстепенных формальностей. Очевидно, что потом и из этого дела ничего не вышло, и до начала войны мы не успели его реализовать.

Письмо Нарышкина меня не удивило. Еще зимою 1912-1913 года, в один из них очередных докладов в Царском Селе, перед тем, что я вошел в кабинет Государя, Командир Сводного полка, Генерал Комаров, постоянно заходивший в приемную Государя перед приездом Министров, к которым у него всегда были всякие просьбы, встретил меня и предупредил, что на днях он представил Государю прошение матери Лейтенанта Мочульского, ходатайствующей о том, чтобы ей или ее сыну было уступлено из покупаемого Крестьянским Банком имения монастыря Св. Спиридония — 300 десятин земли, по цене, которую заплатит сам Банк. Комаров добавил, что Государь предполагал переговорить об этом прошении со мною. И действительно, по окончании моего доклада Государь передал мне это прошение и спросил можно ли его удовлетворить.

Зная хорошо это дело, я объяснил, что исполнить желание Г-жи Мочульской совершенно немыслимо, так как имение покупается Крестьянским Банком для распродажи всей земли исключительно крестьянам, причем число малоземельных крестьян, ожидающих продажи им этой земли, так велико, что только малая часть их может быть устроена, и продажа хотя бы одной десятины, иначе как крестьянам была бы просто незаконна и могла бы вызвать большие нарекания. Государь выслушал меня без всякого неудовольствия, поблагодарил за разъяснение

и, не передавая мне прошения, сказал что Он скажет кому следует, что просьба совершенно неисполнима. На этом все и кончилось, и больше ни разу Государь к этому вопросу не возвращался.

Из письма Нарышкина было ясно, что те же Мочульские не удовольствовались отказом, а нашли новый путь к Императрице, на этот раз, по-видимому» уже не через Комарова, так как я немедленно запросил последнего по телефону, каким образом возник снова, этот вопрос и получил уверение, что он об этом ничего на знает, но слышал только от того же Нарышкина, что Императрица будто бы, заинтересовалась просьбою Мочульского и обещала ему помочь. Когда я прибыл на Яхту «Штандарт» и кончил весь очередной мой доклад, я вынул письмо Нарышкина, прочитал его Государю, напомнив доклад мой по тому же вопросу зимою. На это Государь сказал мне, что хорошо припоминает это дело, и также ясно помнит, что такая просьба совершенно не законна и ее **{187}** исполнить нельзя. Государь прибавил, что Императрица чувствует себя сегодня значительно бодрее и, конечно, охотно примет меня.

«Вы разъясните Ей это дело, сказал Государь, также просто и убедительно, как разъяснили это Мне, и я уверен, что Ее Величество также поймет Вас, как Я, тем более, что вопрос до очевидности ясен». На замечание мое, что мне крайне обидно, что я вынужден доложить Ее Величеству о неисполнимости обращенной к ней просьбы и легко могу снова вызвать этим Ее неудовольствие, так как Государыня Императрица вообще относится ко мне с некоторых пор неблагосклонно, Государь ответил: «Ее Величество никогда не выражала Мне неудовольствия на Вас и, несомненно, поймет, что Вы не можете удовлетворять незаконных просьб. Если бы даже Мы исполнили просьбу очень хорошего офицера, которого Мы близко знаем, то за ним пошел бы целый ряд таких же просьб со стороны других, и Вы действительно встретились бы с очень трудным положением. Вы оберегаете Нас от несправедливости».

Императрица приняла меня на правой рубке «Штандарта». Она лежала на соломенной кушетке, покрытая теплым пледом несмотря на то, что день быль очень теплый и ярко солнечный. На вопрос мой о ее здоровье, Она ответила: «все также, как всегда», и не обратилась ко мне ни с каким вопросом. Тогда я сказал, что получил через Нарышкина приказание Ее доложить просьбу лейтенанта Мочулького, причем мне передано, что «Ваше Величество принимаете эту просьбу близко к сердцу и желали бы ее удовлетворить». Разговор шел как всегда по-французски. Императрица подтвердила, что Она действительно интересуется просьбою Мочульского и очень желает ее удовлетворить. «Это все — прибавила она — «что мы можем сделать для тех кто верно служит Нам и кого мы близко знаем».

Мне пришлось доложить весь вопрос с начала его возникновения и привести все аргументы в доказательство неисполнимости этой просьбы, которые я приводил Государю, и довести до сведения Императрицы, что все мною сказанное я доложил Государю, который вполне понял, что я, при всей моей горячей готовности исполнять угодное Ее Величеству, лишен всякой возможности сделать что-либо в пользу Мочульского. Императрица, слушала маня с видом трудно скрываемого неудовольствия, и когда я кончил, сказала мне более чем сухо: «Я была уверена, что на мое желание, Я получу только тот отказ, который Я от Вас слышу; Меня это нисколько не удивляет, ибо **{188}** я привыкла уже к тому, что Мои просьбы большею частью оказываются неисполнимыми». Я поспешил высказать, насколько мне больно слышать такие слова, и что

для меня было бы величайшею радостью идти навстречу желаниям Ея Величества.

Императрица ничего не ответила миге на это, наклонением головы дала понять, что продолжать разговора более не желает, и когда я встал и откланивался, с трудом и крайне неохотно протянула мне руку.

Это было в последний раз, что я видел близко Императрицу и разговаривал с нею. Во всех последующих случаях, когда мне привелось еще бывать вблизи Ее, Она ни разу не подошла ко мне, а во время двукратного моего посещения Ливадии осенью того же года, ни разу не вышла из внутренних комнат. Была ли это случайность, оправдываемая нездоровьем, или определенно Она не желала видеть меня, — об этом я не берусь судить, да и к чему.

По странной случайности, много лет спустя, уже в беженстве, в Париже, в начале 1924-го года, я встретился с лейтенантом Мочульским, который обратился ко мне за помощью, как и многие из соотечественников, попавших в эмиграции в жестокую нужду. Он просил помочь ему обзавестись костюмом для того, чтобы поступить метрдотелем в один из русских ресторанов Монмартра.

Я спросил его не тот ли он Мочульский, который домогался получить участок земли из румынского имения в 1912—1913-м году. Оказалось, что это тот самый. На вопрос, знает ли он, что из-за него я встретил неудовольствие Императрицы, оказалось, что он хорошо все знал и помнит все подробности, но дал себе уже гораздо позже ясный отчет в том, насколько его домогательство было неуместно, незаконно и даже неприлично для лейтенанта флота, но в ту пору он просто не понимал того, чего домогается, так как среди его товарищей было простое представление, что просить можно обо всем, и что Государь и Императрица могут разрешить решительно все, если только Они этого желают.

Он не захотел только назвать тех своих непосредственных начальников, с ведома и одобрения которых он заявил свое ходатайство, наивно предполагая, что если бы в его просьбе было что-либо незаконное, то на их обязанности лежало не допустить его до такого шага. Нельзя прочем отвергать, что по своему он был прав.

Второй эпизод, достойный упоминания, относится еще к событиям 1907-го года, связанным с процессом **{189}** социал-демократической группы второй Государственной Думы и преданием суду всей фракции, кроме тех ее членов, которые успели скрыться.

Июль 1913-го года, как и весь летний период после окончания работ Государственной Думы и Совета, отличался сравнительным затишьем. Министры стали постепенно разъезжаться, и в числе уехавших из Петербурга в половине или в конце этого месяца, был и М-р Юстиции Щегловитов, вообще редко выезжавший из Петербурга.

Прощаясь со мною в 20-х числах июля, он сказал мне, что думает провести около месяца в своем Черниговском имении, а затем хотел бы прожить недели две-три в имении его жены на Черноморском побережье.

Не прошло 10-ти дней с его отъезда, как — помню хорошо в субботу, во время моего обычного приема просителей и под самый его конец приехал ко мне Товарищ М-ра Внутренних Дел Генерал Джунковский и передал мне, что он крайне встревожен появлением в Петербурге некоей Шорниковой, привлекавшейся по процессу социал-

демократической фракции второй Государственной Думы, которая оставалась до сих пор не разысканной, как и некоторые другие обвиняемые, в числе которых был и наиболее видный представитель. фракции Озоль.

Из слов Генерала Джунковского мне было совершенно неясно, в чем заключается причина тревоги и почему смущено М-во Вн. Дел появлением этой обвиняемой, так как выделенное из общего дела обвинение о ней могло просто получить отдельное направление.

Не получая ясного ответа на мои недоумения, я просил согласия Г. Джунковского вызвать Директора Департамента Полиции Белецкого по телефону. Он немедленно приехал и после краткого его доклада в присутствии Генерала Джунковского все мое недоумение рассеялось. Оказалась, что Шорникова играла в процессе социал-демократической фракции выдающуюся роль: она была Секретарем военной секции этой фракции; она сама, или при ее содействии кто-то другой, составил так называемый наказ этой секции, послуживший одним из существенных пунктов обвинения; она доставила его в руки жандармской полиции, оказавши тем самым существенную помощь к постановке обвинения, но, в то же время, эта Шорникова состояла на службе в Д-те Полиции и после ареста главных действующих лиц скрылась, при помощи того же Департамента и все пять лет состояла на его иждивении, переезжая с места **{190}** на место и продолжая, если и не состоять агентом Департамента, то оставаться в самых тесных сношениях с различными Губернскими жандармскими управлениями, которые не могли, однако, более пользоваться ее услугами, так как она была уже обнаружена революционными организациями, и их преследования и довели ее до того, что она явилась в Департамент Полиции с просьбой дать ей средства уехать в Америку а, в случае отказа в этой просьбе, просто сказать ей, что ей делать.

Мысль Белецкого была чрезвычайно проста: получить от меня нужную сумму денет на выезд Шорниковой в Америку, удалить ее с глаз долой и посмотреть что будет дальше. С таким простым решением не согласились ни я, ни Джунковский. Ясно было с первой же минуты, что таким решением не разрешается ничто и, напротив, создается еще новое обвинение правительства в том, что оно идет все дальше в дальше по пути укрывательства Шорниковой.

В Америке ее точно также немедленно опознают, Бурцев получит только новый обличительный материал, дело нисколько не развяжется, а я попадаю только в сделку, в которой до сих пор не принимал никакого участия. (*Бурцев, Воспоминания известного революционера, «охотника за провокаторами», в частности, разоблачившего Азефа. 1923 г. Берлин, см. у нас – ldn-knigi)*

Я предложил удержать Шорникову от всяких шагов в течение еще нескольких дней, дать ей средства к жизни, оберегая ее от мести ее бывших товарищей, и решил немедленно вызвать Щегловитова из его отпуска, с тем чтобы выяснить с ним весь предстоящий ход дела, привлечь к последнему Совет Министров и доложить дело Государю уже после обсуждения вопроса в Совете. Кое-кто из Министров собирался уехать также в отпуск, я просил их повременить и тут же послал М-ру Юстиции телеграмму, не посвящая его в причину его вызова, так как у него не было с собою ключа для разбора шифра.

Щегловитов приехал через три дня, во вторник утром и в тот же день пришел ко мне.

Близко зная весь следственный материал по обвинению социал-демократической фракции он сразу же осветил мне главное мое недоумение, заключавшееся в том, что не разрушает ли факт бесспорного провокаторства Шорниковой, как агента Д-та Полиции, все обвинения против членов Государственной Думы и не поставит ли этот факт на очередь вопрос о пересмотре всего дела. Щегловитов без всяких колебаний ответил мне, что давая себе ясный отчет в тех последствиях, которые может иметь это неожиданное обстоятельство, о котором, впрочем, он слышал уже и **{191}** раньше, так как в революционной печати факт принадлежности Шорниковой к агентуре Д-та Полиции был давно обнаружен, он находит, однако, что придавать появлению Шорниковой столь большого значения не следует, так как все сводится лишь к тому, как ликвидировать теперь нахождение Шорниковой под следствием, ибо, очевидно, нельзя вести над нею следствия, как над соучастницею социал-демократической группы Государственной Думы, потому что выяснится с первой же минуты, что она никакого преступления вменяемого в вину этой группе не совершила, не состоя на самом деле и в партии социал-демократов, и ее можно обвинять лишь в том, что она написала под диктовку активных деятелей партии наказ военной секции и помогла правительству получить его в руки.

По словам М-ра Юстиции, все следственное дело с несомненностью доказывает, что Шорникова вовсе не сочинила наказа, а только переписала его под диктовку главарей, чего не отрицают и они сами в их литературе, но, конечно, нельзя быть твердо уверенным в том, что без нее мы напали бы на след наказа, и он не был бы скрыт, как несомненно были скрыты многие документы, попавшие только позже в руки правительства.

По существу же дела Щегловитов выразился так: обвинение против социал-демократической фракции было построено Прокурором Камышанским на 21-м пункте, из которых каждый был вполне достаточен для произнесения обвинительного приговора и при том без всякой натяжки и без всякого ограничения свободы следствия и защиты на суде, — и среди этих пунктов, наказ и его фабрикация стоял на одном из последних мест и даже, если бы было доказано, что его никто из обвиненных не сочинил, не диктовал Шорниковой, и она не доставила бы его следственной власти, то все дело не получило бы иного направления, нежели то, которое ему дано.

Таким образом, по мнению М-ра Юстиции, не только не может возникать вопроса о пересмотре всего дела на основании одного факта появления Шорниковой, официально разыскиваемой, как укрывшейся в одно время, — но правительству нет никакою основания смущаться ее появлением и следует спокойно обсудить наилучший способ ликвидировать вопрос о состоянии ее под следствием. Он нашел, что я поступил совершенно правильно, отказавшись от всякого участия в искусственном удалении ее так как согласившись на оказание ей помощи для отъезда в Америку, мы попали бы в руки шантажистов и вызвали бы только новые осложнения обвинением нас в том, что **{192}** мы, опасаясь каких-то разоблачений, встали на путь соглашения с Шорниковой.

На другой день я пригласил к себе М-ра, Вн. Дел с Генералом Джунковским и Белецким. Щетловитов привез с собою Прокурора Палаты Корсака, успевшего, по его словам, вновь пересмотреть наиболее существенные части всего следственного производства, а в пятницу, после моего всеподданнейшего доклада, на котором я только вскользь

доложил дело Государю, предваривши, что на следующем докладе я представлю весь вопрос, во всей его подробности, находя, что все правительство, в лице Совета Министров, должно высказаться об этом и принять на себя ответственность за то его направление, которое будет дано делу.

Предварительная беседа у меня всех поименованных лиц не внесла ничего нового. Они единогласно разделили мнение Щегловитова, который хотел предложить и способ ликвидации личного положения Шорниковой, но я просил его отложить обсуждение до собрания совета, на которое я пригласил также и Прокурора Судебной Палаты.

Я помню хорошо это заседание у меня на даче, на Елагином острове. Был необычайно знойный день; нельзя было оставаться в комнате, и мы собрались на балконе, выходившем в сад.

Острова — вообще пусты в дневные часы и решительно никто не проезжал мимо дачи. Я изложил ход дела, просил Маклакова дополнить его своими соображениями, от чего он уклонился, и просил выслушать Директора Д-та Полиции, который сказал, что не имеет ничего добавить, и тогда слово было дано Министру Юстиции, который подробно развил точку зрения уже изложенную мною выше. Никто из членов Совета не представил ни малейших возражений, и мы все единогласно пришли к тому заключению, что поднимать вопроса о пересмотре давно решенного дела о социал-демократической фракции Думы нет никакого основания, что судебное решение отнюдь не было основано на одном том действии, которое приписывается Шорниковой, но — на целом ряде неопровергнутых доказательств, что даже в самой революционной литературе эта точка зрения на личность Шорниковой остается до сих пор неопровергнутою, несмотря на то, что ее служба в Д-те Полиции считается неопровержимым фактом, и что все дело сводится теперь лишь к тому, как поступить с самой Шорниковой.

Слушая наши прения, М-р Народного Просвещения Кассо иронически заметил: «вот как было бы хорошо, если бы **{193}** по всем делам в нашей среде царило такое согласие, как в этом щекотливом вопросе»!

Больше споров и разговоров вызвал именно вопрос о том, как быть с самой Шорниковой. Белецкий поднял снова вопрос об отправлении ее в Америку. Его поддерживал Маклаков, оговорившись, однако, что такое решение зависит главным образом от того, даст ли на это средства М-р Финансов, так как в Д-те Полиции нет на это средств, а деньги, прибавил он, нужны не малые, да и не только теперь, но вероятно и в будущем, потому что нельзя же ее оставить умирать с голода». Мне пришлось выступить с самым решительным опровержением такой упрощенной точки зрения, решить все на чужой счет, с тем, чтобы М-о Финансов взяло на себя попечение об этом своеобразном пенсионере казны до ее кончины. Меня поддержали решительно все Министры и в особенности Щегловитов и Кривошеин. Последний даже разгорячился и сказал, что недостойно правительства, откупаться от агентов Департамента Полиции, из опасения, что они могут шантажировать его. «Становясь на такой путь» — прибавил он — «мы должны быть готовы на то, что постепенно придется удалять в Америку всех агентов политического розыска и содержать их там на счет казны. Министр Финансов нас не любит пускать в свою сокровищницу — 10-ти миллионный фонд «и не мне» — закончил он — «защищать его в ревнивом охранении своих межевых знаков, но я понимаю, что ни один М-р Финансов не может согласиться

на то, чтобы параллельно с внутренним штатом государственной полиции постепенно накапливался еще штат бывших агентов, проживающих на государственный счет заграницею».

Маклаков замолчал, и это предложение провалилось. Тогда пришлось перейти к законному способу направления подобных дел. Прокурор Палаты, а за ним и М-р Юстиции разъяснили, что по закону дело о прекращении следствия и суда по вопросу решенному Особым Присутствием Сената для суждения дел о государственных преступлениях подлежит рассмотрению Сената, в составе, того же Особого Присутствия, которое, однако, во время летнего ваканта может быть заменено другим составом Сената и, таким образом, следует внести этот вопрос на разрешение этого летнего присутствия, в котором исполнение прокурорских обязанностей может быть возложено на Прокурора С. Петербургской Палаты.

Присутствию должны быть представлены все данные, подтверждающие то, что Шорникова **{194}** в действительности не участвовала в том преступлении, по которому она была привлечена к следствию, что она на самом деле состояла на службе Д-та Полиции и вообще следует быть совершенно откровенным перед Сенатом, не скрывая от него решительно ничего, что может положить конец такому неприятному делу, и следует надеяться на то, что Сенат встанет на ту же точку зрения, так как для привлечения Шорниковой к обвинению в том, за что она разыскивается, во всяком случае, нет никаких поводов. С таким направлением дела Совет Министров согласился единогласно. Прокурору Палаты Г. Корсаку и Министру Юстиции было поручено немедленно образовать летний состав особого присутствия из наличных сенаторов и немедленно внести дело на его рассмотрение. Щегловитову было тут же поручено испросить и отдельный доклад у Государя и довести до сведения Его Величества о принятом решении.

Так и было поступлено. В течение ближайших двух недель все формальности были выполнены, дело заслушано Сенатом, не встретило там никаких возражений, и весь этот печальный инцидент был благополучно закончен. Как было поступлено затем Д-том Полиции с Шорниковой мне осталось неизвестным, и никто не предъявил ко мне никаких новых требований. Министры разъехались на летний отдых, вскоре и я уехал сначала в Крым с докладом Государю, а затем заграницу, а когда, вернулся из моей отлучки в начале ноября, то надвинулись новые заботы, среди которых это дело более не всплывало наружу, а потом подоспело и мое увольнение, после которого мне уже не приходилось более слышать имени Шорниковой.

Конец лета, и начало осени 1913-го года ушли у меня на сметную работу. Мне нужно было закончить ее раньше обычного времени, так как я решил немного отдохнуть за границею, прежде чем ехать в Париж по делам.

Во всяком случае, мне нужно было вернуться обратно к 1-му ноября, и только выехавши не позже 15-го сентября, я мог располагать тми 6-ю неделями, без которых я не мог справиться со всем, что мне предстояло исполнить.

Я старался всячески подгонять сметную работу, да она и шла как-то боле спокойно на этот раз. Пришлось идти шире в расходах почти по всем ведомствам. Споров было значительно меньше, главным образом потому, что финансовое **{195}** положение казалось вполне устойчивым:

доходы поступали очень хорошо, урожай намечался очень благоприятный, самые спорные сметы, каковы военные, были почти предрешены прежними постановлениями; по Министерству Путей Сообщения я договорился с С. В. Рухловым о крупном увеличении сметы по сооружению казенных дорог, дабы они не отставали от частного железнодорожного строительства.

С Кривошеиным, с которым мои отношения были уже далеко не прежние, так как прежняя внешняя искренность сменилась большою сдержанностью, в зависимости от моего положения наверху, — мне также удалось сгладить ведомственные трения конечно, уступками по разным кредитам.

Таким образом, я мог свести сметные итоги задолго до законного срока (1-го октября), и уже 12-го сентября я выехал к Крым, с моим очередным докладом, испросивши заблаговременно, в письме, согласие Государя ухать прямо из Ливадии в заграничный отпуск, на 4 недели, с тем, чтобы в конце этого отпуска побывать в Париже и окончательно направить там подготовительное уже дело железнодорожного займа. Ни о каких общих политических разговорах заграницею я не думал, но ясно давал себе отчет в том, что мне их не миновать, потому что везде званию Председателя Совета Министров придают значение и руководителя общей политики, с которым неизбежно нужно затронуть эти общие вопросы и обойти их мне никак не удастся, несмотря на все мое желание не углубляться в них, под влиянием нашего своеобразного взгляда на роль Председателя Совета Министров в делах внешней политики, в которых решающее значение имеют только два, лица: Государь и Министр Иностранных Дел и то лишь формально, как его докладчик.

Я решился, поэтому, высказать Государю свои недоумения по этому поводу и спросить Его как мне держать себя при неизбежных беседах со мною в особенности в Париже, где мое появление впервые после моего назначения Председателем Совета Министров не могло не сопровождаться разговорами на общие политические темы. К тому же и общая совокупность внешних условий ясно говорила за то, что наши союзники должны заговорить со мною и захотят услышать в живой речи нашу точку зрения на злободневные вопросы. Нужно помнить при этом, что как раз в эту пору, становилась вое менее и менее ясною роль Италии в Албанском вопросе, и Сазонов мне не раз говорил, что начавшееся прояснение на Балканах **{196}** может опять сорваться, если только Италия, под влиянием Германии, выкинет какую-нибудь неожиданную штуку.

Приехавши в Ялту 14-го сентября, вместе с женою, я застал там обычное Ялтинское настроение: прежнюю скуку среди придворных, полнейшую отчужденность их от крупных. политических вопросов, жизнь исключительно среди мелких повседневных инцидентов, дворцового муравейника, абсолютную праздность и неизвестность чем занять время и как дождаться дня отъезда в Петербург, на который все смотрели, как на великое избавление от непроходимой скуки.

Среди, этой тоскующей, толпы Государь и Его семья, казалось, одни наслаждались их любимою обстановкою. Вдали от всех, недокучаемый ежедневными докладами и необходимостью принимать массу представляющихся, Государь вел совершенно свойственный Его душе простой образ жизни: утром длинные прогулки пешком, днем или под вечер верховые поездки, часто с дочерьми, регулярное исполнение своего долга, в виде прочтения и утверждения присылаемых

из Петербурга докладов, встреча несколько раз на дню все тех же лиц свиты, конвоя и немногих офицеров обычной охраны, которые не скажут ничего неприятного и не вызовут необходимости тут же решить какой-либо сложный вопрос, — все это создало кругом самого Государя какую-то атмосферу благодушия, при этом ясно чувствовалось, что всякие крупные деловые вопросы входят в эту среду каким-то досадным клином, и что чем скорее этот клин выйдет из потревоженной им среды, тем это лучше.

И несомненно вся эта среда ждет минуты, когда это постороннее тело избавит ее от своего присутствия.

Оттого-то каждый раз, когда я приезжал в Ялту, мне всегда казалось, что засиживаться здесь не следует, что дела от этого не выигрывают, и что даже скорее появление здесь Министров рассматривается как прибытие гостей, которых провожают особенно ласково в минуту их прощанья.

Меня встретила в Ливадии обычная ласка, и все та же внешняя приветливость, которая ничем не отличалась от прежних приемов.

Доклад мой о сводке бюджета вызвал даже как будто больше интереса чем раньше. Государь входил во все частности, просил не раз сказать как разрешен тот или другой отдельный вопрос, вызывающий в прошлом резкие споры и неоднократно говорил мне: «не бойтесь задержать меня, **{197}** здесь не то что у Вас в Петербурге; Я здесь совсем свободен и даже рад тому, что Вы заставляете меня больше заниматься делами».

В числе вопросов, которым я посвятил немало времени, был, конечно, и вопрос о железнодорожном займе, в связи с моим предположением поехать заграницу непосредственно из Ялты, не заезжая в Петербург. Государь хорошо помнил, что я писал ему об этом, отнесся очень сочувственно к моей мысли, хотя больше останавливался на вопросе о том, как думаю я использовать мой отдых, и ни одним словом не обмолвился о каких-либо частностях нашего железнодорожного строительства и не сказал мне вовсе о том, что ровно неделю перед тем Ему был представлен по Генеральному Штабу особый доклад, в связи с приездом Ген. Жоффра, и что Им одобрена даже особая схема постройки целого ряда дорог, о чем ни мне, ни Министру Путей Сообщения не было решительно ничего известно.

Я упомянул уже раньше, что только два месяца позже, в Париже, в совещании, в Министерстве Иностранных Дел, я узнал о существовании этого доклада и приложенной к ней схеме. Зная Государя хорошо, я уверен, что в этом не было ни малейшего умысла с Его стороны, а была просто забывчивость или еще проще, что в данную минуту Государь не подумал о том, что мне следовало быть в курсе этого вопроса. Для Военного же Министра, как члена Совета Министров, нет никакого оправдания в том, что он вел, как впрочем и всегда, свою отдельную политику, не считая вовсе нужным делиться своими предположениями с тем, кому, во всяком случае, придется расхлебывать кашу.

Когда на этом доклад зашла речь о нашей внешней политике, и я спросил Государя какие указания даст Он мне для моих неизбежных встреч как в Париже, так и в Риме и Берлине, которого мне тоже не миновать, то Государь ответил мне только: «в Париже Вы знаете решительно всех политических людей и будете, конечно, заняты преимущественно вопросом железнодорожного займа. Кланяйтесь от меня Пуанкаре, скажите ему, что Я счастлив тому, что во все

переживаемые нами острые минуты мы так солидарны во всем, что Франция может спокойно рассчитывать на меня во всех вопросах, затрагивающих ее жизненные интересы, и что Балканские события говорят мне каждый день, какое великое счастье для всего мира, что мы так тесны во всем, что волнует теперь весь свет. В Италии лучше всего не вести никаких разговоров. Я мало верю итальянцам. Они никогда не войдут, в **{198}** откровенную беседу с нами, всегда утонченно любезны, на самом же деле думают только о том, как воспользоваться теми или другими осложнениями чтобы провести что-нибудь выгодное лично для себя. Они всегда сидят между двух стульев: — Германиею и Францией и ведут, конечно, немецкую политику, уверяя в то же время Францию о своей искренности».

Мне пришлось особенно остановить внимание Государя на том как мне быть по отношению к Императору Вильгельму. Пока я не выезжал из России, у меня не было никаких новых обязательств выражать еще раз мою благодарность за оказанное мне высокое отличие — пожалование ордена Черного Орла. Она была уже к тому же принесена мною в свое время в достаточно почтительной форме. Но проехать мимо Берлина и не остановиться там, мне казалось просто невозможным. Кроме того, Германский посол Граф Пургалес не задолго перед моим выездом из Петербурга заехал ко мне по совершенно пустому поводу и, прощаясь со мною, как бы невзначай спросил меня: когда, приблизительно, думаю я проехать через Берлин, так как он сам будет возвращаться в последних числах октября и «ему и его жене было бы очень приятно совершить вместе с нами обратный путь».

К тому же на мне лежал и другой долг вежливости: я обещал германскому Канцлеру Бетману Гольвегу отдать ему в Берлине его визит еще прошлого года, после свидания Императоров в Балтийском Порте.
Сазонов, с которым я говорил на эту тему, отнесся к моему вопросу с его обычною упрощенностью и сказал мне только «конечно, Вам необходимо просить аудиенции у Императора, но его, конечно, не будет в Берлине, и Вы очень просто выйдете из щекотливого положения, так как я хорошо понимаю, что Вам совсем не хочется поднимать шум около Вашего невинного визита».

Все это я доложил Государю и получил от Него такой ответ: «Будь Я на Вашем месте Я сделал бы все возможное, чтобы уклониться от свидания с Императором Вильгельмом, но Я хорошо понимаю, что Вам неудобно избегнуть остановки в Берлине, и желаю, чтобы сбылось предсказание Сазонова, что Императора не будет там. Во всяком случае, так как Вы поедете в Берлин на пути домой, то Вы скажете об этом в Париже и тогда, не будет никакой неловкости». На этом наша беседа кончилась, и Государь не возбуждал более никаких **{199}** вопросов. Из этого моего пребывания в Ливадии и Ялте нужно отметить еще следующее:

Еще до моего выезда заграницу мне прислали из Петербурга очередной номер «Гражданина», в котором «Дневник», писанный, как всегда, лично Мещерским, был полностью посвящен мне и моей поездке заграницу. В выражениях самых недвусмысленных затрагивалась все та же излюбленная тема о нашем «Парламантаризме», об умалении Министрами и в особенности Председателем Совета Министров престижа власти Государя в затем высказывалась заветная мысль автора о необходимости покончить с этим «западноевропейским новшеством», упразднить Совет Министров и вернуться к прежнему Комитету

Министров, поставив во Главе его такого заслуженного и преданного своему Государю сановника, как И. Л. Горемыкина или А. С. Танеева. Затем в том же Дневнике, в самых резких выражениях приводилась мысль, что, под влиянием личной вражды к — «молодому и талантливому Министру Внутренних Дел» я мешаю ему осуществлять волю своего Государя, что у него разработан прекрасный план упорядочения нашей «разнуздавшейся» печати, но что мне нужны «думские аплодисменты», и потому все его намерения гибнуть бесплодно, и что пора, наконец, Государю знать: кто Его слуга и кто слуга «Родзянок и Гучковых».

В Ялте этот «Дневник» был тотчас же прочтен, старик Граф Фредерикс был глубоко возмущен им и спросил меня, неужели я не покажу его Государю и не буду просить его наложить какую-нибудь узду на эту недопустимую травлю, которая только расшатывает престиж власти, так как все прекрасно знают, что Мещерский хвастается перед всеми, хотя бы и без всякого основания, что он пользуется исключительною милостью Государя, и, следовательно, легко допустить, что такая компания против Председателя Совета Министров, очевидно, подрывает его престиж, как раз в такую пору, когда он особенно нужен при поездке моей заграницу.

Я ответил графу Фредериксу, что Государь наверно читал этот Дневник, как Он читает все произведения Мещерского, но что говорить мне ему об этом совершенно бесполезно, так как все предыдущие мои разговоры на ту же тему не имели никакого результата. Не только никаких действительных мер по этому поводу принято не будет, но я уверен даже, что Государь не скажет ни одного слова Министру Внутренних Дел, и для меня ясно только одно, что против меня ведется решительная **{200}** компания, при самом деятельном участии того же Маклакова, о чем я не раз доводил до сведения Государя, прося Его положить ей предел, уволив меня. Но и на это тоже не последовало согласия, и я вижу теперь совершенно ясно, что, по окончании заграничной поездки, мне необходимо возобновить этот разговор и постараться на этот раз довести его до конца.

Фредерикс убеждал меня не делать этого, уверял, что он прекрасно знает отношение ко мне Государя и не допускает и мысли о моей отставке, в особенности теперь, когда кругом столько сложных и запутанных вопросов.

В подтверждение своею убеждения об отличном отношении ко мне Государя, граф Фредерикс спросил меня: будет ли мне приятно, если он намекнет Государю о желательности предоставить мне, например, придворное звание, что было бы особенно кстати теперь, при моей заграничной поездке, так как это подчеркнуло бы расположение ко мне Государя и могло бы быть не бесполезно и для моих заграничных сношений.

Я поблагодарил графа Фредерикса за его добрую мысль, но сказал ему, что никогда и в молодости не носил придворного звания, не стремлюсь к этому в особенности теперь, перед несомненным концом моей активной службы, и если этот вопрос может быть полезен хотя бы для выяснения отношения ко мне наверху, то я прошу его только облечь его доклад в такую форму, при которой отказ не имел бы обидного для меня характера. Лично же я нахожу, что такого вопроса вовсе не следует поднимать.

В то же время я решил написать Н. А. Маклакову и обратить его

внимание на неприличие поведения его покровителя и на то, какое впечатление производят его выпады среди людей, окружающих Государя. Я сказал ему в моем письме, что никогда не решусь просить вмешательства Государя против этих бессовестных выпадов, но не могу не выразить, что Министр Внутренних Дел, находящийся в самых интимных отношениях с автором таких статей, берет на себя всю моральную ответственность за те последствия, которые неизбежно произойдут из подобных проявлений личного неудовольствия его покровителя на меня.

Три недели спустя, проезжая через Флоренцию, я получил от Маклакова ответ на мое письмо, в котором он сказал, что он не пользуется никакою близостью к Князю Мещерскому, не считает себя в праве входить в частные сношения с ним по поводу его статей, но что если мне угодно, **{201}** чтобы газета «Гражданин» была подвергнута взысканию в административном порядке, то он представит об этом Государю Императору, так как «зная личные отношения Его Величества к издателю этой газеты, он не решится принять такую меру собственною властью» и имеет основание опасаться, что ему может быть предложено отменить наложенное взыскание. Я поспешил написать Маклакову из Флоренции же, что весьма сожалею, что он не прочитал моего письма, ибо в нем было ясно сказано, что я считаю недопустимым вмешивать Государя в вопрос, касающийся лично меня, и пишу вместе с сим заместителю моему по Совету Министров П. А. Харитонову, прося его отнюдь не допустить представления Государю доклада по вопросу, относящемуся исключительно до компетенции Министра Внутренних Дел.

Разумеется, никакого доклада по этому вопросу никуда представлено не было, переписка моя с Маклаковым попала в руки Мещерского, от самого же Маклакова, отношения мои к нему еще более обострились. Враждебные мне статьи в «Гражданине» стали обычным явлением, а по возвращении моем в Петербург приняли такой азартный характер, что мне стало очевидно, что моя участь решена, так как в обычаях Кн. Мещерского всегда было смешивать с грязью только тех, чьи дни были уже сосчитаны наверху.

Я забыл прибавить, что я выехал из Ялты, не узнавши от графа Фредерикса какая судьба постигла его намерения переговорить о моем придворном звании. Думаю даже, что он вовсе и не заговаривал об этом, чуя, что моя звезда клонится к закату, если даже не закатилась совсем. Впоследствии мне стало в точности известно, что после беседы со мною Гр. Фредерикс благоразумно воздержался доложить свою мысль Государю.

Не стану останавливаться подробно на моей заграничной поездке вплоть до нашего прибытия в Париж 23-го октября.

Первые две недели этой поездки прошли как сон. Мы проехали прямо из Севастополя до Александрова; с нами ехал Ю. С. Дюшен. Мы проехали без остановки через Берлин и даже провели в поездке за город те нисколько часов, которые пришлось обождать до отхода скорого поезда в Милан. Незаметно пролетели мы до этого последнего города, где нас ждал заранее заказанный автомобиль, в котором мы проехали через Болонью, Флоренцию, Ассизы, Аквилла, Неаполь, исколесили все его окрестности и приехали в Рим, где **{202}** я на другой же день заболел рожистым воспалением на лице и пролежал три недели в гостинице,

«Эксцельсиор». Пришлось оставить мысль о дальнейшей автомобильной поездке и думать только о том, как сократить время вынужденного пребывания в Риме и скорее добраться до Парижа, где меня ждали уже начиная с половины октября.

За время моей болезни в Риме я никого не мог видеть, кроме нашего посла Крупенского, и только накануне моего выезда имел короткую беседу с Министром Иностранных Дел, Маркизом Сан-Джулиано, который, видя мою слабость, ограничился короткою беседою, но в ней дал ясно понять, что Италия не откажется от Валоны, во всем же остальном готова идти рука об руку с Францией и пойдет на всякое соглашение, которое в состоянии внести успокоение на Балканах.

Приезд мой в Париж был обставлен чрезвычайно парадно. На Лионском вокзале, кроме всего состава нашего Посольства, меня встретил Председатель Совета Барту, Министр Иностранных Дел Пишон, Министр Финансов Шарль Дюмон, Префект полиции, Представитель Президента Республики и обычная в этих случаях во Франции толпа.

Да и вообще две с половиною недели, которые я провел в Париж, были сплошным праздником. Всех приемов не перечесть; все оказывали мне с женою величайшее внимание; печать все время посвящала мне и России самые сочувственный статьи; интервью со мною почти не сходили со столбцов газет, и в этом отношении я руководствовался прямыми желаниями французского правительства, которое просило меня принимать печать как можно шире, и я имею полное право сказать, что не было мною сказано ни одною слова, которое не было бы заранее одобрено Правительством. Наш посол Извольский, обычно признававший только свой собственный авторитет и весьма кисло-сладко отзывавшийся о всех и каждом, чуть не ежедневно заезжал ко мне только за тем, чтобы сказать, что я оказываю ему величайшую помощь, и что он не имеет достаточно слов сказать мне насколько единодушна печать в оценке моего пребывания, и какое положительное влияние оказывает оно на настроение общественного мнения.

Рядом с этою внешнею жизнью шла большая, мало заметная для публики работа: приходилось заканчивать переговоры по окончательному выяснению условий железнодорожного займа, и на этом вопросе столько же усилий выпало на мою долю для того, чтобы сгладить шероховатости среди банкиров, сколько **{203}** для того, чтобы заручиться окончательным сочувствием Правительства и подвинуть его на более настойчивое воздействие на последних. В этом последнем отношении наибольшую, хотя и внешне незаметную услугу оказал Президент Республики, авторитет которого решительно поддержал авторитет Министра Финансов Дюмона. Другим лицом, помощь которого я должен по справедливости отметить, был Сенатор и редактор газеты — «Радикал» — Першо. Об этом последнем лице стоило бы сказать несколько слов отдельно, — настолько своеобразию было положение, занятое им в русском вопросе, но это отвлекло бы меня в сторону.

Целые дни уходили на всевозможные совещания и деловые встречи, но зато и конечный их результат вознаградил меня широко за все понесенные труды: я покинул Париж с подписанным между мною и синдикатом банков соглашением о реализации нами во Франции ежегодно, в течение пяти лет, железнодорожного займа на сумму не менее 550 миллионов франков в год, или почти трех миллиардов в течение пятилетия. Французское Правительство, в лице Министра Финансов, заявило свое согласие на совершение этой операции, биржевая

котировка также была обеспечена и оставалось только окончательно закрепить выпускной курс займа, что и было потом сделано мною накануне моей отставки.

Все наперерыв поздравляли меня с небывалым успехом, и я выехал из Парижа под самым лучшим впечатлением.

Для характеристики моего пребывания в Париже я должен, однако, упомянуть еще о некоторых эпизодах, достойных быть отмеченными.

Во вторую половину моего пребывания в Париже, туда приехал из Биаррица, с женою, Граф Витте и остановился в той же гостинице «Бристоль» на Вандомской площади, где жили и мы, и притом как раз в помещении над нами. Я узнал о его приезде от моего Секретаря и тотчас пошел к нему, но не застал его и видел только Графиню, которая поспешила мне сказать, что она счастлива, видеть какой радушный прием оказывают мне все, как велико число посещающих меня, и как радостно, что французы, видимо, отдают мне справедливость. Она старалась всячески уверять меня в ее особенной своей дружбе ко мне и в той благодарности, которую она питает ко мне, за все добро сделанное ее дочери. Самого Графа Витте я видел очень мало, как потому, что был **{204}** занят целыми днями, так и потому, что и он мало бывал дома.

Вскоре, однако, после его приезда ко мне зашел перед самым моим завтраком Г. Бенак, прямо спустившийся от Витте, и сказал мне, что он зашел ко мне исключительно для того, чтоб передать под свежим впечатлением то отрадное чувство, которое оставили в нем суждения Гр. Витте на мой счет. Говоря о тревожном внешнем положении Европы и отвечая на вопрос Бенака о том, насколько грозны все переживаемые события, Витте будто бы сказал ему, что величайшее для России и для всей Европы счастье, что Председателем Совета Министров в России — я, так как я крайне осторожен, убежденный противник войны, не желаю портить прекрасного финансового и экономического положения своей страны, по складу моего характера совершенно не склонен к каким-либо авантюрам и всегда сумею удержать наших шовинистов от всякого рода эксцессов.

Он прибавил при этом, — чего не скрыл от меня Бенак, предварительно извинившись за то, что в этом добавлении есть недобрый намек на мой счет, — что «самые недостатки моего характера и моих дарований — на пользу общему делу, ибо я — человек без большой инициативы, недостаточно смелый и не обладаю способностью подчинять себе людей, и не в состоянии лично удержать их от прямого безрассудства».

Бенак прибавил мне в пояснение этой оговорки, что у него явилось впечатление, что Гр. Витте испытывает, по-видимому, плохо скрываемое им чувство горечи от того приема, который оказывается мне и, в особенности, от сочувственного тона печати, так как он упомянул в разговоре с ним только, что мне следовало бы держаться скромнее, так как Председатель Совета в России вовсе не есть глава правительства, и Бенаку пришлось даже взять меня под защиту и сказать, что ему приходится, наоборот, слышать всюду особенно сочувственные отзывы о скромности моей и моей жены, и эта черта громко противополагается высокомерию и чванству нашего посла Извольского, заставляя людей отзываться о нас обоих с особою симпатиею.

Перед выездом моим из Парижа, я заходил к Гр. Витте проститься, и он всячески уверял меня в своей дружбе, говорил, что следит с особою

любовью за моими успехами, везде поддерживает меня и просит меня верить тому, что в его лице я имею самого преданного мне друга, который считает **{205}** своим патриотическим долгом помотать мне во всем, чтобы не допустить какой-либо интриги против меня, которая только приблизит час катастрофы для России.

Не прошло и шести недель после этого излияния, как тот же Гр. Витте выступил против меня самым беззастенчивым образом, он снял с себя всю личину расточаемой им преданности, чтобы замкнуть цепь выступлений, направленных против меня. Об этом, впрочем, речь впереди.

Другой эпизод, достойный быть упомянутым, заключается в моих попытках получить аудиенцию у Императора Германского при проезде моем домой.

Я обратился, конечно, к Извольскому и просил его телеграфировать нашему послу в Берлин Свербееву устроить мне аудиенцию приблизительно в самых первых числах нашего ноября, так как я связан необходимостью срочно вернуться в Петербург. Дня три не было никакого ответа, а затем получилась телеграмма, что Императора нет в Берлине и он не вернется ранее второй половины ноября, да и то на самое короткое время.

Меня такая телеграмма крайне устраивала. Я видел в ней подтверждение догадки Сазонова и решил, рассказавши обо всем Президенту Республики и Министру Иностранных Дел, ограничиться остановкою в Берлине на один день, чтобы передать Канцлеру мое сожаление о том, что я не имел при всем моем желании возможности принести Императору мою благодарность за пожалование мне высокого отличия.

Я так и поступил. Оба, и Президент Пуанкаре и Г. Пишон, выразили мне, однако, их сожаление о том, что эта встреча не состоится, так как они знали о том насколько Император был любезен со мною в июле 1912-го года и сказали, что при экспансивности Императора встреча моя с ним могла быть полезна и общему делу. Под впечатлением этой беседы, состоявший при мне еще со времени моей болезни в Рим, молодой Барон Эдгар Икскуль предложил переговорить конфиденциально в Германском Посольстве с послом фон Шене, с которым я был знаком по Петербургу, но в Париже мы только обменялись в этот мой приезд карточками; личной встречи между нами не было. Я согласился на это предложение, но обусловил непременным требованием, чтобы Икскуль не обращался с просьбою от моего имени, а ограничился только передачею, в разговоре, что я имел в виду остановиться в Берлине для принесения личной благодарности Императору, но, **{206}** в виду отсутствия его остановлюсь только на один день, для ответного визита Канцлеру.

На другой же день, к величайшему моему удивленно, я получил извещение, что Император очень рад видеть меня и приедет для этой цели специально в Берлин на один день, и именно на среду, 6-го ноября, и приглашает меня завтракать у него в Потсдаме.

Третий эпизод из моего пребывания в Париже имеет скорее анекдотический характер, показывая каковы были подчас наши деловые приемы, и с какою легкостью относились некоторые деятели того времени к решению крупнейших вопросов военно-экономического значения.

В Министерстве Иностранных Дел было назначено

заключительное собрание того, чтобы оформить подписанием наше соглашение по железнодорожному вопросу. Собрались все участники соглашения: Варгу, Пишон, Шарль Дюмон, Генерал Жоффр и я. Обязанности делопроизводителя принял на себя Директор политического департамента, впоследствии посол Республики в России — Морис Палеолог. Прочитали совершенно точно изложенный протокол предшествующих Собраний и стали готовиться приложить свои подписи, как вдруг совершенно неожиданно Генерал Жоффр заявил, что необходимо дополнить протокол указанием на то, что Русское Правительство, в лице Председателя Совета Министров обязуется выполнить, в кратчайший срок, постройку железнодорожных линий, предусмотренных в плане, утвержденном Государем Императором в Ливадии, в начале сентября, по докладу Военного Министра, основанному на заключении обоих Начальников Генеральных Штабов союзных Государств.

Не имея никакого понятия о таком плане, я заявил собравшимся, что такой план сообщен мне не был, и я просил бы показать мне его, дабы я имел возможность хотя бы поверхностно ознакомиться с ним и обсудить насколько отвечает он тем предположениям, которые уже внесены частью в законодательные учреждения, частью же намечены к внесению как только разрешится финансовый вопрос.

Велико было удивление присутствующих, когда вместо разработанного плана, Генерал Жоффр показал небольшую карту России, обычно прилагаемую к казенному путеводителю по железным дорогам, на которой были нанесены от руки синим карандашом линии магистральных дорог, частью давно построенных, частью предположенных к постройке в **{207}** первую очередь, частью же вовсе нигде не обсуждавшихся и не имевших никакого военного значения, как например, — соединение р. Оби с Архангельском и далее — с Мурманским побережьем.

Мне пришлось разъяснить присутствующим всю невозможность внесения проектируемой оговорки в вид категорического условия, и, для того чтобы упростить прения, я привел, между прочим, то соображение, что введение такого требования в соглашение может даже оказаться вредным для дела, так что оно может сделаться известным, и в таком случае, в наших законодательных палатах столь же чувствительных к охране своих прав, как и французские, возникнет обвинение Правительства в том, что оно предрешает вопросы и тем нарушает прерогативы законодательной власти.

Председатель Совета Барту быстро ликвидировал вопрос, предложивши поместить в протоколе заявление, что Совещание не сомневается в том, что при выборе линий железных дорог к постройке интересы государственной обороны будут приняты в самое серьезное внимание. Этим весь вопрос и оказался благополучно исчерпанным.

{208}

ГЛАВА VIII.

Остановка в Берлине. — Дело о намеченном Германией назначении ген. Лимана-фон-Сандерса инструктором турецкой армии и командующим 2-м турецким корпусом. Поручение, данное мне Государем, выразить несогласие на эту меру. Моя предварительная беседа с Канцлером и посещение французского посла Камбона. — Прием представителей печати. Теодор Вольф. — Обед у Канцлера. Прием меня Императором Вильгельмом. Завтрак в Потсдамском Дворце. Застольная беседа Императора с Л. Ф. Давыдовым. — Две новые беседы с Канцлером и отъезд из Берлина.

Мы выехали из Парижа в воскресенье рано утром, окруженные тем же вниманием, какое было оказано нам при нашем приезде. Нам дали отдельный вагон. Те же лица приехали проводить нас, которые встречали нас на Лионском вокзале две с половиною недели тому назад, и в понедельник нашего 4-го ноября, в шесть часов утра мы приехали в Берлин. На вокзале было пусто, и только два лица встретили нас: Агент Министерства Торговли К. К. Миллер и Советник Посольства Броневский. Последний передал мне распечатанную Посольством телеграмму от Сазонова, сказавши при этом, что Посол не ознакомил его с ее содержанием и придет сам ко мне в гостиницу, к 9-ти часам.

Тут же на вокзале я прочитал расшифрованную депешу Сазонова следующего содержания: «передайте Председателю Совета Министров, по приезде его в Берлин, что Государь Император поручает ему войти в объяснение с Германским Правительством по поводу предположения последнего относительно Генерала Лимана-фон-Сандерса и заявить ему, что мы **{209}** ни в коем случае не можем согласиться с этим предположением».

В десятом часу Свербеев пришел ко мне в Отель «Континенталь» и принес, в дополнение сообщенной уже мне телеграмм, еще краткое сообщение от того же Сазонова о том, что в бытность его с докладом у Государя в Ливадии он узнал, что Германское Правительство решило сменить прежнего своего инструктора турецких войск фон-дер-Гольц-Пашу и назначить на его место Бригадного Генерала Лимана-фон-Сандерса, с поручением ему же и командовать 2-м турецким корпусом, расквартированном в Константинополе, — на что русское Правительство согласиться никоим образом не может. Этим в корне изменялось бы положение дел в Турции. Свербееву предлагается сделать решительные шаги протеста и прибавляется, что Сазонов надеется на то, что он встретит энергическую поддержку в союзнике. На мой вопрос, что успел сделать Свербев между первым сообщением и полученною после для меня телеграммою, он ответил, что еще ничего не предпринял, так как первое сообщение опередило второе всего на два дня; французского посла Жюля Камбона он не видел, по причине его болезни, и хотел посоветоваться со мною и до получения телеграммы, ибо знал, что я, во всяком случае, остановлюсь в Берлине, — а теперь передает все дело мне, тем более, что у него никаких дополнительных сведений нет, и в немецкой прессе об этом вопросе вообще никаких суждений не имеется.

Таким образом, вся эта история сваливалась мне на голову, в буквальном смысле слова, как снег, и первое ощущение горечи было от

того, что Сазонов, отлично зная, что я более двух месяцев тому назад вышел из строя текущих дел, не потрудился снабдить меня какими-либо подробностями и инструкциями, не ввел меня в курс предыдущих переговоров и просто сдал с рук на руки тому же Свербееву, не запросивши его даже в курсе ли и он этого вопроса и может ли помочь мне в моем неведении.

В этом настроении недоумения я отправился в то же утро к Германскому Канцлеру Бетману-Гольвегу, решившись прямо поставить перед ним ребром весь вопрос и показать, если понадобится, телеграмму Сазонова.

Беседа с ним приняла с первых же слов чрезвычайно ясный и простой характер, крайне облегчивши мне мою задачу.

{210}После первого же обмена любезностей, когда я в сдержанной форме сказал, что имею особое поручение от моего Государя и очень надеюсь на то, что те откровенные отношения, которые установились между нами. летом 1912 года, помогут мне найти в нем поддержку в исполнении моего щекотливого положения, — Бетман-Гольвег прямо сказал мне, что, очевидно, дело идет о миссии Лимана-фон-Сандерса, так как, не получая визита по этому поводу от посла, он сразу понял, что миссия вести переговоры по этому поводу возложена на меня, — чему он очень рад, так как сохранил от нашей первой встречи самое приятное впечатление и надеется, что переговоры со мною будут облегчены возможностью не ожидать, по каждой частности, сношения с Петербургом.

Я просил его ввести меня откровенно в курс вопроса и в особенности объяснить мне каким путем дошло Германское Правительство до недопустимой с нашей точки зрения мысли о поручении своему генералу командования корпусом турецких войск, расположенным в Константинополе.

Говорил ли мне Бетман прямую неправду, или он находил только более выгодным для себя сложить с себя ответственность за неприятную беседу с человеком, к которому у него было доброе чувство, — я не знаю, но весь его разговор носил такой откровенный и правдивый характер, что я, во всяком случае, сохранил о нем самую добрую память, хотя бы за то, что он крайне облегчил мне и мой разговор с неприятным и заносчивым только что назначенным Военным Министром фон-Эйнемом, а через день и с самим Императором.

«Будемте говорить», так начал свою речь фон-Бетман-Гольвег, «как противники, которые питают друг к другу чувство глубокого уважения; у меня к Вам зародилось с прошлогодней встречи это чувство в самой высокой степени, — и постараемся отделить то, против чего у Вас не может быть повода к неудовольствию, от того, в чем я заранее готов признать известную долю основательности Вашей тревоги. Что можете Вы сказать против того, что мы решили заменить одного устаревшего Генерала другим, боле молодым. Срок нашего соглашения с Турциею относительно нашей привилегии иметь нашего инструктора для ее войск кончен. Ни с чьей стороны нам не было заявлено протеста против нашего бесспорно привилегированного положения иметь нашего генерала в качестве инструктора турецкой армии, и кто же может **{211}** удивляться тому, что мы, состоя в очень дружеских отношениях с Турцией, конечно, постарались закрепить особым соглашением с нею это привилегированное положение. Вы нам в этом не только не препятствовали, но я могу Вам подкрепить моим честным словом, что в Потсдаме, при свидании наших Императоров в мае месяце, этот вопрос

был затронут нашим Императором в беседе с Вашим Государем, о чем не только я был поставлен в известность, но я положительно Вас заверяю, что это было тогда, же прекрасно известно Вашему Министру Иностранных Дел.

Сверх того об этом был осведомлен и Ваш посол. Да и как же могло быть иначе. Турция сама не возбуждает вопроса о том, чтобы ей не был нужен европейский инструктор, Англия, конечно, с радостью предложит свои услуги, но едва ли Вы можете согласиться на это, в особенности, когда уже имеется общее согласие на то, чтобы ей было дано чрезвычайно важное преимущество иметь своего адмирала в качестве инструктора Турецкого флота. На французского Генерала в звании инструктора мы не можем согласиться. На Вашего инструктора, не согласится ни Турция, ни Англия — что же остается? Искать какого-либо нейтрального инструктора, в роде Шведского, для персидских войск, — очевидно немыслимо, точно также как не время поднимать щекотливый вопрос об Австрийском или Итальянским инструкторстве. Остается одно: сохранить то, что было, то есть нашего Германского инструктора, к чему привыкли все, и не поднимать нового вопроса, среди далеко еще не улегшихся Балканских страстей, который — верьте моей опытности — может поднять такие осложнения, что никто из нас не в состоянии сказать кого они затронут и до какого предела дойдут».

Выслушав всю эту длинную аргументацию, я попросил Канцлера ответить мне прежде всего на один вопрос: может ли он заверить также своим словом, что мой Император уже дал, в Потсдаме, Германскому Императору свое согласие не только на продолжение привилегии для Германии иметь своего генерала в Турции, в роли, верховного инструктора, войск, — но и на видоизменение и крайне существенное расширение его полномочий — на поручение этому же Генералу командования вторым Корпусом, расположенным в Константинополе.

Я уточнил даже мой вопрос и просил Канцлера сказать мне: во время свидания Императоров в Потсдаме был ли поставлен пред моим Императором вопрос о таком расширении полномочий данных фон-дер-Гольц-Паше, и сказал ли **{212}** наш Император, что он согласен и на это, а также, что при последующих сношениях с нами вопрос о командовании Константинопольским корпусом германским Генералом был ли в точности затронут и послужил ли он предметом определенного соглашения?

На поставленный таким образом вопрос Канцлер ответил мне буквально следующими словами, которые я записал, как и, весь мой с ним разговор, тотчас после возвращения от него в Отель «Континенталь», чтобы иметь их ввиду при объяснении с Императором: «Я этого не могу утверждать, так как вопрос о командовании составляет предмет компетенции нашего Военного Министра. Я не вижу, впрочем, почему Вы придаете такое особое значение вопросу командования одним корпусом нашим генералом. И без командования он может иметь очень большое влияние на управление отдельными войсковыми частями, и лично я вовсе не стоял бы за такое добавление, если бы этот вопрос зависел от меня. К сожалению, я не могу энергично вмешаться в этот чисто технический вопрос и прошу Вас доложить его лично Императору, а я постараюсь подготовить Военного Министра и, во всяком случае сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь Вам успешно выполнить то поручение, которое на Вас возложено».

Не стану приводить теперь всех аргументов, которые я считал

необходимым привести по этому поводу. Я закончил нашу первую беседу просьбою провести собственную точку зрения Канцлера, склонивши своего Военного Министра отказаться от меры, которую сам Канцлер не считает столь уж для них необходимою и подготовить и Императора к менее резкому отношению к вопросу, сказавши ему при этом без всяких обиняков, что я положительно могу удостоверить его, что наш Император не был предупрежден об этом в Потсдаме, и что ни Военный Министр, ни Министр Иностранных Дел не имели до самого последнего времени никакого понятия о новом соглашении Германии с Турцией, и что мне придется, во всяком случае сказать все это в такой же неприкрашенной форме и лично Императору».

Бетман-Гольвег закончил нашу беседу, сказавши мне, что ему крайне неприятно все возникновение этого вопроса, так как оно может повлиять и на настроение Императора, который так радовался видеть меня и даже не только изменил распределение своего времени, приезжая в среду утром в Потсдам специально, чтобы принять меня, но даже просил Императрицу **{213}** прибыть из Касселя для того, чтобы принять участие в завтраке, к которому я приглашен.

Прямо от Канцлера я прошел к французскому Послу Жюль Камбону, которого никогда раньше не встречал. Он принял меня немедленно, но сказал, что чувствует себя совсем больным и собирается даже уехать в Париж на небольшой отдых, «так как теперь стало потише и можно немного отойти от нервной атмосферы последнего временя».

Я рассказал ему во всей подробности, все что произошло со мною, и передал дословно весь разговор с Канцлером. Посол, показавшийся мне человеком весьма утомленным и вовсе несклонным резко реагировать на окружающие его явления, сказал мне без всяких оговорок, что все мое сообщение для него совершенно неожиданно, так как ни одно из самых последних сообщений французского посла в Константинополе не давало ни малейшего намека на указанные мною намерения Германского Правительства, которым мы должны противиться всеми доступными нам способами, и что он сегодня же передаст нашу беседу в Париж и уверен в том, что его правительство окажет России всякую поддержку в ее решении не допустить осуществление задуманного плана.

Мы расстались на том, что я буду держать его в курсе моих сношений с Германскими властями, точно также как он будет делиться со мною всем, что только поступит к нему из Парижа. В остальную часть дня я не видел никого, кто бы мог представить особый интерес в таком неожиданном инциденте. Наш посол Свербеев оставался по-прежнему невозмутимым и только все повторял, что он не знает как благодарить судьбу за то, что она сняла с него прямое участие в разрешении такого критического вопроса.

Вечером состоялся в мою честь обед в нашем посольстве, на котором было, однако, мало народа, так как многие из приглашенных министров сослались на принятые ими ранее другие приглашения, но Канцлер Бетман-Гольвег приехал, был чрезвычайно любезен с женою, вспомнил все детали нашего приема на Елагином острове, а после обеда, уйдя со мною в кабинет посла, долго говорил со мною по поводу нашей утренней встречи и сказал мне только одно, наиболее существенное из всего нашего обмена мнений, а именно, что он успел уже видеться с Военным Министром и Начальником Генерального штаба, и вынес впечатление, что «нам обоим будет не легко убедить этих господ отказаться от их мысли, **{214}** в которой они видят осуществление их

давних мечтаний», но, что он думает все же, что мне удастся убедить Императора не настаивать на его намерении «в особенности — прибавил он — если я дам понять Его Величеству, что Русский Император отнесется менее враждебно к предположению, поручить Германскому Инспектору командование какою-либо турецкою воинскою частью, расположенною не в самом Константинополе, а в каком-либо ином центре, например в Адрианополе.

Я спросил тогда Канцлера, согласятся ли на такое видоизменение военные власти, и не могу ли я предложить, с шансами на успех, избрать иной город, например Смирну, который для нас еще более приемлем.
Его ответ был, как это снова показалось мне, вполне искренен: «Я не дам Вам обещания за этих господ», сказал он: «но честно говорю Вам, что Вы можете рассчитывать на самую дружескую мою поддержку и скажу Вам даже, почему я надеюсь убедить моего Императора. С моей точки зрения, важно не то, каким корпусом будет командовать Германский Генерал, а то, что у него под руками будет определенная войсковая часть, на которой он может проверять приемы нашего командования и обучения войск».

Следующий день — вторник — с самого раннего утра, я почти не имел возможности выйти из гостиницы: меня в буквальном смысле слова атаковали всевозможные лица из журнального мира и немалое количество представителей дипломатии.

Из числа последних моя память удерживает в особенности посещение Турецкого посла Мухтар-Паши, весьма элегантного, сравнительно еще молодого, человека, с моноклем в глазу, который с первого же слова сказал мне, что ему известно уже что русское Правительство поручило мне протестовать против соглашения, состоявшегося между Германским и его правительством, но что он может дать мне самые дружеские заверения в том, что Турецкое Правительство не питает никаких агрессивных намерений по отношению к Русскому правительству и смотрит на свою новую конвенцию с Германией скорее с точки зрения чисто технической, в чем более заинтересована. Германия, которая остановилась на втором корпусе, расположенном в Константинополе, исключительно по соображениям практического удобства, желая избегать излишних переездов для проверки методов обучения на войсках, находящихся не в месте резиденции Инспектора.

Поблагодаривши Генерала за его посещение, я сказал ему, что **{215}** что будучи в курсе моих намерений, он посвящен, очевидно, и в те основания, которые оправдывают точку зрения Императорского правительства.

Мне хочется думать, что эти основания настолько серьезны, что их не может устранить то заявление, которое я принял от него с большою признательностью, и он не поставить мне в вину, если я скажу ему, что на мне лежит прямой долг выполнить поручение моего правительства, и что я очень надеюсь на то, что он облегчит мне выполнение этого поручения, применением его миролюбивого взгляда и не будет настаивать на том, что удобства передвижения Германского генерала столь существенны, чтобы из-за них стоило не считаться с взглядами Русского Императора. Я добавил Турецкому послу, что многое было бы гораздо проще, если бы по таким острым вопросам было больше откровенности среди заинтересованных правительств. Русское правительство не могло отнестись с особым вниманием к возникшему вопросу уже по тому одному, что соглашение между Германским и Турецким правительствами

последовало, как теперь оказывается, еще в мае месяце, а между тем нам оно стало известно лишь несколько дней тому назад, и совершенно случайно, без того, что ни то, ни другое из обоих правительств не сочло нужным поставить нас об этом в известность. Я прибавил, что и союзное нам Французское правительство оставалась также в полном неведении еще долее нежели мы.

Посещения меня представителями печати прошли, в общем, довольно гладко. Большинство из них удовольствовалось повторением моих заявлений французской печати и не требовали особых подробностей. Труднее было с представителем «Берлинер Тагеблата», в лице его главного редактора и владельца Теодора Вольфа, и группой русских журналистов. Последних я принял всех вместе и просил их ограничиться повторением того, что они знают уже из французских газет, так как на пространстве трех дней от меня нельзя требовать перемены во взглядах. Они корректно выполнили мою просьбу, и в их газетах я не прочел потом каких-либо выпадов против метя. Они остались только очень недовольны тем, что я наотрез отказался сказать им что-либо по турецкому вопросу, о существовании которого, как они сказали мне в один голос, они осведомились в Министерстве Иностранных Дел.

С Вольфом было труднее. Он прямо заявил мне, что **{216}** не станет спрашивать меня о вопросах внешней политики, хорошо понимая, что я могу только повторить то, что говорилось в Париже. За то он забросал меня вопросами, о внутреннем положении России и в особенности просил меня высказаться, как смотрю я на сохранение внутреннего спокойствия России, так как германские сведения говорят, по его мнению, о том, что революционное движение гораздо глубже, нежели оно кажется по его поверхностным проявлениям. Мой ответ, воспроизведенный Вольфом вполне точно, стоил мне впоследствии больших нападений со стороны Князя Мещерского (изд. «Гражданина»). Я старался выяснить ему, что Россия идет по пути быстрого развития своих экономических сил, что народ богатеет, промышленность развивается и крепнет, в земледелии заметен резкий переход к лучшей обработке, что использование земледельческих машин и искусственных удобрений растет, урожайность полей поднимается и самый существенный вопрос земельный — стоит на пути к коренному и мирному разрешению. На вопрос Вольфа, какое значение придаю я революционным вспышкам, я сказал ему, что ни одна страна, не свободна от этого явления, но что в России оно гнездится преимущественно в крупных промышленных центрах и не идет далеко от них .

Я прибавил, что России нужен мир более, чем какой-либо другой стране уже по тому одному, что во всех проявлениях своей внутренней жизни она чувствует как усиленно бьется ее пульс, насколько велики результаты достигнутые за последние 6—7 лет в ее экономическом развитии и насколько была бы прискорбна всякая остановка, в этом прогрессе. Я хорошо помню, что отвечая на вопросы Теодора Вольфа о вашем внутреннем положении, я употребил выражение, подхваченное потом Кн. Мещерским, вышученное им и сделавшееся даже заголовком одного из его дневников, посвященных нападению на меня.

«Поверьте мне», оказал я Вольфу: «что все доходящие до Вас вести о грозном революционном движении внутри страны крайне преувеличены и исходят, главным образом, из оппозиционной печати. Отъезжайте радиусом на 100-200 километров от крупных промышленных центров,

каковы Петербург, Москва, Харьков, Киев, Одесса, Саратов, и Вы не найдете того революционного настроения, о котором Вам говорят Ваши информаторы».
{217} И сейчас много лет спустя после моей беседы с Вольфом, невзирая на все, что совершилось в России, при величайшем содействии той же Германии, я не отказываюсь от моего взгляда того времени, потому что не будь войны, не будь того, что произошло вообще во время ее, окажись интеллигентные виновники революции на высоте столь легко давшейся им в руки власти, которую они взяли только потому, что она далась им без всякого сопротивления, но не сумели удержать ее и так же без сопротивления передали в руки большевиков, — мой анализ был бы правилен, и через какие-нибудь, l0 лет разумного управления Россия оказалась бы на величайшей высоте ее процветания.

Во вторник вечером меня и жену пригласил к обеду, Германский Канцлер. Внешне, обед был, как и все обеды: красиво убранный стол, большое количество приглашенных с большинством министров, но чрезвычайно скучен и бессодержателен но разговорам.

Любезны были только хозяин и хозяйка, прочие же приглашенные почти со мною не разговаривали, а сосед моей жены, кажется Министр Внутренних Дел Дельбрюк, — даже был с нею просто невежлив. Только недавно перед тем назначенный Военный Министр фон-Эйнем, с которым меня свел перед обедом Канцлер, попросил меня переговорить с ним после обеда на тему о моих отношениях к Государственной Думе, так как — сказал он. — «мне очень трудно наладить мои отношения к нашей Государственной Думе — Рейхстагу. Она требует от меня большей мягкости нежели та, на которую я способен, да и ее не очень поощряет мой повелитель». В послеобеденной короткой беседе на эту тему фон Эйнем был очень любезен и просил вернуться к этому вопросу при нашей последующей встрече, которой, однако, вовсе и не было. За обедом Канцлер сказал мне, что Император примет меня завтра в среду, в Потсдаме, вместе со всеми моими спутниками, и что мы поедем вместе с нашим послом Свербеевым.

Ровно в 12 часов дня мы выехали с Потсдамского вокзала и прибыли в 12½ в новый дворец. Император принял меня одного в небольшой приемной комнате, перед гостиной, за которой была столовая, все же прибывшие, вместе с придворными ждали в гостиной, в которую вышла Императрица раньше, **{218}** чем кончился мой предварительный разговор с Императором.

Вильгельм II вышел ко мне навстречу чрезвычайно быстрою походкою. Он был одет в сюртук нашего Литовского полка и держал под рукою форменную фуражку полка. Его первые слова отличались необычайною живостью и даже какою-то студенческою веселостью. Он припомнил первую встречу его со мною в декабре 1905 года в большом Берлинском дворце. и прибавил: «насколько теперь стало лучше, Вы были тогда отставным Министром, а теперь Вы — первый Министр; тогда — помните — я говорил с Вами о Вашем революционном движении и об этом ужасном законопроекте о принудительном отчуждении земель, теперь об этом никто у Вас и не думает, а я с радостью слежу за тем, как быстро развивается Россия».

Потом он перешел на свидание в Балтийском Порте, припомнил как много смеялись мы тогда с ним, и как весело и беззаботно прошло это свидание, спросил о здоровье Императрицы и Государя и уже собирался

было идти в соседнюю комнату, когда я спросил его могу ли я испросить у него несколько минут аудиенции, когда ему угодно будет мне ее назначить, так как я имею особое поручение от моего Государя.

Очевидно предупрежденный об этом Канцлером, сразу сменивший свой веселый и беззаботный тон на сухой и строго официальный, переменившийся, как мне показалось, в лице, Император сказал мне: «потрудитесь сказать мне то, что Вам поручено теперь же, так как я предпочитаю выслушать неприятное сообщение сразу, нежели оставаться долго в ожидании того, что мне предстоит, так как я уверен, что не услышу от Вас того, что может мне доставить какое-либо удовольствие. Вы, конечно, начали бы с приятного сообщения, если бы имели сделать его мне».

При этом он сразу перешел с немецкого языка, на котором началась наша беседа, на французский. Я изложил Императору в точности то, что сказал в понедельник Канцлеру, выбирая самые спокойные выражения и оттенив в особенности то обстоятельство, что мой Государь узнал о намерении Императора только в самое последнее время и весьма сожалеет о том, что Его Величество не вошел с Ним в предварительное сношение по этому вопросу, который не может не затрагивать самым существенным образом интересы России на Босфоре.

Ни разу не прервав меня во все время моего изложения, Император, как только я окончил его, сказал самым **{219}** резким и даже раздраженным тоном: «Я вполне верю тому, что Вы точно передаете мне поручение Вашего Государя, но не моту не выразить моего удивления, каким образом Он забыл Вам сказать, что все о чем Вы мне сейчас передаете, было вполне подробно условленно между нами 10-го мая в Потсдаме, за обедом. Я тогда сказал Вашему Императору, что я решил отозвать фон-дер-Гольц-Пашу из Константинополя и заменить его другим Генералом. Я почти уверен даже, что Я тогда назвал и его преемника, который был намечен мною на этот пост уже давно.

Мне не было сделано ни малейшего возражения на мой план, а вдруг теперь, когда все мои распоряжения сделаны, когда Порта установила со мною все детали, вдруг Ваш Император протестует и налагает даже на меня ответственность за то, что я делаю помимо его что-то, нарушающее Его интересы. Я не принимаю такого упрека и не понимаю какую разницу усматривает Император Николай в том, что вместо одного моего Генерала будет другой. Ваш Министр Иностранных Дел ввел Вас в заблуждение и просто забыл, что все было решено по нашему обоюдному соглашению, и что я сделал даже то, чего я вовсе не был обязан делать, так как я надеюсь, что Вы, Господин Премьер Министр, не откажете мне в праве делать выбор, между моими генералами».

Давши Императору высказаться до конца и видя, что он раздражается все более и более, я просил его выслушать и нашу точку зрения, так как я имею повеление доложить Его Величеству, что с русской точки зрения нет никакого недоразумения в этом вопросе.

Я просил Императора прежде всего припомнить, что во время посещения Потсдама нашим Государем Его не сопровождал Министр Иностранных Дел, которому и после свидания Императоров не было сообщено кем бы то ни было о состоявшемся соглашении. Мы знали только о предположении заменить фон-дер-Гольц-Пашу другим Генералом в должности инспектора турецких войск, но о поручении ему командования константинопольским корпусом было нам совершенно

неизвестно. Я не могу быть судьею о том, в чем заключалась беседа Его Величества с моим Государем, но дозволяю себе удостоверить, что если даже такая беседа и имела место, то у Его Величества, моего Государя, не могло быть иного представления, как о предположении заменить фон-дер-Гольц-Пашу другим лицом из состава германской армии. Против этого Император Российский не имел и не имеет никаких **{220}** возражений и почитает этот вопрос делом исключительного усмотрения Германского Императора, ибо Россия не имеет никаких притязаний на то, чтобы к ней перешло право инструктирования турецких войск и не желает вовсе поднимать этого вопроса, дабы не вызывать новых осложнений политического характера.

Также смотрит и Франция, с которой Россия входила по этому доводу в совершенно определенные сношения. Совершенно иначе смотрит Россия на новый фазис в этом вопросе, — на поручение Германскому генералу командования константинопольскими войсками. Такое предположение равносильно переходу всей власти над турецкою столицею и над проливами в руки Германии, и на такую меру Россия ни в коем случае согласиться не может. Я полагаю, что и Франция заявит свой протест, да и Англия едва ли так просто посмотрит на такое изменение положения, с которым все успели свыкнуться. Очевидно, — сказал я что в этом деле, произошло крупное недоразумение, и мой Государь ограничил свое согласие на продление за Германиею привилегии инструктирования турецких войск исключительно в прежней форме, и изменение последней в проектируемую теперь сторону никоим образом не могло быть обусловлено словесным согласием двух монархов, а должно было быть закреплено особым обменом письменных нот, тем более, что Россия не считает себя в праве вынести какое-либо окончательное решение без согласия своего союзника, который столь же неподготовлен к такому решению, как и мы, осведомившиеся об этом совершенно случайно, в самую последнюю минуту.

Во время моих объяснений Император с трудом скрывал свое раздражение, попеременно то бледнел то краснел, и когда я остановился и замолчал, отчеканил мне официальным тоном: «Должен ли я принять Ваши слова, Господин Председатель Совета, как официальный протест, заявленный мне Русским Императором в ультимативной форме, или это дружеская передача взгляда Вашего императора, с которым я могу войти в непосредственное сношение, хотя бы для того, чтобы напомнить ему, что Я имел Его прямое согласие и думал, что действую с его ведома и одобрения».

Я помню хорошо мой ответ, потому что тогда же дословно записал всю аудиенцию. «Ваше Величаво изволите, близко знать моего Императора. Его деликатной натуре совершенно несвойственны резкие протесты, а тем боле ультиматумы. Личные Его отношения к Вашему Величеству еще более препятствуют **{221}** какой-либо возможности предъявления Вам протеста, в такой форме, которой принадлежал бы характер малейшей резкости, устраняющей возможность дружеского обсуждения случайно возникшего недоразумения.

Я точно передаю Вам взгляд моего Государя на этот острый вопрос, с полною уверенностью в том, что, в данном случае, как и во многих других два монарха, связанные давнею дружбой и одинаково стремящиеся к взаимному согласно, всегда найдут почву для разрешения несогласия. Я прошу Вас только верить тому, что мой Государь не может смотреть на этот вопрос с иной точки зрения, нежели та, которую я

изложил быть может недостаточно, но с полною откровенностью и совершенно правдиво, и я убедительно прошу Ваше Величество не настаивать на Вашем первоначальном намерении и пойти навстречу дружеской просьбы моего Государя, который, конечно, сумеет оценить Ваше намерение сгладить остроту, явившуюся в этом вопросе помимо всякого желания России.

Если Вашему Величеству будет угодно войти в непосредственное сношению с моим Государем, то я буду усерднейше просить Вас об одном, чтобы Вы изволили довести до сведения Его о том, что я исполнил перед Вашим Величеством Его повеление, тем более что я сочту своею обязанностью немедленно представить Его Величеству подробный письменный доклад об аудиенции, которою Вы меня удостоили».

Видимо несколько придя в себя от охватившего раздражения, Император Вильгельм сказал мне более спокойным, тоном: «Я прошу Вас не думать, что я имею какое-либо неудовольствие лично против Вас. Я Вам очень благодарен за Вашу сдержанность в докладе, очень ценю корректность избранной Вами формы, но не могу дать Вам окончательного ответа, так как должен переговорить с Канцлером и даже не знаю, не поздно ли и не сообщен ли уже Турецкому правительству окончательный текст нашего соглашения. Его последние слова, произнесенные в прежней форме веселого студента, были.: «Надеюсь, что наш спор не отнял у Вас аппетита, я же чертовски голоден и скажу Императрице, что Вы виноваты в том, что мы так запоздали к завтраку».

Во все время завтрака, Император изредка перекидывался самыми шуточными замечаниями со мною, напоминая поминутно наши веселые обеды и завтраки в Балтийском Порте, Императрица вела со мною самую бессодержательную беседу на тему об условиях жизни в Петербург, а после завтрака, во время кофе, не было больше и помина ни о чем напоминавшем наш напряженный разговор, хотя Император все время говорил **{222}** только со мною, и окружающим казалось, несомненно, что мне оказывалось им исключительное внимание. Он перевел быстро разговор на недавно произведенные в России археологические раскопки около Керчи и сказал, что он прочитал исключительным интересом газетные сообщения о найденных скифских древностях, которыми всегда особенно интересовался, и спросил меня каким путем мог бы он ближе познакомиться с добытыми редкими предметами.

Я знал, что раскопки были произведены особою экспедициею, снаряженною Императорскою Археологическою Комиссиею, и видел даже выставленные предметы в одном из помещении Зимнего дворца, отведенном Комиссии. Мне не стоило никакого труда обещать Императору доложить Государю о его желании, и я выразил уверенность в том, что очень скоро буду иметь возможность представить ему снимки с этой находки, тем более, что случайно, незадолго до моего отъезда была речь о том, чтобы Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг изготовила особый альбом наиболее интересных предметов в красках и в их натуральную величину.

Месяц спустя эти предметы, превосходно исполненные Экспедициею, были посланы Государем Императору Вильгельму при собственноручном письме, написанном в самом дружеском тоне, без малейших намеков на щекотливый вопрос, вызвавший такие горестные объяснения со мною.

Обратный мой путь в Берлин я совершил без Канцлера, который

остался в Потсдаме для своего доклада Императору, и мы условились, что я приду к нему в 5 часов дня.

Едва мы успели войти в вагон, как Директор Кредитной Канцелярии Л. Ф. Давыдов, приехавший в Париж ко времени моих переговоров о железнодорожном займе и вместе со мною остановившийся в Берлине, отвел меня в сторону и просил принять его тотчас же, как я буду свободен, для сообщения мне того, что я должен немедленно же узнать. Он, видимо, не хотел говорить ни в присутствии нашего посла Свербеева, ни при других моих спутниках.

Я принял его тотчас же по моем приезде в гостиницу «Континенталь», просил никого не принимать пока я не кончу моей беседы с Давыдовым и после его ухода имел еще время записать все, что он мне сказал, для доклада Государю, и имел потом, еще до представления моего письменного доклада в Ливадию, возможность дать Давыдову прочитать написанное, **{223}** чтобы устранить малейшую неточность в пересказе того, что было им передано мне.

Давыдов сидел за завтраком по левую сторону от Императора, посол Свербеев по правую. Кроме двух-трех, совершенно банальных обращений к нашему послу, весь завтрак Император разговаривал исключительно с Давыдовым, только изредка перекидываясь со мною небольшими замечаниями, каждый раз извиняясь перед Императрицею, что он прерывает ее разговор с ее «собеседником».

Разговор Императора с Давыдовым начался фразою, которая казалась сначала совершенно банальною:

«Вы довольны Вашим пребыванием в Париже»? Давыдов ответил ему: «мы, русские государственные чиновники, сильно обремененные нашею службою, особенно любим бывать в Париже, потому что находим там возможность несколько отойти от нашей однообразной жизни дома и в особенности потому, что находим там исключительную атмосферу полнейшей независимости и свободы, ценной именно тем, что даже в случае приезда в Париж по делам, никто нами там не занимается, даже не интересуется тем, что мы делаем, после окончания деловых переговоров, и все дают нам полную возможность просто отойти на минуту от всех забот и интересов, слишком беспощадно поглощающих всю нашу жизнь дома».

Император, видимо, не желал удовольствоваться таким оборотом разговора и заметивши, что он прекрасно понимает на сколько Париж представляет собою центр, куда, стремятся все, кому туда можно показаться, Он имеет в виду своим вопросом узнать совсем иное, а именно насколько он и, главным образом, его шеф, довольны достигнутыми результатами переговоров о расширении русской железнодорожной сети, о чем все газеты полны самых определенных сообщений, не скрывая в них, что исключительное внимание было обращено на развитие дорог имеющих несомненное и даже исключительное стратегическое значение.

Давыдов ответил ему, что он, конечно, в курсе того, о чем пишут французские газеты, хотя далеко и не все, но полагает, что Император хорошо осведомлен о том, какую цену следует придавать газетным сообщениям, которые далеко не всегда отличаются точностью, и он может только со всею положительностью удостоверить, что ни в одном из данных Председателем Совета Министров интервью не было даже

упомянуто **{224}** и слово «стратегические железные дороги» потому что, на самом деле, все заботы его, как и всего русского правительства, направлены теперь на развитие исключительно железнодорожного транспорта с целью приспособления его к экономическому развитию страны, проявившему такой исключительный расцвет за последние 7—8 лет, что не только нельзя оставаться без изыскания значительных новых средств для расширения и переустройства рельсовой сети для одних экономических нужд страны, но даже следует сказать, не скрываясь, что без этого условия Россия может дойти до самых больших трудностей в удовлетворении запросов ее промышленной и сельскохозяйственной жизни. Усилия России в настоящее время направлены, главным образом, на улучшению технических и финансовых условий нашего железнодорожного строительства, которые причиняют нам величайшие заботы, и он уверен, что его начальник будет очень рад представить Его Величеству очень интересные сведения по этому поводу, если только они представляют для него какой-либо интерес.

Император прервал его словами: «Меня совершенно не интересуют экономические соображения в деле развития рельсовой сети, потому что я отлично понимаю, что каждая страна должна принимать меры к тому, чтобы ее жизнь не страдала от недостатков своего транспорта, но чего я не могу понять, это то зачем России нужно усиливать свои чисто стратегические дороги и именно те, которые направлены в сторону Германии. В этом я вижу весьма тревожный симптом». На это Давыдов ответил ему следующее, внеся даже свои, личные небольшие исправления в сделанную мною запись.

«Каждую дорогу можно назвать, в известном смысле, стратегическою, потому что при известном понимании, можно с полною справедливостью указать, что по ней можно провести солдат и военные грузы. Усиление и улучшение железнодорожной линии, соединяющей две столицы — Петербург и Москву, увеличение на ней станционных путей, усиление ее подвижного состава можно также, при известных взглядах, считать мерою, имеющею стратегический характер. Но если отрешиться от такого предвзятого взгляда и рассмотреть представленный Россиею в Париже план ее железнодорожного строительства, на которое ей необходимо иметь ежегодно не менее пяти сот миллионов франков, не считая того, что она может тратить из своих бюджетных средств, то с очевидностью станет ясно, что не только Россия не предполагает строить ни одной линии, идущей в **{225}** сторону Германии, но что подавляющее большинство всех железнодорожных линий, намеченных к постройке, имеют чисто экономический характер и не имеют решительно никакою военного или, так называемого, стратегического значения.

Достаточно указать для оправдания этого утверждения, что наибольшая часть средств, намеченных к затратам, имеют в виду железные дороги на Урале, сооружение Южно-Сибирской магистрали, развито совершенно недостаточных путей сообщения в Туркестан и т. д.» Император, видимо, хотел переменить разговор, но Давыдов, не заметив этого, добавил еще:

«Ваше Величество изволите усматривать тревожный симптом в том, что Россия обращается к Франции в получении неотложно нужных ей средств для своих экономических целей. Но почему же она прибегает к этому средству. Только потому, что она видит готовность Франции идти навстречу ее стремлений, направленных к мирному развитию своей жизни, знает и верит полному отсутствию в ее политики каких бы то ни

было агрессивных намерений, тогда как другие рынки совершенно не интересуются Россиею и ее стремлениями: одни потому, что сами не обладают средствами, другие потому, что изменили свое прежнее отношение к финансовой политике России. Что же остается делать нам. Остановить наше внутреннее развитие — немыслимо и было бы прискорбно и даже вредно. Остается искать, для продуктивных целей, средства там, где они имеются и где нам верят, как видят насколько мы не жалеем никаких способов, что бы сохранить наше положение среди других держав и оградить всеми доступными нам средствами мир и общее спокойствию».

Император прервал Давыдова и, придавая своим словам более резкий и даже нервный тон, сказал:

«Оставимте этот вопрос. Есть другой, который меня беспокоит больше, нежели, вопрос о железнодорожном строительстве России. Неужели у Вас не понимают, куда ведет направление Вашей печати, усвоившее себе целиком приемы и направление французской и английской печати по отношению к Германии. Ее нападки на нас и лично на меня не предвещают ничего доброго. Все общественное мнение Германии глубоко возмущено ими. Ваши газеты забывают, что еще так недавно, в самую критическую для России пору войны с Японией, я предложил ей очистить от ваших войск Ваш западный фронт и гарантировал Вам полную Вашу безопасность. Во время **{226}** балканского кризиса, в часы самых опасных манифестаций я вел, как веду и сейчас, политику примирения и поддерживаю Вас во всем. И тем не менее, выходки Вашей печати, также как и выходки французской, с газетою господина Бюно-Варилла во главе, делаются совершенно невыносимыми, они ведут к катастрофе, которую я не смогу предотвратить. Скажите это Вашему шефу, прибавил Император, показывая в мою сторону.

Давыдов ответил, что он не преминет поставить меня в известность о всей беседе, которой он только что удостоен, но просил Императора Вильгельма разрешить ему ответить несколькими словами на только что им высказанное.

Положение печати в России — сказал он — совершено иное нежели в Германии. Здесь печать очень дисциплинирована, и сама охотно ищет постоянного осведомления от правительства и весьма дорожит им, считая до известной степени своим патриотическим долгом следовать директивам правительства и помотать ему.

В России она и недисциплинированна и укомплектована по преимуществу элементами, считающими своим непременным долгом критиковать правительство и относиться большею частью отрицательно ко всему, что делается им. Органы печати, благожелательно настроенные в сторону правительства, считаются далеко не бескорыстными, несмотря на то, что такое отношение совершенно несправедливо. Закон не облекает к тому же правительство достаточными средствами к тому, чтобы держать печать в рамках благоразумия, держать же печать под эгидою цензуры, очевидно, немыслимо при современном состоянии страны.

Печать в России, таким образом, гораздо более свободна, чем это принято думать, и, несмотря на это, та же печать постоянно жалуется на недостаточную свободу, ей предоставленную, и этот лозунг проводится ею и во всей заграничной печати, которая, в свою очередь, постоянно говорит, о каком-то гнете правительства на печать, не давая себе отчета в том, что этот гнет существует просто в ее воображении.

Независимо от этого, нельзя забывать, что много органов печати находится в руках людей враждебно настроенных к правительству, очень плохо осведомленных и не желающих просто осведомляться у правительства. Эти элементы просто не дают себе отчета в том вреде, который они наносят стране, а всякая попытка разъяснить их неправильное освещение принимается как давление на печать.

{227} Слушая Давыдова, Император едва сдерживал свое неудовольствие и резко ответил ему:

«Я не могу помочь делу, если оно находится с таком положении, как Вы мне это изображаете. Я должен только сказать Вам прямо — я вижу надвигающийся конфликт двух рас: романо-славянской и германизма, и не могу не предварить Вас об этом».

Завтрак подходил к концу, и Давыдов успел только сказать Императору, что славянский мир не предполагает атаковать кого бы то ни было и опасается только одного — атаки германизма, направленной на него и на его существование. Россия в частности желает только одного — мирного существования, отлично давая себе отчет в том, насколько оно ему необходимо, хотя бы для того одного, чтобы догнать то время, которое было упущено ею в прошлом, чтобы занять среди других народов место, на которое она в праве рассчитывать среди культурных стран. Что же касается Германии, то не имея права говорить о ней, он опрашивает себя, что может она выиграть от вооруженного конфликта.

Ей нужны предметы первой необходимости для ее исключительного по интенсивности промышленного оборудования и еще больше она нуждается в мировых рынках для вывоза своих произведений. Что дадут ей последствия вооруженного катаклизма.

На эту реплику Император ответил Давыдову:

«Вы разумеете столкновение германизма с славянством, предполагая, вероятно, что первый начнет враждебные действия.

Если война неизбежна, то я считаю совершенно безразличным кто начнет ее, и затем последние его слова были: «мы с Вами, по-видимому, различно оцениваем события. Я очень озабочен ими и говорю Вам совершенно определенно, что война может сделаться просто неизбежною, и предупреждаю Вас об этом, потому, что я предпочитаю вообще говорить с финансистами, так как они и более осведомлены и умеют оказать то, что думают, тогда как господа дипломаты только могут создавать ненужные осложнения. Поверьте мне, что я ничего не преувеличиваю».

Расставшись с Давыдовым, я тотчас же записал все, что он мне сказал, и так как до моего свидания с Канцлером у меня осталось всего нисколько минут времени, то я условился с Давыдовым, что перепишу мою запись и покажу ее ему уже в Петербурге, прежде чем внесу в мой всеподданнейший доклад, или сохраню в виде прибавления к докладу, чтобы **{228}** устранить возможность проникновения в печать. Разумеется,, обо всем я поставлю в известность Сазонова.

Впоследствии уже, находясь в Париже в беженстве, я написал обо всем эпизоде моего свидания с Императором Вильгельмом особую статью для Ревю-дэ-Монд. Журнал набрал ее в корректуре, но затем долгое время не печатал ее и кончил тем, что не напечатал вовсе. Почему поступил этот журнал таким. образом я не знаю, хотя мне в точности известно, что бывший посол в Берлине Жюль Камбон говорил дважды Директору Журнала о крайней желательности напечатать мою статью.

На всякий случай я храню для памяти корректуру этой ненапечатанной статьи, которая воспроизведена здесь во всей точности.

Свидание мое с Канцлером было назначено в 5 часов вечера. Когда я пришел к нему, меня провели к нему без доклада, и Бетман-Гольвегь встретил меня словами: «Поздравляю. Вас от всего моего сердца, Вы достигли успеха на три четверти. Нужно только придумать какой-либо компромисс, чтобы дать нам приличный выход из создавшегося положения, так, как турки уже согласились поручить командование одним корпусом нашему Генералу. Если Ваше правительство не будет спорить, чтобы мы имели в наших руках, как учебную единицу, один из армейских корпусов турецкой армии, то я обещаю Вам мое содействие в том, чтобы мы не настаивали на Константинопольском корпусе, лишь бы Ваш протест не был повторен Францией».

Не принимая на себя окончательного решения вопроса и ссылаясь на то, что я должен обо всем доложить моему Государю, я предложил в виде попытки к компромиссу исключить, во всяком случае, Константинополь и Адрианополь и избрать один из малоазиатских корпусов, предоставив нам сговориться с Францией и обеспечить ее обещание не протестовать, если выбор корпуса не будет близко затрагивать ее интересов.

Я настаивал, во всяком случае, на том, чтобы Германский Генерал не был официально назначен командиром корпуса, а была бы найдена более приемлемая формула, ясно указывающая: на то, что его отношение имеет чисто учебный характер.

Подумавши немного, Канцлер сказал мне: «я понимаю, Вас удовлетворит, вероятно, такая постановка, при которой при турецком командире нашему Генералу будут даны полномочия руководить им в смысле учебных занятий и применение на практике выработанных нами уставов».

Я ответил на это утвердительно, и прибавивши, что мы не **{229}** имеем фактической возможности следить за секретными наставлениями и их применением, но не можем отказаться от принципиальной стороны вопроса, столь просто разрешающей вопрос о проливах и преобладании Германии на Босфоре. На этом мы расстались, причем Канцлер сказал мне на прощание: «Вы можете быть довольны Вашим приездом к нам, так как я почти уверен, что мы найдем формулу, которая даст Вам удовлетворение.

Я успел передать все обстоятельства французскому послу, который обещал немедленно телеграфировать в Париж и высказал лично от себя, что он думает, что соглашение между нами будет легко достижимо и, что и он находит, что я сделал все, чего можно было добиться при создавшемся положении вещей.

Теперь много лет спустя, мне трудно уловить все оттенки впечатлений того времени, но у меня было, как тогда, так и теперь, впечатление, что Бетман-Гольвег был совершенно искренен со мною и искал и сам выхода из того положения, которое создалось помимо его участия, исключительно под влиянием известных кругов. Сам он, я думаю, действительно не сочувствовал принятому уже решению и отлично понимал, что ни мы ни Франция не можем оставить без протеста такое решения, а такой протест только усугублял и без того напряженное положение дел ближнего Востока.

Скажу даже больше, мне думается, что Канцлер вообще не хотел войны и был со мною вполне искренен, когда, припоминая нашу встречу на Елагином острове, он тогда еще говорил, что Германия достигла мирным путем таких результатов в своей внешней политике, которые могут только укреплять ее продолжать мирное развитие их. Он был бесспорно не самостоятелен, и во всей беседе его явно слышалась нота неудовольствия на то, что, неся формальную ответственность за ход дел, он должен считаться с влияниями превышающими его власть.

На другой день, рано утром мы выехали в обратный путь домой. Поезд отходил в 7 часов утра. Несмотря на такой ранний час, Канцлер встретил меня на вокзале, поднес букет жене, отвел меня в сторону и опросил с каким чувством уезжаю я из Берлина.

Повторивши ему, что у меня, к сожалению, нет уверенности в достигнутом мною результате, что меня продолжает озабочивать настроение Императора и окружающих его военных, но что я надеюсь на его, Канцлера, помощь в вопросе, в котором Россия не может изменить своей точки зрения. Я просил **{230}** его сказать мне совершенно откровенно, хотя бы и частным образом, на что могу я рассчитывать. Его ответ был буквально следующий:

«Я даю Вам мое слово, что все мое влияние будет направлено на то, чтобы исполнить Ваше желание, и я даже имею моральное право сказать Вам, что Вы уже достигли Вашего желания, но в обмен на такую мою откровенность, я прошу Вас сказать мне не видите ли Вы других тревожных точек в наших отношениях и не можете ли предупредить меня о том, на что мне следует обратить мое особенное внимание».

До отхода поезда оставалось всего несколько минут. Я успел только сказать Канцлеру, что, помимо общего политического положения и постоянного усиления военных приготовлений в Германии, я смотрю с особою тревогою на подготовительные работы к пересмотру торгового договора, так как до меня доходят слухи весьма тревожного свойства о том, в каком направлении ведутся работы в Германии, и какие требования будут выдвинуты с ее стороны.

Взявши меня за руку, Бетман-Гольвег сказал мне: «Вы совершенно правы, этот вопрос гораздо острее, чем вопрос о Лиман-фон-Сандерсе, но зачем же с Вашей стороны поднимается так много ненужного шума, и неужели нет возможности и в этом вопрос найти средний путь. Как хорошо было бы, если бы Вы опять приехали к нам, и мы могли бы спокойно переговорить обо всем».

На этом мы простились. В тот же день, в вагоне по германской дороге, а затем на следующий день уже в русском вагоне между Вержболовом и Петербургом, я продиктовал. моему секретарю Дорлиаку подробный всеподданнейший доклад, перечитал и поправил его тотчас же по приезде в Петербург, показал его в проекте Сазонову, который не сделал на него ни одного замечания, и я немедленно послал его Государю в Ливадию, прося Его ознакомиться с ним до моего приезда, а Сазонова просил представить от себя заключения то всем его сторонам.

С. Д. сообщил мне на другой день, что он представил Государю простое заявление, что он вполне присоединяется ко всему, что мною сделано, и будет только ждать уведомления Свербеева об окончательном решении со стороны Германии. Как известно, на этот раз наш протест был формально уважен, назначение Генерала Лимана-фон-Сандерса

командиром второго корпуса в Константинополе не состоялось, и мы имели право сказать, что наша точка зрения была принята.
{231} Что было затем сделано после моего ухода в конце января 1914-го года мне уже неизвестно.

Об этом моем всеподданнейшем докладе я распространяться не стану. Он сделался предметом гласности, так как большевики напечатали его в конце 1928-го года в особом издании под названием «Черная Книга».

Уже в июле 1924-го года в Брюсселе появился ряд статей в одной из газет, посвященных русскому вопросу, в которых автор ссылается на тот же мой доклад, но уже с совсем иной точки зрения, находя в нем указание на то, как я обманывал Французское Правительство, выманивая у него деньги на постройку железных дорог, обещая Генералу Жоффру начать немедленно постройку стратегических дорог в Польше и — не исполнил этого обещания.

Автор этих статей просто не знал, что никакого фактически разработанного плана постройки стратегических дорог у Генерала Жоффра не было, о чем я уже упомянул в своем месте, а был ряд схематически набросанных на листке бумаги длинных магистральных линий, прорезывавших вдоль и поперек чуть ли не всю Россию. Не знал он также или не хотел знать, что все мое соглашение об открытии России пятилетнего кредита на усиление ее железнодорожного строительства было формально осуществлено только в январе 1914-го года, а 30-го числа того же месяца я был уволен, да и война была объявлена 19-го июля того же года и следовательно никакая сила в мире не могла за этот ничтожный промежуток времени построить ни одного метра новых железных дорог.

Впрочем, все это совершенно безразлично для газетных статей, так как весь интерес сводится только к тому, чтобы сказать, что Россия и ее представители всегда думали только о том, чтобы занимать деньги и не исполнять своих обязанностей.

С границы, из Вержболова, я послал Государю телеграмму с извещением о том, что я вернулся из моей поездки и, по принятому порядку, испрашиваю у Него: угодно ли Ему повелеть мне вступить в исполнение моих двойных обязанностей: Председателя Совета Министров и Министра Финансов. По странной случайности, ответ на мой запрос, с повелением вступить в должность, я получил только та третий день моего возвращения в Петербург, когда я уже фактически окунулся во все прелести, ожидавшие меня по моем возвращении.

Было ли это случайное запоздание в ответе, не отлучался ли Государь куда-либо из Ливадии, или Он раздумывал не следует ли ему воспользоваться настоящим моментом и **{232}** уволить меня, — я этого не знаю и никогда не узнаю, но для меня не подлежать никакому сомнению, что мысль о моем увольнении давно уже была в уме Государя, и только Он все еще воздерживался привести ее в исполнение и осуществил ее лишь в конце января 1914-го года.

Прошло всего не более 2-3 дней после моего возвращения, как Министр Иностранных Дел Сазонов получил от А. П. Извольского подробное письмо от 7/20 ноября с сообщением о 10-ти дневном моем пребывании в Париже.

Это письмо содержало чрезвычайно лестные для меня сведения о том, как отзывались о моем пребывании высшие представители французского правительства.

Об этом письме я ничего не знал, потому что Сазонов, несмотря на вполне добрые, казалось бы, наши отношения, не счел почему-то нужным сообщить мне о нем и даже не обмолвился о нем ни одним словом, несмотря на то, что оно не могло не быть приятно как мне, так и ему самому. Почему он так поступил — кто разъяснит это теперь!

Только в апреле 1932 года оно стало мне известно через Советское издание 1927 года «Монархия перед крушением».

{233}

ГЛАВА IX.

Развитие интриги против меня. — Проект назначения Штюрмера Московским Городским Головой. Непосредственные, в обход Совета, сношения Маклакова по этому вопросу с Государем. — Поездка в Ливадию. — Доклад Государю о моей заграничной поездке, о вреде назначения Штюрмера и о беспокоящем меня отсутствии единства в Совете Министров. — Неутверждение Государем назначения Штюрмера. — Возвращение в Петербург. — Сообщение Совету Министров о моем докладе Государю и обращение мое к министрам по вопросу о тяжелом положении, создаваемом рознью в среде Совета. Совещание под моим председательством для рассмотрения записки Сазонова по турецкому вопросу.

Давно не было такого напряженного положения вещей, как то, которое я застал, вернувшись после моего 7-минедневного отсутствия.

Я не говорю уже об общеполитическом положении, которое заставляло быть настороже каждую минуту, но мое личное положение было настолько острым, что все говорило за необходимость готовиться к его выяснению всеми доступными мне способами. Интрига против меня успела развиться и окрепнуть за время моего вынужденного отсутствия, и это стало мне ясным с первого же дня.

Меня заменял по Совету Министров Государственный Контролер П. А. Харитонов.

Я уже не раз говорил, что он лично не принимал деятельного участия в кампании против меня, так как не видел в этом личного расчета и вообще не стремился переходить из своего спокойного положения на более боевое и ответственное.

Но он был обо всем отлично осведомлен и далеко не все сообщал мне, так как не хотел портить отношений с той **{234}** группою Министров, которые вели интригу против меня, и, в особенности, с Кривошеиным и Щегловитовым, не зная хорошенько, кто из них построит свое благополучие на моих развалинах. Тотчас по моем приезде, Харитонов приехал ко мне и посвятил меня в два вопроса, совершенно мне неизвестные, а именно, что так называемый думский кризис — разрешился при содействии Щегловитова и что ему стало известно, что Маклаков послал без согласия и даже обсуждения в Совете Министров всеподданнейший доклад о назначении, властью правительства, Московским Городским Головою Члена Государственного Совета Штюрмера.

Он прибавил, что Маклаков, на вопрос его об этом, ответил ему, что он никаких личных распоряжений по этому поводу не делал, ясно намекая, что что-то им делается очевидно по повелению Государя, но что Председатель Государственного Совета Акимов сказал ему об этом совершенно просто, когда Маклаков спрашивал, не имеет ли он каких-либо возражений против такого предположения, — что он не видит препятствий против предположенной меры.

В тот же день вечером, я созвал всех Министров в частное собрание у меня в кабинете и просил их выслушать мое сообщение о результатах моей поездки и сообщить мне о наиболее выдающихся событиях по каждому ведомству за мое отсутствие.

С.Д. Сазонов, выслушавши мой черновой проект всеподданнейшего доклада о посещения Рима, Парижа и Берлина, заявил, что он находит достигнутые результаты настолько благоприятными, что сам не надеялся на столь блистательный исход немецкого конфликта. Рухлов вышел из своей обычной сдержанности и сказал, что он готов повторить то, о чем уже не раз заявлял, что находит, что теперь мы сдвинулись с мертвой точки в деле строительства железных дорог, и убеждается в полной правоте моих взглядов.

Остальные Министры ограничились пересказом разных второстепенных подробностей текущей жизни. Кривошеин, Маклаков и Щегловитов молчали. Первый из них сказал только, что он настолько болен, что намерен просить Государя о продолжительном отпуске, о чем имеет в виду переговорить со мною отдельно»

Мне пришлось обратиться к Маклакову и Щетловитову с просьбою посвятить меня в курс того, что мне стало уже известно, а именно о ликвидации конфликта с Думою и о **{235}** проекте замещения должности Московского Городского Головы назначением от Правительства — Штюрмера.

Рассказ Щегловитова был весьма оригинален по построению. Он начал с того, что всем Министрам известно, насколько я тяготился создавшимся странным положением с Государственной Думою, вследствие принятого с одобрения Государя решения Министров не посещать заседания Думы до принятия ее Председателем мер к тому, чтобы подобные явления не могли более повторяться, и что он думает, что ему удалось оказать мне и всем нам услугу тем, что ему представилась возможность встретиться с Родзянкой и убедить его, при открытии новой сессии, ликвидировать этот инцидент заявлением вполне отвечающим той формуле, которая была предложена мною еще в конце мая.

По его словам, подтвержденным некоторыми из Министров, заявление Родзянки было совершенно приличное, а Тимашев сказал даже, что после этого заявления он счел себя в праве быть в Думе и давать объяснения в Комиссии, что и было отмечено самым сочувственным образом некоторыми членами Думы.

Я поблагодарил Щегловитова, сказавши ему, что не могу не выразить моего удовольствия, что этот инцидент исчерпан и, при том без моего вмешательства, которое не имело успеха в начали лета.

Несколько дней спустя меня посетил член Думы Н. П. Шубинский, и передал мне, что тотчас после визита своего к Щетловитову Родзянко рассказывал ему, в его кабинете в Думе, в присутствии некоторых членов Думы, что Щегловитов просил его ликвидировать майский инцидент и даже передал ему собственноручный письменный набросок того

заявления, которое он просил сделать в Думе, объяснивши при этом, что он в точности знает, что я буду уволен Государем в самом близком времени, между прочим, потому, что Государю крайне неприятен весь инцидент с Думою, и что он, Щегловитов, имеет все основания знать кто заменит меня на должности Председателя Совета Министров, давши при этом косвенно понять, что этот мой преемник будет именно сам Щегловитов.

По крайней мере, Родзянко, по словам Шубинского определенно говорил, что Родзянко находил крайне желательным отнестись положительно к такой просьбе будущего Председателя Совета, и что он сумеет — «дисконтировать», по его словам, оказанную ему услугу. Кто из перечисленных лиц говорил правду и кто из них фантазировал, — об этом **{236}** трудно судить теперь, тем более, что никого из них нет более в живых.

Второй вопрос — с Маклаковым — вызвал гораздо большие осложнения. Я начал с того, что спросил Министра Внутренних Дел насколько справедлив дошедший до меня, тотчас по моем возвращении, слух о том, что им заготовлен всеподданнейший доклад о назначении в Москву Городским Головою, по избранию Правительства, Б. В. Штюрмера, которому я не могу не придать полной достоверности, так как прочитал в первом же попавшем мне в руки на границе № «Гражданина» такие намеки по этому поводу, которые заставляют меня придавать этому слуху значение правдоподобия. А так как я не допускаю мысли о том, чтобы такая мера, могла быть принята без обсуждения ее в Совете Министров, то я прошу П. А. Харитонова посвятить меня в происходившие об этом суждения и решение Совета.

Харитонов ответил коротко, что он ничего не знает об этом, так как Совет Министров не был вовсе привлечен к решению этого дела, и если бы он знал что-либо об этом, то, конечно, отложил бы рассмотрение такого дела до моего возвращения, как это он сделал по целому ряду таких вопросов, которые, имея существенное значение, не требовали спешного решения.

Маклаков попытался сначала вовсе уклониться от всяких объяснений, заявивши, что он получил прямые указания от Государя и не считал себя в праве задерживать исполнение Высочайшей воли внесением дела в Совет Министров, до которого оно даже и не касается.

Мне пришлось поэтому сразу открыть столкновение. Я заявил, что вижу из ответа М-ра Вн. Дел, что дошедший до меня слух верен, и прошу поэтому категорически объяснить мне в каком положении находится дело, дабы я мог привлечь Совет к выражению своего мнения и представить его Государю.— «Я вчера отправил мой доклад Его Величеству», ответил Маклаков и больше не произнес ни одного слова.

Тогда я просил Совет выслушать меня, высказать откровенно мнение каждого из нас и уполномочить меня доложить Государю не только мой взгляд, но и все, что будет высказано присутствующими, дабы на нас не лежало ответственности за те последствия, которые неизбежно проистекут из такого действия М-ра Вн. Дел.

Я изложил подробно Совету, как я смотрю на это дело и какие последствия предвижу из такого незаконного **{237}** и опасного решения. Оно не только не разрешит затяжного кризиса с замещением должности Московского городского головы вследствие неутверждения правительством нескольких, последовательно избранных кандидатов нежелательного, с точки зрения правительства, направления, хотя в числе

их были и такие мало опасные и далеко не влиятельные лица как Катуар, но, напротив того, придаст ему характер прямого конфликта Москвы с Верховною властью и неизбежно примет такие размеры, что придется фактически закрыть городское общественное управление в Москве и избрать такой способ ведения городского хозяйства, для которого нет никаких законов, ни тем более практических методов осуществления.

Я указал при этом и на то, что личность избранного кандидата для такого исключительного выхода из трудного положения еще более усугубляет запутанность положения. Воспоминание о времени исполнения им обязанностей Председателя Тверской Губернской Земской Управы, также по назначению от правительства, слишком свежи еще в памяти у всех, его политическая окраска не нуждается ни в каких комментариях, и самая элементарная осторожность заставляет во всяком случае, предвидеть, что появлению Б. В. Штюрмера может сопровождаться такими эксцессами в Москве, что на нас лежит прямой долг доложить обо всем Государю, а не быть слепыми исполнителями отданного им приказания, даже если бы оно было на самом деле отдано по Его личному усмотрению, — в чем я буду сомневаться до тех пор, пока мне М-р Вн. Д. не представит неоспоримых доказательств.

Большинство Министров приняло деятельное участие в прениях. Молчали только Кассо и Сухомлинов. Никто из говорящих не поддержал Маклакова. Что думал каждый из них, — я, конечно, не знаю, но высказались все, кроме молчавших, самым резким образом, и все суждения заключались в развитии и дополнении мыслей мною набросанных. Не отставал от других и Щегловитов, а Сазонов, Тимашев, Харитонов, Григорович и Рухлов не скрывали своего возмущения и заявили мне, что они вполне солидарны с моею оценкою и просят меня довести об этом до сведения Государя и присоединяются ко всем тем мерам, которые я предложу, чтобы избавить не нас, а Государя от неисчислимых последствий такого шага.

Останавливаться далее на обсуждении этого вопроса не было никакой надобности. Я заявил Совету, что буду немедленно **{238}** просить разрешения Государя приехать в Ливадию, но так как мне придется обождать пока будет составлен и переписан мой доклад по вопросам внешней политики, а это потребует все же три-четыре дня и тем временем посланный Министром Вн. Дел доклад может быть утвержден, то я сегодня же пошлю Его Величеству телеграмму, в которой выскажу взгляд всего Совета, кроме Маклакова, и буду просить не утверждать доклада последнего, то крайней мере, до выслушания моих личных разъяснений.

Я не скрыл от Совета, что в случае безуспешности моих представлений, я буду просить Государя об увольнении меня от должности, тем более, что не могу не предвидеть столкновения и с Сенатом, который может отказаться от опубликования Высочайшего повеления, как это он сделал по Военному ведомству, отказавшись распубликовать новое положение о Военно-Медицинской Академии, составленное с нарушением законов о порядке рассмотрения дел этого ведомства, выходящих за пределы тех особых законоположений, которые были изданы для того ведомства. Все Министры просили меня так и поступить, с Маклаковым же мы разошлись не простившись, так как он ушел ранее других.

На другой день утром я поехал к Председателю Государственного

Совета Акимову, чтобы узнать у него каким образом он не протестовал против такого назначения, хотя бы по тому одному, что Штюрмер — член Государственного Совета и для него, как председателя, не безразлично, какие скандалы могут произойти с лицом, носящим это звание.

Разъяснивши ему все, что произошло накануне в Совете, я высказал, что для меня совершенно очевидно, что все это дело рук Кн. Мещерского, который всегда оказывал особое покровительство Штюрмеру, и если бы он, Акимов, воспротивился такому невероятному плану, то Маклаков отказался бы от него, зная каким доверием он пользуется у Государя. Я не скрыл от него, что вчера послал Государю телеграмму и показал даже копию, пояснив ему, что я намерен предпринять по этому поводу, а в случай неуспеха, буду просить об увольнении меня от службы. Акимов сказал мне, что он недостаточно вдумался в этот вопрос, когда ему передал Маклаков о своем намерении, но видит теперь, что опасность действительно очень велика, и уверен в том, что Государь согласится со мною, тем более, что для него совершенно ясно, что инициативы Государя тут совсем нет и, действительно, все придумано Мещерским, а исполнено **{239}** легкомысленным Маклаковым, в порядке угодничества перед его покровителем.

Через два дня, — это было в воскресенье, — ко мне позвонил по телефону Штюрмер и просил разрешения приехать ко мне. Я назначил ему — в тот же день перед самым моим обедом. Он начал с того, что он крайне поражен дошедшим до него слухом, что об нем произошел очень крупный разговор между мною и М-ром Вн Дл. Он совершенно и не подозревал, будто бы о том, что его «прочат» в Московские городские головы, и он просит меня, в виду наших старых отношений (в начале семидесятых годов мы были одновременно столоначальниками в статистическом отделении Министерства Юстиции, но с тех пор почти не встречались) высказать ему мое откровенное мнение, которому он заранее подчиняется.

Я повторил ему все, что говорил в Совете Министров и с Акимовым, и не скрыл, что послал уже телеграмму Государю, буду докладывать лично, как только получу разрешение приехать в Ливадию и употреблю все мои усилия к тому, чтобы его назначение не состоялось, так как считаю, что и мой и его долг заключается в том, чтобы оградить Государя от вредных распоряжений, а не потворствовать случайным прихотям, с чьей бы стороны они ни исходили.

Штюрмер продолжал уверять меня, что он во всем этом деле решительно неповинен, благодарил меня за откровенность и просил передать Государю, что он Его усердно просит отменить Его намерение, так как и сам видит, что доброго из этого ничего не произойдет, а избежать больших осложнений на самом деле будет трудно.

Я убежден, что Штюрмер просто говорил неправду. Он отлично знал обо всем от Мещерского и Маклакова, был в величайшем восторге от назначения своего в Москву, просил даже Министерство Внутренних Дел, как это мне потом подтвердил Директор Департамента Полиции Белецкий, чтобы ему разрешили поселиться в доме Генерал-Губернатора на Тверской, так как сам предвидел, что ему просто не удастся найти квартиру, но со мною говорил в указанном тоне для того, чтобы сказать потом, — если бы мои настояния расстроили весь план, — что он сам просил освободить от назначения, сулившего ему большие неприятности.

По своей природе трусливый и совершенно не склонный принимать на себя сложные и трудные обязанности, он также легко согласился со мною, как принял и милостивое предложение своего **{240}** покровителя Мещерского, вероятно, не давши себе вовсе отчета в том, какие осложнения могло вызвать такое назначение для него самого.

Телеграмма от Государя с разрешением приехать в Ливадию пришла только на третий день, а следом за нею пришла и депеша от Министра Двора, извещая меня о том, что моя другая телеграмма, касающаяся «Москвы» принята благожелательно, и мне поручено сообщить, что будут ждать моего приезда и не примут решения до него.

Приехал я в Ялту, как всегда, около трех часов дня и немедленно послал донесение Государю о моем прибытии, прося указать мне время, когда я могу явиться с докладом. Я получил приглашение приехать в 8 часов вечера, если не устал с дороги, как передал мне прибывший с автомобилем камер-лакей.

Помню хорошо, что день был мрачный и сырой, пахло зимой и дворец был пуст и без обычного оживления. Государь принял меня в его верхнем кабинете, с его привычною приветливою улыбкой, но мало расспрашивал о моей заграничной поездке, как будто мы виделись совсем недавно, спросил только совсем ли я оправился от болезни в Риме и сразу перешел к так называемым очередным делам, сказавши мне, что он успел уже прочитать мой подробный доклад о том, что я делал в Риме, Париже и Берлине, вполне одобряет все, что я говорил и делал и прибавил: «у нас слишком много других вопросов, чтобы останавливаться на том, что так ясно, и Я могу сказать Вам только то, что Я уже написал на докладе и передал мне тут же Его известную резолюцию, опубликованную теперь большевиками в их издании «Черная Книга» и которая содержит в себе прямое одобрение всего, что я сделал, с прибавлением, что Государь находит, что все переговоры были ведены с полным соблюдением интересов и пользы России.

Привычной для меня благодарности или выражения удовольствия и какой-либо любознательности в отношении подробностей всего, что пришлось пережить, заявлено на этот раз не было. Меня удивило в особенности и то, что свидание с Германским Императором не остановило на себе особенного внимания, и мне пришлось самому просить разрешения представить некоторые разъяснения, так как доклад мой, при всей его подробности, не мог, конечно, передать всех частностей и личных впечатлений, да и многое не должно было быть даже включено в письменное изложение.

Государь слушал меня, ни разу меня не останавливая, и **{241}** только в том месте моего рассказа, где я привел слова Императора Вильгельма о том, что все было условленно с Государем в мае месяце, в Потсдаме, Государь заметил как бы вскользь, «ничего подобного, конечно, не было, но я нимало не удивляюсь, так как уже не раз я встречался с тем же приемом сваливать с больной головы на здоровую».

В заключение моего объяснения Государь оказал только: «ну подождем как исполнит Германский Канцлер данное Вам обещание. Я думаю, что на этот раз, формально они уступят нам, тем более, что Сазонов донес мне, что у Свербеева вполне сложилось убеждение что Вы произвели должное впечатление».

Видя, что Государь мало реагирует на мой доклад и вовсе не спрашивает меня о том впечатлении, которое оставило мне пребывание в

Берлине, я сам перешел на изложение моих выводов из этой короткой остановки и мимолетного обмена мыслей с германскими государственными людьми и сказал Государю, что мое заключение о положении дел в Германии гораздо более пессимистическое, нежели я думал первоначально и даже считал себя в праве изложить в письменном докладе, доступном, во всяком случае, нашим канцеляриям.

Я не могу, конечно, утверждать, сказал я, что Германия идет прямым и неудержимым шагом к войне с нами в самом близком будущем, но мне очевидно, что отношение к нам самое враждебное и раздраженное, и я выехал из Берлина под самым мрачным впечатлением о неминуемом приближении катастрофы.

Имперский Канцлер не держит в руках всех нитей внешней политики; она ведется лично Императором и всесильною теперь военною кликою и нам нужно не только быть сугубо осторожными во всем, но, в особенности проверять ежедневно нашу боевую организацию и устранять те недостатки в усилении ее, на которые я много раз обращал внимание и которые вызывают постоянно столь резко враждебное ко мне отношение Военного Министра.

Зная, что этот вопрос всегда оставляет в Государе крайне неприятный осадок и даже прямое неудовольствие ко мне, я сказал Государю, что я не имею вовсе в виду беспокоить его какими-либо сетованиями на Генерала Сухомлинова, а докладываю только, что при моих отношениях с ним с апреле 1912 года, я уже не имею возможности располагать точными сведениями о ходе исполнения наших военных заказов, так как учреждения Военного ведомства просто отказывают моим представителям в **{242}** сообщении им отчетов по заготовительным операциям, постоянно указывая на то, что я должен лично обращаться об этом к Военному Министру, а он обещает прислать их мне и постоянно забывает это делать, ставя меня просто в совершенно недопустимое положение. Я могу судить только по отрывочным сведениям, попадающим ко мне по поводу испрашиваемых отдельных кредитов, и эти сведения рисуют мне такую печальную картину невероятной волокиты и медленности, что я не могу достаточно решительно докладывать об этом просто по долгу лежащему на мне говорить то, что мне известно, хотя бы для того, чтобы мне не был впоследствии сделан справедливый упрек в том, что я скрыл то, что знал.

Но денежная сторона вопроса, мне слишком ясна, и она громко говорит о том, что мы не умеем пользоваться отпускаемыми на оборону кредитами и просто не в состоянии заготовить то, что настоятельно необходимо для снабжения армии. Результатом этого — я крайне опасаюсь — будет то, что грянет гроза, и мы выйдем в поле настолько же готовыми к бою «до последней пуговицы», как вышли в бой французы в 1870-м году.

Когда Генерал Жоффр был здесь в июле, у Военного Министра было неизрасходованных остатков от кредитов более 200 миллионов, в настоящую же минуту, после отпущенных ему добавочных ассигнований у него остается свыше 250 миллионов. Я сказал Государю, что не хочу Его вовсе огорчать какими-либо моими разногласиями с Военным Министром, которому я теперь уступаю во всем, чтобы не было повторения его жалоб на меня, — но не могу не предостерегать Государя от той опасности, которую вижу и предотвратить которую лишние всякой возможности. Государь взял от меня ведомость об остатках от кредитов и сказал только: «будьте совершенно спокойны, Я близко слежу за ходом

всего дела, и Вы скоро убедитесь в том, что все эти остатки растают, и Вам придется усиливать отпуски на оборону». Мне не было возможности продолжать далее мои настояния. Он как-то оборвались, потому что Государь замолчал, отвернувшись в сторону моря, потом, точно очнувшись, долго и пристально смотрел мне прямо в глаза, и, наконец, произнес: «все, что Вы мне оказали, я глубоко чувствую, благодарю Вас за прямоту Вашего изложения и никогда не упрекну Вас в том что Вы скрыли от меня что-либо. На все — воля Божия». После, этого Государь сразу перешел к самому острому вопросу — о **{243}** Штюрмере.

Видимо, Он ждал моего вопроса, вынул из папки мой доклад и всеподданнейший доклад Маклакова и сказал мне: «Я исполнил Ваше желание и отложил доклад Министра Внутренних Дел до Вашего приезда и очень рад тому, что сначала Ваша телеграмма, а затем и доклад пришли вовремя, и Я не успел еще утвердить предположение Маклакова, так как Вы знаете, что Я не люблю изменять принятых решений».

Я доложил все, что происходило в Совете Министров, передал мнение Председателя Государственного Совета и затем подробно развил всю недопустимость такой меры, по существу, и неизбежные осложнения с Городом Москвой, из которых нельзя найти никакого исхода, кроме полного отступления впоследствии, что неизмеримо хуже для Правительства, нежели даже продолжение внешнего ненормального положения — многократного неутверждения избранного городом кандидата, в котором есть, по крайней мере, одно — что правительственная власть не вышла из рамок законности. Государь все время слушал меня с видимым спокойствием, но отдельные, вставленные им замечания, ясно указывали на то, что Он был крайне недоволен всем происшедшим и моим отношением к вопросу.

Так, по поводу моего замечания, что весь Совет Министров на моей стороне, и Председатель Государственного Совета также разделяет этот взгляд, а ему Государь, очевидно, не откажет в недостатке прямолинейности его взглядов, Государь вставил: «Акимову следовало прямо сказать Министру Внутренних Дел, что он считает его мысль вредною, и немедленно предупредить об этом меня, а он вместо того просто умывает руки, а теперь присоединяется к Вашему «взгляду». Я не мог не разделить правильности такого замечания и только оказал, что, вероятно, Государь не сомневается в точности моей передачи взгляда Акимова, на что последовал ответ: «об этом нет речи, я слишком хорошо знаю Вас, и даже когда Я не согласен с Вами, как в данном случае, Я знаю, что Вы никогда не допустите ни малейшей неточности в передаче чужого мнения».

В числе моих аргументов было, между прочим, замечание, что тотчас после Романовских торжеств, когда город Москва показал столько преданности Государю, новое столкновение с городом лично Монарха, а не Правительства произведет самое тягостное впечатление и усугубит только и без того слишком большое количество горючего материала в нашей **{244}** внутренней жизни, Государь сказал мне: «этого Я совсем не боюсь, поворчат, побудируют, а потом привыкнут к правительственному городскому голове и будут даже довольны иметь такого осторожного и деликатного человека, как Штюрмер, тем более, что он будет, разумеется, вне всяких партий, а каждый выборный голова приятен одним и совсем неприятен другим».

Во всех моих объяснениях я ни одним словом не обмолвился, что я не смогу оставаться Председателем Совета, так как, зная Государя, я

понимал, что такой прием, примененный например Столыпиным в вопросе о Западном Земстве, имел самое вредное для покойного Столыпина значение. Я решил исчерпать все мои доводы то существу, и если только Государь утвердить доклад Маклакова, то уже после этого — просить Его об увольнении меня от обеих должностей.

Мой доклад, сильно затянулся, Государь начал, видимо, утомляться, дважды двери кабинета раскрывались, и так как я сидел спиною к ним, то не мог заметить, кто именно собирался войти, ясно было, однако, что Его кто-то зовет, и тогда Он, поднимаясь с места, протянул мне руку и сказал: «и Вы устали с дороги, да и Я сегодня что-то устал больше обыкновенного, дайте мне передумать все, что Вы мне так ясно и подробно изложили, приезжайте завтра, ровно в 2 часа, Я дам Вам сколько хотите времени, тем более, что у нас осталось переговорить еще обо многом, и Я даю Вам слово, что не утвержу доклада о Штюрмере, не переговоривши еще раз с Вами. Я должен сказать Вам, что этот вопрос был мною уже решен, когда Я получил Вашу телеграмму, но теперь, передумавши обо всем во время Вашего доклада, Я начинаю колебаться, и Мне кажется, что Вы правы, но Я не хочу отказаться сразу от того, что мне так нравилось. Не сердитесь на Меня за такую отсрочку, не даром говорят, что утро вечера мудренее».

Мы вышли вместе из кабинета, прошли нисколько шагов, по длинному коридору, Государь очень ласково простился со мною и ушел в помещение Великих Княжен. Наученный горьким опытом моего апрельского посещения 1912 года, за ужиному Графа Фредерикса я не обмолвился ни одним словом о том, что было на докладе, и все время рассказывал о моей болезни в Рим, о пребывании в Париже, о Берлинской встрече с Германским Императором. Министр Двора, видимо, понял, что я избегаю чего-то, и после ужина провел меня до моей комнаты и спросил только: «а завтра Вы скажете мне, как сошел **{245}** Ваш доклад, так как все мы с нетерпением ждем Вашего рассказа а не понимаем многого из того, что здесь происходит. Государь как-то особенно избегает говорить о многом, что интересует всех, и когда я опросил Его правда ли, что Штюрмер будет назначен Московским городским головою, то Он мне ответил с странною улыбкою: «а вот Вы спросите Председателя Совета Министров, когда он приедет сюда». Я обещал рассказать завтра, после моего вторичного доклада, но только одному Графу Фредериксу, а не всем, кто собирается у него по вечерам.

Утро, избегая всякого рода встреч и расспросов, я провел в осмотре помещения команды Пограничной стражи, завтракал один, с моим Секретарем в гостинице и ровно в 2 часа был на докладе.

Государь встретил меня гораздо приветливее, чем накануне, да и день был удивительно теплый, солнечный, а море расстилалось такое ровное, неподвижное, синее, что Государь предложил сесть к маленькому столику у окна, сказавши мне:

«каждый раз, что приближается возвращение на север, у Меня какое-то тягостное впечатление, что Я не увижу более этой поразительной красоты вида, именно из моего окна, и Мне не хочется потерять ни одной минуты».

Я не успел еще опросить о том, к какому решению пришел Государь по самому острому вопросу вчерашнего доклада, как Государь сам заговорил со мною.

«Я много думал вчера и сегодня; ни с кем я не говорил», сказал Он, «и советовался только с своею совестью, так как здесь нет никого,

кто бы мог помочь мне разобраться в этом деле. И вот, взвесивши все, что Вы мне вчера сказали, Я решился отказаться от того, что мне так нравилось сначала.

Я вижу, что Вы правы, и нисколько не в претензии на то, что Вы склонили Меня к иному решению. Нам действительно не следует вносить раздражение в настроение такого города, как Москва и тем играть в руку тем, кто воспользуется моим решением, чтобы опять вести агитацию против правительства, и, конечно, против Меня. Обидно и горько, что Москва не может сговориться на таком кандидате, которого Я утвердил бы с легким сердцем, но действительно лучше, пусть еще несколько месяцев она останется без головы и управляется помощником головы, чем давать ей повод говорить, что Я ее оскорбил, назначив человека по моему избранию, сделал это в отступление от закона и не давши ей **{246}** возможности передумать свое прежнее решение и предложить какой-либо выход из созданного ею положения.

Я написал на докладе Министра Внутренних Дел, что, обдумавши этот вопрос и выслушав приведенные Вами соображения, Я предпочитаю не принимать решения, способного вызвать большие осложнения. Доклад с моею резолюциею Я верну непосредственно Маклакову», при этом Государь показал мне этот доклад, на полях которого была положена синим карандашом длинная резолюция, которую я не просил дать мне прочитать. Впоследствии я узнал, что резолюция точно воспроизводила то, что Государь сказал мне, но Маклаков не сообщил ее Совету Министров, и сохранилась ли она в делах Министерства — я не знаю.

Поблагодаривши Государя за доверие, сказанное мне, я просил Его разрешить мне продолжать мой доклад по этому вопросу и высказать с полною откровенностью, как велика ненормальность наших условий внутреннего управления и какими последствиями грозит то отсутствие единства в деятельности отдельных Министров, нагляднейшим проявлением которого является именно доклад М-ра Вн. Дел по этому делу.

Он представлен Государю без ведома Совета Министров и послан накануне возвращения Председателя Совета, когда, в самом вопросе не было никакой спешности, так как Москва не имеет городского головы уже более четырех месяцев и легко могла бы подождать еще две недели. А когда в день моего возвращения я узнал об этом как о факте, то М-р Вн. Дел отказался даже дать объяснение и заявил, что не считает себя обязанным отчитываться перед кем бы то ни было в том, как он выполняет повеления своего Государя.

При таком взаимном отношении Министров всякие отношения становятся неизбежными, и если на этот раз дело кончается благополучно, то никто не гарантирован от того, что завтра же не повторится худшее. Я просил поэтому Государя разрешить мне передать Совету Министров все и открыто заявить Маклакову, что закон о единстве управления одинаково обязателен для него, как и для всех Министров, и что этого требует нежелание Председателя Совета Министров ограничивать власть отдельных Министров, увеличивая свою собственную, а польза всего дела Управления и прежде всего интересы самого Государя. «Конечно Вам необходимо рассказать все Совету», сказал Государь: «но сделайте это в мягкой форме, чтобы Маклакову не показалось, что Я им недоволен, так как Я уверен, что **{247}** у него были лучшие намерения, но у него нет еще достаточного опыта, и потому он может, впадать в невольные ошибки».

На эти слова Государя я вынул из портфеля захваченные мною с собою два номера газеты, «Гражданин», напечатанные как раз во время моего отсутствия, в которых со свойственною Кн. Мещерскому манерою разбирается вопрос о «крамольной» кампании, ведомой в Москве с целью осады правительства, и предлагается простой рецепт парировать эту кампанию замещением должности городского головы властью Государя,» и последствия чего будут самые благодетельные: Москва смирится, прекратятся партийные распри, и через несколько недель после такого мудрого проявления твердой власти, коленопреклонная Москва будет благодарить Государя за избавление ее от крамолы».

Я оказал не обинуясь, что все зло происходит от того, что у Министра Вн. Дел при полном отсутствии опыта и государственной подготовки есть такая зависимость от Кн. Мещерского, которая не приведет его к добру, как ничего, кроме вреда, не может дать систематическая травля Председателя Совета Министров и все по одному и тому же трафарету, что он заслоняет собою особу Государя и присваивает себе положение «Великого визиря».

Вред такой Кампании заключается именно в том, что статьям «Гражданина» публика придает значение как бы отголоска взглядов самого Государя, и, естественно, что престиж власти Председателя Совета падает. Министры интригуют против него, навлекая в свою интригу и законодательные палаты и, в особенности Государственную Думу, члены которой сами того не замечая принимают деятельное участие во всей этой недостойной игре мелких страстей — одни, как кадеты, усугубляя свое оппозиционное настроение во имя принципиальной борьбы с властью, другие, как, октябристы, входя в самые разнообразные комбинации, чтобы придать себе значение самой сильной из политических партий, третьи, как националисты, воображая, что, поддерживая одних Министров, наиболее влиятельных в данную минуту, они постепенно сами проберутся к влиятельным местам, а крайне правые просто готовятся осаждать ту власть, которая им не по нутру, так как она не считает их солью земли и будто бы ведет Россию к гибели, угодничая перед Думою и ослабляя власть Монарха в стране.

Для последних таким крамольником, был и Столыпин, хотя он сложил свою голову в борьбе с настоящею крамолою, и уж его преемник и того хуже, так как **{248}** Столыпина еще можно было склонить к тем или иным подачкам, а тот, кто его заменил, по скупости или по упрямству своему, не поддается и на эту удочку.

В подтверждение моего мнения, я представил Государю два другие номера «Гражданина», в которых эта кампания против меня проводится без всяких прикрас и предлагается даже практический рецепт — уволить меня, как явно не «Царского Министра», а «думского угодника», только и помышлявшего о том, как затмить ореол Монарха и возвысить «народное представительство», и заменить меня такими преданными и «испытанными слугами, неспособными ни на какое предательство», как Горемыкин или Танеев, и постепенно вернуться к прежней системе, сосредоточив всю исполнительную власть в руках Комитета Министров, «действующего именем Государя, а не смешного народного представительства, и бросивши заморскую затею Кабинета Министров, для которого нет места в нашем русском самодержавии».

Я прибавил, что, ознакомившись с этими статьями еще до моей болезни в Риме, я писал М-ру Вн. Дел, предлагая ему посоветовать Кн. Мещерскому прекратить эту недостойную травлю, вредную не для меня,

так как я вовсе не дорожу властью, а исключительно для Государя, потому что этим расшатывается сама власть, но получил от него ответ, что он не имеет никакого влияния на Кн. Мещерского и не видит признаков уголовной наказуемости в выражении им своих мыслей, хотя бы они казались нам неприятными.

Государь слушал меня внимательно, ни разу не прервал меня и, когда, я остановился, то сказал мне только: «Я не читал этих статей и нахожу, что Вы придаете им большее значение чем следует. Мало, что пишут газеты, и их влияние и в частности «Гражданина» вовсе не таково, как Вы думаете, и на Меня его и совсем нет».

Настаивать дальше на моей мысли не было никакой пользы. Обострять вопрос и давать ход моему решению проситься в отставку мне не было возможности, так как я чувствовал, что почвы у меня не было, ввиду решения Государя отказаться от назначения Штюрмера, а возбуждению вопроса без доведения его до реального конца только ослабляли и, без того трудное мое положение, и потому я сказал Государю только, что прошу его взвесить все, что я доложил, и подумать: не лучше ли Ему вверить председательство в Совете Министров человеку, способному лучше объединить отдельных Министров, нежели **{249}** сделал это я, коль скоро мне не дана возможность составить более однородную группу начальников ведомств и устранить из своей собственной среды дух разложения и интриг. Я просил при этом, Государя быть уверенным в том, что я приму Его решение не только совершенно спокойно, но и буду видеть в этом совершенно естественное Его желание усилить правительственную власть действительным ее единством вместо того призрачного, которое едва держится.

Государь ответил мне на это: «Я знаю насколько Вы бескорыстно служите Мне, мое доверие к Вам полное, и, я знаю, как далеки Вы от каких-либо личных целей и очень дорожу этим. Я сам скажу Вам, когда мне покажется, что нужно, заменить Вас другим лицом, но не вижу к этому никаких оснований. Пусть эти мои слова рассеют все Ваши сомнения». Переход от неприятного вопроса к обычным делам сразу же отразился на настроении Государя, он вернул свою обычную приветливость, подробно выслушал все, что я ему докладывал, останавливался с особенною охотою на вопросах бюджета, не раз повторяя мне насколько Ему отрадно, что и в этом году все военные сметы прошли гладко и, прощаясь, со мною, раньше чем я сам спросил могу ли я приехать к 6-му декабря, чтобы лично, поздравить Его, сказал мне: «если Вас не очень закрутят дела в Петербурге, Вы придете может быть сюда в начале декабря; в дороге, да и здесь Вы несколько отдохнули бы». Я поблагодарил за милостивое приглашение, и мы расстались как бывало, раньше.

В Ялте я провел весь вечер у Гр. Фредерикса, который просил меня рассказать подробно все, что было, у меня на докладе. Я передал ему все как произошло, и когда я дошел до моих, соображений по делу Штюрмера и до решения Государя, вынесенного уже сегодня утром, старик не мог удержаться от волнения и, говоря со мною как всегда, по-французски, сказал: «нужно, было быть сумасшедшим, чтобы предложить Государю такую безумную меру. Я уверен, что Государь понял от какой опасности Вы Его спасли и, конечно, ценит это. Впрочем, я увижу это уже завтра, так как я решил, поднять вопрос о необходимости отметить чем-нибудь особенным успех, достигнутый Вами в Париже и

Берлине. Я доложу Государю, что здесь получен ряд сообщений из Парижа, и все единогласно говорят о том, что Вы оставили там после себя самое лучшее впечатление».

Я просил Гр. Фредерикса не возбуждать обо мне, никакого **{250}** вопроса, так как я убежден, что Государю неприятно то, что ему пришлось отказаться от мысли о назначении Штюрмера в Москву, и мне вообще сдается, что я не надолго на моем месте, так как интрига против меня зашла слишком далеко, и Государю не устоять против того напора, который давно ведется в смысле моего увольнения, и самое выгодное для меня — это вовсе не говорить ничего в мою пользу. Я просил его только не уставать, говорить Государю о том, что положение дел в Германии очень тревожно, что я убежден в том, что на этот раз мы получим удовлетворение нашего протеста, завтра возникнет какой-либо, новый инцидент еще более серьезного свойства, и по моему мы накануне самых больших осложнений.

Не думаю, чтобы мои слова произвели большое впечатление на старика, так как он ответил, мне только: «у Императора Вильгельма больше нахальства, чем действительной воинственности, и я уверен, что пока Бетман-Гольвег у власти, ему удастся удержать, его от всякого безумия».

Две недели, проведенные мною в Петербурге до новой поездки в Ливадию, отмечены в моей памяти только первым заседанием Совета Министров, в котором я передал дословно все, что произошло по поводу назначения Штюрмера. Маклаков не проронил ни одного слова, заявив только, что, он получил обратно свой всеподданнейший доклад и уведомил Председателя Государственного Совета, что предположенное назначение не последовало. Все Министры промолчали, и только Харитонов и Кривошеин реагировали на мое сообщение, первый, сказавши, что все Министры должны благодарить меня за то, что я выяснил Государю все отрицательные стороны намеченного шага, а второй — словами, что он ни на минуту не сомневался, что Государь встанет на сторону Совета, коль скоро Ему будет выяснена вся недопустимость проектированной меры.

Мне осталось только заявить Совету, что из происшедшего инцидента я делаю только один вывод, а именно, что Министры должны подавать своими действиями пример законности, не предлагая Государю того, что явно противозаконно, и нарушая, сверх того, прямую статью учреждения Совета Министров, которая требует предварительного обсуждения в Совете всякого рода мер, затрагивающих интересы других ведомств.

Последние мои слова были: я не касаюсь уже лично относящейся до меня стороны дела, а именно, что М-р Вн. Дел послал Государю такой исключительный по своим последствиям доклад в тот самый день, когда я вернулся в **{251}** Россию, после 2-х месячного отсутствия и предпочитаю остановиться в этом первом нашем собрании после моего возвращения из Ливадии на другом обстоятельстве, имеющем большее значение, не для меня лично, а для достоинства правительственной власти. С последним мы должны считаться особенно чутко, потому что расшатывая престиж власти, мы рубим сук, на котором сами сидим, и наносим ущерб не отдельным представителям власти, а всему укладу нашей правительственной машины. В нашей среде давно уж нет ни единства, ни дружной работы, ни даже взаимного уважения, — тех условий, которые так необходимы теперь и, притом более, чем когда-нибудь.

Наша рознь, и я сказал не обинуясь, интриги в нашей среде никогда не проявлялись так ярко, как за самое последнее время. Отдельные члены Совета ведут на глазах у всех открытую борьбу против Председателя Совета Министров, и это не составляет более тайны ни для кого. Лично я, от этого пострадаю всего менее потому, что для меня не может быть, эгоистически, ничего лучшего, как избавление от тяжелого и неблагодарного положения — нести ответственность, не располагая, никакими средствами влиять на ход событий.

Но такое открытое отношение некоторых членов совета ко мне несет величайший ущерб не для кого иного, как для Государя, и я думаю даже что те из нас, которые всего более повинны в этом, не дают себе отчета в том, чего они могут достигнуть в конце концов. Так продолжаться не может, и я счел своею обязанностью еще раз совершенно спокойно и правдиво доложить обо всем Государю. Я просил Его или уволить меня от обеих должностей, или, дать мне средства работать не растрачивая сил и время на бесплодную борьбу в среде самих же носителей власти. Я не раз уже касался того же вопроса и прежде, но Государь никогда, не разрешал мне довести дела до конца, не дозволил мне сделать этого и теперь, несмотря на мое усердное ходатайство, но на этот раз я заявил Его Величеству, что наша рознь зашла слишком далеко и глубоко, и у меня слишком много неопровержимых доказательств такого печального явления, что я надеюсь на то, что мой доклад будет, наконец, услышан.

Я прибавил, что хорошо понимаю, что Государю гораздо легче расстаться с одним своим сотрудником, нежели со многими, и потому питаю большую надежду на то, что я достигну моего давнего желания — освободить Его Величество от того, кто не умеет внушить достаточного уважения даже среди немногих своих сотрудников». На этом **{252}** мы разошлись, так как никто не нашел нужным открыто реагировать на мои слова. Только после ухода всех членов Совета оставшиеся у меня в кабинете Харитонов и Тимашев, сказали мне, что я совершенно прав, что положение стало невыносимым, и интрига против меня сделалась излюбленною темою разговоров в Думе, в Министерских канцеляриях и чуть не на улице. Харитонов прибавил, что он не раз собирался писать мне об этом, но каждый раз воздерживался, понимая, что из заграницы я все равно ничего не могу предпринять и только переживу лишнюю тревогу.

Декабрь, в общем, сулил мне более спокойную пору. Казалось, что Г. Дума, торопясь на рождественский вакант, успокоившись на том, что конфликт с Министрами наружно улажен переговорами в моем отсутствии Родзянко с Щегловитовым и Министры стали опять появляться в заседаниях, не станет поднимать новых инцидентов и временно отложить свои нападки, на правительство, — но действительность не оправдала моих мечтаний, по крайней мере в том, в чем она затрагивала лично меня.

В эту же пору моего тревожного переживания, последних тяжелых испытаний, которые выпали на мою долю перед близким концом моей активной деятельности, мне пришлось принять деятельное участие еще в одном решении, которое могло при иных условиях иметь совершенно неожиданные последствия.

Я рассказал уже все, что мне пришлось пережить при моем возвращении из Парижа в Петербург в Берлин, в связи с неожиданным моим участием в разрешении вопроса о назначении германским

правительством генерала Лиман-фон-Сандерса преемником престарелого фон-дер-Гольц- Паши, в должности инспектора турецкой армии.

В декабре, С. Д. Сазонов, с которым мы часто виделись в эту пору, держал меня все время в курсе его отношений с Берлином по поводу моего объяснения с Императором и Германским канцлером. Хотя дело и не получило своего окончательного разрешения, все сообщения из Берлина носили самый успокоительный характер, и Сазонов не раз говорил мне, что он счастлив, что мне удалось вырвать, как он выразился, еще один зуб из тревожных событий на Балканах. Он был совершенно уверен, что дело идет быстрыми шагами и самой благоприятной для нас ликвидации конфликта, и **{253}** каждый раз прибавлял, что Государь крайне благодарен мне за это и не раз выражал ему Свое по этому поводу удовольствие.

При одной из наших с ним бесед он сказал мне, что он приготовил особую записку по турецкому вопросу, которую и передал уже Государю для прочтения, во не получил ее от Него обратно. Он просил Государя заранее, если только Он признает его мысли заслуживающими внимания, не давать им окончательного одобрения, но позволить ему обсудить их еще раз в особом, совещании, под моим председательством, прибавивши при этом шутливо: «Вы стали теперь специалистом и нашим авторитетом то турецким делам, и я не приму более ни одной меры не посоветовавшись с Вами». На мою просьбу, дать мне его записку для прочтения он отозвался, что, конечно, я получу ее как только Государь вернет ее ему, а если она Ему не понравится или покажется не ко времени, — то мне не стоит и тратить на нее моего слишком занятого времени.

Перед самым новым годом, я получил от Сазонова эту записку при официальном письме, содержащем повеление Государя рассмотреть ее, в Совещании под моим председательством, при участии Министров: Иностранных Дел, Военного, Морского и Начальника Генерального Штаба. У меня конечно, не сохранилось под руками экземпляра, этой записки, но содержание ее я помню хорошо, да и еще недавно она была с достаточными подробностями воспроизведена в одном сочинении, изданном в Америке на английском языке, профессором Фэ, а раньше была напечатана в советском официальном издании, под редакциею большевистского ученого Покровского.

Как, и все, что печатает советская власть, это издание не может быть принято без оговорок, — настолько часто в этих изданиях выпускается то, что не нравится большевикам, или искажается текст печатного документа, в целях дискредитирования прежнего управления. Но из сопоставления советского издания с книгою Фэ есть полная возможность восстановить истинный смысл представленной Государю С. Д. Сазоновым записки и точный ход суждений совещания по этой записке.

В начале доклада Министр Иностранных Дел останавливается на вопросе о Лиман-фон-Сандерсе, говорить о недопустимости проекта Гражданского Правительства и о необходимости во чтобы то ни стало противиться, его осуществлению и затем подробно останавливается на общем вопросе о неизбежности полного развала Турции и своевременности обдумать теперь **{254}** же какие меры следовало бы принять России, чтобы обеспечить наши интересы к тому времени, когда эта катастрофа произойдет. Очень убедительными, сдержанными по форме доводами он оправдывает свою постоянную мысль о том, что

слабая Турция полезна России, и нам не только не следует ускорять ее исчезновения, но следует всеми способами стараться замедлить ход ее разрушения, так как мы не знаем еще, что возродится на развалинах Турции, и насколько мы будем в состоянии оградить наши интересы после постигшей Турцию катастрофы в Европе. Способы достижения такой нашей цели в будущем Сазонов видел в двух направлениях:
1) в необходимости теперь же начать переговоры с Францией н Англией об ограждении наших интересов в проливах и
2) наметить такие реальные с нашей стороны меры, которые мы должны были бы принять, во всяком случае, к тому моменту, когда распад Турции сделается фактом.

В вопросе о проливах Сазонов не говорил определенно, как смотрит он на проливы с нашей точки зрения, то есть он не примыкал ни к той, ни к другой из постоянно дебатировавшихся главных схем разрешения этого вопроса в смысле ли обращения Черного моря в открытое море, с воспрещением всем державам, кроме России, содержать в нем военный флот, или же в сохранении его в качестве «маре клаузум», с передачею ключей в руки России. Он подробно говорил только, что вполне надеется на то, что при сложившихся, теперь отношениях и том доверии, которым пользуется Россия, мы достигнем полного соглашения с обоими государствами и, — в таком случае, — нам не страшны никакие протесты со стороны кого бы то ни было.

В вопросе о подготовке особых мер с нашей стороны Сазонов говорил вскользь о необходимости готовиться к десантной операции, оговариваясь, что хорошо понимает насколько такая операция сложна и потому может быть успешно проведена только при долговременной подготовке ее в сравнительно спокойное время.

Большое реальное значение он придавал мерам территориального усиления положения России на Азиатском фронте Турции и говорил о желательности обсудить вопрос о возможности и желательности, в нужный момент, занять нашими. войсками два важные стратегических пункта на нашем сухопутном фронте с Турциею — Трапезунд, и Баязет и выражал при этом мнение о том, что занятие этих пунктов может быть **{255}** произведено в любой момент наличными нашими силами на Кавказе, без всякого особого их усиления, всегда вызывающего различные осложнения.

Перед самым заседанием я условился с Сазоновым, что он снимет с обсуждения вопрос о миссии Лиман-фон-Сандерса, указавши, что этот вопрос близится к его благополучному разрешению, а я, устраню всякие прения, если бы кто-нибудь захотел их возбудить, имея в виду, что всякие разговоры об этом могут повредить ходу переговоров с Германиею.

Совещание состоялось и носило совершенно мирный характер. Морской Министр указал на величайшую трудность осуществления десантной операции, на длительный характер ее подготовки и на рискованность предпринимать ее без уверенности в том, что она может быть вообще успешно закончена. Начальник Генерального Штаба, а за ним и Военный Министр отнеслись отрицательно к мысли о возможности занятия указанных двух пунктов — Трапезунда и Баязета наличными силами Кавказских наших войск и наглядно развивали мысль о том, что нельзя смотреть на возможность занятия какой-либо части Турции иначе, как в составе общей нашей мобилизации и в масштабе большой военной операции. Сазонов поддерживал свою точку зрения очень слабо и всего больше настаивал на том, что нам необходимо войти в сношение с

Францией и Англией, выяснить им нашу точку зрения и укрепиться заранее в возможности провести ее в согласии с нами, когда наступят ожидаемые всеми события в отношении неизбежного развала Турции.

По предварительному уговору с Сазоновым я встал на более резкую общую точку зрения, поставил перед совещанием вопрос о том, что всякое возбуждение турецкого вопроса с нашей стороны и в особенности в настоящую тревожную минуту будет истолковано, как стремление России разрешить попутно вековую проблему о проливах и поведет только к самым тяжелым последствиям. Балканский вопрос удалось только что разрешить, не зажигая Мирового пожара, но горючего матерьяла осталось слишком много, и едва ли наш союзник, не говоря уже об Англии, решится чем бы то ни было связать себя именно в настоящую минуту.

Я развил подробно перед участниками Совещания вынесенные мною из моей остановки в Берлин впечатления о том, как близки мы от вооруженного столкновения по какому угодно поводу, и как не может подлежать **{256}** никакому сомнению, что Германия не упустит никакого случая, чтобы привести в исполнение давно задуманные ею планы, для чего всякий повод одинаково хорош. Я выразил мое глубокое убеждение в том, что каково бы то ни было желание нашей союзницы и даже Англии идти на встречу наших желаний, мы встретим с их стороны категорический совет воздержаться от всего, что могло бы прямо или косвенно дать враждебной нам политической группировке основание возложить на нас же ответственность за новое и притом самое опасное обострение мирового положения.

В результате развитых мною положений я поставил перед присутствующими коренной вопрос: желаем ли мы войны и можем, ли мы взять на себя хотя бы тень ответственности за ее приближение. Ответ присутствующих был, разумеется, единогласно, отрицательный, и мы быстро без всяких оговорок пришли к единогласному же заключению о том, что возбуждать какой-либо вопрос, даже в форме простого обмена мнений с нашими союзниками в настоящее время не следует и нужно представить Государю наше заключение о том, что поднятый вопрос должен быть отложен решением и, во всяком случае, подлежит рассмотрению не отдельно от общего политического состояния, а в тесной связи с общим ходом событий в Европе.

К большому моему удивлению, Военное Министерство, в лице самого Сухомлинова, всегда задорного, когда дело касалось обсуждения вопросов, предложенных мною, — проявило на этот раз, большую сдержанность, и мы разошлись в самом мирном настроении. Меня это тем более удивило, что в особенности для Сухомлинова не было секрета, что я, доживаю последние дни в моей роли главы правительства. Григорович, менее других осведомленный вообще, под конец громко благодарил меня за ясную постановку вопроса и даже прибавил, что он воспользуется настоящим случаем, чтобы опровергнуть всякий вздор, циркулирующий по городу о какой-то перемене в правительстве.

конец - том II часть 5-тая

{X} - Номера страниц Старая орфография изменена.

Из книги - Граф В.Н. Коковцов «Из моего прошлого»
воспоминания 1903-1919

ТОМ II

Париж 1933 год

{257}

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Моя отставка

29 января 1914 г.

{259}

ГЛАВА I.

События, непосредственно предшествовавшие моей отставке. — Проект о мерах против пьянства — Яростные атаки Гр. Витте против меня при обсуждении этого проекта в Государственном Совете. — Брошюра Гр. Витте о заключенном мною во Франции в апреле 1906 года займе. — Испрошение мною аудиенции одновременно для меня и для Председателя Государственного Совета. — Доклад Акимова и мой о положении, созданном кампанией Гр. Витте. — Новое выступление Гр. Витте в Государственном Совете. — Мой последний доклад у Государя.

Еще перед роспуском Думы на рождественский вакант в Государственный Совет поступил разработанный по инициативе Думы, но сильно исправленный Министерством Финансов законопроект о мерах борьбы с пьянством

Довольно невинный сам по себе, не вызвавший с моей стороны особых возражений, этот проект таил в себе пререкания с правительством лишь в одной области, а именно в предположении значительно расширить полномочия земств и городов в разрешении открытия заведений (трактиров) с продажею крепких напитков. Значительная часть Думы и сама сознавала, что такое расширение не целесообразно, так как оно могло давать место для больших злоупотреблений в смысле влияния частных интересов на разрешение открытия трактиров и развитие тайной торговли там, где усердие трезвенников не дало бы достаточного удовлетворения потребностям населения, но, по соображениям так называемой парламентской тактики, эта часть Думы не хотела проявлять как бы недоверия благоразумию местных органов самоуправления и предпочитала достигнуть примирения с правительством путем соглашения **{260}** с Государственным Советом, после рассмотрения им законопроекта.

Не придавал, особого значения этим спорным пунктам и я. Незадолго до роспуска Думы ко мне заезжали и Родзянко и Алексеенко, и оба, точно сговорившись между собою, старались разъяснить, что на этом вопросе Дума должна уступить правительству, так как иначе, — говорили они, — все взятничество при разрешении трактиров падет на голову Думы, и правительство будет только справедливо торжествовать свою правоту.

Нападение появилось оттуда, откуда я всего менее его ожидал.

Как то еще весною этого (1913) года ко мне позвонил Граф Витте и спросил застанет ли он меня дома, так как ему хочется повидать меня «по одному небольшому вопросу», я предложил ему заехать к нему по дороге из Министерства на острова. Я застал его за чтением думского проекта о мерах против пьянства, и он начал объяснять в очень туманной форме, что предполагает посвятить свой летний отдых на разработку своего проекта по тому же вопросу, так как считает думский проект «совершенно бесцельным» или, как он выразился, «ублюдочным». На вопрос мой, в чем заключаются его мысли по этому поводу, я не получил от Гр. Витте никакого определенного ответа. Он ограничился тем, что сказал, что рассчитывает на то, что мы сойдемся в его основных положениях, но прибавил, что, советует мне дружески быть очень

«широким в деле борьбы с пьянством и что такая широта взглядов нужна столько же для пользы народной, ибо народ гибнет от алкоголизма, сколько для моего личного положения, которое может сильно пострадать, если я буду отстаивать нынешний порядок вещей».

Меня такое обращение очень удивило, и я просил Гр. Витте сказать мне, в чем же дело, так как я повинен разве только в том, что соблюдал в точности законы, проведенные по его же инициативе, и не только не мешал действительным мерам борьбы против пьянства, если они применялись где-либо, но поощрял их всеми доступными мне средствами. На это я опять же не получил никакого ответа, и только Витте показал мне думскую справку о росте потребления вина, на что я ему заметил, что в самой Думе эта справка вызвала критику, так как она содержит в себе, одни абсолютные цифры и не считается с ростом населения, а если внести эту поправку, то окажется, что душевое потребление не растет, а падает, и что **{261}** Россия занимает чуть ли не последнее место среди всех государств по потреблению алкоголя всех видов.

Мое объяснение не встретило никаких возражений, Гр. Витте сказал мне только на прощанье, что по возвращении из-за границы он познакомит меня с его проектом и заранее обещает, что не предпримет ничего, не войдя со мною в соглашение обо всем «Вы знаете, как люблю и уважаю я Вас, и не от меня же встретите Вы какие-либо затруднения в несении Вашего тяжелого креста. Подумайте только, что могло бы быть у нас, если бы на Вашем месте не сидел такой благоразумный человек как Вы. Я всегда и всем твержу эту истину, в особенности когда слышу, что Вас, критикуют за то, что Вы скупы и слишком бережете казенные деньги».

На этом мы расстались и больше не возвращались к этому вопросу до самого начала прений в Государственном Совете. По возвращении моем и Гр. Витте в Петербург мы не виделись с ним ни разу до дня заседания. Я дважды звонил по телефону, спрашивая его, когда он ознакомит меня, как он обещал, с своим проектом, но получил в ответ только, что он отказался от составления своего контрпроекта и предпочитает просто критиковать «думскую белиберду», так как этим путем легче достигнуть чего-либо положительного.

В самом конце ноября или в начале декабря начались прения в Государственном Совете по думскому проекту В первом же заседании Витте произнес чисто истерическую речь. Он вовсе не критиковал проекта Думы и даже не коснулся ни одного из его положений.

Он начал с прямого и неприкрашенного обвинения Министерства Финансов «в коренном извращении благодетельной реформы Императора Александра 3-го, который лично», сказал он, «начертал все основные положения винной монополии и был единственным автором этого величайшего законодательного акта его славного царствования». Он, Витте, был только простым исполнителем Его воли и «вложил в осуществление этого предначертания всю силу своего разумения и всю горячую любовь к народу, который должен был быть спасен от кабака».

«За время моего управления», говорил Витте, «в деле осуществления винной монополии не было иной мысли, кроме спасения народа от пьянства, и не было иной заботы, кроме стремления ограничить потребление водки всеми человечески доступными **{262}** способами, не гоняясь ни за выгодою для казны, ни за тем, чтобы казна пухла, а народ нищал и развращался».

«После меня», продолжал оратор, «все пошло прахом. Забыты заветы основателя реформы, широко раскрылись двери нового кабака, какими стали покровительствуемые Министерством трактиры, акцизный надзор стал получать невероятные наставления, направленные к одному — во что бы то ни стало увеличивать доходы казны, расширять потребление, стали поощрять тех управляющих акцизными сборами, у которых головокружительно растет продажа этого яда, и те самые чиновники, которые при мне слышали только указание бороться с пьянством во что бы то ни стало, стали отличаться за то, что у них растет потребление, а отчеты, самого Министерства гордятся тем, как увеличивается потребление и как растут эти позорные доходы. Никому не приходит в голову даже на минуту остановиться на том, что водка дает у нас миллиард валового дохода или целую, треть всего русского бюджета Я говорю, я кричу об этом направо и налево, но все глухи кругом, и мне остается теперь только закричать на, всю Россию и на весь мир «караул...».

Это слово «караул» было произнесено таким неистовым, визгливым голосом, что весь Государственный Совет буквально пришел в нескрываемое недоумение не от произведенного впечатления, а от неожиданности выходки, от беззастенчивости всей произнесенной речи, от ее несправедливых, искусственных сопоставлений и от ясной для всей залы цели — сводить какие-то счеты со мною и притом в форме, возмутившей всех до последней степени.

Председатель объявил перерыв, ко мне стали подходить члены Совета самых разнообразных партий и группировок, и не было буквально никою, не исключая и явного противника винной монополии А. Ф. Кони, — кто бы не сказал мне сочувственного слова и не осудил наперерыв возмутительной митинговой речи.

Я выступил тотчас после перерыва и внес в мои возражения всю доступную мне сдержанность. Она стоила мне величайших усилий и напряжения нервов. Не стану приводить теперь, когда все происшедшее тогда кажется таким мелким и ничтожным после всего пережитого с тех пор, что именно я сказал. Это видно по стенограмме Государственного Совета, которая находится и теперь в моих руках. Я крайне сожалею, что не могу, по недостатку места, привести ее, — но могу и **{263}** так сказать только по совести, что общее сочувствие было на моей стороне, Витте не отвечал мне и ушел из заседания, не обменявшись ни с кем ни одним словом, а проходя мимо меня демонстративно отвернулся.

После этого, в декабре, до рождественского перерыва было еще всего одно или два заседания. Государственный Совет перешел к постатейному рассмотрению, а после нового года, по частным возражениям того же Гр. Витте дважды останавливал рассмотрение, передавая спорные вопросы на новое обсуждение двух своих комиссий — финансовой и законодательных предположений.

В этих заседаниях опять были невероятные по резкости тона выступления Витте, и в двух наиболее существенных спорных вопросах он снова остался в ничтожном меньшинстве, — настолько искусственность и предвзятость его мнений была очевидна для всех. Он буквально выходил из себя, говорил дерзости направо и налево, и члены Комиссии кончили тем, что перестали ему отвечать и требовали простого голосования, так беззастенчивы и даже возмутительны были его реплики.

Голосование было решительно против него, и дело возвращалось в Общее Собрание в том виде, в каком оно вышло из него, по его же

требованию.

Если когда-нибудь стенограммы Государственного Совета по этим последним для меня заседаниям в роли Председателя Совета Министров и Министра Финансов увидят свет Божий, то я твердо уверен в том, что правдивость моего рассказа будет ясна до очевидности.

Государь вернулся из Ливадии около 16-го декабря.

На первом же моем докладе, протекавшем в обычной приветливой форме, Он просил меня рассказать Ему, что происходило в Государственном Совете, и когда я точно, с дословными подробностями передал всю возмутительную сцену первого заседания, Он обратился ко мне с обычной ласковой улыбкой и сказал: «Я надеюсь, что такая выходка не слишком волнует Вас. Я и сам был бы рад, если бы оказалось возможным сократить пьянство, но разве кто-либо имеет меньше права, чем Витте, говорить то, что он, сказал. Разве не он 10 лет применял винную монополию, и почему же ни разу после своего ухода из министров он не сказал ни одного слова против того, что говорит теперь, а напротив того, каждый раз защищает Вас от тех нападок, которые **{264}** появляются против Вас в Думе. Я не понимаю, что же теперь случилось нового?»

На этот вопрос я ответил в шутливой форме, что изменилось то, что Министр Финансов слишком засиделся, и что тетерь стало модным спортом охотиться на него. «Пожалуй, что Вы и правы», оказал Государь. «Вот я получил только что от Гр. Витте, при особом письме, прилагаемую брошюру. Я не читал еще ее. Возьмите, прочтите и скажите мне в будущую пятницу Ваше мнение о ней». На брошюрке стоял заголовок: «Как был заключен ликвидационный заем 1906-го года».

Брошюрка была, коротенькая, всего в 20—25 страничек малого формата и содержала, в себе изложение условий, при которых был заключен мною заем в Париже, в апреле 1906 года. Все в ней было оплошное самовосхваление. По тому, что в ней напечатано, выходит, что все было сделано и подготовлено до самых мелочей им одним. Я ничего не делал и мне было, и то по желанию самого Государя, вопреки доклада Витте, поручено только подписание готового контракта, но так как и самое подписание нельзя было мне поручить, ибо я ничего не понимал в делах кредитного характера и мог только напутать, то ко мне был приставлен бывший вице-директор Кредитной Канцелярии, успевший, однако, еще раньше уйти в частную службу, — А И Вышнеградский, которому было приказано наблюдать за мною, чтобы я не сделал какой-либо неосторожности или даже хуже того, — простой глупости.

В своем месте, я подробно сказал уже об этом займе, и все мельчайшие подробности пережитых затруднений так ясны в моей памяти, что несправедливость каждого слова, была очевидна всякому, сколько-нибудь прикасавшемуся к этому моменту моей деятельности. Зачем понадобилось Гр. Витте опять, семь лет спустя, извратить истину? К чему разослал он свой труд всем, кто только был на виду, не исключая и тех, кто хорошо знал всю эпопею займа, как например тот же Вышнеградский, Давыдов, Шипов, в руках которых было все делопроизводство, — остается для меня загадкою.

Конечно, и сам Витте отлично сознавал, что он не прав, но ему это было нужно для того, чтобы толкать меня в минуту близкого моего падения, а у этого, бесспорно выдающегося человека, был совершенно особый склад ума и особый способ действия в вопросах затрагивавших

его, иногда резко обостренное, самолюбие.

Через два-три дня после этого доклада и я получил от **{265}** Витте ту же брошюру при очень дружеском письме, в котором было сказано, что мне вероятно будет приятно иметь воспоминание об одном из моментов моей деятельности». Я ответил ему также письмом, с выражением благодарности за то, что он не забыл меня при рассылке его брошюры, но прибавил, «что я не могу принять ее как напоминание об одном из моментов, моей деятельности, так как все содержание брошюры имеет своею целью доказать, что в этом вопросе моего участия не было, и мне принадлежала разве скромная роль мухи, сидящей на рогах вола, распахивающего поле».

Это было предпоследнее письмо, написанное мною Витте. После этого мы ни разу с ним не виделись, при встречах более не кланялись по той причине, что он позволил себе — о чем речь впереди — просто возмутительный поступок в отношении меня, и наши 19-ти летние отношения (с 1895 по 1914 г.) окончательно порвались.

Год спустя, когда его не стало, я заехал к нему на квартиру отдать последний долг его праху и могу сказать по чистой совести, что в эту минуту все мое огорчение от его поступков против меня ушло из моей души, и сохранился в ней лишь один недоуменный вопрос о том, зачем платил он, мне злом за добро? Но и после своей смерти Витте продолжал злобствовать на меня, как, впрочем, и на многих из тех, с кем встречался он на его жизненном пути. В оставленных им записках он написал столько недоброго про меня, наделил меня такими эпитетами и такою характеристикою, что невольно задаешь себе вопрос: к чему он делал это и какому настроению был он послушен, оставляя такой след нашим былым отношениям!

С окончанием короткого Рождественского ваканта заседания Государственного Совета возобновились в той же разгоряченной атмосфере, которую создало выступление Витте, нашедшего себе ревностного пособника в лице только А. Ф. Кони и В. И. Гурко.

В половине января ко мне заехал Председатель Совета Акимов посоветоваться, что делать с создавшимся невыносимым положением, которое поддерживается распускаемыми слухами о том, что Государь поддерживает взгляды Витте, что это известно последнему, и он строит, на этом такие несбыточные планы, как тот, что, сваливши меня, ему удастся снова занять пост Министра Финансов, — на этот раз в роли поборника народной трезвости. Акимов прибавил, что на этой почве **{266}** нет ничего удивительного, что в Общем Собрании получится неожиданное голосование или, во всяком случае, разыграется какой-либо неожиданный скандал.

Мы условились, что я напишу Государю письмо от имени нас обоих и буду просить, чтобы Он принял нас вместе и дал нам возможность доложить о тех демагогических приемах, к которым прибегают поборники трезвости, целясь на самом деле не в достижение трезвости, а, в разрушение финансового положения России, которое положительно не дает покоя Витте.

И это письмо случайно сохранилось у меня в виде копии того, что было представлено мною Государю. Вот, что я написал Государю 19-го января 1914-го года.

«Ваше Императорское Величество

«Усерднейше прошу Вас не поставить мне в вину того, что я отнимаю Ваше время настоящим письменным изложением, не ожидая очередного моего доклада.

«За последние два дня прения в Государственном Совете в вопросе о мерах борьбы против пьянства принимают такое направление, которое не имеет решительно ничего общего с истиною целью этой борьбы, угрожает в корне подорвать наше финансовое положение и лишить Государство всякой возможности удовлетворять его многообразные потребности, не исключая и государственной обороны.

«Граф Витте вносит все новые и новые, не возникавшие и в Государственной Думе предложения, явно рассчитанные на одно — разрушить то, что стоит до сих пор твердо, — наши финансы. Большое количество членов Государственного Совета, терроризованное печатью или просто неспособное разобраться в явных несообразностях, стадным путем идет за этими демагогическими приемами, и все дело начинает принимать оборот поистине внушающий самые серьезные опасения.

«Такая оценка положения вполне разделяется и Статс-Секретарем Акимовым, который еще сегодня высказал мне, что неправильный ход прений в Государственном Совете принимает размеры, внушающие и ему самые серьезные опасения.

«Я не решаюсь утруждать Ваше Императорское Величество дальнейшим письменным изложением моих соображений вызываемых объясненными обстоятельствами и, подвергая их только на Ваше усмотрение, считаю моим долгом **{267}** всеподданнейше ходатайствовать: не соизволите ли Вы вызвать меня, на ближайших днях, вместе с Статс-Секретарем Акимовым для выслушания наших совместных объяснений».

Доклад мой и Председателя Государственного Совета состоялся 21-го января, в 4 часа дня.

Начал объяснения М. Г. Акимов.

Со свойственной ему прямолинейностью и даже некоторою грубоватостью в своем изложении, он начал с того, что заявил Государю, что никогда он не участвовал еще в таком заседании, в котором, с закрытыми глазами, можно было бы сказать, что дело происходит не в Государственном Совете, а в худшую пору деятельности первой или второй Думы, настолько непозволительные выкрики, обидные для представителей правительственной власти выражения и какие-то митинговые речи заслоняют собою сущность вопроса, не вызвавшего даже в Думе никакой остроты и чрезвычайно простого по своему существу. Он прибавил, что если бы роли переменились и на месте нападающего Витте находился бы нынешний Председатель Совета Министров, и тот позволил бы себе сотую долю тех дерзостей, которые приходится выслушивать теперь последнему, — то, по всей вероятности, Витте давно бы покинул заседание или ответил какою-либо недопустимою резкостью.

Государь прервал его вопросом: «что же Вы хотите, чтобы я сделал? Ведь это Ваше дело руководить прениями и не допускать неприличных выходок».

Акимов как-то сразу замолчал и оказал только, что все выступление Витте происходит от того, что он думает этим не только

насолить Министру Финансов, сводя с ним какие-то счеты, но и угодить самому Государю, так как он громко рассказывает направо и налево, что ему достоверно известно, что Государь сочувствует всяким мерам борьбы против пьянства, а если ему будет известно, что его недопустимые приемы не встречают одобрения, и Государь ожидает только разумного и спокойного рассмотрения дела, то он с такою же быстротою успокоится как и разгорячился, потому что ни сам не верит в то, что предлагает, ни лица, сочувствующая его демагогии, не станут его поддерживать так неприлично, как делают это теперь.

Мне пришлось говорить не долго. Зная, что Государь не раз высказывал уже мысль о том, что наши меры борьбы против развития пьянства очень слабы и мало действительны, я старался устранить аргументацию Витте, что я не только не помогаю **{268}** той борьбе, но напротив того торможу всякие почины в этом отношении и делаю это исключительно из боязни ослабления средств казны.

Зная по опыту, что подробные соображения утомляют Государя, я заверил его, что мои соображения направлены не на поощрение пьянства, а на борьбу с безумными предложениями Гр. Витте. Всю мысль о том, чтобы ограничить доход казны от продажи казенного вина размерами дохода нынешнего года, а весь излишек должен быть передаваем земствам и городам на меры насаждения трезвости может иметь только одно последствие — уменьшение средств казны при ежегодно растущих расходах, пользы же отрезвлению народа никакой не будет, так как раньше, чем передавать казенные деньги кому-либо, нужно определить в чем должны заключаться самые миры отрезвления, и какой может быть установлен надзор за расходованием денег, именно на данную цель, а не на какую либо другую. Удивительно и то, что такое предложение исходить от Гр. Витте, убежденного и постоянного противника земства, отрицавшего даже соответствие самой идеи земства нашему государственному строю.

Я повторил Государю, с ссылкою на мои достоянные доклады, что никакие искусственные меры трезвости не достигнуть цели и приведут только к тайной продаже вина и тайному винокурению, с которым нам удалось оправиться, и нанесут непоправимый вред казне и народу, натолкнувши его на самые ужасные злоупотребления, перед которыми бледнеют все искусственно раздуваемые рассказы о том, что государство спаивает народ.

Единственные действительные средства борьбы против пьянства заключается в подъеме морального и материального уровня народа, к чему принято и постоянно принимается множество всяких мер, и они, конечно, не останутся безрезультатны, тогда как демагогия по рецепту Гр. Витте приведет только к расстройству финансов и приучит земства, и города смотреть на казенные деньги как на их собственные и встать на путь новой борьбы с государственною властью за бесконтрольное их расходование по своему усмотрению.

Государь все время молчал в был почти безучастен к тому, что я Ему говорил. Видя такое отношение, я просил Его разрешить мне отстаивать мою точку зрения и не согласиться на предложения Гр. Витте, так как уверен, что и Дума не встанет на такой путь, когда дело будет передано ей на соглашение с Государственным Советом. Разрешение мне было дано, и Государь отпустил нас, сказавши, что он благодарен **{269}** за все разъяснения, что настроение Витте Ему давно известно, и что он

просит меня не обращать на его дерзости никакого внимания, так как все оценят его неожиданную склонность к народному отрезвлению после того, что он сам 10 лет только и делал, что поощрял увеличение потребления водки.

На этом мы расстались, и, возвращаясь вместе с Акимовым в вагоне, я впервые услышал от него крайне поразившее меня замечание: «А Вы не слышали, что будто бы вся эта, кампания трезвости ведется Мещерским, главным образом, потому, что ему известно, что на эту тему постоянно твердит в Царском Селе Распутин и на этом строит свои расчеты и Витте, у которого имеются свои отношения к этому человеку».

Через день в Государственном Совете было новое заседание финансовой комиссии по тому же вопросу. Витте с еще большею резкостью продолжал свою полемику, отношение к нему среди членов Совета становилось все более и более неприязненным, в особенности после того, что он сказал, что ему известно, что Г. Г. Министры ездят, в Царское Село за укреплением своей позиции, чтобы проваливать взгляды своих оппонентов в Совете, я не ответил ему ни одним словом, и заседание кончилось, как и все предыдущие, тем, что его предложения не были приняты Комиссией, кроме его верного спутника Гурко, и после трехчасовой беседы все оставалось в том виде, как было принято Думою, за исключением спорного вопроса об открытии трактиров в городах и селах и права земства и городов не разрешать открытия и казенных винных лавок в избранных казною пунктах. Но и по этим двум вопросам значительное большинство Комиссии присоединилось ко мне, и Витте демонстративно опять вышел из заседания.

Чем кончилось затем все дело, — я не знаю. Через три дня наступили события, которые показали мне, что все безучастие Государя к моему и Акимова докладу было только кажущееся. Он просто не хотел спорить со мною, решивши расстаться со мною, а когда в день моего увольнения последовал рескрипт на имя моего преемника Барка с явным осуждением моих действий и прямым повелением принять меры к сокращению потребления водки, — мне стало ясно, что Витте был осведомлен о настроении Государя, знал о влиянии с разных сторон на него в этом вопросе и играл без проигрыша на то, чтобы способствовать моему падению.

Одно только ему не удалось — это извлечь для себя какую-либо выгоду, так как отношение Государя к нему осталось неизменным, — Он не допустил его до новой близости к Себе.

Во все эти тревожные и тяжелые для меня дни я был дома очень одинок. Жены не были около меня — она ухала в сопровождении моего зятя В. И. Мамантова заграницу на свадьбу нашей дочери Я не мог отлучиться ни на минуту.

Утром 25-го января вернулась из-за границы моя жена. Еще по дороге с вокзала она опросила, меня, что делал я за неделю ее отсутствия, и я рассказал ей подробно о всех интригах, которые меня окружают, о речах Гр. Витте в Государственном Совете по вопросу о пьянстве, о продолжающейся травле меня «Гражданином» кн. Мещерского и о не смолкающих сплетнях в городе о том, что мои дни сочтены. Она стала уговаривать меня просить Государя об увольнении, а если я на это не решаюсь, то советовала, во всяком случае, поставить перед Государем вопрос ребром о невозможности жить и полезно работать среди интриг и

недоброжелательства таких людей, как Маклаков, Сухомлинов, Щегловитов и др., прибавляя к своим настояниям уверение меня в том, что Государь меня ни в каком случае не отпустит и не решится расстаться с человеком, которого Он любит, которому верит и которого считает своим верным слугою.

Наш разговор на эту тему продолжался поздно ночью, так как весь день я провел в финансовой комиссии Государственного Совета. На доводы жены я отвечал двумя положениями. Во-первых тем, что из-за меня Государь не решится расстаться с враждебною мне группою Министров, и все мои аргументы об опасности политики этих господ не имеют сейчас в Его глазах особой цены, а поставленный мною ребром вопрос будет равносилен моей отставке, вызванной к тому же моим собственным заявлением.

Оставление мною активной службы равносильно развалу всего Министерства Финансов, которое я так люблю и которое так сжилось со мною. Я знал какое последствие имел бы мой уход для всего личного состава и для самого дела, веденного мною в одном определенном направлении в течение 10 лет.

Я говорил жене, что без преувеличения в Министерстве подымется стон с верху до низу и, всякий будет обвинять меня за то, что я по собственной воле покинул любимое дело и не принес моего личного покоя в жертву общему интересу. Мысль об этом не дает мне покоя и, ссылаясь на пример 1905-го года, я говорил жене, что я буду особенно страдать не столько за себя, сколько за то, что я создал такое положение по моей доброй воле. Личными моими **{271}** интересами я теперь совсем не дорожу и уверен в том, что переживу мое увольнение гораздо менее остро, нежели это было в 1905 году Я закончил нашу ночную беседу фразой, которую отлично помню и сейчас «нет, я не уйду, лучше пусть меня уйдут». «Ну, в таком случае ты этого не дождешься, так как Государь тебя не отпустит», был ответ моей жены.

В воскресенье, 26-го января, я опять провел все дневные часы в финансовой комиссии Государственного Совета, препираясь с Гр. Витте и Гурко, предложения которых опять были отклонены комиссией подавляющим большинством голосов. Вечером у нас был кое-кто из знакомых и в числе их весьма осведомленный во всех слухах В. Н. Охотников, который ни одним словом не намекнул мне о готовящемся крушении моей служебной карьеры. Я убежден, что, несмотря на свою близость к Мещерскому, он ничего не знал, а если бы знал, то конечно, по свойству своей натуры, именно поспешил бы мне рассказать об этом.

В 10-м часу вечера позвонил мне по телефону Гурлянд и передал мне, что Штюрмер только что передал ему, что вопрос о моей отставке окончательно решен и указ об этом последует на днях. Я ответил ему, что не имею об этом ни малейшего понятия и сказал при этом, что видел в последний раз Государя 24-го января, в пятницу, вечером в Аничкином Дворце на докладе и что ни малейшего намека, который дал бы мне основание заключить о близкой отставке, я не заметил.

Обстоятельства этого последнего доклада заслуживают также быть воспроизведены. За неделю перед этим днем, а именно 17-го января, я был с докладом в Царском Селе, и по окончании доклада Государь взял по обыкновению со стола записной календарь, чтобы отметить на нем время следующего доклада Я спросил Его Величество, удобно ли Ему принять меня в обычное время, т. к. днем 24-го января назначено в

Высочайшем присутствии празднование 100-летнего юбилея Патриотического Института, на которое я тоже был приглашен. Государь сказал мне на это, что действительно Он занят в этот день еще и утром на праздновании юбилея Лб. Гв. Казачьего полка и так как вечером будет обедать в том же полку, то предложил мне приехать с докладом в 6 ч. вечера в Аничкин Дворец. Я так и исполнил.

Одно обстоятельство невольно остановило на себе мое внимание — Государь принял меня вместо 6-ти часов, без 20-ти **{272}** минуть 7 ч. Мы сидели в ожидании доклада с дежурным флигель-адъютантом Мордвиновым, который неоднократно смотрел на часы и на заявление мое, что Государь так никогда не опаздывал, заметил только, что Государь, очевидно, занят разговором с Императрицей Матерью и с Герцогиней Эдинбургской, которая отличается вообще большой говорливостью.

Доклад продолжался ровно час. Государь был в высшей степени милостив, затронул целый ряд вопросов общего управления, давая по ним совершенно определенные указания на будущее время. Между прочим, я представил Ему заготовленную мною печатную справку по весьма щекотливому делу, а именно по вопросу о том, в каком порядке должны быть заключаемы теперь торговые договоры с иностранными государствами, т. е. в порядке ли Верховного Управления, или же через посредство законодательных Учреждений. Государь очень заинтересовался этим вопросом, оказал совершенно откровенно, что Он об этом никогда не думал, и что «добрый Тимашев» никогда Ему ничего об этом не докладывал. Он просил меня рассказать Ему подробно сущность моего взгляда. Выслушавши меня, Государь сказал мне, что Он совершенно разделяет мое мнение, и просил вести дело далее в том направлении, которое мною признано правильным. Он даже не хотел оставлять у себя моей печатной справки и только после моих разъяснений всей важности затронутого мною вопроса и необходимости особенно осторожного его разрешения, оставил ее у Себя, прибавивши с улыбкою: «Ну хорошо, Я Вам скажу окончательно Мое мнение в пятницу, хотя совершенно уверен в том, что оно не изменится от прочтения записки».

Я доложил при этом Его Величеству, что за несколько дней перед тем я разослал эту справку всем министрам особенно секретным образом, прося их дать письменное заключение то поводу моего мнения, т. к. предвижу заранее, что не все министры разделят мой взгляд, а между тем от разрешения вопроса о порядке утверждения торговых трактатов зависит весь ход предварительных работ, который представляется мне особенно трудным в отношении договора, с Германией.

Государь, подумавши несколько минут, сказал мне: «Я очень мало посвящен в это дело, и Вы совершенно правы, что оно представляется в высшей степени сложным». Я заметил на это, что, составляя справку, я принял особые **{273}** предосторожности, чтобы мой взгляд не проник в печать и с этой целью отпечатал справку в типографии Корпуса Пограничной Стражи. Наша печать подняла бы целую бурю, если бы только она проведала о моем взгляде. На этом мы расстались. Государь был более чем милостив и пожелал мне хорошего аппетита, как Он сказал мне «к Вашему запоздавшему по Моей вине обеду».

В последующие дни, когда мое увольнение уже состоялось, и в особенности когда впечатления пережитого времени стали постепенно оседать и кристаллизоваться, мне казалось и кажется и теперь, что запоздалый прием мой не был случайностью.

Государь верно предполагал лично говорить со мною о моем увольнении и колебался сделать это, переживая, вероятно, не легкое раздумье. Что решение Его расстаться со мною уже в это время созрело, подтвердили многие последующие факты.

Так Владимир Вестман, служивший в собственной Его Величества канцелярии (у Танеева) уже в субботу вечером, т. е. на другой день после моего доклада в Аничкином Дворце рассказывал, что в Канцелярии печатается рескрипт по поводу увольнения меня от занимаемых должностей. Очевидно, что распоряжение об этом было сделано именно в пятницу, если даже не ранее. Стало известно потом, что еще за $1^1/_2$ недели раньше был вызван И. Л. Горемыкин в Царское Село, и по возвращении оттуда начались секретные его совещания с Кривошеиным на квартире последнего, о чем многие знали и говорили, и не знал только я, так как со мною никто не говорил и кроме отдаленных слухов до меня ничто не доходило.

Больше того, в ту же пятницу 24-го января ко мне настойчиво прошел В. Ф. Трепов, хлопотавший по делу получения концессии на южно-сибирскую железную дорогу и, ссылаясь на те же ходившие слухи, просил моего разрешения проверить их через Гр. Фредерикса. Я не мог ему запрещать, но сказал только, что благородный Граф настолько далек от всех интриг, заполнявших нашу государственную жизнь, что, даже будучи ко мне искренно расположен, он не сможет ничего сделать и ему просто ничего не скажут. В субботу вечером я получил от Трепова записку с уведомлением о том, что Граф Фредерикс в тот же день утром имел с Государем определенный разговор и положительно не понимает, — откуда идут все эти слухи, т. к. слова Государя, обращенный ко мне, были полны доверия и, по-видимому, искреннего расположения.

{274} Понедельник, 27-го января я провел весь день дома за приемом просителей, которых я не мог принять в субботу по причине заседания в этот день финансовой комиссии Государственного Совета. Народу было множество, и прием затянулся почти до 7-ми часов. Затем мы поехали с женой на обед к Маклакову, и поехали туда оба с самым тяжелым чувством, т. к. мои отношения к нему, с ноября месяца, совершенно испортились, и я отлично знал, что он является одной из главных пружин всей интриги против меня. Мы подумывали даже отказаться от этого обеда, но т. к. приглашения были разосланы за 3 недели, когда атмосфера всей травли, меня была еще не так густа, то я не видел повода отказываться, а сделать это в последнюю минуту значило подчеркнуть мое отношение к городским слухам. Мы предпочли испить чашу до дна. Обед прошел по внешности очень оживленно, моей дамой была Леди Бьюканан, с которой мы вели простую и веселую болтовню, а сидевший напротив меня кавалер моей жены Горемыкин не раз выражал за обедом удовольствие по поводу нашей оживленности.

После обеда произошел любопытный инцидент — ко мне подошел Граф Фредерикс и сам завел следующий разговор на французском языке: «скажите мне, дорогой друг, что значат все эти слухи по поводу Вашей отставки, я слышу их , со всех сторон. Меня со всех сторон спрашивают, волнуются и все действительно беспокоятся. В пятницу Мосолов, расспрашиваемый Треповым, просил меня даже справиться у Его Величества, что я и сделал в субботу с величайшим удовольствием, так как не только я люблю и уважаю Вас, но смотрю на Вашу отставку как на величайшее бедствие для России. Государь дал мне самый успокоительный ответ; Он говорил о Вас в самых милостивых

выражениях, и я уверяю Вас, что Вы пользуетесь полным Его доверием. Я знаю, что Вы плохо окружены, что кругом Вас и против Вас интригуют, и я хочу дать Вам истинно дружеский совет: говорите открыто и откровенно с Его Величеством, объясните Ему, что положение стало совершенно невыносимо и просите Его уволить министров, с которыми Вы не можете больше работать. Уверяю Вас, что Вы получите полное удовлетворение, будьте только тверды».

Я поблагодарил его за эти добрые слова и сказал ему буквально следующее: «Верьте мне, дорогой Граф, что я никогда не был трусом, и что я ничего лучшего не желаю как иметь **{275}** возможность говорить откровенно с моим Государем и просить Его выяснить невыносимое положение, в котором я нахожусь.

Вы знаете, что я не Гр. Витте, я не могу заставить Государя следовать моей воле, а могу только разъяснить откровенно перед Ним тот вред, который испытывает Государство от нашей административной неурядицы. Я верный слуга моего Монарха и воспользуюсь первым моим докладом, чтобы просить Его или поддержать меня или разрешить мне уйти, если я не отвечаю более Его взглядам». Фредерикс прервал меня словами: «Речи быть не может о Вашей отставке», на что я ответил ему: «Граф Вы слишком благородны, чтобы понять какие силы борются против меня, и я уверен, что дни мои сочтены, если даже моя отставка уже фактически не последовала».

Отойдя от Фредерикса, я подошел к другой группе гостей, от которой отделился Гр. А. А. Бобринский и заявил мне, что на днях Государь подтвердил ему о сделанном заказе приготовить рисунки археологических предметов для Германского Императора и своим обычным слащавым тоном прибавил, что весь заказ будет исполнен в срок, и что он надеется заслужить мое одобрение. Я сказал ему на это, что едва ли мне придется принимать этот заказ, т. к. городские слухи уже предрекли мою отставку, на что он мне совершенно спокойно и не выбирая выражений ответил: «это не беда, это будет только кратковременный отдых, который Вам так необходим». Эти слова человека, никогда не говорящего на ветер, вдобавок принадлежащего к крайне правому кругу и имеющего надежные источники для осведомления, были для меня первым определенным указанием на то, что со мной решено покончить.

Под этим впечатлением я вернулся домой и просидел еще до 2-х часов, сбывая очередные дела. Одно из них меня очень заботило: в среду, 29-го января, в Общем Собрании Государственного Совета при рассмотрении дела о пьянстве предстояло заслушать предложение Гр. Витте о фиксации питейного дохода и другое предложение Гурко о вознаграждении продавцов казенных винных лавок за уменьшение количества проданного вина. Оба эти предложения в финансовой комиссии провалились с треском, и я знал, что такая же судьба постигнет их и в Общем Собрании, но мне также было хорошо известно, что Гр. Витте выступит с новыми резкостями против меня, а уклониться от участия в заседании я не имел **{276}** возможности, т. к. Вице-председатель Голубев, заступавший вместо заболевшего председателя Акимова, настойчиво лично просил меня быть в заседании.

Во вторник, 28-го января, вечером ко мне опять позвонил по телефону Гурлянд и сказал, что к нему только что звонил и все тот же Штюрмер и сказал, что он и целый ряд лиц, бывших накануне на обеде у Маклакова, изумлялись моему поразительному спокойствию и

самообладанию в такую исключительную минуту, когда всякий человек невольно должен был бы отразить на своем лице и на всей своей манере держаться переживаемые волнения. По словам Гурлянда, Штюрмер выразился так: «если бы не знать, что увольнение уже состоялось, то можно было бы просто поверить, что и на этот раз слухи о смене Председателя Совета Министров относятся как и раньше к области досужих петербургских сплетен и выдумок». Мне осталось только повторить то, что я говорил накануне, что я равно ничего не знаю, хотя и уверен теперь по поведению и словам Графа Бобринского, что я действительно уже уволен, и что окружающая меня цепь интриг замкнулась и достигла своей цели.

Целый день 28-го я принимал доклады, весь вечер просидел дома, готовясь к заседанию Государственного Совета и лег спать около 2-х часов. Из событий этого дня я должен отметить одно, представляющее некоторый интерес, с точки зрения последующего моего изложения и, выяснения обстоятельств, предшествовавших моей ликвидации. Среди докладов ко мне приехал Кривошеин проститься перед его отъездом в тот же день за границу.

Наши отношения в последнее время изменились. Мы не виделись почти 2 недели и даже более недели не имели случая говорить по телефону. Он вошел ко мне со своею обычною деланно искреннею манерою и со словами: «Я тяжело болен, Владимир Николаевич; доктора уверяют меня, что я теперь совершенно поправлюсь, но я чувствую, что мне совсем плохо, и, может быть, я более не вернусь Я зашел проститься с Вами, пожелать Вам всего лучшего и посоветовать беречь здоровье и силы».

Зная истинную цену искренности людей вообще, я поблагодарил его за посещение, пожелал хорошенько отдохнуть и вернуться с новыми силами к прежней деятельности, а на совет беречь силы и здоровье, сказал ему, что силы мои едва ли нужны кому-либо, потому что я чувствую близость конца моей деятельности, поглощавшей все эти силы, и тогда **{277}** само собою восстановится и растрачиваемое мое здоровье. Я прибавил, что весьма возможно, что мы встретимся за границей, так как, покинувши активную деятельность, я вероятно уеду на некоторое время из России и буду рад встретиться с ним где-либо под итальянским небом.

На эти мои слова, вставши с кресел и прощаясь, он сказал буквально следующее: «А я полагаю, что и через 10 лет Гр. Витте все еще будет то восхвалять Вас, то работать против Вас, а Вы все будете сидеть на своем месте, ну а если бы сбылось теперь Ваше предсказание, то как же нам, маленьким людям, можно будет подойти к человеку, которого нельзя уже будет называть по имени и отечеству и придется величать одним из почетнейших титулов, доступных смертным в нашем отечестве.

Я отнес эти слова к его обычной манере — во всем брать верхнее «до» и к его склонности уснащать свою речь прилагательными «знаменитый», «изумительный», «величайший» и, провожая его до дверей, сказал ему просто: «у меня есть мое имя и моя родовая кличка, и их я хочу сохранить до конца моих дней. Мне не приличествуют никакие, титулы и никакие звания».

На этом мы расстались.

{278}

ГЛАВА II

Собственноручное письмо Государя о моем увольнении. — Вызванные этим письмом мысли — Высочайшие рескрипты на мое имя и на имя нового Министра Финансов Барка. — Прием меня Государем. — Отказ от денежной субсидии, уход из Комитета Финансов и выраженное мною желание получить место посла за границей. — Посещение меня Барком. — Безрезультатные переговоры о назначении меня послом в Париж. — Прощание с членами Министерства Финансов. — Распространенная через посредство газеты, «St. Petersburger Herold» клевета на меня. — Выраженное мне сочувствие и некоторые из писем, полученных мною в связи с моим увольнением.

Утро, 29-го января, после бессонной и тягостной от неотвязчивого раздумья ночи началось в обычной обстановке. Жена пошла на свою обычную прогулку, а я засел в моем кабинете за работу. Ровно в 11 часов курьер подал мне небольшого формата, письмо от Государя в конверте «Председателю Совета Министров». Подлинник этого письма сохранился у меня. Не распечатывая его, я знал, что оно несет мне мое увольнение. Вот что в нем изложено:

Царское Село
29-го января 1914-го года

«Владимир Николаевич!

«Не чувство неприязни, а давно и глубоко сознанная Мною государственная необходимость заставляет меня высказать Вам, что мне нужно с Вами расстаться.

Делаю это в письменной форме потому, что, не волнуясь, как при разговоре, легче подыскать правильные выражения.

{279} «Опыт последних 8-ми лет вполне убедил меня в том, что соединение в одном лице должности Председателя Совета Министров с должностью Министра Финансов или Министра Внутренних Дел — неправильно и неудобно в такой стране как Россия.

«Кроме того, быстрый ход внутренней жизни и поразительный подъем экономических сил страны требуют принятия ряда решительных и серьезнейших мер, с чем может справиться только свежий человек.

«За последние два года я, к сожалению, не во всем одобрял деятельность финансового ведомства и сознаю, что дальше так продолжаться не может.

«Высоко ценю Вашу преданность мне и крупные заслуги Ваши в деле замечательного усовершенствования государственного кредита России, за что благодарю Вас от всего сердца. Поверьте, что мне грустно расстаться с Вами, моим докладчиком в течение 10-ти лет, и что Я не забуду своим попечением ни Вас, ни Вашей семьи. Ожидаю Вас в пятницу с последним докладом, как всегда в 11 часов и по старому, как друга

«Искренно уважающий Вас

Николай»

Прочитавши это письмо, я сразу усвоил себе все его отличительные черты.

Тогда, в первую минуту, как и теперь, когда, много лет спустя, я поверяю бумаге эти эпизоды из моей жизни, для меня было очевидно, что письмо это написано Государем под влиянием того давления, которое издавна производилось на Него с целью удалить меня от власти.

Государь, очевидно, не рассчитывал на свои силы при личной беседе со мной, опасался, что я могу представить Ему такие возражения, которые заставят Его переменить Его решение, а с другой стороны, назойливое домогательство людей, воспользовавшихся Его доверием, продолжало бы стеснять Его, и Он решился поэтому на такой шаг, который делал Его обращение ко мне бесповоротным.

В каждом слове этого письма под личиной обдуманности сквозят такие свойства души Государя, которые я не имею права, ни разбирать, ни, тем более, осуждать теперь, когда Его уже нет в живых.

Мое первое впечатление отметило, прежде всего, так странно прозвучавшие слова о том, что в течение 8-ми лет Он убедился в неудобстве совмещать в России **{280}** должность Председателя Совета с должностью Министра Внутренних Дел или Финансов, когда три года тому назад, после убийства Столыпина, Он, по собственному побуждению, назначил меня Председателем Совета, сказавши при этом: «Разумеется, я прошу Вас остаться Министром Финансов», и в течение всех этих лет я не только не слышал от Него никогда самых отдаленных намеков на неудобство такого совмещения, но даже и потом, говоря со мной о заседаниях Совета Министров, Государь не раз упоминал, что за мое время разногласия в Совете Министров стали гораздо реже, и что Он слышал с разных сторон, с какой объективностью ведутся заседания Совета Министров, часто в ущерб интересам финансового ведомства.

Не менее болезненно прозвучали в моей душе слова этого письма, указывающие на огромный экономический подъем России, который выдвинул целый ряд новых задач, требующей и новых людей для их исполнения.

Дальше будет видно, какие новые люди призваны осуществлять новые задачи.

Невольно приходило на ум: кто же создал этот огромный экономический подъем, кто сумел уберечь финансы России во время Русско-Японской войны и еще более в период смутных годов, и тем подготовить почву для экономического процветания России?

Очевидно, эта фраза не вскрывала истинной мысли руководившей письмом и была лишь приведена как повод для принятого решения. Еще более мало понятна следующая фраза о том, что «в течение 2-х последних лет Государь не всегда был доволен финансовым ведомством и что далее так продолжаться не может».

Никогда за все время 10-тилетнего управления Министерством Финансов, я не только не слышал о каком бы то ни было неудовольствии, но мне не было сделано не только на письме, но и на словах ни малейшего намека, выражавшего собою самое отдаленное неодобрение того или другого распоряжения по Финансовому Ведомству. Всякий мой доклад сопровождался самым открытым проявлением милости и удовольствия. Целый ряд всеподданнейших докладов до самого последнего времени включительно отмечен самыми лестными собственноручными резолюциями Государя, и не было ни одного случая, чтобы Государь не шел на встречу проявления того или иного знака внимания не только лично мне, но и всему персоналу ведомства, выражая его постоянно почти одними и **{281}** теми же словами:

«Я знаю, какой прекрасный состав служащих в ведомстве и как блестяще ведет оно свое дело».

Думая над этой фразой, я невольно припомнил, как с небольшим год тому назад, в октябре 1912-го года, о чем речь была в своем месте, говоря со мною о назначении моем послом в Берлине, Государь спросил меня, на кого я мог бы указать как на кандидата в Министры Финансов, прибавивши: «с тем, чтобы он вел дело буквально, как ведете Вы, т. к. Я не могу себе представить, чтобы в чем-либо могло быть допущено изменение Вашего прекрасного управления! Как быстро изменилась оценка условий!

Последняя фраза письма производила на меня тоже глубокое впечатление. Указывая мне, что в пятницу 31-го января я должен прибыть в обычное время с моим последним докладом, государь тем самым как будто хочет сказать мне, что я не должен пытаться изменить Его решения, т. к. оно бесповоротно. Как будто за 10 лет Государь не успел узнать меня я не имел уверенности в том, что я никогда не позволю себе просить оставить меня в должности против Его воли.

За этими мыслями застал меня приход жены, вернувшейся с прогулки.

Прочитавши письмо Государя, она сказала мне, что видит теперь, как она ошиблась, как неправильно думала она, что Государь дорожит мною и не расстается со мною. Она видит теперь, как просто, по своей неожиданности, могло все это произойти, и как не следует при такой простоте не сожалеть вовсе о разрушении всего того, чему я отдал всю свою душу.

Этой мысли неизменно держалась она и потом во всех наших беседах в долгие часы, которых было так много, с минуты окончания моей активной деятельности. Сидели ли мы в полуразрушенных стенах нашей еще не покинутой квартиры в министерстве финансов, в течение недели, предшествовавшей нашему выезду оттуда, старались ли мы поскорее наладить новую жизнь в новых условиях, отводили ли мы душу под небом Италии, уехавши туда на короткий срок, чтобы отойти от первых впечатлений, или стали, наконец, вести нашу замкнутую, но совершенно спокойную жизнь на Моховой, в качестве безответственных свидетелей совершавшихся мировых событий, она твердила одну и ту же мысль, что на все воля Божия, и что Господь все устраивает к лучшему, выводя меня из той обстановки, в которой я все равно не мог бы уцелеть, потому что один в поле не воин.

В первую минуту нам было не до **{282}** подробных разговоров мне нужно было немедленно распорядиться насчет заседания Государственного Совета, просить поехать вместо меня моего Товарища И. И. Новицкого, объяснивши ему в чем дело, и поделиться новостью с моими ближайшими сотрудниками. Разнеслась эта весть по Министерству Финансов, да и по всему Петербургу с величайшею быстротою.

Не хочется самому говорить про себя, чтобы не впасть в какое-нибудь преувеличение, но, вспоминая эти первые два дня среду и четверг 28-го и 29-го января, приходится добросовестно сказать, что потрясение, пережитое Министерством Финансов, было поистине ошеломляющее. Не говоря уже о ближайших моих сотрудниках, двух моих адъютантах и секретаре, которых я же должен был успокаивать и поддерживать, мой прежний кабинет превратился для меня в настоящую Голгофу.

Его двери почти не запирались, и ко мне приходили все, кто был мне близок по Министерству, и мне же приходилось успокаивать и ободрять их, сохраняя внешнее самообладание, которое далеко не отвечало моему внутреннему душевному состоянию.

Отмечу только, что за первые два дня всего больше пришлось видеться с 3-мя моими товарищами: Новицким, Вебером и Покровским, которые в самой трогательной форме просили меня не оставлять их в Министерстве Финансов и помочь им перейти в Государственный Совет Они заявили мне при этом, что если бы это не оказалось возможным, то они просят устроить их хотя бы в Сенат, и, в крайнем случае готовы выйти совсем в отставку, т. к. решительно не в состоянии продолжать работу в Министерстве Финансов при изменившихся условиях. Они не знали еще, говоря со мною, о том, в какой необычной для ведомства форме состоялась смена их начальника. Эту сторону дела разъяснил рескрипт на имя Барка, с которым я познакомился только в пятницу утром, 30-го января, едучи в Царское Село с моим «последним»докладом.

В четверг, 29-го января, поздно вечером мы сидели с женой в кабинете, разбирая бумаги, письма, книги, уничтожая одни, сортируя другие и готовясь покидать насиженное место.

Курьеры были давно отпущены, огни в приемной по старому обычаю потушены, и мы собирались даже расходиться, как пришел швейцар Максименко и сказал, что приехал фельдъегерь от Танеева. Он передал мне Высочайший рескрипт о моем увольнении и поздравил с Монаршею милостью, **{283}** возведением в Графское достоинство. Отпустивши фельдъегеря, я передал жене эту новость, произведшую на нее глубокое впечатление. Не малого труда стоило мне успокоить жену в охватившем ее волнении. Отлично понимая, что мне оказано Государем исключительное внимание и сделана особая оценка моего долголетнего труда, она выразила, свое отношение словами: «ну какая я графиня» и «зачем тебе, имевшему незапятнанное имя Владимира Николаевича Коковцова, носить такой титул, когда вся твоя жизнь была проникнута особою скромностью».

Это пожалование указало мне сразу — кто был в курсе того, что касалось моего удаления, кто знал все подробности подготовлявшейся моей отставки, и мерил меня на свой аршин. Я разом сопоставил эту, несомненно, высокую милость, оказанную мне, с тем намеком, который за 3 дня перед тем, расставаясь со мной, сделал Кривошеин.

Я пережил, конечно, еще одну тяжелую и тревожную ночь. Предстоящая последняя аудиенция у Государя невольно ложилась тяжелым гнетом на мою душу, а напряженные нервы подсказывали мне, что эта аудиенция не обойдется без больших душевных волнений. Перед моим выездом в Царское Село с 10-ти часовым поездом, я прочитал в «Правительственном Вестнике» рядом с моим рескриптом еще два рескрипта, — один на имя Горемыкина, назначенного Председателем Совета Министров, а другой на имя П. Л. Барка, назначенного Управляющим Министерством Финансов.

Этот последний скажу, не выбирая выражений, глубоко взволновал меня. Мне сразу бросились в глаза, все отрицательные стороны состоявшегося увольнения, как и вся непоследовательность в поступках тех, кто были вдохновителями и проводниками веденной против меня интриги. В самом деле, рядом, на столбцах одного и того же официального органа появились два резко противоположных один

другому акта. Одним, подписанным далеко не заурядными и не часто встречающимися словами «искренно уважающий Вас и благодарный», — меня увольняют от двух занимаемых мною должностей, «уступая будто бы моей настойчивой» просьбе, оправдываемой расстроенным здоровьем, — каковой просьбы я никогда не заявлял ни письменно, ни на словах. Тем же актом мне оказывают величайшую почесть возведением меня, человека скромной жизни и привычек, в Графское достоинство, удостоверяют на весь мир оказанные мною родине услуги и выражают надежду на то, что и впредь, в трудных условиях жизни, будут всегда **{284}** пользоваться моим опытом и знанием.

А - рядом с этим рескриптом, другим, на имя моего преемника по Министерству Финансов, решительно осуждается вся моя деятельность и даже все ее направление.

Этот второй акт содержал в себе поистине глубоко прискорбные мысли, если только оценить спокойно то, что рескрипт дарован Государем на 20-м году царствования. Посещение немногих мест Империи, в особенности во время торжественного путешествия по Волге от Нижнего Новгорода до Ярославля, или в пределах Владимирской губернии, привели Государя к заключению о том, что Россия полна раскрытыми крестьянскими избами: и являет признаки бесспорной нищеты. Эти картины убедили и в том, что корень зла кроется в народном пьянстве, и из этого убеждения последовал вывод о невозможности строить обогащение казны на народном пороке, как и о необходимости принять решительные меры к борьбе с народным пороком.

Ни за 13 лет управления финансами Гр. Витте не давалось никаких указаний на счет сокращения пьянства, ни в течение последующих 10 лет моего управления не только не было указываемо на то, что моя деятельность поощряет развитие народного бедствия, но при неоднократных беседах, которых я был удостоен в связи с законопроектом Государственной Думы о мерах борьбы против пьянства, постоянно говорилось совершенно открыто, что одни полицейские запреты, одно сокращение числа мест торговли как и мысли изменений в духе рецепта, депутата Челышева не спасут положения и приведут только к вопиющим злоупотреблениям и углублению порока.

Тогда не было еще, правда, и печального опыта насаждения трезвости одними мерами полицейского воздействия, запрета, да непосильною борьбою с неизвестным еще тогда явлением контрабанды спиртом в Америке. Достойно внимания, однако, и то, что едва, неделю спустя после моего увольнения, при случайной беседе с Ермоловым, когда последний упомянул Государю о диких выступлениях Гр. Витте в Государственном Совете против пьянства, Государь, не обинуясь, сказал Ермолову, что Он отлично понимает всю цену этого выступления и не менее ясно дает себе отчет в том, что никакие крики «караул» не помогут народному горю, а что нужно народ учить, помогать ему богатеть и развивать в нем самом трудовые инстинкты и стремление к накоплению достатка.

Этот небольшой эпизод лучше всего характеризует **{285}** истинную цену тех веяний, которые нашли себе место в рескрипте Барку.

Не меньшею болью в моем сердце звучали и другие положения в том же рескрипте. В нем говорится о необходимости развивать производительные силы страны, недостаточно обеспеченные соответственными мерами Правительства и столь же резко выставлено положение о том, что народный кредит у нас не организован и

совершенно не доступен громадной массе населения, тогда как на самом деле за одни последние 8 лет с 1906 по 1914 г. г. его развитие было по истине исключительным, даже просто сказочным.

Словом, не нужно было быть ни придирчивым, ни стараться читать между строк, чтобы придти к заключению, что весь рескрипт на имя Барка есть прямое осуждение меня, и так он был понят бесспорно всеми, в ком сохранилось чувство спокойной и беспристрастной критики. Но для всех было ясно и другое — рескрипт на имя Барка отразил на себе не мысли Государя, а влияние тех, кто предложил их, как внешнее оправдание моего увольнения.

С тяжелым чувством вошел я в приемную Государя и после минутного ожидания в ней — в Его кабинет. Никогда не изгладятся из моей памяти тягостные минуты, проведенные в этом кабинете на этот раз, когда с такой наглядностью передо мною встала картина всего прошлого, трудное положение Государя среди всевозможных влияний безответственных людей, зависимость подчас крупных событий от случайных явлений. Когда я вошел в кабинет, Государь, только что вернувшийся с прогулки, быстро подошел ко мне на встречу, подал мне руку и не выпуская ее из своей руки стоял молча, смотря мне прямо в глаза. Я тоже молчал и боялся, что не сумею вполне совладать с собою при нервом же слове.

Не берусь определить сколько времени тянулось это тягостное молчание, но кончилось оно тем, что Государь, все держа мою руку, вынул левой рукой платок из кармана, и из Его глаз просто полились слезы. Я крепился сколько мог и, желая прервать тягостное молчание, сказал Ему первую фразу, с которой началась наша беседа.

Я записал ее потом дословно как и всю нашу беседу и воспроизвожу ее по сохранившемуся у меня тексту.

«Мне очень тяжело, Ваше Императорское Величество, что я являюсь причиной такого Вашего волнения. Я никогда не хотел ничем огорчить Вас, и мне больно видеть, что принятое Вами решение вызывает в Вас такое волнение. С Вашего **{286}** дозволения я пришел проститься с Вами и прошу Вас, по русскому обычаю, не поминать меня лихом. Если я чем-либо не угодил Вам, простите меня и поверьте тому, что я Вам служил всеми силами моего разумения и всею моею безграничною Вам преданностью. Поверьте и тому, что я сохраню намять о 10-ти годах, когда я был Вашим докладчиком, подчас среди величайших трудностей, — как о счастливейшей дар мой жизни. Моя благодарность к Вам за неизменную милость ко мне никогда не изгладится из моей души».

Овладевши собою, Государь обнял меня, два раза поцеловал меня и сказал мне: «Как могу я Вас поминать лихом. Я знаю Вашу любовь ко мне, Вашу горячую преданность России и хотел доказать это тем высоким отличием, которое я Вам пожаловал. Я надеюсь, что мы расстаемся с Вами друзьями». — Я сказал на это Государю, что пожалованное мне отличие меня глубоко смущает, потому что ни я, ни моя жена, мы никогда не жили той внешнею жизнью, для которой графское достоинство могло бы иметь соответственную цену.

Я родился сыном не богатого, служилого дворянина, предки мои почти три века честно служили своим Государям на скромных должностях, вне столицы, и я хотел умереть, неся просто имя, переданное мне ими.

Государь меня опять обнял и сказал, что этим пожалованием Он хотел на весь свет — ибо меня знает не одна Россия, но и вся Европа — показать, как высоко ценит Он мою службу, и устранить всякие поводы для каких бы то ни было умозаключений.

Эти последние слова дали мне право коснуться моих болезненных утренних размышлений.

Испросивши разрешения Государя говорить в последний раз с полною откровенностью, я сказал буквально следующее: «Ваше Величество, я не достоин, повторяю, пожалованного мне звания, в особенности потому, что это пожалование сопровождается одновременным осуждением моей деятельности. Вы изволили мне, Вашему скромному подданному дать то звание, которое было всегда символом признания исключительных государственных заслуг или выражением Вашей личной близости к пожалованному. Вы пожаловали Графом Д. М. Сольского, в день его 50-тилетнего юбилея, и вся Россия понимала, что этот в прямом смысле государственный муж вполне заслужил столь высокое звание. Вы пожаловали это званиее Ст. Секр. Витте, когда ему удалось завершить Японскую войну **{287}** Портсмутским договором. Вы воздали тем же способом дань Вашего личного уважения самому приближенному Вам сановнику Министру Императорского Двора Фредериксу в день Романовского юбилея и теперь поставили меня на одну высоту с ними, но вместе с тем Вы открыто осудили всю мою деятельность в рескрипте на имя Барка».

На лице Государя выразилось, как мне показалось, совершенно искреннее недоумение и, не удерживая слез, которыми все еще были полны его глаза, Он сказал мне: «Как могли Вы принять рескрипт Барку за осуждение Вашей деятельности, которую я так отличил» и пригласивши меня сесть на обычное место к письменному столу, предложил мне спокойно объяснить мою мысль.

Я исполнил это, передавши самым сдержанным и почтительным тоном все сопоставление 2-х рескриптов, тем более, что я успел уже вполне овладеть собою. Когда я кончил, Государь, смотря мимо меня, сказал мне следующую фразу, также записанную мною, как и вся аудиенция, по свежей памяти:

«Вы правы, Я не подумал о том, что два рескрипта, поставленные рядом, вызовут невольно на сопоставление, а люди всегда склонны делать дурные выводы. Мне следовало просто назначить Барка, Министром Финансов и уже несколько времени спустя преподать ему мои указания, да и то в иной форме, чтобы они не имели осуждения Вашей деятельности, ведь я всегда был так Вами доволен и так дорожил Вашею прямотою. Мне с Вами было так легко работать, потому что я мог Вам сказать все без малейших стеснений и знал, что получу всегда откровенный и прямой ответ. Вы правы, что я ни разу ни по какому поводу не осудил Вас и только отличал Вас за все 10 лет, как самого ревностного и даже любимого Моего сотрудника и, конечно мне следовало задуматься над каждым словом Моего рескрипта Барку».

Эти слова в связи с последующим разъяснением служат прекрасной иллюстрацией как характера Государя, так и условий составления отныне знаменитого рескрипта Барку.

Мы перешли затем к более спокойной беседе, ключом к которой послужили очень милостивые слова Государя сказанные тем чарующим, по своей теплоте, тоном, который всегда был свойствен Ему, когда Он

желает кому-либо оказать особое внимание — «На днях будет 10 лет Вашему управлению Министерством Финансов, и в эти 10 лет много месяцев надо сосчитать, каждый, за год Вы имели полное право устать, **{288}** а между тем никогда Вы сами не говорили о своем утомлении, хотя Я видел часто по Вашему лицу, насколько Вы были измучены, и все боялся, что Ваших сил не хватит. Воспользуйтесь теперь Вашей свободой и отдохните хорошенько».

Я счел себя в праве воспользоваться этими словами и, зная хорошо характер Государя и давая себе ясный отчет в том, что только сейчас я могу коснуться самого щекотливого вопроса, до которого потом нельзя будет и дотронуться, я сказал: «Я не нуждаюсь в отдыхе, Ваше Императорское Величество, и скажу Вам по чистой совести, что я его даже хотел бы избегнуть. С той поры, что я себя помню, я был в полном смысле слова поденщиком, который никогда не жил своей личной жизнью, а проводил все время в труде, не спрашивая никогда, что я сегодня буду делать, а только как я успею исполнишь все, что нужно, потому что следующий день даст новые заботы. У меня нет ни особых вкусов, ни такой склонности, которая заполнила бы мое непривычное бездействие. Семьи, поглощающей мои заботы, у меня также нет, потому что моя единственная дочь заграницей, а нам с женой трудно создать новую жизнь, после той кипучей деятельности, которая унесла более половины всей моей жизни. У меня, несмотря на мое глубокое разочарование во многом, не иссяк интерес к вопросам Государственной жизни, и я едва ли найду призвание в том, в чем могло бы искать большинство моих сверстников — в личной жизни. Жить для собственного удовольствия или заботиться только о своем здоровье, я никогда не умел, и теперь, когда у меня нет более того, чему отдать все мои силы я стою на распутье, не зная в чем я найду цель для остатка моей жизни».

Смотря мне все время упорно в глаза, Государь заметил мне: «разве это так трудно найти новое дело; у Вас огромный опыт, большие способности и мало ли что может еще представиться в жизни».

Быть может мне следовало не продолжать дальше этого разговора, но я решился довести мою мысль до конца и, припомнив Государю то, что Он предлагал мне еще недавно принять место посла в Берлине, а также дошедшие еще так недавно до него сведения о не вполне нормальном положении нашего посла Извольского в Париже, о чем он даже говорил мне по возвращении моем из-за границы, я позволил себе, не выбирая выражений, сказать Государю, что я был бы Ему бесконечно благодарен, если бы Он счел возможным воспользоваться мною **{289}**
для какого-нибудь посольства заграницей, когда к этому представится случай. Этим назначением Он избавил бы меня от перспективы праздной жизни и позволил бы мне еще послужить родине.

Видимо обрадованный этой мыслью Государь сказал мне, «так в чем же дело, переговорите с Сазоновым, и Я буду рад и счастлив, если представится комбинация, которая Вас устроит, и даст Мне случай вернуться к Моей же недавней мысли. До Меня действительно уже не раз доходили слухи, что у Извольского не вполне ладно в Париже». Из дальнейшего изложения будет видно, что из этого разрешения не вышло, однако, ровно ничего, и моя опасения, что над моею деятельностью поставлен крест, были совершенно основательны.

Поблагодарив Государя за столь милостивое ко мне отношение, я обратился к Нему с моим почтительным ходатайством об устройстве судьбы моих 3-х товарищей: Новицкого, Вебера и Покровского. В горячих выражениях, я аттестовал их службу и ходатайствовал перед Его Величеством о назначении их в Государственный Совет, на что уже М. Г. Акимов изъявил свое предварительное согласие. Продолжая меня слушать все с тем же вниманием Государь остановил меня даже в одном месте моего доклада именно в том, когда я доложил ему, что это моя последняя просьба, как Председателя Совета Министров и Министра Финансов, и сказал мне:

«зачем Вы так говорите, Владимир Николаевич, Вашу просьбу Я всегда исполню, но как же обойдется Барк без таких опытных сотрудников, как Ваши бывшие товарищи». Я предложил Его Величеству утвердить их назначение, но повелеть им продолжать свои занятия по Министерству Финансов до тех пор, когда Барк найдет им достойных преемников, и постарался рассеять сомнения Государя, главным образом, тем соображением, что для нового курса требуется новые люди, и что самому Барку гораздо выгоднее иметь товарищами людей по его собственному выбору, вместо того, чтобы располагать сотрудничеством прежних людей, привыкших к известной рутине и не способных уже приспособляться к совершенно новым требованиям.

Впоследствии я слышал, что эта горячая защита моих бывших товарищей и настойчивое ходатайство в их пользу повредило мне в глазах Государя, т. к. нашлись доброжелатели, которые истолковали это как желание затруднить положение моего преемника и изъять из ведомства, наиболее деятельных **{290}** и талантливых работников. Я не хочу подробно останавливаться на том, как несправедливо это заявление. Помочь моим товарищам я считал своим нравственным долгом тем более, что и без моего содействия они не остались бы на своих местах.

А других талантливых работников я не только не устраивал и не сманивал из Министерства Финансов, я сам уговаривал их даже не бросать любимого дела.

Е. Д. Львов решил уйти из Министерства в силу семейных и материальных соображений, Л. Ф. Давыдов имел в кармане контракт с Русским для Внешней Торговли Банком, еще в бытность мою в Париже, осенью 1913 г., и только склонился на мою просьбу остаться в Министерстве до моего ухода, А. В. Коншин искал выхода из банка за 2 года до моего увольнения, также по соображениям материального порядка, а в день назначения Барка сказал мне просто, что он уйдет во что бы то ни стало, и куда бы то ни было, потому, что служить под его начальством он просто не может. Наконец, Г. Д. Дементьев на все мои уговоры не покидать Министерства сказал то же самое, что Коншин, прибавив только, что составил 26 росписей и прослужив свою жизнь при Министрах, которые понимали государственное счетоводство и изучили его, он не может оставаться под начальством нового человека, не подготовленного к тому делу, которым он призван руководить.

По моему же уговору Дементьев согласился остаться до окончания бюджета в Государственной Думе и в Государственном Совете, и, навестивши меня уже в июне 1914-го года, сказал мне просто: «За 5 месяцев после Вашего ухода, я устал больше, чем за все годы службы в Деп. Казначейства. Совместная работа с новым Министром мне не под силу. У него нет времени изучить новое для него дело, да мне кажется, что и общие условия теперь совершенно не благоприятствуют этому».

Затем быстро прошел мой последний доклад по текущим вопросам, все доложенные мною дела были решены утвердительно, ни одно из них не вызвало ни малейших замечаний и не послужило поводом к привычному за 10 лет обмену мыслей. Я собирался уже было встать с моего места, чтобы откланяться, когда Государь остановил меня движением руки и обратился ко мне со следующими словами: «в письме моем к Вам Я упомянул, что Я принимаю на себя заботу о Вас и о Вашей семье. Надеюсь, что Вы заметили это и прошу Вас сказать совершенно откровенно — удовлетворит ли Вас **{291}** если Я Вам назначу 200 или 300 тысяч рублей в виде единовременной выдачи».

Меня эти слова, опять глубоко взволновали, опять в душе быстро прошла болезненная мысль о том, как мало узнал меня Государь за 10 лет постоянных сношений со мною и как тягостно в такую минуту мне думать и говорить о моем собственном материальном благополучии. Заметил ли это Государь, или лицо мое отразило волнение, но, протянувши руку через стол и положив ее на мою руку, Он сказал особенно теплым голосом: «сколько миллионов прошло через Ваши руки, Владимир Николаевич, как ревностно оберегали Вы интересы казны, и неужели Вы испытываете какую-нибудь неловкость от моего предложения?»

Справившись с собою, я ответил Государю следующими словами, которые я также воспроизвел у себя дома тотчас по моем возвращении и записываю теперь особенно точно, потому что этот эпизод послужил впоследствии поводом к всевозможным пересудам и, по-видимому, был причиною крайне невыгодных суждений обо мне, в самом близком окружении Государя.

«Поверьте мне Ваше Императорское Величество, что в такую минуту, как та, которую я переживаю, давая себе ясный отчет, что я имею счастье может быть в последний раз говорить с Вами, никто не имеет права скрывать сокровенные мысли. Я безгранично благодарен Вашему Величеству за Ваши великодушные заботы о моей семье, но прошу Вас, как милости, разрешить мне не воспользоваться Вашим великодушным предложением».

И заметив на лице Государя выражение не столько неудовольствия, сколько удивления, я продолжал: «не судите меня, Государь, строго и посмотрите с Вашей всегдашней снисходительностью на мои слова, они идут из глубины души, я проникнуты чувством самого полного благоговения перед Вами. Припомните, Ваше Величество, что за все 10 лет моей службы при Вас в должности Министра Финансов я никогда не позволил себе утруждать Ваше Величество какими бы то ни было личными моими делами.

Я считал своей обязанностью за всю мою службу избегать укора, в том, что я пользовался ею в личных моих выгодах. Я не выдвинул никого из моих близких и старался как можно больше удалять от службы все личное. Сколько раз утруждал я Ваше Императорское Величество самыми настойчивыми докладами о необходимости отклонять домогательства частных лиц, иногда весьма высокопоставленных, простиравших свои притязания на **{292}** средства казны, и в большинстве этих случаев я был счастлив оказанным мне Вашим Императорским Величеством доверием. Благоволите припомнить Государь, как многочисленны были эти домогательства в первые годы моей службы на посту Министра Финансов, и как громки были осуждения меня за мою

настойчивость в охранении казны. Еще две недели тому назад, в этом самом кабинете я представил Вашему Императорскому Величеству на отклонение ходатайство лично Вам известных двух просителей, о выдаче им 200.000 рублей на уплату их долгов, и Ваше Величество милостиво заметили мне, что я совершенно прав и что нельзя поправлять казенными деньгами частные дела. И после того, как я покинул ответственную должность Председателя Совета Министров и Министра Финансов, на меня посыпятся всевозможные нарекания, если я воспользуюсь Вашею милостью. Меня, лишенного власти и влияния, станут обвинять во всевозможных ошибках, даже и таких, которых я не совершал. На мою голову посыплются самые разнообразные осуждения, на которые я лишен буду возможности ответить, и мне хотелось бы только в одном отношении не услышать укора — именно, что я воспользовался когда-либо милостью моего Государя с личными материальными целями. И отказывая в помощи казны другим, я услышу, что про меня скажут, что я приобрел сам крупное состояние на Государственной службе.

«Люди, Ваше Величество, злы, и никто не поверит, что движимые Вашим великодушным порывом Вы изволили Сами позаботиться о судьбе Вашего слуги. Всякий скажет, что я злоупотребил Вашею добротою в выпросил себе крупную денежную сумму в минуту моего увольнения. Человеком без средств вступил я на пост Министра Финансов и таким же хотелось бы мне покинуть этот пост 10 лет спустя.

Я убедительно прошу Ваше Величество оказать мне милость не прогневаться на меня. Вместо выдачи мне такой большой суммы, благоволите при докладе Председателем Государственного Совета о вопросе и размере моего содержания назначить мне такой оклад, который дал бы мне возможность безбедно существовать, и я буду всегда благодарно помнить, как велика была Ваша милость ко мне при освобождении меня от ответственных должностей».

Как отнесся Государь в глубине своей души к моим словам, об этом трудно мне судить, но все время, что я докладывал, Он не сводил с меня глаз, они были снова полны **{293}** слез, и, видимо, волнуясь, Он сказал мне только: «ну что же делать. Я должен подчиниться Вашему желанию и вполне понимаю почему Вы так поступаете. Мне не часто приходилось встречаться с такими явлениями. Меня все просят о помощи, даже и те, кто не имеет никакого права, а Вы вот отказываетесь, когда я Сам Вам предложил!»

Государь замолчал молчал и я, и, видимо, настала пора прекратить эту томительную аудиенцию. Государь вышел из-за стола, обошел кругом него, подошел ко мне близко, взял меня за руку, и, смотря на меня опять глазами полными слез, сказал мне: «Скажите же мне еще раз, Владимир Николаевич, у Вас нет ко мне чувства вражды?»

Я ответил Ему на это: «нет, Ваше Величество, вражды у меня нет, и быть не может, я Вам служил всею правдою и покидаю Вас сейчас только с одним чувством глубокой скорби, что я Вам больше не нужен» Государь еще раз меня обнял, я поцеловал Ему руку, а Он еще раз поцеловал меня в губы, прибавивши: «так расстаются друзья». На этом кончилась моя прощальная аудиенция.

Я забыл отметить еще, что после доклада Государя, моего ходатайства за 3-х моих товарищей и до перехода к очередному докладу, я просил Государя уволить меня и от звания члена Финансового

Комитета. Государь сначала колебался и спросил меня, почему я желаю покинуть и этот комитет. Я доложил Ему, что с увольнением от должности Министра Финансов, мне лучше всего удалиться от всякой деятельности по финансовому ведомству.

Я сказал Государю, что Председатель Комитета Гр. Витте открыто настроен против меня, что после его выступлений против меня в газетах по железнодорожному вопросу и в Государственном Совете по питейному, я избегаю с ним встречаться, чтобы не давать повода к каким-либо столкновениям, что мне стало случайно известно предположение нового Министра Финансов пригласить в Финансовый Комитет таких лиц как Рухлов, Кривошеин и Никольский, открыто проповедующих такие финансовые взгляды, которые диаметрально противоположны моим, и которые я считаю безусловно вредными и, что, оставаясь в комитете, я по необходимости могу войти в противоречие с другими членами, и тогда явится невольно предположение о том, что я возражаю только потому, что я перестал быть Министром Финансов. Государь сказал мне на это: «к сожалению, Вы совершенно правы, и Я не могу Вам мешать в исполнении Вашего желания».

{294} Так кончилась моя деятельность и по комитету финансов, в который я вступил по инициативе покойного Гр. Сольского 3-го февраля 1904-го года вместе с покойным Шванебахом, всего за 2 дня до назначения меня управляющим Министерством Финансов. С Гр. Сольским тогда был солидарен и Гр. Витте, который тогда сказал мне: «ну вот мы опять с Вами вместе в одном близком нам обоим деле», и тот же Гр. Витте, ровно 10 лет спустя, явился единственною причиною моего выхода из Финансового Комитета.

Вернувшись домой, я, по обыкновению, передал все подробности жене, и мне было отрадно видеть насколько она разделила правильность моего поступка насчет денег. Мы условились не говорить об этом решительно никому, и единственный человек, который узнал о том, был Я. И. Утин, давший, однако, слово не рассказывать никому. Но уже на следующий день с вечера об этом узнал буквально весь город. — Разнес эту весть покойный Великий Князь Николай Михайлович, приехавший в Яхт-Клуб прямо из Царского Села, — где ему передал об этом лично Государь. Мне не известны, конечно, комментарии, с которыми передана была эта весть Великим Князем, но сначала общее сочувствие было на моей стороне.

Многие находили даже, что я не мог поступить иначе. Но затем постепенно стали просачиваться и другие взгляды. Одни стали говорить, что я популярничаю, другие, что я поступил дерзко по отношению к Государю, и что я таким образом Его оскорбил. Третьи, — что я поступил просто глупо, т. к. никто не отказывается от денег и связанных с ними удобств жизни. Говорили мне даже потом, что этим я окончательно восстановил Государя против себя, — но так ли все это на самом деле, я решительно не имел возможности узнать, несмотря на все попытки восстановить истину в этом вопросе. Думаю, однако, и сейчас, что мои доброжелатели легко могли воспользоваться этим фактом, как впрочем и всяким другим, чтобы представить меня Государю неблагодарным, фрондирующим, заискивающим у толпы и т. д. Я уверен, однако, что лично в Государе не осталось поэтому поводу никакого неудовольствия.

Тот же день — пятница, 30-го января — ознаменовался еще одним инцидентом. Я сделал ему тотчас же подробную запись, которая долго хранилась у меня, и которую я воспроизвел здесь, однако, только в одной ее части, выпуская все, что имело личный характер. В 3 часа дня ко мне приехал **{295}** новый управляющей Министерством Финансов — Барк. Он вошел в кабинет весьма смущенный и заявил, что пришел в день своего назначения, чтобы поздравить меня с великой Монаршей милостью, выразил мне глубочайшее свое уважение, которое он питает ко мне еще с того времени, когда он был моим подчиненным в качестве товарища Управляющего Государственным Банком, и чтобы просить моей помощи и совета в выпавших на его долю, столь неожиданно, трудных обстоятельствах.

Мы сели у большого письменного стола, и Барк начал с того, что назначение свалилось на него, как снег на голову, что он им смущен до последней степени, что его страшат в особенности, непомерные требования Военного Министерства, и что его единственная надежда на мою доброжелательную помощь. Я поблагодарил его за лестное ко мне отношение и попросил его разрешения говорить с ним также совершенно откровенно, так как в моем положении совершенно бесцельно вести дипломатические беседы.

Я сказал ему прежде всего, что его назначение не только не было для него неожиданностью, но подготовлялось издавна, и еще в 1910-м году, когда он был назначен Товарищем Министра Торговли, все говорили открыто, что Тимашев взял его не столько по собственному выбору, сколько потому, что на него указал покойному Столыпину Кривошеин, готовя в нем более сговорчивого чем я, Министра Финансов в будущем.

Я прибавил еще, что для меня не составляют тайны его частые визиты к Кн. Мещерскому, после той помощи, которую оказал тот ему в трудную минуту его жизни. Я перешел затем, к самой его просьбе о помощи и сказал: «зачем нам играть в прятки. Вы для этого слишком умны и молоды, а я слишком стар и нам гораздо проще говорить открыто, не вызывая никаких недоразумений». «Рескрипт, данный на Ваше имя, сказал я, ясно говорит, что Вы должны делать не то, что делал я, — а прямо противоположное, и если Вы будете руководиться моими советами», то несомненно впадете в противоречие с начертанною программою, а требовать от меня, чтобы я научился оберегать Вас от моих же ошибок, значит быть слишком жестоким ко мне».

Я дал ему даже дружеский совет, как можно скорее эмансипироваться от моего влияния и подобрать себе новый штат главных сотрудников, воспользовавшись той помощью, которую я ему оказал, испросивши назначения Членами Государственного Совета по их настоятельной просьбе — 3-х его товарищей. Я сказал **{296}** также, что желая облегчить его в его новой деятельности и устранить самую мысль о том, что я могу ему быть в чем-либо помехою, я просил Государя освободить и финансовый комитет от моего участия.

Эти два сообщения были для него совершенно неожиданны, и он нашелся оказать лишь только одно: «Как же это так случилось разом».
А затем опять перешел к вопросу о трудности его положения, о том, что он решительно не знает, как ему бороться против колоссальных требований Военного Министра, которые могут привести его к совершенно безвыходному положению, и потому он и пришел к необходимости искать опоры в таких умудренных опытом людях,

как — я. Но и на это повторное обращение ко мне, я ответил отказом, дав этому отказу подробные объяснения, которых я не буду здесь воспроизводить.

Перед тем, чтобы уйти от меня, Барк спросил меня, не могу ли я сказать ему, почему я ушел из Финансового Комитета и лишил его возможности знать мое мнение хотя бы в области дел разрешаемых Комитетом. Я сказал ему также с полною откровенностью, что этим моим шагом я не только не затруднил, во напротив того, облегчил его положение в Комитете, и уверен, что и он, — будь он на моем месте, поступил бы точно также.

Я просил его припомнить то, о чем он был прекрасно осведомлен, а именно о том, какими особенностями отличалось отношение ко мне председателя Комитета, Гр. Витте, начиная с возвращения его из-за границы в половине сентября 1913 г. Не было тех ошибок, в которых не обвинял бы он меня, несмотря на то, что еще за 2—3 недели до возвращения он рассказывал в Париже направо и налево, что лучшего Министра Финансов и даже Председателя Совета Министров в настоящее время в России — нет.

По его словам, я и опытный финансист, твердо охраняющий финансовую устойчивость от всяких бессмысленных увлечений, — я и осторожный политик, оберегающий страну от всяких опасных экспериментов, до войны с Германией включительно, а если во мне замечается недостаточная авторитетность в отношениях к Думе и Государственному Совету, то в этом вина не моя, — а тех, кто гораздо выше меня, так как они отлично понимают, что вне Государя у Министров нет никакой опоры.

Через 2 недели все переменилось, и я стал чуть ли не государственным преступником. Стоит только припомнить речи Гр. Витте в Государственном Совете по вопросу о **{297}** борьбе с пьянством и его настойчивые выкрики «караул», сопровождаемые прямым обвинением меня в том, что я развратил Россию, споил ее и погубил ту благодетельную меру, которую он изобрел в виде винной монополии. Стоит прочитать затем его интервью в «Новом Времени», тотчас по возвращении из-за границы, в котором он резко осуждал всю мою железнодорожную политику и обвинил меня в том, что, играя в руку железнодорожным тузам, и чуть ли не преследуя личные цели, я душил казенное строительство и внес прямой разврат (это его подлинное выражение) в частное строительство, сделавши его предметом самой неудержимой спекуляции.

Ясно до очевидности, что теперь, когда главная цель достигнута, и я более не у власти, Гр. Витте не удовольствуется одержанной победой.

Я не знал еще тогда о том, что произошло 5 дней спустя и — справедливо, или несправедливо, — связано с его же именем. Для меня совершенно очевидно, что в Финансовом Комитете начнется беспощадная критика всего, что я делал в течение 10 лет, и повторится с фотографическую точностью то, что происходило в сентябре 1905-го года в Совещаниях покойного Графа Сольского по выработке закона о Совете Министров.

Что бы я ни сказал, Гр. Витте будет непременно возражать, и мне придется для проведения самого бесспорного положения прибегать к недостойному приему — говорить против своего убеждения для того, чтобы, опровергая меня, Гр. Витте пришел к правильному выводу. К тому же в Финансовом Комитете не принято много спорить и, во всяком

случае, совершенно не принято делать разногласий, всегда трудно разрешаемых Государем.

Без всякого моего желания я прослыл бы за бесполезного спорщика, а Министр Финансов оказался бы между двух огней и, примкнув, — что совершенно неизбежно — к мнению Председателя, доставил бы мне только лишнюю досаду и огорчение. Наконец, мне просто нравственно тяжело входить в дом человека, настолько ко мне нерасположенного, и я имею, после всего мною пережитого, неотъемлемое право на покой и отдых, к которому я только и стремлюсь теперь.

Мы расстались на этом с Барком, и более не встречались ни для какой беседы.

Прошло много месяцев после этой первой нашей встречи. Мирная хотя и полная тревог и осложнений жизнь сменилась войною, принесшею России еще и до революции 1917 г. столько горя и разочарований Финансы России **{298}** были расстроены и день ото дня управлялись все хуже и хуже, — но со мною никто не обмолвился ни одним словом, как будто меня нет и на свете. Почему? Причин много, и они мне совершенно ясны, и я говорю только то, что я испытывал в ту минуту. Все равно, я не мог ничему помочь, среди тех условий, которые существовали во время войны, и для меня было большим нравственным успокоением то, что я не приложил своих рук к создавшемуся положению.

На этих моих свиданиях в день моего увольнения я мог бы и закончить мои воспоминания об эпизодической стороне моего увольнения и перейти к изложению того, кому я обязан моим увольнением, и какими причинами было оно вызвано.

Я отмечу, однако, еще 2—3 момента, которые заслуживают быть присоединенными к этому изложению.

Как только Барк ушел от меня, я позвонил к Сазонову по телефону прямого провода и передал сущность моего разговора с Государем относительно моего желания перебраться заграницу на посольский пост. Первое слово Сазонова было, казалось, проникнуто чувством искреннего удовольствия, и он тут же спросил меня, может ли он застать меня дома и переговорить спокойно, по горячим следам, как воспользоваться столь благоприятным настроением Государя. В шесть часов он пришел ко мне, и весь разговор принял сразу же такой простой и искренний тон, что мне было отрадно выслушать его нескрываемое желание сделать то, что отвечает моим желаниям, которые давно совпадают, как он сказал, и с его стремлением ввести в состав нашего дипломатического представительства людей иного склада ума, нежели нынешний состав наших послов, неприспособленных к требованиям резко изменившихся условий нашей политической жизни.

Не выбирая выражений, он сказал мне, что наш посол в Париже Извольский уже известил его по телеграфу, что тотчас как до Парижа дошла весть о моем вероятном увольнении, ему передали близкие ему люди, связанные отношениями с правительственными кругами, что в последних открыто выражают желание видеть меня на посту нашего посла в Париже и не скупятся на самые лестные отзывы обо мне, в связи с недавним посещением мною Парижа. Он не скрыл от меня, что Извольский прибавил к своей шифрованной депеше выражение его надежды на то, что он, Сазонов, «не даст его в обиду и защитит его интересы, так как он далек от всякого **{299}** желания уступать кому бы то

ни было свое место и примет любое перемещение свое за прямую обиду».

Сазонов пошел еще дальше. Напоминая мне наш разговор с ним по возвращении моем в ноябре прошлого года из моей поездки заграницу, он сказал, что тогда же, он в точности воспроизвел Государю все неблагоприятные слухи относительно положения Извольского в Париже, которые заставили его, не взирая на всю щекотливость его личного положения по отношению к Извольскому, как его другу с ранней юности и недавнему начальнику, которого он заменил на министерском посту по его непосредственной инициативе, передать Государю и то, что положение Извольского в глазах правительства Франции действительно очень неблагоприятно, и Государь тогда же ответил ему, что Ему все это очень неприятно, тем более, что те же сведения дошли и до Него — очевидно от Великих Князей, часто навещающих Париж, и что и Государь того мнения, что нужно найти способ предоставить Извольскому иное назначение, как только это окажется исполнимым.

При таких условиях, сказал Сазонов, Ваше желание совершенно исполнимо, и я приложу все усилия к тому, чтобы Вы недолго оставались в выжидательном положении». Мы условились, что во вторник же, на своем докладе, он поднимет этот вопрос и тотчас известит меня о своей беседе с Государем. Наступил вторник, Сазонов мне ничего не сказал. Я, в свою очередь, не решился вновь поднимать вопроса, понимая, что ждать благоприятного результата, очевидно, не приходится, и дело так и заглохло, и никто со мною более и не заговаривал на эту тему.

Разгадка этого странного эпизода стала мне в точности известна только гораздо позже.

В конце 1931 года появился в печати том уступленного советскою властью одной германской издательской фирме, с сохранением советской фирмы, издания исторических материалов за время непосредственно предшествовавшее великой войне, и в нем напечатаны два документа, имеющие отношение к моему увольнению.

Во-первых, письмо к Сазонову от Извольского от 11/24-го февраля 1914 года, с выражением его горячей благодарности за то, что «он отстоял его интересы и не дал совершиться величайшей несправедливости назначением меня на пост посла во Франции, тем более, что он, Извольский, вовсе не желает покидать свой пост, хотя уже давно тяготится жизнью вдали от России, но не имеет на то возможности, по состоянию своих частных дел.

{300} Во-вторых, в том же томе опубликовано донесение вновь назначенного в январе 1914 года, французского посла в России, Мориса Палеолога, о встрече его в поезде с возвращавшимся из Парижа в Россию Князем Владимиром Орловым, Помощником Начальника Военно-походной канцелярии Государя, который сообщил ему, прочитавши в Вержболове сообщение газет о моем увольнении, что это увольнение было уже давно предрешено, так как Государь находит, что я слишком подчиняю интересы внешней политики России «соображениям узко финансового характера».

Принадлежало ли это суждение Государю или же Князь Орлов выражал то мнение, которое отражало взгляды окружавшей Государя военной среды, я не имею, конечно данных судить, но могу с полною правдивостью удостоверить, что ни разу мне не пришлось услышать лично от Государя самых отдаленных намеков на то, чтобы Он не разделял моих взглядов на необходимость избегать всяких поводов,

способных усилить и без того тревожное состояние Европы за последние годы.

Я всегда слышал от Него самое недвусмысленное выражение Его крайнего миролюбия, обязательного для нас, причем, до самого последнего времени. Он не переставал говорить мне при всяком случае, что для Него совершенно очевидна наша неподготовленность к войне и обязательность для нас, хотя бы по этому основанию, соблюдать величайшую осторожность во всех наших действиях.

Он любил военное дело и чувствовал себя среди военных людей гораздо боле свободным и даже близким к ним, нежели к какому-либо иному элементу, но после Русско-Японской войны его взгляды на возможность вовлечения России в новую войну и на опасность ее для России, претерпели такое изменение, что я могу сказать с полным убеждением, что приведенное суждение обо мне не могло принадлежать лично Ему, и если только оно проявилось в Его ближайшем окружении, то в Нем самом — думаю я — оно никогда не находило сознательного отклика.

Конечно, мои разногласия с Сухомлиновым, а тем более мои настойчивые заявления о том, что в военном ведомстве у нас далеко неблагополучно, были Ему неприятны, а при сравнительно частом их повторении и просто докучали Ему.

Они могли даже довести Его до прямого неудовольствия на меня, так как они отнимали у Государя иллюзию в том, что было наиболее близко Его сердцу, но что бы Он мог ставить мне в вину мое чрезмерное миролюбие и мою так сказать профессиональную осторожность в **{301}** вопросах внешней политики, из-за финансовых соображений — этого не могло быть, и переданное Князем Орловым послу Палеологу суждение отражало просто безответственные взгляды военных кружков, неспособных отрешиться от их узкой точки зрения на непобедимость России, хотя бы и отставшей в ее военной подготовке.

Подтверждением правильности такого взгляда служит, между прочим, и инцидент, разыгравшийся на моих глазах в описанном выше заседании 10-го ноября 1912 года, в котором, на мое указание на нашу неподготовленность к войне, министр путей сообщения Рухлов не удержался возразить мне, что ни одна страна никогда не бывает готова к войне, а военный министр Сухомлинов поспешил поддержать его, сказавши, что он выразил святую истину и произнес золотые слова.

Как только прошли первые, хлопотливые, дни после моей отставки, и я успел покончить со всеми прощальными обрядностями, — я поехал к Гофмейстерине Е. А. Нарышкиной и просил ее испросить разрешение Императрицы Александры Феодоровны явиться к ней, чтобы откланяться по случаю моего увольнения.

Будучи давно знаком с нею, я находился даже почти в дружеских отношениях с нею с моих молодых лет и службы по тюремному ведомству, когда она занималась делами благотворительности на пользу заключенных. Я сказал ей, что делаю этот шаг, опасаясь, что Императрице может быть будет даже неприятно видеть меня, и потому я прошу ее передать мою просьбу со всею необходимою осторожностью, предоставляя Императрице полную возможность отклонить ее по какому ей будет угодно поводу, если бы не пожелала видеть меня, но отнюдь не насиловать Себя одними соображениями придворного этикета.

Е. А. Нарышкина не допускала, и мысли о том, что Императрица может отказать мне в приеме, и обещала тотчас же известить меня, как

только она доложить Ей эту просьбу.

На другой день, она протелефонировала мне, что она выполнила мое желание, не заметила и тени какого-либо раздражения по поводу его и оказала только, что Императрица чувствует себя нехорошо и назначит мне прием как только здоровье позволить Ей это. Прошло две недели, я не получил никакого ответа и решил не возбуждать более того же вопроса. Но Е. А. сама заехала к нам и сказала, что прием состоится вероятно на **{302}** ближайших днях, так как Императрица возобновила, уже свою обычную жизнь. На самом деле я никакого уведомления не получил и так и не был принят Императрицей до самого моего отъезда заграницу, а по возвращении моем домой, в половине апреля, я и сам более не поднимал того же вопроса, видя явное нежелание меня принять.

Больше я Императрицы не видел.

Мое увольнение последовало в пятницу 30-го января. Весь день и все ближайшие дни ко мне заезжало множество людей — выразить свое сочувствие и сказать доброе слово. Государственный Совет перебывал у меня почти поголовно, заезжало много Членов Государственной Думы и в числе их мой обычный оппонент Шингарев, и только мои бывшие товарищи по кабинету проявили всего меньшее внимание. Большинство из них оставило карточки. Заходил ко мне поговорить дружески один Тимашев, да поднялись наверх в день приема моей жены Харитонов и Рухлов, причем последний сказал мне только, что, очевидно, я знал все раньше, но только молчал «но моей обычной сдержанности».

Впрочем, такое отношение министров было до известной степени понятно. Многие из них принимали деятельное участие в моем увольнении, да и оказывать внимание опальному — не совсем выгодно.

Зато столичное общество, наши близкие и даже просто светские знакомые проявили к нам с женою внимание, не лишенное, быть может, известной демонстративности. В ближайший приемный день моей жены, в воскресенье 1-го февраля, съезд у нас был совершенно необычный, — перебывало до 300 человек, и экипажи стояли до Дворцовой площади. Тоже повторились и 3-го февраля, в день именин жены. Никогда не было такой массы народа и такою количества цветов. Нам говорили, что эти съезды произвели известную сенсацию в городе, и, вероятно, нашлись охотники, которые разнесли куда следует и изобразили нас как центр будирующего столичного населения.

6-ое февраля (четверг) был день особенно для меня тягостный. В этот день исполнилось ровно 10 лет с моего первого назначения Министром Финансов. Я думал дожить до этого дня на посту и приготовил к этому дню весьма интересное издание — объективный и отнюдь не хвастливый обзор того, что сделано в России за этот период времени в финансовом и экономическом отношении.

Я надеялся лично поднести **{303}** Государю это издание, но судьба распорядилась иначе. Опасаясь, что под впечатлением такого несчастного юбилея для Министерского поста, у Государя могло возникнуть колебание и кампания моих противников могла даже не удастся, они подстроили так, что мое увольнение последовало ровно за неделю до этого срока.

Заблаговременно, более чем за две недели, зная, что мои сослуживцы готовились чествовать меня к этому дню, — я пригласил их на обед, отменять его мне не хотелось, но он прошел, конечно, необычайно тягостно.

Многие с трудом удерживали слезы, да и я сам, научившийся сдерживаться при людях, чувствовал ясно, что мои нервы не выдержат при малейшем прикосновении к ним слов ласки и сожаления о разлуке.

Я обратился к моим бывшим сослуживцам с прощальным коротким словом благодарности, но просил их не отвечать на него, сказавши им прямо, что боюсь не выдержать до конца. Рано разошлись все от меня и не помню теперь, кто именно, кажется Венцель или Гиацинтов, расставаясь со мною, на пороге сказал: «десять лет ходили мы в эти комнаты как в родной дом, где нас всегда встречала ласка и привет, а теперь нам сюда дорога заказана».

Следующий день, четверг 6-го февраля, я вынес последнее и самое тяжелое испытание. Мои сослуживцы захотели проститься со мною. Как ни уговаривал я старших чинов пощадить мои силы и избавить меня от нового испытания, я видел, однако, что уклонение от прощальной встречи обидит их, и решил, что называется, испить чашу до дна. Большая зала Совета Министров не вмещала всех, кто пришел проститься со мною. Спасибо еще Иосифу Иосифовичу Новицкому за то, что, взявшись сказать прощальное слово, он растянул его в длинную речь, уснащенную многими цифрами, несколько утомил всех и помог и мне справиться с моими нервами.

И все-таки, мое ответное короткое слово я едва досказал до конца, мне не хотелось показаться слабым перед посторонними, а тем более дать понять, что я так тяжело расстаюсь с моею деятельностью. Громкими, долго не смолкавши аплодисментами проводили меня из залы, и я знаю, что большинство разошлись под тягостным впечатлением всего, что было пережито. «Мы расставались», сказал мне при этом Н. Н. Покровский, «не только с Вами, кого мы так любили и почитали, но и с нашею ведомственною гордостью, со всем нашим прошлым, в котором было так много справедливости и в **{304}** котором так ясно ценили всегда один труд и одни дарования и — не допускали иных мотивов к возвышению».

Через два дня после этого прощанья я покинул стены Министерства и спешно перебрался на мою частную квартиру на Моховой, я не стыжусь признаться, что этот переезд был для меня очень болезненный. Я сжился с этими стенами, любил их как место кипучей деятельности и сознавал, что я перехожу на полный покой, преддверие последнего, вечного покоя. Тогда не было еще полной уверенности в том, что судьба так скоро пошлет нам тяжкое испытание, которое всего через 3 года приведет нас к катастрофе. Мне было жаль всего моего прошлого, жаль было и того запаса сил, который я чувствовал еще в себе, и знал отлично, что мне некуда будет приложить его и что не легко я примирюсь с моим бездействием, хотя бы и сохраняя наружно свое спокойствие, как выражение личного достоинства.

Перед выходом моим из стен Министерства мне пришлось, однако, «пережить еще один удар самолюбию болезненного свойства.

Утром 6-го февраля, около 11-ти часов, ко мне пришел Я. И. Утин, чтобы напомнить, что 10 лет тому назад, в этот именно день он был одним из первых, узнавших о моем назначении, и при этом спросил, читал ли я номер издаваемой в Петербурге немецкой газеты «Petersburger Herold» от 4-го февраля, в котором помещена клеветническая обо мне статья под заглавием (по-немецки в тексте) «Владимир Николаевич Коковцов, не такой как другие министры». Я ее не читал.

В ней сообщалось, что петербургские сферы очень заинтересованы распространившимся слухом, что Государь предложил мне, при моем увольнении, крупную сумму в 200 или 300 тысяч рублей, от которой я, однако, отказался. Очевидно, — говорилось в статье, — что в моем лице появился на петербургском горизонте новый Аристид, поражающий всех своим демонстративным бескорыстием, а может быть на самом деле, просто настолько богатый человек, что вовсе не нуждается в щедрости своего Государя, и имеет легкую возможность сделать просто красивый жест в сторону.

Далее, газета рассуждает, что обычай русских Государей награждать своих верных слуг — есть хороший исторический обычай, и что те министры, которые пользовались этим прекрасным обычаем, поступили только похвально, и что напрасно Г. Коковцов хочет показать, что он лучше их, и думает этим **{305}** гордиться. Заканчивается статья следующей фразой: «По этому поводу в бюрократических кругах Петербурга распространяется афоризм, принадлежащий одному из наиболее видных сановников Империи — «гораздо похвальнее и честнее получать деньги от своего Государя, нежели от Г-на Утина, председателя Правления Учетного и Ссудного Банка, в Петербурге».

Познакомившись с этою новою выходкою против меня, я тут же, в присутствии Утина, позвонил по телефону к Горемыкину, прочитал ему статью в спросил его, намерено ли Правительство защищать меня и воспользоваться его правом привлечь редактора, Г-на Пипирса, к суду или предпочтет уклониться и предоставить это сделать мне, в порядке частного обвинения.

Горемыкин сказал, что немедленно распорядится, просил меня не беспокоиться и действительно тотчас же передал Графу Татищеву, Начальнику Главного Управления по делам печати, который по свойственной ему утонченной порядочности тотчас же передал дело Прокурору. Долго тянулось это простое и поистине пустое дело. Я успел съездить за границу, вернулся 15-го апреля домой и только в конце июня оно дошло до Окружного Суда и завершилось обвинительным приговором, которым клеветник был присужден к заключению в тюрьме кажется на 6 месяцев. Пипирс перенес дело в Палату. Опять прошло много месяцев, и только позднею осенью, кажется в октябре, жалоба его оставлена была без последствий. Пипирс обжаловал решение Сенату, который также оставил жалобу без последствий, и этому литератору, слепо поверившему сообщенной ему клевете, пришлось отбыть наказание.

Но, при рассмотрении дела в Судебной Палате, защитник Пипирса, кстати весьма недружелюбно настроенный против меня еще со времени славянских обедов 1912 г., Г. Башмаков, бывший редактор «Правительственного Вестника», который должен был покинуть отчасти по моему настоянию службу в конце 1912 года, так как, состоя на государственной службе он не хотел прекратить участия в указанных обедах, выносивших явно оскорбительные для правительства резолюции,— представил в оправдание своего клиента номер газеты «Берлинер Тагеблат», в котором было сказано, что «Сановник, пустивший в оборот афоризм о Графе Коковцове, есть никто иной как Граф Витте». Башмаков прибавил, что, получивши такое сведение из источника самого авторитетного и не подлежащего ни малейшему сомнению в его компетентности, редактор **{306}** газеты действовал «бона

фидэ», и его нельзя обвинять в напечатании известного сообщения, как «заведомо для него ложного».
Все эти сведения я оставляю, разумеется, на полной ответственности приведенного источника. У меня не было ни способов ни возможности его проверить, тем более, что в эту пору мы были уже в войне с Германиею.

Не хочется поставить точки к изложению обстоятельств этой скорбной минуты моей жизни, не сказавши и того, что до сих пор лежит у меня на сердце, — какою теплотою повяло мне в эту тяжелую пору, то горячее сочувствие, которое я встретил со многих и многих сторон. Помимо того, что сотни людей приехали выразить мне их сочувствие, некоторые из множества полученных мною писем достойны того, чтобы о них было упомянуто особо. Я сожалею о том, что не могу привести всех.

Член Государственной Думы Шубинский писал 30-го января:
« Критиковать легко — созидать трудно. А Вам выпало в минуту разрухи и смятения поддерживать финансы страны — эту артериальную кровь всякого государства. Очевидно, период их бережливого, разумного, талантливого создания окончен. Что ожидает впереди? Разобрать, разрушить все легко. Вы были осторожным, мудрым кормчим финансового корабля. Он вышел из тяжелых испытаний с могучей нагрузкой золотом. Чем то скажется будущее? Какой финансовой мудростью подарит нас Манифест и его обещания. Дай Бог только, чтобы все это не отразилось на благе России и ее устойчивости!»

Член Государственного Совета (по выборам), Харьковский Профессор Д. И. Багалей, не имевший со мною никаких личных отношений, писал: « Ваш уход весьма огорчил меня как и всех тех, кто воочию наблюдал Вашу беззаветную преданность государственному благу, Вашу изумительную работоспособность, Ваш светлый практический ум, Вашу европейскую корректность в отношении к людям, Вашу джентльменскую скромность во власти и, наконец, Вашу безупречную честность. Желательно было бы в интересах общественных, чтобы Вы приняли активное участие в работах Государственного Совета, который очень нуждается в деятелях с таким огромным государственным опытом, каким обладаете Вы».

Член Государственного Совета А. С. Ермолов писал мне:
« Я уверен в том, что многие в России будут подобно **{307}** мне, оплакивать это событие, и все печальные его последствия выяснятся очень скоро. Я понимаю, что Вам под конец уже невмоготу стало и Вас лично можно только поздравить с освобождением из невыносимого положения, но нам со стороны, дозволительно глубоко об этом, чреватом последствиями событии сожалеть. Все те кто сознательно относится к переживаемому Россиею моменту, в праве с тревогою спросить себя — что будет»...

Другой Член Государственного Совета, мой лицейский профессор и известный криминалист Н. С. Таганцев, с которым меня связывали близкие сношения с самых молодых лет,— как ученика к своему профессору, — писал: « Мое письмо знак моей большой печали и больших опасений. Думаю, что печаль разделяют со мною все те, которые дорожат будущим дорогой мне России. Увольнение — для Вас лично — это освобождение от тяжкого бремени и наступление личного, хотя бы и временного успокоения, но обстоятельства этого увольнения и даже форма незаслуженны Вами и несправедливы.

Позолочена пилюля— из асса фетида. А что будет дальше? Каким курсом пойдет задрейфовавший государственный корабль? А что такое новый руководитель финансов. Слухами земля полнится».

Член Государственного Совета профессор И. Х. Озеров, не особенно нежно относившийся к моей деятельности, пока я был у власти, — написал l-го февраля:

«Позвольте мне этим письмом выразить глубокое мое сожаление и искреннюю грусть по поводу оставления Вами поста Председателя Совета Министров. Вы вели наш государственный корабль с величайшею осторожностью, среди подводных камней и рифов. Россия в Вас имела залог того, что она в правовых своих основах не пойдет вспять. Я понимал всю трудность Вашего положения и будучи не всегда согласен с Вами в политических вопросах, я глубоко ныне скорблю, как сын своей родины, по поводу Вашего ухода. Дай Бог Вам сил и здоровья, и быть может, наступит момент, когда, судьба опять поставит Вас у кормила государственного корабля, на благо России».

Сергей Иванович Тимашев, занимавший во время моего увольнения должность Министра Торговли, вспомнил 5-го февраля печальную, по обстановке, годовщину моего назначения 10 лет тому назад, на должность Министра Финансов, написал мне в этот день письмо и в таких выражениях отметил **{308}** это событие. «Десять лет тому назад (это было в самом начале Русско-Японской войны) я переживал большие волнения. Эдуард Дмитриевич (Плеске) угасал, Петр Михайлович (Романов), видимо, терялся, ужасные события надвигались. Я чувствовал всю тягость лежавшей на мне ответственности и изнемогал под этой тяжестью. И живо как сегодня помню я утро 5-го февраля, когда вошел сияющий курьер Матвеев (Вы помните его) и сообщил радостную весть о Вашем назначении. Сразу стало спокойно. И столько раз потом, когда положение ухудшалось, когда оно казалось безысходным, я сознавал, что не напрасно приветствовал Вас в день 5-го февраля. Вот те воспоминания, которые сегодня живо переживаю. Я думал, что этот день пройдет при других обстоятельствах, думал, что буду иметь возможность лично поздравить Вас. Но судьба судила иначе. Дай Бог Вам бодрости и душевного спокойствия».

Управляющей Киевскою Конторою Государственного Банка Г. В. Афанасьев, человек выдающейся по своей научной подготовке, незапятнанной репутации писал мне между прочим:

«Я жалею бесконечно о Вашем уходе. Этого мало; я скорблю об нем как патриот, глубоко любящий свою родину. Я нахожу трагизм нашего положения в том, что именно Вы должны были уйти. Что может ожидать страну, если такой консервативный, но просвещенный и благородный человек, как Вы, оказался не в силах нести бремя власти, если такой человек оказался в несоответствии с господствующей атмосферою».

Член Государственной Думы 3-го созыва Барон Черкасов писал: «Всю прошлую неделю с 24-го января я провел в Москве на дворянском собрании, в сутолоке его не сумел найти времени, чтобы сказать Вам, с каким смятением духа наблюдал я за событиями, разразившимися за последнее время. Прислушиваясь к тем толкам, которые породили эти события среди всех сознательных групп Московского Дворянства, я убедился, что такое же точно смятение, гнет стихийности, неизвестность будущего испытываются всеми, кто привык смотреть на мир Божий шире нежели позволяет родная колокольня.

Еще более подавленности и смущения я вижу в нашем бывшем ведомстве (Он был одно время Управляющим акцизными сборами), где, прислушиваясь к голосу некоторых высоко авторитетных указаний, люди тревожно ставят вопрос: чего же теперь держаться? Как понимать и исполнять свой **{309}** служебный долг? Как избежать нареканий и ответственности. Я не могу найти утешения по отношению к той потере, которую в Вас понесла моя бедная родина, которую я все-таки люблю больше чем Вас и чем самого себя. Вы, конечно, вернетесь к власти, и тогда я не пожалею об Вас, а порадуюсь всей душой за Россию. Пошли только Бог, чтобы это случилось не слишком поздно»

Я глубоко сожалею о том, что место не позволяет мне поместить и многие, многие другие прощальные приветствия. Они представили бы не малый интерес.

Множество писем получил я из заграницы, но из них я упомяну лишь переданное мне Германским послом Пурталесом собственноручное письмо Германского Имперского Канцлера Бегмана-Голвега, присланное с отдельным курьером и написанное тотчас по получении в Берлине телеграфного извещения о моем увольнении. В этом письме Канцлер писал мне, между прочим: « я всегда жил с моим глубоким убеждением, что Вы являетесь могущественным проводником экономического и культурного развития России, и что сохранение дружественных отношений между нашими двумя соседними странами всецело соответствует той политической программе, которая была усвоена Вашими взглядами, как государственного человека. Я мог быть, поэтому, всегда уверен встретить в Вас самое искреннее сочувствие тем же взглядам, которые и я считал необходимыми и соответствующими интересам моей страны. Поэтому, я сохраню на всегда благодарное воспоминание о всех тех случаях, когда наша взаимная работа на пользу наших стран ставила нас в непосредственное соприкосновение и вела всегда к обоюдной государственной пользе.

«Проникнутый этими мыслями, я выражаю мою искреннюю надежду на то, что Ваше удаление с политического поприща, будет только преходящим, и что в ближайшем будущем Ваша выдающаяся работоспособность снова возвратит Вас к служению общим интересам.
«Я сохраню также мои лучшие воспоминания о наших встречах, как в С. Петербурге, так и в Берлине».

Последнее письмо, о котором я хочу упомянуть в заключение, поставивши его совершенно особняком от всех ранее приведенных, — это письмо от 30-го же января от Графа Витте Вот оно:

«Сердечно поздравляю Вас с знаменательною Высочайшею наградою. Теперь мы можем обменяться с Вами откровенными словами, т. к. мы люди ни в каких отношениях друг от **{310}** друга не зависимые и, с другой стороны, к искреннему моему удовольствию, за Ваши несомненные заслуги отечеству, Вы соответственно вознаграждены.

«Поверьте мне, дорогой Владимир Николаевич, что я ни одной минуты лично против Вас ничего не имел. В последнее время в особенности в области финансовой политики я с Вами во многом расходился. Вы избегали говорить со мной о каких бы то ни было финансовых делах, а потому я не считал уместным начинать с Вами разговор, который, конечно, не мог быть Вам приятен. Я старался отсутствовать, не высказываться, но не мог долго держаться на этой

позиции, не потеряв лица.

«Поэтому я начал высказываться и сейчас же дал Вам повод говорить о моих интригах и моей будто бы злодейственности. Но в этом Вы ошибаетесь.

«Желаю Вам успокоиться, войти в равновесие и успокоиться после Ваших тяжелых трудов.
«Передайте мой привет и поздравление Графине».

Я немедленно ответил на это письмо, поблагодарил за себя и за жену как за поздравление, так и за желание, чтобы я успокоился. Я сказал, что последнее уже осуществилось, потому что, несмотря на тяжесть переживаемого момента, я спокоен, как может и должен быть спокоен человек, с совершенно чистою совестью и с ясным сознанием своего до конца исполненного долга. Я прибавил, что прошу извинить меня за то, что не отвечаю на ту часть письма, в которой говорится о наших взаимных отношениях, потому что ответить на нее коротко — значит, только дать новую почву для ненужных недоразумений, ответить же с исчерпывающей полностью не позволяет мне время, ни даже прежние отношения. Впрочем, прибавил я, «если бы Вы пожелали осветить события последнего времени правдивым и объективным светом, я был бы рад отдать такому освещению всю мою добросовестность и — в такой обстановке, которая устранила бы всякие поводы к неправильным толкованиям».

Это было наше последнее сношение. Мы более не встречались. После того, что произошло тотчас после моего увольнения и в последние перед ним дни, при встречах в Государственном Совете ни я не подходил к Графу Витте, ни он не искал встречи со мною. Дальше я постараюсь подробнее выяснить роль в моем увольнении этого, во всяком случае, выдающегося человека.

{311}

ГЛАВА III

Главные участники действовавшей против меня коалиции — Князь В. П. Мещерский — Его способы действия — А. В. Кривошеин — Его расчеты на Горемыкина — Гр. С. Ю. Витте и руководившие им побуждения — Сухомлинов и Маклаков.

Говоря теперь о всем пережитом мною и так много лет спустя после моего увольнения, я и теперь, как тогда, даю себе ясный отчет в том, что увольнение мое — дело рук не одного какого-либо человека или результат какого-либо острого случая, — а последствие систематически веденной агитации целой коалиции.

Не важно то, что некоторые из действующих лиц не были связаны между собою взаимною близостью и даже не участвовали в одних и тех же действиях. Существенно то, что у всех них была одна цель — удалить меня во что бы то ни стало и во имя самых разнообразных, для каждого из них, побуждений. С разных сторон сошлись они для определенной цели, достигли ее и разошлись по сторонам, не мало не претендуя друг на друга, за то, что не всем из них удалось извлечь для себя из моего увольнения какие-либо личные выгоды.

Все они добились, во всяком случае, главного, что им было нужно — удаления меня от власти, и на моих развалинах часть их построила временно свое благополучие.

Я вспоминаю об этом без всякого раздражения и даже без простого неудовольствия. Я сознательно говорю даже, что я должен благодарить моих противников за то, что они разрушили мою служебную карьеру, причинивши мне, конечно, на первых порах, немалое огорчение. Но они избавили меня от гораздо больших страданий, которые я испытывал бы бесспорно полгода спустя, когда разразилась война, которой я не сочувствовал всею душою, и наступили затем все внутренние и внешние **{312}** осложнения, за которые ответственность должна была бы пасть и на меня, если бы я оставался во главе Правительства или вообще у власти. И если я говорю об этом в моих Воспоминаниях, то вовсе не потому, что мне хочется найти удовлетворение моему самолюбие, разъясняя роль моих противников в моем увольнении, а только потому, что без этого выяснения вся картина прошлого осталась бы просто без правдиво нарисованного фона, и создалось бы даже недоумение в понимании этого еще сравнительного недавнего прошлого.

Среди всей этой коалиции против меня первым по времени и даже душою ее и наиболее влиятельным моим противником был, вне всякого сомнения, известный издатель «Гражданина» Князь Владимир Петрович Мещерский. Чем приобрел он влияние в известных столичных кругах того времени и какими путями успел он внушить веру в это влияние далеко за пределами его непосредственного окружения, это представлялось и тогда, а тем более представляется и теперь трудно разрешимою загадкою.

Для многих не составляло тайны, что вдовствующая Императрица открыто презирала Мещерского. Император Александр III в свое время просто удалил его от себя, а Его взгляды были всегда законом для Его сына, и только под самый конец жизни Он как будто несколько примирился с ним, но не проявлял уже и тени того внимания к нему, какое Он оказывал прежде, в ту пору, когда Император Александр III был Наследником престола или в начале своего царствования.

С вошествием на престол Императора Николая II Мещерский, как непосредственно, так и при помощи некоторых из лиц, стоявших в близких отношениях к Его отцу, стал энергически добиваться возвращения себе былого доступа к Государю, зная прекрасно насколько юный Император благоговел перед памятью Своего отца. Его еженедельник «Гражданин» как-то разом оживился после временного потускнения. На его столбцах в особенности после 1905 г. все чаще и чаще стали появляться статьи, посвященные разработке в Кратких заметках вопроса о существе русского самодержавия, о его отличии от Монархизма на Западе, о необходимости сохранения во своей неприкосновенности всех принципов прежней, исключительно одной России свойственной, «исконной Царской власти», исчерпывающей все свои силы в любви и преданности ей всего народа, как единственного носителя внедрившейся в **{313}** него веры в то, что все величие его родины создано только Царскою властью.

Во всех его статьях на эту тему неизменно повторялось, что одна царская власть радеет о благе народном. На единении Царя с народом покоится все благополучие России. Все, что разрывает это единение, все, что взаимно удаляет друг от друга эти две единственно созидательные

силы, должно быть пресечено в корне, ибо это создает самое вредное «средостение» и ведет и коренные силы благополучия страны — к разрушению.

Эта тема становится, так сказать, коренным лозунгом политического верования «Гражданина» в особенности в смутные годы 1905—1906. Смотря по особенностям переживаемого времени, она или усиливается или ослабляется, но не сходит со столбцов еженедельника и держит внимание ее читателей постоянно прикованным к этому символу веры. Во всяком случае, со столбцов газеты не сходит одновременно с тем и тема, что самым ярким выразителем этих истинно русских начал является Император Александр III. Его царствование дало именно России спокойствие после смуты и все то величие, которого она достигла только верностью указанным лозунгам.

Та же тема избирается в особенности в качестве руководящего мерила для оценки отдельных государственных людей, которых волна меняющихся событий выдвигает на вершину приближения к Государю, становит в первые ряды правительственной лестницы или приближает к центрам влияния на ход событий.

Одни считаются отвечающими провозглашенному символу и потому их следует всячески возвеличивать. Другие, наоборот, признаются этим органом печати не вполне ему отвечающими и требуют еще особой проверки и наблюдения за их действиями, ранее, нежели им может быть оказано доверие. Третьи, наконец, хотя и достигли уже власти или даже признаются достойными ее, оказываются, однако, на самом деле склонными отойти от прямого пути, и их следует поэтому остерегаться или даже есть основание признать, что они не оправдали оказанного им доверия, и наступила пора заменить их другими, более надежными людьми.

Все суждения этого рода всегда сопровождались открытою квалификациею отдельных лиц, и с полною бесцеремонностью идет как бы биржевая котировка высшего правительственного персонала.

Следя за сменою событий нашей внутренней жизни по **{314}** страницам «Гражданина», можно воспроизвести весь калейдоскоп сменяющихся «фаворитов» и «развенчанных» людей, и можно заметить в никоторые наиболее острые моменты известное соответствие фактических перемен в судьбе этих людей с суждениями о них «Гражданина».

Отсюда как-то невольно, мало-помалу, возникает впечатление о влиянии этой газеты, о доступности для нее, по крайней мере, достоверных сведений из центров действительного осведомления. Такое впечатление, в свою очередь, ведет в известных кругах к возникновению желания сблизиться с тем, кто так умело угадывает события, а, может быть, даже косвенно располагает возможностью направлять их. Отсюда — только один шаг до стремления людей приблизиться к этому очагу, до желания пользоваться им в своих личных интересах, до готовности идти по пути его советов и указаний.

Этою публицистическою деятельностью не ограничивается, однако, стремление Князя Мещерского к распространению и углублению своего действительного или кажущегося влияния.

Ссылаясь все на ту же былую свою близость к Императору Александру III, он начинает по всяким поводам, а часто и без малейших поводов, писать Государю письма, навязывая свои взгляды на людей и на дела, и не смущается тем, что многие письма остаются долго, или даже

вовсе, без ответа. Он продолжает писать и писать, добиваясь от времени до времени и личных аудиенций, которые приносили ему двойную пользу.

На них он старается устраивать свои личные дела или «радеть родному человеку», убеждая тем воочию свой антураж в своем исключительном положении, а еще более он широко рассказывает направо и налево, что он говорил Государю и что ему говорил Государь, безотносительно к тому отвечало ли это истине или нет, и этим снова вселял он не только среди высших провинциальных чиновников, аккуратно ездивших к нему на поклон, но иногда и среди многих высших столичных сановников такую же веру в его влияние. И таким образом, мало-помалу, строилось и распространялось убеждение, что с этим человеком, которого ¾ его знакомых не стеснялись характеризовать недвусмысленными эпитетами, следует очень и очень считаться, ибо через него так же можно достигнуть того, чего не добьешься прямым путем, как и ослабить чье-то положение наверху.

На худой конец ему оказывали внимание и старались всякими путями и способами расположить его к себе или, по **{315}** крайней мере, обезвредить его временами действительно немалое влияние не столько на дела, сколько на личные назначения, в проведении которых он особенно искусился.

Достаточно привести для характеристики хотя бы такой случай. В 1909 году истекало сочиненное самим Мещерским 50-летие его публицистической деятельности. Друзья и приспешники задолго до срока стали распускать слух о всевозможных милостях, которые посыплются по этому поводу «на главу маститого юбиляра» вплоть до назначения его Членом Государственного Совета, а сам он не постеснялся лично заехать к Столыпину и высказать свои вожделения, которые сводились, как всегда, к выдаче единовременной крупной суммы: он говорил прямо о 200.000 рублей.

Не проявлявший большого упорства, в отношении денежных выдач, когда дело шло о той или иной политической комбинации, Столыпин передал мне об этом желании и просил ему помочь. Он сказал мне при этом, помню дословно его обращение: «Я такого же мнения о Мещерском, как и Вы, но ведь с волками жить — по волчьи выть, нужно снять его злобу с нашей дороги, дабы он не мешал нам своими происками делать наше дело. Поверьте, Владимир Николаевич, что мы с Вами даем России больше, чем эти 200.000 рублей».

Я долго убеждал Столыпина не делать этого и, наконец, склонил его не настаивать на его намерении, главным образом, двумя аргументами. Я сказал ему, что давши 200.000 тысяч, он разом утратит Мещерского, потому что ему уже нечего будет опасаться его, так как что бы он ни делал лично ли против него или против членов Правительства, выданных денег отобрать нельзя, а такие люди всегда, бранят тех, от кого получили подачку, когда не рассчитывают получить большую. А затем — и это всего более убедило Петра Аркадьевича — я сказал, что такая выдача, как 200 тысяч, не останется тайною, и положение его, Столыпина, будет дискредитировано перед Государственной Думой и такими кругами, которыми не следует пренебрегать.

Подумавши немного, Столыпин сказал мне, что все-таки отделаться в «сухую», очевидно, не удастся, и нужно всячески помешать назначению Мещерского в Государственный Совет, — чего он опасался больше всего — и для этого следует предложить Государю назначить

Мещерскому негласную пенсию в 6000 рублей в год из 10-ти миллионного фонда.

Когда это предложение было принято, и Высочайшее **{316}** повеление испрошено, Столыпин был очень доволен и не раз говорил мне, что — «мы с Вами дешево отделались». Эту пенсию Мещерский получал до своей смерти летом 1914 года, но очень скоро тот же Столыпин убедился, что приобрести милости этого «бескорыстного» слуги своего Государя ему не удалось, так как не прошло и нескольких месяцев, как в «Гражданине» начался самый яростный поход против самого Столыпина. Трудно сказать, этот ли поход стал медленно, но верно, подтачивать влияние Столыпина, но, во всяком случае, поход против этого выдающегося человека начался потому, что ловкий интриган подсмотрел, что Государь начинает тяготиться своим слишком популярным и восхваляемым Председателем Совета Министров и далеко не прочь освободиться от него.

Революционная волна успела уже сойти, порядок восстановлен и спокойствие вернулось в стране.

Хорошо осведомленный обо всем Мещерский знал, конечно, о моем отношении к вопросу о крупной единовременной выдаче. Во всяком случае, ко мне он никогда не питал особенной нежности и скорее относился довольно безразлично до самого моего назначения Председателем Совета Министров.

Когда он совершению разошелся с Витте и в его дневниках стали, время от времени, появляться враждебные отзывы о прежней его деятельности, то, в связи с этим, обо мне упоминалось скорее сочувственно. Моему назначению Председателем Совета предшествовали также очень резкие выпады против покойного Петра Аркадьевича, постоянно появлявшиеся в дневниках за все последние годы председательствования Столыпина. Они особенно обострились с момента конфликта его с Государственным Советом из-за западного Земства, так что, когда Столыпина, не стало, и на его место назначен был я, — то, соблюдая на первых порах благопристойность в отношении к убитому сановнику, Мещерский начал даже хвалить меня и противопоставлять мою осторожность и беспартийность моему предшественнику будто бы «затемнявшему собою особу Государя» и выдвигавшему на слишком большую высоту «конституционный принцип объединенного кабинета, совершенно несовместимого с самодержавием Русского Царя».

Но особенной нежности ко мне все же не было: восторженные отзывы, которые всегда сопровождали в «Гражданине» «человека дня» почти отсутствовали, и мне приписывалось снисходительным тоном «преданность Монарху» и желание руководиться «не велением Младо-Турецкого Комитета Единения и Прогресса» (разумея под этим **{317}** Государственную Думу), и одною только «проникнутою благом» волею Монарха.

Но и это снисходительно-покровительственное отношение продолжалось весьма недолго. Мещерский ожидал «авансов» с моей стороны, но их не последовало, и очень быстро началось яркое охлаждение, а потом, также скоро, и нескрываемая критика.

Я продолжал оставаться вне всякого общения с Мещерским и делал это совершенно сознательно. Еще в давние, молодые мои годы, мне пришлось встретиться с ним в доме Графа Делянова и быть свидетелем оклеветания им одного из лучших государственных людей России — Статс-Секретаря Грота, которому я был многим обязан всею моею

карьерою в начале моей службы, и я решился заступиться за него совершенно открыто. Это вызвало нескрываемый гнев Мещерского на меня, и, когда потом многие советовали мне не пренебрегать знакомством с ним, я отказался наотрез, понимая, что всякая попытка в этом направлении была бы только опасна. Или мне предстояло окунуться в атмосферу Гродненского переулка и обратиться в более или менее послушное орудие Князя Мещерского, если бы я хотел обеспечить себе его поддержку, ставя на карту мою нравственную репутацию, или же, ограждая ее и сохраняя свободные руки, поставить себя в полную независимость от нее и оградить себя от всякого упрека в принадлежности к его окружению.

Я выбрал последний путь и должен был, в конце концов, проиграть.

Первых шесть месяцев моих отношений к Мещерскому прошли довольно гладко, а затем, к весне, все изменилось, как будто по мановению волшебного жезла.

Что же случилось за этот короткий промежуток времени? Не упоминая вовсе об одном мелком вопросе — о назначении пенсии одному чиновнику, в судьбе которого Мещерский принимал участие и в котором Министерства Внутренних Дел и Финансов не были достаточно предупредительны к его желаниям, я упоминаю лишь о другом более характерном инциденте, который я первоначально вовсе не поставил в какую-либо связь с выпадами Мещерского против меня, но который имел, несомненно, большое влияние на наши отношения.

Весною 1912 года происходили на, Бирже очередные выборы фондовых маклеров. На одну из трех освободившихся вакансий оказался избранным, и притом ничтожным **{318}** большинством голосов, некий г. Манус, репутация которого, как спекулянта низшей пробы, не свободного от шлемов шантажиста, известна была всем и каждому. Биржа, в эту пору отличалась крайне неустойчивым и нездоровым направлением. Неудержимое повышательное настроение сменялось, без всякого повода, стремительною понижательною тенденциею На это лихорадочное настроение жаловалась и широкая публика и печать, оно же вредно отражалось на настроении, в особенности Парижской биржи в отношении русских фондов, и мне приходилось даже принимать энергические меры к недопущению беспричинного понижения наших фондов. Среди солидных финансовых деятелей переходил из уст в уста слух о том, что Манус стоит в центре всей необузданной спекуляции, и мне были даже представлены доказательства того, что в искусственном и крайне вредном для всего Парижского рынка русских ценностей понижении Бакинских акций Манус играл несомненную роль.

Неудивительно поэтому, что, когда Фондовый Совет Петербургской Биржи представил на мое утверждение выбранных маклеров, я обратил особое внимание на то, что в своем представлении мне Фондовый Отдел сказал совершенно открыто и без всяких прикрас и оговорок, что, в виду общеизвестных моральных свойств г. Мануса, его предосудительного прошлого и резко выраженной спекулятивной его деятельности среди дельцов самого темного разбора, — утверждение его фондовым маклером представляется глубоко нежелательным.

Без малейшего колебания я одобрил доклад Кредитной Канцелярии о неутверждении Мануса и предложил произвести новые выборы. У меня не было другого способа действий. Утверждение или неутверждение избранных маклеров составляло дискреционное право

Министра Финансов. Личность Мануса, была мне более чем известна, заключение Совета Фондового Отдела Биржи, если и грешило чем-либо, то разве ничем не смягченною резкостью, и утвердить Мануса я не имел никакой возможности, не вступая в конфликт с Советом Фондового Отдела, который имел бы полное право сказать, в случае его утверждения, что Министр сам покровительствует заведомым спекулянтам, и притом самым вредным и беззастенчивым, и мешает Совету оздоровлять биржевую атмосферу.

На Бирж мое решение произвело наилучшее впечатление, кое-кто сильно приспустил тон, в особенности, когда, **{319}** одновременно с этим, я назначил ревизию одного Бакинского учреждения, известного также своею широкою спекулятивною деятельностью, и возбудил обвинение против не менее известного спекулянта Захария Жданова.

Манус, разумеется, затаил против меня прямую злобу. Я не обращал на все его выступления никакого внимания, и Манус больше ко мне не обращался. Не обращался ни разу и Мещерский, но только, немедленно после моего отказа, в «Гражданине» возобновилась ожесточенная травля против меня и Давыдова, и, между прочим, появился тот дневник об опасности для Монархического строя самого существования Председателя Совета Министров, о котором я уже упомянул и который вызвал мой доклад Государю на Яхте «Штандарт».

На связь этих новых выпадов с делом и личностью Мануса открыл мне глаза не только Давыдов, по-видимому, хорошо знавший всю подкладку взаимных отношений этих господ, сколько В. И. Тимирязев, периодически сходившийся с Мещерским, когда он закреплял свое положение как Министра Торговли, или совершенно расходившийся с ним, когда он возвращался к более прибыльной банковой и торгово-промышленной деятельности.

Приехавши однажды ко мне на Елагин Остров вечером, Тимирязев заговорил о кампании Мещерского против меня, о необходимости для пользы дела и во имя сохранения меня для интересов промышленности «повернуть», как он выразился, «Мещерского в нашу пользу» и указал, что это вовсе не так трудно сделать, если только я соглашусь утвердить Мануса Биржевым Маклером.

Тимирязев пояснил мне, что Манус имеет огромное влияние на Мещерского, спекулирует за его счет на Бирже, пишет, правда, гнусные заметки по финансовым вопросам в «Гражданине» и, при содействии Мещерского, пробрался даже к Генерал-Адъютанту Нилову, но «завтра же будет в Вашем распоряжении», сказал Тимирязев, «если только Вы уполномочите меня сказать ему, что Манус получить звание маклера». Я сказал Тимирязеву совершенно точно как стоит это дело, предложил на другой день прочитать представление Фондового Совета и затем самому решить как должен и может поступить, в настоящем случае, уважающий себя человек. На это Тимирязев, подумавши немного, сказал тут же: «я бы знал как поступить, — я бы свалил все на Давыдова, пообещал, в случае вторичного избрания непременно утвердить и **{320}** заключить бы с этими господами оборонительно-наступательный союз, заставивши их служить мне, хотя бы ценою некоторых подачек, — но хорошо знаю, что Вы так не поступите, и должен поэтому сказать Вам прямо, что вся эта компания будет постоянно вредить Вам, а она гораздо более сильна, нежели Вы это думаете».

Прошло довольно много времени после этого разговора выпады против меня продолжались, не было ни одного номера «Гражданина»,

чтобы не появлялось какой-либо статьи против Давыдова и попутно, не посылались шпильки и в мою сторону.

С осени 1912 года мы ни разу не встречались с Мещерским и только время от времени, через посредство Давыдова, до меня доходили сведения о том, что за завтраками у Кюба Манус продолжал не стесняясь громко говорить жадно прислушивавшейся к нему аудитории биржевиков и всякого рода дельцов, что мои дни сочтены, что я «не доживу» до моего 10-тилетнего юбилея, и что он готов держать пари «хотя бы на 200.000 р. за то, что до февраля 1914 года меня не будет на моем посту. Мне оставалось только одно — слушать все эти рассказы (и наблюдать за ходом событий, постепенно развертывавшихся в совершенно определенную картину.

Ждать оставалось не долго.

Следующее место в моей ликвидации я отвожу А В Кривошеину Это был человек далеко не заурядный, умный, крайне самолюбивый, вкрадчивый в своих формах, проявлявший много деловой энергии и отлично умевший выбирать для своего окружения способных людей.

Мои отношения к нему, до самого последнего времени, примерно до конца ноября 1913 года, были наружно очень хорошие. За исключением крупной нашей размолвки по Крестьянскому Банку, ликвидированной самим же Кривошеиным в 1911 году, а также периодов составления ежегодных смет на предстоящий год, когда, совершенно естественно, Кривошеин, как и всякий Министр, стремился получить больше средств для своего ведомства, а я, как Министр Финансов, пытался умирять его требования, хотя всегда шел очень широко в увеличении его кредитов, — наши отношения были почти дружеские. Мы редко расходились в Совете Министров по большинству острых и крупных вопросов, мы всегда находили общий язык и обоюдное понимание. Время от времени он даже как-то особенно близко подходил ко мне, входил в самые сокровенные **{321}** беседы, открывая мне, что называется, свою душу и доходя даже до таких тайников своего мышления, как, например, пессимистический анализ характера Государя, приводивший постоянно Кривошеина, по его словам, к мрачным выводам о будущем России и грозящей ей, рано или поздно, катастрофою от того роковою влияния, которое имеют на ее судьбы случайные люди.

Подчас мне казалось, что его откровенность в этом вопросе имела целью узнать лишь мой взгляд на него, и я высказывался всегда очень сдержанно, не давая ему повода отождествлять меня с ним.

Но основною чертою Кривошеина всегда была, рядом с исключительно обостренным самолюбием, большой карьеризм и погоня за популярностью. Он зорко следил за барометром наверху, преклоняясь перед каждою восходящею силою и, отходя от нее с удивительною быстротою, коль скоро ему становилось очевидно, что эта сила пошатнулась. Так было и со Столыпиным, о чем было подробно сказано мною в своем месте.

Всегда прекрасно осведомленный обо всем, что касалось тайников бюрократии и даже влиятельных придворных кругов, Кривошеин чувствовал уже с половины лета 1913 года, что мое положение пошатнулось, что меня еще терпят, но что скоро начнется моя ликвидация, и к ней он стал готовиться. Для меня не подлежит сомнению, что если бы Кривошеин только желал сесть на место Председателя Совета Министров, то, в конце 1912 года, это ему удалось бы без

большого труда.

Императрица его жаловала в ту пору и показывала свою милость самым наглядным образом: во время его действительной или преувеличенной болезни в ноябре-декабре 1912 года не проходило дня, чтобы дважды, утром и вечером, она не справлялась о его здоровье, и святая вода, от Серафима, Саровского постоянно находилась у него, присланная от имени Императрицы.

Но брать на себя всю тяготу ответственности за общее направление дел, в особенности среди надвигавшихся осложнений, Кривошеин не хотел. Он хорошо понимал и, пожалуй даже лучше, чем кто-либо, оценивал, что в России первому Министру опереться не на кого. Его жалуют только пока человек не выдвигается слишком определенно в общественном мнении и не играет роли действительного правителя, а стоит этому человеку приобрести решающее влияние на дела, — как наступает для него пора, чреватая всякими неожиданностями.

{322} Государственная Дума 4-го созыва, более, нежели Дума 3-го созыва, слабая по своему составу, но преисполненная большого самомнения и даже, в значительном числе членов, мечтавшая управлять страной через посредство руководимого ею Правительства, эта Дума просто не может служить опорою, так как не в состоянии договориться с Правительством на определенной программе требований и не решится встать открыто на сторону Правительства, отказавшись затрагивать такие вопросы, по которым Правительство не может дать своего согласия.

Государственный Совет в своем большинстве давал бесспорное правое большинство, с которым постоянно считался Кривошеин. Но опираться на него он все-таки не хотел, потому что открыто примыкать к нему было для него равносильно полному разрыву с Государственною Думою и не с нею одною, а также с земскими кругами и с некоторыми «салонами», нечуждыми прогрессивности, где он пользовался репутациею человека передовых взглядов, которых у него было не много.

Ему нужно было стоять на обоих берегах, быть правым в одном месте и умеренно левым в другом, говорить всегда и везде то, что было приятно слушателю, не особенно стесняясь тем, что рано или поздно такая эквилибристика неизбежно не устоит. Такому человеку невыгодно было принимать на себя открыто ответственную роль в такую трудную пору и гораздо приятнее было подготовить такую комбинации, при которой он оставался бы юридически в тени, но выдвигал другого, послушного себе человека на первую роль, а сам, за кулисами, сосредоточивал бы в себе полноту фактической власти, отлично понимая, что весь успех будет приписан ему, а всякую неудачу можно всегда отстранить от себя.

И он избрал именно эту благую часть, и никто другой не сумел бы разыграть ее столь ловко, как этот действительно искусный человек, одним ударом достигнув самых разнообразных и одинаково близких его сердцу, целей: свалить упорного и скупого Министра Финансов, заменить его своим человеком, лишенным всякого авторитета, но заранее, из чувства элементарной благодарности, готовым идти навстречу его желаний, и поставить во главе Правительства такое лицо, которое, в глазах всего общества, не может вести какую-либо собственную политику, подчинить его своему влиянию и, за его спиною, его именем, вести свою личную политику, дабы всякий знал, что душою Правительства и его движущего пружиною является только Александр Васильевич, —

русская eminence grise наших дней.
{323} Такая разносторонняя цель и достигнута была разделением моей должности на две, с проведением на место Председателя Совета престарелого Горемыкина, а на место Министра Финансов — Барка. Это сочетание было единственно возможное и способное устранить всякие колебания наверху. Недаром, еще за полгода до моего удаления, князь Мещерский в одном из своих дневников указывал на необходимость заменить «чересчур самовластного, хоть и более осторожного Коковцова, но все же слишком открыто играющего в руку российским Младо-Туркам, более уравновешенным и испытанным сановником, нелицеприятно служившим Государю всю свою долгую жизнь и сумевшим подавить в себе даже чувство горечи, когда Государю было угодно заместить его более молодым и не менее преданным ему слугою».

Читай — увольнение Горемыкина с поста Министра Внутренних Дел и замена его Сипягиным.

Кривошеин отлично знал, что Горемыкин угоден Государю, что время от времени его приглашают в Царское Село на совещания или просто для разговоров, и что многие решения принимаются после таких разговоров. Он знал, что Горемыкин не удовлетворит никого своею пассивностью и безразличием знал он и то, что его любимое слово, о чем бы не заговорили, всегда было — «это вздор, чепуха, к чему это!», но им руководила уверенность, что при давних добрых с ним отношениях, Горемыкин не станет мешать ему в работе и всегда отстранит всякие трения с другими коллегами.

Характерно то, что Горемыкин и сам с циничною иронией смотрел на свое назначение. Посетивши меня на другой день после моего увольнения, 31-го января, он сказал мне в ответ на мое пожелание успеха, знаменательные слова: «какой же может быть успех, ведь я напоминаю старую енотовую шубу, которая давно уложена в сундук и засыпана камфарою и совершенно недоумеваю зачем я понадобился впрочем, эту шубу так же неожиданно уложат снова в сундук, как вынули из него».

А на мое замечание — как Вы могли согласиться пойти на явно неисполнимое дело, отведенное в Барковском рескрипте, я получил обычный ответ: «все это чепуха, одни громкие слова, которые не получать никакого применения. Государь поверил тому, что Ему наговорили, очень скоро забудет об этом новом курсе и все пойдет по старому. Я ему не возражал против Его увлечения, потому что считаю, что Вашею ошибкою было всегда то, что Вы принимали все всерьез и старались всегда, хотя и очень умело и осторожно, отстаивать то, **{324}** что считали правильным. Но это было непрактично. Государю не следует противоречить. Да впрочем, я хорошо и не знаю рескрипта Барку».

Тут Горемыкин допустил уже прямую неправду. Он отличаю знал об этом рескрипте и сам участвовал в его составлении. Я имел самое точное сведение о том, что рескрипт писался на квартире Кривошеина, при постоянном участии самого Горемыкина и Барка, не раз переделывался и исправлялся и окончательное редактирование его, под руководством Кривошеина происходило при самом близком участии Горемыкина. Затем проект рескрипта не раз возился Барком к Мещерскому и кочевал обратно к Кривошеину, и сам Кривошеин, за два месяца перед тем болевший и невыезжавший из дома, стал выезжать и посетил больного Мещерского, за два дня до получения мною письма от Государя. С ним виделся там близкий мне доктор Чигаев.

Рука Кривошеина оказалась вероятно и в том отличии, которое оказано было мне возведением меня в графское достоинство. Он знал об этом еще тогда, когда, письмо Государем мне не было написано, и мысль об этом пожаловании принадлежит, по всем вероятиям, именно ему Многие приписывали ее Императрице-Матери, которая была ко мне очень расположена, но это совершенно неверно. Она и не подозревала о моей отставке и не могла вовсе говорить о каком-либо смягчении удара. Для Кривошеина же это отличие было чрезвычайно важно. Он хорошо знал, что для меня удаление было очень тяжело, в душе он отлично сознавал это и, как исключительно ловкий человек, он прекрасно знал, что рано или поздно я узнаю о его участии в моем увольнении, но узнаю также в об оказанном мне почетном отличии, и сохраню, быть может, добрые с ним отношения, которые по теории «как знать, что может случиться в будущем», могут еще пригодиться.

Но наши отношения не сохранились, притом исключительно по моей вине, как разошлись совсем и наши дороги. Я остался в тени, меня совершенно игнорировали даже тогда, когда война могла требовать моею старого опыта, хотя бы для того, чтобы помочь избежать особых ошибок, если только это было возможно.

Когда после смерти Гр. Витте, в феврале 1915-го года освободился пост Председателя Финансового Комитета, и возник вопрос о моем назначении, Кривошеин и Рухлов, состоявшие членами Финансового Комитета, уговорили Горемыкина **{325}** не допустить моего назначения и соединить эту должность, в целях объединения власти, с должностью Председателя Совета Министров. Так и было поступлено.

Такой же маневр проделан был впоследствии еще раз, в начале 1916-го года, после удаления Горемыкина с поста Председателя Совета Министров и замены его Штюрмером. Под предлогом концентрации в одном лице поста главы Правительства и Председателя Финансового Комитета, последняя должность была поручена опять ничего не смыслившему Штюрмеру и это в ту пору, когда было уже ясно, что война вела нас неуклонно к финансовой катастрофе. Лично мне не было никакого повода, сожалеть об этом, и я упоминаю об этом только для полноты картины.

Под конец, впрочем, Кривошеину пришлось и самому убедиться в том, что он сильно ошибся в расчете на Горемыкина. Ему не удалось завладеть им и заставить его действовать по указке. Горемыкин оказался сильнее Кривошеина, хотя и не надолго. Их дороги стали все больше и больше расходиться, а после знаменитого столкновения в Совете Министров в августе 1916 года, Кривошеину не оставалось ничего иного как покинуть Министерство Земледелия, незадолго впрочем до того, как закатилась окончательно звезда и самого Горемыкина.

Переменилось и к Кривошеину отношение Императрицы еще до моей отставки и из человека близкого, надежного и достойного полного доверия — он перешел в стан таких же не оправдавших оказанного ему доверия, как и многие другие, и в том числе я. Письма покойной Императрицы дают немалое количество тому доказательств.

На особом месте в кампании, веденной против меня, следует поставить Графа Витте. Характеристике наших с ним отношений мне невольно приходится отвести несколько более места, так как на пространстве двадцати лет наших отношений было не мало явлений, представляющих особый интерес.

Во всем, что написано уже мною, я не давал и не собираюсь давать в моих Воспоминаниях оценки государственной и финансовой деятельности этого бесспорно выдающегося человека. Да это и ненужно, как я объясняю дальше.

Я расскажу только об участии Гр. Витте в таких действиях, которые привели к моему увольнению, и постараюсь выяснить почему, действуя вначале за кулисами, он открыто стал затем на сторону моих противников, и какие пути **{326}** избрал он для достижения своей цели.

Делаю это я не из каких-либо личных побуждений, а из убеждения, что это необходимо для выяснения тех условий, в которых проходила моя государственная работа, и которые ярко отражают, как мне кажется, события минувшей поры.

Казалось все слагалось так, чтобы между Гр. Витте и мною установились прочные добрые отношения и создалась почва для плодотворного сотрудничества. Но судьба судила иное и притом не только за последний период моей активной работы, но и гораздо раньше, когда мне пришлось занимать более скромное положение. Начало наших взаимных отношений с Гр. Витте было не совсем обычное.

Мы встретились впервые задолго до той поры, которой посвящены мои Воспоминания. Это произошло в стенах Государственного Совета прежнего устройства, осенью 1892 года, вскоре после того, что С. Ю. Витте, после короткого времени управления министерством путей сообщения, был назначен в августе этого года, Министром Финансов, на смену тяжко заболевшего И. А. Вышнеградского. В начале того же года я был назначен Статс-Секретарем Департамента Государственной Экономии по сметной части.

Таким образом, начало осенней сессии Государственного Совета 1892 года и, в частности, сметной его работы, было порою первого применения С. Ю. Витте его взглядов на вопросы бюджета и финансового управления. Для меня это был также первый год моего близкого участия, в качестве докладчика Департаменту Экономии вносимых Министрами смет и в предварительной разработке возникающих по ним вопросов.

В этот год, в виду смены руководителя Финансового Ведомства, члены Департамента Экономии, выразили пожелание, чтобы канцелярия несколько отошла от несвободных, до известной степени, рутинности прежних методов подготовления смет к докладу и развила составление справочного матерьяла, облегчающего Департаменту проверку сметных исчислений. Это пожелание вытекало столько же из не вполне обычных первых выступлений в Государственном Совете нового руководителя финансового ведомства, отчасти же объяснялось частичным обновлением состава сметного отделения Государственной Канцелярии в лице моем как нового Статс-Секретаря и приглашением на одну из должностей Помощника Статс-Секретаря по моему представлению С. В. Рухлова, впоследствии Министра Путей Сообщения от 1909-го по 1915 год Это был очень **{327}** даровитый человек, хотя и с своеобразными государственными взглядами, он погиб от руки большевиков в Пятигорске, осенью 1918-го года

На этой почве, так сказать, более деятельного отношения Департамента Государственной Экономии Государственного Совета к рассмотрению отдельных смет и произошло резкое столкновение между Департаментом и Министром Финансов, по смете доходов от прямых налогов на 1893 год, — в частности, в отношении поступления от

выкупных платежей.

Составленные Государственною Канцеляриею подробные справки, заимствованные исключительно из отчетов Государственного Контроля и сведений самого Министерства Финансов, были подробно рассмотрены Департаментом в присутствии заменявшего Министра, его Товарища А. П. Иващенкова, хорошего знатока сметного дела, и послужили поводом к некоторому увеличению ожидаемого дохода. Заключения Департамента были подробно мотивированы и прошли все инстанции, не встретив никаких замечаний ни по существу, ни по изложению основных соображений.

Но представленный Министру для подписи журнал Департамента им не был подписан и вернулся к Государственному Секретарю при особом письме С. Ю. Витте, в котором, в выражениях величайшей резкости, содержалось обвинение чинов Государственной Канцелярии в неправильном составлении справок, «несомненно введших Департамент в полное заблуждение и притом неизвестно откуда, заимствованных» Письмо заканчивалось просьбою сообщить откуда именно взяты неверные сведения.

Не доставало только обвинения чинов Государственной Канцелярии, и в первую голову меня — так как моя фамилия была даже упомянута в тексте письма — в совершении служебного подлога.

Не трудно представить себе каково было отношение к возникшему инциденту не только сметного отделения Государственной Канцелярии, но и всего состава Департамента, в котором заседали тогда такие выдающееся государственные люди, как Генерал-Адъютант М. П. Кауфман, В. М. Маркус, М. С. Каханов и др.

Они приняли возведенное на Канцелярию обвинение — обвинением против них самих, так как они взвесили весь справочный матерьял с величайшим вниманием, а **{328}** основанное на нем заключение выражало только безупречное изложение высказанных ими суждений.

Письмо Министра Финансов дошло до сведения Председателя Государственного Совета, Великого Князя Михаила Николаевича, который поручил Государственному Секретарю произвести самый тщательный разбор всего дела и, не сомневаясь в безупречности работы чинов Канцелярии, высказать, что им должно быть дано полное удовлетворение.

Расследование было возложено на Товарища Государственного Секретаря, известного криминалиста Николая Андриановича Неклюдова. Немного времени потребовалось ему, чтобы сличить составленные справки с документами, на которых он были основаны, просмотреть записи суждений Департамента и вынести самое лестное для Канцелярии заключение об исполненной ею работе.

По указанию Великого Князя Михаила Николаевича, Государственный Секретарь Н. В. Муравьев, впоследствии Министр Юстиции и затем посол в Риме, написал Министру Финансов ответное письмо, в котором в выражениях, не оставляющих места какому-либо недоразумению, заявил, что чины Канцелярии не заслужили того упрека, который им столь несправедливо сделан, что они не вышли за пределы их служебного долга, и что Члены Департамента Государственной Экономии всецело разделяют его заключение и могут только отнестись к работе чинов Канцелярии с величайшею признательностью за ту помощь, которую они оказывают Департаменту в разработка сметного матерьяла.

Лично мне Муравьев сказал, что если Министр Финансов не сочтет возможным сознаться в допущенной им несправедливости по отношению к чинам Государственной Канцелярии, то Председатель Государственного Совета, вероятно, доведет о случившемся до сведения Государя. Ответ С. Ю. Витте не замедлил придти.

В нем Министр Финансов выразил свое сожаление о случившемся недоразумении и сообщил, что оно произошло вследствие того, что он был введен в заблуждение неосновательным докладом Директора Департамента Окладных Сборов И. Д. Слободчикова, недостаточно внимательно сверившего журнал Департамента с отчетными данными, на которых он основан. Впоследствии стало известным, что Директору Департамента просто пришлось взять на себя чужую вину.

На этом и закончился весь этот конфликт. Министр **{329}** Финансов подписал журнал, Департамент Экономии ни в чем не изменил своего решения и его обоснования, и только долгое время хранилось у него воспоминание о бесцельно возникшем столкновении. При первой моей встрече с С. Ю. Витте после этого эпизода он молча поздоровался со мною и никогда более к этому эпизоду не возвращался.

Возобновлению наших нормальных отношений произошло уже в следующем 1893-м году.

На должность своего второго Товарища Министра С. Ю. Витте пригласил своего близкого знакомого по Киеву и, кажется, даже его личного друга А. Я. Антоновича. Никто его в Петербурге не знал и ни о чем, относящемся до столичной жизни и до работы в центральных и высших государственных управлениях, он не имел ни малейшего понятия. Быть может он был и прекрасным профессором и выдающимся ученым, но появление его на петербургском горизонте произвело на первых же порах одно сплошное недоумение не только его своеобразною речью и, как говорили тогда, с каким-то особенным «юго-западным» жаргоном, но и полнейшим неумением разобраться в самых простых вопросах и ответить на самое простое деловое замечание, каждый раз, как он появлялся в Государственном Совете.

Сначала его Министр пытался оправдывать его новизною обстановки, в которой ему пришлось появиться, выражая уверенность в том, что при его высоких дарованиях он скоро найдет свое равновесие, но затем и ему пришлось убедиться в неудачном своем выборе и даже в ответ на недоуменные рассказы о его выступлениях, сам он начал рассказывать о том, что и в Киеве с ним случалось немало анекдотов.

Попробовал было Министр Финансов попросить меня помочь Антоновичу перед заседаниями Совета указаниями по каким делам ему лучше не настаивать на мнениях своего ведомства и по каким он может, и в каком объеме рассчитывать на поддержку Департамента, но из этого тоже ничего не выходило, при самом моем добросовестном желании исполнить эту просьбу.

Антонович перепутывал все дела, и для самого Министра стало очевидным, что проще всего ему вовсе не появляться в Государственном Совете.

Не лучше была его участь и в Сенате. Там он безнадежно проигрывал все дела. Ему, не осталось ничего иного, как и самому убедиться в непригодности своей к новой для **{330}** него деятельности, и скоро он стал заниматься внутреннею работою в Министерстве, на которой удача его была не больше, чем в его внешней деятельности.

Время шло, наступил 1895 год, и стало известно, что Антонович

взял продолжительный отпуск и уехал в Киев, а Министр начинает приискивать себе нового Товарища.

Мне неизвестно к кому именно он обращался, но как-то в начале 1895 года, на одном из моих докладов, перед очередным заседанием Департамента Экономии председатель его Гр. Сольский сказал мне, что С. Ю. Витте говорил ему, что он хотел бы предложить мне принять должность его Товарища, но не знает приму ли я ее и не сохранилось ли у меня до сих пор воспоминания о столкновении с ним в конце 1892 года.

Гр. Сольский прибавил, что он горячо поддерживал намерение Витте и даже предложил переговорить со мною и передать ему мой ответ.

Я ответил Гр. Сельскому, что чувствую себя совершенно удовлетворенным моим служебным положением, не ищу никакого улучшения и, хотя и имею склонность к более активной работе, но в особенности опасался бы перехода в Министерство Финансов, при близко мне известном теперь резком и невыдержанном характере Министра, что для меня тем более чувствительно, что я давно избалован отношением ко мне целого ряда моих непосредственных начальников, начиная от Статс-Секретаря Грота в пору моей молодости, а затем и строгого и требовательного А. А. Половцева и, наконец, его самого.

На этом и остался возбужденный вопрос в ту пору. Он возобновился в самом начале осенней сессии Государственного Совета 1895 года Гр. Сольский снова заговорил о продолжающемся желании С. Ю. Витте предложить мне место своего Товарища и сказал, что еще на днях об этом зашла беседа и Витте в ответ на мои слова, сказанные весною, просил передать мне, что он готов дать мне какие я захочу гарантии в том, что я никогда не встречу с его стороны ни малейшей неприятности, тем более, что, по его словам, «его сотрудники часто больше ругают его, чем он ругает их».

Тем временем, совершенно неожиданно для меня, последовало назначение меня на должность Товарища Государственного Секретаря, и я перестал думать о существующем предположении, **{331}** хотя характер работы по этой последней должности совершенно не отвечал моим вкусам.

В начале 1896 года, как-то утром, без всякого предупреждения заехал ко мне на квартиру С. Ю. Витте и в самых простых и даже дружеских выражениях предложил мне занять должность его Товарища, пояснив заранее, какие части ведомства предполагает он поручить моему заведыванию. При этом, в ответ на переданные ему Гр. Сольским мои опасения, он сказал, что дает мне слово, что я никогда не услышу от него ни малейшей резкости и, в качестве «вещественной» гарантии предлагает обеспечить мне назначение меня в Сенат, если только я сам пожелаю расстаться с ним, по каким бы то ни было причинам. В то время сенаторское кресло составляло предмет желаний всех Статс-Секретарей Государственного Совета, даже прослуживших в этой должности до десяти лет.

Попросив несколько дней на размышление, посоветовавшись с Статс-Секретарем Гротом, я принял сделанное мне предложение и в нем никогда не раскаивался. Я оставался в должности Товарища Министра в течение шести лет, и С. Ю. Витте в точности исполнил данное им обещание. За весь этот немалый срок между нами не было самого ничтожного недоразумения, самого мелкого расхождения во взглядах, и ни разу С. Ю. Витте не сказал мне, что, ведя с полною самостоятельностью все сложное дело винной монополии, только в самых

общих чертах, начатое до моего вступления в должность и проведенное всего в четырех губерниях востока России, — что я в чем-либо отошел от намеченных им оснований. Я не говорю уже о проведении бюджетов, которые были отданы им целиком в мои руки, и только в заключительном Общем Собрании Государственного Совета он ежегодно выступал лично, предоставляя мне вести всю сложную борьбу со всеми ведомствами.

На этой моей шестилетней деятельности я и сблизился, главным образом, со всем персоналом Министерства Финансов, который потом, за десятилетие моего управления финансами в должности Министра, оказал мне такую исключительную помощь, которая дала мне возможность преодолеть всю сложность выпавшей на мою долю работы.

В свою очередь, я отдал все мои силы на то, чтобы облегчать положение моего Министра и дать ему возможность отойти **{332}** от всей текущей работы, в той части, которая была поручена мне.

Наступил апрель 1902 года. Министр Внутренних Дел Сипягин был убит, и его заменил Государственный Секретарь Плеве. Должность Государственного Секретаря оказалась вакантною.

Великий Князь Михаил Николаевич был заграницею. Ею место временно заступал Гр. Сольский. Он тотчас же после назначения Плеве Министром Внутренних Дел позвал меня к себе и спросил, будет ли мне приятно, если он, извещая Председателя Государственного Совета, напишет ему от себя о желательности поставить меня во главе Государственной Канцелярии, которой я отдал почти семь лет моей службы. Я ответил ему, конечно, утвердительно, не скрыв от него, что шестилетняя упорная работа, по Министерству Финансов изрядно утомила меня.

О происшедшем моем разговоре я тотчас же передал моему Министру и встретил в нем полную готовность оказать мне, всю доступную ему, помощь, и на следующий же день он имел подробную беседу с Гр. Сольским, предложивши ему упомянуть в письме к Великому Князю и его просьбу о предоставлении мне должности Государственного Секретаря, как справедливое вознаграждение за понесенный мною огромный труд по Министерству Финансов в течение шести лет.

Злые языки говорили потом в Петербурге, что я изрядно надоел С. Ю. Витте, и он был рад отделаться от меня, тем более, что на смену мне уже достаточно созрел близкий ему человек, князь Алексей Дмитриевич Оболенский, впоследствии Обер-Прокурор Св. Синода, в кабинете Гр. Витте 1905-1906 г.

О наших близких отношениях с Гр. Витте с минуты моего назначения спустя два года Министром Финансов я подробно говорю в своем месте. Говорю я также и о нашей первой размолвке осенью 1905-го года, также, как и о всем времени моего вторичного назначения Министром Финансов.

Таким образом казалось, что все наши былые отношения, кроме столкновений в октябре 1905 года, сложились так, что между Гр. Витте и мною должна была создаться прочная связь и установиться солидарность во взглядах. Нас соединяли годы продолжительной совместной работы. Гр. Витте не мог обвинить меня в каком-либо враждебном или некорректном, по отношению к **{333}** нему, действии, и я никогда и ни при каких условиях не выступал против его государственной и финансовой политики.

Напротив того, в некоторых случаях я являлся прямым

продолжателем в особенности его финансовой деятельности, как например в области денежного обращения и винной монополии и, с полною откровенностью и без всяких оговорок, открыто говорил с трибуны, что я считаю одною из первых моих обязанностей охранять, развивать и продолжать то, что было создано моими предшественниками.

Я искренно желал, в области нашей внутренней политики, работать в рамках Манифеста 17-го октября 1905 года, в проведении которого Гр. Витте, принял решающее участие. В области внешней политики вас связывали также общие взгляды на необходимость сохранения мира.

Таким образом, основой создавшихся или вернее созданных С. Ю. Витте между нами отношений не были разногласия по каким-либо принципиальным вопросам государственной жизни.

Объяснение резких выступлений против меня со стороны Гр. Витте следует искать исключительно в его натуре, и проблема этой вражды есть проблема чисто психологического порядка.

В первое время после своего удаления Гр. Витте внешне сравнительно спокойно переносил свое устранение от активной деятельности, и не было еще с 1905-го до половины 1906-го года каких-либо резких проявлений его неудовольствия, несмотря на то, что он был в прямой немилости.

Государь относился к нему явно отрицательно. Императрица еще того более не скрывая, называя его в кругу своих близких не иначе, как «этот вредный человек». Все, что жило около Двора, подделывалось под этот тон неблагоприятного к нему настроения, почти к нему не ездило и только немногие, постоянно окружавшие его, когда он был у власти и пользовавшиеся его особым вниманием, соблюдали приличие и время от времени навещали его, не то из чувства благодарности, не то в предвидении, что, неровен час, Витте опять выйдет из забвения и еще им пригодится, не то от скуки и однообразия петербургской жизни и от жажды сенсационных новостей и закулисных пересуд, всегда обильно почерпаемых в антураже этого большого человека.

Не взирая на это, влияние Витте было значительно. Он был всегда прекрасно осведомлен обо всем, что говорилось наверху, **{334}** думал только об этом и учитывал каждый доходящий оттуда слух и с поразительным искусством пользовался им.

В это время он не только дружил со мной и, казалось, поддерживал меня, вводил меня в круг его личных забот, просил даже моей помощи. Он говорил громко всегда одну и ту же фразу: «пока, Коковцов у власти, мы можем быть спокойны, он не допустит никакого безрассудства». И это он делал не в частных беседах, а в совершенно открытых выступлениях в Государственном Совете. Приведу некоторые из них.

В заседании 8 июня 1909 года, по росписи на этот год, он выразился так: «Вы меня спросили за кого или против кого я говорю. Я говорю ни за кого, ни против кого. Но раз я стал здесь на эту кафедру, то я очень счастлив, что могу заявить — В. Н. Коковцов был Министром Финансов в очень трудное время, и я должен преклониться перед его заслугами, а именно, благодаря твердости его характера, он, если ничего особенного не создал, то, во всяком случае, сохранил то, что получил. Это «громаднейшая его заслуга».

В апреле того же года, по смете системы кредита и в виду нападок Государственной Думы на невыгодность заключенного мною во Франции

$4^1/_2$ % займа, он сказал: «В заключение я позволю себе с полным убеждением высказать уверенность, что при тех условиях, которыми последний займ был обставлен, и в то время, когда он был совершен, более благоприятных условий, сравнительно с теми, которых достиг Министр Финансов, достигнуть было совершенно невозможно. Я уверен, что это убеждение мое разделяют и другие члены Комитета Финансов».

Через год, 27 марта 1910 года, при рассмотрении в Государственном Совете бюджета на 1910 год, Гр. Витте высказался еще более решительно: «Я в бездефицитном бюджете, нам представленном, вижу, несомненно, большой успех нашего финансового хозяйства. Тут возбуждался вопрос о том, кому мы этим обязаны. Несомненно, что такие крупные явления, которые касаются жизни всей Империи, всегда мало зависят от людей, они зависят от Бога и несомненно, что в данном случае последовало благословение Господне, но, тем не менее, только неразумные люди могут не пользоваться теми дарами, которые им даются свыше, и я не могу не отметить тот факт, что в данном случае, благодаря крайней удовлетворительности и устойчивости нашего Министра Финансов и Государственной **{335}** Думы, которая в данном случае проявила замечательный государственный такт и замечательный государственный смысл, мы имеем перед собою бюджет, которого никто из нас, я думаю, и никто в Европе не ожидал, — бюджет бездефицитный».

К тому же году, в заседании 5-го июня, Гр. Витте выразился так: «Я безусловно доверяю В. Н. Коковцову и имею основания доверять, так близко зная его и так долго служа с ним».

И, наконец, уже 18 мая 1912 года, т. е. в бытность мою Председателем Совета Министров, обсуждая вопрос о кредите для земства и городов, Гр. Витте выразился еще более определенно:

«Мы пережили великую войну, нисколько не разрушив великую денежную реформу, и я питаю надежду, во всяком случае я желаю, чтобы в это царствование и впредь не была бы нарушена наша денежная система и не был бы подорван окончательно наш государственный кредит. В заключение я говорю по убежденно, что я уверен, что доколе Министром Финансов будет В. Н. Коковцов, этого не будет».

Он, однако, никогда не прощал мне того, что я не советуюсь с ним, хотя мне не об чем советоваться по текущим делам, т. к. в финансовых вопросах я продолжал его же деятельность, а в делах общей политики он не мог мне дать никакого совета, тем более, что моя свобода действий была ограничена волею Государя и необходимостью еще больше бороться в водовороте различных интриг и сторонних влияний.

Но, по мере того, как удаление от дел затягивалось, настроение Гр. Витте изменялось коренным образом.

В высшей степени властолюбивый, чрезвычайно деятельный я полный инициативы, Гр. Витте тяжело переносил свое бездействие и полное устранение от государственной и финансовой работы. Он начал считать, что я слишком долго засиделся на посту Председателя Совета Министров и Министра Финансов. Во мне видел он, до известней степени, помеху к достижению своих целей и считал, что с моим уходом снова откроется дорога к продвижению его вперед.

Может быть он и не рассчитывал на то, что это случится немедленно после моего падения, но он полагал, вероятно что те же силы, которые сбросят меня, окажутся достаточно влиятельны для того, чтобы

посадить на моего место своего фаворита, способного только быстро запутать положение и поставить страну внутри, а может быть, и извне перед новыми опасностями и даже **{336}** привести ее к катастрофе. И тогда снова выступит он в роли спасителя, как выполнил он эту роль после японской войны, — в Портсмуте.

Этими мыслями и настроением Гр. Витте объясняется кажущееся противоречие в его отношениях ко мне, приливы и отливы его хороших проявлений, близость, сменяющаяся отдалением, вспышки неудовольствия и беспричинного раздражения и, наконец, его открытое враждебное, решительное выступление против меня в конце 1913 года и дикие, по форме, и недостойные, по существу, приемы, которые Гр. Витте пустил в ход, возглавив кампанию, основанную на неправде и стремившуюся ввести в заблуждение Государя.

Сам он, несомненно, оценивал положительно мою деятельность, и заявления его в этом смысле, сделанные так недавно и перед русскими законодательными учреждениями и перед иностранными людьми, были, бесспорно, совершенно искренни для той минуты, когда они были заявлены и, в то же время, он всеми силами стремился к моему устранению, видя в этом главное условие для нового своего появления на арене государственной деятельности.

Как только он почуял, что мое положение поколеблено, что атака на меня ведется со всех сторон и имеет твердую опору наверху, — он разом переменил фронт, совершенно отшатнулся от меня, начал открыто бранить и осуждать меня.

По слухам, он уже давно состоял сношениях с Распутиным. Городская молва удостоверяла даже — не знаю насколько справедливо — что у него были и личные встречи со «старцем». В лице епископа Варнавы, бывшего даже в течение ряда лет духовником его, у Гр. Витте был путь общения с Распутиным, и он умело подделывался под этого человека, корчившего из себя великого радетеля, о благе народном.

Как это ни странно, Витте, автор винной монополии, страстный поборник ее установления, с величайшим упорством проведший ее, несмотря на все встреченные им преграды, не находивший, еще год тому назад, достаточно хвалебных слов, чтобы превозносить меня до небес за умелое, искусное и талантливое осуществление его идеи, — избрал ту же винную монополию как предлог нападений на меня и притом нападений на этот раз совершенно открытых, для ведения которых он выбрал трибуну Государственного Совета, а случаем — переданный из Государственной Думы законопроект о борьбе с пьянством, по отношению к которому я занял совершенно **{337}** примирительную позицию и склонялся, несмотря на всю, сознаваемую мною, бесполезность его, — поддерживать его, за исключением некоторых, весьма немногих и второстепенных частностей.

Его выступления в Совете по этому делу, о котором я подробно говорил в своем месте, останутся навсегда памятными свидетелям этой непонятной перемены.

Это внутреннее противоречие и эта неожиданная перемена объясняются, однако, просто Витте знал, что Распутин начал некоторое время перед тем, громко говорить: «негоже Царю торговать водкой и спаивать честной народ», что пора «прикрыть Царские кабаки», и слова его находили восторженных слушателей. В бессвязном лепете его, эти наивные люди видели голос человека, вышедшего из народа, познавшего на, себе всю горечь этого порока.

В борьбе против него, именем Царя, Витте видел «второе освобождение крестьян» и заочно льстил Государю, говоря, что в царствование Его суждено осуществиться этому делу. Гр. Витте знал все, что происходит, и ему было выгодно дать мне генеральное сражение именно на этом вопросе, и он его дал с ущербом для своего морального положения, потому что все видели его беззастенчивую неправоту, целью которой было осуществление его заветной мечты расшатать мое положение.

Он отлично знал, что бороться против пьянства такими способами — безумно, что можно легко потерять огромный доход, но не искоренить пьянства, но это было ему совершенно безразлично. У него была одна цель — сдвинуть меня, во что бы то ни стало, с моего высокого положения и, одновременно, прослыть «государственным человеком, чутко прислушивающимся к биению общественного пульса». Более подходящего случая он не мог себе и представить. Ведя прямо к заветной цели — убрать меня, осмеливавшегося не зависеть в своих действиях и начинаниях от его ума, этот случай выводил его прямо в орбиту влияния «старца», вселял в нем надежду, что всякое лишнее упоминание о нем, Витте, в известных кругах, может быть только полезно ему, а кем и в каком именно смысле, это было ему безразлично.

Далее, то порядку своего значения, в отношении моей ликвидации, следует поставить Сухомлинова.

Об этом злополучном для России человеке и его влиянии на покойного Государя можно было бы написать целый **{338}** трактат, — настолько характерным и показательным в наших условиях жизни перед войною, которая привела к революции, а через нее к полному крушению всей страны, представляется самая возможность появления наверху управления этого легкомысленного человека с деловыми навыками самого мелкого пошиба. Но здесь мне не хочется распространяться об этом, тем более, что мои отношения к Сухомлинову выяснились уже вполне в 1909-1910 г. г., получили самое рельефное проявление осенью 1912 и весною 1913 года и уже рассказаны в своем месте.

Скажу только, что постоянные жалобы Сухомлинова на меня Государю в оправдание своего собственного неумения справиться со сложною отраслью управления, его исключительная ловкость вставлять подходящее «словцо» в удобную минуту, его намеки на мою близость к Государственной Думе и, будто бы, подлаживание ей в ее «антимонархических» выступлениях, постоянные его заявления о моей «дружбе» с Поливановым и моей никогда не существовавшей интриге против него, Сухомлинова,— все это, конечно, создавало атмосферу, крайне неблагоприятную для меня, раздражало Государя, несмотря на Его бесспорную доброжелательность по отношению ко мне, и не столько подтачивало Его доверие ко мне, сколько создавало то настроение досады и докуки, которое рано или поздно, должно было довести Его до желания расстаться с человеком, про которого так часто многие «приятные» люди говорят Ему неприятные вещи.

Неприятных вещей Государь не любил и, как те, кто говорил Ему открыто о таких вещах, так и те, про которых это говорят, — одинаково становились нежелательными в ближайшем антураже и постепенно должны были отойти в сторону и уступить место более «приятным» людям.

Дальше я должен поставить Маклакова. Его роль была двоякая: одною рукою он воздействовал на Мещерского и, угождая ему, снабжал его всякими справками о моей «левизне», об «ухаживании за Думой», о сочувствии «Младо-Туркам» в лице г. Гучкова, о том, что я мешаю ему осуществлять «твердую власть» и измышлять его невероятные глупости по части борьбы с печатью, или, что я покровительствую «жидам», мешая ему, Маклакову, в его известной политике вытравливания еврейского элемента из акционерных предприятий.

Пользуясь этим, материалом, Мещерский в своих писаниях Государю делал вид большой осведомленности о текущей жизни и расшатывал мое положение, поддерживая своего **{339}** юного ставленника на кресло Министра Внутренних Дел, которого ему так хотелось видеть вершителем всех судеб России, чтобы через него проводить всюду свои мысли, свое влияние и вмешиваться во все назначения.

Другою рукою тот же Маклаков высмеивал меня перед Государем, заставлял Его громко смеяться, когда он изображал сцены в лицах, про то, как я руковожу, будто бы, прениями в Совете Министров и передразнивая (в этом он был большим мастером) по очереди всех Министров, и в особенности, — меня, в защите законности, будто бы попираемой «правыми членами Совета».

В его изображениях эти правые члены: Щегловитов, он сам, Кассо, Рухлов и Саблер, — всегда, конечно, торжествовали, а я, с так называемым, левым крылом, Сазоновым, Тимашевым, Григоровичем, Харитоновым, — всегда был изображаем в самом жалком виде.

Нужды нет в том, что сущность дела была извращена, и даже о ней вовсе не говорилось, так как сам Маклаков многих вопросов просто не понимал, да и слушателям они были не интересны. Главная цель интриги достигалась без ошибки — положение Председателя Совета и Министра Финансов расшатывалось и благосклонность к веселому и забавляющему юному Министру Внутренних Дел увеличивалась не по дням, а по часам.

Этот перечень имен главных участников моей ликвидации должен был бы быть еще значительно продолжен и дополнен. Имена Воейкова, Щегловитова и других закулисных деятелей должны были бы занять соответствующие места, но мне не хочется продолжать моего изложения в этом смысле. Оно и без того очень затянулось, да и прибавка еще тех или других имен ни в чем не изменит сущности дела.

Я указал тех немногих, кому я приписываю главное участие в моем увольнении не потому, что мне хотелось свести с ними какие-либо личные счеты, а только для того, чтобы нарисовать объективную картину той поры и сказать, кому именно принадлежало, в то время, наибольшее влияние на ход событий.

Без этого нельзя дать правильного понимания всей пережитой поры последнего царствования, о котором вообще мало написано правдивого, а то немногое, что появилось в печати, окрашено, в большей части случаев, теми или иными предвзятыми способами отношений к недавнему прошлому и сделано людьми мало или вовсе неосведомленными.

{340}

ГЛАВА IV

Императрица Александра Федоровна и особенности Ея характера и ума — Императрица мать и жена. Ее религиозные и мистические настроения. Отношение Ее к Распутину. — Вера в незыблемость русского самодержавия. — Придворная среда и непосредственном окружение Императрицы. — Мотивы Ее враждебного ко мне отношения. — Действительные причины, вызвавшая мое удаление.

Одно имя должно быть, однако, извлечено еще из моих воспоминаний об описываемом времени и значение его объяснено с полною объективностью и с величайшею осторожностью, которая обязательна для меня в особенности по отношение к этому имени. Я разумею Императрицу Александру Федоровну.

Долгие годы после моего увольнения я вовсе не хотел говорить в моих Воспоминаниях о Ее личном отношении ко мне. После всего, что произошло в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16-го на 17-ое июля 1918 года, мне казалось, что мне не следовало вовсе говорить о Ней именно в связи с моим увольнением, несмотря на то, что Императрица была бесспорно главным лицом, отношение которого ко мне определило и решило мое удаление.

После всего того, что стало известно из опубликованного исторического материала о том, как и почему совершен небывалый акт Екатеринбургского злодеяния, так же, как и всего, что выстрадала русская царская семья с минуты февральской революции 1917 года до роковой развязки, положившей предел ее страданиям, — мне, кто был в течение десяти лет, близким свидетелем всей жизни мучеников, кто видел от Государя столько милостивого внимания к себе и столько **{341}** явного, чисто делового, доверия, — просто нельзя прикасаться к имени Государя и Императрицы иначе, как с величайшею деликатностью, дабы не оставить впечатления, что личное самолюбие, или еще того хуже — желание оправдать себя и очернить тех, кто уже не может ответить словом справедливого опровержения, двигало моими побуждениями.

Я все ждал, что из среды русской эмиграции, рано или поздно, появятся попытки осветить личность покойной Императрицы и дать правдивое объяснение тех основных черт Ее характера, которыми определялось Ее отношение к наиболее известным теперь явлениям окружавшей Ее поры.

Я считал, что на мне лежит иной долг. Как только стала известна, в ее потрясающей наготе, вся обстановка совершенного злодеяния, я должен был, из благодарной памяти к Государю и Его неповинной Семье, предать гласности, через посредство печати, все известные мне подробности этого неслыханного злодеяния и показать всему миру, кто несет ответственность за него, и тем самым, если и не пробудить чувства справедливого возмущения, — на что так трудно рассчитывать теперь, — то дать хотя бы возможность тем, кто хочет знать правду, не отговариваться, что негде было узнать ее.

Я выполнил мой долг, как умел, через посредство французской периодической прессы — Revue de Deux Mondes и в моей книге, изданной в половине 1931 года под заглавием «Большевизм за работою», «Le Bolchevisme à loeuvre».

Но время шло, и со стороны русских людей, находящихся заграницею и пользующихся полной свободою говорить то, что они знают о личности Императрицы Александры Федоровны, не появляется воспоминаний и нет попытки объяснить и разгадать то, что составляло сущность Ее мировоззрения.

Вместо такой правдивой характеристики нам приходится все больше довольствоваться случайными заметками иностранцев и непосвященных людей, к тому же не лишенными анекдотического, а часто и клеветнического характера, и образ последней русской Императрицы все более и более затемняется и извращается различными частностями, посвященными одному, хотя и существенному эпизоду Ее жизни. Только последний французский посол при русском Императорском Правительстве до революции, — Морис Палеолог — сделал попытку дать характеристику Ее, но и он допустил ряд неточностей и оставил без разбора многое из того, что следовало отметить. Я не говорю уже вовсе об его основной теме, — призыву к жалости и **{342}** состраданию к памяти погибшей Императрицы. Фактическая сторона страдает некоторыми недостатками, и в оценке основных элементов характера Императрицы замечаются большие пробелы.

Мне хочется поэтому сказать и свое слово по этому вопросу, потому что, оставаясь в рамках всего уклада моих воспоминаний, я думаю, что, выяснивши, почему именно Императрица Александра Федоровна встала в половине февраля 1912 года в такое неизменное, резко-враждебное ко мне, отношение, я послужу делу беспристрастия и пролью свет на такие особенности всего склада Ее ума, которыми объясняется многое из всей Ее жизни.

Я не стану говорить о тех условиях, среди которых росла Императрица, о тех влияниях, которыми определилось Ее развитие и которые повлияли на формирование Ее характера. Все это теперь достаточно известно.

Своего будущего супруга Она увидела впервые среди блеска русского Двора, когда Ей было всего 14 лет, и нет никакого преувеличения сказать, что Она полюбила Его всеми силами своей резко определенной души, не знавшей компромиссов, и сохранила это чувство неприкосновенным до самого последнего своего вздоха. От своего окружения в Дармштадте Она никогда не скрывала своего юношеского увлечения и гордилась им и теми первыми лучами истинного счастья, которые заблистали в Дармштадте в первое свидание ее с будущим ее женихом, перед помолвкою с ним.

А в свою зрелую пору, уже на русском престоле, Она знала только одно это увлечение — своим мужем, как знала Она и безграничную любовь только к своим детям, которым Она отдавала, всю свою нежность и все свои заботы. Это была, в лучшем смысле слова, безупречная жена и мать, показавшая редкий в наше время пример высочайшей семейной добродетели.

Она вступила окончательно в русскую среду и впервые увидела ближе русскую жизнь среди глубоко трагических условий. Умирал в Ливадии, в Крыму, осенью 1894 г. Император Александр III. Она должна была, по Его вызову, спешно прибыть из Дармштадта для того, чтобы из Его рук получить благословение на брак с Наследником русского престола и принять от Него два завета — любить своею мужа и свою новую родину.

И Она свято выполнила эти заветы так, как Она понимала их.

Под влиянием происшедшего с Нею резкого перелома в Ее жизни, неподготовленная к тому, чтобы разобраться в новой сложной государственной и семейной обстановке, Она выработала в себе три основные начала, которыми была проникнута **{343}** вся Ее жизнь в России с октября 1894 года, и до самого рокового дня 17-го июля 1918 года, т. е. в течение 24-х лет.

Она приняла православную веру со всею своею непосредственностью и со всею глубиною, свойственною Ее природе, и стала «православною» в самом законченном и абсолютном смысле слова.

Ее новое религиозное настроение, охватившее всю Ее душу, влекло Ее ко всему, что имело прямое или косвенное отношение к церкви. Ее интересовало все и, в особенности, исторические судьбы православной церкви. Она изучала во всех подробностях жизнь наиболее прославленных церковью русских людей, их подвиги, их связь с наиболее известными моментами в жизни самой России, их участие в борьбе за русское национальное достоинство, за величие страны, среди выпавших на ее долю тяжелых условий пройденного ею исторического пути. Она близко изучила жизнь главнейших русских церковных центров — монастырей, которые были и в ее понимании не только местами единения верующих, но центрами тяготения к ним, как очагам просвещения и культуры русских людей, устремлявшихся к ним из самых отдаленных уголков необъятной страны. Она не упускала случая лично посещать наиболее известные церковные святыни, входила там в общение с духовенством, и, в особенности, Ее влекло к себе проявление такого же молитвенного настроения, которое росло и крепло в Ней самой, — не столько в людях из интеллигентной среды, сколько в среде простого народа, который Она считала ближе к Богу и к истинному пониманию Его, нежели людей, затронутых культурой.

Это настроение Императрицы постепенно стало известным и в кругах населения, далеких от жизни Двора.

Ей стали присылать старые иконы и различные предметы церковного обихода. Она все больше и больше окружала себя ими и стала уделять еще больше времени изучению жизни русских церковных людей. По Ее инициативе на жертвуемые Ей суммы был выстроен в Царском Селе, вблизи дворца, но в стороне от исторических дворцовых построек Елизаветинского и Екатерининского времени, великолепный Федоровский храм, сооруженный в чисто русском стиле и оборудованный и украшенный Ее личными заботами и исключительно по Ее прямому выбору. В нем Она устроила себе уединенную комнату, скрытую от взоров молящихся, но дававшую Ей возможность следить за всем ходом богослужения.

{344} Туда приходила Она, чаще всего одна, в часы богослужения, а иногда и вне их, и там предавалась Она своему действительному молитвенному настроению вне всякого общения с внешним миром. Там крепла Ее вера во все чудесное, и туда удалялась Она каждый раз, когда Ею овладевали всякого рода сомнения, или заботы и осложнения жизни западали в Ее душу.

Близкие к Императрице часто говорили, что Она выходила из Ее уединения в молельне Федоровского храма совершенно переродившеюся и даже какою-то просветленною, и не раз они слышали от Нее, что Она испытывала в своем уединении какое-то необъяснимое для Нее самой разрешение всех своих сомнений, и самая жгучая печаль сменялась такою

легкостью жить, что Она боялась только одного, как бы какое-нибудь неосторожное слово, сказанное даже самыми близкими и дорогими для Нее людьми, не вернуло Ее к повседневной жизни, с ее злобой и неправдой.

Мне приходилось на эту тему не раз разговаривать с одним из самых близких к Императрице людей — Ее Фрейлиной, Графиней Анастасией Васильевной Гендриковой и притом именно между половиной февраля 1912 и декабрем 1913 года. Она ясно видела и знала, что Императрица сменила свое недавно исключительно доброе отношение ко мне самым резко-отрицательным и даже прямо враждебным. Она знала и причины такой перемены и не раз открыто выражала мне, что она глубоко скорбит о том, что произошло, зная мою преданность Государю и самой Императрице и вполне отдавая себе отчет о том, какими побуждениями руководился я, ведя с Распутиным ту беседу, которая вызвала гневное ко мне отношение Императрицы. Она говорила, мне, что никогда в ее присутствии не было ни малейшего намека на случившееся, но, зная Императрицу, она дает себе ясный отчет, в том, что никакая беседа с Нею не принесет пользы, и ничто не заставить Императрицу сознаться в Ее неправоте, потому что все случившееся есть результат Ее убеждения, и никто не имеет права судить о Ее внутренней жизни, и поэтому всякая попытка, даже самая доброжелательная или внушенная самыми высокими побуждениями государственного порядка, — внести малейшее сомнение в правильность Ее действий, вызывает совершенно категорический отпор.

Продолжая эту беседу, Графиня Гендрикова каждый раз переходила на другую тему, — на то религиозное, мистическое настроение, которое все глубже и глубже проникает все существо **{345}** Императрицы. По ее словам, излюбленной темой всех интимных разговоров, которые происходят в присутствии Великих Княжен, когда нет никого посторонних, служит всегда область молитвы и самые разнообразные проявления того отношения человека к Богу, которое должно быть положено в основание всей жизни человека, если только он понимает свое призвание жить, как Она всегда выражалась, в Боге и слепом повиновении Его воле.

У Императрицы, по словам Ее фрейлины, было нисколько положений, к которым Она постоянно возвращалась и которые составляли, так сказать, символ Ее веры. Она всегда и при каждом случае говорила:

«Для Бога нет невозможного. Я верю в то, что кто чист своею душою, тот будет всегда услышан и тому не страшны никакие трудности и опасности жизни, так как они непреодолимы только для тех, кто мало и неглубоко верует. «Никто из нас не может знать, как и когда проявится к нам милость Божия, так же, как и то, через кого будет проявлена она». «Мы мало знаем то необъятное количество чудес, которое всегда, на каждом шагу, оказывается человеку Высшею силою, и мы должны искать и ждать ее чудес везде и, всюду и принимать с кротостью и смирением всякое их проявление».

Я умышленно остановился на том, что передавала мне Гр. Гендрикова,, потому что едва ли кто-либо из непосредственного окружения Императрицы был так глубоко Ей предан, как это кроткое и, в полном смысле слова, прекрасное существо. Она мало выдвигалась на внешнюю близость к Императрице, но она была одной из немногих

близких Императриц и Ее детям, которая доказала это своим жертвенным подвигом, о котором, быть может, не все знают.

Революция застала ее в Крыму, куда она поехала навестить ее больную родственницу. Как только она узнала о случившемся, она выехала с первым поездом обратно в Царское Село, явилась в Александровский дворец и разделила участь царской семьи. Она выехала вместе с ней в Тобольск вместе с Великими Княжнами и задержавшимся из-за своей болезни в Тобольске Наследником и их свитой, она выехала в Екатеринбург, была разлучена с Царскою семьей на вокзале в Екатеринбурге также, как и Генерал-Адъютант Татищев и Князь Долгорукий, она была заключена вместе с Гоф-Лектрисой Шнейдер сначала в Екатеринбургскую, а потом в Пермскую **{346}** тюрьму и расстреляна в Перми приблизительно в то же время, как та же участь постигла, и двух названных лиц.

В таком своем духовном настроении Императрица впервые увидела Распутина.

До его прибытия в Петербург, в начале 1900-х годов никто не знал его в столице, и никаких слухов о нем не доходило до сведения столичной публики. Из приближения Императрицы, и притом не самого интимного, первыми узнавшими о появлении в столице этого «старца» были Великие Княгини Анастасия и Милица Николаевны, дочери Князя Николая Черногорского, замужем — первая за Великим Князем Николаем Николаевичем и вторая — за братом его Великим Князем Петром Николаевичем. Они, бесспорно, говорили Императрице о том, что видели «старца», который произвел на них глубокое впечатление всем складом его речи, большою набожностью и каким-то особенным разговором на тему о величии Бога и о суетности всего мирского.

Но не подлежит никакому сомнению, что значительно большее впечатление о том же появившемся на Петербургском горизонте человеке произвели на Императрицу слова Преосвященного Феофана, Ректора С.-Петербургской Духовной Академии, которого Императрица знала, принимала его, охотно беседовала с ним на религиозные темы и оказывала ему большое доверие. Он был короткое время Ее духовником.

Сам человек глубоко религиозного настроения, широко известный свой аскетическою жизнью и строгостью к себе и к людям, Епископ Феофан принадлежал к тому разряду русского монашества, около которого быстро сложился обширный круг людей, искавших в беседах с ним разрешения многих вопросов их внутренней жизни и потом громко говоривших о его молитвенности и каком-то особенном умении его подойти к человеку в минуту горя и сомнения.

В одно из посещений Императрицы Преосвященный Феофан рассказал Ей, что к нему пришел и живет уже некоторое время около нею крестьянин Тобольской губернии, Тюменского округа — Григорий Ефимов Новых, получивший от его односельчан нелестную для него кличку Распутина, за, предосудительную его прошлую жизнь.

Этот человек пришел к Епископу Феофану после долгих месяцев скитания по равным отдаленным монастырям и собираясь направиться, по его словам, к святым местам. Он рассказал Епископу всю свою прошлую жизнь, полную **{347}** самых предосудительных поступков, покаялся во всем и просил наставить его на новый путь. Говорил он ему и о том, что собирается принять монашеский чин и уйти вовсе от мира куда-либо в далекие окраины России.

И, по мере того, что он стал открывать ему свою душу, Распутин все больше и больше заинтересовывал Преосвященного своим религиозным настроением, переходившим временами в какой-то экстаз, и в эти минуты он доходил, по словам Епископа, до такого глубокого молитвенного настроения, которое Епископ встречал только в редких случаях среди наиболее выдающихся представителей нашего монашества.

Он долго присматривался к Распутину и вынес затем убеждение, что он имеет перед собой, во всяком случае, незаурядного представителя нашего простонародья, который достоин того, чтобы о нем услышала Императрица, всегда интересовавшаяся людьми, сумевшими подняться до высоты молитвенного настроения.

Впоследствии Преосвященный Феофан глубоко разочаровался в Распутине и до самого последнего времени искренно скорбит об оказании ему поддержки.

Императрица разрешила Епископу Феофану привезти Распутина в Царское Село и, после краткой с ним беседы, пожелала не ограничиться этим первым свиданием, а, захотела ближе узнать, что это за человек.

По словам некоторых приближенных к Ней людей, Императрица сначала не могла хорошенько усвоить себе его отрывочную речь, короткие фразы мало определенного содержания, быстрые переходы с предмета на предмет, но затем, незаметно, Распутин перешел на тему, которая всегда была близка Ее душе. Он стал говорить, что Ей и Государю особенно трудно жить, потому что им нельзя никогда узнать правду, т. к. кругом Них все больше льстецы да себялюбцы, которые не могут сказать, что нужно для того, чтобы народу было легче.

Им нужно искать этой правды в себе самих, поддерживая друг друга, а когда и туг Они встретят сомнение, то Им остается только молиться и просить Бога наставить Их и умудрить, и если Они поверят этому, то все будет хорошо, т. к. Бог не может оставить без Своей помощи того, кого Он поставил на царство и кому вложил в руки всю власть над народом.

Тут он ввел и другую нотку, также близкую взглядам Императрицы, а именно, что Царю и Ей нужно быть ближе к народу, чаще видеть его и больше верить ему, потому что он не обманет того, **{348}** кого почитает почти равным Самому Богу, и всегда скажет свою настоящую правду, не то что министры и чиновники, которым нет никакого дела до народных слез и до его нужды.

Эти мысли, несомненно, глубоко запали в душу Императрицы, потому что он вполне отвечали Ее собственным мыслям. Сначала Императрица видела Распутина редко и на больших расстояниях, т. к. и он сам подолгу отсутствовал, а когда проживал в Петербурге, то вел образ жизни весьма скромный, мало принимал людей, редко показывался в каких-либо собраниях. О нем вообще мало говорили в городе, и круг его посетителей ограничивался таким разрядом людей, которые не имели доступа ко двору и передавали о своих впечатлениях от бесед со «старцем» больше в собственном тесном кругу, не выходя на широкую общественную арену и не давая пищи для газетных сообщений и пересуд.

Так дело шло примерно до 1910—1911 года. Хотя и в более раннюю пору уже говорили об Распутине как простонародном молитвеннике, который видит все и может оказать большую нравственную помощь и поддержку в горе и несчастии. Так, например, когда на Аптекарском Острове, 12-го августа 1906 года, произошел взрыв

и ранены были дети Столыпина, — вскоре по перевезении их в больницу Кальмейера явился Распутин и попросил разрешения посмотреть больных и помолиться над ними. Уходя из больницы, он сказал окружающим: «ничего, все будет хорошо». Был ли он позван кем-либо из близких Столыпину, или пришел сам — я этого не знаю и утверждать чего-либо не могу.

Но вот подошел роковой момент — заболел маленький Наследник Цесаревич Алексей Николаевич. У него появилась несомненные признаки неизлечимой болезни — гемофилии. Долгое время Императрица не допускала и мысли о возможности такого несчастья, но подошла пора, когда скрывать его не было уже никакой возможности, потому что самые преданные врачи, к тому же нежно любившие мальчика, должны были сказать решительно и бесповоротно неумолимую истину и поведать убитым горем родителям и тот роковой путь, по которому пойдет эта ужасная болезнь, вызывая у всех окружающих одно сознание бессилия не только помочь, но даже и облегчить страдания, а тем более предотвратить неизбежный конец.

Нетрудно понять каково было с этой минуты состояние души отца и матери. Дождавшись на одиннадцатом году супружества того счастья, о котором Она всегда мечтала, отдавши своему **{349}** ребенку всю свою нежность и все свои надежды, Она же, оказывается, и передала ему роковую болезнь, о которой долгое время Она и не думала, но если даже и слышала и допускала возможность, что Ее сын мот быть поражен ею, то, по своей глубокой вере, Она неизбежно твердила себе, что ни Она сама, ни Государь, ни тем более вся Россия не свершили ничего, чтобы заслужить такую кару Божию. А неумолимая действительность делала свое дело.

Припадки кровоизлияния учащались и усиливались. Наука объявила себя бессильной не только предупредить их, но даже сократить их длительность. С каждым новым припадком жизнь ребенка становилась каждый раз на карту, и негде было искать земной помощи.

Что же оставалось Императрице делать при Ее складе души? Только одно — обратиться к Богу, к молитве, искать в ее вере силы переносить несчастье и даже ждать чуда, потому что оно не могло не явиться, ибо Бог справедлив, милосерд и всемогущ Ее внутренний голос неизменно говорил Ей то, что Она так любила повторять и раньше: «для Бога нет невозможного. Нужно только быть достойным Его милосердия, и чудо придет». Откуда, через кого — этого никто не знает, да это и безразлично.

В этот момент до слуха Императрицы снова доходить весть о «старце», который умеет молиться, как никто, который говорит не так, как говорят все, у которого какая-то своя вера, не такая, как у всех нас. Ей говорят и о том, что знают примеры, когда люди, застигнутые большим горем, просили старца помолиться о них, и они находили, потом разрешение всего, что так тяготило их. Говорили даже, что знают случаи, когда его молитва останавливала болезнь, казавшуюся смертельной. И «старца» стали приглашать все чаще и чаще, по мере того, что учащались припадки, и с ним, незаметно, все больше и больше, стали разговаривать, и он как-то незаметно стал входить во весь обиход жизни Двора. С ним разговаривали о том, что интересовало особенно в данную минуту, и он как-то незаметно стал «другом» и даже советчиком, — по крайней мере первое наименование стало обыденным, нарицательным.

Я помню хорошо как в 1913 году, под конец Романовских

торжеств, в Москве, одна из свитных фрейлин, известная своим враждебным отношением к Распутину и утратившая, по этой причине, свое положение при Дворе, рассказывала мне, что она присутствовала однажды при разговоре врачей, **{350}** во время одного из наиболее сильных припадков гемофилии, когда они были бессильны остановить кровотечение. Пришел Распутин, пробыл некоторое время у постели больного, и кровь становилась. Врачам не оставалось ничего иного, как констатировать этот факт, не углубляясь в то, было ли это случайное явление, или нужно было искать какое-либо иное объяснение ему.

На этой, а не на какой-либо иной почве посещения «старца» учащались, не доходя, однако, никогда до той повторяемости, о которой говорили в городе и разносили праздные пересуды. Последние глубоко оскорбляли Императрицу, и чем они росли и множились, тем больше возмущение поднималось в Ее душе, тем меньше верила Она всему, что рассказывали о жизни Распутина, о его вмешательстве во всевозможные проявления государственной жизни, и тем более обострялось Ее отношение во всем, кто был против Распутина или осмеливался видеть вред от его случайных появлений при Дворе.

А Распутин, в свою очередь, зная об этом недоверии ко всему, что говорилось неблагоприятного про него, снял уже в своих действиях всякую маску. Его квартира на Гороховой сделалась местом скопления всех, кто искал его покровительства, а, число таких было, на самом деле, немалое. Сам он появлялся в разного рода собраниях, устраиваемых его почитателями с целью собрать около него новых искателей покровительства.

Оргии при его участии стали обычным явлением. Министры и начальники ведомств стали получать все большее и большее количество своеобразных его писем об оказании внимания лицам рекомендованным им и случайно или же преднамеренно, но многие из его обращений оказывались далеко не бесполезными для тех, в пользу кого они были сделаны.

Я должен, однако, сказать, что ко мне Распутин ни с какими просительными письмами ни разу не обратился, и единственный раз, что я получил его письмо, был тот, когда в половине февраля 1912 года он просил меня о приеме его. Этот эпизод и его последствия для меня подробно изложены мною в своем месте.

Второю особенностью мировоззрения Императрицы Александры Феодоровны, которую Она усвоила себе рядом с религиозностью и постепенно восприняла как чисто политический догмат, — была Ее вера в незыблемость, несокрушимость и неизменность русского самодержавия, каким оно выросло на пространстве **{351}** своего трехвекового существования.

Она верила в то, что оно несокрушимо, потому что оно вошло в плоть и кровь народного сознания и неотделимо от самого существования России. Народ, по Ее убеждению, настолько соединен прочными узами со своим Царем, что ему даже нет надобности проявлять чем-либо своего единения с царской властью, и это положение непонятно только тем, кто сам не проникнут святостью этого принципа. В незыблемой вере в народную любовь к себе Русский Государь должен черпать всю свою силу и все свое спокойствие, и сомневаться в верности народа своему Государю могут только те, кто не знает народа, кто стоит далеко от него или не видит очевидных, на каждом шагу, проявлений его преданности

исконным началам монархии.

В своем политическом верование Императрица была гораздо более абсолютна, нежели Государь. Стоит внимательно прочитать сделавшиеся теперь достоянием публики все письма Ее к Императору в самые разнообразные периоды их совместной жизни, чтобы найти в них прямое подтверждение этому. А если прибавить, что на почве их семейного действительно безоблачного счастья, которое не знало никаких размолвок или несогласий и только росло и крепло с годами, Императрица имела, неоспоримо, огромное влияние на своего мужа, то отсюда только один шаг до того бесспорного факта, что под Ее влиянием в Императоре Николае II идея абсолютизма крепла каждый раз, как внутренняя жизнь России становилась все спокойнее и ровнее, и политические осложнения, побуждавшие Его иногда считаться с ними и становиться время от времени на путь уступок требованиям, предъявляемым жизнью, как это было например в 1905-м году, уходили в область прошлого.

Императрица была бесспорной вдохновительницей принципа сильной или, как было принято тогда выражаться, «крепкой» власти, и в Ней находил Император как бы обоснование и оправдание своих собственных взглядов, хотя личные взгляды Государя были бесспорно менее определенны, нежели взгляды Императрицы.

Государь отлично понимал различие Его самодержавия до 1905 года и после этого года. Он никогда не останавливался над теоретическим вопросом обязательно ли для Него исполнение велений дарованного Им же самим закона, или Его прерогативы остались столь же неограниченными, как были раньше. Он просто считался с совершившимся фактом. Императрица, напротив того, в оценке явлений повседневной жизни и, в особенности, в оценке людей, призванных **{352}** принять закон, совершенно не разбиралась в тонкостях конституционного права и имела вполне определенный, так сказать, упрощенный способ верования.

В Ее понимании и в Ее открытых заявлениях как в письмах Государю, так и в беседах с теми, кто окружал Ее, и кому Она доверяла, Государь остался выше закона. Он стоит над ним. Его воля ничем не ограничена. Он властен выразить какое угодно желание, потому что оно всегда на пользу страны и народа. Все обязаны исполнять Его веления и даже простые желания беспрекословно, и кто не исполняет их, тот не верный слуга своему Царю и недостоин быть носителем дарованной Им ему власти. Всякое осуждение Государя, всякое посягательство на критику каких-либо Его действий — недопустимо и должно быть пресекаемо всеми способами, и те носители власти, которые не исполняют этого, не могут оставаться на своих ответственных местах, ибо они ответственны прежде всего перед своим Государем и должны понимать, что Он — Помазанник Божий.

Такое верование вошло в плоть и кровь Ее мышления настолько, что Она не хотела даже обсуждать этого вопроса с кем бы то ни было, в сочувствии кого Она не была заранее уверена. Всякое возражение в этом отношении раздражало Ее, и тот, кто делал его, становился просто неприятным Ей, и Она не в состоянии была скрыть своего неудовольствия. Своими взглядами Она делилась исключительно с одними близкими Ей людьми, которые не только не пытались разъяснить Ей неправильность такого понимания, но, желая укрепить свое собственное положение, только поддерживали Ее взгляды.

Таким образом создавался постепенно тот *заколдованный круг*, который все боле укреплял Ее в Ее взглядах, а с людьми не согласными с ними — не стоило просто и разговаривать, ибо они были ослушниками воли своего Государя, и раз они не отступаются от такого понимания, то, очевидно, они не Его слуги и всякая беседа с ними излишня.

Третьей основной особенностью всей природы Императрицы Александры Федоровны был Ее личный характер.

Замкнутая, строгая к себе и к людям, сдержанная в своих личных отношениях к ним, — Она относилась вообще с большим недоверием и даже с известною подозрительностью к окружающим, за исключением тех, кого Она допускала в непосредственную свою близость и наделяла их, в таком случае, своим полным доверием. В этом случае Она уже не знала ему пределов. Но стоило и тем, кого Она **{353}** допускала в свое «Святая Святых» в чем-либо, как Ей казалось, нарушить оказанное им доверие или, в особенности, отнестись отрицательно, а тем более с неодобрением к тому, чем Императрица особенно дорожила или считала своим личным делом, как самое близкое лицо становилось чужим, безразличным, и отношение с ним порывалось окончательно.

Примеры родной сестры Императрицы, Великой Княгини Елизаветы Федоровны, вдовы В. К. Сергея Александровича, и Княгини З. Н. Юсуповой-Сумароковой-Эльстон служат лучшим тому доказательством. Стоило и той и другой выразить их мнение о вреде появления при Дворе Распутина, как самая нежная дружба многих лет этих дам с Императрицею совершенно порвалась и уступила место полному отчуждению.

Вне своих близких людей Императрица Александра Феодоровна не любила ни Петербургской придворной среды, ни, так называемого, высшего Петербургского общества. Московских кругов Она почти не знала и, во всяком случае, в близости к ним не находилась Она считала даже Петербургскую высшую среду непосредственно враждебною себе и делавшею резкое различие в своих отношениях к Ней и к вдовствующей Императрице Марии Феодоровне.

На самом деле этого не было, да и быть не могло. В начале царствования Императора Николая II общество мало знало молодую Императрицу, тогда как вдовствующую Императрицу оно знало перед тем уже 30 лет (Императрица мать прибыла в Россию в 1866 году). Все давно успели полюбить за Ее приветливость, за простоту, за ласку в обращении, за Ее доступность. Многие выросли вместе с Нею, других Она знала, детьми и ласкала; немалое количество людей встречалось с Нею в благотворительной деятельности.

Молодой Императрицы не знали и Ее не легко было узнать. Она мало принимала, чему мешали также и Ее частые болезни. Вся Ее жизнь сосредоточилась на семье и на детях, уходу и воспитанию которых Она отдала всю свою нежность и большое количество времени. Ее вообще мало видели и доступ к Ней был не легок.

Но допустить, чтобы в столичном обществе было отрицательное, а тем более враждебное к Ней отношение, — это было совершенно несправедливо, тем более, что «весь придворный круг, вся родовая и служилая аристократия только и ждала, чтобы для нее открылись двери нового Двора и уже, конечно, вне всяких принципиальных предпочтений

кому-либо, была бы **{354}** только рада иметь доступ к новому, естественно, более близкому к деятельности и влиянию, центру своих ожиданий.

Следует оказать, что и в выборе своего непосредственного приближения Императрица не была счастлива. Нельзя назвать ни одного лица, которое при всей своей действительности или кажущейся преданности, было в состоянии достаточно глубоко и авторитетно осветить Ей, окружавшие Ее условия и хотя бы предостеречь от последствий неправильной оценки этих событий и людей Ее времени.

Одни из узкого личного расчета, либо из опасений утратить то положение, которое выпало на их долю, другие по неумению анализировать окружающие их условия или по складу их ума, сами не отдавали себе отчета в том, что происходило кругом них, третьи, наконец, потому, что искренно сами верили в то, что составляло сущность взглядов Императрицы, — но все они хором, и отличаясь в одних подробностях, только укрепляли Ее в избранном пути и приносили Ей, каждый откуда мог, то все новые и новые сведения о распространяющемся неудовольствии на Нее и всегда с указанием от кого оно идет, то передавали новые неведомо также откуда взятые слухи о том, что будто бы от Нее и Государя все ждут, — когда же, наконец, будут приняты меры к прекращению соблазна, давно смущающего преданных Монарху и монархии людей.

Среди таких условий и на почве приведенных особенностей в основных взглядах Императрицы произошли события, описанные мною, в конце 1911 и в начале 1912 г.

Всего с небольшим два месяца спустя после кончины Столыпина и назначении моем на пост Председателя Совета Министров, когда я только что видел очевидные знаки внимания со стороны самой Императрицы, когда несомненно с Ее ведома я был назначен Председателем Совета Министров, а затем мне были посланы из Ливадии открытые телеграммы с выражением полного одобрения за мои первые выступления в Государственной Думе, — началась в самой острой форме кампания в той же Думе и в печати против Распутина.

Государь отнесся к ней с совершенно несвойственным Ему раздражением, но в отношении меня Он был по-прежнему милостив, ни разу не выразил мне ни малейшего неодобрения и говорил только, что тон печати недопустим, и Его давно занимает вопрос о том, нет ли каких-либо способов положить конец такому явлению. Приведенные мною в своем месте объяснения мои о том, что Правительство безоружно против **{355}** таких явлений, по-видимому, показались Ему сначала убедительными, и когда с тем же вопросом Он обратился вскоре, к Министру Внутренних Дел Макарову и получил тождественные со мной разъяснения, Государь реагировал на них также совершенно спокойно, по крайней мере, по внешности Императрица также ничем не проявила, открыто своею отношения ко мне и даже продолжала, как и незадолго перед тем, проявлять мне несомненные знаки особого Ее внимания ко мне. Пример отношения ко мне на дворцовом Собрании в конце января 1912 г., также приведен мною.

Все резко изменилось разом после посещения меня Распутиным 15-го февраля и доклада моего о нем Государю. С этого дня следует считать мое удаление неизбежным.

Государь оставался еще целые два года внешне прежним, милостивым ко мне. Императрица же изменила свое отношение, можно сказать, с первого дня после того, что я доложил Государю о посещении меня Распутиным. Вопрос с письмами, распространяемыми Гучковым, инцидент с передачею этих писем Макаровым Государю, поручение рассмотреть дело прежнего времени о Распутине, возложенное на Родзянко, и многое другое, уже описанное мною, все это были лишь дополнительные подробности, но главное сводилось, бесспорно, к шуму, поднятому печатью и думскими пересудами около имени Распутина, и в этом отношении визит последнего ко мне 16-го февраля и мое отрицательное отношение к посещениям «старцем» дворца сыграли решающую роль.

Без сделанного мною выше анализа характера и взглядов Императрицы такой вывод может показаться непонятным. С точки зрения этого анализа многое делается не только понятным, но представляется даже неизбежным.

Императрица была глубоко оскорблена тем шумом, который подняла Дума и печать крутом Распутина и его кажущейся близости ко Двору.

Ее моральная чистота, Ее понятие о престиже Царской власти и неприкосновенности ореола ее неизбежно влекли Ее к тому, чтобы отнестись к этому не иначе, как с чувством величайшей остроты и даже обиды. На Ее верование в то, что каждому дано право искать помощи от Бога там, где он может ее найти, на Ее искание утоления в величайшем горе, которое постигло Государя и Ее в неизлечимой болезни Их Наследника, Их единственного сына и продолжателя династии, на Их надежду найти исцеление в чуде доступном только Богу, там, **{356}** где наука открыто бессильна, — совершено, по Ее понятию, самое грубое нападение, и святость Их домашнего очага сделалась предметом пересуд печати и думской трибуны.

Нужно было искать способов прекратить это покушение и найти тех, кто допустил его развиться до неслыханных размеров. Считаться с Гучковым не стоит. Он давно зачислен в разряд врагов царской власти. Макаров — слаб и, как человек способный мыслить только с точки зрения буквы писанного закона, должен быть просто удален.

Но виноват более всех, конечно, Председатель Совета Министров. Еще так недавно казалось, что он — человек преданный Государю, что угодничество перед Думою и общественными кругами ему несвойственно, а на самом деле он оказывается таким же, как все, — способным прислушиваться к непозволительным россказням и молчаливо, в бездействии, относиться к ним.

Вместо того, чтобы использовать, дарованное ему Государем влияние на дела и на самое Думу, он заявляет только, что не в силах положить конец оскорбительному безобразию и ограничивается тем, что ссылается на то, что у него нет закона, на который он мог бы опереться. Вместо того, чтобы просто приказать хотя бы именем Государя, и тогда его не могут не послушаться — он только развивает теорию о том, что при существующих условиях нельзя получить в руки способов укрощения печати. Вместо того, чтобы прямо сказать Председателю Думы Родзянко, что Государь ожидает от него прекращения этого безобразия, он ничего не делает и все ждет, когда оно само собою утихнет.

Такой Председатель не может более оставаться на месте, он более

не Царский слуга, а слуга всех, кому только угодно выдумывать небылицы на Царскую власть и вмешиваться в домашнюю жизнь Царской семьи.

Со мною об этом, разумеется, не говорят, но в окружении об этом только и идет речь, и слышатся все новые подтверждения моей близости к тому же Гучкову или моих — на деле никогда не происходивших — свиданий с Родзянко, во время которых постоянно развивается, будто бы, одна и та же тема — о необходимости высылки Распутина и удаления его от доступа к Государю. Отсюда только один шаг до того, чтобы открыто, на виду у всех на вокзале в Царском Селе, в марте 1912 года и при торжественном приеме в Ливадии в апреле того же года выразить мне прямое нежелание видеть меня, — и неизбежность моего увольнения становилась поэтому, естественным **{357}** образом, только вопросом времени. Таков был ход мышления Императрицы Александры Феодоровны, как я его понимаю, и каким он должен был быть по свойствам Ее природы.

Как реагировал Государь на это мне, разумеется, не известно. То, что происходило внутри Царской семьи — осталось в ней самой. Лично Государь никогда не высказывал своих взглядов при посторонних лицах, даже пользовавшихся милостью Его и Императрицы, но среди этих близких людей описанные суждения составляли постоянно предмет нескончаемого обмена мыслей, до той поры, когда решение об увольнении меня было принято, наконец, ровно два года спустя после того, что я сделал мой доклад о посещении меня Распутиным.

Много лет прошло с той поры и не раз из числа бывших близких людей, переживших, как и я, все события, выпавшие на нашу долю с того времени, многие открыто излагали при мне все те же взгляды о моей ответственности за то, что не были приняты меры к укрощению печати и к ограждению власти Государя от похода на нее сил разрушения.

Я слышал даже прямое обвинение меня в том, что я не умел оперировать теми способами, которые были в руках моих, как Министра Финансов. — В этом отношении я оказался, действительно, крайне неумелым.

К чести людей, оставшихся на этой точке зрения, я должен сказать, что они высказывали ее и потом, в эмиграции, с тем же убеждением и совершенно бескорыстно, как и тогда, когда они вторили настроение влиятельной среды.

Сущность такого положения от этого нисколько, однако, не изменяется.

Чтобы закончить эту часть моих воспоминаний следовало бы попытаться выяснить здесь объективно и добросовестно причины моей отставки. Но исполнить это так, как бы мне этого хотелось, я не могу, не потому только, что мне трудно быть судьею в собственном деле, но и потому, что настоящих причин на самом деле не было, а были одни предлоги, более или менее действительные или просто выдуманные, смотря по тому, кто их приводил. Из этих предлогов, скрывавших истинные, выше мною приведенные причины, мало-помалу, просто создавалась определенная атмосфера, в которой в одно сплетение соединялись без проверки самые разнообразные факты. Это имело место не только в моем случае, но и во многих, совершенно иного **{358}** характера.

Искать истинные причины было бы просто напрасными трудом. В моем увольнении их следует скорее искать в отношении ко мне правых организаций и партий. Ими, по преимуществу, пользовались люди, руководивши кампаний против меня, и справедливость заставляет меня сказать, что никакие страстные нападки на меня Шингарева и Ко. в Думе не имели ни малейшего влияния на мою карьеру, тогда как редкие выступления П. Н. Дурново, закулисные доклады Председателей Союза Объединенного Дворянства вели верною рукою к моей ликвидации. Почему именно понадобилось им вести кампанию против меня?

Когда на верху власти был Столыпин — они действовали против него, выдвигая мою кандидатуру, как человека не связанного никакими узами с «младотурком» Гучковым. Когда Столыпина не стало, и я был назначен на его место, то те же правые не только не стали поддерживать меня, но на своих собраниях ясно установили отрицательное ко мне отношение, потому, что я не «их» человек и меня нельзя подчинить их влиянию.

Что же выставили они против меня?

Обвинить меня в близости к Гучкову было, очевидно, невозможно не только потому, что ее никогда не было, во еще и потому, что сам Гучков, с осени 1912 года, удалился с открытого политического горизонта, провалившись на выборах в Думу по Петербургу и Москве. Нужно было выдвинуть нечто иное и притом лежащее вне области финансового ведомства, т. к. в этой области не было поводов к неудовольствиям с их стороны и это нечто сказалось в недостатке твердости в руководительстве общею политикой.

Я «позволил» Государственной Думе слишком много говорить, она постоянно вмешивается во все дела управления, критикует всех и вся она не щадит и самого трона всевозможными намеками. Под предлогом критики «безответственных» распорядителей в лице Великих Князей расшатывается, говорилось тогда, самая Верховная Власть. А я не принимаю никаких мер к обузданию и не умею или не хочу влиять на печать, которая также разнуздана и не считается с властью, как будто я был вооружен какими-либо мерами.

Не доставало только прямого обвинения в умышленном соучастии, но т. к. на это уже никто не решился, потому что такое обвинение было бы просто абсурдно, — то осталось выдвигать слабость власти, трусливость, свойственную Министру Финансов, всегда опасающемуся встать резко в политике **{359}** против элементов, невыгодно отражающихся на состоянии Биржи и вексельных курсов, чрезмерная уступчивость еврейским вожделениям и слишком большая зависимость от международной финансовой силы.

Под таким руководительством, говорилось тогда, политика России становится колеблющеюся и недостойною великого народа, великой страны и великого Государя! Такие речи производили впечатление, а когда к ним присоединяются еще и личные влияния докладчиков, домашних советчиков и т. д., то результат может быть только один — увольнение рано или поздно с большим или меньшим почетом.

На этом мне следовало бы закончить мои воспоминания пережитой поры и коротко рассказать лишь то, что пришлось пережить потом, когда так резко повернулась страница моей трудовой жизни.

Но мне еще хочется сказать всего несколько слов о том, что за все испытания, соединенные с моим оставлением активной работы, у меня не

оставалось ни малейшей горечи к моему Государю ни при Его жизни, ни тем более после Его кончины.

Не только сейчас, когда прошло столько лет с той поры и от прошлого не осталось ничего, кроме груды развалин, да воспоминаний, не оставлявших меня ни на минуту, — о том злодеянии, которое совершено над Ним и над всеми, кто был Ему особенно дорог, — но даже и тогда, 30 января 1914 года, в кабинете Государя в Царском Селе, в минуту расставанья, после десяти лет моего постоянного с Ним общения, — мною овладело одно чувство бесконечной грусти о том, как тяжело переживал Государь принятое Им решение, навеянное очевидно мучительно-продуманною необходимостью принять его во имя государственной пользы, но вызванное иными, по большей части внешними причинами.

Мне было тяжело покидать Государя в минуту ясно сознаваемого мною приближения исключительно тяжелых для России обстоятельств и не иметь при том права сказать Ему об этом, так как письмо Его ко мне закрывало к этому всякую возможность.

Я не говорю уже о том, что я остро и болезненно чувствовал расставание с тем делом, которое сблизило меня с финансовым ведомством за 16 лет моей работы в нем. Но когда прошли первые дни и миновали все проявления оказанного мне широкого сочувствия и трогательной привязанности ко мне, **{360}** в особенности моих бывших сослуживцев, — я быстро нашел душевное равновесие и приобрел тот покой, к которому я не раз так искренно стремился.

А когда, шесть месяцев спустя, Россия была вовлечена в войну, опасность которой я старался отстранять в меру данной мне к тому возможности — я сказал себе с глубокою верою в мудрость Промысла, что судьба уберегла меня от ответственности за неизбежную для моей родины катастрофу. Я слишком близко видел все недостатки военной организации, я жил среди той легкости, с которой относились люди, стоявшие наверху правительственной лестницы, к возможности вооруженного столкновения с нашим западным соседом, я не уставал твердить об этом Государю, несмотря на то, что я видел, что это было Ему непонятно, и что мои возражения по отдельным поводам не остаются без невыгодного и для меня самого впечатления. Встречал я и со стороны моих товарищей по Совету Министров недвусмысленные заявления о том, что в основе моих взглядов лежит одно недоверие к силе и энергии русского народа.

Я привел в соответствующих местах моих воспоминаний немало доказательств этого тяжелого разлада, который существовал между мною и моими, столь же, как и я, ответственными сотрудниками Государя. Мой голос не был услышан, и я стоял особняком среди значительной части нашего правительства того времени. Но я должен сказать с глубочайшим убеждением, что каково бы ни было наше внутреннее несогласие в риторические минуты еще задолго предшествовавшие войне, предотвратить ее зависло не от России.

Война была предрешена еще тогда, когда у нас были убеждены, что ее не будет и всякие опасения ее считались преувеличенными, либо построенными на односторонней оценке событий.

Но я не разделяю и того мнения, которое живет и до сих пор в известной части русского общества и не раз выражалось открыто, — что

война могла быть нами предотвращена при большем искусстве и при большей предусмотрительности в ведении нашей внешней политики.

Не неся никакой ответственности за войну, я, тем не менее, открыто исповедую, как буду исповедывать до конца моих дней, что на России не лежит никакой ответственности за ту мировую катастрофу, от которой больше всего пострадала именно Россия. Она была бессильна остановить неумолимый ход роковых событий, подготовленных задолго теми, кто все рассчитывал наперед, но не понял только одного, что человеческому предвидению положен свой предел, **{361}** неподдающийся абсолютному взвешиванию, как не понял и того, что многое совершается вопреки заранее составленным расчетам.

Еще за восемь месяцев до начала войны, в бытность мою в Берлине, было очевидно, что мирным дням истекает скоро последний срок, что катастрофа приближается верным, неотвратимым шагом, и что ряд окончательных подготовительных мер, начатых, еще в 1911 году, т. е. за три года, уже замыкает свой страшный цикл, и никакое миролюбие русского Императора или искусство окружающих Его деятелей не в состоянии более разомкнуть скованной цепи, если не совершится чуда.

Моему взгляду на этот вопрос есть и уцелевший еще и теперь свидетель — мой всеподданнейший доклад Государю в конце 1913 года. Он опубликован советской властью. Когда-нибудь этот документ войдет в состав исторического матерьяла о происхождении войны 1914-1918 г.г., и беспристрастный разбор его скажет правду об этом вопросе, все еще составляющем предмет страстной полемики.

Не узнает только никто того, что происходило в душе Государя в ту минуту, когда, докладывая Ему в половине ноября 1913 г. о моей заграничной поездке и свидании в Берлине с Императором Вильгельмом, я дополнил мой письменный доклад теми личными моими впечатлениями, которые сложили во мне убеждение в близости и неотвратимости катастрофы.

Я не поверил этого убеждения моему письменному докладу, чтобы не давать ему огласки даже в той ограниченной среде, которой был доступен мой доклад. Его знал Министр Иностранных Дел Сазонов. Во всей исчерпывающей подробности узнал его в этот день и Государь.

Он ни разу не прервал меня за все время моего изложения и упорно смотрел прямо мне в глаза, как будто Ему хотелось проверить в них искренность моих слов.

Затем, отвернувшись к окну, у которого мы сидели, Он долго всматривался в расстилавшуюся перед ним безбрежную морскую даль и точно очнувшись после забытья, снова упорно посмотрел на меня и сказал приведенные уже мною Его слова, закончивши их загадочною мыслью: «На все воля Божья!»

Это было в мою последнюю поездку в Ливадию.

{362}

ГЛАВА V

Моя финансовая и экономическая политика — Развитие государственных финансов и производительных сил России за десятилетие 1904—1913 г. г.

Так кончился длинный период моей активной государственной службы. Он начался 10-го марта 1873 года и завершился 30-го января 1914 года освобождением меня от моей двойной обязанности — Председателя Совета Министров и Министра Финансов.

Началась для меня новая жизнь, которая могла дать мне еще не мало нравственного удовлетворения и, во всяком случае, возможность пожить личною жизнью и узнать, что дает человеку сравнительный покой и независимое положение.

Судьба судила, однако, иное.

Но прежде чем приступить к пересказу о том, как сложилась моя жизнь после того, что в ней произошло резкое изменение, в связи с переменою в моей служебной судьбе, мне кажется, что на мне лежит долг подвести краткий итог того, над чем мне пришлось трудиться в течение длинных 10-ти лет моей службы на посту Министра Финансов.

Мне сдается, что мне нужно это сделать не столько для того, чтобы показать, что и как я делал, исполняя мой долг, но, главным образом, для того, чтобы показать, каково было финансовое и экономическое положение России в конце 1903-го года, и каким стало оно к началу 1914 года, когда мне пришлось оставить мой пост, т. е. всего за 6 месяцев до наступления войны, со всеми ее последствиями.

Не раз в моих публичных выступлениях в Государственной Думе и в Государственном Совете я открыто **{363}** заявлял с трибуны, что я не был новатором в деле управления русскими финансами и не проложил новых путей для экономического развития страны. Моя роль была гораздо более скромная — я старался сберечь, охранить и развить то, что было сделано моими предшественниками, и если эта задача была мною выполнена, и России показала за 10-тилетие с 1904 по 1914 год замечательный экономический расцвет, то заслуга принадлежит не столько мне, сколько всему укладу финансового управления, которое шло путем строгой преемственности за длинный период, начавшийся задолго до моего времени.

Показать каково было экономическое и финансовое развитие России в 1904-1914 г.г. нужно еще и потому, что об этом времени вообще мало сказано. Ученые исследования посвящали ему только отрывочные данные, потому что бурные условия нашей внутренней жизни за первую половину этой поры отводили внимание в сторону иных интересов, преимущественно политического характера. Немало места было отведено и полемике, неизбежной когда приходится говорить о настоящем, так как страсти и критика всегда обрушиваются на то, что протекает у нас под глазами, и требуется не мало времени для того, чтобы они улеглись и очистили место для более беспристрастного и справедливого анализа.

А затем наступила война, и она настолько поглотила всеобщее внимание, что говорить о том, что не относилось к ней, было уже просто

невозможно. Наконец, подошла революция и большевизм, создавшие такое положение, при котором одни не располагают достаточными источниками для того, чтобы сказать беспристрастное слово о своем прошлом, а другие, хотя и располагают ими, но заинтересованы только в том, чтобы замолчать и опорочить все, что было до них, и что они всякими способами и систематически стремятся стереть с лица земли.

Разумеется, говорить об этом прошлом в объеме научного трактата — не место в личных Воспоминаниях, хотя бы и активного его участника. Но дать ему короткую характеристику, показать каким оно было на самом деле, по каким путям стремилось оно разрешить запросы страны и какого результата достигло — едва ли это излишне и бесполезно для характеристики моей деятельности в области экономической и финансовой и того, какие задания положены были в ее основание и насколько удалось их осуществить.

Те данные, которые мне придется проводить в ходе моего изложения, заимствованы мною, главным образом, из того **{364}** художественно исполненного издания, о котором я говорил в своем месте. Ко дню истечения десятилетия со дня моею назначения Министром Финансов я приготовил это особое, снабженное диаграммами, издание для Государя, приведя в нем ряд фактических сведений, характеризующих финансовое и экономическое положение России за период 1904—1914 годов.

С разрешения Государя я разослал широко это издание русским повременным изданиям, университетам, ученым учреждениям, отдельным лицам, интересовавшимся финансовыми и экономическими вопросами. Некоторое число экземпляров разослано было и заграницу. Мне известен и во Франции один экземпляр, сохранившийся в библиотеке Crédit Lyonnais.

Излагая вкратце те основания, на коих неизменно покоилась проводившаяся мною в жизнь финансово-экономическая политика, я почерпну из этого издания те немногие сведения, которые, как мне кажется, полезно привести, чтобы показать какою была Россия после того, что она пережила русско-японскую войну и революцию 1905—1906 года как быстро залечила она раны, нанесенные ее экономическому организму, и какою встретила она войну 1914 года.

Те десять лет, в течение которых я стоял у кормила русских финансов, богаты были событиями величайшей государственной важности. События эти глубоко влияли на экономическую и финансовую конъюнктуру и, естественно, иногда затрудняли, а иногда облегчали движение по намеченному мною пути. Об этом скажу я подробнее в дальнейшем изложении, а здесь отмечу лишь главные вехи на этом пути.

В первую очередь стремился я всегда к бюджетному равновесию, т. е. к тому, чтобы покрывать обыкновенными доходами, не прибегая к займам, обыкновенные, а поскольку возможно, и чрезвычайные расходы государства. Такую политику я всегда считал основой не только финансового, но и общего экономического благополучия государства.

— Финансовая политика, которой я следую, — говорил я в Государственной Думе, в заседании 21 ноября 1911 г. — есть та политика, о которой Леон Сей, на мой взгляд один из крупнейших авторитетов экономической науки XIX столетия, сказал:

«в делах финансовых существует только одна правильная политика — это политика бюджетного равновесия» Политика эта не

выигрышная, она не сопровождается широкими вещаниями, большими обещаниями, но она напоминает собою ту незаметную **{365}** работу каменщика, который работает под землею, складывая фундамент и тщательно подбирая камни сознавая, что фундамент должен быть заложен широко и глубоко. Делает он это, вполне понимая значение этой, может быть, незаметной, а по моему мнению, весьма заметной хотя и не всеми замечаемой работы, сознавая, что только на этом широком и глубоком фундаменте можно построить то прочное здание финансово-экономического развитая страны, которое одно способно повести Россию по пути укрепления и процветания.

К теме этой я неизменно возвращался во всех моих бюджетных речах, и стенограммы отмечают, что слова мои вызывали «бурные и продолжительные рукоплескания центра и правой». Если левая часть Думы при этом безмолвствовала, то лишь из принципиального нежелания выразить правительству знаков, одобрения, в действительности же и она стремилась к той же цели, хотя предпочитала избирать пути, которые, на мой взгляд, к этой цели привести не могли.

«Для достижения и сохранения бюджетного равновесия, необходимо — говорил я — жить по средствам и не допускать в области финансов никаких фантазий и авантюр, осуществляя налоговые реформы с величайшей осторожностью и памятуя, что и в области государственных финансов должно соблюдать историческую преемственность и сообразоваться с особыми условиями русской жизни».

«Вводить крупные преобразования в построении бюджета легко на словах и чрезвычайно трудно на деле», говорил я в речи, произнесенной 10-го мая 1913 года перед Государственной Думой «Бюджет отражает на себе целое прошлое данной страны и постепенно получает значение таких порядков, которые требуют бережливого, осторожного и последовательного отношения» «Мы должны», — говорил я в той же речи, «стремиться к тому, чтобы вне пределов крайней необходимости не заключать займов. Для этого есть единственное средство, это средство — блюсти, и при том блюсти как зеницу ока, то, что я называю бюджетным равновесием, соразмерять потребности государства с его средствами и жить в соответствии с этим».

Этот главный, основной пункт моей программы мне удалось последовательно осуществить во всех бюджетах, широко одновременно удовлетворяя государственные потребности. При этом в последних четырех бюджетах, с 1910 по 1913 г. г., одни обыкновенные государственные доходы покрыли все вообще **{366}** потребности государства, как обыкновенные, так и чрезвычайные.

Обозревая пройденный за первые годы после войны путь, я говорил Государственной Думе в бюджетной речи, произнесенной 19-го июня 1908 г.: «Нет другой области, которая менее подавалась бы новшествам, как область финансового управления, и нет другой области, в которой всякие неудачные эксперименты не проявляли бы своего гибельного влияния так быстро, как эксперименты в области финансов.

Вот почему перед нами действительно только одна задача, как бы ни звучало это скучно, как бы ни было желательно заменить это скучное более живым и отрадным, перед нами стоит необходимость жить по средствам. И в этом отношении наша финансовая система действительно выдержала то испытание, которое на нее было возложено, она выдержала войну, выдержала последующие внутренние события, она выдержала

крупное увеличение государственных расходов, и она выдержала все это потому, что Система нашего финансового строя поставлена правильно и прочно, что она основана на исторических началах, развивалась преемственно, а не была результатом тех или иных академических настроений. Нашу финансовую систему нужно исправлять и совершенствовать и в особенности дополнять, но нужно ее охранять и вынашивать, потому что она сослужила свою службу».

Слова эти, конечно, намечали лишь путь, по которому надлежит идти, расширяя государственные доходы, но нисколько не обозначали с моей стороны желания ставить преграды разумному расширенно государственных расходов. Неоднократно повторял я с трибуны законодательных учреждений, что считаю значительное расширение государственных расходов неизбежным, так как многие государственные задачи остаются еще неразрешенными и, так как появление на исторической сцене России законодательных собраний народных представителей неизбежно повлечет за собой рост государственного бюджета.

Весь вопрос лишь в том, на каком фундаменте должен быть осуществлен этот рост. Ответ на этот вопрос и составлял второй основной пункт моей финансовой политики.

Государственный бюджет, зеркало всей государственной и экономической жизни страны, тесно связан с народным хозяйством и, кроме исключительных случаев, когда, например, приходится залечивать раны, нанесенные войной, какими-либо стихийными бедствиями или внутренней смутой, бюджет должен развиваться на основе развития всей хозяйственной **{367}** жизни страны. В первую очередь надлежит покрывать рост государственных расходов естественным ростом государственных доходов, происходящим от развитая производительных сил страны, и лишь во вторую очередь можно прибегать к повышению налогов, действуя в этой области с величайшей осторожностью, дабы не нанести опасного удара народному благосостоянию и не порвать живой ткани экономической деятельности страны. «Будьте бережливы в отношении к народу и к его достатку — это такая же евангельская истина, как и всякая другая», говорил я в Государственной Думе 16-го ноября 1909 года.

Развитие народного достатка, развитие производительных сил страны, на основах развития частной инициативы и приложения частного капитала — вот вернейший путь для достижения роста государственных доходов. «Мы должны идти по пути развития наших собственных производительных сил и нашей промышленности», говорил я в бюджетной речи 10-го мая 1913 года в Государственной Думе: «мы должны всеми силами стремиться к тому, чтобы повышалась наша трудовая и в особенности промышленная инициатива, и без развития, усовершенствования и расширения нашей промышленности мы обойтись не можем, для этого не нужно смотреть на капитал и на его организацию, как на врага, нужно, наоборот, смотреть на него как на то необходимое, неизбежное, единственное условие, которое вместе с природными богатствами и трудолюбием населения поможет развиваться нашей производительности».

Не следует, конечно, заключать из этих слов, что я был врагом казенного хозяйства. Я считал лишь, что государство не должно быть монополистом, и что рядом с ведением казенного хозяйства, в некоторых специальных областях должна быть всячески поощряема частная

инициатива. Политику эту я, между прочим, энергично и последовательно проводил в области железнодорожного хозяйства.

«Не казенное хозяйство дурно, потому что оно казенное», — говорил я в Государственной Думе в общих прениях по бюджету на 1909г.: «и казенное хозяйство при известных условиях и известном сочетании условий может быть хозяйством хорошим. Казенное хозяйство во многих отношениях зависит от частного хозяйства, и казна, как хозяин и распорядитель, действует через тех же людей, и в ее распоряжении тот же народ, те же элементы, которые трудятся и на ниве свободного народного **{368}** труда. Поэтому нужно желать, чтобы народное хозяйство упорядочивалось параллельно с упорядочением казенного хозяйства».

Моей постоянной заботой было, следовательно, избегать повышения налоговой тяжести населения и покрывать рост государственных расходов, во время войны и внутренней смуты, кредитными операциями, а затем по восстановлении экономических сил страны, естественным ростом доходов. «За все время войны, что сделано было Правительством?» — спрашивал я в речи, произнесенной в Государственной Думе 27-го ноября 1907 года. «Какие мы налоги подняли? Почти никаких Мы увеличили ставку табачного акциза, мы взяли небольшой доход в виде налога с должностных лиц, увеличили нефтяной доход и, затем, увеличили в пределах административных полномочий цену на вино. Мы вынесли всю войну и всю революцию, не вводя новых налогов. Это ли не пункт программы».

Что же касается до последующего периода с 1908 по 1913 г. г., то размер обложения на душу населения (налоги прямые и косвенные, пошлины и казенная продажа, вина) повысился с 1908 по 1912 г. г. всего с 10 р 31 коп. до 10 р 84 к., а общее повышение дохода от введения новых налогов и повышения старых не превысило в бюджете 1913г. по сравнение с бюджетом 1908 г., 75 миллионов рублей.

Рост государственных потребностей делал, однако, в будущем неизбежным использование в большей мере налоговых источников, но я постоянно повторял в законодательных палатах, что повышение доходов от налогов надлежит, в первую очередь, искать в увеличении налогового бремени более состоятельных классов населения. Реформа прямого обложения и введения во время войны, в 1916 г., подоходного налога всецело подготовлены были под моим руководством в то время, когда, я находился во главе финансового ведомства. В проведении его в Государственном Совете я принял, уже после моей отставки, деятельное участие.

Как я сказал уже, не все пункты моей финансовой и экономической программы могли быть в равной степени осуществляемы в различные периоды моего управления финансами России.

В этом отношении следует разделить десятилетие 1904-1913 г.г. на два резко один от другого отличающееся периода:
на период с 1904 г. по середину 1907 года
и на период со середины 1907 по начало 1914 года.
{369} Первый из этих двух периодов занят был сначала русско-японскою войною, а затем революционным движением 1905—1906 года. В эту пору нельзя было думать о какой-либо созидательной политике, об укреплении и исправлении финансового положения страны или о развитии ее производительных сил и о накоплении народного богатства. Нужно было стремиться к тому, чтобы не разрушить то, что было создано раньше с

величайшим трудом и напряжением и без чего не было бы возможности устранить в свое время последствия войны и смуты, если бы оно не было сохранено.

Характер деятельности русского правительства, за этот первый период уже изложен мною в общих чертах в связи с началом войны, и я напомню только, что все мои усилия были направлены на то, чтобы сохранить наше денежное обращение нетронутым и уберечь его от потрясений военной невзгоды.

Рядом с этим нужно было находить средства на ведение войны и покрывать большие, даже очень большие расходы, связанные с нею, не напрягая налогового бремени, делая войну как можно менее заметною для населения, в особенности потому, что общее убеждение говорило все время за то, что война не может затянуться на слишком продолжительное время, и ее конечный исход будет бесспорно благоприятен для России.

Затем, когда, следом за окончанием войны и, притом крайне неблагоприятным для нас, подошло революционное движение и грозило подорвать нашу финансовую устойчивость больше нежели затронула ее война, когда внутренние явления породили печальные события, которых не знали полтора года войны, и грозили просто разрушить все то, что с таким трудом было сохранено за время войны, — на долю русского финансового управления выпала задача, незаметная для постороннего наблюдателя, но неизмеримо более трудная нежели та, которая выпала на его долю за время вооруженного столкновения с внешним врагом.

Нужно было бороться против взрыва нашей финансовой устойчивости из внутри страны и — еще, пожалуй, более трудная забота — искать и найти средства на ликвидацию войны, на подготовку исправления того, что сделала революция, чтобы встретить период умиротворения с исправленными финансами, подготовить созидательную работу но развитию производительных сил и приступить к ней, как только позволять внутренние обстоятельства.

Этой заботе мною посвящено также немалое количество страниц в изложении моих Воспоминаний за 1905, 1906 и первую **{370}** половину 1907 года и повторять те же мысли здесь нет ни основания, ни надобности. Я скажу только, что период существования первой и второй Государственной Думы, с апреля 1906 по июнь 1907г., ничем не отличался, в смысле напряженности борьбы за охранение нашей финансовой устойчивости, от периода революционного движения 1905 года.

То же ослабление в поступлении доходов, то же извлечение средств из сберегательных касс, тот же подрыв в Мировом общественном мнении русского государственного кредита, а следовательно и те же приемы в борьбе с этими явлениями, сводившееся к охранение устойчивости нашего внутреннего финансового аппарата, который и за это время показал только лишний раз, что наша налоговая система была совершенно здоровая по ее существу и выдержала с честью то небывалое напряжете, которое она вынесла за эти критические годы.

Только этим ее свойством нужно, главным образом, объяснить, почему мы так быстро забыли все тяжелые невзгоды пережитой поры, и почему так быстро вернулась Россия на путь здорового своего существования в финансовом и экономическом отношении, как только ей дана была фактическая возможность перейти к спокойной внутренней работе.

Иною представляется деятельность финансового управления

России и выпавшие на его долю задачи за второй период рассматриваемого времени — с июня 1907 г. по начало 1914 г. Она должна была, естественным образом, направиться по двойному руслу. О русском народном представительстве, как факторе государственного строительства, приходится говорить только с конца 1907 года, когда, приступила к своей законодательной работе Государственная Дума третьего созыва.

Благодаря особенностям нового избирательного закона, состав Думы изменился, и, она собралась не для атаки правительства и захвата его власти, а для продуктивной работы в пределах, предоставленных ей основными законами. Правительству предстояло сделать, с своей стороны, все возможное, чтобы облегчить ей исполнение ее долга, так как нельзя было, конечно, предполагать, что Дума соберется во всеоружии подготовленности ее к несомненно обширному и мало известному для большинства ее членов ответственному труду. И правительство сделало все, что зависело от него. В частности, на долю Министерства Финансов выпал в этом отношении особенно значительный труд. Пришлось коренным образом переработать всю государственную роспись подготовить весь сметный материал **{371}** таким образом, чтобы новый состав законодательных учреждений нашел в нем ту необходимую ясность изложения и полную возможность разобраться в новом для него деле.

На почве этого переработанного материала и протекала вся сметная работа в Государственной Думе и в преобразованном Государственном Совете с первого дня созыва Думы третьего состава, в течении 7-ми лет, до начала 1914 года, когда я покинул пост Министра Финансов. Как я уж говорил, в основу этой работы было положено правительством и усвоено законодательными учреждениями одно из наиболее существенных оснований, которым обусловливается вся деятельность законодательства и правительства за это время и которое заключалось в *достижении действительного равновесия русского государственного бюджета.*

В этот 7-милетний период русские государственные расходы — как будет показано дальше — выросли в небывалых до того размерах по всем отраслям государственной жизни. Расходы на оборону не могли не быть значительны за эту пору в жизни России. Стоит только припомнить, что наше военное хозяйство, сухопутная армия и вся боевая ее организация были расстроены в конец неудачною русско-японскою войною. Наш боевой флот погиб в Цусимском проливе 15-го мая 1905 года. Восстановление того и другого неизбежно отражалось на целом ряде русских бюджетов рассматриваемого времени и потребовало значительных средств казны. Но в то же время все отрасли государственной жизни, ведающие «культурными» потребностями, получили такое возрастание в предоставленных им средствах, какого не знало все предшествующее время.

Поступление доходов во все рассматриваемые годы шло впереди общей совокупности произведенных расходов и не только покрыло полностью все предусмотренные в бюджете расходы, но давало остатки, которые пошли на образование так называемой свободной наличности государственного казначейства, которая к началу войны достигла внушительной цифры *в 518 миллионов рублей.* Едва ли многие другие государства могли похвалиться, что они находились в ту же пору в одинаковых с Россиею условиях.

Таким был первый путь, по которому шли усилия законодательных учреждений и правительства за описываемое время.

Второй путь заключался в целом ряде осуществленных за то же время мер по развитию производительных сил России. Перечислить их во всей полноте не представляется **{372}** возможности. Можно сказать, не впадая в какое-либо преувеличение, что не было ни одной из существующих сторон русской государственной жизни, которая не проявила бы за это время такого расцвета, которого не знала предшествующая ему пора. *(см. С.Г. Пушкарев «Россия в XIX веке» (1801-1914) на ldn-knigi)*

К концу мирного периода, закончившегося войною l914-1918 г. г., народное образование достигло высоты, о которой мало кто был осведомлен за границей. С 1910 года правительство вступило на путь подготовки введения в России всеобщего обучения, и бюджетные ассигнования на эту потребность имели в виду достигнуть этой цели в самый короткий срок. Не утопиею, представляется это заявление, так как по утвержденному в законодательном порядке плану введения обязательного обучения в России оно должно было быть осуществлено к 1920-му году на всем пространств Империи, если бы разразившаяся война не разрушила всего этого плана.

Также и весьма значительные суммы отпущены за то же время на дело землеустройства, на переселение, на развитие земледелия, на улучшение методов обработки, земли, на распространение в населении удобрительных туков, сельскохозяйственных машин, не говоря уже о том, какое развитие получило в эту пору русское земледельческое машиностроение.

Наступившее внутреннее успокоение в стране с половины 1907 года, ряд превосходных урожаев, из которых особенною интенсивностью отличались урожаи 1909 и 1910 года, в связи с постепенным накоплением в стране сбережений, дали огромный импульс пробуждению в России всех отраслей экономического развития, которое в свою очередь потребовало целого ряда мер, направленных к развитию разнообразных форм кредита, преимущественно так называемого «мелкого», обслуживающего интересы низших классов населения, к организации дела народных сбережений, к созданию особых форм кредита для земств и городов и т. д.

И эти меры выполнены были столько же правительством, сколько и поощряемой им частною инициативою в привели к тем результатам, которые отразились на всей экономической жизни России и были очевидны для всех беспристрастных наблюдателей этой жизни за годы, непосредственно предшествовавшие великой войне.

Ряд официальных сведений, дающий беспристрастную картину этого небывалого расцвета, приводимых ниже, лучше всякого изложения покажет, чем была Россия перед постигшею ее военною и затем революционною катастрофою, и какого **{373}** блестящего положения достигла бы она, если бы смерч большевизма не смел и не уничтожил все и не вырвал с корнем самую возможность, по крайней мере, на долгие и долгие годы ожидать в будущем появления новых жизненных сил. Что же было достигнуто на самом деле?

1. В области бюджета

Начало десятилетия 1904-13 г. г. протекало, как мы знаем, среди весьма неблагоприятных условий.

В последний перед Русско-японскою войною, 1903 году обыкновенные государственные доходы — о них только и идет речь в настоящем месте — дали, всего 2.032 миллиона рублей. В первый год 10-тилетия, год начала войны с Японией, те же доходы понизились на 13,5 милл. руб., а в 1905 г. (2.025 милл. р.) все еще не достигали уровня 1903 года. Повышение доходов начинается в 1906 г. Русский финансовый аппарат стал постепенно выравниваться после потрясений революционной поры 1905—1906 г. г. и в кассы государства стали поступать доходы, задержанные внутренними беспорядками. Общая совокупность всех поступавших обыкновенных доходов дошла, до 2.272 милл. рублей, и затем возрастание в доходах шло непрерывно в течение всего остального времени, без малейших колебаний, в котором бы то ни было году этого периода, и итог их достиг, в 1913 г. 3.415 милл. р. или более предшествующего года на 309 милл. р. и более 1903 г. на 1.388 милл. руб.

Если взять две половины рассматриваемого 10-тилетия, а именно первую половину 1904—1908 г. г., то окажется, что эта половина дает повышение в росте поступления доходов всего 386 м. р. (1903 г. — 2.032 м. р., 1908 г. — 2.418 м. р.) тогда как второе пятилетие 1909—1913 г. г. дает повышение в 997 м. р. или в 1 миллиард рублей.

Если же проследить по отчетам Государственного Контроля со времени 1867 г. — когда началась правильное составление и публикование отчетности по доходам и расходам государства — и попытаться выяснить в какой срок обыкновенные государственные расходы повысились на 1 миллиард рублей, то окажется, что в 1867 году обыкновенные доходы составляли 415 милл. рублей, суммы же в 1.415 м. р. они достигли только в 1897 году, то есть *через тридцать лет*. Второй миллиард достигнут был в обыкновенных доходах в 1908 году или *через 11 лет.*

{374} Третий миллиард в тех же доходах достигнут в 1913 году или *через пять лет*, так как в этом году всего обыкновенных доходов поступило 3.415 м. р.

Конечно, такой быстрый рост имеет свое объяснение отчасти в том, что в 1897 г. русский государственный бюджет вливает в себя две новые и притом весьма крупные статьи доходов — казенные железные дороги и винную монополию, которых не знали бюджеты предшествующего времени. Но, как бы то ни было, явление быстрого нарастания доходов сохраняет все свое значение, как показатель того развития хозяйственной жизни государства, которое, дало возможность покрывать столь же быстрое увеличение расходов государства, покрываемых бюджетными ресурсами страны.

На самом деле, для устранения всякой возможности встретиться с новым повторением упрека, не раз деланного уже русским финансам за то, что все их благополучие строилось, главным образом на постоянном возрастании питейного дохода, полезно привести еще одно сравнение, а именно указать на какую сумму выросли обыкновенные доходы России *без участия в них как оборотов по казенным железным дорогам так и по виной монополии*.

Такое сравнение покажет нам, что все прочие доходы, кроме двух

исключаемых статей, возросли в 1913 году сравнительно с 1904 годом на 577,8 м. р. и ни одна из статей бюджета не отсутствовала из этого возрастания.

Наконец, последнее замечание:

За весь десятилетний период 1904—1913 г. г. обыкновенные государственные доходы России, как я уже говорил об этом *ежегодно и неизменно давали превышения над расходами.* Превышения эти достигли в совокупности за все десятилетие внушительной цифры 2.132 милл. рублей, которые и были обращены на покрытие чрезвычайных государственных расходов. Даже годы войны и смуты (1904—1906 г. г.) дали превышение обыкновенных доходов над таковыми же расходами на 418 милл. рублей. Без этого излишка в доходах государство или вовсе не выполнило бы тех потребностей, которые по самому закону были отнесены к разряду «чрезвычайных», или было бы вынуждено заключать для их покрытия новые займы, обременяя ими свои последующие бюджеты.

Я говорю о таких расходах последнего характера, которые имеют своим предметом: сооружение железных дорог **{375}** и портов, помощь населению, пострадавшему от неурожая или стихийных бедствий, и т. п.

Я не имею вовсе в виду расходов, связанных с войною, потому что они были покрыты в их главной части за счет кредитных операций.

Переходя от краткого обозрения государственных доходов к такому же обозрению *государственных расходов* за тот же период времени, я считаю себя в праве сказать, что такое обозрение не только приводит к столь же благоприятным выводам, но дает право сделать еще более благоприятные заключения.

В своем месте моих Воспоминаний я отвел немало страниц изложению осуждений, которыми оппозиционная часть русского молодого народного представительства характеризовала свое отношение к бюджету, внесенному на его утверждение, неизменно укоряя правительство за то, что оно обращает свое преимущественное внимание на увеличение одних расходов на нужды государственной обороны и на расширение административных ведомств, отводя едва ли не последнее место удовлетворенно культурных потребностей народа, представляя для них лишь сравнительно ничтожные суммы в отличие от других стран, которые отводят для них первенствующее место.

Неоспоримый язык цифр говорить иное.

Не углубляясь в критическое рассмотрение, какие именно расходы должны быть признаны расходами, удовлетворяющими культурные потребности, следует оказать, что в этом вопросе для бюджетов всех вообще государств есть немалая доля условности. Не свободен был от этой условности, конечно, и русский бюджет.

Но в том обзоре цифр, какой и имею в виду в данном случае, следует признать, что государственная отчетность прежней России, насколько это видно из Отчетов Государственного Контроля и представляемых на законодательное утверждение государственных росписей за все годы до великой войны и начиная от 1907 года, если и грешат не абсолютною последовательностью своей классификации расходов культурного и производительного наименования, то скорее преуменьшением в показании расходов называемых «культурными», нежели в сторону их преувеличения. Для примера можно указать хотя бы на то, что в состав культурных и производительных расходов отчетность

и объяснение составителей государственной росписи, никогда не относили расходов по эксплоатации **{376}** железных дорог, как будто эти расходы и по их существу не составляют одного из крупных элементов в жизни страны и одного из наиболее действительных факторов в производительной ее жизни. Точно также и многие другие расходы, разбросанные по сметам целого ряда ведомств, вовсе не принимаются в расчет при сводках издержек, имеющих характер культурных и производительных, хотя они несомненно относятся к разряду их.

Общая совокупность всех обыкновенных расходов за последний 1913-й год рассматриваемого десятилетия составляет, как приведено, боле 3.070 миллионов. По сравнению с начальным годом десятилетия (1.883 милл.) прирост в расходах равняется 1.187 миллионам рублей или 63%.

Из общего итога расходов в 3.070 миллионов рублей:

1 — Расходы административные равны для 1913 года 503 милл. р. против 327,4 милл. руб. в первый год 10-тилетия, то есть они увеличились всего на 54%

2 — Платежи но государственному долгу составляли в 1913 г. 402,8 м. р. против 327,4 м. р. в 1904 году. Они возросли на 39%

3 — Расходы государственной обороны в 1913 году равнялись 816,5 м. р. против 466,3 м. р. в 1904 г. Они увеличились на 75%

4 — Расходы культурные и производительные составляли в 1913 году 519,2 м. р. против того же порядка расходов в 1904 г, равных 213,7 м. р., и дали прирост в 143%

5 — Казенные хозяйственные операции (винная монополия и казенные железные дороги) дали в 1913 г. 828,5 м. р. против 586,9 м. р. 1904-го года, то есть увеличились на 41%.

Из этого с несомненностью вытекает, что за 10-тилетие 1904—1913 г. г. культурные расходы дали абсолютное возрастание на 305,4 м. р. *в процентном же отношении ассигнование последнего года представляет наибольшее возрастание против всех остальных расходов.*

И если по абсолютной цифре своего повышения они ниже, нежели расходы обороны, получившие в 1913 году на 350,2 м. р. более нежели те расходы в 1904 году, то это повышение на 75% объясняется, как выше указано, тем, что возрастание расходов на оборону было результатом исключительных событий начала десятилетия — утраты Россиею своего боевого флота 15-го мая 1905-го года и расстройством материальной части армии, как последствия войны.

2. Денежное обращение

В 1897 году, как известно, Россия перешла на систему золотого обращения и установила в 1899 году чрезвычайно строгие основания для выпуска в народное обращение кредитных билетов, обеспечиваемых наличным золотом, принадлежащим Государственному Банку. Только выпуск первых 300 миллионов рублей мог быть произведен без покрытия его золотом, а всякое дальнейшее увеличение количества бумажных денежных знаков, выпускаемых в обращение, допущено не иначе как с обеспечением его золотом рубль за рубль. До самого наступления войны 1914—1918 г. г. этот закон ни разу не был нарушен. Его не расстроила ни русско-японская война, ни внутренняя смута 1905—1906 г. г.

В своем месте мною приведены об этом необходимые разъяснения.

Это исключительное обстоятельство заслуживает того, чтобы иллюстрировать его хотя бы некоторыми цифрами для того, чтобы напомнить, что было в России до постигшей ее в 1917 году катастрофы и что утрачено с тех пор.

Эмиссионное право, то есть выпуск кредитных билетов в обращение, принадлежало исключительно Государственному Банку, чисто правительственному учреждению, которое и располагало всем принадлежащим ему запасом золота в монете и в слитках, обеспечивающих все количество бумажных денег, выпущенных в народное обращение.

К началу 1904 года запас золота в Государственном Банке, в России, составлял 900 миллионов рублей. Он понизился на незначительную, правда, сумму, до 880 милл. рублей к началу 1906 года, но затем под влиянием двух операций, совершенных в том же году во Франции, и наступившего улучшения в нашей внешней торговле он стал быстро повышаться, начиная с 1908 года, и дошел к концу 1913 года до суммы свыше 1.680 миллионов рублей.

Общий же запас золота, принадлежащего Государственному Банку и Государственному Казначейству как в России, так и у заграничных корреспондентов, был значительно более, он равнялся в 1904 году — 1.100 милл. р. и, беспрерывно возрастая из года в год, достиг к концу 1913 года 2.170 м. р. В то же время, выпуск кредитных билетов в обращение составлял: к началу 1904 г.—580 м. р. при запасе золота в 900 м. р. и, постепенно повышаясь под влиянием оживления в **{378}** торговом обороте и во всей экономической жизни, дошел к концу 1913 года до 1.670 м. р. при той же сумме принадлежащего Государственному Банку золота в России и, следовательно, с фактическим золотым покрытием билетного обращения в 100%.

3. Внешняя торговля России

Я ограничиваюсь одними валовыми цифрами вывоза из России и привоза в Россию товаров по их ценности и не подвергая анализу составных частей этого баланса, несмотря на то, что такой анализ представил бы значительный интерес.

Общий оборот внешней торговли за десятилетие возрос с 1.682 м. р. до 2.690 м. р., то есть более чем на 1 миллиард рублей. Он влил за тот же период в народный оборот 3.799 м. р. и послужил одним из самых могущественных факторов экономического прогресса.

За исключением одного 1908 года с его слабым урожаем, следовавшего за двумя годами также неблагоприятного урожая, даже в годы войны с Японией и смуты, — вывоз из России не ослабевал, как не понижался и привоз, но с 1909 года, под влиянием ряда блестящих урожаев и начавшегося быстрого подъема промышленной и сельскохозяйственной деятельности, вывоз из России дал резкий скачок вверх и не ослабел до самого начала великой войны.

4. Рост народного богатства

Десятилетие 1904—1913 г. г. дает наглядное показание непрерывного и весьма значительного накопления народного богатства во всех видах.

Неблагоприятные внутренние условия России в 1904 и 1905г. г. задержали этот рост только на сравнительно короткое время и в мало заметных размерах, но уже с конца 1906 года рост сбережений показал значительное движение в сторону возрастания их и достиг к концу рассматриваемого периода на самом деле весьма высокого уровня.

Собственно прироста капиталов в Банках разного наименования, в страховых обществах и в Государственных Сберегательных кассах, в форме денежных вкладов и ценных бумагах может быть выражен в следующих немногих цифрах:

{379} К 1-му января 1904 года числилось всего размещенных в России денежных сумм, процентных бумаг в закладных — 11.300 миллионов рублей. Через пять лет, к 1 января 1909 года их было 14.300 милл. руб. еще через пять лет, к январю 1913 года их стало 19.000 м. р.

В частности, одних процентных бумаг было: в 1904 году — 8.300 м. р., а в 1913 году — 13.300, или боле на 60%.

Еще большого внимания заслуживают *обороты Государственных Сберегательных Касс.*

К началу 1904 г. сумма в них вкладов денежных и процентными бумагами составляла — 1.022 м. р. к концу 1913 года — она дошла до 2.100 м. р., то есть увеличилась, в два раза.

Число сберегательных книжек возросло за то же время с 4.854.000 до 8.597.000. Такой результат был достигнут, конечно, отчасти приближением касс к населению, путем открытия новых касс а также упрощением формальностей и предоставлением вкладчикам разных удобств. Но наиболее действительною причиною такого увеличения вкладов было, однако, развитие духа бережливости в населении и укрепление доверия к кассам, после печального опыта массового извлечения капиталов из сберегательных касс во время революционного периода 1905 года, от чего преимущественно пострадало само население, поддавшееся анархическим наставлениям.

5. Промышленность. Железные дороги

Наступившее в 1907 году успокоение в стране, укрепление денежного обращения, широкое развитие кредита, все увеличивавшаяся, внутри России и извне, вера в производительные силы страны, накопление и приток свободных капиталов и, одновременно, увеличивающийся крестьянский спрос — все эти явления отражались на развитии русской промышленности и привели в рассматриваемое десятилетие к замечательному ее оживлению.

Развитие сельскохозяйственного промысла и крестьянского спроса всегда были в России основными факторами хозяйственного прогресса страны. За десятилетие 1904—1913 г. г., с одной стороны под влиянием аграрной реформы, стремившейся к распространению и укреплению мелкой крестьянской собственности, а с другой под влиянием мероприятий, направленных к улучшению и интенсификации сельскохозяйственного производства, повышению потребления сельскохозяйственных машин и химических удобрений,

распространению агрономических знаний, **{380}** расширению сети агрономических учреждений и т. д., русское крестьянство крепло и увеличивалась устойчивость урожаев и производительность посевов. Созидался, укреплялся и расширялся фундамент для здорового и рационального развития всех производительных сил страны.

Оживление русской промышленности в описываемую эпоху было, таким образом, явлением нормальным, имевшим корни во всей хозяйственной и государственной жизни страны и твердую почву, на которой оно, без большевистской катастрофы, продолжало бы свое быстрое и мощное развитие в полной гармонии с другими проявлениями деятельности страны и с параллельным ростом народного благосостояния.

Я ограничусь лишь очень немногими показателями оживления русской промышленности в рассматриваемую эпоху. В области промышленности предметов широкого потребления, производство хлопчатобумажной пряжи повысилось с 15 миллионов пудов в 1905 году до 23 миллионов в 1913 г., а производство хлопчатобумажных тканей с 13 до 20 миллионов пудов. Белого сахара произведено было в 1905 г. — 50 миллионов пудов, а в 1913 г. — 108 миллионов пуд. Производство папирос равнялось 12 миллиардам штук в 1905 г и 26 миллиардам в 1913г.

В области тяжелой промышленности — производство каменного угля возросло с 1.091 милл. пуд. в 1908 г. до 2.214 милл. пуд. в 1913 г. Чугуна произведено было в 1903 г. 152 милл. пуд., а в 1913 г. 283 милл. пуд. Что касается до нефтяной промышленности, то разрушения, произведенные во время смуты 1905 г., были так велики, что до войны добыча не достигла еще уровня 1904 г. и лишь во время войны, под влиянием развития Грозненского района, добыча достигла почти что прежнего уровня (656 милл. пуд. в 1904 г. и 602 милл. в 1916 г.).

Что касается до железных дорог, то ни одно десятилетие не дало такого толчка прогрессу в этой области, какое дало десятилетие 1904—1914 года.

Этому вопросу мною посвящено немало страниц в моем предшествующем изложении, и можно сказать без преувеличения, что без достигнутого успеха в этой области не было бы и их осязательных результатов, которые проявила вся экономическая жизнь России в эту пору длина русской железнодорожной сети, не считая финляндских дорог и Китайской Восточной железной дороги, равнялась накануне войны, на 31 декабря 1903 г., 55.314 верстам. На 1 января 1914 г. она увеличилась до 65.526 верст, из коих две трети, а именно 43.383 **{381}** версты составляли казенную железнодорожную сеть: 33.416 верст в Европейской и 9.969 верст в Азиатской России.

Такова была финансовая и экономическая политика России в десятилетие 1904-1913 г. г. Таковы были в беглом обзоре достигнутые ею результаты перед самым началом великой войны и сопроводившей ее катастрофы.

Поистине «дела давно минувших дней
преданья старины глубокой»!

конец - том II часть 6-тая

{X} - Номера страниц Старая орфография изменена.

Из книги - Граф В.Н. Коковцов «Из моего прошлого»
воспоминания 1903-1919

ТОМ II

Париж 1933 год

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Время после моего увольнения.

Революция и бегство из России.

{385}

ГЛАВА I.

Выступление М. М. Ковалевского в Государственном Совете по поводу моего увольнения. — Мои беседы с Императрицей Марией Федоровной. — Мое выступление в Государственном Совете по вопросу о подоходном налоге. — Назначение меня Председателем второго департамента Государственного Совета. — Следствие по делу Сухомлинова. — Сделанное мне предложение заняться подготовкой к мирным переговорам. — Назначенье меня попечителем Лицея. — Мое последнее свидание с Государем. — Февральская революция и ее отраженье на нашей частной жизни. — Мой первый арест и освобождение. — Жизнь в деревне. — Процесс Сухомлинова. — Допрос меня Чрезвычайной следственной комиссией Временного Правительства.

Об этом времени я скажу лишь очень немногое и только то, что пришлось пережить мне в связи с моим прошлым.

Время после моего увольнения 30-го января 1914 года составляет уже пору очень мало заметную в смысле моего личного участия в государственных делах.

Как и в 1906-м году, спешно перебравшись из Министерской квартиры на нашу частную на Моховой улице, которая давно подготовлена была нами и только временно занималась близким мне человеком, Генералом Пыхачевым, мы в какие-нибудь 10 дней окончили наше устройство и были искренно рады тому, что могли в новой обстановке начать нашу новую жизнь, мало похожую на ту, которую мне пришлось пережить в течение предшествующих десяти лет.

Никому из нас и наших близких не приходило в голову, что недолго нам суждено прожить так, как мы рассчитывали, и всего через три года мы лишимся всего, что устраивали с любовью в течение всей нашей жизни. В Государственном **{386}** Совете меня встретили самым радушным образом; все, наперерыв старались выразить мне свои симпатии и не скрывали своего отношения к моему увольнению.

В первом заседании Совета, после моего увольнения — оно пришлось на, 4-ое февраля — я не присутствовал, так как не начал еще моих посещений Совета. Как только заседание открылось, и Председатель Акимов объявил об этом, из академической группы поднялся Академик, Профессор М. М. Ковалевский и попросил разрешения сделать внеочередное заявление. Разрешение ему было дано в молчаливой форме, простого жеста, выражавшего согласие на то Председателя. Своим очень громким голосом, отчеканивая каждое слово, Ковалевский заявил от своего имени и от имени и по поручению Академической Группы, что она и его единомышленники, а он надеется, что к ним присоединятся и другие г. г. члены Государственного Совета, — не могут не высказать открыто их чувства глубочайшего сожаления по поводу того, что Статс-Секретарь Коковцов вынужден был покинуть свой двойной пост Председателя Совета Министров и Министра Финансов.

Заметив желание Председателя Совета остановить его, Ковалевский, повышая голос, заявил, что ему и его друзьям неизвестны, конечно, те побуждения, которые вызвали это печальное явление, но сожаление их и даже чувство скорби, вероятно, разделяются широкими кругами общественного мнения, которое привыкло уважать и ценить

гр. Коковцова, и как осторожного и вдумчивого руководителя всей нашей внутренней политики, и как выдающегося Министра Финансов, много и с несомненным успехом потрудившегося в деле упрочения русских финансов в такое трудной время, в, которое он их вел. Из группы центра раздался ряд голосов о том, что и их группа всецело присоединяется к сделанному заявлению. Ковалевский хотел продолжать свою речь, но Председатель, видимо, справившись с неожиданностью, прервал его, сказавши, что заявление его выслушано, и он предлагает приступить к очередным делам.

Я не имел об этом никакого понятия, никогда не встречался с Академиком М. М. Ковалевским вне заседаний Государственного Совета и только неделю спустя имел возможность да и то не в заседании, а в зале перед заседанием поблагодарить его за высказанное мне сочувствие. Это не избавило меня от дошедшего слуха, усердно распространявшегося потом, что выступление Ковалевского было результатом сговора со мною и **{387}** было устроено в виде протеста, направленного лично против Государя. Конечно, ничего подобного не было на самом деле.

Как только я привел к окончанию мои личные дела, я обратился к Председателю Государственного Совета Акимову с просьбою доложить Государю мое ходатайство разрешить мне провести некоторое время за границей, чтобы повидать мою дочь, только что вышедшую вторично замуж, и отдохнуть от пережитых впечатлений.

Разрешение мне было дано немедленно, с предоставлением права оставаться там сколько я захочу, и 15-го марта мы выехали через Берлин прямо в Палермо, где и пробыли около трех недель, а затем, заехавши на четыре дня к дочери в Женеву, в половине апреля я вернулся обратно в Петербург. Еще до моего отъезда из России мне пришлось два-три раза видеть Государя на различных праздниках, и два раза меня пригласила к себе вдовствующая Императрица.

При первой встрече с Государем мне казалось, что Он избегает подходить ко мне и вступать в отдельную беседу, как будто опасаясь услышать от меня что-либо неприятное. Но уже во вторую встречу, на эрмитажном спектакле и за ужином после него, Он подошел ко мне и стал расспрашивать, что я собираюсь делать, кроме участия в заседаниях Государственного Совета, и когда узнал, что я предполагаю просить разрешение на поездку за границу и в частности в южную Италию, где раньше не бывал, Государь, видимо, обрадовавшись моему совершенно спокойному тону и таким намерениям, сказал мне: «наслаждайтесь там как можно дольше, не торопитесь возвращаться, и когда Вам будет очень приятно на полном отдых, подумайте обо мне и пожелайте чтобы и мне было не слишком тревожно. Вы должны всегда, помнить, что я Вас глубоко уважаю и никогда не забуду Ваших заслуг, и опять повторяю Вам: если у Вас будет какая-либо забота, то знайте, что Вы доставите мне большую радость тем, что обратитесь ко мне. Надеюсь видеть Вас по Вашем возвращении и буду всегда рад принять Вас».

Двукратная моя встреча с Императрицей Марией Феодоровной носила, особенный характер, о чем я не моту и не должен умолчать. В первый раз, тотчас по моем увольнении, пожелавши видеть меня даже прежде, нежели я сам попросил о приеме, она целый час говорила со мною и с величайшим волнением расспрашивала о всех подробностях моего увольнения и о том, что вызвало его.

{388} Она сказала мне прямо, что еще за 2—3 дня до моего увольнения, в тот самый вечер, когда я ждал моего последнего доклада в Аничковом

Дворце, Государь провел с нею и Герцогинею Эдинбургскою почти два часа, говорил обо всем, не раз упоминал мое имя и даже спросил В. К. Марию Александровну, знает ли она меня и на ее ответ, что она ни разу не встречалась близко со мною, сказал ей, что при первом случае познакомит меня с нею, прибавивши, что я пользуясь его полным доверием, и что Ему особенно ценно, что я всегда говорю Ему открыто то, что считаю правильным. Императрица прибавила, что после ухода Герцогини, когда они остались вдвоем с Государем, Он опять навел речь на меня и притом в таких теплых выражениях, что у нее явилась, было, мысль позвать к себе мою жену и сказать ей, насколько ей отрадно, что Государь так расположен ко мне и так ценит меня.

Она просто не поверила своим глазам, когда прочитала 30-го января о моем увольнении и, встретившись в тот же день в театре с Государем, только могла спросить Его, «зачем Он это сделал»? и получила ответ: «а ты думаешь, что мне это легко; когда-нибудь другой раз Я расскажу тебе все подробно, а пока Я и сам вижу, что не трудно уволить Министра, но очень тяжело сознаваться в том, что этого не следовало делать».

Мне пришлось долго и подробно разъяснять мою точку зрения и вскрыть всю интригу, окружавшую меня, и показать истинную подкладку того, что творится у нас. Императрица долго молчала, затем заплакала и сказала мне буквально следующее:. «Я знаю, что Вы честный человек и не хотите зла моему сыну. Вы поймете также и меня, насколько я страшусь за будущее а какие мрачные мысли владеют мною.

Моя невестка не любит меня и все думает, что у меня какое-то ревнивое отношение к моей власти. Она не понимает, что у меня одно желание, — чтобы мой сын был счастлив, а я вижу, что мы идем верными шагами к какой-то катастрофе, и что Государь слушает только льстецов и не видит, что под его ногами нарастает что-то такое, чего Он еще не подозревает, а я сама скорее чувствую это инстинктом, но не умею ясно представить себе, что именно ждет нас. Отчего Вы не решитесь теперь, когда Вы свободны, сказать Государю прямо все, что Вы думаете, и предостеречь Его, если только это не поздно».

Мне пришлось опять долго разъяснять, что я не имею возможности сделать что бы то ни было, меня никто не послушает и никто не поверит мне, чтобы я ни сказал. Молодая **{389}** Императрица считает меня своим врагом, после половины февраля 1912 года. Все окружающие Ее легко уничтожат всякое мое предостережение, и все будет сведено к моему оскорбленному самолюбию. Я сомневаюсь даже, чтобы Она приняла меня. На этом кончилась наша первая беседа.

Через две недели меня пригласила Императрица снова к себе, прислав за мною Кн. Шервашидзе.

Эта вторая беседа была гораздо короче. Императрица сказала мне, что она дважды пробовала сама говорить с Государем, но видит, что ничего из таких разговоров не выходит. Государь говорит все время одно я то же, — что Ему надоели все пересуды и выдумки, что они производят впечатление только в петербургских гостиных, что вне этих гнезд сплетен и праздных пересудов им никто не верит, как никто не сомневается в том, как велика любовь к Нему Его народа, который только скорбит о том, что недостаточно близко и часто видит Его, и в Нем одном ищет свое благополучие.

После этой второй встречи я более ни разу не видел Императрицы до самого моего назначения Попечителем Лицея, но это уже было перед

самою катастрофою конца февраля 1917-го года.

Объявление войны застало меня в деревне, куда мы переехали в конце мая.

За несколько дней до того, я получил приглашение, вместе с женою на парадный обед в Петергоф, по случаю приезда Президента Французской республики Пуанкаре, причем мне было сообщено Министром Двора Графом Фредериксом, что я должен непременно быть, не отговариваясь никакими поводами, так как, вероятно, Президенту будет приятно видеть меня, как знакомого ему человека.

Этот обед лишний раз показал мне только, что с уходом из влиятельного положения всякий интерес к человеку исчезает в придворных кругах. Меня никто даже и не подвел к Президенту, Государь только издали приветливо поклонился мне, и мы одними из первых ухали из Петергофа, пожалевши о том, что мы не последовали первому побуждению, не остались просто в деревне.

С начала военных действий все мое внимание было направлено на то, чтобы следить за ходом военных событий и знать о них не из одних официальных сообщений, а по возможности из первоисточников. На это уходило все мое время и этим заполнялся весь мой, очень большой, досуг. Около меня и П. Н. Дурново, проживавшего в одном доме со мною, образовался **{390}** как бы центр осведомления о том, что происходило на войне. Мы черпали наши сведения непосредственно из Военного Министерства, куда имел прямой доступ по прежней своей службе А. А. Поливанов, живший недалеко от нас на Пантелеймоновской улице, и два раза в неделю, по воскресеньям и четвергам то у меня, то у Дурново, то у Поливанова собиралось 7—10 человек, критически осведомлявшихся о том, что было слишком неясно из публикуемых данных.

Наш кружок первый узнал о Таннебергской катастрофе, и долго жили мы под ее первым грозным предостережением радуясь первыми успехами у Львова, Перемышля и бодрящими вестями с кавказского фронта и скорбя затем обо всем, что последовало за событиями апреля 1915 года, после которых пошел сплошной отход нашего фронта, под влиянием всего, что так близко памятно всем и о чем бесполезно вспоминать теперь.

Не хочется припоминать и всего того, что произошло в делах внутреннего управления, того, так называемого, развала власти, который мне пришлось наблюдать из моего замкнутого положения. Об этом так много написано, столько появилось личных воспоминаний, частью правдивых, частью окрашенных предвзятостью, настолько все это занесено теперь последствиями катастрофы сгубившей Россию, что просто не хочется вносить еще и мою личную оценку в рассказ о том, что пережито и передумано, чего не изменишь и с чем никогда не примиришься».

Лично я прожил всю эту пору почти в полном бездействии так как нельзя же считать за какую-либо деятельность — моего участия в заседаниях Государственного Совета, да и то так часто прерывавшихся в связи с перерывами, заседаний Государственной Думы и продолжительными интервалами между сессиями.

Меня никто ни о чем не спрашивал. Меня ни разу ни в какое совещание не призывали. Министр Финансов Барк, очевидно, под впечатлением нашей первой и последней беседы в день моего

увольнения, со мною вовсе не встречался и в противоположность тому, что было в других странах по отношению к наиболее ответственным государственным людям, к моему содействию совсем не прибегали.

Припоминая теперь все это прошлое, я должен сказать по совести, что это искусственное удаление меня от всего, в чем я мог бы быть даже полезен, не производило на меня сколько-нибудь тягостного впечатления. Я был просто счастлив, что судьба устранила меня от **{391}** всякой ответственности не только за то, что произошло с июля 1914 года, но, и за последующие ошибки по финансовой части, и я спокойно, в личном отношении, жил в своем вынужденном отдалении от дел, сознавая до очевидности, что все равно я не мог бы внести решительного изменения в общий ход событий или ослабить последствия нашей финансовой политики за первое время войны.

Я знал, конечно, все, что происходило в правительстве, так как многие из моих бывших сослуживцев по Министерству часто навещали меня и рассказывали обо всем, что происходило в делах, но критиковать, а тем более навязывать кому-либо свои взгляды я не считал возможным, чтобы не дать повода опять поднимать замолкшие уже сплетни, о том, что я стараюсь затруднять и без того трудное положение моего приемника.

Только один раз в конце 1914 года, около последних чисел октября, Председатель Совета Горемыкин пригласил меня к себе, на Елагинскую дачу, где и я прожил 2 года, и просил высказаться по поводу принятого уже финансовым Комитетом проекта первого внутреннего военного займа в 500 миллионов рублей и, — конечно, не принял того, что я ему советовал, — сделать сразу же и, притом на более выгодных для публики условиях заем в 2 или $2^1/_2$ миллиарда рублей, так как в общественном мнении не погас еще подъем в настроении, вызванный началом войны, а думать о том, что впоследствии условия будут более благоприятны, не приходится.

Из этого, конечно, ничего не вышло, так как был еще жив Гр. Витте, который узнавши, что я дал такой совет, разразился целою тирадою против меня, говоря, что я даю такой совет только для того, чтобы утопить самую идею военного займа. Не вышло ничего и из другого моего совета — приступить теперь же к резкому повышению всех существующих налогов и попытаться смягчить ослабление в доходах, вызванное огульным воспрещением продажи крепких напитков, путем восстановления этой продажи, хотя бы в ограниченном объеме и с большим повышением цены, так как кажущееся благополучие от прекращения такой продажи основано на простом укрывательстве донесений акцизного надзора, который доносит Министерству Финансов, что тайное винокурение, сделавшееся просто явным, приняло ужасающие размеры, а Министерство боится даже показывать эти донесения своему Министру Барку, настолько он раздражается при всяком упоминании о них и приказывает только писать резкие выговоры тем из управляющих, которые настаивают на необходимости отказаться от **{392}** кажущегося отрезвления.

Невозмутимый Горемыкин сказал мне по этому поводу, что я напрасно предполагаю, что ему неизвестны донесения акцизного надзора, что он их отлично знает, также как и сведения в том же духе, сообщаемые многими губернаторами, но об этом нельзя говорить Государю, который верит в благодетельность меры запрещения продажи водки, а теперь не такое время, чтобы беспокоить Его какими-либо спросами о том, что

решено, да и в Думе еще не прошел «угар трезвости», как сказал он, и нужно ждать пока для всех станет очевидным то, что нельзя производить таких перемен росчерком пера.

На замечание же мое, что нельзя одновременно вести войну и вычеркивать из казны четвертую часть доходного бюджета, Горемыкин заметил мне невозмутимо, «ну что за беда, что у нас выбыло из кассы 800 миллионов дохода. Мы напечатаем лишних 800 миллионов бумажек, — как будто не ясно всем и каждому, что мы должны вести войну на бумажки, что даже и недурно, так как их охотно берет народ, да и многие члены Финансовою Комитета того мнения, что Вы (то есть я) оставили такой денежный голод в стране, что такой выпуск только поможет несколько пополнить каналы денежного обращения». Я припомнил при этом случае, что ту же самую фразу я не раз слышал от Министра Путей сообщения С. В. Рухлова, и предпочел не настаивать дальше на моих мыслях, тем более, что из них все равно не было бы никакою прока.

В 1915 году мне пришлось несколько выйти из моего замкнутого положения.

Из Государственной Думы поступил в Государственный Совет внесенный еще мною законопроект о подоходном налоге. Ко мне приехал Государственный Контролер, мой друг и долголетний сотрудник по Министерству Финансов Н. Н. Покровский и сказал, что Государь выразил Председателю Совета желание, чтобы этот вопрос был рассмотрен без замедления, что ожидается большая оппозиция со стороны правых, что Барк заявил открыто в заседании Совета Министров, что он мало знаком с делом и не надеется провести его, и что на него, Покровского, возложено защищать его, тем более, что и законопроект был разработан в комиссии под его председательством, в бытность его моим Товарищем.

Он прибавил мне, что ему лично сдается, что Барк просто боится правых, не хочет связывать себя с отстаиванием законопроекта и, конечно, не станет распинаться в пользу него, а предоставить все дело его естественному течению. Покровский просил меня помочь ему, о том же просил меня и Председатель Гос. Совета **{393}** Акимов. Я обещал им обоим, что стану с полным убеждением отстаивать законопроект, внесенный мною и вышедший из Думы с очень малыми изменениями против первоначальной схемы.

Я прибавил, что возражать против него теперь, во время войны просто неприлично и какие бы ни были возражения по существу, но имущим уклоняться от нового обложения, когда неимущие, во всяком случае, уже привлечены к новым тягостям, просто недопустимо. Так я и поступил. Много часов просидел я в Совет за этим делом, и если только стенограммы заседании Совета где-либо сохранились, то из них ясно каждому, что мне пришлось взять на, себя вместе с Покровским всю тяжесть защиты. Барк почти не появлялся в Совете. Центр и левые помогали всячески проведению дела. Правые развили небывалую энергию в обратном смысле, и когда заболел, а потом и скончался П. Н. Дурново, провал дела взяли на себя Гр. А. А. Бобринский и А. С. Стишинский.

Но он им не удался, и после многих бурных заседаний, после бесконечных поправок и пересмотров их в Комиссии дело благополучно прошло и было утверждено Государем, после достигнутого с таким же трудом соглашения с Государственною Думою. Я могу сказать без всякого преувеличения, что мое участие имело большое влияние на исход

дела, но за то оно же обострило еще раз отношение ко мне правой фракции. Полезно при этом упомянуть, что при решительном голосовании статей почти все Министры, состоявшие членами Государственного Совета, не присутствовали в заседании Совета, и не дали своими голосами, никакого перевеса.

Из других событий того времени память не удерживает почти ничего до второй половины 1916 года.

В связи с уходом Горемыкина и назначением на его место Штюрмера, я припоминаю только один небольшой эпизод.

Как-то днем я сидел по обыкновению дома. Прислуги у нас уже было меньше, и часто мы с женою сами отворяли дверь на звонки. Появляется в один прекрасный день, без всякого предупреждения, Штюрмер, никогда у меня не бывавший прежде, — в вицмундире, с лентою, и говорит, что заехал ко мне прямо из Царского Села, чтобы просить меня не уклониться от помощи ему, в особенности по финансовым делам, в которых он совсем не опытен и не хотел бы смотреть только глазами Барка, «тем более, что ему кажется, что и сам он не знает хорошенько что делать».

Я ответил ему, что никогда не отказывался от участия в делах, когда меня на то **{394}** приглашали, но за два года войны, меня не только не привлекали к ним, но даже явно уклонялись от всякого общения со мною, а теперь, когда наделано уже так много ошибок, едва ли даже стоит обращаться ко мне, тем более, что у меня далеко нет уверенности в том, что мое мнение будет принято так, как я его выскажу по совести, а не как проявление моего неудовольствия на то, что я отстранен от дел, — чего у меня совсем нет, ибо я ежечасно благодарю Бога за то, что Он избавил меня от всякой ответственности за все происшедшее.

На это Штюрмер сказал мне буквально следующее: «да это было так прежде, а теперь этого больше не будет, и правительство очень рассчитывает на то, что Вы ему поможете, согласившись отправиться за границу вести переговоры с Францией и Англией, так как у нас дело с ними совсем не ладится». Он прибавил, что хотел бы только знать мой принципиальный ответ, так как, разумеется, предложение будет сделано не мною, а тем, кто питает к Вам самое глубокое уважение. Повторивши мое сомнение в том, чтобы я мог быть полезен в деле, веденном до сих пор не мною и получившем даже направление, которого я не могу разделять, — я имел в виду фиктивную сделку с Английским Банком, — я сказал, что исполню все, что мне будет поручено, если буду иметь возможность изучить то, что сделано, и если получу достаточные полномочия и необходимую свободу действий. На этом разговор окончился и никогда более не возобновлялся. Через три-четыре дня после этого ко мне зашел Покровский, часто навещавший меня, и передал мне, что Штюрмер передал ему Высочайшее повеление готовиться к поездке заграницу. Для чего вел он со мною всю ненужную эту беседу, когда им же было уже испрошено повеление на, командирование заграницу Государственного Контролера Покровского, — остается для меня загадкою, которую я не берусь разрешить.

Приблизительно в то же время умер Председатель Государственного Совета Акимов, и его место занял Куломзин. Многие члены Государственного Совета говорили мне, что они просто недоумевают, почему это назначение не предоставлено мне, но я могу только лишний раз и по этому поводу повторить, что я не испытывал ни малейшего огорчения от того, что выбор не пал на меня, так как

предпочитал оставаться в тени и хорошо понимал, что назначение меня было просто недопустимо, так как большая часть людей, которые добились **{395}** моего увольнения в 1914 году, были налицо и пользовались тем же влиянием, которое решило мою судьбу.

Смерть Гр. Витте и Мещерского не изменила еще всего вопроса.

Я был даже не мало удивлен, когда перед самым новым годом, в последних числах декабря 1915 года ко мне заехал Куломзин и спросил меня, как отнесусь я к его мысли предложить Государю, при пересмотре состава Департаментов Совета на 1916 год, назначить меня Председателем второго Департамента, в котором рассматриваются дела о частных железнодорожных концессиях. Я ответил ему, что был бы рад такому назначению, если бы оно не было сопряжено с несправедливостью по отношению к человеку, вполне достойному, занимающему это место, — Генералу Петрову, с которым меня соединяют самые лучшие отношения. Куломзин сказал мне, что вполне понимает мое отношение и берется лично повидать Генерала Петрова и заранее уверен в том, что он будет рад не послужить помехою моему назначению. Через день Петров приехал ко мне сам и просил меня не отказываться от назначения, так как он ни мало не будет этим обижен, считая что такое назначение есть наименьшее, что могло бы быть сделано для меня, а сам он с большою охотою останется простым членом Департамента, под моим председательством.

Я просил его лично переговорить с Куломзиным и передать ему мою усердную просьбу при докладе Государю упомянуть о моем сомнении, основанном на, моем нежелании причинить малейший ущерб почтенному человеку.

Назначение мое состоялось 1-го января 1916 года, и вскоре я представлялся Государю, чтобы благодарить Его за оказанное мне внимание. Прием был обычно ласковый. Государь передал мне, что Куломзин довел до Его сведения о моей «щепетильности», как Он сказал, но был рад оказать мне хотя бы небольшое внимание и прибавил: «Я Вас совсем не вижу, но часто вспоминаю Вас и уверен в том, что Мне скоро придется обратиться к Вам, когда настанет пора подводить итоги войны и думать о справедливом вознаграждении России за все понесенные ею жертвы».

Его внешний вид был весьма бодрый, вера в благополучный исход войны казалась мне непоколебленною, несмотря на все неудачи, меня Он ни о чем не расспрашивал и не мне же было огорчать Его изложением моего, всегда мрачного взгляда **{396}** на вещи.

Я сказал только, что готов отдать все мои силы на то, чтобы быть полезным Ему и родине, но не знаю только, смогу ли я быть полезным. Последние слова Государя на этот раз были: «Вы, Вл. Ник., все так же грустно смотрите на будущее, как смотрели и раньше, когда мы говорили с Вами о наших военных делах, но, — Бог даст — доживем до лучших дней, когда и Вы забудете все Ваши тяжелые думы».

Весь 1916 год прошел для меня в той же замкнутой обстановке. Кроме Государственного Совета, я нигде не бывал и мало кого видел, помимо моих прежних сослуживцев и друзей. Дела на фронте принимали все более и более грозный оборот.

Внутри нарастало нервное положение под влиянием того же фактора. Дума все резче и резче поднимала свой голос.

Правительство терпело все большие и частые перемены, так как Министры сменялись с невероятною быстротою, и на смену ушедших приходили люди все более и более неведомые, и все громче стали говорить о так называемом влиянии «темных сил», так как никто не понимал откуда берутся эти новые люди, с их сомнительным прошлым, сумбурными планами и полною неподготовкою к делу управления, да еще в такую страшную пору.

Все, что происходило в Совете Министров, выносилось наружу, доходило до меня через посредство или бывших моих сослуживцев, или же через всякого рода господ, пристраивавшихся около правительства или отходивших от него, каковы Гурлянд, Белецкий, Андроников, и благодаря этому, несмотря на всю замкнутость моей жизни, я знал все, что происходит кругом, и не знал только того, что назревало в подполье, хотя при частых моих встречах с Поливановым я всегда слышал от него, что Петербургский гарнизон и в особенности скопившиеся в огромном количестве составы запасных батальонов находятся в полной дезорганизации, вне всякого действительного надзора офицерского состава и представляют величайшую опасность.

Из Государственной Думы нервное настроение перекинулось и в Государственный Совет, и там все чаще и чаще стали раздаваться голоса о «влиянии темных сил». Профессор Таганцев однажды открыто с кафедры произнес слова, что «Отечество в опасности», если не будут приняты немедленно самые решительные меры к тому, чтобы остановиться на краю пропасти.

Его речь была произнесена с глубоким и искренним волнением, старик плакал, большинство присутствовавших разошлось в гробовом **{397}** молчании. Началось сближение между Государственным Советом и Думою на почве так называемого «общественного объединения», но к этой группировке примкнуло сравнительно небольшое количество членов по назначению, из партии «центра». Я держался совершенно в стороне и не принимал в этом движении никакого участия. Как председатель группы беспартийных, я старался быть совершенно в стороне от всякого оппозиционного движения и вместе с Кн. Васильчиковым и Бар. Икскулем открыто говорил о бесполезности и даже недопустимости для членов по назначению какого-либо активного участия в этом движении. Такая осторожность с моей стороны не избавила меня, однако, как я расскажу дальше, от новой клеветы.

Лето 1916 года прошло в том же нервном настроении. Мне приходилось часто уезжать из деревни в город для участия в заседаниях Государственного Совета, да и жизнь в деревне, которую я так любил, утратила свою былую прелесть. Хотелось быть ближе к источнику сведений; газеты, получавшиеся к вечеру, не давали удовлетворения любознательности, и все больше и больше тянуло в город, в водоворот какого-то смутного кипения.

Но я должен сказать, по правде, что ни у меня лично, да и ни у кого из людей критически относившихся к событиям не было никакого представления о надвигавшейся катастрофе. Все опасались новых неудач на фронте, говорили открыто о возможности захвата Петрограда и необходимости заблаговременной эвакуации его. Мы с сестрами не раз говорили, что нам может представиться даже необходимость переехать всем на жительство в наши родовые Горна, до которых не мог бы добраться никакой немец, но все эти разговоры носили какой-то

академический характер, и никто об этом серьезно не думал.
Тем меньше думал кто-либо из самых так называемых осведомленных людей о том, что так неожиданно произошло 26-го февраля 1917 года.

В середине лета выяснилось, что процесс Военного Министра Сухомлинова будет поставлен на суд в ближайшем времени. В один из моих приездов в город Генерал Поливанов сказал мне, что его вызывал Сенатор, производящий следствие по делу, и предупредил, что и я буду вызван к допросу, так как при первом своем допросе Сухомлинов показал, что мы были совершенно не готовы к войне, только потому, что Военное Министерство не могло добиться кредитов от Министра Финансов Коковцова. Я стал исподволь **{398}** готовиться к моему допросу, пригласил к себе моего бывшего сослуживца по Департаменту Государственного Казначейства, занимавшего потом пост Товарища Министра Финансов, В. В. Кузьминского и просил его испросить разрешение Министра Финансов Барка о предоставлении в мое распоряжение сведений об ассигнованиях кредитов Военному ведомству и о их расходовании за мое время.

Эти сведения мне были нужны, чтобы осветить вопрос, очевидный для всякого беспристрастного человека, что причина нашей неготовности к войне заключалась в том хаосе, который существовал при Сухомлинове во всех заготовительных операциях, в отсталости заказов, в нескончаемых переменах технических условий и в том, что никакого законченного плана на самом деле у нас не было.

Я просил, чтобы мне дали те периодические ведомости кредитам, ассигнованным Военному ведомству и им не израсходованным, в результате чего получилось, ко дню моей отставки — 30-му января 1914 года — огромная сумма неиспользованных кредитов, превышавшая 250 милл. рублей. Все эти сведения были мне тотчас же даны.

Я освежил их в моей памяти и все ждал моего допроса. Он наступил, однако, гораздо позже, в памятный день 20 декабря 1916 года. Я хорошо помню это число, потому что как раз во время моего допроса в здании Министерства Юстиции пришел и присутствовал при моем допросе Министр Юстиции Макаров, который тут же сообщил, что найден труп Распутина, подо льдом на Малой Невке, ниже Крестовского моста. Допрос мой продолжался недолго.

Следователь Сенатор Кузьмин оказал мне, что у него имеются все сведения, сообщенные ему из Министерства Финансов, и просил меня осветить ему только механизм испрошения и назначения военных кредитов, роль Министерства Финансов и законодательных учреждений и записал несколько наиболее характерных цифр из всей эпопеи моих препирательств с Военным Министром. Он прибавил, что показания Поливанова чрезвычайно благоприятны для меня, так как он прямо заявил, что Военное ведомство получало денег больше, чем могло израсходовать, и что хотя я был очень скупым Министром Финансов, но всегда относился чрезвычайно горячо к интересам обороны и знал дела Военного ведомства гораздо лучше, нежели многие Начальники Главных Управлений этого ведомства.

Впоследствии, в сентябре 1917 года, уже в самый разгар революции и всего **{399}** за месяц до большевистского переворота, при допросе на процессе Сухомлинова, Генерал Поливанов, как я это расскажу подробнее в дальнейшем, выразился уже гораздо менее любезно по моему адресу. Позднею осенью того же 1916 года произошел еще небольшой эпизод, о котором полезно сказать несколько слов.

Штюрмера, как Председателя Совета Министров, сменил А. Ф. Трепов.

Вскоре после своею назначения он заехал ко мне и сказал, что, по его мнению, война близится к концу, что вступление Америки — оно ожидалось тогда со дня на день — положит ей конец, что нужно готовиться к мирным переговорам, к которым мы совершенно не подготовлены, так как правительство слишком поглощено текущею работою и не может сосредоточить своего внимания на такой важной задаче, а одному Министерству Иностранных Дел оно, очевидно, не под силу. Поэтому у него, Трепова, возникла мысль доложить Государю о необходимости поручить кому-нибудь одному подготовление всего этого вопроса к последующему рассмотрению в особом совещании, под председательством самого Государя, с тем, чтобы избранное лицо было затем и главным представителем России на мирном конгрессе, а до того пользовалось всеми материалами, сосредоточенными в руках правительства, и знало бы шаг за шагом обо всем, что будет происходить в сношениях с иностранными государствами. Таким лицом, по убеждению Трепова, должен быть никто иной, как я, и он убежден, что Государь разделяет его мнение, хотя он и не решался еще докладывать об этом, не заручившись моим согласием взять это дело в мои руки.

Я был уверен в эту минуту, что Трепов уже говорил с Государем и заручился Его согласием, так как хорошо зная всю подкладку моего увольнения и постоянно следя за всем, что имело отношение к влиянию Императрицы на ход событий, он никогда не решился бы предложить меня на какую бы то ни было роль, не осведомившись наверху об отношении ко мне. Я ответил ему, что не имею никакого повода отказываться от исполнения какого бы то ни было приказания Государя, коль скоро оно может быть мною выполнено, но выразил ему совершенно определенно, что не вижу еще приближения мира, так как вступление Америки будет по необходимости развиваться чрезвычайно медленно, а ход событий на нашем фронте, в связи с нашим внутренним развалом, станет неизбежно только быстро ухудшаться.

Я сказал ему также, что моя **{400}** роль, в лучшем случай, сведется ж добросовестной подготовке материалов для выработки наших пожеланий относительно мирного договора, и такою работою я, конечно, могу заниматься в тишине моего уединения, чтобы передать все, что я успею собрать, в руки тех, кому предстоит участвовать на будущем конгрессе, заранее будучи уверенным в том, что главными действующими лицами будут видные представители правительства того времени, а не такой посторонний человек как я, не пользующийся к тому же необходимыми симпатиями.

Я прибавил в конце нашей беседы, что для меня чрезвычайно важно отношение к этому вопросу моего друга и долголетнего сотрудника, — Н. Н. Покровского, — Министра Иностранных Дел, из рук которого я отнюдь не желаю извлекать того, что принадлежит ему по праву. Через несколько дней Н. Н. Покровский приехал ко мне, передал разговор Трепова с ним и сказал, что он приветствует эту мысль и выскажется в самом горячем смысле относительно необходимости ее осуществления, но условился с Треповым, что последний доложит о ней Государю и как только получит на то Его согласие, то тотчас же станет сообщать мне все материалы по этому вопросу и предложил поставить в мое распоряжение Вице-Директора канцелярии Министерства Князя П. П. Волконского, через которого я буду получать все, что мне потребуется. Я действительно стал вскоре получать пачки всевозможных копий бумаг,

не приведенных ни в какую систему, которыми обменивалось наше Министерство Иностранных Дел со всеми правительствами, начиная с 1914-го года. Трепов навестил меня еще раз и сказал, что Государь очень обрадовался его предложению, сказал ему, что Он питает ко мне глубокое уважение и полное доверие, и выразил даже намерение лично предложить мне это дело, в Его ближайший приезд из Ставки. То же самое подтвердил мне нисколько времени спустя и Покровский.

Но время шло и вызова мне не было. Наступили декабрьские события с убийством Распутина, Государь приехал из Ставки, но меня никто не вызывал по прежнему.

Тем временем во второй половине декабря скончался Попечитель Лицея А. С. Ермолов. Все были убеждены, что заменить его должен никто иной как я, того же мнения был и новый Председатель Совета Министров, член Лицейского Совета, Князь Н. Д. Голицын, который решился даже спросить об этом Государя, но получил от него в ответ, что лучше **{401}** всего было бы ему самому занять это место, как не сопряженное с большою работою и только в виду его категорической просьбы освободить его от такого назначения, Государь, вероятно не без его же намека, подписал указ о моем назначении, прибавивши, что этим будет довольна и вдовствующая Императрица, как покровительница Лицея, всегда особенно хорошо относившаяся ко мне. Я узнал об этом только из присланного мне Голициным Указа о моем назначении.

Получивши указ, я немедленно послал Государю мою просьбу о приеме по случаю назначения Попечителем Лицея и еще раз спросил по телефону Покровского, не согласится ли он напомнить Государю о Его желании дать мне указания относительно моей работы по собиранию и обработке подготовительных материалов к будущему мирному конгрессу. Покровский ответил мне по телефону, что еще на последнем его докладе Государь говорил с ним об этом вопросе, как окончательно им решенным и напоминать Ему о нем, видимо, нет никакой надобности. Государь вернул мне быстро мою докладную записку о приеме, назначивши его на 19-ое января 1917 года, и почти одновременно с тем и Покровский сообщил мне, что на его новом докладе Государь снова подтвердил ему, без всякого его напоминания, что увидит меня на днях и будет непременно говорить о том поручении, которое на меня будет Им возложено.

В обычный утренний час, в 11 часов 19-го января я приехал в Царское Село и видел Государя в последний раз. Никогда я не забуду этого нашего последнего свидания, и никогда не изгладится из моей памяти то впечатление, которое оставило во мне это свиданье.

Целый год не был я в той приемной, перед кабинетом, в которой бывал столько раз за 10 лет моих частых посещений. Ничто не изменилось за целый год, что я не переступал порога Александровского дворца. Тот же швейцар на подъезде, видимо, обрадовавшийся видеть меня, тот же скороход провел меня в приемную, те же конвойцы у всех дверей, те же книжки и альбомы на столе приемной, те же картины и портреты на стенах, те же лица в приемной: Граф Бенкендорф и доктор Боткин, мирно беседующие между собою, а первый из них при моем появлении в приемной, пошел ко мне навстречу и сказал даже разве сегодня пятница? и на мое замечание, что я уже три года как не езжу больше по пятницам, засмеялся и сказал: «мы все еще считаем, что Вы — **{402}** Министр Финансов и Председатель Совета, настолько мы привыкли

видеть Вас здесь».

Государь тотчас принял меня. Когда я вошел в его кабинет, Он стоял у окна у самых входных дверей и тут же и остался, не подходя, как это Он делал всегда к письменному столу и не предложил мне сесть, а остался говорить со мною стоя. Мне показалось, что дверь из кабинета в уборную была приотворена, чего никогда раньше не бывало, и что кто-то стоит за дверью. Быть может, это был просто обман моего слухового впечатления, но во все время нашего короткого разговора, это впечатление не оставляло меня.

Внешний вид Государя настолько поразил меня, что я не мог не спросить его о состоянии его здоровья. За целый год, что я не видел Его, Он стал просто неузнаваем: лицо страшно исхудало, осунулось и было испещрено мелкими морщинами. Глаза, обычно такие бархатные, темно-коричневого оттенка, совершенно выцвели и как-то беспомощно передвигались с предмета на предмет, вместо обычно пристального направления на того, с кем Государь разговаривал. Белки имели ярко выраженный желтый оттенок, а темные зрачки стали совсем выцветшими, серыми, почти безжизненными.

Я с трудом мог подавить в себе охватившее меня волнение и, спрашивая о здоровье, оказал просто: «Ваше Величество, что с Вами? Вы так устали, так переменились с прошлого января, когда я видел Вас в последний раз, что я позволяю себе сказать Вам, что Вам необходимо подумать о Вашем здоровье. Те, кто видят Вас часто, очевидно, не замечают Вашей перемены, но она такая глубокая, что, очевидно, в Вас таится какой-нибудь серьезный недуг».

Выражение лица Государя было какое-то беспомощное. Принужденная, грустная улыбка не сходила с лица, и несколько раз Он сказал мне только: «Я совсем здоров и бодр, Мне приходится только очень много сидеть без движения, а Я так привык регулярно двигаться. Повторяю Вам, Вл. Ник., что Я совершенно здоров. Вы просто давно не видели меня, да Я, может быть, не важно спал эту ночь. Вот пройдусь по парку и снова приду в лучший вид».

Я поблагодарил Государя за назначение меня Попечителем Лицея, высказал Ему, как отрадно мне это назначение, прибавивши, что ровно 45 лет тому назад, в декабре 1872 года я вышел из Лицея, и с той поры не было почти ни одного года, чтобы я не бывал в его стенах. Государь слушал меня все **{403}** с тою же, какою-то болезненною, улыбкою, как-то странно оглядываясь по сторонам. Затем я спросил Государя, угодно ли Ему дать мне теперь же Его указания по тому делу, которое Он мне поручает, или же угодно Ему назначить мне иное время для доклада.

При таком вопросе, который мне казался чрезвычайно простым, так как при Его прекрасной памяти у меня не могло быть и мысли о том, что Он мог не помнить о том, что Ему доложил Министр Иностранных Дел всего два-три дня тому назад, Государь пришел в какое-то совершенно непонятное мне беспомощное состояние: странная улыбка, я сказал бы даже почти бессознательная, без всякого выражения, какая-то болезненная, не сходила с Его лица, и Он все смотрел на меня, как будто бы ища поддержки и желая, чтобы я напомнил Ему о том, что совершенно исчезло из Его памяти.

При моем заявлении, что Министр, Иностранных дел докладывал Ему во вторник о его и бывшего Председателя Совета Министров Трепова мысли поручить мне подготовку материалов к будущим мирным

переговорам, и что Государю угодно было лично высказать мне Его соображения по этому чрезвычайно щекотливому вопросу, о котором так трудно сказать что-либо определенное сейчас, — Государь положительно растерялся и долго, молча смотрел на меня, как будто Он собирался с мыслями или искал в своей памяти то, что выпало из нее сейчас. После такого молчания, которое казалось мне совершенно бесконечным, и все продолжая беспомощно улыбаться Государь, наконец, сказал мне: «Ах да, Я говорил с Покровским и хотел высказать Вам мое мнение, но Я еще не готов теперь к этому вопросу. Я подумаю и Вам скоро напишу, а потом при следующем свидании мы уже обо всем подробно поговорим». Также продолжая беспомощно улыбаться. Государь подал мне руку и сам отворил дверь в приемную.

(Ф.Ф. Трепов, 1812-1889 – см. А.Ф. Кони «Воспоминания о деле Веры Засулич», его сыновья - А.Ф. Трепов, 1862-1928, Председатель Совета Министров, с 1921 года – член Высшего Монархического Совета в Париже, в этой части упомянут еще В.Ф. Трепов, ldn-knigi)

В ней я нашел тех же: Гр. Бенкендорфа и Боткина. Скажу и сейчас, спустя столько лет, что слезы буквально душили меня. Я обратился к Боткину со словами: «неужели Бы не видите, в каком состоянии Государь. Ведь Он накануне душевной болезни, если уже не в ее власти, и Вы все понесете тяжкую ответственность, если не примете меры к тому, чтобы изменить всю создавшуюся обстановку».

Не видели ли они того, что так поразило меня, или просто не хотели говорить со мною, я этого не знаю, но ни тот ни другой не разделили моего впечатления и в один голос сказали мне, что я просто давно не видел Государя, но что в его здоровье нет решительно **{404}** ничего грозного, в что Он просто устал от всех переживаний. *У* меня же осталось убеждение, что Государь тяжко болен, и что болезнь его— именно нервного если даже не чисто душевного свойства. При этом моем убеждении я был и 18 месяцев спустя, когда 10-го июля 1918 года в помещении Петроградской чрезвычайки меня допрашивал Урицкий и задал мне прямой вопрос о том, считаю ли я Государя психически здоровым, и не думаю ли я, что Он еще со времени удара его в Японии был просто больным человеком».

Это же убеждение я храню и теперь и думаю, что в описываемую мною пору Государь был уже глубоко расстроен и едва ли ясно понимал, по крайней мере, в данную минуту все, что происходило кругом него. Как бы то ни было, но я не запомню, чтобы я когда-либо переживал такое душевное состояние, как то, в котором я покинул. Государя после этого последнего нашего свидания, всего на пять недель опередившего февральскую революцию, которая смела все, что было мне дорого, и привела Государя к ею роковому концу в ночь на 17-ое июля 1918 года в Екатеринбурге.

И сейчас, спустя много лет после этого последнего моего свидания с покойным Государем, я припоминаю с необычайной ясностью, в каком волнении вернулся я в город и передал жене мое впечатление от этой встречи.

Незаметно подошла революция со всеми дикими ее проявлениями. Не хочется пересказывать все, что пережито, да и к чему!

Нового я ничего не смогу рассказать, а повторять то, что пересказано другими сотни раз, просто не стоит.

Скажу только одно, что кто бы ни похвалялся, что предвидел все, что произошло, сказал бы явную неправду.

Все чувствовали необычайную тревогу, сознавали, что что-то готовится и надвигается на нас, но никто не давал себе отчета, и едва ли я ошибусь, если скажу, что все ждали просто дворцового переворота, отстранения влияния в той или иной форме Императрицы, думали, что явится на смену новый порядок управления, но не произойдет ничего рокового и жизнь сохранит, если и не все свои прежние формы, то все ее устои.

Приведу один небольшой, но характерный по своему свойству пример. Государственный Секретарь Крыжановский, которому нельзя отказать ни в уме, ни в осведомленности, позвонил ко мне в понедельник утром, около 10-ти часов, — это было 27-го февраля — уже после того, что целый день в воскресенье, 26-го, происходили уличные столкновения войсковых частей с демонстрантами, и передал мне, что заседания **{405}** Государственного Совета, на котором мне предстояло выступать, не будет, так как получен Указ о роспуске Думы и Совета, о чем никто не знал, так как предположение это держалось правительством в строгой тайне, и когда я ему сказал, что, по моему мнению, это акт чистейшего безумия, который может вызвать самые неожиданные последствия, то Крыжановский самым спокойным голосом ответил мне: «напротив того, давно нужно было это сделать, и Вы увидите, какое прекрасное впечатление произведет роспуск, так как разом прекратится все разжигание страстей, и большинство Думы будет само радо тому, что освободилось от засилья кучки бунтарей».

В тот же понедельник днем около 2-х часов, желая посмотреть, что делается на улице, мы с женою, ничего не подозревая, вышли пройтись по Моховой, по направленно к Сергиевской, захватив с собою и нашу собаку «Джипика». Не успели мы дойти до Сергиевской повернуть направо, в сторону Литейной, как навстречу нам раздался залп ружейных выстрелов и пули пролетели мимо нас. Мы побежали назад на Моховую и остановились, ища нашу собачку, которая скрылась в ближайшие ворота, как тут же из подъезда дома Главного Артиллерийского Управления вышел Гучков, в сопровождении молодого человека, оказавшегося М. И. Терещенко, которого тут же Гучков познакомил со мною, сказавши, что Государственная Дума формирует правительство, в состав которого войдет М. И. в должности Министра Финансов, а сам он попросил меня помочь ему советом, «если эта чаша его не минует».

И действительно, на следующий же день, во вторник или самое позднее в среду, 1-го марта, он пришел ко мне около 8-ми часов вечера, когда мы сидели за обедом, попросил нас дать ему что-либо перекусить, так как он с утра ничего не ел, и остался у меня до 2-х часов ночи, расспрашивая меня обо всем, самом разнообразном из области финансового положения страны. Можно себе представить, какую пользу мог он извлечь из моих ответов, когда я и сам не знал почти ничего из того, что творилось в этой области за последнее время.

Второго марта я вышел не надолго к моей сестре в Басков переулок, чтобы узнать, что творится у нее по соседству с артиллерийскими казармами, и едва успел вернуться домой, как раздался неистовый звонок у парадного входа, и в мою квартиру ввалилась толпа вооруженных солдат с неистовыми окриками, что из окон моей квартиры стреляли по улице и убили какого-то солдата. Всего ворвалось человек 20. Эта **{406}** ватага рассыпалась по всем комнатам, требуя выдачи оружия. Не малого труда стоило разъяснить ей, что никакого орудия у меня не было, если не считать стоявших у окна двух незаряженных

карабинов, отобранных частями пограничной стражи на фронте и присланных мне, как бывшему шефу, на память. Стрелять из дома, стоящего даже не на улице, а в глубине двора, не было никакого смысла, и после немалого препирательства толпа, отхлынула, унося с собою винтовки, а руководивший ею субъект, оказавшийся переодетым рабочим, перед уходом сказал, что хорошо помнит меня еще по забастовкам 1905 года и советует мне запастись охранным свидетельством от Коменданта Государственной Думы, так как я «состою на примете и мне не сдобровать», если не будет запрещения входить ко мне и производить обыски.

Большинство солдат просто ходило с любопытством по комнатам, разглядывая обстановку, а один из них перед уходом сказал только: «нашего брата тут разместили бы сотню человек, а здесь живет господ всего двое да при них четверо прислуг».

Охранное свидетельство, воспрещающее производить обыски и осмотр квартиры, я получил в тот же день из Думы через посредство состоявшего с свое время при мне, как при Председателе Совета, Министров, и перешедшего потом к Князю Голицыну, ординарца Офросимова, но оно мало помогло мне при последующем инциденте. В тот же вечер ко мне прибежал мой шофер, бледный, растерянный и заявил, что только что во двор ворвалась ватага солдат, сбила замки с трех гаражей и увезла все автомобили, находившиеся в доме, и в числе их и мой, причем место их нахождения указывал ватаге наш же швейцар, оказавшийся потом настоящим большевиком.

Не помню в точности, на другой ли день или через день третьего или четвертого марта, мы пошли с женою пешком, минуя Невский проспект, где было очень тревожно, в Учетный Банк, чтобы вынуть из моего депо хранения 20.000 рублей бумагами, которые я хотел передать моей сестре Елизавете Николаевне, чтобы обеспечить ее на некоторое время, опасаясь, что со мною может произойти каждую минуту тоже самое, что произошло уже с большинством министров, арестованных в думском павильоне, или даже уже отвезенных в Петропавловскую крепость.

Она пользовалась моею постоянною помощью и без нее просто не могла жить. Операция вынутия этого маленького вклада прошла чрезвычайно быстро, мы собирались уже выйти **{407}** из кабинета председателя, провожаемые всем составом Правления, но как только мы переступили порог кабинета и направились через операционную залу к выходу, — на меня набросился какой-то субъект небольшого роста, еврейского или армянского типа и крича во все горло, что «вот бывший царский Министр Финансов, который во время японской войны украл пять миллионов рублей, а теперь пришел взять миллион, чтобы тратить его на свержение народной власти и восстановить царский режим».

Его окружало человек 10 вооруженных солдат, которым он отдавал распоряжения; те не знали что делать. В эту самую минуту появился около меня молодой офицер в чине поручика гвардии, конечно, с огромным красным бантом, стал всячески уговаривать армянина, оказавшегося уволенным служащим того же Учетного банка Балиевым, по-видимому, родственником театрального московского антрепренера, хозяина «Летучей мыши», и заявил, что он арестует меня, отведет в караульное помещение Городской Думы, коего он состоит комендантом, и распорядится со мною согласно тому, что ему будет приказано Государственною Думою.

Солдаты, из которых добрая половина была пьяна и с трудом держалась на ногах, обыскали меня внизу банка, я успел передать бумаги жене и отправил ее домой за думским охранным свидетельством. Меня посадили в какой-то захват черный у подъезда банка автомобиль, Балиев встал на ступеньку и крича на весь Невский все тоже «вот он Царский Министр — вор, Граф Коковцов, которого он поймал с поличным в ту минуту, когда он вытащил из Банка миллион на выручку Царя», требовал, чтобы солдат держал меня за руки, чтобы я не выбросил награбленных денег. Невский был буквально запружен народом. Кое-кто из моих знакомых видел всю сцену и разнес повествование о ней по городу. Мы едва могли продвигаться поперек улицы и с трудом пробрались в помещение коменданта, где Балиев настоял, чтобы офицер выдал ему расписку в принятии арестованного им «государственного преступника» и только после получения расписки успокоился и ушел из городской думы.

Через час жена приехала туда, привезла охранную «грамоту» Государственной Думы, но комендант не решился меня освободить и все ждал распоряжения из Думы. Ждать мне пришлось почти два часа. Наконец, по телефону, получилось приказание, доставить меня в Думу, в помещение по разбору арестованных.

{408} Пешком из городской думы, через тот же Невский, офицер доставил меня в Европейскую Гостиницу, в сопровождении какого-то юнца, в солдатской шинели, и там, в главном вестибюле, среди массы всякого народа мне, пришлось обождать опять же не менее получаса, пока мой комендант нашел чей-то автомобиль и повез меня, под охраною того же вооруженного юнца в Таврический дворец, где мы трое снова блуждали бесконечное количество времени по разным этажам и помещениям, отыскивая то Военного Министра Гучкова, то его адъютанта, которых не оказалось налицо, то знаменитую комнату по разбору арестованных, которую нам никто не умел указать, пока, наконец, мы не набрели на целую толпу членов Думы, с которыми мне привелось провести почти 8 лет в совместной работе. Все только разводили руками и недоуменно спрашивали меня, что я тут делаю. Кое кто говорил даже мне «да бросьте Вы всю эту бессмыслицу и уходите домой, пока на Вас не набрел Керенский».

Что творилось это время в помещении Таврического Дворца, — этого не может воспроизвести самое пылкое воображение. Солдаты, матросы, студенты, студентки, множество всякого сброда, какие-то депутации, неизвестно кому представляющаяся, какие-то ораторы на столах и стульях, выкрикивающие что-то совершенно непонятное, арестованные в роде меня в сопровождении такого же конвоя, снующие «френчи», вестовые. и неведомые люди, передающие кому-то какие-то приказания, несмолкаемый гул голосов, грязь и сутолока, в которой бродят какие-то сконфуженные тени недавно еще горделивых членов Государственной Думы, собиравшихся разом показать всему миру волшебный переворот, совершившийся «без пролития крови» в судьбах России...

Когда меня вели через комнату, в которой я заседал 8 лет в составе бюджетной Комиссии, меня обступила толпа знакомых членов Думы из партии Октябристов и с недоумением спрашивала, каким образом я очутился под конвоем и куда меня ведут. Кое-кто из этой толпы взялся провести меня и моих конвоиров в комнату но разбору арестованных, и когда меня ввели в это чистилище, то картина представившаяся моим

глазам была еще более поучительна.

Большая комната, в которой я никогда раньше не бывал, была битком набита разным людом, едва умещавшимся на полу. Одни стояли, другие сидели, были и такие, которые спали крепким сном. Стражи в комнат не было никакой, но **{409}** среди скопившихся людей сновали какие-то субъекты, запрещавшие арестованным говорить друг с другом.

Мне не с кем было разговаривать, так как знакомых я никого не нашел, и только издали мне поклонился отставной кавалергардский офицер, маркиз Паулучи, да быстрою походкою прошел почти следом за мною Государственный Секретарь Крыжановский, который не заметил меня и стал в отдаленном углу комнаты, спиною ко мне. Общее внимание останавливал на себе босоногий странник, которого я не раз видел на улицах города с непокрытою головою и босого, в стужу и слякоть. Он сидел у стены и громко распевал какие-то непонятные псалмы, не обращая ни на кого ни малейшего внимания.

После получасового ожидания в комнату вошел заведывавший разбором арестованных член Государственной Думы из кадетской партии, Паладжанов, с которым у меня было раньше в заседаниях Думы, несколько вполне корректных встреч, и задал мне ряд вопросов относительно обстоятельств моего ареста, оказавшихся в полном соответствии с донесением моего конвоира-офицера и тут же заявил мне, что он считает мой арест плодом какого-то самоуправства, извиняется передо мною, просит меня продиктовать служащему комендантского управления Думы краткий протокол об обстоятельствах ареста, а сам распорядится составлением постановления о моем немедленном освобождении и поручит доставившему меня офицеру отвезти меня домой, о чем немедленно протелефонирует моей жене, чтобы успокоить ее.

Я должен засвидетельствовать, что отношение ко мне
Г. Параджанова было проникнуто величайшею деликатностью, и я храню об этом самое благодарное воспоминание. Я имел случай передать ему лично мою благодарность, когда почти три года спустя, мы встретились с ним в Париже, оба в одинаковом беженском положении, хотя он имел еще некоторое официальное положение, как член особого Комитета попечения об армянских беженцах, собиравшихся возвращаться в прежнюю Россию, после разгрома их турками.

Пока составляли протокол и редактировали постановление о моем освобождении, ко мне обратился тот же мой начальник-офицер, доставивший меня в Городскую Думу, а оттуда и в Государственную Думу, с просьбою помочь ему отдохнуть после трех дней, проведенных в невероятно трудных, по его словам, условиях, и испросить разрешение коменданта Думы поставить под его начальством небольшой караул в доме, **{410}** где я живу, чтобы предупредить новое насилие надо мною, заявляя, что он устроить все без малейших хлопот для меня, что люди у него совсем надежные и будут счастливы, если мне удастся собрать для них не более 25 рублей на всех в день, так как довольствие их обеспечено, а какие-нибудь приспособления для ночевки он устроит и сам при содействии домового управления.

Коменданта Думы я не знал и передал эту просьбу Пападжанову, который отнесся к ней вполне сочувственно, переговорил с комендантом. и сказал мне, что тот вполне готов оказать мне это небольшое внимание, хорошо понимая, что не только я, но и все жильцы будут благодарны, если их спокойствие будет охранено на те дни, пока удастся водворить в

городе полный порядок. Быстро окончили протокол, подписали постановление о моем освобождении, выдали мне на руки копию его, и мы вышли с моим конвоиром во двор Думы, где тот же конвоир забрал неизвестно чей автомобиль, дал шоферу слово, что через час отпустить его обратно, а я заявил, что заплачу 10 рублей за доставку меня на Моховую, тут же выдал солдату, сопровождавшему меня из Городской Думы, два рубля на извозчика, и через несколько минут я вернулся благополучно домой.

Тотчас же я распорядился по соглашению с управляющим домом отвести хорошую комнату в пустой квартире под нами. Все жильцы были в восторге от появления у нас воинского караула, быстро натащили ковров и подушек и одеял для 12-ти человек нижних чинов. В квартире отсутствовавшего Графа Толстого мне удалось найти две комнаты для офицера и для старшего унтер-офицера, и к 7-ми часам эта команда прибыла и водворилась у нас, проявляя ко мне совершенно приличное, хотя и сдержанное отношение, несмотря на то, что внешний вид солдат не внушал никакого доверия. Оказалось впоследствии, что все солдаты были собраны офицером из числа болтавшихся по городу людей, покинувших казармы. Вооружение ими было забрано самовольно в разных караульных домах, а откуда они добывали себе продовольствие, — этого никто не знал. Очевидно, брали его по так называемой «реквизиции», то есть попросту забирали силою в лавках.

В течение трех дней офицер и унтер-офицер завтракали и обедали у нас. Все вечера офицер проводил с нами, назвал себя поручиком Лейб-Гусарского полка Корни-де-Бадом, родом из Варшавы, попавшим в полк после больших **{411}** потерь его в начале войны, из армейского гусарского полка, а в Петрограде оказавшимся перед самою революциею, вследствие ран, от которых лечился в Николаевском госпитале.

Вел он себя у нас чрезвычайно вежливо и даже подобострастно, внимательно расспрашивая меня по самым разнообразным вопросам, на которые я давал ему самые осторожные ответы, и так продолжалось ровно три дня. На четвертый день Корни-де-Бад заявил мне, что его требуют вместе с его людьми в Городскую Думу, где после него начались крупные недоразумения. Он оставил у нас в дом «для связи» »двух солдат, а через два дня убрал и их, и мы перешли на мирное положение, получивши разрешение при малейшей надобности вызвать его и даже военный караул к себе, в случае какого-либо нападения на нас, или прибытия новой команды для обыска. К этой мере я, однако, не прибегал, и ничто внешне не нарушало нашей жизни до самого отъезда нашего на Кавказ 29-го октября 1917-го года.

Несколько дней после ухода караула от нас, ко мне принесли от того же Корни-де-Бада письмо, в котором он просил меня передать посланному им лицу 300 рублей, в которых он очень нуждается. Посланный ждал ответа внизу. Я спустился к нему и застал молодого человека, хорошо одетого, который, видимо, меня не знал, и сначала сказал мне, что он мне никакого письма не передавал, и только, когда я громко сказал в присутствии швейцара, внимательно прислушивавшегося к каждому моему слову, что тем лучше, значит посланный ушел без ответа и вероятно зайдет позже, тогда этот молодой человек попросил разрешения переговорить наедине. Мы отошли к окну, но швейцар продолжал прислушиваться. Он сказал мне, что Корни-де-Бад арестован, по очевидному недоразумению, находится в Комендантском управлении на Садовой и не может даже улучшить своего положения и должен.

довольствоваться из солдатского котла.

Я сказал ему, что дам ответ через Комендантское управление, и мне стоило не мало труда, чтобы отделаться от этого посланного. Тотчас после его ухода я позвонил в Комендантское управление, вызвал к аппарату самого Коменданта и спросил его, что я могу сделать по обращенному ко мне письму, которое я тут же прочитал ему. В ответ на мой вопрос Комендант, заявивши мне в совершенно любезной форме, что он состоит в моем полном распоряжении, но просит меня только ответить ему, **{412}** почему я знаю Корни-де-Бада и какие сведения могу я дать о нем. Мне пришлось тогда рассказать ему всю эпопею моего ареста, водворения этого господина в нашем доме, а Комендант, в свою очередь сказал мне, что это авантюрист чистейшей воды, по-видимому, беглый полковой писарь из евреев, Корней Батов, никогда не служивший в строю и уличенный уже в целом ряде краж из лавок под предлогом реквизиций. Он советовал мне быть особенно осторожным с ним, так как он открыто похваляется самыми близкими отношениями со мною, и предложил, если я желаю помочь ему, то послать мою помощь через него, Коменданта, и лучше всего в форме пожертвования на всех неимущих арестованных. Так я и сделал и больше никогда его не видел.

Год спустя, во время моего заключения в чрезвычайке, этот субъект явился к жене, сказал, что состоит правозащитником при революционном трибунале и предложил свою помощь к моему освобождению. В действительности, его помощь выразилась в том, что воспользовавшись минутным выходом жены из передней, он украл золотое украшение с моей палки, стоявшей в углу, заставил близкого мне человека — И. А. Турцевича — накормить его обедом в ресторане все под предлогом близких его отношений с большевиками и возможности устроить мое освобождение из заключения, но из этих его обещаний, конечно, ничего не вышло и больше об этом субъекте до меня не доходило никаких сведений.

Весна 1917-го года прошла в каком-то чаду, под неумолкаемый гул выстрелов на улицах и под гнетом ежедневных декретов Временного правительства, расшатывавших нашу государственную машину с какою-то злорадною поспешностью и незаметно, но верною рукою подготавливавших захват власти большевиками.

В мае месяце мы, как и всегда, перебрались к себе в деревню, и там первое время было как будто совсем тихо в спокойно, и ничто не напоминало бушевавших страстей в недалеком городе. Тот же милый сад при доме, та же мирная обстановка уединенной деревни, жившей своими мелкими интересами, те же заботы об уборке сна, тот же уход за огородом и ягодником, те же мои любимые занятия около скотного двора и конюшни. Не было только моей верховой лошади, с которою пришлось расстаться в связи с уходом царского конвоя и невозможностью держать лошадь в хороших условиях в городе.

Только всматриваясь глубже в отношения к нам окружающих, невольно бросалась в глаза какая-то небывалая **{413}** отчужденность крестьян от нас. Почти никто не приходил, как бывало постоянно прежде, с своими бесконечными просьбами и делами, деревенские дети перестали приносить к нам грибы и ягоды, никто не шел более на работу, несмотря на мои личные просьбы, хотя прямо никто не отказывал; все всегда обещали и — не исполняли данных обещаний. Приходилось обходиться собственными средствами и немало трудиться самому, отказываясь вовсе

от уборки плохих сенокосов. Участились также кражи и заметно в разговорах стало какое-то отчуждение крестьян от меня, чего не было никогда за все 35 лет моего существования среди них, чего не было даже и в пору первой революции 1905 года. Словом, жизнь стала совсем иная, чем была раньше, несмотря на то, что внешние ее формы казались мало переменившимися. Внешне все было тихо, но время от времени стали, появляться на дороге, проходившей мимо нас, какие-то совершенно незнакомые типы.

Стало также совсем невыносимо передвижение по железным дорогам. На коротком расстоянии в 5—6 часов между городом и имением приходилось испытывать положительные унижения. Вагоны первого и второго класса еще существовали номинально, но пользоваться ими не было никакой возможности Все отделения были битком набиты солдатами, не обращавшими никакого внимания на остальную публику. Песни и невероятные прибаутки, не смолкали во всю дорогу. Верхние места раскидывались, несмотря на дневную пору, и с них свешивались грязные портянки и босые ноги. Кондукторы не показывались среди пассажиров и обращаться к ним для наведения порядка было совершенно напрасно, — они не могли ничего поделать с разнузданною толпою и лучшее, на что им пришлось решиться, это просто скрываться в их служебный отделении, предоставив пассажиров на волю толпы.

Для меня и жены эти переезды были особенно тягостны, так как нам приходилось ездить сравнительно более часто, нежели мы делали это в прежнее время.

К концу лета, примерно с первых чисел августа, меня стали вызывать на процесс бывшего Военного Министра, Сухомлинова и на допросы в Чрезвычайную Следственную Комиссию под председательством московского адвоката Муравьева, для рассмотрения дел по обвинению различных представителей прежней правительственной власти в злоупотреблениях по службе.

Говорить много о процессе Сухомлинова не приходится.
Меня вызвало обвинение для разъяснения правильности заявления обвиняемого о том, что он совершенно неповинен в нашей неготовности к войне, так как все его усилия систематически разбивались о мое нежелание отпускать кредиты на усиление нашей обороны.

Мне было не трудно опровергнуть эту точку зрения представлением точных данных о том, как отпускались на самом деле кредиты на нужды обороны, какую готовность идти широко в этом направлении проявляла Государственная Дума и насколько были ограничены полномочия Министра Финансов перед Советом Министров, перед самим Государем, естественно ближе принимавшем к сердцу интересы обороны, нежели государственного казначейства, и в особенности перед законодательными учреждениями, перед которыми я никогда не выдвигал вопросов о розни между мною и Военным Министром. Я просил обратиться по этому поводу с вопросом к бывшему Помощнику Военного Министра, Генералу Поливанову, который, перед моим допросом, в свидетельской комнате заявил громко, при целом ряде свидетелей, преимущественно из высших военных чинов, что он сочтет своим долгом снять всякий упрек с Министра Финансов и скажет, что Военное ведомство получало денет больше, чем могло израсходовать, потому что само не было подготовлено к широким операциям по перевооружению армии.

Я не был в заседании при допросе Генерала Поливанова, но мне

рассказывали по горячим следам, что он был далеко не так категоричен в своем показании и даже выразил мысль не слишком для меня благоприятную, сказавши, что пока Столыпин был Председателем Совета Министров, он относился чрезвычайно горячо к нуждам обороны, но что с его смертью положение ухудшилось, так как его преемник, то есть я, отличался большим упорством в разрешении кредитов. Не знаю, насколько это сообщение, дошедшее до меня, было справедливо, но если в нем была хотя бы крупица правды, мне обидно за неискренность Поливанова, который лучше кого-либо знал истинную причину нашей неготовности к войне.

Во всяком случае, не подозревая того, что мог сказать Поливанов, я подробно развил перед судом механизм ассигнования кредитов Военному Ведомству и состояние средств в его распоряжении к моему уходу. Впоследствии, уже в беженстве, Председатель Суда Н. Н. Таганцев и прокурор Носович говорили мне в Париж, что мое показание произвело на **{415}** суд большое впечатление, так как никто не имел ни малейшего представления о том, что в руках Военного Министра оставалось в последние два года перед войной свыше 250 миллионов рублей, которых он не мог своевременно израсходовать по совершенной неготовности всей нашей организации к исполнению массовых заказов нового вооружения.

Любопытно было в особенности отношение самого Сухомлинова к моему показанию. Следуя усвоенному им порядку — отвечать перед судом по поводу каждого показания допрошенного свидетеля, он заявил, что должен возразить на мое показание. Но вместо всякого возражения, не опровергая ни одного моего заявления, он ограничился тем, что стал подробно рассказывать о том, как рассматривались дела в Совете Министров, как я авторитетно всегда возражал на все его требования, причем даже Столыпин боялся меня, так как я отличался большим даром слова, и все Министры боялись меня как огня. Сенаторы при этих словах только переглядывались, а когда обвинитель спросил его, что он может сказать по поводу моего показания о том, что крупные суммы оставались не израсходованными по неподготовленности самого ведомства к быстрому их расходованию и что, следовательно, при этом условии, сколько бы ни отпускать денег, дело все равно не подвинулось бы ни на шаг, — Сухомлинов ответил только, что он никогда, не слышал о таких остатках.

Тягостное впечатление оставил во мне самый вид суда. Зала, в которой для публики было приготовлено большое количество мест, была почти пуста, и только передние ряды стульев были заняты. Подсудимые были окружены охраною Преображенского полка самого неряшливого вида и притом с таким злобным выражением лиц по отношению к обвиняемым, что порою становилось жутко смотреть на эти озверелые лица, и не мне одному приходила в голову мысль как бы эта стража не покончила с подсудимыми вне заседания.

Покойный Великий Князь Сергей Михайлович, вызванный также свидетелем по делу, спускаясь со мною по лестнице после моего допроса, сказал мне, что он сомневается, чтобы Сухомлинов и его жена вышли живыми из залы заседания. Он, конечно, не предчувствовал, что через восемь месяцев его самого зверски убьют в Пермской губернии, а Сухомлинов будет освобожден после произнесенного над ним сурового приговора, успеет скрыться заграницу и там, в своих мемуарах наклевещет на **{416}** бедного Государя, виновного лишь в том, что Он верил ему и не обращал внимания на то, что Ему говорили о

непригодности Сухомлинова.

Закончу эту часть моих воспоминаний тем, что скажу, что несмотря на все, что я испытал тяжелого и несправедливого от Сухомлинова, несмотря на то, что я считаю его одним из главных виновников катастрофы, постигшей Россию, я не считаю его виновным в измени перед своею родиною.

Он виновен в том, что был преступно легкомыслен на своем посту, что смотрел на все глазами своей жены, окружал себя, в угоду ей, всякими проходимцами, давая им возможность знать то, о чем они не должны были иметь никакого понятия, и, в особенности быть может тем, что он имел самое вредное влияние на Государя, отвлекая Ею внимание всякими пустяками от серьезного дела. Справедливость по отношению к Государю-мученику заставляет опять и опять сказать, что он настолько любил свою родину, питал такой живой интерес к армии и флоту, что Военному Министру не было никакой надобности искать для себя опоры в тех приемах, которыми он думал укрепить свое положение, тогда как именно он больше, нежели кто-либо из окружающих, мог направить Государя на иное отношение к делу.

Единственное этому объяснение заключалось в том, что по своей природе Сухомлинов не был способен ни на что иное. Он сам был непростительно легкомыслен и сознательно или бессознательно вел Государя туда, где сам был силен, то есть на путь мелких бытовых частностей военного дела, затушевывая прибаутками и мелочами все, что было существенного.

Чрезвычайная следственная комиссия допрашивала меня в полном составе только один раз и предполагала продолжать допрос еще впоследствии, но это продолжение так и не состоялось. Мне задано было только два вопроса:

1) при каких обстоятельствах состоялось назначение А. А. Макарова Министром Внутренних Дел и кому принадлежала инициатива в этом выборе.

2) На каком основании и в силу каких законов происходили, за время моего председательствования в Совете Министров, роспуски Государственной Думы будто бы до окончания сроков полномочия ее членов.

Я ответил по первому вопросу, что инициатива принадлежала лично мне и, на предложение изложить подробности **{417}** воспроизвел все, что относилось к этому вопросу, начиная от беседы со мною Государя в Киевском дворце в день смерти Столыпина и отъезда Государя в Крым.

Во время моего показания Муравьев все время перелистывал какую-то тетрадь, иногда вставляя мелкие подробности, утраченные моею памятью, и, затем, по окончании моего показания заявил мне: «Ваши объяснения отличаются большою точностью по этому вопросу Комиссия не имеет более надобности в дальнейших разъяснениях».

По второму вопросу Муравьев только повторил заданный мне вопрос, а самый допрос производил знаменитый автор приказа №1 и вновь напеченный сенатор, недавний присяжный поверенный, Соколов. Он только что оправился от побоев, которые были нанесены ему на фронте, и носил на голове шелковую черную шапочку.

На поставленный мне вопрос, я ответил коротко, что за все время с сентября 1911 года и по январь 1914 года, пока я был Председателем

Совета Министров, Государственная Дума не была ни разу распущена досрочно, и этим исчерпывается мой ответ. Но Сенатор Соколов этим не удовольствовался и просил меня разъяснить: каким образом происходили роспуски Думы на Рождественские и летние ваканты. Я ответил, что каждый раз время начала и конца ваканта обусловливалось мною по соглашению с Председателями Думы и Государственного Совета, в зависимости от хода законодательных дел. В соответствии с этим заготовлялись проекты указов, которые и представлялись, смотря по тому, где находится Государь, то есть в Крыму или в Царском Селе накануне роспуска, или за несколько дней, дабы указ успел быть мною получен и своевременно объявлен.

По-видимому, ответ мой всем показался и простым и естественным, но Соколов и тут нашел нечто неясное и «едва ли законное», как он прибавил, а именно, Дума и Совет были распущены на Рождество 12-го декабря, а указ мною помечен подписанным 7-го числа. По его мнению, «тут что-то неладно, очевидно, что палаты распущены за пять дней до срока, который им объявлен». Мы обменивались несколько минут нашими взглядами на незакономерность такого моего действия и, видимо, остались каждый при своем мнении. Присутствовавший в заседании Сенатор Иванов, которого я знал по его службе в Государственном Контроле, поддержал мою точку зрения, заметивши, что Следственная Комиссия могла бы скорее **{418}** обвинить Председателя Совета Министров в незакономерности, если бы он пометил днем роспуска Думы самый указ о роспуске при нахождении Государя в отъезде и даже возбудить вопрос о подложности пометки.

Председатель положил конец нашему спору торжественным заявлением, что Чрезвычайная Следственная Комиссия войдет в свое время в оценку рассмотренного ею вопроса и постановить окончательное свое решение.

Затем мне было предложено дать мои объяснения по некоторым частным вопросам одному из следователей при Комиссии, Товарищу прокурора Московской судебной палаты Голембовскому (быть может я не точно воспроизвожу его фамилию), который находился тут же и пригласил меня немедленно к себе в кабинет. С ним я имел впоследствии еще два или три свидания, и все они были посвящены вопросам о моих спорах с Министром Внутренних Дел Маклаковым об ассигнованы денег на поддержку печати, и когда допрос был окончен, и следователь стал записывать мое показание, то он протянул мне синюю обложку и в ней предложил прочитать всеподданнейший доклад Штюрмера, как Председателя Совета Министров, от июля 1916-го года, прибавивши: «Вас это поинтересует».

Этот доклад содержал в себе прямую, неприкрашенную ложь. В нем говорилось, что в Государственной Думе образовался так называемый «прогрессивный блок», поставивший себе целью дискредитировать принцип монархии и личность Монарха перед общественным мнением, указывать обществу на опасность, которая грозит стране, если не будет спешно положен предел злоупотреблениям власти, и — проводить явно республиканские идеи. Из Государственной Думы этот блок перешел уже в стены Государственного Совета и успел завербовать большое количество членов не только среди выборных членов, но и среди членов по Высочайшему назначению. Его душою в Совете, и главным проводником превратных идей, сказано было в докладе, являюсь я, причем я руковожусь исключительно личным

самолюбием, так как я до сих пор не могу примириться с увольнением меня от должности Председателя Совета Министров и пользуюсь моим чрезвычайно влиятельным положением среди членов Совета, чтобы сеять смуту. Доклад заканчивается тем, что Штюрмер представляет этот печальный вопрос на личное решение Государя и **{419}** испрашивает Его указаний. Никакой резолюции на докладе положено не было и только сбоку на первой странице поставлен синим карандашом обычный знак: черта с двумя точками, как указание на то, что доклад был прочитан.

Штюрмер в это время находился уже в Петропавловской крепости. Я сказал только следователю, что все это прямая ложь, и я уверен, что Государь не придал ей никакого значения. Входить в подробные объяснения с посторонним человеком мне не хотелось, но лично мне было просто обидно, что Государю рассказывались небылицы и перед ним старались оклеветать человека не известно даже для чего.

Не мог же Штюрмер не знать, через ту же группу правых, к которой принадлежал и сам, что я не только не играл никакой роли в образовании прогрессивного блока, но и держал себя в стороне от всяких группировок и течений, никогда и ни в чем не проявляя моего оппозиционного настроения, которого и вовсе не было во мне. Не мог он также не знать, что лидер правых Дурново не раз открыто говорил, что сожалеет, что я не принадлежу к его группе, но не может не относиться с уважением к моей сдержанности, противополагая ее неукротимому отношению к событиям Гр. Витте, не скрывавшего своей озлобленности на то, что он не у власти. Таким поступком Штюрмер не ограничивал, однако, своего отношения ко мне.

Из опубликованной советской властью в 1926 году переписки между Государем и Императрицей Александрой Феодоровной за 1916 год, с несомненностью видно, что о таком же моем участии и о моей руководящей роли в составе прогрессивного блока в Государственном Совете, Штюрмер рассказывал, в тех же выражениях Императрице, прибавляя к своей лжи и сообщения о какой-то моей интриге против отдельных Министров и в частности против Князя Шаховского, которого я тогда почти не знал, не говоря о том, что я не имел никакого доступа, да и не искал его — ни к правительству, ни в такие круги, от влияния которых зависла судьба Министров. Его наветами и прямою клеветою только и можно объяснить ту обидную для меня характеристику, которая отразилась на Ее письмах боле двух лет спустя после моего увольнения.

Удивительнее всего было, однако, то, что одновременно с клеветою на меня тот же Штюрмер, без всякой нужды, делал мне какие-то авансы, о которых была речь в своем месте, и так же беззастенчиво лгал, но только в другом направлении и притом без всякой надобности.

{420}

ГЛАВА II.

Неудавшаяся попытка выехать заграницу. Отъезд на Кавказ. Жизнь в Кисловодске. — Письмо Н. Н. Покровского об избрании меня Председателем Союза защиты русских интересов в Германии. — Многочисленные попытки обеспечить себе выезд с Кавказа, — Отъезд из Кисловодска и приключения в пути. — Прибытие в Петроград. Обыск и арест. — Тюрьма на Гороховой, № 2.

Пока описанные события шли своим ходом, и назревали постепенно грозные явления начала ноября, все, что окружало меня, говорило за то, что оставаться в Петербурге становилось просто опасным. Вопрос продовольствия становился также все более и более грозным. Многие стали поговаривать о необходимости выезда куда-нибудь, где жизнь казалась спокойнее и обеспеченнее, хотя самому мне просто не хотелось выезжать куда-либо, да и куда? Кое-кто бросил мысль, что у меня заграницею дочь, и мне бы следовало попытаться выехать к ней. Вопрос матерьяльный, сыгравший впоследствии такую решающую роль, не имел тогда еще острого значения, т. к. у меня были еще сбережения, и я мог рассчитывать на них и на получение разрешения на перевод небольшой суммы денег заграницу.

Жене эта мысль улыбалась, и я стал обдумывать ее еще с. половины сентября. Подбивал меня на это решение и В. А. Маклаков, получивший перед тем назначение послом в Париж и упомянувший как-то в разговоре с новым Министром Иностранных Дел Терещенко, что я мог бы быть ему очень полезен в Париже.

Терещенко позвонил ко мне по телефону и предложил. располагать им, если только я хочу. Я побывал даже у него и получил без всякой моей просьбы заграничный, так **{421}** называемый дипломатический, паспорт и заявление, что Министр Финансов Бернацкий переведет мне, все, что я его попрошу. Словом, все шло так гладко, что оставалось только, что называется, плыть по течению и вериться судьбе, которая готовила такое простое решение казавшегося сложным вопроса.

Французское посольство сказало, что даст немедленную визу на выезд во Францию, а английский военный агент, распоряжавшийся морскими перевозками с континента на запад, сейчас же, по просьбе своего французского коллеги, дал разрешение на предоставление мне двух мест на одном из пароходов из Бергена в Нью-Кастль. Оставалось только сделать последние шаги и назначить день отъезда, не распространяясь о нашем отъезде, чтобы не вызывать лишних разговоров.

Не знаю почему, но, несмотря на то, что я делал все, что было необходимо для отъезда, у меня не было уверенности в том, что мы уедем. Какое-то безотчетное предчувствие говорило мне, что наш отъезд не состоится. Дома никаких приготовлений мы не делали, все оставалось на своем месте, и даже моим сестрам я не говорил ни слова.

Около половины октября, как-то утром открываю газету и читаю, что поезд, вышедший накануне вечером из Петрограда в Финляндию с большим количеством пассажиров, в числе коих находились, между прочим, доктор Бадмаев, г-жа Вырубова и другие, снабженные заграничными паспортами, был задержан на одной из станций перед

Гельсингфорсом русскими матросами, и указанные мною пассажиры и еще кто-то высажены из поезда и отвезены матросами в Свеаборг и посажены в тюрьму. На меня это известие произвело решающее впечатление. Я обратился к тому же Терещенке, чтобы узнать, что именно произошло, и узнал от него, о чем не было никаких сведений в газетах, — что в Финляндии неблагополучно, что наши солдаты и матросы захватывают местами власть, распоряжаются по своему, отстраняя местную власть, обыскивают поезда и не подчиняются распоряжениям нашего военного начальства.

Сообщение это сопровождалось, разумеется, заверением, что порядок будет восстановлен на этих же днях, но уверенности в этом я не подметил в разговоре со мною, и на вопрос, не рискую ли и я с женою такою неожиданностью, я получил только возражение, что едва ли я представляю тот же интерес как мадам Вырубова и Бадмаев, связь которых с Распутиным есть общеизвестный факт.

{422} Мы решили не рисковать и отложить поездку заграницу, по крайней мере, на некоторое время, пока выяснится и обстановка в Финляндии и возможность безопасного проезда. Тем временем приехал с Кавказа брат жены и стал нас всячески уговаривать поехать на Кавказ, в Кисловодск, где жизнь течет так мирно и даже приятно, где продовольствия вдоволь, и где «крепкое Терское и Кубанское казачество не допустят никакого брожения и проявляют удивительную преданность порядку и нерасположение даже к бредням Временного Правительства».

Этот разговор в связи с решением выехать из Петрограда повлиял на нас. Нам удалось получить отделение в спальном вагоне, и 29 октября старого стиля, т. е. всего пять дней спустя после того, что власть перешла в руки большевиков, мы выехали на Кавказ.

Перед отъездом мы поехали проститься с внуками на Конногвардейский бульвар и совершили эту поездку под выстрелами на Невском и в особенности на углу Морской; оказалось, что в это время брали приступом гостиницу Астория как центр скопления «буржуев».

Москву мы проехали также под раскаты артиллерийских выстрелов, — шли бои в разных концах города. Курский вокзал был пуст, из вагонов никто не выходил и публику не пускали на вокзал. Мы ждали, что к нам придет проститься близкая нам старушка М. К., но ее на вокзале не оказалось. Послали мы было телеграмму в Тулу М. Н. Утиной и ее сыну, прося их выехать повидаться с нами на вокзал, но их также не оказалось. Очевидно, телеграф не действовал.

Ночью под Орлом наш вагон чуть было не разбили. Встречный поезд потерпел какое-то небольшое крушение, нас остановили в пути; было совсем темно, и никто не знал, что именно произошло, как и то, что в потерпевшем поезде были раненые. В двери нашего вагона раздавались неистовые стуки, приправленные бранью. Кто-то требовал, чтоб вагон был открыт, иначе его разнесут в щепки. Пришлось подчиниться этому требованию, т. к. стекла тормозной площадки летели уже вдребезги — к нам ворвалось несколько человек, требовавших, чтобы мы взяли несколько человек раненых и доставили их в Орел. Это требование было, разумеется, исполнено, трое потерпевших было нами принято, поезд тронулся; раненые оказались легкими, мы сдали их в Орле на станции и **{423}** продолжали путь вполне благополучно до Ростова. Тут нас ждало первое испытание.

Когда поезд подошел к станции, то прежде всею нашим глазам представилась невероятная толпа, сквозь которую не было никакой

возможности пробраться, а выйти было необходимо, т. к. нам было заявлено, что спальный вагон дальше не пойдет, т. к. с 1-го ноября (а это было как раз 1-ое число) движение спальных вагонов отменено, и служащее железной дороги не допускают пропуска вагона по Владикавказской дороге. Было прибавлено, что «господа буржуи могут проехаться и в простом вагоне».

На меня было возложено попытаться уладить неожиданный конфликт. Будучи и лично заинтересован в его ликвидации, я пошел разыскивать начальника дороги, которого знал по прежним моим поездкам по этой дороге. Он немедленно приехал на станцию, проявил полную готовность помочь нам, но сказал, что не имеет более власти на дороге, т. к. комитет служащих явно настроен враждебно по отношению к нему. Начались наши общие мытарства по станции. Около вагона стояла толпа и требовала выгрузки наших вещей; рядом на соседнем пути стоял готовый паровоз под парами, чтобы вести поезд.

Сначала объяснения носили явно непримиримый характер. Какие-то делегаты заявили мне, что они не допускают движения по своей дороге спальных вагонов, уменьшающих состав поезда в ущерб интересам народа, который должен ютиться в набитых вагонах, тогда как «господа изволят почивать в роскошных отделениях». Но наши аргументы о том, что публика не виновата, что ей дали спальные места за очень большую плату и сама ничего не отнимает ни от кого, тем более, что ей не было заявлено об этом при отправке и, во всяком случае, такое распоряжение может иметь значение только с того момента, как в месте отправления будет уже известно о состоявшемся изменении правила, никому еще неизвестного, видимо производили, некоторое впечатление.

Кто-то из нас спросил даже делегатов, кто же вернет нам деньги, заплаченные за проезд до Кисловодска, и прибавил, что, вероятно, гг. делегаты признали бы несправедливым, если бы они наняли извозчика и заплатили ему деньги вперед за конец, а он на половине дороги выбросил бы их из экипажа и предложил сесть на дроги с капустой, которые дотащили бы их до места.

Этот простой аргумент, видимо, подействовал. Делегаты **{424}** ничего на него не ответили, и старший из них, все время направлявший прения, заметил — «пожалуй, что это и так, но он не знает согласятся ли товарищи машинисты с таким рассуждением». Мы все подошли к паровозу. Машинист, слышавший нашу беседу, сказал, что «народ, взявший в свои руки управление дорогою, должен быть прежде всего справедлив, и если заключен договор на переезд в спальном вагоне до Кисловодска, и деньги заплачены, то нужно выполнить договор и уже потом ведаться с теми, кто потворствует буржуям», но этого спора он один решить не может, и нужно спросить делегатов от депо, которые сейчас на собрании в котельной мастерской; мы попросили его посоветоваться с гг. делегатами.

Он согласился, сошел с паровоза и через несколько минут вернулся в сопровождении 8 или даже 10-ти человек, с которыми, видимо, успел по дороге переговорить, т. к. один из вновь прибывших от имени делегации заявил, что они находят справедливым требование пассажиров, уплативших деньги за проезд, и готовы вести паровоз со спальным вагоном в поезде, но сейчас отправляют телеграмму с протестом в Министерство, т. к. считают, что оно вообще не имеет права продавать места на такое расстояние и должно спрашивать дороги о их согласии.

Наше дело было выиграно, мы не вступали более в спор насчет удивительной теории, только что нами выслушанной, делегация подала каждому из нас руку, не обративши, однако, никакого внимания на Начальника дороги, все время молчаливо присутствовавшего при наших пререканиях; кое-кто из служащих предложил нам даже помочь снова нагрузить в вагон вынутые уже из него вещи, и мы благополучно отправились в путь. Все благодарили меня за участие в переговорах, и мы без всякого приключения доехали до Кисловодска, выйдя, однако, из вагона за пол версты до станции, т. к. на самой станции сошел с рельс какой-то вагон и загородил нам путь.

После Петербурга и Москвы, сих ружейною и даже пушечною пальбою, Кисловодск произвел на нас просто чарующее впечатление. Полная тишина, масса народа на улицах, и почти все петербургские знакомые, нарядные костюмы, речь самая непринужденная и на самые обыденные темы, никакого помина о большевиках и — самоуверенное заявление, что вое это «петроградские переживания», которым чуть ли не завтра наступить конец, словом, полная идиллия и непринужденность в условиях жизни; — письма и газеты приходили в то время очень **{425}** плохо. Меня забросали расспросами о петербургской и московской жизни, наперерыв звали в гости, чтобы предъявить диковинного свидетеля совершенно неизвестных условий столичной жизни, но моим рассказам, а, тем более моим мрачным выводам и заключениям о ходе событий никто не верил, и у всех сложилось убеждение в том, что мой пессимизм совершенно неоснователен; за мною упрочилась кличка «Фомы» и сложился даже новый глагол про мои рассказы: «Владимир Николаевич вечно фомит».

Мы скоро перебрались, благодаря Э. Л. Нобелю из крайне неудобного помещения, отведенного нам в Гранд Отеле, в прекрасные комнаты в гостинице Колосова, и жизнь потекла первое время совершенно спокойно и даже приятно, благодаря, в особенности, гостеприимству наших друзей Кабат и Плеске, среди которых мы проводили все наше время.

Два месяца — до конца декабря — пролетели незаметно, и мы стали было думать уже о возвращении в Петроград, т. к. уезжая, я условился с Международным Банком, пригласившим мня в свои Председатели Совета после моего неудачного 3-х месячного пребывания в Русском для внешней торговли Банке в положении члена совета) вернуться к 1-му января, чтобы с начала, года вступить в текущую работу.

Я обеспечил себе даже места на поезд 2-го января в спокойно проводил время между нашими друзьями, массою знакомых и прогулками почти все дни в одном и том же направлении — к храму воздуха и на горы за ним.

Омрачало наше пребывание только отсутствие вестей от близких и друзей с севера и прекратившееся уже к тому времени получение столичных газет и писем. Мы жили вполне отрезанные от всего мира и довольствовались одними ростовскими газетами, крайне скудно освещавшими нам события вне нашего замкнутого мирка. Тревожило нас также и вскоре обнаружившееся отсутствие денег по аккредитивам и по текущим счетам. Государственный Банк перестал подкреплять местные кассы денежными знаками, на посланные кисловодскими Банками и частными лицами телеграммы с оплаченными ответами, — не было никаких ответов, и сразу же возник вопрос о необходимости изыскать

какой-либо способ завести свои денежные знаки, в пределах сумм открытых столичными Банками кредитов.

Меня пригласили на совещание в городскую управу, и городской голова Аванесиян, заявивши о том, что его **{426}** политические убеждения, как давнего социалиста революционера, весьма далеки от моих политических взглядов, но он уверен, что я не откажу предоставить мой опыт на пользу города и его населения, застигнутого перерывом в регулярных сношениях с центром совершенно врасплох и лишенного всякой возможности удовлетворять самые насущные свои потребности.

Это и было начало печатания местных денег, которое впервые появилось в Кисловодске, а затем перекинулось впоследствии чуть ли не на всю Россию.

В самом механизме печатания я уже не участвовал частью потому, что надеялся уехать в начале января обратно в Петроград, главным же образом, потому, что, резюмируя прения в организационном заседании, тот же городской голова, заявил, что к делу выпуска новых денежных знаков «разумеется будут привлечены лица, облеченные общественным доверием». Я носил звание почетного гражданина города Кисловодска, но меня городской голова не просил участвовать в исполнительной комиссии, и я никакого другого отношения к этой операции более не имел и знал об ней только по рассказам Э. Л. Нобеля, который фактически и стал во главе этого предприятия, — по крайней мере, до выезда моего из Кисловодска в половине мая.

В конце декабря, перед самыми Рождественскими праздниками, группа инженеров путей сообщения, собравшихся в Кисловодске, стала налаживать, при помощи инженера Ландсберга — Начальника движения Московско-Казанской дороги особый поезд в Москву, вне обычного железнодорожного сообщения, которое к тому времени если и не совсем еще прекратилось, то отличалось уже чрезвычайною нерегулярностью.

Мои попытки войти в состав отъезжавших не имели успеха, т. к. все места были заранее разобраны, да и мы не очень настаивали, будучи вполне уверены в том, что поезд 2-го января пойдет. Все уверяли нас в этом, а агент Общества спальных вагонов показал мне даже телеграмму Петроградского правления, утверждавшую расписание всех поездов со спальными вагонами на январь и февраль.

Инженеры уехали, подошло 2-ое января, но о поездах не было ничего слышно, и стали доходить до нас вое более и более тревожные сведения о перерыве всякого сообщения далее станции Минеральные Воды. Агенты Владикавказской дороги, в особенности из числа лично знавших меня, рассказывали открыто о том, что скоро совсем прекратится всякое сообщение, и **{427}** останутся одни местные поезда. Начальство дороги перестало появляться в Кисловодске, бывший Председатель Правления дороги В. Н. Печковский, проживавший в вагоне на пустых запасных путях около вокзала, перестал получать из Ростова из Правления, какие бы то ни было телеграммы, и в один прекрасный день, в половине января, к нему пришел преданный ему человек, кажется помощник начальника станции, и под величайшим секретом передал ему, что низшие служащие постановили на митинге ночью выселить его из вагона и забрать вагон в свое распоряжение. Он поспешил перебраться в помещение вокзала, в так называемые Директорские комнаты и в тот же вечер его вагон неизвестно куда исчез.

День ото дня изолированность города от всего внешнего мира становилась все более и более полною.

Зато местные вести становились все более и более жуткими. В Пятигорске появились какие-то воинские части, не подчинявшиеся местным воинским властям. Во Владикавказе состоялась в каком-то суммарном порядке смена Наказного атамана, и появился выборный Атаман в лице члена Государственной Думы Караулова, который произнес крайне либеральную речь, в духе левой кадетской программы, приехал в Кисловодск под усиленным военным конвоем, но на обратном пути, не доезжая до Владикавказа, был убит какою-то ворвавшеюся в вагон бандою.

В Кисловодске появился некий господин Фигатнер, тот самый, который одно время состоял потом в составе советского посольства в Париже, и прочел ряд лекций в курзале на эсеровскую программу с очевидным сочувствием большевистскому движению.

Словом, становилось все тревожнее и тревожнее, но нельзя сказать, чтобы общество особенно волновалось. Жили сравнительно благодушно и спокойно и говорили только, что нужно обождать когда придут домой терские полки в порядке демобилизации, и тогда они наведут порядок у себя в войске и вытравят все социалистические бредни. Доходили и другие бодрящие сведения.

Время от времени из Ростова и Новочеркасска приезжали разные лица, а потом же стали сообщать и газеты, что Дон встрепенулся, собирается с силами, чтобы дать отпор большевистской грозе, идущей с севера. Каледин взял власть в руки. К нему пришел Корнилов и к ним обоим присоединился Генерал Алексеев.

Нарождалась Добровольческая армия, и, по слухам, все шло к тому, чтобы спасти с юга нашу **{428}** родину от большевистского засилья. На месте стали все более и более открыто говорить о том, что обе казачьи области — Терская и Кубанская решили идти навстречу этому спасительному движение, но все эти вести были необычайно отрывочны, бессвязны и часто противоречивы. Никто ничего не знал толком, и все строили самые невероятные комбинации, доходившие до того, что немцы двигаются на выручку Кисловодска, и проживавшая здесь Великая Княгиня Мария Павловна серьезно говорила мне, что она имеет точные сведения о том, что на днях под германскою охраною прибудет за нею поезд, который отвезет ее в Петроград, где все готово к реставрации и передаче ей всего, что от нее отобрано.

А рядом с этим жизнь готовила все новые и новые испытания. Как громом поразила, всех дошедшая до нас с большим опозданием весть о том, что Государь и вся его семья, отвезены в Тобольск. Меня стали расспрашивать, как я смотрю на это известие, и когда я сказал, что вижу в этом самый роковой исход, меня обозвали сумасшедшим.

Не менее поразила весть о кончине от самоубийства Генерала Каледина, а когда очевидцы передали все драматические подробности этой кончены, для многих стало очевидно, что Дону не спасти России.

В один прекрасный день мы узнали рано утром, что под самым Кисловодском, в казачьей станице произошло нечто совершенно непонятное: из Пятигорска на поезде прибыли две роты солдат с пулеметами и обезоружили всю станицу, причем казаки сами указывали, где у них спрятано оружие.

Станица насчитывала до 6.000 населения, а вся разоружившая ее воинская часть не превышала 150 человек. Сейчас, спустя столько лет после всех этих событий, их последовательный ход как-то спутался, и отдельные эпизоды, вовремя не записанные, перемешались один с

другим, но общий их ход остался ясным на всю жизнь. Тревога, из-за которой мы бежали с севера, охватила нас своими клещами, и на юге становилось даже хуже, чем в Петрограде, потому что неизвестность окружающего и невозможность осветить события каким бы то ни было способом, делалась просто невыносимой, и душою владело одно желание — ухать из этого каменного мешка каким бы то ни было путем, вырваться из закоулка, в который загнала нас судьба. Это настроение становилось просто каким-то непреодолимым влечением. Я ни о чем другом не мог думать и говорить с близкими, и все силы и все воображение были **{429}** направлены только в эту сторону. К тому же присоединилось и одно совершенно неожиданное обстоятельство личного свойства.

В самом начале января проживавший у Княгини Дундуковой-Корсаковой член Государственного Совета Крашенников был арестован после ночного обыска, сопровождавшегося величайшим глумлением и оскорблением солдат и каких-то штатских, не предъявивших даже никакого документа о своей личности, его отвезли в Пятигорск. Почти одновременно с тем живший у Колосова вместе со мною бывший Наказной Атаман Кубанского Войска М. П. Бабич был также арестован и отвезен туда же, но через несколько дней освобожден по требованию каких-то горцев, пригрозивших, что они разнесут Пятигорск и Владикавказ, если Генерал Бабич не будет освобожден. Вскоре после нашего отъезда на север Генерал Бабич был снова арестован, отвезен в Пятигорск и там расстрелян, Горцы его не спасли. В это самой время умер после короткой болезни мой друг и товарищ по Лицею В. И. Сафонов.

Накануне его похорон мы сидели вечером, как всегда, на даче у его сестры А. И. Кабат и собирались уже идти к себе в гостиницу, как неожиданно, в сравнительно поздний час, пришел туда живший на той же улице Н. Н. Флиге и, вызвавши меня из кабинета, сказал мне, что слышал только что в одном доме (он не сказал мне в каком именно, но прибавил, что от человека, состоящего в самых близких отношениях с управлением в Пятигорске, и Владикавказе), что в эту ночь я буду арестован. Скрыть сделанное сообщение не было никакой возможности, тем более, что близкая нам дама А. И. К. слышала конец разговора и прибавила, что и она слышала от своего племянника по мужу о том же еще три дня тому назад, но не передала мне, т. к. не придавала этому значения, в виду самых разнородных слухов, циркулирующих по городу.

Все наши дамы, конечно, всполошились, начались разговоры о том — что делать, и все в один голос сказали, что мне нужно уехать с ночным же поездом в Ессентуки, где казачья станица до сих пор не сдала еще никому управления городом и не выдаст гостя. После разоружения Кисловодской станицы этот аргумент не имел в моих глазах никакой цены, а главное, мне казалось, что убегая из Кисловодска и не зная даже где могу я преклонить голову в неизвестном месте ночью, я не только не избавлю себя от опасности, но даже увеличиваю ее, т. к. до Ессентуков всего 20 верст и на таком расстоянии **{430}** некуда мне скрыться. Я решил не двигаться и вернуться в гостиницу Колосова и там — ждать своей участи.

Как прошла ночь, что было опять пережито, — об этом не стоит говорить. Мы с женою не смыкали глаз, все поджидая, когда явятся арестовать меня, и при малейшем шорохе я вставал с кровати, подходил к окну, но улица, была, пуста и тиха и никакого скопления у подъезда не

было.

Рано утром мы встали, я прошелся до вокзала, встретил на Головинском проспекте близкого городскому голове члена управы, поговорил с ним о совершенно посторонних вещах, зашел домой за женой, и мы пошли, в церковь на похороны моего друга, известното музыкального дирижера В. И. Сафонова.

Возвращаясь с погребения вместе с Нобелем, я рассказал ему о том, что мне сообщено, и просил его в осторожной форме узнать у городского головы, что справедливо в этом сообщении.

В этот же день Нобель зашел ко мне и сказал, что Аванесьян не слышал о предстоящем моем аресте, хотя по своим отношениям к правителям северного Кавказа должен был бы знать об этом, но думает, что я поступлю благоразумно, если покину Кисловодск и вообще группу Вод, т. к. скопление здесь бывших высокопоставленных лиц обращает на них слишком много внимания и вредно для города. В тот же день я просил Нобеля передать городскому голове, что я только и думаю, что об отъезде и заявляю ему, что выеду при первой возможности найти какое-либо место на первом отходящем поезде. После этого никто ко мне не обращался, никто мне ничем не угрожал, и мы продолжали жить тою же нервною жизнью, запертые в мешке и без всякой возможности выбраться из него.

Безвыходность нашего положения усугублялась еще тем, что кое-кто из обитателей Кисловодска решался время от времени добираться местными поездами до узловой станции Минеральные Воды с целью попасть на какой-либо проходящий поезд в сторону Ростова. Но многие, прождавши, тщетно по 2 или по 3 дня на морозе на разных станциях, возвращались в тот же Кисловодск, рассказывая о бесчинстве солдат, заполнявших все проходящие товарные поезда, об ограблении их в пути, о стрельбе в беззащитных. людей и т. д. Были смельчаки, добравшиеся кто до Армавира, кто до ст. Кавказской и опять возвращавшиеся вспять и рассказывавшие о настоящих боях между неизвестно какими именно воинскими частями, и **{431}** такие рассказы только убеждали нас в том, что пускаться в рискованный путь и бесполезно и не безопасно. Время тянулось бесконечно, и неизвестность только усугубляла нервное состояние.

В начал марта до меня дошло, после долгих месяцев отсутствия всякого сообщения, письмо от Н. Н. Покровского с извещением, что согласно Брест-Литовского договора, в Петрограде образовался Союз защиты русских интересов в Германии, в соответствии с таким же Союзом, образованным немцами еще в начале войны для защиты их интересов в России, и что Председателем Союза и его Комитета единогласно избран я, а он вступил в него в звании Товарища Председателя и просил меня при первой же возможности приехать, осторожно намекая на то, что это избрание заявлено куда следует, и что к моему приезду нет никаких препятствий.

Как раз в это время до Кисловодска дошло распоряжение власти, запрещавшее въезд в Москву и Петроград без разрешения советов тех мест, откуда произошел выезд. Мне предстояло поэтому хлопотать о получении такого разрешения в Кисловодском совдепе, к чему я и приступил. Нужно было начать с так называемого выправления нового вида на жительство, без упоминания в нем моего прежнего звания Министра, члена Государственного Совета, Статс-Секретаря и т. д.

Городская управа дала мне удостоверение, что я состою почетным гражданином города Кисловодска, и с этим документом я отправился в комиссариат. Долго вертели там мою бумажку и кончили тем, что заявили, что теперь нет больше никаких почетных граждан, т. к. все «отличия» отпали, и выдали мне документ на право жительства как «гражданину г. Кисловодска, имеющему при себе жену Анну», и с этим я явился в Совдеп, заседавший на несуществующей теперь более Тополевой Аллее. Долго объяснял я, что мне нужно ехать в Петроград по «общественной» надобности, что я избран с ведома народных комиссаров Председателем Союза защиты прав русских граждан в Германии, но видно было, что все мои объяснения мало понятны товарищу Соколову, товарищу председателя Совдепа, и в результат моего разъяснения я услышал: «а нам-то какое дело, и поезжайте, если Вам нужно, это нас совершенно не касается». Мне пришлось тогда сослаться на декрет, воспрещающий въезд в столицу без разрешения совдепа места выезда, но я услышал в ответ: «откуда Вы взяли? Такого дурацкого декрета нет и быть не может».

{432} Я вынул из кармана приложенный Покровским декрет и выданный на основании его документ на право выезда, при условии получения разрешения с места выезда, и сердце товарища Соколова смягчилось. Он попросил меня в сравнительно вежливой форме «одолжить ему декрет, который до нас еще не дошел, а может быть и никогда не дойдет» и обещал дать разрешительный документ завтра. Я предложил ему снять копию с декрета и выданного мне разрешения на выезд, он позвал какую-то барышню с неимоверным количеством колец на руках и приказал ей составить для меня документ, а сам ушел, оказавши, что вернется сейчас же. Барышня предложила мне составить документ, тут же его перестукала, и вместе с нею мы стали ждать товарища председателя, который явился только через час, подписал бумажку не читая ее, приложил к ней почему-то пять печатей, с меня взыскали 10 рублей, а я списал копию декрета и вручил товарищу Соколову. После этого я усугубил мои хлопоты по выезду, но до половины апреля они не привели ни к чему.

Тем временем положение все ухудшалось и ухудшалось. Из Владикавказа участились наезды властей, и каждый приезд сопровождался все более и более мрачными слухами и даже распоряжениями. Вокзал железной дороги стал походить на вооруженный пункт, в котором скоплялись вагоны, а иногда и целые поезда, наполненные солдатами, и участились обыски, наклеивались распоряжения о предъявлении оружия и о регистрации военных служащих и в особенности офицеров, и в один прекрасный день по всему городу расклеено было распоряжение Областного совдепа (Владикавказского) о том, что на жителей г. Кисловодска наложена «контрибуция» в пять миллионов рублей, которая подлежит разверстке между «гражданами» распоряжением особого Комитета, образованного самими гражданами которому и принадлежит дискреционная власть в распределении контрибуции по установленным им признакам, причем Комитет и его члены ответственны перед Областным Совдепом за взыскание всей суммы.

На следующий день прибыли члены Совдепа и вызвали «граждан» по особому списку в Гранд Отель, где и заявили, что «рассуждений не примут, дается двухнедельный срок, а при неисполнении распоряжения приглашенные лично ознакомятся с условиями жизни во Владикав-

казской тюрьме, помещения которой вполне достаточны для помещения всех, нежелающих идти навстречу распоряжениям народной власти».
{433} Я не попал в число приглашенных в Гранд Отель. Началась тягостная эпопея разверстки, оценки, степени состоятельности «граждан», споры между собою и самые недвусмысленные попытки уличить друг друга в неправильности показаний. Не хочется вспоминать этих черных дней. Лично я не испытал на себе всей прелести разверстки контрибуции, т. к. после опроса о том, что я имею в наличности, я предъявил неоплаченный мне Отделением Азовского Банка кредитив на 10.000 рублей, из которого не нашли возможным взять что-либо, но объявили мне, что с меня взыскивается в уплату контрибуции 3.000 рублей, которые я могу уплатить поручением Государственному Банку взять из моего вклада % % бумаг на хранении.

Я беспрекословно подчинился этому требованию, хотя до нас в то время еще не дошел декрет об аннулировании всех государственных займов и ценностей, выпущенных акционерными предприятиями, да и возможность такого аннулирования никому не приходила в голову. В уплате такой контрибуции мне выдано было удостоверение с прибавкою, что за мной не числится никаких сборов на общественные и народные нужды.

Приблизительно в то время как весь Кисловодск переживал контрибуционную эпопею я проходил как-то утром через вокзал, отличавшийся уже давно полным отсутствием поездов и даже отдельных вагонов и был до крайности поражен, увидев на путях потрепанного вида вагон международного Общества спальных вагонов. Подойдя к нему, я нашел, что он заперт, проводника нет, и никто на вокзале ничего не знает о его появлении. В конторе начальника станции, где со мною всегда были, по старой памяти, вежливы, мне сказали, что «приехала шведская миссия за г. Нобелем, чтобы везти его прямо в Швецию, по требованию тамошнего правительства».

Я побежал в Гранд Отель к Э. Л. Нобелю, но получил от него в ответ, что он решительно ничего не знает и ни о каком вагоне ничего не слышал.

На другой день он пришел ко мне на дачу Кабат и сказал, что приехала не шведская, а швейцарская миссия, с каким-то г. Гутом во главе, и она прибыла, за семьею его брата Густава, а вовсе не за ним, и что он и не собирается никуда уезжать.

Я узнал, что г. Гут остановился в гостинице, «Россия», разыскал его и узнал тут же от него, что никакой шведской **{434}** или швейцарской миссии нет, а существует он, г-н Гут, с женою, пробирающиеся из Владикавказа в Петроград. Они имеют поручение от своих друзей вывезти из Кисловодска не столько самого Э. Л. Нобеля, сколько жену его брата и некую М-м Г. жену компаньона Гута по содержанию маленькой комиссионерской конторы на Невском проспекте.

Из первых наших разговоров выяснилась любопытная сторона современных нравов нового порядка вещей. М-м Гут проводила лето в Анапе и после окончания лечебного сезона соблазнилась рассказами какого-то терского генерала о прекрасных условиях жизни во Владикавказе, под охраною терских казаков. Поехала туда на месяц, но не могла выехать и осталась на всю зиму. Такой же участи подверглась в Кисловодске, но, по-видимому, по другим причинам, жена, компаньона Гута мадам Г., и все попытки ее отца склонить ее вернуться в Петроград для переезда, обеспеченного ей с детьми оттуда заграницу, не приводили

ни к какому результату. Тогда отец мадам Г., вместе с некоторыми близкими, собрали 20.000 рублей, воспользовались ловкостью Гута и помощью ее, получили в их пользование вагон Международного Общества Спальных вагонов, потрепанный с вида, но вполне исправный для передвижения, и снарядили г. Гута в далекий путь.

Любопытная фигура этот г. Гут. Швейцарский подданный, женатый на француженке, плохо говорящий решительно на всех языках, чрезвычайно ловкий и вкрадчивый в личных отношениях, он имел какую-то особую сноровку втирать очки всевозможным большевистским провинциальным агентам. Благодаря этому свойству, он устроил какое-то невероятное удостоверение о том, что он командируется, с разрешения Швейцарской миссии, на Кавказ для собрания сведений о проживающих на Кавказе швейцарских подданных и для вывоза их в Петроград. Как получил он бланк миссии, кем он был подписан, я не знаю, но видел не раз этот любопытный документ и могу только сказать, что он быль весь испещрен всевозможными печатями швейцарской миссии разных цветов на, всех страницах, наверху, внизу, на полях и т. д. и на вопрос мой для чего это нужно, я получил ответ, что это очень действует при осмотрах в пути всякими красноармейцами и мелкими агентами власти.

Во время нашего переезда в Петроград мне пришлось дважды воочию убедиться, что это было на самом деле так.

После первого нашего знакомства и в особенности, когда **{435}** мне удалось ближе познакомиться с г. Гут и его женой, начались мучительные мои попытки получить возможность переезда в Петроград в этом случайном вагоне. Не стоить передавать всех перипетий, тянувшихся боле двух недель. От Гута я получил полное содействие и должен отдать ему всю дань моей благодарности и могу и теперь сказать, что не помоги он нам выбраться из Кисловодска, мы несомненно погибли бы там в водовороте событий, нагрянувших на этот несчастный город тотчас после нашего отъезда. И тут, как и во многом, случай, а я говорю счастливый рок или просто милость Божия — помогли нам.

Одни за другими лица, имевшие преимущество перед нами, стали отказываться от выезда из Кисловодска. Первый отказался Э. Л. Нобель и сказал притом, что просит отдать предпочтение, перед всеми просящими о местах, мне с женою. До последней минуты отказывалась ехать мадам Г. и под предлогом неразрешенности ее вопроса, два отделения не были пущены в общий оборот, в котором соревновались в стремлении сорвать наибольшую взятку, агент Общества Спальных вагонов, настаивавший на его праве распределять места, и какие-то служащие железной дороги, требовавшие себе тоже несколько мест в вагоне, под весьма простым аргументом: «не пустим прицепить вагон к поезду, если не получим мест для нашей продажи».

Около 10 мая все пререкания были улажены, отделения расписаны, мне выдали билет на мое отделение и оставалось только ждать выезда. Прошла неделя и никаких поездов далее станции Минеральные Воды не было. Наконец, утром 15-го мая Гут пришел ко мне и сказал, что получил категорическое обещание, что наш вагон будет прицеплен в Минеральных Водах к первому сквозному Московскому поезду после почти месячного перерыва в сообщении с севером.

Днем мы уложили все, что только можно было поместить в нашем отделении, для безопасности оплатили весь багаж сбором, как бы он шел отдельно от нашего купэ, провели последний вечер вместе с нашими близкими и к двум часам дня 16-го мая были на вокзале.

Многие пришли проводить нас. Одни завидовали нам, другие с грустью смотрели на наш отъезд, не зная чем может ознаменоваться наше путешествие.

Только около самого вагона узнали мы кто именно едет с нами. Оказалось, что на 18-ти нормальных местах **{436}** едет 32 человека, не считая трех проводников, присоединившихся к нам из числа агентов Общества, застрявших на северном, Кавказе. Тут были — супруги Гут, муж и жена Базилевские (московский губернский Предводитель), заплатившие, кроме проездной платы, агенту Международного Общества 1.000 рублей, дети певца Шаляпина с двумя гувернантками, мадам Г. с детьми, (которую удалось уговорить только в последнюю минуту согласиться на отъезд, некая мадам Лившиц с компаньонкой, какие-то еще две семьи, во весь 9-тидневный путь не проронившие ни слова ни с кем из нас, и наконец, в последнем отделении 2-го класса на четырех местах — семейство богатого лесопромышленника и хлеботорговца Г. из 10-ти душ.

Выезд из Кисловодска сопровождался совершенно неожиданными осложнениями. Собирались было уже подавать паровоз, когда появился представитель местного совдепа и стал проверять документы на право выезда. Молчаливо рассмотревши все документы, он заявил, что могут ехать только гражданин Коковцов с женою и дети Шаляпина, а остальные не имеют права на выезд до нового постановления совдепа. Локомотив отказали прицепить, и мы все остались около вагона... Гут побежал в совдеп, и через час явился новый представитель власти, опять пересмотрел документы, взял кое с кого какие-то недоплаченные сборы и объявил, что все могут ехать. Но паровоза не было и начались новые переговоры с железною дорогою, которая после утомительных объяснений согласилась, наконец, дать паровоз и отправить нас в 8 часов. вечера.

Почти без опоздания мы выехали из Кисловодска, проехали без остановки Ессентуки и прибыли в Пятигорск. Едва успел наш маленький поезд остановиться у переполненной как всегда станции, как коридор нашего вагона наполнился вооруженными солдатами и раздалась команда: «приготовить пачпорта, не выходить из отделений». Мое отделение было как раз посредине вагона, но к нам зашли позже, пройдя мимо нас.

Я разложил на столике все три моих документа: разрешение Кисловодского совдепа на выезд из Кисловодска для проезда в Петроград с остановкой, если пожелаю, в Москве, удостоверение в уплате контрибуции с указанием, что за мной не числится никаких сборов или недоимок, и удостоверение личности, выданное, как я упомянул выше, на имя гражданина **{437}** такого-то с женою Анною. Вошел старший, долго осматривал бумаги, а затем, не сделавши мне никаких замечаний, обратился к стоявшим в коридоре солдатам со словами: «этот ехать не может, посмотрите, чтобы вещи были выгружены, да поскорее, чтоб не задерживать поезда».

На мое заявление, что у меня все документы в полном порядке, и что Кисловодский совдеп нашел, что мои бумаги полнее всех остальных, последовал ответ: «нет разрешения Пятигорского совдепа, нам Кисловодский не указ» и опять «выноси вещи». Я буквально не знал, что мне делать и не скрываю того, что в эту минуту я испытывал величайшее волнение. Мне было ясно, что не выбравшись теперь, я окончательно застревал на Кавказ.

Гут побежал к старшему и стал ему что-то говорить, чего положительно нельзя было понять. Слышалось только: «я отвечаю, так как я комендант поезда, и вот поручение швейцарского посольства».

Солдат опять вошел ко мне и потребовал бумаги. Они лежали на том же месте на столике, где он их раньше осматривал. Не взявши в руки ни одной из них, он крикнул — а где бумага о контрибуции? Я показал ее, он долго рассматривал ее, потом совершенно невозмутимо повернулся к стоявшим в коридоре и сказал: «теперь все в порядке, можно оставить, пущай едут». Все вышли. Стоявшие в недоумении наши знакомые из Пятигорска, пришедшие проститься с нами, поцеловали нас, и поезд сейчас же и двинулся в путь. Отлегло от сердца. Я спросил Гута, чем убедил он этих господ, т. к. я не понял ни одного слова из его аргументов, он мне ответил: «да я и сам ничего не понял, только я знаю, что нужно говорить как можно больше непонятных слов, а может быть и их смутили мои печати, которые меня уж не раз выручали».

До Минеральных Вод мы не решались ложиться спать, не зная, какой сюрприз может ожидать нас на этой узловой станции, тем более, что в Кисловодске нас предупредил прежний помощник начальника станции, что там делают что хотят и управы на служащих никакой нет.

Все разбрелись по отделениям и никто, видимо, не волновался, кроме нас обоих и Гута.

К станции Минеральные Воды мы подошли уже поздно, около часу ночи. Было совсем темно, и сеял мелкий осенний дождь. Как только поезд остановился, мы с Гутом пошли разыскивать дежурного по станции, но его нигде не было. Где-то **{438}** вдали мы заметили мелькающий огонек фонаря и набрели на составителя поездов, с которым и вошли в переговоры. Оказалось, что он один на всей станции и готов помочь нам включить и наш вагон в поезд, который готовится к отходу на Тихорецкую. Мы не обратили внимания на то, что он сказал, что тут еще два вагона стоят на путях, так «вот и вы попадете с ними вместях». Мы стали сопровождать его во всех его передвижениях по путям, вручили ему для верности 25 рублей, на что и получили ответ: «будьте без сумления, все будет в аккурат», и действительно, скоро подошел паровоз и начались маневры. Мы пошли к вагону, я успокоил жену, посоветовал ей раздаться и лечь спать, а сам стал ждать прицепки. Она не замедлилась, наш вагон выключили из Кисловодского поезда и поставили в середину длиннейшего поезда, состоявшего сплошь из товарных вагонов. Мне показалось только, что мы попали между какими-то классными вагонами, они были без огней, и никто из них не показывался. Сравнительно скоро тот же составитель подошел к нам и сказал: «ну теперь все в порядке», получил от нас еще 25 рублей, мы вошли в вагон и скоро, без всякого звонка, поезд стал двигаться. Я разделся, лег и без просыпа проспал до самого утра.

Было уже совсем светло, когда я проснулся, жена давно встала, оделась и разговаривала с кем-то в коридоре. Поезд медленно подходил к станции.

Оказалось, что мы благополучно проехали страшный Армавир, про который говорили в Кисловодске, что там идут ежедневные бои, и подходили к станции Кавказской, на которой простояли очень недолго и без всяких приключений и с малыми остановками пошли дальше. На станции я заметил, что впереди нашего вагона идет сильно побитый вагон 1-го класса, с разбитыми стеклами в окнах, а позади другой вагон, с надписью: «вагон-мастерская — телеграф». Из первого выглядывали солдаты, а второй был заперт, и в нем не было никаких признаков жизни.

Все остальные вагоны были сплошь. товарные, но битком набитые людьми. Из одного из них выглядывало знакомое лицо Князя Урусова, члена Государственного Совета по выборам, смоленского предводителя дворянства...

Около двух часов дня мы добрались до самого опасного места — станции Тихорецкой. По дороге были разговоры среди проводников нашего вагона, что впереди этой станции, в сторону Ростова идут, будто бы, в пяти верстах бои, но с кем и **{439}** какими силами они ведутся — об этом никто ничего не знал. Мы понимали, также, что от этого узла зависело в большой степени наше благополучие — продвинуться на север или застрять в новой неизвестности.

Как только поезд остановился, Гут, проявлявший величайшую заботливость обо всем, побежал узнавать о времени отхода поезда, скоро вернулся, вызвал меня из вагона и сказал, что дежурный по станции требует за прицепку вагона 500 рублей, обещает, в случае уплаты, отправить нас через 20 минут, но оговариваясь при этом, что раньше, как завтра, другого поезда совсем не будет, а будет ли завтра, — это тоже неизвестно. Не говоря никому из наших спутников и решившись, в случае благополучного прибытия в Петроград, просто разложить на всех путевые расходы, мы условились уплатить эту сумму. Гут снова, побежал на станцию и через несколько минут подошел паровоз, отцепил три вагона и увел их на другой путь, включать в новый поезд. Я остался на платформе, т. к. агент дороги на мой вопрос ответил, что поезд подойдет к той же платформе, только с другой стороны. На той же платформе стояла кучка солдат из соседнего вагона первого класса, с каким-то, маленького роста, человеком в морской форме.

Пока я ждал подачи вагона, этот господин подошел ко мне и между нами произошел следующий, памятный для меня, диалог :

Он. А ведь мы знаем, гражданин, кто Вы будете.

Я. Я не скрываюсь и, как видите, еду в обычной одежде и даже в старой моей шляпе.

Он. Да Вам чего же скрываться, ведь мы хорошо знаем, что товарищ Троцкий пригласил Вас к себе в помощники, чтоб помочь ему привести в порядок хозяйство армии, только позвольте Вам заметить, что ничего Вы путного не сделаете.

Не трудно себе представить какое ошеломляющее впечатление произвели на меня эти слова. Я буквально не знал как реагировать на них, потому что ясно понимал, что ни опровергать этого нелепого слуха, ни подтверждать его, мне не следовало. Из моего минутного затруднения меня вывели дальнейшие слова, моего собеседника:

— Мы сами люди военные и хорошо понимаем, что армия требует дисциплины и послушания в без них ничего сделать нельзя, а кто же теперь кого согласен слушать?»

Я. Ну что же, если Вы сами говорите, что никто теперь ни **{440}** кого не слушает, значит, если ничего нельзя поделать, то никто не может и обвинять в неуспехе того, кто не мог выполнить из-за того, что всякий слушается только самого себя. По крайней мере, нельзя обвинять того, кто хотел что-то сделать, но ему помешал общий развал.

Он. Это Вы справедливо говорите, гражданин, и, обращаясь к стоявшим поодаль своим товарищам и подозвавши их, говорит им: «а ведь гражданин Коковцов говорит правильно, что нельзя отказываться служить общему делу от того, что никто теперь никого не почитает. Значит виноваты будут те, кто не хотят повиноваться, а не тот, кто

старался, да ничего сделать не мог».

В ответ раздались дружные голоса: «правильно, правильно», и вся компания потянулась ко мне, пожимая руку. В эту минуту поезд, в состав которого включили три вагона, стал медленно подходить к платформе, и моя жена с удивлением видит эту картину дружеской беседы моей с компанией матросов и солдат.

Откуда взяли они, что я еду на север по приглашению Троцкого, дошел ли до них слух о том, что я еду для того, чтобы вступить в Комитет по защите, учрежденной не без ведома большевиков организации по ограждению русских интересов в Германии, — и каким образом в их мозгу получилось это невероятное представление — никто теперь не может ничего оказать, но последующие события опять показали, что есть какая-то неведомая и неразгаданная судьба, которая покровительствовала нам в пути и отводила от нашей головы не раз надвигающуюся опасность.

Мы скоро двинулись в путь и до самого вечера ехали вполне благополучно. Под вечер мы подошли к ст. Великокняжеской и, подходя к вокзалу, медленно двигались между двух шпалер солдат: слева, во движению поезда, плотно, плечом к плечу стояли солдаты с ружьями у ноги, а справа — такой же ряд солдат без ружей, но с ручными гранатами напоказ, которыми они, как бы демонстративно помахивали перед медленно подходившим поездом. Как только поезд остановился, в вагон вошли три человека — один с револьвером в правой руке, остальные два — с винтовками. Навстречу им вышел Гут с широко раскрытым удостоверением, испещренным печатями, и стал говорить, по обыкновению, неясно, на каждом слове повторяя «швейцарское посольство, я его уполномоченный, отвечаю за всех едущих перед посольством»...

{441} После глубокомысленного рассмотрения этой бумаги, вошедший громко крикнул: «никому не выходить из вагона, пока я да дозволю», и отправился в соседний вагон, в котором ехали матросы. Не успела эта команда, вместе с примкнувшими к ней еще новыми солдатами, войти в вагон, как в нем раздался выстрел, и все вошедшие спешно высыпали из него, а оттуда послышались стоны и площадная брань. Оказалось, что при входе один из солдат задел ружьем за дверь, раздался выстрел и пуля попала в живот одного из компании матросов. Раненого вынесли, а вошедшие для проверки так перепугались криков и брани матросов, что немедленно сняли всю охрану, куда-то исчезли, и мы оставались на станции еще более часа без всякой попытки производить какую-либо, проверку и — уже довольно поздно двинулись в путь.

Ночь прошла без всяких приключений, если не считать, что около 4-х часов утра мы простояли почти два часа у закрытого семафора и не могли двинуться дальше, пока помощник машиниста не сходил в деревню, неподалеку от места остановки, и не разыскал стрелочника, который невозмутимо сказал ему, что пошел к себе просто домой и потребовал 10 рублей «за беспокойство», без чего не соглашался идти открыть семафор.

В Царицыне мы пробыли почти сутки — с 5-ти часов вечера до 2-х часов следующего дня, и никто не знал когда нас двинут в дальнейший путь и двинут ли вообще. Станция была запружена буквально тысячами всякого народа, который, видимо, давно ждал возможности двинуться дальше. Большинство было мешочников с ничтожным количеством муки и зерна у каждого, купленных там, где каждому удалось найти его.

Перед отходом поезда началась настоящая осада его: народ набивался в товарные вагоны, лез на крыши, висел на буферах и укреплял свои мешки, где только мог. Нас никто не трогал, и на наш вагон никто не покушался, несмотря на то, что на его стенках красовалась мелом сделанная надпись: «смерть буржуям» или «опрокинуть под откос» и, несмотря на самые большие старанья наших проводников стирать эту литературу, она почти немедленно появлялась вновь.

За сутки нашей стоянки в Царицыне до нас доходили самые невероятные слухи. То говорили, что поезду не стоит двигаться, т. к. в 10 верстах стоят казаки и путь перекопан, то, что где-то идут бои и красные разбиты, но нас все равно вернут **{442}** назад. Произошел тут и небольшой инцидент личного свойства.. Я проталкивался на телеграф, чтобы попытаться подать телеграмму сестрам в Петроград и нашим друзьям в Кисловодск и Пятигорск. Нигде никаких надписей не было и никто не мог мне указать, где находится железнодорожный телеграф.

Я уже отчаялся добраться до цели, как ко мне подошел какой-то штатский и, титулуя меня «Ваше Сиятельство» спросил тихо, на ухо: «чем могу я служить Вам, я — помощник начальника станции, но скрываю это потому, что меня изобьют, т. к. есть люди, которые ждут своей отправки боле 10 дней».

Я объяснил ему мое желание, он повел меня куда-то во второй этаж и по дороге не советовал тратить деньги на телеграммы «потому, что деньги возьмут в ни за что не отправят, — не такое теперь время, чтобы отправлять частные депеши, а от денег кто же откажется». Я не послушался его, послал четыре телеграммы, но ни одна из них, конечно, не дошла. На мой вопрос, почему он меня знает, этот господин ответил мне, что он был однажды в Государственной Думе и слышал мои возражения Шингареву.

Двинулись мы в путь с величайшими предосторожностями. Гут, каждый раз пытавшийся войти в личные разговоры с машинистом, перед самым отходом поезда сказал мне, что машинист заявил ему, что как только увидит казачий разъезд, сейчас же вернется в Царицын, На самом деле, ни на 10-ой версте, нигде дальше мы не встретили ни одной души, и совершенно спокойно продолжали путь, а к вечеру у всех было такое уверенное настроение, что все легли спать раньше обыкновенного.

Посреди ночи, когда было еще совсем темно, поезд остановился и послышался какой-то гул голосов, потом определенные крики, плач, чьи-то причитанья, беготня кругом нашего вагона, опять крики, угрозы, но все это не столько около нашего вагона, сколько впереди и позади его, Потом поезд было пошел, опять остановился, снова раздался какой-то неясный шум, чей-то плач и чьи-то угрозы. Никто из нас не выходил из своих отделений и большинство спало мирным сном.

Наконец, поезд пошел, постепенно ускоряя движение» как будто уходя от чего-то; все смолкло и погрузилось в сон. Уснул и я. На утро, уже довольно поздно, когда все встали и вышли в коридор, проводник рассказал мне, что на ст. Богоявленской весь поезд ограбили до чиста железнодорожные рабочие, которые отняли у мешочников буквально все, перевязали **{443}** несколько человек, сопротивлявшихся их расправе, и бросили в вагон, но никого, слава Богу, не убили. На мой вопрос:

— Как же не тронули нас? — я получил неожиданный ответ:

«Нас защитили матросы, поставивши караул с обоих концов и не позволили трогать». Вот и тут, невольно опрашиваешь себя — и тут случай, непонятный, необъяснимый и уберегший нас от новой беды!

В Рязани те же матросы, видя, что у нас нет хлеба, предложили часть от их запаса и с благодарностью приняли от меня в обмен две пачки папирос, за которые я заплатил 48 рублей. Старший из них заметил, что никогда не курил таких дорогих папирос, но, попробовавши их, прибавил — «следовало бы просто прикрутить этого негодяя за такую дрянь».

Перед тем, чтобы сесть в вагон, старший из матросов пожал мне руку на прощанье и, вытащивши из бокового кармана пачку тысячерублевок сказал, что едет в Кронштадт за получкой расчета в 400.000 рублей и как получит, — сейчас же уедет к себе в Грецию (?) и заведет новое дело по постройке судов, добавивши глубокомысленно: «здесь все равно толку не будет».

В Москву мы приехали настолько поздно, что нечего было в думать в тот же день попасть в Петроград. С раннего утра я начал уже один, без всякого участия Гута, хлопотать о получении разрешения на прицепку нашего вагона хотя бы к пассажирскому поезду на Петроград.

В этом мне помог Начальник движения Казанской дороги инженер Ландсберг, тот самый, который не устроил нас на декабрьский поезд из Кисловодска. Николаевская дорога согласилась, и все наши спутники разбрелись с утра по Москве, условившись сойтись на Николаевском вокзале к 7-ми часам, т. к. нам было твердо обещано, что вагон к этому сроку будет уже на месте.

Позавтракавши остатками нашего продовольствия у себя в отделении, мы решили с женою поехать к Бутырской заставе навестить милую старушку М. К. В., которую нам не удалось повидать в нашу поездку на Кавказ.

Мы вышли с вокзала и сели в первый трам, но ошиблись направлением и попали в поезд, шедший из Бутырок в Сокольники. На первой же остановке мы вышли из вагона и стали искать извозчика. Нам пришлось довольно долго идти пешком по Садовой и в одном месте нам повстречался **{444}** очень красивой наружности, солдат, который при виде меня точно обомлел, остановился и долго всматривался в мое лицо. Я тоже остановился и, отойдя от него, стал инстинктивно поворачиваться, поворачивался и он, и, наконец, мы разошлись; попался извозчик. Мы сторговались с ним — отвезти нас туда и обратно за 35 рублей, не застали М. К. и рано приехали на вокзал. Во время собралась наша публика, нас прицепили к поезду, отходившему в 9 час. вечера, и мы пустились в последний наш путь. В Клину поезд стоял очень долго, мы уже лежали в постели, как послышалось движение нескольких человек, вошедших в вагон, останавливавшихся у разных отделений и долго стоявших у нашего купэ и тихо разговаривавших между собою. Слов нельзя было разобрать.

Жена перепугалась и ни за что не позволяла мне встать с постели, чтобы узнать в чем дело. Затем шум замолк, дали звонок к отходу поезда, и мы пустились в путь и доехали к вечеру следующего дня — это было 26 мая — до Петрограда.

На вокзале нас никто из родных не встретил, т. к. ни одна моя телеграмма до них не дошла. Гут предложил довезти наши вещи на Моховую, мы взяли за 15 рублей извозчика и налегке, подъехали к дому. Нас никто не ждал.

Впоследствии, уже после моего освобождения из тюрьмы, один из проводников вагона, заходивши ко мне за рекомендациею на какое-то место, рассказал мне, что вошедшие в Клину в наш вагон солдаты узнавали еду ли я в этом вагоне и, получивши утвердительный ответ,

потребовали, чтобы меня нигде по дороге не выпускали и заявили, что все проводники «ответят головою, если не довезут меня до Петрограда». Связь этого инцидента со встречей на Садовой и с последующим моим арестом — для меня несомненна.

Когда извозчик провез нас мимо нашего дома, я увидел через двор окна моей квартиры, у меня стало так легко на сердце, и я с глубокой верой перекрестился от сознания того, что я снова возвращаюсь к себе, в мою квартиру, не разграбленную и не уничтоженную, в мою привычную обстановку, которую я так любил.

Во время моего вынужденного сидения в Кисловодске, я не раз томился от мысли, что я вовсе не вернусь в Петроград и не увижу всех тех, кто мне так дорог; тем понятнее почему я облегченно вздохнул, войдя в свои комнаты и найдя все в полной целости так, как я оставил семь месяцев **{445}** тому назад. Обрадовал меня и мой любимец Джипик, которого так не доставало нам в Кисловодске.

Следующий день, в субботу, 27 мая, я не выходил из дома, чувствуя себя плохо от простуды, схваченной в вагоне. Между обедом и завтраком у меня перебывало немало народа и, между прочим, Н. Н. Покровский, с которым мне помешали переговорить толком, так что мы условились встретиться с ним у меня же на следующий день, в воскресенье, в 3 часа. Эта встреча, однако, не состоялась. В воскресенье, 28 мая, во время моего завтрака, ко мне пришел. неожиданно его сын и передал, что отец его не придет ко мне, т. к. утром получил сообщение от г-жи Пуришкевич, что будто бы, в этот день у него, у меня, у А. Ф. Трепова и у Тхоржевского должны быть произведены обыски.

Вечером, в тот же день, когда у меня сидели все мои сестры, я получил письмо от г-жи фон Мекк. Его принес незнакомый мне молодой офицер и сказал, что содержание письма ему известно, я он подтверждает правильность сообщения.

Письмо предупреждало меня, что г-же Мекк стало известно из большевистских кругов, что меня решено арестовать, и она советует мне не ночевать некоторое время дома. Сообщение это произвело на меня самое тягостное впечатление, я почувствовал острую боль в голове и, под влиянием первого впечатления, решил даже: последовать данному совету и идти ночевать к одной из моих сестер. Мы вышли даже с женой на Моховую, но немедленно вернулись домой, т. к. все доводы склоняли меня к убеждению в полной неразумности такого шага. Если действительно решили меня арестовать, то ночевкою вне дома я мог только ухудшить мое положение.

В моей квартире, или около моего дома устроили, бы наблюдение и меня захватили бы, как только я вернулся бы домой. Самый факт ночевки вне дома был бы поставлен мне в обвинение и дал бы только повод упрекать меня в конспиративности, тогда как главным моим оружием защиты являлся всегда мой открытый образ жизни, чуждый всяких политических комбинаций и свободный от малейшего участия в соглашениях с кем бы то ни было, на почве политических отношений.

Мы вернулись домой. Прошло ровно три недели, из которых более половины я проболел, и ничто не указывало на то, что мне угрожает обещанный арест. Я перестал даже думать о нем, совершенно успокоился, начал выходить из дому, **{446}** занимался кое-какими делами и стал уже уверенно относить сделанное мне предупреждение об аресте к числу очередных выдумок, на которые так все стали тороваты во всей России.

В воскресенье, 17/30 июня я съездил к Гуту, отвез ему в знак

благодарности за оказанную мне помощь две дорогие китайские вазы, принадлежавшие мне почти 30 лет, услышал от него самое решительное опровержение слухов о моем аресте я провел весь вечер совершенно спокойно дома.

Я лег спать в обычное время, скоро и крепко заснул, как вдруг, после 2 часов жена пришла ко мне в спальню со словами: «вставай, у нас обыск». Я ответил ей: «ну, значит, меня пришли арестовать».

Я прошел в переднюю, где застал целое общество: какого то комиссара, предъявившего мне ордер председателя чрезвычайной следственной комиссии Урицкого, уполномоченного по дому Скордели, старшего дворника и трех субъектов в солдатской форме, без оружия.

В ордере содержался приказ: произвести обыск и арестовать всех взрослых мужчин.

Я не сказал жене, что буду арестован, и почти 3 часа происходила отвратительная операция обыска, с отпиранием всех ящиков, забиранием всего, что было в письменном столе, и того, что было в ящиках, причем бумаги забирались без всякого прочтения и без малейшего разбора. Одни, откладывались для увоза, другие оставлялись на месте без всякого рассмотрения, но зато все ящики были открыты, повсюду искали тайных хранилищ, — разумеется, никаких не нашли.

Вся эта процедура носила глубоко оскорбительный и совершенно бессмысленный характер. В одном из ящиков письменного стола, которые кстати освещались потайным электрическим фонарем, комиссар обнаружил закрытый портфель, заставил меня его открыть и нашел в нем пакет, заключающий в себе самые нужные мои семейные документы: завещание, метрики, всякие денежные расписки; но он даже не потрудился посмотреть содержимое пакета, вынул его просто из портфеля, бросил его в один ящик, а портфель в другой.

После обысков в кабинете и отобрания бумаг без всякого разбора, начался осмотр всей квартиры, такой же унизительный и такой же бессмысленный: заглядывали под диваны и кресла, открывали ящики столов, в спальной жены смотрели под матрасом и подушками, перерывали бельевые шкафы, осматривали всякие закоулки до кухни и кладовой включительно.

{447} В кладовой обнаружен был ящик серого мыла для прачечной и куски прошлогоднего сухою мыла, которые забрали солдаты, несмотря на уговоры комиссара. Забрана была также стоявшая открыто в библиотеке однозарядная австрийская винтовка, без патронов, присланная мне пограничной стражей.

Справедливость заставляет, однако, сказать, что при обыске ничего украдено не было и даже, когда комиссар обнаружил в письменном столе небольшую металлическую шкатулку для денег и потребовал открыть ее, то, убедившись в том, что денег в ней было лишь несколько сот рублей, он не проявил никакого желания отобрать этих денег. Правда, что в эту пору, около него не было солдат.

Вся эта отвратительная процедура продолжалась почти 3 часа. Ровно в 5 часов мне было предложено одеться и в 5¼ меня посадили в открытый автомобиль, рядом со мной поместился комиссар, а, рядом с шофером солдат с ящиками мыла. Утро было ясное, безоблачное. Город еще не проснулся, было совсем пусто на Невском, и только в открытые двери Казанского собора входили люди по одиночке.

Меня отвезли на Гороховую № 2, где помещалась Чека, в помещении бывшего градоначальства.

Быстро провели через регистратуру и канцелярию коменданта, заведывающего арестованными и без четверти 6 я был уже отведен в помещение под № 96 и водворен в огромную комнату, в которой содержалось не менее 60 человек, занимавших не только все плотно поставленные по стенам друг к другу кровати с рваными мочальными и соломенными матрасами, но и все пространство грязного пола комнаты. Вся эта людская масса спала безмятежным сном, раздетая почти до нага; от храпа стоял какой-то гул и дышать было нечем. Вонь от ножного пота, прогорклого табачного дыма и испарений разгоряченных тел напоминала какую-то помойную яму. Сесть было не на что; я оставался некоторое время в каком-то оцепенении посреди узкого, свободного от кроватей прохода в пальто и шляпе. Мною владело какое-то тупое, полубессознательное состояние, свободное даже и от страха и от злобы.

Из неизвестности и оцепенения меня вывел какой-то незнакомый голос субъекта, дремавшего сидя у небольшого столика у единственного окна. Этот субъект обратился ко мне фамильярно со словами: «Здравствуйте, Владимир Николаевич, мы Вас ждали еще ночью, т.к. нам сказали еще в 10 час. вечера вчера, что подписана бумага о Вашем аресте и что Вас **{448}** привезут к нам».

Удивленный таким обращением, я полюбопытствовал узнать, с кем имею удовольствие говорить, т. к. личность этого субъекта, с коротко остриженной головой, давно не бритой бородой и усами, в рваных штанах, в грязной рубашке и опорках на босую ногу, была мне совершенно неизвестна и напоминала типичного представителя ночлежных домов. Он назвал себя бывшим рабочим Экспедиции заготовления Гос. Бумаг, Ушаковым, которого я знал хорошо по рабочему движению 1905 года и с которым сталкивался не раз, как депутатом от рабочих в 1906—1907 годах, и на выраженное мною удивление — каким образом я вижу его в числе арестантов и с совершенно изменившейся наружностью, я получил весьма неожиданный ответ, данный мне весьма громким голосом, без малейшего стеснения тем, что ответ этот не могли не слышать сидевшие у самых дверей стражники: «Ведь Вы знаете, что я всегда был социал-демократом и защищал рабочих, хотя они, подлецы, того и не заслуживали, но для этих негодяев — большевиков я оказался черносотенцем, и они стали меня всячески преследовать, не раз арестовывали, опять выпускали, разорили в конец.

Мне пришлось скрываться, менять наружность и паспорт, а меня опять затравили, — обвиняют в какой-то агитации, пригнали сюда. Только тут долго не продержат — отправят в Кресты или пересыльную. Мне-то это наплевать, а вот Вам здесь очень худо, и в этой комнате Вам никак оставаться нельзя, и как-нибудь надо попасть в политическую комнату, а то здесь недолго и до беды».

На мой вопрос, что разумеет он под этой бедой для меня, Ушаков, совсем не стесняясь тем, что кое кто из арестованных стал просыпаться, изложил мне такую характеристику населения этой камеры: «Тут хуже всякого ночлежного дома, это настоящая яма — кого только здесь нет. Вон в углу лежат четыре ломовых извозчика, приведенные сюда за то, что участвовали в забастовке, а там вон в углу — восемь человек матросов, про которых говорят, что убили боцмана. А еще компания красноармейцев, но они просто пьянствовали и побили комиссара. А вон там в углу — теплая компания, от которой сторонятся все, потому что у них недалеко и до ножевой расправы, а еще есть несколько мужиков,

взятых за спекуляцию. А вся их спекуляция заключалась только в том, что приехали сюда искать косы, а им объяснили, что за деньги они ничего не купят, а вот если есть сахар, так за каждый **{449}** фунт сахара можно купить две косы. Вот они и собирали всю зиму по кусочкам, собрали со всей деревни 20 фунтов, а их на вокзале накрыли и предоставили сюда. Вот они и маются здесь целую неделю. Расспросите-ка их сами, так они Вам лучше моего расскажут, что им теперь в деревню показаться нельзя, т. к. они взялись привезти 20 кос и никто им не поверит, что у них сахар отобрали и самих проморочили здесь. А есть тут еще три спекулянта: привезли 2 пуда сметаны продавать в Петроград, соблазнившись высокой ценой. Их также забрали и вместе со сметаной предоставили сюда; от них нам всем большая польза — часть сметаны разошлась по дому здесь, а часть кладут и нам в щи, которые Вы будете кушать сегодня и завтра».

За этими разговорами прошло время до 9 часов утра. В эту пору из соседней комнаты, дверь из которой приходилась как раз у стола, за которым я сидел против Ушакова, появилась всклокоченная, неумытая, полураздетая фигура, совершенно мне незнакомого субъекта, оказавшаяся впоследствии неким г-ном Гуго, арестованным за спекуляции и человеком бесспорно весьма темным, который, называя меня также по имени отечеству и титулуя меня графом, пригласил перейти в комнату для «политических», сказавши, как и Ушаков, что меня ждали еще с вечера и даже решили потесниться, чтобы уступить мне кровать.

При этом г-н Гуго, весьма развязно и громко, несмотря на то, что камера уже проснулась и многие встали, заявил: «не можете же Вы оставаться с этой сволочью», что не помешало тому же господину Гуго, с частью той же «сволочи», в конце недели, добыть откуда-то вина и изрядно напиться. По-видимому, они приобрели вино в помещении канцелярии.

Следом за ним из той же комнаты вышел благообразный человек, отрекомендовавшийся Гарязиным, и сказал, что сохранил обо мне самую добрую память, когда посетил меня вместе с Пуришкевичем по делам Национального Союза студентов. *Через две недели его расстреляли.*

В маленькой комнате, куда меня ввели, я нашел, кроме Гуго, пять человек: Генерала Рауха, Генерала Гольдгаура, виленского предводителя дворянства Крассовского, богатого рижского хлеботорговца Мухина и уже упомянутого, бывшего председателя Национального Союза — Гарязина. Все они отнеслись ко **{450}** мне с величайшим вниманием, занесли в свою группу для получения обеда и наперерыв друг перед другом предложили занять одну из кроватей, сказав, что каждый из них охотно перейдет в общую камеру. И в этой комнате, невзирая на ранний час и настежь открытое окно, стояла невероятная духота. Рой мух облепил стены и кровати и двигаться в ней не было никакой возможности. Между столом и кроватями едва оставался проход, достаточный для того, чтобы продвинуться к постели, на которой приходилось лежать или сидеть целый день.

Не желая стеснять этих великодушных товарищей моих по заключению, я пошел в соседнюю, вторую политическую комнату разыскивать себе пристанище. В эту комнату было нелегко пройти, т. к. она соединялась с большой камерой узким, темным коридорчиком, проходившим позади первой комнаты. Коридор был сплошь занят двумя столами, на которых еще спало трое арестованных, валявшихся на грязнейших сенниках.

Из коридорчика нужно было попасть в темную прежнюю кухню, в которой на плите, на сломанной кровати и на столе, на таких же сенниках спало еще трое арестованных и уже из этой кухни был вход во вторую политическую камеру, в которой мне было суждено провести все 10 дней.

Комната эта меньше первой, также в одно окно, такая же душная, заполненная мухами, с отвратительно-грязным полом, заставленная сплошь четырьмя кроватями и двумя столами, на которых лежали частью мочальные матрасы и такие же подушки, частью соломенники в рваных, грязных покрышках, свалявшиеся до такой степени, что приходилось употреблять особые ухищрения, чтобы найти мало-мальски возможную позу для лежания.

Сидеть, а тем более, двигаться в этой комнате не было никакой возможности. В ней я нашел Генерала, Князя Ю. И. Трубецкого, бывшего Министра Торговли Временного Правительства и Петроградского Генерал-Губернатора Пальчинского, впоследствии расстрелянного вместе с Н. К. Мекком, бывшего Военного Министра Врем. Правительства Верховского, состоящего теперь на службе у большевиков, студента Васильева, некоего г-на Умнова, железнодорожного деятеля Чумакова и офицера Сербской службы Матвеева-Обреновича.

Седьмое место было занято каким-то молодым человеком в морской форме (фамилия его так и осталась мне неизвестной, т. к. он все время был известен под кличкою «черного капитана»). Его, впрочем, не оказалось налицо, он все время где-то витал в пространстве, находясь, по-видимому, в близких отношениях с тюремным **{451}** надзором. Первые дни, впрочем, он изредка появлялся в комнате, ложился на свою постель и от него все сторонились, и никто с ним и при нем не разговаривал. Во вторую половину недели он вовсе исчез из комнаты и уступил место 17-летнему мальчику, одетому в морскую форму, посаженному под стражу по обвинению в подделке ассигновки на 149.000 рублей.

Из последующих рассказов выяснилось, что этот черный капитан был попросту главою налетчиков матросов, с которыми он ограбил несколько квартир, похваляясь тем, что извлек из этой операции и поделил с кем нужно около 8-ми миллионов рублей (вероятно врал), был захвачен с двумя матросами на месте преступления, выдал всех своих товарищей, из коих два задержанные при краже, были расстреляны тут же на Гороховой, незадолго до моего ареста. Захваченные впоследствии остальные его сподвижники подверглись той же участи, а сам он, по-видимому, вошел в близкие сношения с господами правителями, по крайней мере, в минуту моего освобождения, я застал его в канцелярии, ведущим какие-то записи в книгах...

Все население комнаты встретило меня с поразительной предупредительностью. Пальчинский, игравший роль распорядителя, предложил занять кровать Верховского, уходившего в Кресты, и я водворился окончательно на жительство б это помещение.

Вскоре Верховский, Чумаков и Умнов были также переведены в Кресты; на их место появился мало симпатичный саперный Генерал Коленковский, не разговаривавший вовсе ни с кем, и молодой офицер-летчик Троицкий, с которыми и прошла вся остальная часть моего ареста. Я должен помянуть особенным словом благодарности моих товарищей по жизни в этой комнате; не было того внимания и той услуги, которую они бы не старались мне оказывать наперерыв, а когда на третий день я заболел сердечными приладками, то это внимание приняло даже трогательную форму.

Они поочередно следили за мной и даже ночью вставали, чтобы смочить водою холодные компрессы, которые по недомыслию врача прикладывались мне на сердце и голову, вместо того, чтобы облегчить мои страдания теплым компрессом.

Первый день прошел без всяких инцидентов. Тоскливо тянулось время, жара в комнат становилась невыносимою, и сравнительно бодрое настроение духа поддерживалось убеждением всех, в особенности Пальчинского в том, что меня **{452}** допросят немедленно я не могут держать продолжительное время, т. к. всем было известно мое прошлое. В ту пору еще верили, что существует все-таки элементарная справедливость... Ночью я не смыкал глаз ни на одну минуту как от невыносимой жары, так и от невероятного шума во дворе, от автомобильных гудков, песен и музыки в жилых квартирах.

Утром во вторник появились первые признаки отвратительного ощущения в сердце; порою я просто задыхался, но приписывал это все отчасти нервному состоянию, а главным образом, невероятной духоте и жаре в комнате.

На следующий день, в среду, около часу дня, меня позвали будто бы для допроса и все приветствовали мое скорое избавление. Оказалось, однако, что меня привели в кабинет заместителя председ. ком. Г-на. Бокия, где я застал моего знакомого Гута, добившегося от имени Швейцарского посланника узнать причины моего ареста и оказать мне какую-нибудь помощь. Он встретил меня словами, что мой арест не имеет никакого личного ко мне отношения, что ко мне не предъявляется решительно никаких обвинений, и что в этом он видит полное основание для меня быть совершенно спокойным. В разговор вмешался г-н Бокий, который подтвердил заявление Гута и прибавил от себя лично нечто, внесшее в мою душу величайшее смущение.

Он сказал буквально следующее: «Вы арестованы по прямому приказу из Москвы и совсем не потому, что Вас обвиняют в чем бы то ни было, т. к. мы отлично знаем, как и Вы сами, что Вас ни в чем обвинять нельзя. Но Вы арестованы, как бывший царский Министр, потому что советская власть, решившая судьбу членов бывшего Императорского Дома Романовых, считает также нужным решить и вопрос о всех царских Министрах».

На мое замечание, что арестован я один и никто из других Министров аресту не подвергался, Бокий добавил: «да, это пока, мы получили приказ из Москвы и Вы на будущей неделе будете переведены в Москву, в распоряжение Совета народных комиссаров. Здесь же Вас никто допрашивать не будет, т. к. нам не о чем Вас допрашивать». Заявление это меня положительно ошеломило, и мне разом представился ужас переезда в качестве арестанта в Москву, бессрочное там содержание в тюрьме, перспектива, быть может, разделить участь Щегловитова и Белецкого...

Мысль о положении жены и ее вынужденного переселения туда же и рой других безнадежных мыслей о тех, кого я любил и кому я был дорог, — пронесся молнией в моей голове...

{453} Я вернулся в свою камеру, поделился впечатлением с Трубецким и Пальчинским, причем последний отнесся к заявлению Бокия о полным недоверием, говоря, что эти негодяи сами не знают, что делают и говорят, но меня эти слава мало успокоили. Тяжелое раздумье делало свое дело, и к вечеру со мною приключился жестокий сердечный припадок.

Ночь прошла опять без сна, несмотря на то, что из дому мне прислали подушку, белье и одеяло, припадки стали учащаться, и когда я в четверг днем был вызван на свиданье с женой, то я даже не обрадовался этому, зная вперед, что мой измученный вид произведет на нее удручающее впечатление. Так оно на самом деле и вышло. Сколько ни старалась она поддерживать меня обещанием поездки в Москву Гута, хлопотать о моем освобождении, но я видел, что она едва держится на ногах, и я вернулся в камеру окончательно разбитым.

Последующие шесть дней были сплошным невыносимым кошмаром — я почти не вставал с постели, мучаясь невыносимым ощущением в сердце, жара в камере, доходившая до 38 градусов Реомюра, лишала просто возможности дышать и даже ночью не становилось легче, т. к. раскаленная крыша не охлаждалась даже после захода солнца.

Мои товарищи по заключению два раза думали, что я перешел уже в лучший мир, и ежедневно вызывали ко мне доктора для оказания мне помощи. Доктор в свою очередь настаивал на переводе меня в тюремную больницу, от чего я решительно отказывался, ясно понимая, что с переходом в больницу мой арест только продолжится. Оставаясь же на Гороховой, я все надеялся на то, что, находясь под непосредственным начальством Чеки, я невольно заставляю скорее допросить меня, а в связи с допросом, во мне жила надежда на скорейшее освобождение.

Мною постепенно овладела, характерная для арестованного, апатия, — я перестал считать дни, примирившись с мыслью, что этих дней придется просидеть неопределенное количество. Меня угнетала только мысль о моих близких, о их мучениях и о сознании бессилья сделать что бы то ни было. И эти мысли были мне гораздо тягостнее, чем мое личное унизительное и тягостное положение.

За все последние пять дней никто из начальства к нам не заглядывал; только за последние 3—4 дня, поздно по вечерам, к нам стал появляться чаще всего в пьяном виде помощник коменданта Кузьмин, наиболее, впрочем, порядочный **{454}** из всего состава надзора, и изрядно надоедал нам своей бессвязной болтовней человека, не отдающего себе отчета в том, что и кому он говорит...

В субботу, в шестом часу, наше невольное население комнаты 96-ой было взволновано как-то неожиданно быстро дошедшим до нас известием об убийстве Германского Посла Гр. Мирбаха в Москве. На этой почве стали возникать всевозможные предположения о занятии Петрограда немцами и о возможном близком нашем освобождении. Ничто, однако, не оправдывалось. В воскресенье мне опять стало худо, пришел доктор, Пальчинский опять насел на него, он вторично меня выслушал и подтвердил, что я страдаю миокардитом, чего, я думаю, у меня, однако, не было и сказал, что он решил, рискуя даже навлечь на себя гнев большевиков, подать письменное заявление о том, что мое дальнейшее содержание под арестом грозит опасностью жизни. Вечером в воскресенье тюрьма снова пережила тревожные часы. В связи с расстрелом Пажеского Корпуса, откуда красные вышибали социалистов-революционеров, возникла паника среди арестантов по поводу того, что в городе начались беспорядки и что можно ожидать и нападений и на наше помещение.

Поводом к такой панике послужило заявление стражи, что при первых признаках нападения, она побросает оружие и скроется из помещения и советует то же сделать и арестантам. Наша камера сохранила обычное спокойствие, и когда серб Обренович пришел сказать

нам, что в соседнем помещении Манус страшно волнуется и спрашивает, как ведем мы себя, то мы посоветовали ему побольше хладнокровия, т. к. все равно мы ничего сделать не можем.

Упоминая имя Мануса, я должен отметить, что встреча с этим субъектом была мне глубоко неприятна. Я давно не подавал ему руки, не отвечал на поклоны, зная все его предосудительное прошлое и его гнусную роль, сыгранную е моем увольнении. Естественно поэтому, что когда, в день своего прибытия на Гороховую, кажется на третий или четвертый День моего заключения, он проявил стремление попасть именно в нашу комнату и хотел даже подойти ко мне с приветствием, я не ответил на это приветствие и остался лежать на кровати. Из неловкого положения выручил Пальчинский, также хорошо знавший его, и заявил ему своим зычным голосом, что в нашей комнате нет свободного места и даже имеется много кандидатов, если произойдут перемены среди арестованных.

Упомяну еще одну характерную особенность моего содержания. **{455}** Помещение, в котором я прожил более недели, было до такой степени грязно, что в течение трех дней я не мог войти в примитивную уборную: при первых случаях холеры арестованным в политических камерах, пришлось принять экстренные меры к очистке, и мы собирались даже сами вымыть эту ужасную клоаку, но нашлось двое из сидевших в большой камере, которые и занимались, главным образом, загрязнением помещения, предложивших «политическим» собрать 15 рублей и заплатить им за труд. Мы охотно пошли на эту денежную повинность.

Забыл еще упомянуть, что во вторник меня, как и всех, водили, сниматься и, таким образом в коллекции арестованных мое изображение красуется среди изображений карманных воров, взломщиков, ночных грабителей и тому подобных объектов антропометрии.

Днем в воскресенье, когда все обитатели пошли «на прогулку» в большую свободную комнату во втором этаже, а я остался лежать один, в комнату вошел отвратительного вида латыш, второй помощник коменданта и обратился ко мне со словами: «чего Вы лежите, лучше и Вам погулять — ведь Вас скоро выпустят». Я не отдавал себе отчета в его словах, потому что тюремная молва приписывала ему все зло в условиях нашего содержания.

{456}

ГЛАВА III.

Допрос меня Урицким. — Усиление террора в Петрограде и массовые аресты. — Три предложения вывезти меня из России. — Предупреждение о предстоящем новом моем аресте.— Подготовка к бегству. — Переход через Финляндскую границу. — Путь в изгнание. — Раиоиоки. Выборг. Гельсингфорс. Христиания. Берлин. Лондон и Париж. — Глубокое разочарование политикой союзников по отношению к большевикам.

Во вторник, 9-го июля, в 11 часов утра, неожиданно для меня и для всей камеры, меня позвали на допрос к Урицкому.

Неожиданность заключалась в том, что только накануне вечером Урицкий приехал из Москвы, а также и в том, что допрос был назначен в

11 часов утра. Этот советский сановник обыкновенно вершил свое государственное дело по ночам и не появлялся в помещении комиссии ранее двух часов пополуночи. Когда я пришел в его кабинет в сопровождении вооруженного мальчишки, улегшегося тут же на диван, мне предложено было сесть на стул сбоку письменного стола и самому записывать свои показания. Я отказался от этого, потому что был настолько слаб и нервно расстроен, что перо буквально не повиновалось моей руке. Урицкому самому пришлось исполнить этот труд. После обычных вопросов об имени, отчестве и фамилии, летах и месте жительства, допрос продолжался в следующем виде. Записываю его со стенографическою точностью.

В. Вы кажется недавно приехали из Кисловодска? Когда Вы приехали?

О. В пятницу, 26 мая старого стиля.

В. Почему Вы подчеркиваете «Старого стиля»?

{457}

О. Потому что я не привык еще к новому стилю и могу ошибиться при переложении старого на новый, а всякая ошибка или малейшая неточность могут мне быть поставлены в вину.

В. Когда Вы выехали из Кисловодска?

О. В среду, 16 мая, в 8 час. вечера.

В. Вы уехали в Кисловодск из Петрограда по причине здоровья или по каким-либо другим причинам?

О. Я просто желал провести в Кисловодск два осенних месяца и поправить мое сердце, давно нуждающееся в лечении.

В. Когда Вы уезжали из Петрограда, Вы именно предполагали остаться там до весны?

О. Нет, я уезжал всего на 2 месяца и наметил вернуться тотчас после нового года. У меня были даже обеспечены места для обратного проезда в начале января. Но железнодорожное сообщение прекратилось, и я вынужден был остаться лишних пять месяцев и выехал из Кисловодска лишь 16-го мая с первым поездом, в котором я надеялся добраться до места.

В. Нам известны, однако, случаи приезда с Кавказа и раньше мая месяца.

О. Мне такие случаи также известны, но все поездки ранее совершались в условиях для меня недоступных. Я не мог в мои годы и притом с женой поехать в товарных вагонах сидеть на промежуточных станциях по несколько дней, подвергаться всяким насилиям и даже опасностям и в особенности подвергать им мою жену.

В. Так что у Вас не было каких-то особых оснований, чтобы приехать сюда именно в конце мае?

О. Разрешите мне для более точного ответа видоизменить Ваш вопрос. Я понимаю его в том смысле, что Вы хотите узнать от меня, не было ли у меня в виду каких-либо особых событий, долженствующих совершиться в Петрограде, которые побуждали меня быть в это время здесь?

В. Да, это точно выражают мою мысль.

О. В таком случае я могу категорически заявить, что ни в конце мая, ни в начале, ни в середине какого-либо другого месяца не могло совершиться в Петрограде или ином пункте России каких бы то ни было событий, которые заставляли бы меня находиться в центре этих событий.

В. Ваш категорический ответ дает мне право понять, что **{458}** Вы

вообще отказались от какой бы то ни было политической деятельности?

О. Совершенно верно.

В. Чем же объясняется такое Ваше решение, после того, что Вы играли всем известную политическую роль?

О. Только тем, что четыре года тому назад я вынужден был покинуть политическую деятельность, без моего на то согласия, и притом в таких условиях, при которых я дал тогда же себе слово, никогда более не возвращаться к активной политической деятельности.

В. В чем же заключались главные причины, побудившие Вас принять такое категорическое решение?

О. Их было три: 1) мой уход с активной деятельности оставил во мне чувство глубокого разочарования и убеждение в том, что люди моего склада, или вернее с моими недостатками, не должны возвращаться на политическую сцену. 2) Мой здоровье было тогда расшатано, а теперь тем более подорвано, и я могу добросовестно сказать, что отдал ей мои силы родине и 3) старые люди, как я, не должны повторять грубой ошибки тех, которые думают, что они должны до самой могилы делать прежнее дело. Я полагаю, что новые условия требуют новых песен, а их могут петь только новые птицы.

В. В чем заключались главные причины Вашего увольнения?

О. Их было много и излагая их, я должен отнять у Вас много времени и, кроме того, войти в чисто субъективную оценку, т. к. видимые и официальные причины — одно, а действительные поводы и основания — совсем другое.

В. Укажите бегло на главные.

О. Либералы считали меня чрезмерно консервативным, а консерваторы слишком либеральным и недостаточно национально настроенным к известным вопросам. Придворные круги, вообще, не оказывали мне особой поддержки, а в числе представителей высшей бюрократии также не было недостатка в людях, неблагоприятно настроенных ко мне, как и к каждому, занявшему высший пост.

В. Вы упомянули о правых партиях. Чем они были недовольны Вами?

О. Одни осуждали меня за то, что я не поддерживаю некоторых крайних партий, а другие за то, что я будто бы слишком сочувствую инородцам. В Киеве, после убийства Столыпина, как Вы, вероятно, помните меня открыто обвиняли в том, что **{459}** я предотвратил еврейский погром и принял по телеграфу меры к предотвращению таких же погромов во всей черте еврейской оседлости. «Новое Время» и «Гражданин» подхватили это неудовольствие на меня, и мое вступление на должность Председателя Совета Министров сопровождалось даже резкими нападками и обвинениями меня в антинациональной политике.

В. Ваш допрос мог бы быть на этом закончен и я, вероятно, сделаю распоряжение об освобождении Вас, но я имею еще обратиться к Вам с двумя вопросами, не касающимися поводов к Вашему аресту. Я рассчитываю на то, что Вы дадите мне откровенный ответ: Вы можете, во всяком случае, верить мне, что Ваши ответы не повлияют на Ваше освобождение — оно будет сделано.

О. Не могу ли я осведомиться ранее о поводах моего ареста и узнать, чем вызван был ночной обыск у меня, как у преступника, содержанию меня более недели в унизительных условиях, в такой обстановке, которая едва не стоила мне жизни?

Урицкий. Нам попали в руки некоторые письма, в которых

упоминалось Ваше имя в связи с разными планами борьбы против советской власти, и в них указывалось, что было бы желательно поставить Вас, как опытного государственного деятеля во главе будущего правительства, т. к. при ваших умеренных взглядах можно рассчитывать на сочувствие широких слоев общества. В одном письме говорилось даже, что нужно поехать в Кисловодск и добиться Вашего согласия. Говорилось даже, что Вы, конечно, будете отказываться, но этим не следует смущаться и нужно настаивать.

В. В этих письмах имеется ли указание на мое участие в подобных планах и мне ли эти письма адресованы?

О. Нет, не Вам и таких указаний, изобличающих Вашу роль, у нас нет.

В. В таком случае, почему же арестован я, а не те лица, которые писали эти письма? Ведь с точки зрения советской власти эти люди умышляли против нее, арестовали же меня, находившегося в это время далеко от Петрограда.

О. В революционное время трудно так рассуждать. Лица, писавшие письма, особого интереса нам не представляют, Вы же были всегда человеком заметным.

В. Но ведь вследствие ареста я не перестал быть заметным и, если завтра Вы прочтете такое же письмо с упоминанием моего имени, я же не буду иметь о нем ни малейшего понятия, Вы снова прикажите меня арестовать?

{460}

О. Что касается моей Комиссии, то Вы можете считать себя совершенно обеспеченным, а за других я Вам ничего сказать не могу и даже скажу прямо, что если получу из Москвы приказание снова арестовать Вас, то, конечно, немедленно исполню.

Мои вопросы к Вам касаются двух разнородных предметов, Вы хорошо знали бывшего Императора?

Я. В течение десяти лет я был у Него постоянным докладчиком я думаю, что я успел хорошо его узнать.

Урицкий. Как Вы считаете, Он сознавал все то зло, которое Он делал стране, или нет?

Я. Мне трудно ответить на Ваш вопрос, не зная, что подразумеваете Вы под наименованием зла, причиненного Императором России.

Урицкий. Всякий отлично знает это — гонение всего светлого, всякого стремления к свободе, поощрение одного ничтожества, сотни загубленных поборников правды, вечные ссылки, преследования за всякое неугодное слово, наконец — эта ужасная война. Да что об этом говорить! Вы сами только делаете вид, что не знаете этого, о чем я Вас спрашиваю.

Я. Совсем нет, я просто хочу знать точно, о чем Вы меня спрашиваете? Десять лет я был докладчиком у Государя, я хорошо знаю Его характер и могу оказать но совести, что сознательно Он никому не причинил зла, а своему народу, своей стране Он желал одного — величия, счастья, спокойствия и преуспевания. Как всякий, Он мог ошибаться в средствах, по мнению тех, кто Его теперь так жестоко судит.

Он мог ошибаться в выборе людей, окружавших Его, но за все 10 лет моей службы при Нем, в самых разнообразных условиях и в самую трудную пору последнего десятилетия, я не знал ни одного случая, когда бы Он не откликнулся самым искренним порывом на все доброе и

светлое, что бы ни встречалось на Его пути. Он верил в Россию, верил, в особенности, в русского человека, в его преданность себе и не было тех слов этой веры, которых бы Он не произносил с самым горячим убеждением. Я уверен, что нет той жертвы, которую бы Он не принес в пользу своей страны, если бы только Он знал, что она ей нужна.

Быть может — повторяю — Он не всегда был хорошо окружен. Его выбор людей мог быть не всегда удачен, но в большинстве ошибок, если они и были, виноват был не Он, а его окружающие. Я знаю это по себе. Не мало было случаев, когда, мне приходилось говорить открыто не то, что Государь хотел слышать от меня, но я не **{461}** помню ни одного случая, когда, я не имел возможности направить дело так, как мне казалось лучше для блага страны и Его самого, и каждый раз Государь не только принимал мои возражения без всякого неудовольствия, но и благодарил меня за то, что я ему говорил правду и делал это открыто. Другим это тоже не запрещалось, но делали ли они это или не делали — это другой вопрос...

Урицкий. А Вы не думаете, что бывший Император был просто умалишенным?

Я. До самого моего ухода, в начале 1914 года, я видел Государя постоянно. Он был совершенно здоров. Быстро схватывал всякое дело, обладал прекрасной памятью, хотя несколько внешнего свойства, он обладал очень бодрым и быстрым умом, и никогда я не замечал в Нем ни малейших отклонений от этого состоянии. Потом я Его видел всего два раза, после моего увольнения в начале 1914 года. В последний раз я видел Императора. 19-го января 1917-го года. Я пробыл у Него в кабинете всего несколько минут и притом по личному Его вызову и, не видавши Его перед тем целый год, я был поражен происшедшей с Ним переменой. Он похудел до неузнаваемости, лицо Его осунулось и было изборождено морщинами. Глаза совершенно выцвели, а белки имели мутно-желтый оттенок, и все выражение лица с болезненно-принужденной улыбкой и Его прерывистая речь оставили во мне впечатление глубокого душевного страдания и тревоги. Все это было, несомненно, последствием выпавших на Его долю переживаний того времени.

Приехавши домой, я долго не мог освободиться от этого тягостного впечатления, и я сказал моим близким, что считаю Государя тяжко больным.

Урицкий. Я не буду дальше останавливаться на этом вопрос. Советская власть решила внести действия бывшего Императора на рассмотрение народного суда, и Вы, конечно, будете допрошены в качеств свидетеля по этому делу.

Другой вопрос мой касается некоего финансиста Мануса. Знаете ли Вы его, и что можете сказать об этой личности?

О. Манус у меня никогда не бывал, так же, как и я у него, но он дважды посещал меня в министерстве, в бытность мою Министром Финансов, и я имею ясное представление о нем, как о биржевом спекулянте и финансовом дельце. Я должен предупредить Вас, что я был всегда самого дурного о нем мнения и должен быть особенно сдержан теперь, когда **{462}** он содержится в том же арестном положении, как и я. Но своему он имел право быть недоволен мною, т. к. я дважды воспользовался властью Министра Финансов против него, не допустив избрание его в члены правления Владикавказской ж. д. и не утвердивши его в звании биржевого маклера. В том и другом случае я сознательно взвесил все обстоятельства, дела и руководился, конечно, и той

репутацией, которой пользовался Манус в то время.

Урицкий. Когда это было?

О. Это было в 1909 или 1910 году. Манус отплатил мне за это, принявши деятельное участие в интриге против меня, и открыто похвалялся тем, что мое увольнение произошло будто бы при самом деятельном его сотрудничестве. Справедливо ли это — я не знаю.

Урицкий. Если бы Вы узнали теперь, что Манус занимается разными спекулятивными операциями, то как, по Вашему мнению, следует на это смотреть, как на действие чисто спекулятивное, т. е. имеющее целью просто нажить деньги каким-либо способом, или же под ним может быть какая-нибудь политическая подкладка, т. е. поддержка, какой-либо партии или преследование какой-нибудь политической комбинации?

Я. Не зная в чем именно заключались спекулятивные действия Мануса, я затрудняюсь высказать свое мнение, но полагаю, однако, что Манусу едва ли есть теперь дело до политики и что всего вероятнее он, как и всегда, стремился, главным образом, наживать деньги.

На этом кончился мой допрос.

Урицкий дал мне прочитать и подписать сокращенно с большими пропусками многих моих показаний, но верно записанные по существу мои заявления и выдал мне пропуск на освобождение меня, забывши, однако, подписать его. Мне пришлось возвращать его к подписи.

На обращенную мною к нему просьбу возвратить мне, отобранные бумаги и, в частности, четыре доверенности, выданные мне разными лицами в Кисловодске, по которым я должен был немедленно начать хлопоты, Урицкий вызвал своего секретаря, 19-тилетнего Иоселовича, отдал ему об этом распоряжение, и я отправился к себе в камеру, наверх, собирать свои пожитки, чтобы поспешить домой.

Мои товарищи по заключению встретили меня с неподдельною радостью; наперерыв они старались помочь мне в укладке моих немногих вещей. В Канцелярии мне разрешили **{463}** оставить их до присылки за ними человека, и я налегке, с одним пальто в руках поспешил оставить это ужасное помещение.

Внизу, в последних дверях, ведущих в швейцарскую, где отбираются пропуски, я встретил г-жу Раух, которая успела сказать мне только, что моя жена тут же в швейцарской, как и ежедневно, и тщетно добивается свидания со мною.

Нашему с женою обоюдному удивленно при такой неожиданной встрече не было предела. Я не чаял встретить тут ее, а она подумала в первую минуту, что меня переводят в другое место и не могла сдержать своей радости, когда узнала, что я свободен и могу с вей вместе вернуться домой. Она взяла меня под руку, т. к. от слабости мне трудно было идти, и мы тихонько добрели пешком до Моховой, зайдя по дороге в Казанский Собор.

Так кончился этот кошмар. Потом, находясь уже в безопасности, я нередко переживал воспоминания о том унижении, которое пришлось пережить, и все спрашивал себя, почему же меня освободили, когда столько людей загублено, и каждый раз я твердил себе одно — Господь защитил меня и не дал свершиться злому делу. А с другой стороны, приходила в голову мысль, что, может быть, этим арестом я избавился от худшего.

Ведь всего две недели спустя после моего освобождения в Петрограде произведены были массовые аресты, захвачены многие из моих знакомых: Суковкин, Зиновьев, Бутурлин, Лазарев, Ген. Вернандер, Ген. Поливанов... Одних продержали в заключении многие месяцы без допроса и в условиях даже худших, чем меня, других расстреляли без суда.

После освобождения, я первое время почти не выходил из дому, но сравнительно скоро успокоился, пришел, что называется, в норму, и стал вести обычный образ жизни, полный, конечно, всяких тревог и опасений. До 21-го поля все шло сравнительно сносно, но с этого дня начались повальные аресты кругом, среди людей одного со мною круга и даже близких нам знакомых. Арестовали кроме выше перечисленных лиц Князя Васильчикова, В. Ф. Трепова, Охотникова, Графа Толя,
А. Ф. Трепова, близкую нам девушку — Маргариту Саломон.

Каждый день только и приходилось слышать о захвате либо того, либо другого из знакомых. По дому все больше и больше распространялась паника: живущий по одной со мной лестнице Ермолов, женатый на Графине Мордвиновой, перестал **{464}** ночевать дома и стал скрываться, появляясь дома только в неурочное время. Всякий, кто приходил ко мне, задавал мне постоянно один и тот же вопрос: «Зачем Вы сидите здесь, почему не уезжаете куда бы то ни было, ведь Вас, несомненно, опять арестуют и Вам не сдобровать».

Между тем, меня никто не трогал, и я продолжал жить совершенно открыто, находясь, однако, все время под влиянием глубокого душевного разлада. Мне не хотелось думать об отъезде, предпринимать к тому какие-либо шаги, не хотелось, главным образом, покидать дорогих близких людей, с которыми я только что соединился после 7-ми месячной разлуки, не хватало решимости пускаться опять в неизвестность какого-то скитания и бросить на произвол судьбы насиженном место и привычную обстановку, напоминавшую на каждом шагу прежнюю мою жизнь.

А с другой стороны внутренний голос говорил мне, что надо уехать, пора уйти из опасных условий ежеминутного страха и пренебречь всем, во имя спасения главного — жизни. И этот голос говорил все громче и громче, по мере того, что творившийся кругом ужас становился все более и более грозным.

Расстреляли 83-летнего старика — Протоиерея Ставровского, потопили на взморье, между Петербургом и Кронштадтом, массу офицеров, расстреляли В. Ф. Трепова, появился список заложников, испещренный знакомыми именами, разгромили английское посольство, убили в нем Лейтенанта Кроми и выбросили его труп па Набережную.

Намеки знакомых становились все настойчивее и упорнее, и мы стали наводить стороной оправки как и куда можно уехать. Но ответы получались один другого менее и менее утешительные. Становилось ясно, что получить открыто заграничный паспорт, как это удалось Графине Клейнмихель, и выехать открыто хотя бы в Финляндию нам не удастся, ибо мне не только не дадут паспорта, но самое обращение за ним вызовет бесспорно немедленный арест, занесение в список заложников и неминуемую гибель. Пример Князя П. П. Волконского служил тому явным подтверждением. Столь же грустные умозаключения получились и в отношении возможности побега. Из всех сведений было ясно, что попытка побега, особенно с женой, почти неосуществима и сопряжена, во всяком случае, с величайшим риском.

Большинство моих деловых знакомых — Покровский, Лопухин, Ельяшевич, да и многие другие, находили даже, что **{465}** переодевание, сбривание бороды, хулиганская наружность — просто недостойны меня, помимо величайшего риска — быть опознанным и, следовательно, немедленно застреленным.

К этой поре относится один эпизод, который казался мне тогда просто непонятным и разъяснился уже впоследствии, когда я был за рубежом.

Я не раз говорю в моих Воспоминаниях о моих добрых, хотя и чисто деловых отношениях с Генералом Поливановым, не только в ту пору, когда я был Министром Финансов и затем Председателем Совета Министров, но и потом, во время войны.

Когда я был освобожден из заключения, Генерал Поливанов пришел навестить меня, и мы виделись с ним нисколько раз у него до его ареста, обсуждая начатые им приготовления к записи его Воспоминаний недавней поры. После его ареста я не раз заходил к его жене, стараясь поддерживать ее морально в постигшем ее горе и настойчиво прося заходить к нам, чтобы вместе коротать тяжелые дни. Она ни разу не пришла к нам.

В конце августа или начале сентября, Генерал Поливанов был освобожден из Дерябинских казарм на Васильевском острове и тоже ко мне не зашел. Мы встретились с ним в церкви Св. Пантелеймона на улице того же наименования, и он подошел ко мне, чтобы поблагодарить за внимание, оказанное его жене, но на вопрос, что предполагает он теперь делать, ответил уклончиво, сказавши — «буду ждать очевидного нового ареста».

На повторное, приглашение мое видеться со мною, пользуясь близким соседством, он ответил также уклончиво и ни разу не зашел ко мне до самого побега моего заграницу и только однажды, встретившись на улице, молча прошел мимо меня, поклонился и не остановился. Разгадку это то странного отношения я нашел только впоследствии, уже в эмиграции, когда нам стало известно участие, принятое им в советской службе и выразившееся, как сообщалось в газетах, в разработке рижского договора с соседними, отделившимися от России, государствами.

Насколько это справедливо, я не берусь утверждать. Но ставшие потом известными обстоятельства его кончины были также какие-то загадочные.

Недели тянулись за неделями, июль сменился августом. 17-го августа убили Урицкого, и в отместку пошли массовые **{466}** расстрелы и новые аресты, а меня все оставляли в покое. У жены моей явилась даже успокоительная мысль, что меня, вероятно, и совсем не тронут, т. к. освободил меня Урицкий, а его место, после его убийства, занял временно его же помощник Бокий, открыто заявивший, что против меня нет никаких обвинений.

Мы продолжали жить по прежнему, постепенно продавая все, что можно было продать, для того, чтобы жить, а отнюдь не с целью готовить деньги к побегу. Жизнь дорожала не по дням, а по часам, и мы видели ясно, что, проживая до 7.000 р. в месяц, нужно просто иметь большую сумму на руках, чтобы не умереть с голоду. Мы с женой продали всего вещей, в течение летних месяцев и до половины октября, почти на 60.000 рублей (за одни ковры я выручил около 40 тыс. рублей, за экипажи 5 тыс.), да с текущего счета, я снял за все время около 15 тыс. руб. и получил в долг от 3-го Общества Взаимного Кредита — 10 тысяч р.

Таким образом, вместе с остатком в 8 тыс., привезенным с Кавказа, у меня было за лето, на руках, почти 90 тысяч. Больше 35 тыс. мы прожили до конца октября и к этому сроку у меня было на руках около 55 тыс. рублей, да у жены образовался остаток от хозяйства около 5 тысяч, так что всего у нас было круглым счетом — 60 тысяч рублей.

За все это время постоянных колебаний, мучений и нерешительности «ехать или оставаться», мне было сделано три предложения относительно отъезда. Первое — Германским консулом фон Брейтером, в конце августа. Второе — приблизительно в то же время одним офицером Австрийской миссии, жившим в одном с нами доме, и третье — уже в начале октября — совершенно неведомым мне евреем, привезшим из Киева от Залшупина и Криличевского письмо с просьбою довериться этому человеку, через которого будет устроен выезд мой с женой на Украину.

Два, последние предложения были настолько фантастичны и так ребячески обставлены, что я просто не мог отнестись к ним серьезно. О них, не стоить даже и говорить. Предложение же Германского Консула было совершенно деловито и, очень ясно. Германское Правительство, сказал мне Консул фон Брейтер, следуя указаниям Его Величества Императора, желает сделать все возможное, чтобы спасти меня. Оно предложило ему сделать мне в этом смысле определенное заявление, и Консул предлагает мне исполнить то же самое, что было им сделано для **{467}** А. Ф. Трепова. Я должен перебраться с женой на 4—6 дней в Генеральное Консульство, сбрить бороду, одеться в невзрачный, полурабочий, костюм, и мы будем перевезены или в Финляндию или в Псков, смотря по тому, что представится безопаснее в данную минуту.

Во время моей беседы с Консулом я продолжал упорствовать в моем желании не покидать Петрограда. На настойчивые вопросы его почему я не хочу воспользоваться сделанным мне предложением, я ответил ему, что не вижу чем и как я буду жить, добравшись до Германии.

Заграницей у меня нет никаких средств, найти работу в Берлине я не могу; — война тогда была еще в полном разгаре. Добравшись до моей дочери в Швейцарии, я должен буду тотчас же очутиться в самом бедственном положении, т. к. она до сих пор жила на мои же средства, сама их не имеет, и проникнуть во Францию, где у меня остались от прошлого некоторые отношения, мне, вероятно, вовсе не удастся, т. к., несомненно, там будут знать об оказанном мне содействии германским правительством к выезду из России. Наконец, я надеюсь, что меня здесь ни тронут, и мне удастся как-нибудь просуществовать.

Фон Брейтер слушал меня молча, не возразил ни против одного из моих аргументов и только прощаясь со мною, сказал: «мне сдается, что Вы не хотите выразить Вашей главной мысли о том, что Вы просто не желаете получить услугу от германского правительства, которое, быть может, Вы считаете, как и многие, не только виновником войны, но и всего, что происходит теперь в России».

Я попросил его разрешить мне не отвечать на его последние слова, т. к. дать ему исчерпывающий ответ я, во всяком случае, не имею возможности и хочу только еще раз поблагодарить его. На этом мы расстались.

Главную роль в моем отказе Германскому Консулу играла все-таки надежда на то, что меня не тронут, как не трогали до сих пор. У меня просто не было решимости думать об отъезде.

Так шло время примерно до 20-го октября. За этот тяжелый промежуток, кроме вечного страха перед обыском, арестом и расстрелом, страха настолько осязательного, что по вечерам и ночам мы прислушивались к каждому шороху, ожидая каждую минуту, что появятся непрошенные гости и надвинется новая беда, новое унижение, следует отметить только два обстоятельства, одно, глубоко врезавшееся в памяти и имевшее прямое значение для всех последующих событий.

{468} 20-го июля или около этого числа, в официальных большевистских газетах появилось известие: об убийстве Государя в ночь с 16-го на 17-ое июля в Екатеринбурге, по постановлению местного Совета солдатских и рабочих депутатов. Приводилось и имя председателя этого подлого трибунала — Белобородова.

Говорилось тогда об убийстве одного Государя и упоминалось, что остальные члены Его семьи в безопасности.

Сказать, что известие это поразило меня своей неожиданностью, я не могу. Еще в бытность мою на Кавказе, когда мне приходилось слушать кругом меня самые определенные надежды на близкий конец. большевизма, я всегда говорил по поводу перемещения Царской семьи в Тобольск, что это — начало страшного конца, и что гнусная расправа с нею — только вопрос времени. Я не скрывал своего взгляда и говорил многим о том, что думал, и когда мы узнали, что Их увезли в Тобольск, и потом появилось известие, что на Екатеринбург двигаются Чехословаки, нечего было и сомневаться в том, какая участь ожидает их.

На всех, кого мне приходилось видать в Петрограде, это известно произвело ошеломляющее впечатление: одни просто ни поверили, другие молча плакали, большинство просто тупо молчало. Но на толпу, на то, что принято называть «народом» — эта весть произвела впечатление, которого я не ожидал.

В день напечатания известия я был два раза на улице, ездил в трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями...

Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью. Самые отвратительные выражения: «давно бы так», «ну-ка — поцарствуй еще», «крышка Николашке», «эх. брат, Романов, доплясался» — слышались кругом, от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали. Видно было, что каждый боится не то кулачной расправы, не то застенка.

Другое обстоятельство было вызвано постоянными обращениями ко мне близких и знакомых об опасности для меня жить на своей квартире и о предпочтительности, если уж оставаться в Петрограде, то перебраться куда-либо в менее заметное помещение. В одну из моих встреч с австрийцем Гааром, представителем делегации Красного Креста, он усиленно уговаривал мня найти какое-либо убежище, куда бы мы могли скрыться, хотя бы на время, на несколько дней, в связи **{469}** с постоянными толками о близком занятии Петрограда немцами. Перед их приходом все предрекали уличные беспорядки, разгром богатых квартир и неминуемую опасность жить так на виду, как жили мы.

Эти настояния не могли не производить на меня впечатления. Один из говоривших мне об этом, мой бывший подчиненный по Канцелярии Совета Министров, расстрелянный потом вместе с многими лицеистами в июле 1925 года, сказал даже, что такое помещение у него имеется для нас в виду, и что мы можем в любой момент,

воспользоваться им. Оно было указано нам в одном из новых громадных домов в конце Кирочной улицы.

В течение летних месяцев мне приходилось время от времени навещать одного из близких мне представителей дипломатического корпуса, с которым я был связан давними отношениями. Он согласился хранить мои деньги и конверте с документами и вообще относился ко мне с крайней предупредительностью. В одно из моих посещений, мы разговорились с ним об опасности моего положения, о чрезвычайной рискованности побега, вместе с женой, и вообще о безвыходности моего положения. Он решительно не советовал мне предпринимать какие-либо шаги к получению открытого разрешения на выезд заграницу, выражая также уверенность в том, что малейшая попытка в этом отношении будет иметь только один результат — неминуемый арест мой со всеми роковыми его последствиями и так же, как и другие, разделял взгляд о рискованности для меня оставаться в моей квартире, в особенности при возможности занятия Петрограда немцами.

На мог замечание, что, нам некуда деваться, и что всякое приискиванье помещения, при распространившихся доносах и всеобщей подозрительности, также чрезвычайно опасно, он прямо предложил мне и жене располагать свободным помещением одного близкого ему знакомого, предоставлявшего ему распорядиться им, и перейти в него, когда только нам вздумается, даже не предупреждая его, т. к. это лицо дало ему право пользоваться им, и он может нам дать две свободные комнаты, достаточно изолированные.

За все это время нами была сделана только одна попытка к отъезду, однако, совершенно неудавшаяся. Жене посоветовали обратиться к гражданской жене Максима Горького, бывшей актрисе Андреевой, занимавшей должность какого-то комиссара, с просьбой помочь нам выехать ив Финляндию. Жена вынесла и **{470}** это унижение, была милостиво принята, но получила в ответ: «обождите, сейчас ничего не могу, у меня на руках Гавриил Константинович, которого нужно переправить туда же. Может быть после него что-нибудь придумаю».

Около 20-го октября я как-то сидел дома, ко мне позвонили, и вошел никогда не бывавший у нас Н. Н. Столыпин, женатый на Араповой, и пришел только для того, чтобы сказать мне, что он был накануне на Мойке, в дом Юсупова, где помещается немецкое бюро о военнопленных, и там услышал, что в течение ближайших дней предстоит мой арест.

Не медля ни одной минуты я отправился к Германскому Консулу, в помещение которого я ходил изредка, чтобы получать Берлинские газеты, застал его дома и передал ему рассказ Столыпина. Он тотчас же спросил кого-то из своих сотрудников, позвонил по телефону на Мойку и из обоих мест получил ответ, что никто ничего не знает на мой счет, и я ушел совершенно успокоенный предположением, что по всем вероятиям, кто-нибудь просто выразил Столыпину недоумение, каким образом я не арестован, при массовых арестах, а тот просто принял это за предупреждение об аресте и счел своей обязанностью сказать мне об этом.

Ближайшие дни только подтвердили мою догадку: никто не появлялся в нашем доме и до 29-го октября ничто не тревожило нас больше, чем во все предыдущее время.

29-го, во вторник, ровно в $7^1/_2$ час. вечера, когда я только что сел обдать, вернувшись незадолго перед тем из заседания Союза защиты русских интересов в Германии, раздался. телефонный звонок, и

В. К. Кистер обратился ко мне со следующими словами: «Не можете ли Вы сейчас приехать ко мне — очень нужно». На мой ответ, что я недавно вернулся домой, чувствую себя неважно и по вечерам не выхожу из дома, он стал настаивать на непременном моем приезде: «Очень нужно, дело касается Вас, Владимир Николаевич, — ждать нельзя...» Догадавшись в чем дело, я сказал ему: «Если так, то почему же Вы сами не придете, ведь Вы моложе меня и здоровьем крепче?»

— «Ну хорошо, пожалуй, я приду», сказал он... Я передал об этом жене, мы наскоро пообедали и стали ждать приезда Кистера. Через полчаса, если даже не больше, раздался звонок, я отворил сам дверь и вместо Кистера, с письмом от него появилась молодая дама (фамилии своей она не назвала), которая и рассказала следующее: час тому назад их общая **{471}** с Кистером знакомая, г-жа Г. приехала, к Кистеру, у которого обедала и приехавшая ко мне дама, — прямо с Гороховой, куда она ездила чуть ли не каждый день помогая своими связями с большевиками разным арестованным и выручая многих из них.

Мадам Г. передала, что в исходе шестого часа, в Канцелярии следственной комиссии, куда она имеет свободный доступ, она была случайным свидетелем такой сцены между двумя красноармейцами и чиновником канцелярии, с которым она только что имела деловое объяснение. Перебивая ее объяснение, один из солдат самым резким тоном, обратился к служащему со следующими словами: «Что же, долго нам тут ждать, покуда вы будете разговаривать?» На вопрос служащего: «Что Вам нужно и почему Вы кричите на меня, ведь не я Вас задерживаю», солдат постепенно возвышая голос, почти выкрикнул: «Нам велели взять ордер на арест бывшего Министра Коковцова и нам сказано, что его нам выдадут в 5 часов, а теперь уже без малого шесть и никто нам ничего не дает. Мы больше ждать не станем, пусть посылают других».

Служащий канцелярии ответил на это: «У меня никакого ордера нет, а вот да его пришлют, я выдам без задержки».

Солдаты отошли в сторону и стали переговариваться между собой, г-жа Г. спросила чиновника что ему известно. Не делая никакого секрета, он ответил ей совершенно спокойно: «Состоялось постановление комиссии арестовать Графа Коковцова, как заложника, ордер подписан, но число еще не проставлено и мне его не передали. Может быть вышлют каждую минуту, а может быть задержать на день другой, у нас ведь порядки разные».

На замечание г-жи Г., что по газетам Граф Коковцов был уже арестован и освобожден самим Урицким, ей было отвечено: «Мало ли что, теперь уж его не освободят, пора с ним покончить». Солдаты оставались в это время все еще в комнате и медлили уходить. Г-жа Г. подошла к ним и, т. к. они не участвовали в ее разговоре со служащим и даже не слышали его, переспросила их кого им предстоит арестовать. В ответ она услышала: «почем мы знаем, нам сказали, что многих будут арестовывать, а только назвали бывшего царского Министра Коковцова».

Зная, что Кистер близко знаком со мною, Г-жа Г. тотчас побежала предупредить его и таким образом мне стало известно это намерение.

Терять времени было нечего, а тем более проверять правильность слуха точными справками не было возможности, т. к **{472}** каждую минуту, в особенности с приближением ночи (было почти 9 час.) можно было ожидать ареста. Мы решились немедленно покинуть дом и скрыться в предложенном месте, чтобы там обдумать на что решиться.

Я все-таки успел попросить жившего в одном доме со мною В. И. Тимирязева спросить осторожно по телефону Германского Консула, с которым он находился в постоянных сношениях, нет ли у него сведений и узнал тут же из телефонного его ответа, что те же сведения имеются у него, и что мне следует быстро принять решение.

Жена стала собирать кое-какие вещи для 1—2 ночлегов, а я немедленно решился ехать на трамвае к Николаевскому мосту, чтобы оттуда зайти к упомянутому выше нашему близкому знакомому с целью спросить его, можем ли мы теперь найти тот временный приют, о котором была уже речь, с тем чтобы жена, захвативши чемоданчик с вещами и взявши нашу прачку проводить ее также по трамваю в том же направлении, — последовала за мной. Я обещал встретить ее у выхода из вагона, взять вещи, отпустить прачку, чтобы ей не было известно куда мы направились. Так я и сделал. Когда я пришел в указанное место, хозяина не было дома — меня приняла его экономка, которая была заранее предупреждена, сказала, что помещение для нас всегда готово, и я вернулся к месту остановки трамвая, ожидая жену. Бесконечно тянулось время моего ожидания, прошло нисколько трамваев, а жены все еще не было.

Затем более получаса совсем не было трамвая №25, с которым должна, была приехать жена; затем издали появился этот трам, остановился, стала выходить публика, а жены все, еще не было. Наконец, в полутемноте меня дернула за рукав наша прачка: оказалось, что жена вышла, с передней площадки, я просмотрел было ее, — взял чемоданчик, и мы пошли в наше убежище. Хозяина помещения (адрес его был мне указан раньше) также не было дома, мы заняли, однако, отведенное нам помещение и до утра не видели никого. Ночь прошла, конечно, без сна: мы все обдумывали что нам предпринять, т. к. было ясно, что необходимо бежать из Петрограда. Только куда я как?

В качестве первого предположения, на котором я решил остановиться, было просить моего домохозяина вызвать к нему для свидания со мною одного финляндского уроженца, с которым я встретился дважды за последнее время, а также и германского консула, отчасти с целью точнее проверить **{473}** сообщенные мне слухи, но, главным образом, для того, чтобы узнать нет ли у него теперь в виду кого-либо для помощи нам...

Утром, в среду, 30 октября наш хозяин встретил нас самым приветливым образом, просил располагать его помещением сколько нам бы ни потребовалось, одобрил вызов предложенных мною лиц, пригласил их к себе к 2-м часам и советовал только мне не выходить из дома и не приглашать многих из наших знакомых. Я попросил его разрешения повидаться только с одной из моих сестер, в лице которой я хотел проститься со всею моей семьею.

Ровно в два часа съехались все. О консулом фон Брейтером приехал его помощник, который и вел весь разговор. Жена при этом не присутствовала. Асессор подтвердил, что слух о моем близком аресте дошел и до них, и все втроем в один голос они сказали, что не должно быть и речи о каком либо колебании — уезжать или оставаться, что я и без того слишком долго рисковал своею жизнью, что он даже недоумевает каким образом я все еще на свободе, и, что все сводится только к вопросу, куда и как бежать. Оба эти лица решительно отвергли всякую мысль бежать на Украину каким бы то ни было путем — на Оршу или Псков — оба пути представлялись просто закрытыми.

Я тоже отверг эту комбинацию, сославшись на то, что от Украины я давно отказался по соображениям чисто политическим, не желая участвовать в ее сепаратизме. Об этом последнем соображении я, конечно, умолчал в присутствии указанных лиц, и мы стали обсуждать возможность побега через Финляндскую границу. Два плана, были предложены на мое решение.

Мой знакомый финляндец, удостоверив меня в том, что я могу быть заранее уверен в прекрасном приеме и во всяком содействии со стороны Финляндских властей, предложил переговорить с одним рыбаком, недавно перевезшим на парусной лодке Сухомлинова, и его жену с Лахты в Териоки.

Этот план показался мне просто неприемлемым. Пускаться в море на четырехчасовой переезд с женой, под носом у большевистских сторожевых судов, было просто безумьем. Так отнеслись и все присутствующие. Мне предложили тогда другой, более простой, хотя все же рискованный план: попытаться переговорить с тем человеком, который два месяца назад переправил через Белоостров А. Ф. Трепова. Один из участников нашего совещания взялся, правда, только прислать этого человека ко мне, если он согласится в **{474}** принципе участвовать в таком предприятии, предоставляя все дело моему непосредственному с ним соглашению, но изъявив готовность даже поехать вместе с нами в Белоостров, чтобы в случае какого-либо несчастья защитить нас, снабдив нас предварительно какими-либо документами. Все мы, конечно, отлично понимали всю бесцельность такой защиты, если бы ее пришлось применить, но выбора у меня не было, потому что всем было ясно, что мне нужно бежать, а сделать все без большого риска не было никакой возможности.

Мы стали ожидать следующего дня. Пришла моя сестра, чтобы разделить мое томительное одиночество, т. к. жена решилась сходить домой, начать готовить вещи к укладке и прибрать кое-что в доме. Наш хозяин обещал после нашего отъезда постараться помочь нам переслать кое-что наиболее нужное из наших вещей, конечно, если их будет немного, и если нам удастся не только наладить, но и выполнить наш рискованный план.

Мучительно и медленно тянулся день, и еще мучительнее было в бессонную вторую ночь. Рассудок явно рисовал всю опасность задуманного шага, всю невыносимую тягость разлуки со всеми, кого я люблю, и всю беспросветную перспективу скитания на чужбине в обстановке, проникнутой всевозможными неожиданностями и полнейшею неизвестностью того, что нас ждет впереди, решиться на эту прямо-таки смертельную опасность было все же необходимо, потому что тут была еще надежда на спасение, а оставаясь в Петрограде — приходилось только ждать ареста и неизбежного конца.

В четверг, 31-го утром жена опять ушла домой, потому что обыска там ночью не было, о чем мы справились по телефону не в нашей квартире, и никто, видимо, еще не установил наблюдения за нашей квартирой.

Ровно в 2 часа наш хозяин пришел ко мне и сказал, что меня спрашивает некто, назвавшийся Антоновым, которого он и ввел в комнату. Жена, к тому времени вернувшаяся домой, вышла, и мы остались с ним вдвоем. Первое впечатление было самое неприятное — невольно промелькнула, мысль: вот у кого в руках теперь моя жизнь и жизнь жены; мы погибли, если только он выдаст нас большевикам.

А они, разумеется, заплатят ему больше, за то, чтобы уличить меня в желании бежать, нежели я смогу заплатить ему за наш отъезд. Его внешний вид не внушал мне тоже никакого доверия, и откуда пришел он, мне было совершенно неизвестно.

{475} — Что Вам угодно? — невозмутимо опросил он меня. Я ответил, что, вероятно, ему сообщено уже о причине моего желания видеть его, но он категорически на это ответил, что лично никого не видел и ему только передано одним знакомым, что его просто желал видеть кто-то, находящейся в указанном ему доме.

Мне пришлось объяснить ему наше положение и в конце моего короткого изложения я сказал ему прямо: «скажите мне просто и откровенно, можете ли Вы помочь моему выезду из Петрограда, а если не можете или считаете время слишком опасным и не подходящим, то прямо откажитесь, не подвергая себя никакому риску, а я, в таком случае, освобожу моего хозяина от опасного для него моего пребывания в его доме и вернусь к себе, в ожидании своей неизбежной участи».

Выслушавши меня, Антонов сказал: «Вы одни собираетесь уехать или с супругой? Вас одного я берусь вывезти, но с дамой сейчас решительно нельзя выбраться».

Я сказал ему, что в таком случае, мне приходится отказаться от моего намерения, потому что жены я не оставлю и предпочитаю погибнуть быстро, нежели прийти медленно к тому же концу. Антонов стал уговаривать меня сначала уехать одному, так же, как сделал Трепов, и обещал через несколько дней доставить в Финляндию и жену. Я категорически отказался, объяснивши ему, что с моим отъездом более чем вероятен арест моей жены. Я истомлюсь от неизвестности и не дождавшись ее приезда вернусь обратно, чтобы освободить жену и отдаться моей судьбе.

Тогда Антонов, просидевши молча несколько томительных минут, уставился на меня глазами, в упор и титулуя «Ваше Сиятельство» задал мне, поразивший меня вопрос: «ведь Вы были близки с таким то (он назвал мне одного давно умершего близкого мне человека), и даже помогали ему всю его жизнь? В его доме, в окрестностях Петрограда, я часто мельком видел Вас, будучи сам еще совсем молодым человеком, а теперь скажу Вам, что он был моим истинным благодетелем, поднял меня из грязи, поставил на ноги, научил честно работать, женил меня и был крестным отцом моего ребенка. По памяти к нему я должен спасти Вас и Вашу супругу и, может быть, сам погибну, но Вас в Финляндию перевезу. Нужно только это сделать скоро, и чтобы никто об этом ничего не знал».

Эти слова произвели на меня ошеломляющее впечатление и я, уже привыкши за последнее время видеть целый ряд **{476}** чудесных явлений надо мною, сказал себе, что, видимо, Господь не хочет еще моей гибели и ведет меня каким-то неведомым мне путем. Куда? Зачем? К чему? На это у меня не было, да и не могло быть ответа ...

Да и на самом деле: каким логическим, рассудочным путем можно додуматься до того, что в самую страшную минуту жизни, когда мне казалось, что я предаю мою жизнь в руки какого-то неведомого человека, судьба ставит меня лицом к лицу с человеком, обязанным всей своей жизнью моему, давно умершему другу, и желающим, в моем лице, отплатить ему за то добро, которое он ему сделал.

Случай! скажут мне. Да, конечно, случай, но такой же случай был и мое возвращение с Кавказа и встреча с матросами на Тихорецкой и их изобретение, что я хочу занять место помощника Троцкого, и охрана ими

нашего вагона во время разгрома поезда на ст. Богоявленской и допрос мой Урицким и освобождение из тюрьмы. Все «случаи», но все они спасли до сих пор мою жизнь, как была она спасена в 1909 году в Харбине, когда рядом со мной был убит Князь Ито, и через мою голову пролетели пули, ранившие японцев.

Мы быстро условились с Антоновым и установили все подробности отъезда. День он назначил сам — субботу 2-го ноября и тут же предложил целый план. Ни я, ни жена не должны менять нашего костюма, мне он посоветовал только подрезать бороду, заменить шляпу фуражкой, вещи должны быть уложены в небольшой ручной чемоданчик, обернутый в старый мешок, за ним придет, посланный Антонова не позже 10 часов утра; сам Антонов придет за мной в 12 час., и мы направимся кружным путем по трамваям и приморской дороге и сядем в Финляндский поезд в Озерках или на Удельной, а за женой приедет жена Антонова около 2 часов и поедет с нею прямо на Финляндский вокзал и выедет с поездом 3 часа 40 минут. В тот же поезд сядем и мы. Во всем остальном Антонов просил положиться на него. Плата за все предприятие была определена им в 4.000 руб., причем Антонов сказал, что проводит меня на Финляндскую сторону и там уже получит от меня письма для доставки моим близким. Деньги я отдам ему тоже в Финляндии.

Вечер этого дня и весь следующий день мы провели несколько менее тревожно. Отношение Антонова к близким мне людям, внесло значительную долю облегчения в наши опасения. Явилась, во всяком случае, надежда на то, что он не выдает нас большевикам. Спокойнее смотрела и сестра моя, **{477}** совсем бодр был и наш хозяин, которого я мало знал, но он проявил удивительное участие к нам. Утром в пятницу пришла проститься со мною К Ю. Икскуль, но показалась мне, значительно менее бодрою и уверенною, чем в первое посещение в среду. Она стала, жаловаться на свою усталость, на полное одиночество после моего отъезда, и я всячески ее уговаривал уехать в Балтийский край, где у нее масса родных и знакомых, а оттуда, легче пробраться через Германию в Швейцарию. или в Грецию к брату. Этот план ей, по-видимому, понравился, и после обсуждения разных мелочей и подробностей она ушла от меня, видимо, успокоенная, успокоивши и меня категорическим обещанием уехать из Петрограда в конце декабря или начале января.

Никто из нас не подозревал, что через 11 дней развалится Германия, Балтийский край будет очищен ею, временно захвачен большевиками и возможность выехать туда, а затем далее заграницу — отпадет.

Днем в пятницу жена опять пробралась в дом — укладывала вещи и готовила перевезти небольшой чемодан, куда было условленно с нашим хозяином сложить добавочные вещи. Я провел опять часть времени с сестрой, а вечер и ночь (третья без сна) прошли в нервном ожидании утра и связанных с ним событий. Жена подрезала мне бороду и так нервничала, что у нее тряслись руки, и когда эта операция была кончена, то мы оба сказали, что никакой перемены она не дала.

В субботу, с 8-ми часов утра мы были уже на ногах, и я ждал, придут ли за нашим ручным мешком. В 10 час. никто за ним не пришел; пришла сестра проститься, и мы стали ждать прихода Антонова. Наступил условленный час — 12, он не пришел, наступило и 2 часа, никто не пришел и за женой, пробил час отхода, финляндского поезда 3 ч. 40 минут,. а мы все сидели втроем измученные; неизвестностью и расстроенные в конец невозможностью что-либо предпринять.

Вспоминать эти томительные часы, — их было более шести, просто жутко. Только в пятом часу, минуя всякие предосторожности, Антонов позвонил по телефону, вызвал прямо мня, обнаруживая тем место моего пребывания и, выражаясь иносказательно, дал мне понять, что произошла неожиданность, что все отложено до понедельника, и что между 6 и 7 час. он придет объяснить причину.

Ровно в 7 часов Антонов приехал, и дело разъяснилось совсем просто. Его надежный агент на границей Финляндии, **{478}** без которого он не мог ничего сделать, оказался отлучившимся на другую часть границы и просил отложить наш отъезд до понедельника. Нам не оставалось ничьего другого, как принять эту томительную отсрочку, хотя нам становилось просто не под силу жить в этой атмосфере неизвестности, да и наш хозяин начинал, видимо, тревожиться нашим продолжительным пребыванием и возможностью его обнаружения.

Антонов внес еще изменение в установленную им же программу нашего отъезда. Сославшись на своих сотрудников на границе, он решительно не допустил, чтобы мы взяли с собой даже наш ручной чемоданчик. Пришлось согласиться и на это и ограничиться тем, чтобы завернуть в газетную бумагу мою ночную рубашку, женин тоненький шелковый капот, две зубные щетки, кусок мыла и одну гребенку.

Бесконечно тянулись полтора дня до назначенного часа выхода в понедельник из дома. Мы провели все время вдвоем. Только днем в воскресенье пришла повидать меня наша верная Дуня, прослужившая всю свою жизнь около нас. Она долго стояла около дивана, на котором я сидел, спокойно уговаривала меня непременно ухать, и все не уходила, а смотрела пристально не меня, как будто бы молча прощалась со мной и, наконец, ушла по прямому совету жены, сказавши, что в нашем доме начинают поговаривать о том, почему меня не видно уже несколько дней.

Мы больше с нею не видались — она умерла в марте следующего года.

Ночь прошла, конечно, опять без сна и все в тех же бесцельных разговорах о том, что ждет и какая опасность предстоит нам до перехода Финляндской границы. Тоскливо и мучительно было на душе. Все те же думы, тот же заколдованный круг размышлений путанных, неразрешимых о том, что будет: разлука с близкими и любимыми людьми, перспектива скитальчества, какая ожидает нас. Я сознаюсь безо всякого стыда — страх перед ожидающей нас опасностью становился просто невыносимым...

Порою хотелось бросить все, вернуться к себе, домой, повидать покинутых людей, сходить ко всем близким проститься с ними, вернуться к себе и ждать минуты ареста и неизбежного конца. Я не говорил об этом жене, чтобы не увеличить ее опасений; она с поразительным мужеством переживала все, но мне было ясно, что вот-вот силы оставят ее, и мне не на кого будет опереться в последнюю **{479}** минуту. Никогда не забуду я какую силу воли проявила она и чего стоило ей разделить мою участь.

Подошел, наконец, понедельник 4-го ноября, наше старое 22 октября, день Казанской Божией Матери. Жена сходила рано утром помолиться в ближайшую церковь. Антонов опять заставил нас волноваться, боле часа опоздав к нам, и вместо него пришел за нами, как было, впрочем, условленно (но часом позже) брат его жены. Мы простились с хозяином вашего временного пристанища, перекрестились и вышли во двор дома, имевший выход на другую улицу. Я зашел в подъезд во двор, переменил шляпу на фуражку, и мы расстались с

женой... Она пошла с женою Антонова прямо к трамваю, а я с ее братом пошел пешком, чтобы сесть в проходящий трам у угла Набережной, у здания Академии Художеств.

Оказалось потом, что в первом вагоне того же трамвая сидела жена, чего я и не подозревал. На Васильевском Острове пришлось неожиданно спешно выйти из вагона — оказалось большое скопление остановившихся трамваев, вызванное скандалом, учиненным пьяными солдатами. Мое воображение рисовало, что, может быть ищут меня, мы перебежали на другую сторону, прошли вперед и стали ждать подходивших трамваев. Пропустивши несколько из них, в которые нельзя было втиснуться, мы нашли место в одном из последних вагонов (потом оказалось, что в том же самом, в котором уже мы ехали) и поехали дальше до утла Большого и Каменноостровского проспекта. Там пришлось долго ждать трама № 2, идущего с Михайловской в Новую Деревню, и, наконец, мы добрались до вокзала Приморской жел. дороги.

Недалеко от подъезда нас встретил Антонов и жестами показал, что нужно вернуться к мосту, и уже подойдя к нему он посоветовал идти пешком на ст. Ланскую, сказавши, что ему не нравятся два господина, следившие за кем-то у самого вокзала.

Идти нам пришлось верст пять, все по знакомым местам, по которым я так часто, сначала на извозчике, потом в коляске или на автомобиле ездил к близким и друзьям а теперь... мерил расстояние собственными ногами, да еще в такой обстановке.

Мы пришли рано на ст. Ланскую, долго бродили кругом и, когда подошел поезд, спокойно сели в него.

В условленном вагоне — втором от паровоза — жены не оказалось, не нашли мы ее и в первом, и я начал уже **{480}** тревожиться не случилось ли с ней чего-либо в городе, но она оказалась в следующем, третьем вагоне. После Парголова она, перешла в наш вагон со своей спутницей, и мы спокойно продолжали наш путь, сидя в разных углах вагона. В Дибунах, последней станции перед Белоостровом, наш вагон, как и все прочее, заперли на ключ, чтобы выпускать пассажиров в Белоострове поодиночке только после проверки документов. Невольно напрашивался вопрос кто и как произведет проверку, узнают ли меня или нет? У меня на руках, для представления при проверке, был паспорт моего спутника и как-то странно, но в эту минуту у меня не было более никакого страха.

Когда поезд подошел к Белоострову, Антонов взглянул в окно, чтобы посмотреть кто вскочит на подножку для проверки паспортов и шепнул мне на ухо «славу Богу, — наш».

Мы все спокойно вышли из вагона, держа в руках паспорта, никто не взглянул в них и т. к. наш вагон прошел дальше вокзала, то мы все совершенно беспрепятственно вышли через калитку на шоссе и отправились вдоль дороги, постепенно. удаляясь от вокзала. Влево от нас, в расстоянии полверсты ясно было видна река Сестра — граница Финляндии. Между нею и дорогой не было ни души, и мне казалось, что следовало только еще отойти от станции и прямо идти по лугу к реке. Я сказал об этом, Антонову, но он только улыбнулся и ответил: «Не так это просто, — пограничная стража стоит на своих местах и перестреляет нас как куропаток».

Нужно было еще ждать почти два с половиной—три часа, когда совсем стемнеет и уходить с дороги, чтобы не дать повода обратить на нас внимание. Мы отошли версты полторы от станции.

Жена Антонова простилась с нами, взяла проезжавшего пустого извозчика и отправилась к себе на дачу — на случай нашего обнаружения в вагоне, мы условились, что едем смотреть дачу на зиму, — и мы вчетвером, Антонов, его зять и мы двое, направились обратно, по направлению к станции, но скоро свернули с мощеной дороги к одинокому домику в конце боковой дороги. Дом был хорошо освещен электричеством, но внутри было очень грязно. Нас встретила отвратительная чухонка и сказала на вопрос Антонова, что муж ее на вокзале, и сейчас придет. Когда мы вошли, с грязного дивана поднялась заспанная фигура мужчины, почему-то сразу показавшаяся мне знакомой. Потом оказалось, что это управляющий Английским **{481}** магазином Друза, англичанин, тоже убегающий из столицы.

Через минуту явился хозяин домика, в котором проживал участник нашего побега. Из-за отъезда именно его нам пришлось ждать два дня. У меня было совершенно спокойно на душе; казалось, что все опасное осталось позади. Мы стали закусывать взятым с собою хлебом с маслом, и я спросил хозяина дома, все ли в порядке, и можем ли мы считать себя в безопасности? Его ответ не очень, однако, успокоил меня.

— Как Вам ответить, начал он, три четверти опасности Вы прошли, а четверть еще впереди.

На мой вопрос что именно опасного впереди, он дал такой недвусмысленный ответ:

— А вот что: если Ваш отъезд из города обнаружен и захотят задержать Вас, то, несомненно, дадут знать по телефону нашему коменданту, тот позовет кого следует и даже может послать за мною, либо за моим жильцом и, если Ваши приметы будут точно указаны, то нам ничего не останется, как отвезти Вас к коменданту, а тот, конечно, сразу отправит на Гороховую. А может случиться и так: солдаты теперь занимают посты на ночную смену и мало ли кто может зайти и сюда, направляясь к своим постам просто на огонек и если войдут и спросят кто Вы такие, — мы ответим, что Вы зашли и просили обогреться, а если им вздумается отвести Вас к коменданту, то что же мы можем сделать?

Не могу сказать, чтобы это рассуждение не встревожило меня. Раздумывать было, однако, нечего, да и, времени не оставалось; хозяин квартиры посоветовал нам тут же уйти из освещенного помещения, опасаясь, что огонь скоре привлечет непрошеных гостей, и повел нас троих — меня жену и англичанина в темное помещение где-то неподалеку во двор соседнего дома, занятое, по-видимому столярной мастерской. С трудом нащупали мы скамейку, на которой могли сесть. Двери оставили полураскрытыми и попросили нас не разговаривать и не курить.

Томительно тянулось время до 8-ми часов; положение было неприглядное, но чувства страха как-то просто не было. Какое-то отупелое безразличие владело всем существом. Время я считал по моим часам с боем. Стало совсем темно.

Ровно в 8 часов вошел Антонов и сказал: «Теперь все готово — можно идти». Мы вернулись в прежний дом, в **{482}** котором нашли еще двух мужчин — английских офицеров, бегущих из России, и нескольких солдат, собравшихся вести нас на границу. Антонов вызвал меня в соседнюю комнату и заявил, что его помощники требуют выдать им деньги вперед, а, без того не согласны вести. Пришлось не рассуждая подчиниться, потому что выбора у нас все равно не было, а так как сам он еще раньше сказал, в изменение того, что он прежде предполагал, что

доведет нас только до речки, а на финляндскую сторону уже не пойдет из опасения, что не сможет вернуться оттуда, то я сказал ему при его сотрудниках:

«Берите и Вашу долю. Будет благополучно — тем лучше, случится беда — мне деньги не будут больше нужны».

Я передал ему еще 1000 р. сверх того, что было условленно. После этого, нас троих, раньше других, повели из дома, оставивши в нем пока двух английских офицеров на вторую партию.

Первым встал высокий солдат с большою черною бородою, вторым я, уцепившись за перемычку его шинели, за мной жена, поддерживаемая Антоновым, а в хвосте— англичанин. Темнота была кромешная. С величайшими предосторожностями, молча, выбрались мы по мосткам на шоссе, пересекли его и стали перебираться на луг через канаву, Я оборвался с дощечки, перекинутой через канаву, и с трудом выбрался из скользкой грязи, каким-то чудом не потерявши даже калош. По лугу идти было лучше, глаз начал привыкать к темноте, стали мы различать проблеск воды в речке и подошли к тому месту, где должна была находиться лодка с Финляндского берега...

Лодки не оказалось. Наши провожатые порядочно струхнули, особенно тот, кто вел нас, не скрывши своего смущения словами: «Речки вам не переплыть, а возвращаться тоже не к чему». Он тихонько свистнул — ответа не было. Мы стояли в раздумье, конечно, очень короткое время, но оно нам казалось бесконечно длинным, как вдруг мне послышался недалеко с правой стороны плеск воды и скоро, с крутого берега я различил, что подошла небольшая лодка с гребцом, стоявшим на корме. Он причалил к берегу плохо, не боком, а носом. Пришлось спускаться по крутому берегу, не видно было куда поставить ногу. Первой спустили жену, — она встала на дно лодки и конечно раскачивала ее. Я чуть не оборвался с берега, прямо в воду и садясь в лодку едва не опрокинул ее. Жена подвинулась к гребцу, я подполз к ней, а на носу примостился англичанин. Мы простились с Антоновым и лодка стала **{483}** тихонько пересекать речонку. Пристали мы к противоположному берегу опять неудачно — прямо уткнулись кормою и выбраться из шатающейся лодки не было никакой возможности. Гребец, оказавшийся потом финляндским офицером С., кое-как приблизил лодку бортом, жена выбралась гораздо ловче, чем я, сверху к ней протянулась невидимая рука, и она взобралась на верх крутого откоса. Я же обрывался нисколько раз, едва не скатился обратно в воду. Выбиваясь из сил, я с трудом добрался до края обрыва, попал головою в сучья дерева и кое-как, почти на четвереньках вполз наверх. Тут мне тоже кто-то помог; это оказался финляндский солдат по фамилии Пананен, сказавший мне на очень чистом русском языке:

— «Мы вас караулим третий день и уже думали, что Вы пропали». Незаметно из темноты выполз наверх англичанин, и мы стали было громко разговаривать, не скрывая своей радости спасения, но нас разом, однако, усмирили ваши новые спутники словами:

— Что вы? Ведь на том берегу ваши солдаты, они станут стрелять на голос и тогда что?

Мы замолкли, постояли нисколько минут, зашли за стенку какого-то длинного сарая, отдышались и пошли прямою просекою на ясно видимый вдали электрический фонарь ст. Раиоиоки.

Незаметно, без всякой усталости, шлепая по лужам и по грязи, прошли мы почти $2^1/_2$ —3 версты до вокзала, вошли в него, и наши провожатые сдали нас дежурному агенту, заменявшему Коменданта М.,

который должен был быть предупрежден моим знакомым финляндцем о нашем появлении. Агент позвонил куда-то по телефону, ему ответили, что нас ждут на ст. Териоки, где и приготовлен ночлег, по-видимому, в карантине, и он стал писать нам документ о личности, сказавши мне, что отлично меня знает, потому что часто видел в Петрограде у покойного Плеве, когда, он был Статс-Секретарем по делам Финляндии.

Мы решили ждать поезда, немного разочарованные тем, что нам нельзя поехать прямо до Выборга, где нам хотелось отдохнуть 2—3 дня от такого пережитого и приготовиться, в особенности в денежном отношении, к дальнейшему пути.

— Скоро появился Комендант М. в сопровождении своего помощника. На нашу просьбу помочь нам отправиться прямо в Выборг, он позвонил по телефону, о чем-то наставительно и решительно говорил по-фински и затем сказал, что мы с **{484}** женой можем ехать прямо в Выборг, и что поезд будет готов через 20 минут. Подошли наши отставшие спутники, английские офицеры, пришел «отрекомендоваться» наш «лодочник», бывший гвардейский офицер, и нас отвели, прямо-таки с почетом к поезду, поручили особому внимание обер-кондуктора, и Комендант М. на прощание сказал нам, что в Выборге уже дано знать, и что на вокзале нас встретит комендант города.

Вошли мы в отведенное; нам отделение совершенно пустого вагона 1-го класса и не поверили своим глазам: образцовая чистота, тепло, бархатные диваны, графин с водой, электрическое освещение, ни соринки на полу. Жена, как только села на свое место, перекрестилась и сказала: «Господи, да ведь это рай, где это мы?» и моментально уснула как убитая, после пяти бессонных ночей. Я не смыкал глаз. Сознание спасенной жизни чередовалось с мыслью о разлуке с родиной и со всеми, кого я оставил на произвол судьбы, было и радостно и горестно, и порою какое-то безразличие притупляло остроту того и другого.

Через $2^1/_2$ часа мы подъехали к Выборгу. Я с трудом разбудил жену, мы вышли на платформу, где какой-то господин в цилиндре искал уже нас.

Это и был комендант города, директор Карельского народного Банка Рантакари, знавший маня тоже понаслышке, а, может быть даже когда-либо обращавшийся ко мне. Он повел нас к выходу, посадил на приготовленного извозчика, сам сел на другого, попросил извинения за то, что, получивши поздно извещение о нашем прибытии, не мог приготовить нам лучшего экипажа, и привез нас в гостиницу Андреа. Было ровно 12 часов ночи. В ту минуту, когда мы вошли в ярко освещенный вестибюль, из соседней, еще более ярко освещенной столовой, раздались, точно но какому-то волшебному заказу, звуки моего любимого Глинкинского романса «Не искушай меня без нужды». Каюсь, я просто остолбенел и немного не хватало, чтобы я расплакался.

Мы наскоро поужинали и легли спать в чистую постель, ясно понимая, что никто не придет и не арестует нас больше. Начиналась новая скитальческая жизнь.

Она дала нам в начале несколько отрадных минут, скрасивших тяжесть разлуки с родиной, но затем привела нас к таким глубоким и беспросветным разочарованиям, что часто приходилось спрашивать себя — стоило ли спасать жизнь, если она обратилась в бесконечное проживанье на чужбине.

Во вторник, 5-го ноября, я спустился вниз раньше жены, **{485}** чтобы заказать кофе.

В столовой, навстречу мне поднялся высокий, немолодой человек еврейского типа, назвал себя Гуревичем и проявил такую неподдельную и бурно выражаемую радость видеть меня живым и спасшимся из рук большевиков, что он просто меня растрогал и привел в величайшее смущение.

Его первые слова были: «Вы не знаете меня, но я давно знаю Вас и горжусь тем, что первым вижу Вас здесь, и прошу Вас, окажите мне величайшее одолжение, разрешите мне помочь Вам чем только я могу. Я располагаю сейчас свободными средствами и прошу Вас об одном — возьмите столько, сколько Вам нужно, чтобы не нуждаться ни здесь, ни заграницей, куда Вы, конечно, должны ехать».

Горячо поблагодаривши его и отклонивши, прямую матерьяльную помощь, я воспользовался им в целом ряде мелочей. Он отвез меня к его знакомому местному Губернатору, чтобы дать мне законный финляндский паспорт, на время нашего пребывания в Финляндии, проводил в фотографию меня и жену, ездил со мной в полицию, разослал во все концы Финляндии телеграммы о моем благополучном приезде всем моим знакомым, которых я мог назвать на его вопросы, — Шайкевичу, Блоху, Грубе, Савичу, вызвал их всех на свидание со мною, ездил в банк менять небольшое количество русских денег, которое мне удалось вывезти из дома, и вообще, за весь день буквально не знал как и чем помочь мне.

Этот первый встречный в Выборге, еврей, никогда не обращавшийся ко мне ни с какими просьбами и не получавший от меня никаких одолжений, проявил по отношению к нам такую теплоту и даже нежность, что мне хочется и теперь, издалека, сказать ему слово глубокой и самой искренней благодарности.

Во время моих передвижений по Выборгу с Гуревичем мне пришлось испытать еще одну отрадную минуту. На улице мы встретили члена Правления Международного Банка Я. И. Савича. Он не знал о моем приезде и думал, как и многие, что я уж погиб. Нужно было видеть с каким криком радости он встретил меня, бросился ко мне на шею и нисколько раз поцеловал меня. Проходившие мимо нас невольно останавливались я, видимо, недоумевали такому проявление радости.

На другой день, 6-го ноября, рано утром, мы съездили на ст. Вуоксениска к Принцу Ольденбургскому повидать его и Графиню Сельскую и вернулись уже довольно поздно.

Через день, в четверг, 7-го ноября, вечером, в хорошем спальном вагоне, мы уехали в Гельсингфорс, где на утро в **{486}** пятницу, встретили такой же радушный прием, и проведенные там пять дней прошли совершенно незаметно. Там мы получили пересланные нам кое-какие наши вещи, как было условленно еще до нашего выезда. Мы переоделись, приняли приличный вид, повидали довольно многих, три раза даже были приглашены на завтрак и обед, ответили тем же и 14-го днем уехали в Стокгольм, предварительно оказавши внимание Шведскому посланнику Генералу Брендстрему, который за день до нас проехал в том же направлении из Петрограда, чтобы более не возвращаться туда...

Во время нашего пребывания в Гельсингфорсе, там же, в лучшей гостинице жил и Генерал Сухомлинов с женою. Мы с ним не виделись.

В Або мы сели поздно вечером на прекрасный пароход Ойхонна.

Мы долго спали, потому что погода была удивительно тихая, и с раннего утра не сходили с палубы, — было красиво, солнечно, хотя и

холодно.

В Стокгольм мы прибыли довольно поздно, Около пяти часов, но на берет сошли только в семь, после бесконечной волокиты с медицинскими и полицейскими, расспросами. Нас встретил тут только что приехавший перед нами Шведский посланник в России Генерал Брендстрам (он приехал двумя днями раньше нас) и оказал нам всевозможное внимание, приехал встретить, прождал целые два часа нашего спуска на берег, выручил нас из невозможных таможенных придирок, отвез на автомобиле — величайшая редкость в ту пору в Стокгольме, впрочем, так же, как и конские экипажи — в гостиницу, уступил нам свою комнату, а, сам перебрался в соседнюю, маленькую, лишь бы дать нам сносные условия жизни.

Здесь мы пробыли, целых 3 недели и только 6-го декабря двинулись в дальнюю и сложную дорогу.

Не стоит, заносить впечатлений об этих 21 днях. Не будь гложущей тоски по близким и по родине, мы просто жили бы хорошо и спокойно. Чистый, благоустроенный город, прекрасная гостиница, радушие всех, окружавших нас, — все это давало полную возможность отдохнуть от пережитых волнений, а надежда на то, что с заключением перемирия и окончанием войны на западном фронте, дойдет очередь и до России, и другие государства, поймут хотя бы собственный свой интерес и встанут, наконец, против кровавого насилия, давало основание смотреть с верою в будущее и даже нетерпеливо ждать **{487}** бесконечных формальностей с получением разрешения на въезд во Францию; обмен телеграмм потребовал 14 дней.

Даже внезапно возникшая в Германии революция со всеми ее проявлениями, так верно воспроизводившими наши русские переживания в начале 1917-го года, воспринималась всеми, и в том числе мною, сравнительно спокойно, скорее с любопытством, чем с тревогой и как-то верилось, что там не будет того, что происходит у нас, что союзники, сломившие военную силу Германии, найдут путь заключить мир скоро, почетно, прочно и обратятся на истребление очага заразы там, где он был зажжен при помощи той же Германии, — то есть у нас.

С этой надеждой, сравнительно спокойно, выехали мы 5-го декабря вечером из Стокгольма. Проводил нас на вокзал молодой Эдгар Икскуль, привезший мне на вокзал успокоившую меня телеграмму от Г. Бенака, что бумаги моей дочери, который дали мне немало хлопот и беспокойств, прибыли в Париж из Дании, и мы в отличном настроении легли спать. Мысли о том, что все эти бумаги более ничего не стоят, в ту пору у меня не было, и я радовался тому, что найду их в Париже и сумею реализовать их.

На утро 6-го декабря, в $6^1/_2$ часов пришлось пересаживаться на Норвежской границе в простой вагон второго класса, т. к. первого класса в поезде не было, и тут опять произошел оригинальный эпизод, оказавший нам немалую помощь в дальнейших, далеко не таких простых передвижениях.

Выбирая себе место, мы вошли в отделение, в котором сидел только один человек. Раннее утро клонило нас ко сну, и мы почти не разговаривали друг с другом, а господин этот жадно проглатывал одну газету за другой. После какого то короткого вопроса и ответа, между женой и мною, он спросил меня на очень плохом русском языке, русские ли мы, и стал сначала пытаться говорить по-русски, но т. к. это ему не давалось, то скоро он перешел па английский язык, сказал, что знает

больше Москву, чем Петроград, что имеет много русских друзей, из числа, живших на Дальнем Востоке, едет в Англию, в Ливерпуль, где состоит пастором, и затем спросил нас не читали ли мы случайно очень интересное интервью, которое напечатано в шведских и финляндских газетах, с бывшим русским Премьер-Министром Гр. Коковцовым, которое очень понравилось ему своею ясностью и определенностью изложения и встретило отличный прием во всей шведской прессе, **{488}** конечно, кроме крайних социалистических листков, отозвавшихся о нем очень враждебно.

Я сказал ему, что читал это интервью, не обнаруживал моего инкогнито, и мы беседовали очень мирно почти до самой Христиании. За час до нашего приезда, туда, он стал выражать сожаление, что не запасся билетом на пароход из Бергена, а то был бы рад продолжать путь с нами и передал мне свою карточку с надписью «Пастор Сиоблом Ливерпуль Англия», такой-то адрес.

Мне пришлось дать ему свою карточку в обмен, и велико было его удивление, когда он узнал, что я и есть автор интервью. Старался он, что называйся во всю, быть внимательным, услуживал, чем только мог, куда-то быстро сбегал, на промежуточной станции, чуть было не отстал от поезда; оказалось, что он давал знать своему приятелю, русскому консулу в Христиании — Кристи, о нашем приезде и, когда мы, через ¾ часа подъехали к вокзалу, Кристи, который успел уже получить телеграмму, выехал встретить нас, показал нам город.

Мы пригласили нашего пастора обедать с нами около пяти часов в прекрасной гостинице, где к нам подошел бывший лицеист Грэвс, а вечером мы заехали к Кристи, где нашли М. И. Терещенко, и когда пришли около 10 час. на вокзал, то оказалось, что наш милый пастор раздобыл себе все-таки место в нашем спальном вагоне и решил продолжать путь до Берлина. Тут он опять был нам просто незаменим. Благодаря ему и Кристи, нас встретил в этом городе русский Консул Емельянов, посадил в автомобиль и повез отбывать нескончаемые формальности во французском и английском консульствах, в пароходной компании, вызвал Директора этой компании, который дал нам дневной приют в пароходной же гостинице, только что открытой, правда весьма примитивной, а пастор сдал наши вещи на хранение на вокзале и вечером перенес их на пароход. Словом, благодаря этим людям мы не пропали в Бергене, но все же были рады выбраться поздно вечером из него, хотя морское путешествие не предвещало нам большого удобства.

Мы попали на маленький, неважный пароход Ирма, всего в 760 тонн действительных. Каюту нам отвели очень тесную, с плохими, узкими и короткими кроватями; ни сидеть, ни стоять в ней не было никакой возможности и пришлось, в сущности, пролежать все 36 часов пути.

На утро я попробовал было выйти, но оставаться на палубе — не было возможности из-за дождя, да и стало порядочно **{489}** покачивать наше утлое суденышко, двигавшееся очень медленно, вследствие малого количества угля. Жена вовсе не решилась вставать, так как ей становилось плохо при первой же попытке подняться с койки, и мы просто пролежали более суток, считая даже с утра, последовавшего за первой ночью.

Днем я попытался было снова пройти в столовую, выпил даже чашку кофе, но мне стало не по себе, и я предпочел также остаться лежать в постели.

Ночь прошла сносно, качка стала меньше, да и вообще жаловаться на нее не было основания — море было сравнительно недурное, — и будь наш пароход побольше, да имей он получше ход, мы должны были бы считать наш переход самым удачным.

На второе утро, в понедельник, с 9-ти часов, показался вдали берег, море совершенно успокоилось, все вышли наверх, стали завтракать, а к 12-ти показался Нью Кастль, но подход к нему тянулся бесконечно. То мы стояли часами на месте, то тащились черепашьим ходом между рядами судов и только к 4 часам пристали к берегу. Начались бесконечные формальности, в которых и тут нам помог наш милый пастор, шепнувши кому-то на ухо кто мы такие. Нас выпустили первыми после Британского Консула в Москве Вудропа на берег или вернее, в таможенный пакгауз, у входа в который нас встретил опять-таки русский Консул де Колонг, в сопровождении молодого бывшего лицеиста Мартенса. Они помогли нам пройти через игольное ухо невыносимых формальностей, бессмысленного допроса, доведенного до таких мелочей, что смысл их просто не поддается уразумению. Например, меня допросили сколько у меня с собою денег, пересчитали мои 58 фунтов, записали их номера и адрес Стокгольмского банка, в котором я их приобрел.

Консул достал нам с большим трудом комнату в гостинице, грязной, закопченной угольною копотью, с нетопленными комнатами и дымящим камином в столовой. Мы побродили после обеда по городу, полюбовались на вокзале и на улице внешним видом невероятно распущенных и неряшливых солдат, до мельчайших подробностей, напоминавших нашу «красу и гордость революции», и с 9 часов были уже в кровати, предварительно обогрев ее горячим кувшином. Как не схватили мы простуды или чего либо еще горшего в этой обстановке — неизвестно.

На утро мы встали рано и выехали в Лондон скорым **{490}** поездом в прекрасном вагоне, и были на месте около 5-ти часов. Это было 10-го декабря.

Две недели, проведенные в Лондоне, до 22-го декабря, были началом того политического разочарования, которое усиливалось с каждым днем, принимая все более и более ясное очертание, и привело меня, наконец, к состоянию беспросветной, тупой безнадежности и к сознанию, что жизнь должна неизбежно обратиться в какое-то бесцельное прозябание и молчаливое ожидание просто роковых событий. В такое состояние, при котором видишь с очевидной ясностью, что предпринимать что-либо, говорить о чем бы то ни было, убеждать людей в том, что они должны делать в их собственных интересах — совершенно бесполезно.

Вас никто не слушает, Вы всем неприятны, и на все Ваши аргументы или просто молчат или кивают один на другого, а все, в сущности, солидарны между собой в одном — ничего не делают и только говорят, говорят в угоду толпе, закрывая себе глаза на печальную действительность. Впоследствии пришлось убедиться даже в худшем, — в сознательной или бессознательной поддержке советской власти культурным Миром, на собственную погибель.

Мое Лондонское пребывание началось с утра вторника, 11-го декабря, визитом к исполняющему обязанности русского Посла К. Д. Набокову.

После выражения радости о том, что я жив и спасся из рук

большевиков, Набоков прочитал мне, только что полученную от В. А. Маклакова телеграмму, в которой упоминалось мое имя. Маклаков сообщал ему, что через 3 недели собирается в Париже мирная конференция и что его главной задачею является теперь — добиться участия России в этой конференции и с этой целью он находится в постоянных сношениях с тремя правительствами: Архангельским, Генерала Деникина и Адмирала Колчака, и что от последнего получена депеша, в которой он подтверждает его желание (по-видимому в ответ на предложение, сообщенное ему тем же Маклаковым), и выражает и свое, чтобы представителями его на конференции были:

Граф Коковцов, Сазонов, Маклаков, Набоков, Гирс, Князь Львов, Авксентьев, Извольский и кажется еще кто-то из эсеров. Выразивши Набокову мое удивление относительно оригинального состава представительства, я высказал ему тут же, что дело должно идти не о нашем участии на конференции — ибо кто бы ни представлял Россию, он юридической почвы под собой иметь не может и его согласие или протест ничего не стоят, **{491}** и потому нас просто не допустят к участию в мирной конференции.

Следует думать только об одном, и добиваться только одного — интервенции, руками той же, Германии, под контролем союзников-победителей, уничтожения большевизма и восстановления порядка в России, силою оружия, направляемого союзниками, т. .к. без этого анархия и хаос останутся в их полной неприкосновенности, и Россия погибнет окончательно и превратится в простой объект хищнической эксплуатации всех, кому только захочется, и очагом, из которого яд коммунизма проникнет во весь мир. Об этой последней опасности не думают сейчас, но не далек час, когда она станет решительным явлением, и всему миру придется считаться с величайшим по своей опасности злом, угрожающим всему, что создано человеческою культурою.

Мое рассуждение, видимо, не понравилось Набокову, хотя он поспешил согласиться со мной, что если союзники не пустят нас открыто на конференцию, то всякая форма участия, совещательная, подготовительная или, как я выразился, сидения в передней, — совершенно не допустима, и он на такую форму не пойдет. Второй мой визит в Лондон был к Французскому Послу Полю Камбону, который и послужил для меня полным откровением того, что ждет нас как здесь, так затем и в Париже.

Камбон мне сказал прямо — никакой интервенции Вы не добьетесь и ее не будет. У нас во Франции нет никакой политики по отношению к России, мы страшно устали и обескровели, мы не способны на новое усилие после того, как победа досталась нам после четырех лет напряжения — даже если от нас потребуется не пролития крови, а одно напряжение воли.

Мы считаем, что теперь все кончено и хотим, как можно скорее залечить наши страшные раны. Подумайте только о них и Вам станет ясно, что мы хотим одного — скорее начать нормальную и спокойную жизнь. Всякий, кто станет говорить о новом усилии в России, хотя бы и без затраты наших средств и нашей крови, — встретит самое решительнее противодействие, и агитация против этого, объединит вокруг себя столько разнообразных элементов, что никакое правительство не устоит против этого. Его просто не послушаются. К тому же одни мы и не можем действовать, а здесь в Англии, а того еще больше в Америке, положительно никто не желает вмешиваться в

русские дела и их не понимают в данную минуту. Англичане в руках «рабочей партии», и самый успех Ллойд Джорджа **{492}** на выборах был просто результатом сделки: он обещал рабочим, что Англия в Россию не пойдет, а рабочим здесь все-таки представляется, что большевики это — социалисты, друзья и защитники бедного пролетариата, а вы все, говорящие за вмешательство, защищаете ваши привилегированные положения и в глубине вашей души думаете вырвать победу из рук революции и восстановить безразлично монархию ли или что-либо иное, но, во всяком случае, в существе, старый порядок.

В Америке еще хуже: американцы, в настоящую минуту не способны ни на какое продуманное политическое понимание. Они поняли идею германского милитаризма потому, что их жены и дети погибли на Луизитании. Император Вильгельм морскою политикою фон Тирпица заставил их нарушить их замкнутую жизнь. Оли понимают мечтания Вильсона потому, что он говорить их чувству и обещает им внести мир во всю вселенную одними добрыми намерениями, если только кошмар воинствующий и жадной Германии будет раздавлен. Этому они верят, а тому, что Вы говорите про Россию и большевиков, они не верят, потому что не хотят верить в опасность их влияния; им это неудобно и гораздо выгоднее твердить, что большевики просто демократы, социалисты, с которыми нужно бороться на митингах, голосованием, прессою, а не оружием, да еще чужим.

Прибавьте к этому влияние еврейской прессы, которая уничтожает всякую веру в русские ужасы, и Вы поймете, почему Американцу гораздо интереснее читать успокоительные известия о том, что большевики борются за народ, чем слушать Вас. Да они просто не верят и не желают верить тому, что они избивают и развращают этот народ и живут грабежом и насилием.

Представьте, наконец, себе, какая предстоит теперь ближайшая задача в деле выработки окончательных условий мирного договора. Выработать условия перемирия было нетрудно. У нас была победа, противник был приведен Фошем к повиновению. А за столом мирной конференции начнется такая борьба страстей, политических разногласий, закулисных интриг и проч., что я могу только пожалеть тех из представителей Франции, которые понимают нужды своей страны, сознают понесенные жертвы и ясно видят, что нужно сделать для того, чтобы устранить в будущем то, что сделано в 1914 году, и все они — встретятся с толпою других представителей, которым справедливые требования Франции стоят далеко не то, сколько стоят **{493}** их собственные желания и даже увы, — их политические мечтания...

Такова сущность этой безнадежной беседы. Я передаю только ничтожную долю того, что было сказано в течение двух часов беседы этим умным, опытным, уравновешенным и прекрасно осведомленным стариком, но сущность я передаю точно. В ту пору я, да не только я, только что вырвавшийся из советского застенка, но и никто не знал того, каково было личное участие Главы Английского правительства — Ллойд-Джорджа, в деле попытки спасения русской Императорской семьи еще в начале 1917 г. Эту тайну только гораздо позже поведали воспоминания дочери Английского посла в России сэра Джорджа Бьюкенена.

Две недели моего пребывания в Лондоне, все эти дни сплошных, с утра и до ночи, бесконечных разговоров, встреч, интервью и даже длительных бесед, подтвердили правильность поставленного диагноза и внесли беспросветное разочарование в душу.

Меня принимали везде и все: мне оказывали даже большое внимание приглашением на завтраки и обеды, со мною были ласковы и предупредительны, газетчики добивались встреч со мною и совершенно точно передавали мои мысли, ни один из них не позволил себе ни малейшего нелюбезного намека по отношению лично ко мне, и все-таки в конечном итоге осталось одно — бесплодная попытка заставить людей мыслить так, как мне казалось правильно, а не так, как их заставляет это делать их эгоизм и даже предвзятость.

Среди этих утомительных попыток открыть людям глаза на их заблуждения одно обстоятельство достойно упоминания. Оно рисует с прекрасной стороны одного из моих прежних деловых английских знакомых и даже друзей.

В бытность мою Министром Финансов я близко сошелся и довольно часто встречался с главою Банкирскаго дома братьев Бэринг, лордом Ревельстоком.

Истинный джентльмен, порядочный до утонченности, сдержанный на словах, но чрезвычайно верный в отношениях, Лорд Ревельсток всегда привлекал меня к себе, несмотря на то, что по своему характеру он не имел большого финансового значения при ведении переговоров по русским делам, тем, более, что в них он всегда шел только в согласии с своими парижскими, друзьями. Мне не хотелось проезжать Лондон и не повидать его, хотя мне было не совсем понятно, каким образом, в течение первых же дней моего там пребывания он не **{494}** подал никаких признаков жизни.

Причина этого мне неизвестна и по сей день, т. к. трудно поверить, чтобы по газетам он не знал о моем приезде. Я поехал к нему в Банк уже в конце первой недели моего пребывания в Лондоне и за неделю до выезда моего из Англии.

Выражение радости видеть меня настолько вышло за пределы обычной английской сдержанности, что я был глубоко поражен и тут только ясно увидел, что мое появление было для него прямой неожиданностью; он действительно не знал о моем приезде в Лондон и жил под впечатлением газетных же сообщений о моем расстреле.

Он повел меня к себе в кабинет, наверх, стал расспрашивать о разных подробностях и вдруг, совершенно неожиданно извинившись перед моей женой и сопровождавшим нас Г. А. Виленкиным, попросил меня выйти с ним в соседнюю комнату и стал упрашивать меня не отказать ему в одном величайшем одолжении и дать ему слово, что я исполню его просьбу. Не давая себе прямого отчета в том, что именно он имеет в виду, я сказал, что всегда рад исполнить его желание, а теперь в особенности, когда я видел, какое наглядное доказательство своего расположения проявил он ко мне.

По его звонку пришел его секретарь, которого я однажды видел в Петрограде. Ревельсток что-то сказал ему на ухо, тот вышел и вернулся через минуту, держа в руках чековую книжку. Равельсток стал уговаривать меня принять ее от него, т. к. он уверен в том, что я нахожусь в трудном материальном положении, и заявил, что отказ мой глубоко его обидит и покажет только, что я не хочу верить в искренность его отношения ко мне.

«Время переменчиво, — сказал он,—я верю в то, что все вернется в прежнее положение, и Вы будет иметь возможность покрыть Ваш долг Ревельстоку, если только не захотите смотреть на него, как на Вашего

искреннего друга».

Мне не оставалось ничего другого, как только взять эту чековую книжку, конечно, с твердым намерением никогда не воспользоваться ею, и она мирно покоилась в моем письменном столе, сохраняя свою полную неприкосновенность до 1925 года, когда мне удалось, наконец, после целого ряда безуспешных попыток, вернуть ее лорду Ревельстоку, незадолго до его кончины. Мне доставляет истинное удовольствие рассказать об этом благородном поступке для сведения всех наших общих знакомых в Лондоне и Париже.

С тяжелыми впечатлениями приехали мы 22-го декабря **{495}** вечером в Париж. Самый приезд наш не обошелся без некоторой странности. Еще в бытность мою в Лондоне я узнал, что Париж переполнен до последней степени, и найти сносное и недорогое помещение совершенно невозможно, вследствие большого повышения цен, против прежней, известной мне нормы.

Я просил поэтому управляющего делами Русско-Французской Тортовой Палаты Ламинга поискать мне помещение из двух комнат где-либо, не слишком далеко от центра. С большим трудом он нашел приличное помещение; в Отель Терминюс, около вокзала С. Лазар, хотя и в очень шумном центре, написавши мне в Лондон, что ничего лучшего найти не было никакой возможности.

Мы приехали раньше назначенного срока, т. е. в воскресенье вечером вместо понедельника утра, т. к. в последнюю минуту нас пустили на «казенное» направление Фолькестон-Булонь вместо Соусгамптон-Гавр, и кроме того оказался уже восстановленным, незадолго перед тем скорый поезд Булонь-Париж. Телеграмму мою, посланную за два с половиной дня, с извещением о нашем приезде 22-го декабря вечером, Ламинг не получил и, когда мы добрались до Парижа, то, к крайнему моему удивлению, нас встретили от имени русского посольства — бывший финансовый агент Рафалович, секретарь Горлов и какой-то французский офицер, состоящий при посольстве. Оказалось потом, что это бывший служащий гостиницы Лютеция.

Они объявили нам, что, по распоряжению посольства, нам отведено помещение на левом берегу Сены, в гостинице Лютеция, дабы мне было ближе к Посольству, как сказал Горлов.

Помещение оказалось хорошее с удобной уборной, хотя из одной комнаты, и мы решили остаться в нем. От помещения отеля Терминюс пришлось отказаться.

С этой минуты, до последних дней 1918 года, началась моя жизнь в качестве эмигранта, и она продолжается уже длинный ряд лет и кончится она, очевидно, в тех же условиях, когда наступить предел моей жизни. Говорить об этой поре — не представляет уже никакого интереса.

Она протекала на виду у всех, и, может быть, когда-нибудь, кто-либо из свидетелей этой моей жизни из состава русской эмиграции отметит добрым словом то немногое, что было сделано мною на пользу тех, кто, вместе со мною, делит долгие годы изгнания.

На мне лежит только один долг — сказать в заключение моих Воспоминаний слово благодарности тем, кому привелось **{496}** облегчить нашу жизнь в изгнании, позволив лично мне убедиться в редком теперь явлении — встретить добрую оценку моего прошлого, и оказать мне внимание, быть может, в самые тяжелые минуты, непривычных для меня условий жизни, на склоне моих дней.

Мое первое слово благодарности и не только за себя, но и за всю русскую эмиграцию, идет к бывшему Президенту Республики — г. Раймону Пуанкарэ. Он первый оказал жене моей и мне дружеский прием, как только мы прибыли во Францию в конце 1918 года.

А затем, не было ни одного случая, когда я считал себя в праве обратиться к его помощи, как к главе правительства в защиту русской эмиграции и просить его облегчить ее тяжелое положение, — чтобы я не встретил от него самого широкого содействия.

Я уверен, что многие из русских людей во Франции не знают кому и в какой мере обязаны они разрешением многих тех болезненных вопросов, затрагивавших самую глубину их бесправного положения.

Лично же мне он оказал большую честь.

Когда в 1930 году я издал сборник статей, написанных мною за семь лет, с целью пролить истинный свет на все дело разрушения, выполненное советской властью, — он согласился написать предисловие для этой книги и в нем открыто сказал, каковы были наши отношения в прошлом и как расценивает он их.

Такое же отношение проявил ко мне покойный Президент Республики Поль Думер. Он также не забыл наших прежних частых встреч с начала 1906 рода, как здесь, во Франции, так и у нас, в России, в частые его приезды в дореволюционную пору, и в его сердце мы, русские изгнанники нашли открыто сочувствовавшего нам друга. Его помощь нам не ослабевала до самой последней минуты ею жизни, завершившейся тем трагическим концом, который в особенности поразил нас своею возмутительною бессмысленностью. *(6 мая 1932 года Думер был смертельно ранен русским белоэмигрантом, анархистом Павлом Горгуловым. Скончался Поль Думер в Париже 7 мая в 4:37 утра., ldn-knigi).*

Я не исполнил бы, наконец, моего нравственного долга, если бы не сказал, что за протекшее с 1919 года время мне часто приходилось стучаться во многие двери самых разнообразных представителей Республики, излагая перед ними наши беженские нужды и ища у них смягчения, подчас суровых требований повседневной жизни. Мое обращение к ним, за редкими исключениями, всегда встречало в них самое справедливое **{497}** отношение и готовность делать то, что было им доступно в пределах их служебного долга.

Мне хочется верить в то, что обращаемое мною здесь к ним, слово благодарности найдет себе широкий отклик среди тех русских эмигрантов, которые дают себе ясный отчет в том, насколько наше, подчас тяжелое, положение смягчается и облегчается таким отношением к нам Правительства Франции.

том II - конец

Указатель именъ:

Аванесіанъ 425, 430.
Авксентьевъ 490.
Акимовъ 5, 7, 234, 238, 239, 243, 265, 266, 267, 269, 289, 386, 387, 394.
Александра Федоровна Импер. 7, 8, 20, 27, 31, 33, 42, 43, 44, 52, 65, 66, 67, 72, 87, 172, 185, 187, 188, 301, 302, 321, 325, 333, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 399, 404, 419.
Александръ III Импер. 312, 313, 314, 342.
Алексѣевъ Генералъ 427.
Алексѣенко 53, 63, 71, 260.
Алексѣй Николаевичъ Наслѣдникъ 113, 170, 348.
Анастасія Николаевна Вел. Кн. 346.
Андреева 469.
Андрониковъ 396.
Антоній Епископъ 34.
Антоновъ 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482.
Антоновичъ 329, 330.
Аранова 470.
Арсеньевъ 6.
Афанасьевъ 308.

Бабичъ 429.
Багалѣй 306.
Багровъ 116.
Бадмаевъ 29, 30, 421.
Базилевскіе 436.
Балашовъ 8, 13, 131.
Баліевъ 407.
Баркъ 163, 176, 183, 269, 282, 283, 285, 287, 289, 290, 295, 296, 298, 323, 324, 390, 392, 393, 398.
Барту 202, 206, 207.
Батовъ 412.
Башмаковъ 154, 305.
Бенакъ 204, 487.
Бенкендорфъ Графъ 31, 42, 154, 155, 401, 403.
Бернацкій 421.
Бетманъ-Гольвегъ 76, 78, 79, 80, 81, 198, 210, 211, 212, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 241, 250, 252.
Бобринскій Графъ 6, 275, 276, 393.
Бокій 452, 453, 466.
Боткинъ 401, 403.
Брейтеръ фонъ 466, 467, 473.
Бренстремъ 486.
Бріанъ 100.
Броневскій 208.
Брянчаниновъ 154.
Бурцевъ 190.
Бутурлинъ 463.
Бюловъ Князь 98.
Бюно Варилла 226, 227.
Бьюканенъ Лэди 274, 493.
Бѣлецкій 110, 189, 190, 192, 193, 239, 396, 452.
Бѣлобородовъ 468.

Варнава Еписк. 336.
Васильевъ 460.
Васильчиковъ Князь 397, 463.
Веберъ 139, 282, 289.
Венцель 303.
Веригинъ 116.
Вернандеръ 114, 463.

Вернейль де 172, 175, 176, 183, 184.
Верховскій 450, 451.
Вивіани 101.
Виленкинъ 494.
Вильгельмъ Импер. Герм. 76, 77, 78, 80, 85, 94, 123, 171, 198, 205, 206, 210, 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 240, 241, 250, 252, 275, 361, 492.
Витте Графъ 22, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 136, 164, 203, 204, 205, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 277, 284, 286, 293, 296, 297, 305, 309, 310, 316, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 357, 391, 395, 419.
Витте Графиня 90, 91, 94, 99, 203.
Воейковъ 141, 144, 145, 339.
Волконскій Князь 165, 400, 464.
Вольфъ Теодоръ 215, 216.
Воронинъ 178, 179.
Вудропъ 489.
Вырубова 41, 421.
Вышнеградскій 264, 325.

Гааръ 468.
Гавріилъ Константиновичъ Вел. Кн. 470.
Гарязинъ 449.
Гендрикова Графиня 344, 345.
Георгій Михайловичъ Вел. Кн. 62, 64.
Герасимовъ 29.
Гебель 5.
Гермогенъ 27, 29, 30, 42, 54.
Гирсъ 490.
Гижицкій 14.
Гіацинтовъ 303.
Глѣбовъ 82, 83, 132.
Голембовскій 418.
Голицынъ Князь 400, 401, 406.
Голубевъ 276.
Гольцъ Паша фонъ деръ 209, 219, 252.
Геремыкинъ 199, 248, 273, 274, 283, 305, 323, 324, 325, 391, 392, 393.
Горловъ 495.
Государь См. Николай II.
Гревсъ 488.
Григоровичъ 52, 71, 83, 237, 256, 339.
Гротъ 317, 330.
Гуревичъ 485.
Гурко 265, 269, 271, 275.
Гурляндъ 271, 276, 396.
Гутъ 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 446, 452, 453.
Гучковъ 8, 20, 27, 33, 34, 35, 42, 44, 51, 53, 60, 61, 63, 64, 71, 75, 118, 132, 355, 356, 358, 405, 408.

Давыдовъ 222, 223, 224, 225, 226, 264, 290, 319, 320.
Даманскій 32.
Дедюлинъ 29, 34, 48.
Дементьевъ 290.
Делькассе 175.
Демченко 133, 139.
Деникинъ 490.
Джунковскій 169, 189, 190, 192.
Дорліакъ 41, 230.
Дубровинъ 11.
Думеръ 496.
Дундукова-Корсакова Княгиня 429.
Дурново 358, 389, 390, 393, 419.
Дюмонъ 201.

Елизавета Федоровна Вел. Кн. 20, 31, 353.
Ельяшевичъ 464.
Емельяновъ 488.
Ермоловъ 24, 25, 282, 306, 400, 463.
Ефремова 132.

Ждановъ 319.
Жилинскій 122, 157, 158, 161, 182.
Жоффръ 178, 179, 180, 181, 182, 184, 197, 206, 231, 242.
Жуковскій 18.

Залшупинъ 466.
Замысловскій 11, 12.
Звегинцевъ 71.
Зиновьевъ 463.

Ивановъ Генер. 125, 126.
Ивановъ Сенаторъ 417.
Иващенковъ 327.
Извольскій 103, 177, 202, 204, 205,

232, 288, 289, 298, 299, 490.
Икскуль Бар. 205, 397, 487.
Икскуль Баронесса 477.
Иліодоръ 27, 28, 31, 32, 36, 41, 42, 43, 54.
Императрица Германская 212, 217, 221, 225.
Ито Князь 476.

Іоселовичъ 462.

Кабатъ 425, 429.
Кайо 105.
Калединъ 427, 428.
Камбонъ 491.
Каменскій 82, 83, 125.
Камышанскій 199.
Карауловъ 427.
Кассо 237.
Катуаръ 237.
Кауфманъ 327.
Кахановъ 327.
Керенскій 408.
Кистеръ 470.
Клейнмихель Графиня 464.
Ковалевскій 386.
Козельскій 28, 30.
Коковцова Графиня А. Ф. 38, 102, 103, 278, 281, 282, 283, 294, 302, 388, 404, 407, 420, 452, 463.
Коковцовъ Вас. Ник. 136, 140.
Колонгъ де 489.
Колчакъ 53, 71, 490.
Колѣнковскій 451.
Комаровъ 186.
Коноваловъ 132, 163.
Коншинъ 262, 265, 290.
Корни де Бадъ 410, 411, 412.
Корниловъ 427.
Кроненбергъ 17.
Крашенинниковъ 429.
Крассовскій 449.
Крестовниковъ 54, 55, 56.
Криличевскій 446.
Кривошеинъ 10, 30, 83, 120, 128, 129, 130, 133, 134, 143, 173, 177, 193, 195, 234, 250, 273, 276, 283, 293, 295, 320, 321, 323, 324, 325.
Кристи 488.
Криличевскій 466.
Кроми 464.
Крупенскій 202.
Крыжановскій 10, 82, 83, 108, 111, 404, 405, 409.
Кузьминъ Сенаторъ 398.
Куломзинъ 394, 395.
Кулябко 116.
Куманинъ 12.
Куракинъ Кн. 6.
Курловъ 116, 118.
Кустодіевъ 24.
Кутлеръ 46.

Лазаревъ 463.
Ламингъ 495.
Ландсбергъ 423, 433.
Лившицъ 436.
Лиманъ-фонъ Сандерсъ 208. 209, 210, 230, 252, 253, 255.
Ллойдъ Джорджъ 491, 493.
Лопухинъ 464.
Луи 103, 104, 153.
Лукьяновъ 28.
Львовъ В. 35.
Львовъ Е. 290.
Львовъ Н. 167.
Львовъ Князь Е. 490.

Мазаевъ 20.
Макаровъ 12, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 40, 42, 43, 44, 54, 57, 82, 83, 84, 85, 90, 107, 110, 112, 116, 143, 355, 356, 398, 416.
Маклаковъ Н. А. 82, 87, 88, 89, 110, 129, 134, 138, 145, 157, 161, 166, 173, 192, 193, 200, 201, 234, 236, 238, 239, 243, 244, 246, 247, 250, 274, 276, 338, 339, 418, 420.
Маклаковъ В. А. 490.
Максименко 282.
Мамантовъ 36, 37, 38, 39, 41.
Манусъ 454, 461, 462.
Манухинъ 59, 62, 152.
Марковъ 1-ый 139.
Марковъ 2-ой 11, 12, 90, 112, 113, 133, 164.
Марія Александровна Вел. Кн. 388.
Марія Павловна Вел. Кн. 429.

Марія Федоровна Импер. 35, 312, 324, 353, 387, 388, 389, 401.
Маркусъ 327.
Матвѣевъ 308.
Матвѣевъ-Обреновичъ 450, 454.
Меккъ фонъ Госпожа 445, 450.
Мендельсонъ 99, 199.
Мещерскій Князь 88, 89, 130, 200, 201, 216, 238, 239, 240, 247, 248, 269, 270, 271, 295, 312, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 323, 324, 338, 395.
Мигулинъ 63.
Милица Николаевна Вел. Кн. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 346.
Миллеръ 208.
Милюковъ 20, 35.
Мильеранъ 100.
Мирбахъ Графъ 454.
Михаилъ Николаевичъ Вел. Кн. 328.
Могилевскій 30.
Мордвиновъ Гр. 463.
Мосоловъ 274 .
Мотоно 154.
Мочульскій 185, 186, 188.
Муравьевъ 328.
Муравьевъ Предс. Чр. Слѣдств. Комм. 413, 417.
Мухтаръ Паша 214.
Мухинъ 449.
Мясоѣдовъ 61, 62, 64 .

Набоковъ 490, 491.
Нарышкинъ 185, 186.
Нарышкина 35, 301.
Нелидовъ 99.
Нетцлинъ 183.
Николай II Импер. 5, 6, 7, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 134, 135, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 181, 182, 184, 186, 187, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 208, 210, 211, 214, 215, 218, 219, 221, 222, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 253, 256, 263, 264, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 278, 280, 281, 283, 284, 285, 288, 291, 292, 293, 296, 297, 299, 300, 303, 305, 312, 313, 316, 321, 324, 333, 337, 339, 341, 344, 347, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 360, 361, 364, 387, 388, 392, 393, 395, 396, 400, 401, 402, 403, 404, 414, 416, 417, 418, 419, 428, 460, 461.
Николай Черногорскій 147, 148, 151, 346.
Николай Михайловичъ Вел. Кн. 294.
Николай Николаевичъ Вел. Кн. 64, 65, 152, 157, 160.
Никольскій 140, 293.
Ниловъ 72, 319.
Нобель 77, 425, 430, 433, 434, 435.
Новицкій 112, 113, 282, 289, 303.
Носовичъ 414.

Оболенскій Кн. 332.
Озеровъ 307.
Озоль 189.
Ольга Николаевна Вел. Кн. 65, 113.
Ольденбургскій Принцъ 485.
Орловъ Кн. 300, 301.
Охотниковъ 271, 463.
Офросимовъ 406.

Палеологъ 206.
Пальчинскій 450, 451, 453, 454.
Памсъ 102.
Пападжановъ 409.
Папаненъ 483.
Папирсъ 305.
Паулучи Маркизъ 409.
Першо 203.
Петровъ 395.
Петръ Николаевичъ Вел. Кн. 147, 346.
Пихно 30, 140.
Пишонъ 202, 205, 206.

Плеве 332, 483.
Плеске 308, 425.
Покровскій 233, 282, 289, 303, 392, 393.
Поливановъ 59, 60, 65, 70, 114, 338, 390, 396, 397, 398, 399, 414, 463, 465.
Половцовъ 330.
Поляковъ 164.
Потоцкій 14.
Протопоповъ 110.
Пуанкарэ 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 197, 205, 389, 496.
Пуришкевичъ 11, 12, 90, 112, 113, 133, 449.
Пуришкевичъ Госпожа 445.
Пурталесъ Графъ 76, 81, 153, 198.
Пыхачовъ 385.

Рантакари 484.
Распутинъ 19, 20, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 72, 169, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 356, 357, 398, 400, 421.
Рафаловичъ А. Г. 102, 104, 177, 495.
Рафаловичъ Ар. 85.
Раухъ 449, 463.
Ревельстокъ 493, 494.
Редигеръ 68.
Родзянко 34, 35, 48, 50, 51, 52, 58, 73, 132, 165, 166, 168, 235, 252, 355, 356.
Романовъ 308.
Рухловъ 14, 17, 120, 122, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 143, 168, 169, 172, 175, 177, 195, 237, 269, 293, 301, 302, 324, 325, 336, 337, 339.
Рѣпинъ 24.
Рябушинскій 55.

Саблеръ 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 72, 109, 143, 339.
Савенко 11, 133, 134, 139, 164.
Савичъ 60, 71.
Сазоновъ 22, 23, 76, 81, 84, 97, 988 101, 103, 104, 122, 126, 127, 129, 133, 148, 152, 153, 154, 156, 157, 170, 172, 205, 208, 209, 211, 219, 228, 230, 232, 235, 237, 241, 252, 253, 254, 255, 289, 298, 299, 334, 338, 361, 490.
Санъ Джульяно Маркизъ 202.
Сазоновъ 429, 430 .
Свербѣевъ 84, 87, 99, 170, 205, 209, 211, 213, 217, 222, 223, 230, 241.
Стѣнтицкій 18.
Сергѣй Александровичъ Вел. Кн. 164.
Сергѣй Михайловичъ Вел. Кн. 157, 162, 415.
Сергій Финляндскій 29,
Сипягинъ 323, 332.
Сіоблъ 488.
Скалонъ 125.
Скордели 496.
Слободчиковъ 328.
Соколовъ Прис. пов. 417.
Соколовъ Товар. Предсѣд. Кисловодскаго Совдепа 431, 432.
Соловьевъ 30.
Сольскій Графъ 286, 294, 297, 330, 331, 332.
Сольская Графиня 483.
Спиридовичъ 116, 118.
Сталь 147.
Ставровскій 464.
Стишинскій 393.
Столыпинъ П. А. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 25, 28, 61, 82, 90, 97, 108, 111, 113, 116, 128, 133, 134, 164, 168, 244, 280, 295, 315, 316, 321, 348, 354, 358, 414, 415, 417.
Столыпинъ Н. Н. 470.
Струковъ 6.
Суворинъ А. 20.
Суворинъ Б. 61.
Суковкинъ 463.
Сухомлиновъ 6, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 83, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 141, 143, 149, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 173, 182, 198, 237, 241, 242, 256, 270, 300, 301, 397, 398, 399, 413, 415, 416, 473, 486.

Таганцевъ Проф. 302, 396.
Таганцевъ Н. Н. 414.
Танѣевъ 199, 248, 273; 282.

Татищевъ Графъ 20, 305.
Татищевъ Ген.-Ад. 345.
Терещенко 405, 420, 421, 488.
Терпицъ 492.
Тимашевъ 6, 13, 58, 59, 83, 128, 166, 175, 233, 237, 252, 272, 295, 302, 307, 339.
Тимирязевъ 94, 95, 96, 319, 472.
Толь Гр. 463.
Треповъ А. Ф. 399, 400, 403, 445, 463, 467, 473, 475.
Треповъ В. Ф. 183, 273, 274, 463.
Трещенковъ 58.
Троицкій 451.
Троцкій 439, 440, 476.
Труссевичъ 116.
Трубецкой Кн. 450, 452.
Тульчинскій 57.
Тхоржевскій 445.

Умнова 450, 451.
Урицкій 404, 446, 456, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 471, 472, 476.
Урусовъ Кн. 438.
Ушаковъ 448.
Утинъ 294, 304, 305.
Утина М. Н. 422.

Феодоръ Архим. 31.
Фигатнеръ 427.
Флигге 429.
Фредериксъ Гр. 32, 33, 54, 66, 67, 70, 72, 75, 118, 142, 143, 144, 199, 200, 201, 244, 245, 249, 273, 274, 275, 287, 389.
Фэ 253,

Харитоновъ 10, 13, 83, 84, 97, 119, 120, 137, 139, 175, 176, 177, 201, 233, 234, 236, 237, 250, 252, 302, 339.
Харузинъ 26, 82, 108, 110.
Хвостовъ 22, 23, 110, 133.

Челышевъ 284.
Черкасовъ Бар. 308.
Черкасъ 26, 108.
Чигаевъ 324.
Чихачовъ 14.
Чумаковъ 450, 451.

Шаховской Кн. 419.
Шаляпина дѣти 436.
Шванебахъ 294.
Шене фонъ 205.
Шервашидзе 389.
Шидловскій 35.
Шингаревъ 46, 71, 163, 302, 358
Шиповъ 264.
Шнейдеръ 345.
Шорникова 189, 190, 191, 192, 193, 194.
Штюрмеръ фонъ 234, 235, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 271, 393, 394, 399, 418, 419.
Шубинскій 13, 14, 34, 137, 166, 167, 235, 306.

Щегловитовъ 13, 58, 83, 110, 116, 120, 129, 130, 134, 138, 143, 166, 167, 173, 175, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 234, 235, 237, 252, 270, 339, 452.

Эйнемъ фонъ 217.

Юсупова Сумарокова Эльстонъ Княгиня 353.

Янова 66.

Ѳеофанъ 346, 347.

ОГЛАВЛЕНІЕ

Томъ II.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

На посту Предсѣдателя Совѣта Министровъ, Октябрь 1911 г,

Глава I. Пріѣздъ въ Ялту и Ливадію. — Новыя назначенія въ Государственный Совѣтъ.— Бесѣда съ Императрицей Александрой Федоровной. — Возвращеніе въ Петербургъ. — Вопросъ о денежной поддержкѣ политическихъ партій. — Финляндскій вопросъ. — Законопроектъ объ участіи Финляндской казны въ военныхъ расходахъ и о равенствѣ въ Финляндіи финляндскихъ и русскихъ гражданъ. — Моя успѣшная защита этихъ законопроектовъ въ Думѣ. — Запросъ о борьбѣ съ недородомъ. — Вопросъ о выкупѣ въ казну Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги . . 5

Глава II. Первые слухи и газетныя замѣтки о Распутинѣ и начало вызванныхъ этимъ дѣломъ пересудъ въ Думѣ. Безуспѣшность попытокъ вліянія на печать, — Юбилей Лицея. — Разростаніе газетной полемики. недовольство Государя и мои разъясненія о неосуществимости предположенія ограничить свободу печати. — Скандалъ между Распутинымъ, Гермогеномъ и Иліодоромъ. — Исканіе выхода изъ создавшагося положенія. — Мое совѣщаніе съ Макаровымъ и Саблеромъ. — Бесѣда съ Бароном Фредериксомъ. — Высочайшее порученіе М. В. Родзянкѣ дать личное заключеніе по дѣлу объ обвиненіи Распутина въ принадлежности къ сектѣ «хлыстовъ». — Моя бесѣда о Распутинѣ съ Императрицей Маріей Федоровной. — Мое свиданіе съ Распутинымъ. — Мой докладъ Государю объ этомъ свиданіи. — Дѣло о распространеніи А. И. Гучковымъ копій писемъ Императрицы и Великихъ Княженъ къ Распутину 19

Глава III. Пренія по государственной росписи на 1912 годъ. — Эпилогъ Высочайше порученнаго Родзянкѣ разсмотрѣнія дѣла о Распутинѣ. — Мое посѣщеніе Москвы. — Отличный пріемъ, оказанный мнѣ Московскимъ купечествомъ, — Инцидентъ съ рѣчью

П. П. Рябушинскаго. — Возвращеніе въ Петербургъ. — Запросъ о безпорядкахъ на Ленскихъ золотыхъ промыслахъ. — Инцидентъ съ Сухомлиновымъ въ Комиссіи Обороны. — Поѣздка въ Крымъ. — Докладъ Государю. — Явное невниманіе. выказанное мнѣ Императрицей Александрой Феодоровной. — Моя попытка освѣтить Государю личность Сухомлинова. — Возвращеніе въ Петербургъ. — Принятіе Думой Малой морской программы. — Пріемъ Государемъ членовъ Думы III Созыва . . 45

Глава IV. Свиданіе Государя съ Германскимъ Императоромъ въ Балтійскомъ Портѣ. — Мои бесѣды съ Императоромъ Вильгельмомъ и съ Канцлеромъ. — Мои разногласія съ Макаровымъ по вопросамъ подготовки къ выборамъ въ Думу четвертаго призыва. — Отставка Макарова. — Отклоненіе мною, предложеннаго мнѣ, поста Россійскаго посла въ Берлинѣ. — Новый Министръ Внутреннихъ Дѣлъ Маклаковъ. — Выдача Государемъ пособія въ 200.000 р. Гр. Витте. — Желаніе Гр. Витте получить постъ посла заграницей и предпринятые въ этомъ направленіи графиней Витте шаги въ Берлинѣ. — Пріѣздъ въ Петербургъ Пуанкарэ. — Мои бесѣды съ французскимъ Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ. 76

Глава V. Собраніе, подъ моимъ предсѣдательствомъ, губернаторовъ для заслушанія сообщеній о предвыборномъ положеніи. Н. А. Хвостовъ. Кредиты на предвыборную компанію. — Моя поѣздка въ Спалу. Докладъ у Государя. Вопросъ о кредитахъ на оборону. Прекращеніе Государемъ дѣла о привлеченіи къ суду Курлова, Кулябки, Веригина и Спиридовича. — Новыя требованія кредитовъ Сухомлиновымъ. Совѣщаніе у Государя по вопросу о задуманной Сухомлиновымъ частичной мобилизаціи. Мои возраженія противъ намѣченной мѣры какъ опасной для сохраненія мира. Отклоненіе проекта. — Разногласія въ Совѣтѣ Министровъ по вопросу объ общемъ политическомъ положеніи. — Мои отношенія къ партіямъ въ новой Думѣ. Правительственная декларація. Вопросъ о соглашеніи съ обществомъ Кіево-Воронежской желѣзной дороги. — Задуманное Сухомлиновымъ назначеніе ген. Воейкова на несуществующую должность. 107

Глава VI. Пожеланія Короля Черногорскаго и недовольство на меня его дочери Вел. Княгини Милицы Николаевны за отказъ поддержать ихъ передъ Государемъ. — Участіе мое въ вопросахъ иностранной политики. — Политическія настроенія въ окруженіи Государя. — Совѣщаніе у Государя о задуманномъ Сухомлиновымъ, безъ сношенія со мной, усиленіи въ спѣшномъ порядкѣ арміи. — Бюджетная рѣчь по росписи на 1913 годъ и пренія по ней. — Инцидентъ, вызванный выходкой Маркова 2-го. — Романовскія торжества. — Тревога во мнѣ, вызванная внѣшнимъ положеніемъ. — Отношеніе къ этому вопросу Государя. — Новое направленіе въ дѣлѣ финансированія частнаго желѣзнодорожнаго строительства и пріѣздъ въ Петербургъ Г. Вернейля. — Посѣщеніе меня генераломъ Жоффромъ. 147

Глава VII. Поѣздка въ шхеры для доклада Государю. — Неудовольствіе Императрицы Александры Феодоровны за отказъ удовлетворить поддержанное ею ходатайство лейтенанта Мочульскаго. — Инцидентъ вызванный возвращеніемъ въ Петербургъ Шорниковой. — Поѣздка въ Ялту для доклада Государю. — Рѣзкія нападки на меня «Гражданина» кн. Мещерскаго. — Поѣздка за границу и вызванная заболѣваніемъ задержка въ Италіи. Пребываніе въ Парижѣ. Заключеніе желѣзнодорожнаго займа и подписаніе соглашенія по желѣзнодоржному вопросу. **184**

Глава VIII. Остановка въ Берлинѣ. — Дѣло о намѣченномъ Германіей назначеніи ген. Лимана фонъ-Сандерса инструкторомъ турецкой арміи и командующимъ 2-мъ турецкимъ корпусомъ. Порученіе, данное мнѣ Государемъ, выразить несогласіе на эту мѣру. Моя предварительная бесѣда съ Канцлеромъ и посѣщеніе французскаго посла Камбона. — Пріемъ представителей печати. Теодоръ Вольфъ. — Обѣдъ у Канцлера. Пріемъ меня Императоромъ Вильгельмомъ. Завтракъ въ Потсдамскомъ Дворцѣ. Застольная бесѣда Императора съ Л. Ф. Давыдовымъ. — Двѣ новыя бесѣды съ Канцлеромъ и отъѣздъ изъ Берлина. **208**

Глава IX. Развитіе интриги противъ меня. — Проектъ назначенія Штюрмера Московскимъ Городскимъ Головой. Непосредственныя, въ обходъ Совѣта, сношенія Маклакова по этому вопросу съ Государемъ. — Поѣздка въ Ливадію. — Докладъ Государю о моей заграничной поѣздкѣ, о вредѣ назначенія Штюрмера и о безпокоющемъ меня отсутствіи единства въ Совѣтѣ Министровъ. — Неутвержденіе Государемъ назначенія Штюрмера. — Возвращеніе въ Петербургъ. — Сообщеніе Совѣту Министровъ о моемъ докладѣ Государю и обращеніе мое къ министрамъ по вопросу о тяжеломъ положеніи, создаваемомъ рознью въ средѣ Совѣта. Совѣщаніе подъ моимъ предсѣдательствомъ для разсмотрѣнія записки Сазонова по турецкому вопросу. **233**

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Моя отставка 29 января 1914 г.

Глава I. Событія, непосредственно предшествовавшія моей отставкѣ. — Проектъ о мѣрахъ противъ пьянства. — Яростныя атаки Гр. Витте противъ меня при обсужденіи этого проекта въ Государственномъ Совѣтѣ. — Брошюра Гр. Витте о заключенномъ мною во Франціи въ апрѣлѣ 1906 года займѣ. — Испрошеніе мною аудіенціи одновременно для меня и для Предсѣдателя Государственнаго Совѣта. — Докладъ Акимова и мой о положеніи, созданномъ кампаніей Гр. Витте. — Новое выступленіе Гр. Витте въ Государственномъ Совѣтѣ. — Мой послѣдній докладъ у Государя. **259**

Глава II. Собственноручное письмо Государя о моемъ увольненіи. Вызванныя этимъ письмомъ мысли. — Высочайшіе рескрипты на мое имя и на имя новаго Министра Финансовъ Барка. — Пріемъ

меня Государемъ. — Отказъ отъ денежной субсидіи. уходъ изъ Комитета Финансовъ и выраженное мною желаніе получить мѣсто посла за границей. — Посѣщеніе меня Баркомъ. — Безрезультатные переговоры о назначеніи меня посломъ въ Парижъ. — Прощаніе съ чинами Министерства Финансовъ. — Распространенная черезъ посредство газеты «*St. Petersburger Herold*» клевета на меня. — Выраженное мнѣ сочувствіе и нѣкоторыя изъ писемъ. полученныя мною въ связи съ моимъ увольненіемъ 278

Глава III. Главные участники дѣйствовавшей противъ меня коалиціи. — Князь В. П. Мещерскій. Его способы дѣйствій. — А. В. Кривошеинъ. Его разсчеты на Горемыкина. — Гр. С. Ю. Витте и руководившія имъ побужденія. — Сухомлиновъ и Маклаковъ. 311

Глава IV. Императрица Александра Федоровна и особенности Ея характера и ума. — Императрица мать и жена. Ея религіозныя и мистическія настроенія. Отношенія Ея къ Распутину. — Вѣра въ незыблемость русскаго самодержавія. — Придворная среда и непосредственное окруженіе Императрицы. — Мотивы Ея враждебнаго ко мнѣ отношенія. — Дѣйствительныя причины. вызвавшія мое удаленіе. 340

Глава V. Моя финансовая и экономическая политика. — Развитіе государственныхъ финансовъ и производительныхъ силъ Россіи за десятилѣтіе 1904—1913 г. г. 362

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ.

Время послѣ моего увольненія. Революція и бѣгство изъ Россіи.

Глава I. Выступленіе М. М. Ковалевскаго въ Государственномъ Совѣтѣ по поводу моего увольненія. — Мои бесѣды съ Императрицей Маріей Федоровной. — Мое выступленіе въ Государственномъ Совѣтѣ по вопросу о подоходномъ налогѣ. — Назначеніе меня Предсѣдателемъ второго департамента Государстеннаго Совѣта. — Слѣдствіе по дѣлу Сухомлинова. — Сдѣланное мнѣ предложеніе заняться подготовкой къ мирнымъ переговорамъ. — Назначеніе меня попечителемъ Лицея. — Мое послѣднее свиданіе съ Государемъ. — Февральская революція и ея отраженіе на нашей частной жизни. — Мой первый арестъ и освобожденіе. — Жизнь въ деревнѣ. — Процессъ Сухомлинова. — Допросъ меня Чрезвычайной слѣдственной комиссіей Временнаго Правительства 385

Глава II. Неудавшая попытка выѣхать заграницу. Отъѣздъ на Кавказъ. Жизнь въ Кисловодскѣ. — Письмо Н. Н. Покровскаго объ избраніи меня Предсѣдателемъ Союза защиты русскихъ интересовъ въ Германіи. — Многочисленныя попытки обезпечить себѣ выѣздъ изъ Кавказа. — Отъѣздъ изъ Кисловодска и приключе-

нія въ пути. — Прибытіе въ Петроградъ. Обыскъ и арестъ. — Тюрьма на Гороховой, № 2. 420

Глава III. Допросъ меня Урицкимъ. — Усиленіе террора въ Петроградѣ и массовые аресты. — Три предложенія вывезти меня изъ Россіи. — Предупрежденіе о предстоящемъ новомъ моемъ арестѣ. — Подготовка къ бѣгству. — Переходъ черезъ Финляндскую границу. — Путь въ изгнаніе. — Раіоіоки. Выборгъ. Гельсингфорсъ. Христіанія. Берлинъ. Лондонъ и Парижъ. — Глубокое разочарованіе политикой союзниковъ по отношенію къ большевикамъ 456

Указатель именъ 499

Типографія В. Бейлинсонъ. Таллиннъ (Ревель).

ИЗДАНІЕ ЖУРНАЛА
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
РОССІЯ